Владимир Юрасов

параллакс

роман

Владимир Юрасов

параллакс

роман

ВЛАДИМИР ЮРАСОВ

ПАРАЛЛАКС

РОМАН

Новое Русское Слово — Нью-Йорк
1972

Обложка художника Николая Сафонова

Все права за автором и издателъством W. W. Norton, Нъю-Йорк, США.

Copyrigt © by Vladimir Yurasov — W. W. Norton & Company, Inc., 55 5th Avenue, New York, U.S.A.

Library of Congress Catalog Card No. 65—25943.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Как-то в Нью-Йорке я рылся в книгах небольшого букинистического магазина. Среди груд старых американских книг я заметил книжку, внешне напомнившую мне книги, которые я когда-то покупал для своей библиотеки у букинистов на Литейном проспекте в Ленинграде. И действительно, книга оказалась русская: изданная в Москве. На титульном листе стояла печать библиотеки зимовки на Новой Земле. Как, какими неведомыми путями она добралась до нью-йоркского Манхаттана — острова в устье Гудзона?

Выпуская свой первый роман на русском языке в Нью-Йорке, я думаю, что, может статься, и мой «Параллакс» найдет дорогу до города моей юности Ленинграда или до города моего детства Ростова-на-Дону.

Оглядываясь назад, я вижу себя подростком, окончившим школу, одиноко стоящим на развилке дорог, на которых уже распоряжались грозные силы гигантского Государства: я и верю ему, и боюсь его. И я знаю, какую бы дорогу я ни выбрал, силы эти повернут меня на ту, которую укажет Государство. И я подчинился. Но человек не может совсем от себя отказаться — от своей мечты об иных местах, где он может ходить сам по себе, иной раз — просто так, куда глаза глядят. Сегодня я думаю, что моя жизнь поэтому и превратилась в неравный поединок одинокого человека с всемогущим Государством.

Так случилось, что центробежные силы событий выбросили меня на дороги для меня заказанные и дали мне возможность выиграть этот поединок, казавшийся без единого шанса на успех.

Теперь я живу на другой стороне планеты. Государство злопамятно. Воскресное приложение к центральному органу его правительства «Известия» — «Неделя» в номере от 16—22 февраля 1970 года писала: «Владимир Юрасов, живущий в Нью-Йорке, не кто иной, как Владимир Иванович Жабинский. Незадолго до войны за антиобщественную деятельность Жабинский был осужден к 8 годам исправительно-трудовых работ, но бежал из-под стражи под чужими документами. Затем, боясь разоблачения, ушел на Запад». Через год, 6 мая 1971 года, «Правда Украины» писала иначе: «Владимир Жабинский незадолго до войны был осужден советским судом за уголовное преступление, бежал на Запад». А в сентябрьском номере журнала «Международная жизнь» за 1971 год на странице 108 уже говорилось так: «Изменник родины из Белоруссии (?), агент фашистской и американской разведок, Владимир Жабинский, он же Владимир Юрасов . . .» Журнал явно пользовался моим «делом» из архива НКВД 1937—38 годов. И на круги свои возвращается ветер!

Я знаю, что люди на родине давно перестали верить тому, что пишет государственная печать. Но когда я думаю, что моему роману, может быть, удастся прорваться на родину, мне хочется рассказать о себе.

Я окончил школу-девятилетку имени С. Д. Маркова в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в 1930 году. В те годы старшие классы средней школы имели профессиональные «уклоны», я окончил с «электротехническим уклоном». Мне не было шестнадцати лет, но я был энтузиастом индустриализации — пошел работать электромонтером в ростовское отделение ВЭО (Всесоюзное Электротехническое Объединение — позже Электропром). Работал на монтажах Россельмаша, Сталинградского тракторного завода, Магнитогорского комбината, шахт Донбасса, новороссийских цементных заводов. Затем работал в Северо-Кавказском отделении Сельэлектростроя: электрифицировал совхоз «Гигант», животноводческий совхоз № 18 в Сальском районе, сельскохозяйственную коммуну «Пионер» в Кущевском районе, организованную эмигрантами из США. Одновременно учился на заочных курсах электротехников.

Коллективизация, свидетелем которой я, молодой парень, оказался, поколебала мой энтузиазм. Я уехал в Ленинград.

В Ленинграде короткое время работал бригадиром электроцеха на Красном Путиловце (ныне Кировском заводе), затем перешел на соседнюю Северную судостроительную верфь (ныне завод имени Жданова), где последовательно работал бригадиром, помощником начальника электроцеха по плановой части, прорабом отдела капитального строительства. По делам службы часто бывал в командировках: в Москве — в Наркомтяжпроме, на судостроительных заводах страны, на Дальнем Востоке.

Ленинград показал мне и иную жизнь: литературные вечера в зале Общества камерной музыки, в Государственной Капелле, в театре Эрмитажа, постановки Александринки, Мариинского театра оперы и балета; концерты Владимира Яхонтова, выступления Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама и других поэтов; музеи, Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина; белые ночи, Нева, набережные, Петергоф, Детское село... Мне открылся новый мир. Я зачитывался Блоком, Пастернаком. Писал стихи. Влюблялся.

Еще увлекался спортом — легкой атлетикой, боксом и спортиграми.

Кончилось тем, что поступил я не в электротехнический институт, а в ЛИФЛИ — на литературный факультет (ЛИФЛИ в 1936 году слился с Ленинградским университетом). Стипендии не хватало — подрабатывал прорабом строительных контор Ленгастронома, Ленбакалеи, Ленпищеторга, Ленжэта — по освещению и художественному оформлению магазинов.

В 1937 году арестовали мужа моей тети — Альфонса Клавча, по происхождению латыша, мастера судостроительного завода имени Марти. Тетю с двумя детьми выслали в Кустанай. Я хотел переехать в их квартиру, но оказалось, что на нее метил сосед — политработ-

ник Балтийского военного флота Баранов, который и написал на меня донос. Жил я тогда в небольшой комнате у Сенного рынка, куда на время впустил заместителя заведующего кафедрой немецкого языка ЛГУ Н. Н. Берникова (он жил в пригороде, и ему далеко было ездить в библиотеку Академии наук, где он вечерами работал над своей диссертацией о новых словообразованиях в языке немцев Поволжья). Берникову захотелось захватить мою комнату — он тоже написал донос (во время войны он был полковником СМЕРШа). Меня арестовали. Посадили в ДПЗ — тюрьму на Шпалерной. Сидел я в камере № 100, и затем — 203-й. Обвиняли в шпионаже, терроре, вредительстве. Первый следователь на допросах кричал: «Писателем захотел заделаться! Мы тебе такую биографию сделаем, что ты и не мечтал!» Он не подозревал, насколько он оказался прав.

Мне повезло: старшим следователем был мой бывший сокурсник по ЛИФЛИ Петр Владимирович Жур, которого в 1936 году мобилизовали по комсомольской линии в школу НКВД. В институте он был хорошим товарищем, писал талантливые стихи (после смерти Сталина он вернулся к литературе: в журналах появились его переводы стихов украинских и эстонских поэтов; теперь он первый заместитель главного редактора журнала «Звезда»). Мне хочется думать, что он помог мне. Из «Шпалерки» меня перевели в «Кресты», а 13 июня 1938 года Военный трибунал Ленинградского военного округа под председательством Александрова осудил меня по обвинению в антисоветской пропаганде — по статье 58, пункт 10 — на восемь лет заключения в лагеря и на пять лет лишения избирательных прав после отбытия наказания. В действительности и пропаганды никакой не было. Два студента-комсомольца и одна знакомая показали на суде, что я высказывал сомнения в том, что Бухарин, Рыков и другие соратники Ленина были шпионами. Возможно, я это и говорил.

В ленинградской пересыльной тюрьме — в карантинной и общей камерах я был старостой. Я всегда был старостой — камер, бараков, этапных вагонов: заключенные выбирали меня за физическую силу, для защиты от произвола уголовников. В тюрьму приехала очередная комиссия — крупного строительства химического и целлюлозно-бумажного комбината на станции Сегежа в Карелии — по набору заключенных — специалистов и квалифицированных рабочих. Член комиссии, начальник электромонтажного отдела Сегежстроя Вячеслав Степанович Малыгин в числе других отобрал и меня.

На строительстве я работал электротехником, прорабом, а последний год — старшим прорабом электромонтажных работ. Монтаж электростанции мощностью в 24 000 киловатт, подстанций, кабельной и воздушных сетей, электрооборудования цехов, биржи баланса и дров, лесозавода, гидролизного завода велся силами заключенных под руководством контрагента — ленинградского отделения Электропрома, некоторые прорабы и мастера которого знали меня по Ленинграду, по совместной работе на Северной судостроительной верфи. Они помогали мне, чем могли, — едой, одеждой, добрым словом.

Пришел ответ Верховного Суда СССР на мою жалобу — срок заключения мне увеличили на два года!

В 1939 году начальнику Сегежстроя и ИТЛ капитану госбезопасности Боечину и его помощнику Гольману удалось получить в ГУЛАГе дополнительную рабочую силу: из Потьмы прибыл этап с заключенными женщинами — «членами семей изменников родины»: женами, матерями, дочерьми расстрелянных крупных партийных, правительственных и военных деятелей, осужденных кто на пять, кто на восемь лет. Со мной в электромонтажном отделе работали: Лолот Вирсаладзе (брат ее Солико Вирсаладзе тогда был художником ленинградского Мариинского театра оперы и балета, сейчас он художник московского Большого театра), Кето Орахелашвили (дочь Мамия Орахелашвили, жена главного дирижера Тбилисской оперы Евгения Микеладзе), Люба Левина, Ляля Вялова (жена поэта Павла Васильева). Большинство заключенных женщин работало в мешечном цехе бумажной фабрики, заведующей которого была Надежда Ипполитова — жена расстрелянного В. Д. Фельдмана.

В день начала войны у меня пошла горлом кровь — отравился газами в цехе газоочистки, врач-зека Недовесова поставила диагноз — туберкулез. Но вольнонаемный заведующий аптекой добрейший Галкин достал ампулы с хлористым кальцием, которым врачи остановили кровотечение. Вместо этапа с инвалидами на Урал я сам попросился на этап к линии фронта.

С 1 сентября по 15 октября 1941 года свезенные из ближайших лагерей десятки тысяч зека рыли в районе Валдая и станции Угловка противотанковые рвы, окопы, строили огневые точки для армии. Я и мои товарищи по заключению: старший прораб монтажных работ Сегежстроя Юрий Башилов, прораб строительных работ Аркадий Рябов вместе с вольнонаемными инженерами руководили работами. Я после болезни был все еще слаб. Работали под охраной вохровцев, а гитлеровские самолеты чуть ли не каждый день обстреливали нас. Всем был объявлен специальный указ Президиума Верховного Совета СССР: за побег из места заключения во время войны расстрел — без права обжалования.

Во время наступления гитлеровских войск на Москву и прорыва на Тихвин заключенных из Сегежлага погнали на восток к Мгинской ж. д. Шли две недели. Кормили мерзлой картошкой. На станции Пестово нас погрузили в товарные вагоны. Не доезжая до станции Красный Холм, наш эшелон разбомбили гитлеровские самолеты. Из восьмидесяти девяти человек в вагоне, где я был старостой, в живых осталось одиннадцать. Невредимых и легкораненых зека загнали на чердак коровника ближайшего колхоза. Один старик колхозник предлагал мне спрятаться у него на дворе в стоге сена, но я не решился и только попросил его спрятать мешок с моими записями и стихами, которые я записывал на листочках книжечек папиросной бумаги и которые мне удалось пронести через все «шмоны»: старик обмазал мешок смолой и закопал под крыльцом своей избы — он и сейчас там ле-

жит! 7 ноября 1941 года нас снова погрузили в вагоны. Но у Ярославля мы опять попали под бомбежку, во время которой я и бежал.

Началась нелегальная жизнь — самые трудные годы, о которых писать не могу, чтобы не причинить вреда людям, мне помогавшим, меня скрывавшим в глубине России на восток от Москвы.

После освобождения Ростова-на-Дону я, больной цынгой, с атрофией слизистых оболочек верхних дыхательных путей, по фальшивой справке на больного солдата, направляемого на лечение по месту жительства, с невероятными приключениями добрался до этого города. В Ростове о моем аресте в Ленинграде и о моем заключении люди не знали. Начальник военного стола районного отделения милиции за взятку не стал проверять моего заявления о потере документов, а направил меня на военно-медицинскую комиссию райвоенкомата. Комиссия освободила меня, по состоянию здоровья, от военной службы на три месяца, военкомат выдал военный билет, а милиция — временный шестимесячный паспорт. Позже я узнал, что архивы НКВД в Ростове-на-Дону и в Ленинграде были сожжены, центральный архив НКВД в начале войны был вывезен из Москвы в Уфу. Это меня и спасло.

Разрушенным предприятиям города остро требовались специалисты, и я сразу же устроился начальником электроцеха на завод «Красное знамя» и — по совместительству — помощником главного энергетика завода «Радиатор». Оба предприятия принадлежали Главсантехнике наркомата промышленности строительных материалов СССР, выпускали военную продукцию, и я получил «бронь», освобождавшую меня от военной службы.

В поисках оборудования и материалов для восстановительных работ меня посылали в командировки: в Москву — в наркомат, в Куйбышев, на Урал. Во время командировки в Свердловск получил телеграмму: «Немедленно выезжайте в Москву для заграничной командировки тчк замнаркома Диккерман». Командировки за границу связаны с проверками органами госбезопасности. Думал снова переходить на нелегальное положение. Но, приехав в Москву, узнал, что речь шла о срочной мобилизации в армию из промышленности 70 000 инженерно-технических работников. С направлением наркомата в руках явился в штаб Тыла Красной армии, где меня аттестовали инженер-майором и на следующий день отправили самолетом на I Белорусский фронт.

В штабе Особого комитета при Совнаркоме СССР (начальником штаба был председатель Госплана СССР М. З. Сабуров) генерал-майор Шилов (замнаркома промышленности промстройматералов СССР) отобрал меня из числа прибывших своим адъютантом — за умение хорошо писать докладные записки. Каждые две-три недели я летал в Москву с докладами-рапортами в Особый комитет (председателем комитета был Г. Маленков) и в наркомат к наркому Л. А. Соснину и в другие города, бывшие под оккупацией немцев, для проверки заявок на оборудование демонтируемых предприятий Польши, а затем Гер-

мании. После войны — уже в чине подполковника — побывал по делам службы почти во всех странах Восточной Европы. Командировок в Москву боялся.

В 1946 году меня перевели в Промышленное Управление СВАГа — Советской Военной Администрации в Германии. В начале 1947 года демобилизовали и оставили уполномоченным министерства промышленности строительных материалов СССР (министром тогда уже был Л. М. Каганович) при Управлении репараций и поставок СВАГа. Наша министерская группа ведала самым крупным репарационным заказом для СССР на комплектное оборудование 24 цементных заводов, которое изготовлялось на 200 немецких предприятиях. Для новой, гражданской, службы мне нужно было получить заграничный паспорт, для чего требовалось заполнить «выездное дело» — анкету в 130 вопросов. Сделать это я не мог: я знал, что центральный архив НКВД вернули в Москву и приводили в порядок. Я всячески затягивал заполнение анкет, в Москву не летал, жил по временному удостоверению СВАГа, которое мне продлевали каждые три месяца.

Однажды ночью меня вызвали к телефону ВЧ — к аппарату, находившемуся в кабинете заместителя Главноначальствующего СВАГа по экономическим вопросам К. Коваля. Управляющий делами министерства сообщил, что Каганович в связи с назначением первым секретарем ЦК КПУ на Украину покидает министерство и что новый министр Гинзбург срочно вызывает с докладом заместителя министра Григория Спиридоновича Иванова, находившегося в командировке в Германии и жившего тогда у меня на квартире в Берлине. Иванов решил захватить в Москву и меня: я был в курсе всех дел по заказу на цементные заводы. Поездка в Москву означала для меня верную гибель: вернуться в Германию я мог, только получив в Москве заграничный паспорт. С трудом удалось доказать Иванову, что мне совершенно необходимо задержаться в Германии на два-три дня: были всякие неотложные дела. Иванов улетел, а я тут же снесся со знакомой немецкой семьей, которой оказывал разные услуги, и вместе с ней ночью переехал границу в английскую зону Германии, а затем в американскую.

Произошло это 24 года тому назад.

На Западе я писал для немецкой, швейцарской, французской, американской и русской зарубежной печати. Вот уже 20 лет выступаю в передачах радиостанции Свобода. Лет десять тому назад закончил свой первый большой роман «Параллакс», который вышел в Нью-Йорке на английском языке в 1966 году.

О романе в США было написано более сорока статей, рецензий и отзывов. Известный американский писатель Макс Истмэн писал: «Это не только талантливый 'русский роман', но глубокое произведение в политическом смысле. Книга рассказывает нам языком жизненных фактов об одном из самых драматических событий современной истории: о встрече после войны между советскими людьми, советскими солдатами и Западом — встрече полной трагедии, непонимания и надеж-

ды». Автор известных книг о второй мировой войне Джон Толэнд писал: «Это не только захватывающий роман, но и историческое произведение, открывающее нам советскую жизнь». В статье влиятельной бостонской газеты «Крисчен сайенс монитор» говорилось: «Написанный в традиции классического русского романа 'Параллакс', как человеческий документ и как произведение искусства, выходит за пределы России и живо ставит глубокие вопросы судьбы человека и истоков его духовных сил».

Почти все американские критики делали одну и ту же ошибку, считая роман автобиографическим. Роман построен на исторических фактах, я хорошо знаю то, о чем написал в романе, но с биографией автора роман имеет очень мало общего.

Писал я роман для русского читателя, но основной русский читатель живет за семью замками в Советском Союзе.

Лет двадцать тому назад в одном из своих писем Иван Алексеевич Бунин писал мне: «Эмиграция для русского писателя — трагедия». И тем не менее русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин до самой смерти предпочел жить в эмиграции, ибо положение писателя на родине еще трагичнее. Произведения крупнейшего русского писателя нашего времени, другого лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына на родине запрещены, а сам писатель подвергается гонениям и травле.

За последние годы в мире произошли большие перемены. Произведения Бунина, за исключением, кажется, «Окаянных дней», печатаются в СССР, а произведения Александра Солженицына, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Воспоминания» Надежды Мандельштам и многие другие, запрещенные в Советском Союзе книги издаются за границей и находят пути назад на родину. В мире появилась свободная русская литература. Началось двухстороннее движение свободной русской книги: рукописи, книги окольными путями пересекают границы, некоторые читатели ездят через границу и встречаются с книгами за рубежом. Лучшие произведения передаются из заграницы по радио читателям Советского Союза, для которых они, прежде всего, и написаны. Пути книг воистину неисповедимы.

Меняется и положение русского писателя-эмигранта. Когда-то Генрих Гейне писал: «Трещина, расколовшая мир, проходит через сердце поэта». Трещина, расколовшая современный мир, глубже и заметнее у писателя-эмигранта из Советского Союза. Живя в демократических странах, он становится носителем нового опыта — опыта обеих сторон жизни на Земле, которого нет и не может быть у писателей одной из сторон. Трещина — тоже трагедия, но она источник новых литературных возможностей, новых литературных тем, и писатели эмигранты могут создать произведения, которые помогут преодолет трещину — пропасть, разделившую людей.

Нью-Йорк, сентябрь 1971 г. *Владимир Юрасов*

ПАРАЛЛАКС

Деревья стояли и думали.
«Пан», *Кнут Гамсун*

ВРАГ НАРОДА

КНИГА ПЕРВАЯ

1. НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО 1945 ГОДА

В квартире темнело. В декабре сумерки быстры. Федор стоял у окна и глядел сквозь полузапотевшие стекла на голое мокрое дерево, на чудом уцелевший берлинский переулок. По снежной кашице тротуара шлепали редкие прохожие. «Слякоть...» — подумал Федор, — и относилось это не только к погоде.

По стеклам соскальзывали капли — как мысли.

Никуда сегодня не пойду.
Заберусь на подоконник. Спину
Подопру подушкою. В саду
Буду весь, отгородясь гардиной.

Сад осенний в солнце и слезах.
Стайка птиц пригрелась на постройке.
След колес на умерших листах.
Темных луж октябрьская настойка.

Рядом запотелое стекло,
Каплями запаханное, стынет,
Вниз на подоконник натекло,
Как за спину.

Он тогда болел ангиной и не ходил в школу. Устраивался на широком подоконнике и смотрел, как сад раскладывал пасьянс Осени. Во всем гадалось будущее, — каким оно выпадет после школы, после юности? Школа прошла давным-давно, потом был институт, только что кончилась война, но так ничего и не выяснилось. Ничего.

Вот, может быть, небо не совсем такое, как дома. Низкие лохматые тучи, сутулясь, — некоторые держась друг за дружку, другие таща на себе обессиленных, — торопливо проходили над заснеженными крышами, утыканными черными чурками труб, из которых спеша вылетали и уносились кверху дымы — подаяние разоренного в пух и прах города — немного из оставшегося в домах тепла — гонимым по небу оборванцем-пленным.

В доме напротив зажглось окно, показывая Федору, как фокус, зеленую украшенную елку. Вот и Соня поздравляет в письме с Рождеством и с Новым годом — с новым счастьем. Сырой, серый берлинский вечер так не похож на русские вечера в сочельник. Рождество как детство. Как мама... Соня пишет: «Ты для нее до последнего

вздоха был мальчиком, и она не верила фронтовым фотографиям, хотя гордилась, что офицер». Мама, мама, умереть за день до освобождения города! Сонино письмо о смерти мамы тогда нашло его в лесу, на переднем крае ленинградского фронта. Он помнит обжигающую, неправдоподобную боль и слезы — одни деревья видели; помнит злость боя и удовлетворение от вида немецких трупов на снегу. Соня и теперь пишет о последних маминых словах: «Феде скажи, чтоб человеком был...» Он знает, что хотела сказать мама.

Как сегодняшний старик в фуражке «рот-фронт». Пора бы привыкнуть, — какое ему дело до всего этого! — но плачущие старческие глаза не забывались. Сегодня в комендатуру прибежал старик, владелец маленькой мастерской. Сорок лет он изготовлял в ней деревянных зверюшек, детей, ангелочков. Во время воздушных налетов неделями жил в мастерской, решив умереть вместе с нею. И когда в помещение попала зажигательная бомба, — бросился тушить и изуродовал огнем пальцы левой руки. Бомбы уничтожили все здания квартала, а мастерская уцелела.«Бог уберег», — говорил старик. И вот теперь этот «сабуровец» * в капитанских погонах с испитым самодовольным лицом, — в желании выслужиться перед начальством по наркомату, для которого демонтировал неподалеку мебельную фабрику, — решил заодно прихватить и два старых станочка старика. Называет это «патриотическим долгом». Федор — помощник по экономическим вопросам коменданта района — обязан помогать демонтажу фабрики — на это есть постановление Особого Комитета и приказ Комендантского управления СВАГ. **

Старик прибежал к нему и, держа в изуродованной огнем и работой руке фуражку «рот-фронт», надетую для посещения советской комендатуры, стал просить «герра майора» оставить ему его станки — единственное средство существования семьи: «Я никогда не работал на войну! Мой единственный сын погиб в гитлеровском кацете! Спасите меня, герр майор, детей сына...» Федор поехал на фабрику, накричал на «сабуровца», но станки уже были погружены в вагон; тогда он приказал «сабуровцу» ехать с ним в комендатуру, но полковник, как всегда, не захотел «вмешиваться» и направил их к замполиту. Заполит решил, что, кроме «пользы Советскому государству», от этого ничего не будет: «Не сентиментальничайте, майор, его два станка помогут какому-нибудь нашему заводу выполнять план. Мало они у нас забрали?!» Кто «они»? Разве старик забирал?

Старик заплакал и ушел сгорбившись, с фуражкой «рот-фронт» в руках.

«Что я могу, мама? Вот и у Сони тоже что-то не так, о чем она недописывает. Надо бы съездить к ней, но отпуска не дают».

Федор взял с буфета бутылку и прямо из горлышка сделал два

---

* «Сабуровцы» — демонтажники в Германии, как их называли боевые офицеры по фамилии начальника Штаба Особого Комитета при Совнаркоме СССР М. З. Сабурова.

** СВАГ — Советская Военная Администрация в Германии.

больших глотка. Прошелся, взглянул в окно — освещенная елка глядела на него из детства.

Хмель теплом разлился по телу. Мысль стала приятно тревожнее. Он вдруг заметил, что голое дерево тоже внимательно глядит в освещенное окно на маленькую зеленую елку, привезенную из леса, и что-то рассказывает той, жестикулируя черными худыми ветками, как это делают глухонемые, показывая то на дома, то на бегущие тучи, то на редкого прохожего, а то прямо на него, на Федора...

Пришел Карл.

— Герр майор, можно мне быть свободным? Вайнахтен наступает. Мне хотелось бы встретить праздник с невестой и родными.

Вот у его шофера есть и невеста, и Рождество. И елка, наверное, есть.

— Конечно, Карл. Ты свободен на все праздники. Если что-нибудь экстренное — я позвоню.

Внизу, через переулок переходили две женские фигуры. Он сразу узнал их — «девушка в солдатских ботинках» шла, поддерживая калеку мать. В свободной руке — книга. «Молитвенник, — подумал Федор, — идут в церковь».

«Грустное Рождество. Наши всю войну кричали 'убей немца!', а нет уже злобы против таких. Опять вспомнилось лицо плачущего старика. «А может быть, это и есть справедливость, возмездие?». Но старика было жалко.

Карл стоял в полумраке у печки и ждал. Федор взял в ящике буфета приготовленный сверток.

— Это, Карл, для тебя и твоей невесты — вайнахтенсгешенк. Там в углу возьми бутылку вина и выпейте за мое здоровье.

Карл, чтобы рассмотреть бутылки, включил свет. Столовая осветилась, окна стали темными. Стулья стояли в беспорядке, на ковре валялись бумажки, окурки. В углу, на полу у буфета, картонки — завтра могут приехать гости, и Федор купил в «Гастрономе» продуктов и вина.

Выбрав бутылку вина получше, Карл, похожий на дрозда — из-за манеры держать голову с большим унылым носом набок-вниз, — стал благодарить:

— Херцлихен данк, герр майор!

«Вот и Карл — воевал против нас... Мать и отец убиты при бомбардировке, все сгорело... Теперь привязался...»

— Пожалуйста, Карл. Приятного праздника.

Поглядел на беспорядок, вспомнил.

— А почему не приходит уборщица, Карл?

— Она собиралась в деревню, герр майор.

— Узнай. Если уехала, найми другую. Разве ей было плохо?

— У нее двое детей, герр майор. В деревне легче прокормиться.

Федор вспомнил «девушку в солдатских ботинках»; вчера она тащила на себе тяжелый рюкзак с картофелем. «Да... Рождество с картошкой...» Оглядел кучу покупок. Потом оглянулся на дерево за окном.

— Карл, а нельзя ли этим женщинам внизу что-нибудь подарить на Рождество? Только, чтобы не знали от кого.

Карл не сразу нашелся:

— Вы добрый человек, герр майор. Я хочу сказать, что никогда раньше не думал, что русские бывают такими.

Федор усмехнулся.

— Спасибо.

— В войну нам говорили о русских... Мы не очень верили Геббельсу, но и раньше, в школе мы учили про Россию... Я теперь вижу: много вздора говорили нам...

— У каждой нации, Карл, есть разные люди.

— Это правда. Мы тоже в России делали много плохого, то есть не мы, солдаты, а эсэсовцы...

— У нас, у русских, есть поговорка, Карл: «Кто старое помянет, тому и глаз вон». Как же передать этим женщинам вайнахтсгешенк? Они беженцы?

— Беженцы, герр майор, — из Штеттина. Муж старой дамы — капитан транспортного судна — погиб у берегов Норвегии, сын в русском плену, дом и все имущество отняли поляки. Ее тяжело контузило при бомбардировке поезда... Бедствуют.

— Только, чтобы никто не знал, Карл. Понятно?

— Яволь, герр майор. Я могу послать одного мальчика, которого они не знают.

Мысль о тайном подарке захватила Федора, и он принялся без разбора откладывать свертки в одну из коробок.

— Это чересчур много, герр майор, — не выдержал шофер.

— Ничего, Карл!

— Надо что-нибудь написать.

Что пишут в подобных случаях, Федор не знал.

— А что бы ты написал?

Карл опустил нос.

— Они набожные люди, герр майор. Может быть, написать: «Все люди братья»?

— Уж очень торжественно!

— Почему, герр майор? «Все люди братья» — это хорошо.

Прошли в кабинет.

Карл сел за стол и старательно написал на чистом листе готическим шрифтом — смысл надписи от готического шрифта, как показалось Федору, стал значительнее.

— Спасибо, Карл. Машину оставь внизу, может быть, я поеду.

Шофер взял подарки. У дверей обернулся.

— Счастливого праздника, герр майор!

— Спасибо, Карл, и тебе тоже!

«Праздника, какого праздника?» Федор потушил электричество и вернулся к окну.

Небо посветлело, высоко за тучами угасал день. Федор снова взял с буфета бутылку.

День взял и занемог. Осунулся и мглой
Покрылась даль... За горизонтом устало
Побрел и лег, укрывшись с головой
Огромным шелковым закатным одеялом.
И долго засыпал...
Я только что домой
Вернулся с улицы, и мне опять не спится,
Опять неможется — воспоминанья, лица
В огромных сумерках толпятся надо мной...

Стихи Федор писал с детства. И любил стихи, как любят их только в России. Студентом попытался напечатать это стихотворение в областном журнале, но от редакции пришло письмо, из которого запомнилось: «несозвучно нашей эпохе». Тогда он «назло» написал стихотворение ко дню выборов, в котором «Земля голосуя за блок партийных и беспартийных», опускала «красный бюллетень Солнца в урну горизонта», — стихотворение напечатала городская газета.

2. ОККУПАНТЫ

Решил поехать к коменданту.

Полковник Баранов жил замкнуто; из офицеров комендатуры у него в доме бывали только Федор и подполковник Моргалин. Моргалин — потому, что был политическим заместителем коменданта, а Федор больше потому, что Тоня, жена полковника, всегда была рада ему. С тихим обыкновенным лицом, на двадцать лет моложе мужа, все время занятая грудным ребенком, она, когда приходил Федор, оживлялась, говорила о русских книгах, которые он доставал из реквизированных библиотек бежавших или арестованных русских эмигрантов, играла с ним в четыре руки, советовалась, где и что можно достать для ребенка и хозяйства.

Тоня в войну была телефонисткой в полку, где служил, тогда еще капитаном, Баранов, — женатый, отец трех детей. Там же, на фронте, она стала его «ППЖ» — «походно-полевой женой». После войны, уже полковник и комендант, Баранов решил жениться на Тоне. Развод стал делом трудным. Страну охватила эпидемия разводов, и суды отказывали даже генералам. Пользуясь связями, которые давала служба коменданта в Берлине (кто только не приезжал из Москвы — и прокуроры, и члены Верховного Суда — и всех принимал и одаривал Баранов), — он все устроил: развелся и женился на Тоне.

Баранов был членом партии с 1937 года. Когда Тоня говорила с Федором о книгах или играла на рояле, муж часто садился в стороне и слушал. Если книга чем-нибудь особенно нравилась Тоне или Федору, он тайком прочитывал ее и, вызвав жену и Федора на разговор

о ней, любил поразить своим суждением, а, главное, тем, что и он читал ее. Суждения его были иногда неожиданны и метки.

Однажды Тоня под секретом показала Федору русский журнал, изданный во время войны в Нью-Йорке — «Новый журнал». Книжку Тоне дала почитать соседка — жена полковника Колчина, уполномоченного НКГБ при берлинской комендатуре. Федор провел в доме Баранова все воскресенье, пока не дочитал журнал до конца. Баранов делал вид, что не знает какую книгу читал Федор, и только ухмылялся. Среди авторов журнала были имена, которые Федор знал: Иван Бунин, Керенский, Струве, Бердяев, Николаевский, Вишняк. Его особенно поразило то, что они были живы, и что писали о Советском Союзе и о войне так, словно ничто другое их не интересовало. А то, что кое-что в журнале было похоже на его, Федора, мысли, смутило и даже как-то испугало. Ни Тоня, ни он о журнале не говорили. Каждый знал, что этой границы переступать нельзя.

После долгих объездов разбитых улиц Федор выехал на Александр-плац. На фоне темного закатного неба развалины города высились декорациями в какой-то фантастической драме. Прохожие со свертками и рюкзаками спешили по домам.

У Брандебургских ворот машину остановил КП. * Федор затормозил, но дежурный лейтенант комендатуры района Штадт-Митте узнал его и махнул — проезжать.

Пустынное, заснеженное Шарлоттенбургеншоссе с растерзанным в щепки бомбардировками и артобстрелом Тиргартеном пахнуло холодом и бездомностью. В стороне, за новым советским памятником с часовым под ярким фонарем, громоздился гигантский остов Рейхстага. Вместо того, чтобы проехаться, как вначале хотел Федор, он свернул у памятника Седану. Высоко в закатном небе горбатый ангел с забинтованной головой — на плечах и голове ангела лежал снег — осенял победным венком разбитый вдребезги город, лежащий под лазаретной мятой простыней мокрого снега. Несколько обугленных стволов деревьев Тиргартена протягивали к ангелу обрубки черных рук.

Комендант жил в Панкове, в городке центральной комендатуры. Немецкий полицейский, разглядев советский номер машины, поднял тонкий полосатый шест, и Федор въехал в тихую, заснеженную, идущую полукругом уличку. По сторонам стояли виллы: полковника Елизарова — политического руководителя берлинской комендатуры, коменданта Берлина генерал-лейтенанта Смирнова, — у подъезда несколько солдат и адъютант вытаскивали из автомобиля пакеты и ящики с бутылками. В стороне за деревьями виднелась большая вилла полковника Колчина, — у входа в будке мерз часовой.

Перед чугунными воротами дома Баранова Федор затормозил и нажал на сигнал. Сквозь решетку чернели деревья и статуи. От ярко освещенного входа по снегу тянулись мягкие тени.

---

* КП — контрольно-проверочный пункт.

К воротам выбежал Франц — немецкий шофер Баранова.

— Гутен абенд, герр майор!

Федор подрулил к колоннаде входа, где его поджидал Ваня, — «комендант» дома.

Оставив машину, Федор пошел по широким ступеням парадного.

« Как в старой помещичьей усадьбе». — Ему даже показалось, что где-то в музее или на иллюстрации старого журнала он видел точно такой дом, с колоннадой и зеркальными дверями.

Горничная Лиза, девушка из репатриированных, взяла у Федора шинель и, блестя зубами, находу сообщила:

— Полковник Марченко со своей, полковник Рыльский с женой и какой-то цивильный, — нарком, кажись.

От теплого воздуха, от мягкого света бра и зеркал, от пушистых ковров Федору стало уютно и радостно. Из столовой доносились голоса. В коридор в вечернем платье вышла Тоня. Федор подумал: «Хозяйка дома встречает запоздалого гостя».

— Федор Михайлович, как хорошо, что приехали.

Здороваясь, Федор почувствовал, что ей тоже приятна роль «молодой хозяйки большого дома».

В ярко освещенной столовой — в коврах, в цветах, бронзе, картинах с тяжелыми рамами — было накурено. Вкруг длинного стола на стульях с высокими спинками сидели гости.

— Здравия желаю, — громко поздоровался Федор.

Из-за стола, в расстегнутой гимнастерке, поднялся Баранов и, тоже играя роль гостеприимного хозяина, пошел навстречу Федору. Не выпуская руки Федора, он подвел его к незнакомому человеку с длинным бледным лицом, в синем шевиотовом костюме и фетровых бурках,

— Разрешите представить, Иван Данилович, моего помощника, героя ордена Ленина и многих других, майора Панина.

Федора огорчило, что вышло не так, как хотелось: после общего поклона поздороваться с дамами, а потом с мужчинами. Видно, этот в костюме был большим начальством и зачем-то нужен полковнику.

Гость, не вставая, подал холодную сухую руку и показал длинные желтые зубы. Очень светлые, с желтыми белками глаза его смотрели остро.

Марченко, седой, краснолицый, в форме полковника, уже изрядно подпивший, громко через стол приветствовал Федора:

— Федорушка! Молодец, что приехал! Иван Данилович, прошу любить и жаловать — наша гордость и надежда, смотрите, какой молодец! Я его уговариваю демобилизоваться и катать ко мне на комбинат — замечательный работник!

Федор понял, что штатский из Москвы — заместитель наркома целлюлозно-бумажной промышленности — хозяин Марченко. Сам Марченко, директор Архангельского химико-бумажного комбината, более полугода находился в Германии, возглавляя наркоматовскую группу демонтажников в Саксонии.

Баранов до мобилизации работал в системе того же наркомата за-

ведующим лесными разработками и теперь «подготовлял» для себя, на случай демобилизации, «теплое местечко на родине». Для этого водил знакомство с Марченко, помогал его группе, широко принимал и одаривал приезжавших начальников наркомата.

Федору надоела эта барановская «политика» — комендант всех посылал к нему за записками в немецкие магазины и фирмы района на белье, трикотаж, платье. Федор называл их «саранчой». Он и о госте подумал: «И этот будет просить».

Рядом с заместителем наркома сидела жена Марченко — худая женщина с быстрыми темными глазами, ужасно надоедавшая Федору просьбами о записочках. Она даже привстала навстречу Федору.

За нею сидел инженер-полковник Рыльский — плотный, коротко стриженый блондин с энергичным белым лицом. Федор знал его как толкового и дельного инженера — Рыльский работал в Управлении репараций и поставок, во время войны служил в инженерном управлении 5-й армии, — но недолюбливал за холодность и скрытность: «застегнут на все пуговицы».

Екатерина Павловна, жена Рыльского, откинувшись на спинку высокого стула, смотрела на Федора — будто ждала его. Закрытое черное платье, с цветной вышивкой у ворота, плотно обтягивало ее покатые плечи и грудь. Гладко причесанные на пробор черные волосы кончались тяжелым узлом. В как бы припухших мочках маленьких ушей блестело по бриллиантовому зернышку — единственное украшение.

Федор встретился с Рыльской весной, у Баранова же. Она приехала с Марченко. В тот же день что-то произошло приятное, и Федор был оживлен и удачно острил. В присутствии красивой женщины он совсем разошелся и в шутку ухаживал за нею; нарвал в саду огромный букет сирени, проводил до автомобиля. Марченко, видимо, рассказал ей о Федоре в обычном для него тоне преувеличения. С тех пор она не раз приглашала Федора к себе. Приглашал и Рыльский, но Федор так ни разу у них и не был. Марченко однажды, захмелев, сказал: «Эх, Федорушка, будь я на твоем месте...», но Федор от разговора уклонился.

Всякий раз, встречая Рыльскую, он ощущал, вместе с приятностью, неясное беспокойство. На этот раз Федор обрадовался ей, ему снова захотелось игры, и он с удовольствием поцеловал крепкую и очень теплую маленькую руку.

— Садись, Федор, между хозяйкой и Екатериной Павловной. Развлекай дам! — крикнул со своего места Баранов.

Марченко немедленно налил в винный бокал водки и протянул Федору.

— Федорушка, догоняй!

Федор с ухарством, которого от него ждали, залпом выпил до дна и стал закусывать.

— Еще одну!

Федор выпил другую.

— Вот как пьют наши! Никакая другая нация на свете не может

так пить! — горячась обратился Марченко к гостю, видимо продолжая прерванный приходом Федора разговор.

Гость ковырял зубочисткой в углу рта и разглядывал Федора. Федор заметил, что перед гостем стоял бокал с яблочным соком.

— А знаете, Иван Данилович, как Федя перепил американца? — отвлекая внимание гостя, заговорил Баранов.

— Ну, ну? — промычал гость.

— Передавал я это американцам район Целлендорф. Устроили, как полагается, совместный банкет. Выпили, конечно. И вышел у меня разговор с их полковником, новым комендантом, — кто крепче в выпивке. Я говорю — русские и в войне и в выпивке крепче, а он смеется и говорит — не верю. Стал я доказывать, а он мне — «Окэй!» и позвал какого-то своего капитана: детина, я вам доложу, — во! Рыжий, конопатый, но здоров! Я и говорю Феде: «Выручай, майор, честь русского солдата», а сам шепчу: «Масла глотни, масла». Федя послушался, глотнул незаметно грамм сто масла и сел против рыжего. Стали они пить из одного стакана, так сказать — ха-ха-ха! — в честь дружбы союзников! Сначала водку, потом виски, потом опять водку, опять виски; Федя по-нашему, по-русски, на закуску нажимает, а тот воду со льдом да соки больше. Тут Федя вдруг и говорит: «Это что, мол, — подать сюда спирту!» Я уже думал — опупел. Принесли спирту. Федя полстакана спирту, а половину пива — нашего «ерша»-то! Хватили они, добавили по мелочи, американец и свалился. Даже врача вызывали. Смехота! Федя же, такой жох, — скорей в туалет, два пальца в рот и — все в порядке! Вернулся в зал как ни в чем небывало, и такие фокстроты с американками стал выделывать, что они только рты раскрыли! Одна, полковника дочка, долго еще потом звонила... Нельзя — сами понимаете.

Марченко, давно знавший эту историю, хохотал громче всех.

— Шалишь, брат, нет на земле крепче русской силушки!

— И смекалочки! — сквозь смех крикнул Баранов.

Гость тоже показывал зубы, Федору казалось, что тот считает его дураком. Он до сих пор краснел за выходку, разнесшуюся по всему Берлину, — тогда в крови еще были опьянение и угар войны и радость, что остался жив.

Тоня вышла по хозяйству. Рыльская молчала. Скрывая неловкость, Федор наклонился над тарелкой и делал вид, что занят едой. Но когда гость забарабанил пальцами по столу и сказал ничего не значущее «м-да-да!», вдруг разозлился — уже действовала выпитая водка, засмеялся и, глядя на одного Баранова, спросил:

— А помните, товарищ полковник, тост американского коменданта?

Баранов хрюкнул. Ему и хотелось посмешить гостя, и что-то его удерживало.

— Давай, Федорушка! Давай, рассказывай! — выкрикнул Марченко.

— Поднял он тогда на банкете тост «за замечательных русских людей, героически и самоотверженно преодолевающих трудности!» Мы,

конечно, «ура-а-а!», а он выждал и добавил: «Беда в том, что эти трудности они себе создают сами».

Марченко захохотал. Рыльский улыбнулся углом рта. Гость пожевал губами, а потом обнажил зубы, и Федору показалось, что он собирается кусаться. Баранов смотрел то на Федора, то на гостя, и когда тот показал зубы, виновато хмыкнул.

Федор взял бокал и повернулся к Рыльской.

— Хотите выпить, Екатерина Павловна?

Рыльская укоризненно посмотрела ему в глаза и вполголоса ответила:

— С удовольствием, — а потом, обращаясь ко всем, громко сказала: — Товарищи, есть предложение выпить.

Все обрадовались предлогу и с шумом потянулись чокаться. Гость чокался своим «апфельзафтом».

Пили старое французское вино, где-то раздобытое расторопным Ваней.

Екатерина Павловна что-то хотела сказать Федору, но Федор, глядя на «апфельзафт» гостя, спросил:

— А почему это вы, товарищ заместитель наркома, вина не пьете?

— Я свою цистерну давно выпил, майор. Теперь врачи запретили. Да и все равно, соревноваться с вами не стал бы. Вы, я вижу, чемпион...

Марченко, приняв слова начальства за похвалу Федору, громко сказал:

— Еще какой чемпион, Иван Данилович!

Баранов, выправляя положение, заметил:

— Но он, Иван Данилович, и выпить может, и работает «на отлично». С инженерными делами я за ним, как за каменной стеной. А по-немецки шпарит — что твой немец.

— Только ты его, полковник, уж очень запрег, — сказал Марченко, — он ни разу так и не выбрался ко мне. Слушай, Федя, нак насчет Нового года? Охоту устроим — у нас там зайцев, зайцев! — и пояснил всем: — Немцам ружья иметь запрещено, так этих зайцев развелось — тьма-тьмущая. Приезжай, Федя, кутнем. Вот и Екатерину Павловну с супругом вытянем.

— Не знаю, товарищ полковник, — как начальство.

— А мы и начальство потянем, — Марченко положил руку на плечо Баранова, разговаривавшего с гостем. — Послушай, выберись с женой в субботу вечером. А в воскресенье охоту сорганизуем. А? Может быть, и вы, Иван Данилович, согласитесь?

Гость показал зубы.

— Нет, товарищ Марченко, я в Германию приехал не на зайцев охотиться. Да и вам не советую — лучше побыстрее с транспортами управляйтесь.

Марченко от замечания начальства увял и замямлил что-то в оправдание. Баранов поторопился вставить:

— Какая там охота, Николай Васильевич, — дел по горло.

В комнате стало скучно. Выручила Тоня, обращая внимание гостей на принесенных жаренных на вертеле фазанов.

Ели и пили. Федора раздражал «апфельзафт» гостя; гость ковырял вилкой в тарелке, иногда брал со стола в руки пепельницу или тарелку и разглядывал фабричные марки Майссена и Розенталя. Федор опять выпил водки, не закусывая, отодвинул тарелку и громко сказал гостю:

— Вот вы, товарищ заместитель наркома, думаете, наверно, что посуда — это так, сосуды, из которых хлебаем варево. Нет, товарищ заместитель наркома...

— Ну, положим, я так не думаю, но что же это по-вашему?

— По-моему, товарищ заместитель наркома, посуда в определенном смысле — этапы нашей жизни.

Баранов заерзал на стуле и глазами просил Тоню остановить Федора. Марченко сидел, словно ожидал увидеть интересный фокус.

— Вот вы — сугубо гражданский человек с высоким, так сказать, положением. И супруга ваша — или домработница — кормит вас, как кормила все годы войны, из посуды, наверно, отечественного производства орденоносной фарфоровой фабрики имени великого русского ученого Ломоносова. И посуду эту вы приобрели где-нибудь в московском закрытом распределителе для ответственных работников.

Вы почти угадали, — пристально взглянув на Федора, ответил гость.

— Вот видите. А мы — фронтовики — с начала войны до Сталинграда или до Курской дуги хлебали щи, ели кашу и пили морковный чай или водку из ржавой консервной банки. Потом, скажем, у Березины мы уже ели и пили из котелка. А в Польше — уже из простых тарелок и чашек. Теперь, в Берлине — вот! — едим из Мейссена и Розенталя. Как видите, — это не просто посуда, а этапы войны, этапы нашей победы над агрессором, этапы изгнания его с родной земли и его разгрома.

В голове у Федора шумело, мысль куда-то соскальзывала. Все глядели на него. Одна Екатерина Павловна сидела, опустив глаза.

— Ну, а демобилизуетесь, тогда как?

Баранов быстро сориентировавшись, успел сказать раньше Федора:

— Теперь и дома, товарищи, надо, как говорится, чтобы было не хуже, чем здесь. Фабрику Мейссена мы демонтировали, и будет эта фабрика у нас на родине давать нам такую же продукцию. Мы, что же, напрасно работаем здесь?

Федора потянуло сказать, что мейссеновская посуда будет продаваться, наверно, в тех же закрытых распределителях, но Баранов был ему неинтересен.

— Демобилизация, товарищ заместитель наркома, — не война. Знаете, как у Шекспира: «Мавр сделал свое дело» — мавр может опять есть из обыкновенного ширпотреба и пить из знаменитого граненого

стакана. А выражаясь уже не словами старика Шекспира, — «осознанная необходимость», так сказать.

Марченко, заслышав о граненом стакане, захохотал так громко, что все оглянулись на него — он сразу замолк.

— М-да, — сказал гость, — вы ко всему и поэт еще, — и поднялся.

Баранов поспешил к нему и стал показывать развешанные по стенам в золоченых рамах картины — среди них две превосходные копии картин Мурильо. Федор как-то рассказывал Баранову про Мурильо и с тех пор слышал не раз, как комендант, будто невзначай, говорил своим гостям: «Вот замечательные копии замечательного испанского художника Мурильо». И гости, как и этот, слушали и, наверное, думали: каков, однако, Баранов — даже испанских живописцев знает.

— Зачем вы это, Федор Михайлович? — услышал Федор рядом голос Рыльской.

— Что вы имеете в виду, Екатерина Павловна? — не оборачиваясь спросил он.

— Зачем вы задираете его? Он болен, желчный и...

— Ответственный товарищ?

— Если хотите. Ваше сравнение посуды с войной было интересным, но эта раздражительность... Вы добрый и мягкий человек. Не надо так, Федор Михайлович!

— А зачем он все время... хамит?

— Он не хамит, и напрасно вы на него, ей-Богу. Даже хозяина напугали. — Рыльская улыбнулась, оглядывая лицо Федора.

От утешающего ее тона злость как-то сразу прошла, и Федор засмеялся.

— Ну, простите. Вы правы, Екатерина Павловна...

— Боюсь, что вас что-то другое раздражает или тревожит. Вот вы и задираете людей.

Подумав, добавила:

— Одних задираете, других не замечаете.

Рыльский рядом разговаривал с женой Марченко, но, казалось, что он прислушивался к разговору жены с Федором.

— Вам бы отдохнуть, Федор Михайлович. И еще... не пить так много.

— Работы много, Екатерина Павловна. Отпуск не дают с сорок первого года. Только вот в госпитале после ранения и отдохнул малость.

Подошел Марченко.

— Николай Васильевич, ваш любимец жалуется, что ему комендант отпуска не дает.

— А зачем он тебе, Федорушка? Или жениться задумал? Там по нем не одна вздыхает. Что ж, если так, — похлопочу, поезжай. Кстати, моя Мария Ивановна тоже собирается после Нового года — вот вместе и поезжайте. Поможешь ей в Бресте при пересадке: там, говорят, по неделям сидят.

— Вы бы его к себе пригласили, а то он совсем скиснет, — засмеялась Рыльская.

— И то правда. Приезжай, Федя, к нам под Новый год, — и, оглядываясь в сторону гостя и Баранова, заговорщически сказал: — Охоту устроим — назло врагам!

Федор заметил, что гость посматривает на часы, показывая хозяину, что пора и по домам. Потом они вышли в соседнюю комнату.

Рыльская говорила Марченко:

— А знаете, Николай Федорович, это не плохая идея — устроить встречу Нового года у вас: тихо, спокойно. Может быть, и мы приедем.

В столовую выглянул Баранов и рукой позвал Федора.

Гость сидел у горящего камина, протянув худые ноги в бурках к огню. Баранов придвинул кресло.

— Вот что, товарищ майор, — официально сказал Баранов: — Ивану Данилычу нужно достать машину, и не какой-нибудь «опель», а солидную, с хорошей амортизацией и отоплением. Иван Данилыч должен объезжать заводы, а состояние его здоровья (Федору показалось, что Баранов чуть не сказал: «драгоценного здоровья») — требует тепла и покоя. Что можно сделать?

Федор знал, что в гараже комендатуры были запрятаны майбах и хорьх, но про них было известно Центральной комендатуре и Баранов не мог ими распорядиться для своих личных целей. Федору захотелось сразу отказаться, но он тут же подумал, что поиски автомобиля освободят его на несколько дней от надоевшей работы и он сможет заехать в дивизию.

— Здесь, товарищ полковник, не достать. Все хорошие машины растащили. Надо куда-нибудь в провинцию съездить.

— А сколько тебе для этого нужно времени?

— Дня три. И чистый бланк паспорта на машину, чтобы не задержали в пути и не отняли.

— Хорошо. Можешь выезжать хоть завтра. Бланк дам. В комендатуре распорядись у себя на эти три дня. Только, чтобы машина была первоклассная.

Гость сидел и ковырял зубочисткой в зубах, не вмешиваясь в разговор.

3. РОЖДЕСТВО

— Что это, Инга?

— Я не знаю, мама.

Лампочка осветила закопченные, облупившиеся стены, темный деревянный потолок. На столе, покрытом старенькой, но чистой скатертью, стояла ничем не украшенная елочка с двумя белыми свечками.

Женщина, тяжело дыша, опустилась в заскрипевшее плетеное

кресло. Девушка поставила картонку и принялась лихорадочно выкладывать на стол свертки. От вида тяжелой бутылки шампанского глаза матери напряглись, и она недобро поглядела на дочь.

Рядом с бедной елочкой лежали нарядные коробки и свертки. Два пакета развернулись, обнажая розовую ветчину и сыр. Странно блестело золото и серебро булочных этикеток и коробок.

— Что это, Инга?

Опустив руки, девушка испуганно смотрела на мать.

— Я не знаю, мама.

— Кто это тебе прислал? Откуда этот мальчик?

— Это — не мне, мама.

— Ты лжешь! Отвечай сейчас же, — кто это тебе прислал? — по изможденному лицу женщины прошла болезненная гримаса, она закашлялась.

Девушка со слезами повторила:

— Я не знаю, мама.

— Это — русское! Русское вино! Русские буквы! Видишь! — голос матери переходил в крик.

— Ради Бога, успокойся, мама! Клянусь тебе, я ничего не знаю!

— Не трогай! Все поганое, все краденое! Сейчас же собери и выброс! Сейчас же!

Девушка стала складывать свертки в картонку. И только тогда заметила записку. Увидела и мать.

— Что это? Сейчас же отдай! — схватила и трясущейся рукой поднесла к глазам. Потом растерянно посмотрела на картонку, на дочь и, обессилев, откинулась на спинку кресла. Ее худые и темные губы что-то шептали. Девушка записку взять не решалась. С первого мгновения она поняла — это от него. И продолжала стоять у столика, глядя на мать.

— М-а-ама!

Женщине стало дурно. Дочь бросилась за водой и, не зная, как помочь, испугавшись, стала целовать безжизненные руки матери. С трудом перетащила мать на кровать, укрыла одеялом и, став на колени, принялась гладить седую голову и похолодевший лоб. Записка лежала на полу у самой кровати — и девушка прочла.

Мать мутными глазами смотрела прямо перед собой. Казалось, что она еще не пришла в себя, но вдруг сказала, с трудом выговаривая слова:

— Инга, поклянись мне, что ты не знаешь, от кого этот вейнахтсгешенк.

— Клянусь, мама, — торопливо ответила дочь и тут же снова подумала, что, наверное, — от него, этого высокого русского офицера, что живет над ними.

— Это, наверное, майор сверху.

— Не знаю, мама. Я никогда не разговаривала с ним. Соседи говорят, что он хороший человек.

Женщина скосила на дочь глаза.

— Мы не можем, Инга... Он носит мундир убийц твоего отца и, может быть, твоего брата, моего мужа и сына... А что они сделали с нами? Мы не можем, бедная моя девочка!

— Да, мама.

— Ты должна вернуть ему это.

— Хорошо, мама... — потом тихо добавила: — Он написал то же, что сегодня говорил пастор. Может быть, в России такие же, как он, люди, помогут Петеру.

Девушка знала смертельную тоску матери о сыне, ей не хотелось обижать этого офицера, о котором столько раз думала, особенно, когда он играет на верху, и, что всегда поражало, — ее любимую «Лунную сонату».

— Может быть, тебе стоит поговорить с ним, и он подскажет, куда нам писать о Петере?

Женщина промолчала. Где-то далеко на улице раздался выстрел.

— Отец не простит нам, Инга... И Петер не простит...

Девушка не ответила.

Мать глядела в потолок. Потом из глаза, который был виден девушке, медленно показалась слеза и, скользнув по морщинистому виску, упала на подушку и расплылась.

Погас свет — обычное выключение сети их района. Только окно серело вырезанным в темноте четырехугольником. Мать и дочь молчали, каждая думая о своем.

Под окном, громко разговаривая, прошли подростки. Проехал автомобиль: со стены, через потолок, ломаясь на углах, на противоположную стену проплыла светлая тень.

— Зажги свечи, Инга. Встретим нашу рождественскую ночь... Простит нам Господь Бог.

Мать, с помощью дочери, поднялась, села за стол; подвинула к себе картонку и стала медленно вытаскивать и медленно разворачивать свертки. Девушка стояла рядом и смотрела на мать. Потом принесла тарелки и две чашки.

От вида давно забытых яств: ветчины, колбасы, икры, сыра, сладостей глаза женщины заблестели, руки дрожали больше обыкновенного; не удержавшись, она стала пробовать то одно, то другое.

Когда стол был готов, а аккуратно завернутые пакетики убраны в шкаф и за зимнюю раму, девушка откупорила бутылку со странным названием «Узбекистон» и налила в чашки темного густого вина. Шампанское мать решила продать на черном рынке, где за него можно было получить 300 марок.

— Фроэс фест! Счастливого праздника, мама.

— Фроэс фест, мое бедное дитя! Будем верить, что Бог когда-нибудь сделает людей братьями.

Она сказала это для дочери. Для нее «братьями» были ее знакомые, соседи, немцы. Поляки, русские и все другие, кого она называла «славинер», в это число не входили.

Вино было сладкое. Сразу захмелев, мать накинулась на еду. Чуть слышно потрескивали свечки, тихо колебались красноватые язычки пламени. Мать стала рассказывать, как ели у них в доме, когда Инга была еще девочкой, как Рейнгольд — отец Инги, — возвращаясь из плавания, иногда привозил икру. Инга хорошо помнила это — она уже училась в гимназии. Тогда они жили в своем большом доме, и мама была красивой и молодой. «Как она постарела после известия о гибели папы и от всего, что было после».

Мать говорила что-то о Петере. Девушка не слушала и думала о русском наверху. От света свечей лицо женщины было темным, как на портретах Рембрандта. Лицо девушки от вина похорошело, румянец на смуглой, чуть с желтизной коже стал ярче, девичий рот потемнел. У нее было лицо, которое редко встречается в Германии, разве что в Тюрингии, густые каштановые волосы и темно-серые глаза в черных рамочках ресниц, брови — темные, вразмах; немного крупный рот и тупой, хотя и прямой, с хорошо очерченными ноздрями нос. И нежные линии подбородка.

Было далеко за полночь. Мать спала, похрапывая в подушку. Девушка лежала рядом, заложив руки за голову, и смотрела в темноту. Откуда-то издалека, ввинчиваясь в тишину, появился звук автомобиля. Он нарастал, приближался, но светлая тень проплыла по стене, потолку, и автомобиль проехал мимо.

Где-то за стеной пробило два. На улице послышались хрумкающие шаги по подмерзшему снегу, и она сразу узнала их. Шаги подошли к парадному, в замке защелкал ключ. Ключ плохо подходил и проворачивался. Она вспомнила, как однажды он долго не мог отпереть дверь, и она решилась ему открыть. И как он узнал ее в темноте и тихо сказал: «Филен данк, фрейлейн», и как она покраснела, — она всегда ужасно краснела, встречаясь с ним. Странно, что у того в подвале были такие же глаза. Глаза других солдат она не помнила, — по рассказам, уже потом, узнала, что их было шесть человек: она потеряла сознание, но мать, которую насиловали другие солдаты, видела и помнила все, что сделали с Ингой.

Ключ все проворачивался. Инга подумала: что если встать и открыть ему? И хотя она знала, что этого не сделает, и тело ее продолжало лежать рядом с матерью, но девичья мысль ее вскочила и побежала открывать...

Ему, наконец, удалось отпереть, и дверь хлопнула, закрываясь. Девушка задержала дыхание и слушала, как скрипели ступени лестницы под тяжелыми шагами. Немного спустя те же шаги раздались над головой. Она снова думала о том, что он всегда один, не похож на других советских офицеров, которых встречала на улице. Скоро шаги наверху смолкли, и все стихло.

— Гуте нахт, — про себя сказала девушка, повернулась спиной к матери и прижалась лицом к подушке.

4. НАЧАЛО КОМАНДИРОВКИ

Федор еще раз проверил чемодан: пара теплого белья, новый китель с орденской планкой, выходные сапоги, записная тетрадь, неразлучный томик Блока, несессер и две запасные обоймы патронов, — кажется, все. Не забыть бы меховую шубу — на дворе похолодало, а отопления в автомобиле не было.

Рядом стояла картонка с покупками и подарками.

Пришел Карл.

— Машина готова, герр майор. Бензина на обратный путь не хватит.

— Ничего, Карл, в дивизии достанем. А как насчет уборщицы — узнал?

— Уехала, герр майор.

— Жаль. Придется квартиру оставить без присмотра.

Карл взял чемодан и картонку. Федор надел кожаное пальто, запер квартиру и пошел, натягивая перчатки, по лестнице вниз.

Дверь в партере была приотворена. Федор вспомнил про подарок — не подумали бы чего плохого. И в туже минуту дверь распахнулась, и она — его сероглазая соседка, глядя на него снизу вверх, шагнула через порог.

Ему всегда было приятно встречать ее, приятно видеть, как вспыхивал румянец на по-девичьи полных щеках, как опускала лицо свое под шапкой густых, «толстых», как назвал он, волос. Но он старался смотреть на нее незаметно, чтобы не смущать ее.

На этот раз девушка сама смотрела на него.

— Герр майор, извините, пожалуйста, — проговорила она быстро, и от волнения остановилась.

— Пожалуйста.

— Я хотела от моей мамы и от себя поблагодарить вас за рождественский подарок.

Настала очередь краснеть Федору.

— О-о, пожалуйста... не стоит благодарности... Это, собственно не я...

— Нет-нет, герр майор, я знаю — это вы. Мама послала меня поблагодарить вас...

Федор, стараясь справиться со смущением, неожиданно для себя спросил?

— А ваша мама дома?

— Да... если вы... пожалуйста...

Не понимая, зачем он это делает, Федор пошел по темному коридору к открытой двери.

Седая дама сидела в кресле и смотрела на вошедшего.

— Гутен таг, гнедиге фрау.

— Гутен таг, герр майор.

«Глупо», — подумал он и снова смутился.

— Я пришел, гнедиге фрау, не для того, чтобы выслушать благодарность. Я хотел столько сказать, что сделал это от всего сердца, что мы на самом деле все люди и... Бог один... — и совсем покраснел. «Ничего это тебе не стоило, и это ужасно глупо. Ханжа!» — мысленно выругал он себя.

Немка впервые видела русского офицера — человека с застенчивостью молодости.

— Я верю вам и поэтому благодарю вас.

— Этого вполне достаточно... Не поймите меня плохо, просто я слышал о вашем несчастье...

Он старался произвести впечатление «культурного», как говорили в армии, офицера и хорошего человека, и не столько потому, что это был он, сколько потому, что был русским перед немцами, у них же в доме.

Немка, услышав о своем несчастье от чужого, потемнела.

— Это так не похоже, извините меня, на советского офицера. Я рада, что нет правил без исключения.

Федор вспомнил, что почти то же самое говорил ему вчера Карл, и так же ответил:

— Каждый народ имеет хороших и плохих людей, гнедиге фрау. К сожалению, в последнее время людей, плохо поступающих, становится больше, но виноваты ли они в этом? Мне стыдно за плохие поступки наших солдат, но, клянусь вам, вы многое простили бы им, если бы знали их жизнь.

Он не подозревал размера прощения, которое требовал от этой женщины.

— Мне трудно это — мой муж погиб от русской мины, мой сын умирает в плену в Сибири... — резким шепотом проговорила она.

— Я понимаю, — мой отец погиб от немецкого снаряда после первой мировой войны, когда немецкие войска пришли на Украину, моя мать умерла от лишений во время немецкой оккупации в сорок третьем году, — ответил Федор, и щека у него дернулась.

Старуха оглядела его, — не прощая и даже не сочувствуя ему.

Федор почувствовал это и добавил:

— Жизнь жестока ко всем. Только мы сами можем помочь друг другу.

Старуха отвернулась к окну.

— Вы молоды, у вас есть силы и положение победителей, — проговорила она, глядя в окно на голые ветки дерева, — а мы, все потерявшие, чужие, обуза для окружающих... Я больна, дочь моя молода, но что она может, когда кругом все разбито... Ездит в Тельтов разбирать картофель...

Федору стало чуточку неловко оттого, что она от большого горя перешла к житейскому.

— Поверьте, многие из нас с готовностью помогли бы людям в нужде — русские знают горе, может быть, больше, чем кто-либо другой на земле, но страх наказания за обыкновенную человечность удерживает их. Политика — бесчеловечная штука... Я был бы рад помочь вам чем-нибудь.

Немка пытливо поглядела на него.

— Например, вашей дочери незачем ездить в Тельтов. Мне абсолютно не стоит труда найти для нее работу здесь, в этом районе, в каком-нибудь немецком учреждении или фирме. Сейчас я уезжаю на несколько дней, а когда вернусь, скажите о вашем решении, — Федор невольно и говорить старался, подражая какому-то старому прусскому офицеру.

Вспомнил об уборщице. Но тут же подумал, что предложение места уборщицы для ее дочери, да еще в его квартире, может обидеть старую даму.

— Это очень благородно с вашей стороны, герр майор, — я знаю, как трудно сейчас с чистой работой, мы будем рады любой черной работе, только бы это было рядом: мне трудно оставаться одной.

Тогда Федор решился.

— Я мог бы предложить вашей дочери работу здесь, в доме, — Федор поторопился, — хотя бы на время моего отсутствия. Женщина, следившая за квартирой, уехала. Мне все равно нужно кого-нибудь нанимать. Нужно следить за квартирой, топить печь и записывать, если кто позвонит по телефону. Если это вам подойдет, мой шофер расскажет остальное.

Женщина, разглядывая Федора, думала, что работай Инга здесь же в доме, они всегда будут вместе, и кормиться будут из кухни этого офицера.

— Это очень благородно, — повторила она с полным отсутствием благодарности в голосе.

— Не вам, а мне нужно благодарить, — я беспокоился о квартире.

На девушку Федор не смотрел. Она стояла у кафельной печки, и ей было неловко за мать, как это бывает с очень молодыми людьми. Федор обернулся к ней и сказал:

— Разумеется, если вы согласны, и если это...

Она потупилась, что-то пробормотала, потом взглянула снизу вверх — он угадал по ее взгляду — «Я знала, что ты — хороший».

Федор поторопился откланяться.

Карл сидел за рулем и недоумевал, что могло задержать хозяина.

— Карл, эта девушка согласна присмотреть за квартирой. Вот ключи, расскажи ей, что и как, где уголь и прочее. Условия, скажи, такие же, как и той уборщицы, но не говори, что сто марок, скажи — сто пятьдесят. Или двести...

Карл как бы со стороны посмотрел на хозяина, — он знал, что случилось с матерью и дочерью здесь, в Берлине, — молча взял ключи и вылез из автомобиля. Федор сел на его место и включил мотор.

Через несколько минут Карл вернулся. Уступая шоферу место, Федор весело сказал:

— Вперед, Карл!

Автомобиль дернул. Федор быстро оглянулся и скорее угадал, чем увидел, в окне, за занавеской, девушку.

И только, когда выехали на берлинское кольцо автострады, вспомнил:

— А шубу-то, Карл, забыли!

— Майн Готт, герр майор! Что же делать?

— Ничего. Оказывается совсем не холодно.

Скоро по сторонам автострады замелькали однообразные зимние картины Средней Германии. Карл вел машину ровно. Езда успокаивала.

Федор стал думать о предстоящей поездке.

5. В ДИВИЗИИ

В Нордхаузен приехали вечером. Улицы лежали в развалинах. Делая объезды, расспрашивая прохожих, выехали на освещенную улицу, перегороженную шлагбаумом.

Федор вылез и, разминая затекшие ноги, пошел в бюро пропусков.

Скучавший за столом сержант вскочил и радостно заорал:

— Здравия желаю, товарищ гвардии майор!

— Здравствуйте, Голин!

Федору было приятно, что сержант сразу узнал его. Сержанту было приятно, что майор помнил даже его фамилию. На Федора пахнуло прошлым. Ему самому было приятно, что он вспомнил фамилию сержанта, хотя тот был из разведки.

— Здравствуйте, Голин, здравствуйте! — он подал сержанту руку, и тот пожал ее со вниманием, за которым Федор, как прежде, угадал солдатское уважение.

— Вот обрадуются наши! — улыбаясь большим ртом, сказал сержант. — Давно вас не было, товарищ гвардии майор.

— Давно, Голин. Целую вечность будто не был.

— Разрешите, я провожу вас, товарищ гвардии майор?

— Куда же вы меня проводите? Надо ведь пропуск — я теперь чужой.

— Что вы, товарищ майор, какой вы чужой! Товарищ гвардии генерал-лейтенант будет рад...

— Нет, Голин, вы к генералу меня не ведите, а вызовите-ка лучше мне подполковника Трухина.

Сержант с готовностью принялся звонить по полевому телефону, но Василия не было ни на квартире, ни в кабинете. Голин сердился на задержку и кричал телефонистке:

— Немедленно разыщите! Обязана знать, где находится начальник связи!

Но телефонистка, видно, ответила ему такое, что ему пришлось сменить тон:

— Милушка, да его просит товарищ гвардии майор Панин... Ну да... он самый... — и от удовольствия даже подмигнул Федору: — Теперь мигом найдет. Это наш старший сержант Лиза. Привет вам передает, товарищ гвардии майор.

В комнату вошел незнакомый Федору капитан. По красной повязке на рукаве — дежурный офицер. Покосившись на погоны Федора, капитан козырнул. Постное лицо его задержалось на улыбающемся Голине. Усмотрев нарушение дисциплины, спросил Федора:

— Вам что угодно, товарищ майор?

Федору стало неприятно, хотя он понимал, что новый в дивизии офицер не обязан знать его.

— Мне нужен подполковник Трухин.

— Начсвязи на политзанятиях. Освободится через час.

Сержант посмотрел на Федора, словно прося извинить его за дежурного.

— Спасибо, товарищ капитан. Я подожду.

Федор сел на скамью.

Резко зазвонил телефон. Капитан взял трубку.

— Да? — и с любопытством поглядел на Федора. — Телефонистка передает, что начсвязи сейчас будет.

Голин, стараясь скрыть злорадство, уткнулся в бумаги.

Хлопнула входная дверь, в коридоре загрохотало, и в комнату медведем, в гимнастерке, ввалился Василий.

— Федя! Дружище!

Обнялись и принялись увесисто хлопать друг друга по плечам.

— Что же ты, подлец, не предупредил?

— Хотел неожиданно нагрянуть.

— Юберрашунг! Вот здорово!

— А ты потолстел, Вася.

— А ты похудел!

Голин что-то рассказывал дежурному на ухо.

— Что же я, дурак, держу тебя! Пошли!

Федор вспомнил о Карле.

— Вася, а с машиной как?

— Поставим в автобатальон.

— Но у меня шофер немец.

— Это хуже. На территорию городка ему нельзя. Придется в немецкий отель. Я сейчас позвоню коменданту.

Не обращая внимания на дежурного, Василий пошел за барьер, набрал номер на городском аппарате.

— Говорит подполковник Трухин. Надо одного немца устроить в гостиницу. Что? Это шофер бывшего начальника инженерной службы, а теперь вашего брата — коменданта. Что? Федя, машину тоже с ним? — Федор кивнул. — Да, и машину. Что? С едой устроим. Что?.. запиши, сержант, — «отель Бангоф». Спасибо... Порядок. Пошли, Федя!

Напомнить о пропуске дежурный не решился.

На улице, у автомобиля, разговаривая с Карлом, стоял солдат — Саша, посыльный Василия.

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Здорово, Саша! Как жизнь молодая?

— Все в порядке, товарищ майор! Прикажете вещи с собой, или в машине? . .

Василий оборвал солдата.

— Вещи мы сами возьмем, а ты смотайся с шофером в гостиницу — дежурный комендатуры должен распорядиться.

— Пожалуйста, Саша! Карл парень хороший. Накорми и, вообще, возьми над ним шефство.

— Есть, взять шефство!

Пошли по освещенной улице. Весть о приезде Федора каким-то образом обогнала его — встречные солдаты козыряли — «старики» громко приветствовали, новенькие рассматривали. Знакомые офицеры здоровались.

— Хорошо, Вася, в дивизии. А?

— Хорошо-то оно хорошо, да не очень — не война.

Василий занимал две комнаты, обставленные случайной мебелью. На этажерке с книгами стояли фотографии, на некоторых Федор узнал себя, и это было приятно.

Василий вышел «распорядиться», как он сказал, а Федор по-домашнему развалился на диване, радуясь предстоящим встречам.

Через час друзья сидели за столом, заставленным закусками и бутылками.

Василий всем сказал, что Федор устал и отдыхает.

Они уже начали вторую бутылку. Федор слушал облокотясь на стол. Василий говорил:

— Вот такие-то дела, Федя. Съездил я, брат, в отпуск, а получился не отдых, а беда. Сам знаешь, на крыльях летел — шесть лет не видел! Мать выбежала — Васенька, сыночек, а сама плачет, целует и плачет, вцепилась вся, от себя не пускает... Постарела, маленькая стала. Соседи сбегаться стали. Потом и отец с поля прибежал. Тоже постарел здорово.

Щека Федора дернулась.

— Ну, что там говорить — обрадовались наши: и жив, и здоров, и ордена. Одарил всех подарками. Вечером гости сошлись — родственники, соседи — чуть не полдеревни. Вначале все поздравляли, председатель колхоза речугу сказал, девчата улыбаются, приятно оно, конечно. А потом, то одна баба, то другая стали плакать. Оглянулся я, а кругом все бабы ревут. Сразу-то не понял, а мать мне шепчет: «Своих мужей и сыновей убитых жалеют». Оказалось, Федя, в деревню из двадцати семи мобилизованных вернулось восемь, да и то трое калек, а один чахоточный.

А тут еще Иван Рогов приковылял — без руки и без ноги. «Угости, герой», — говорит, а сам зло так на меня смотрит. Посадил я его рядом, стараюсь ласково, а он пьет водку и молчит. А потом как закри-

чит-то, да давай с себя медали рвать и на пол бросать. «На, — говорит, тебе ваши ордена, а мне ногу и руку отдай! Какой, — говорит, — я работник вам — от работы меня никто не освобождает! Вон председателю давай работу, трудодни, а у меня трое ребят да жена! Что я с культяпками сработаю!» Ну, и получилась с моего веселья не радость, а слезы.

Ушли гости, стал я своих расспрашивать. Бабы да старики с детворой всю войну, как лошади, ломали, без мужиков-то: на коровах пахали, как рыбы об лед бились, думали: вернутся мужики домой — отдохнут малость, а пришло-то... Работы не убавилось, а прибавилось. Вот это лето — ломали, гнулись, а начали по осени считать — госпоставки отдали, в фонд армии — дали, в фонд пострадавших от оккупации — отдали, в фонд восстановления дали, а себе — по четыреста граммов на трудодень не осталось.

Отец мне и говорит: «Видишь ли, сынок, люди жить хотят. Люди не рабочая скотинка. Думали, правители ошибки поняли, победим и заживем припеваючи. Воевать-то больше не с кем — американец и англичанин вместе кровушку пролили. Да и земли их от нашей далеко — делить нам нечего. А вышло не так. Что ж это получается, сынок? Выходит, опять маяться? И конца этому не видно. А все почему? Потому, что не хотят правители наши жить, как все люди на земле живут».

Что я ему мог ответить, Федя? Чем мог возразить старику?

Василий встал, прошелся по комнате. Федор сидел, облокотясь на стол, и катал шарики из хлеба.

— Горюй, не горюй, Федя, — ничего не сделаешь. Лучше чекалдыкнем еще по стаканчику.

Федор выпил, не закусывая. Василий взял хвост селедки.

— Вася, а как Соня? — тихо спросил Федор.

— Я и забыл, — извини. На обратном пути заехал. Обрадовалась твоей фотографии, благодарила за подарок, просила скорей приезжать в отпуск. У нее тоже какая-то петрушка: несколько раз в милицию вызывали; допросы снимали о работе при немцах: когда твоя мать заболела, Соня работала на консервной фабрике, — на немецкую армию, оказалось, работала фабрика. Она боится, как бы не выслали... Говорит, многих арестовали. Как-нибудь обойдется, ты не беспокойся. Если что случится, она сказала, что пришлет телеграмму: больна, мол, опасно, чтоб ты понял...

В городах, где были немцы, такие чистки — беда. Как при коллективизации кулаков... Те, которых немцы на работу в Германию увезли, многие вернулись: люди на каторге были, думали, освободили мы, — помнишь, как плакали от радости наши девчата в Силезии, — а вернулись, редко кто домой попал, почти все на Урал да в Сибирь на работу, за проволоку. Пленные тоже — «изменники родины». Помнишь, как мы в окружение попали по вине штаба армии? Ну, не прорвись мы — попали бы в плен: там в штабе ошиблись, просчитались, а мы за это попали бы в «изменники родины».

Запутался я, брат, — ничего уже не понимаю. Сегодня на политза-

нятиях подполковник Комов, а он не дурак, говорил, что капиталисты из своего кризиса выход будут искать в новой войне и на этот раз против нас. Что это логика истории, мол, и Москве известно, что Америка и Англия уже разрабатывают планы войны против нас. И, чтобы выиграть будущую войну, мы должны готовиться и, если надо, захватывать стратегические позиции. А вдруг Москва на самом деле знает, что Америка и Англия готовят войну, — у них и атомная бомба есть! Не народ, не солдаты ихние — мы их видели на Эльбе, — ребята хорошие, мы даже подружились, выпивали вместе, но приехал СМЕРШ и запретил встречаться, а капиталисты хотят войны, чтобы рынки захватить. Что если это так? Тогда выходит, начальство право, что опять запрягает страну в хомут подготовки к войне. А если это не так?

Федор взял хлебный шарик, положил на ладонь и стал перекатывать с края на край.

— А может, я не понимаю, Федя? Может быть! Но говорю с тобой, как с другом. Ждал тебя, вот так! Наболело! Может, тебе не интересно? Может, ты приехал порадоваться, встретиться, а я тебе душу выворачиваю?

Федор поднял голову, посмотрел, и тихо, даже странно тихо после горячей речи Василия, заговорил:

— Что я могу тебе сказать? Сочувствую и только. Идет мир какой-то непонятной дорогой. Вот постигла мысль человеческая атомную энергию, а получилась атомная бомба. Кто знает, может быть пожрет она и людей, и самую землю. А, может, и не пожрет. Может, принесет такие страдания, что опомнится человек и наведет порядок. А может, и нет. Знаешь, как с отдельным человеком бывает: пока смерть не ахнет, все не верит, все не остановится... Наверно, так оно и будет, Вася: все знают об опасности, все будут ужасаться, пугаться, пугать, но никто не остановится... Не перекрестится. А когда гром грянет, когда на земле останутся жалкие полусумасшедшие остатки людские, тогда сделают то, что надо сделать сегодня.

Человек сейчас может спрятаться только в личную жизнь. Здесь, на Западе, это еще можно, и то не надолго, наверное, а у нас это давно чуть ли не государственное преступление.

Если останется человек на земле, если не погибнет, если есть в мире смысл, придет он, так или иначе, к такой форме, к какой должен прийти. И будут тогда люди смеяться над нами, над нашими муками, как смеемся мы сейчас, например, над нелепостью религиозных войн — тогда тоже вся Европа горела в кострах с еретиками. Подумай, был бы мир в таком положении, как сегодня, если бы победил Карфаген, а не Рим, или Наполеон, а не коалиция? Был бы! Может быть, советская власть или похожая на нее была бы не в России, а в Китае, Германии, во Франции, — это сути не меняет. Знаю одно — хочу жить, но жить негде. Ты говоришь: народ, народ! Если ты думаешь о нем иначе, чем власть, значит ты противник власти и подлежишь расстрелу. Я мало понимаю в политике, но в жизни чувствую, что я несчастен. Зачем я пошел в инженерный институт? Ведь я точные науки не очень люблю. Мне бы на литературный факультет идти. А потому,

что думал: инженерной работы много. Гиганты индустрии собирался строить, размах строительства пленил. Еще думал, что работа моя нужна, и я буду нужен, а поэтому буду иметь больше внутренней свободы, больше независимости. И ничего из этого не вышло: инженер ли, поэт ли — все равно — работяга государства! А посему — давай выпьем, Вася, сердцу будет веселей! — Федор стал наливать в стаканы. Рука его дрожала.

Хмелея, он бледнел. Василий сидел красный, как после бани.

— Федюшка, друг мой, до чего же трудно жить стало! Я часто уже жалею, что и учиться в техникум пошел. Сейчас, чем меньше понимаешь, тем лучше.

— Может быть, ты и прав, Вася. Много отдал бы я сейчас за семью, да все как-то не получается.

— Ну, так я тебе и поверил. В Берлине, чай, бабы так и бегают за тобой! Знаем тебя!

— Нет, Вася. Все не то! Душа просит большего, а ей подсовывают приложение к двуспальной кровати. Где-то же есть «она»? А, Вася?

— Обязательно есть!

— Знаешь, как в песне, — хорошая эта песня, Вася.

Жаркою страстью пылая,
Сердце тревожно в груди,
Где ты — тебя я не знаю,
Но наша любовь впереди...

Василий баском подхватил, они обнялись и запели вместе:

Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая моя,
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай...

С этой песней в тысяча девятсот сорок первом они ехали к фронту, на позиции.

— Эх, Федя! Вот только в песне и выльешь душу!

Пели еще. Все больше тоскливые и печальные песни. Живет в русской песне вековая тоска, рожденная где-то при татарском иге, в дремучих лесах и в бескрайних степях. Многое переменилось на русской земле, — дымят громадины новых заводов, стучат по полям тракторы и комбайны, а тоска в песне все та же.

И так же, как сотни лет тому назад плакал под песню удалой молодец, так же вдруг заплакал Василий и полез целоваться.

— Федя, друг мой сердечный! Один ты понимаешь.

Вошел Саша. Улыбаясь, браво доложил:

— Все в порядке, товарищ майор: Карл устроен, накормлен, даже сто грамм получил.

— Молодец, Саша. Иди сюда — выпей с нами, — Федор протянул солдату свой стакан с водкой.

Саша покосился на Василия, но тот махнул рукой.

— Вы бы прилегли, а то утром к генералу идти.

— Правильно, Саша. Укладывай. Я на диване устроюсь.

Минут через двадцать в комнатах стоял богатырский храп, да ходил Саша, убирая со стола.

6. ГЕНЕРАЛ И ГЕНЕРАЛЬША

— Входи, герой, входи.

Был генерал сед, широк в кости, красное лицо из-за густых нависших бровей казалось суровым.

— Здравствуйте, товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Федор, свежевыбритый, в новом кителе, радостно смотрел на генерала.

— Здравствуй, герой. Рад видеть тебя, — генерал задержал руку, оглядывая Федора. — Все таким же молодцом — это хорошо. Извини, что вчера не принял, у нас, брат, заседания за заседаниями — днем учение, вечером мучение, — генерал любил говорить в рифму, подражая Суворову.

Из двери справа вошла небольшого роста, полная, в широком темно-синем платье жена генерала — Наталья Николаевна. Карие молодые глаза делали скуластое простое лицо ее прятным и по-своему красивым.

— Федюшка! Вот сюрприз-то! Здравствуй, дорогой. Я и то говорю своему, — нет у него такого офицера, как ты. И краснеет все так же. Ну, пойдемте к столу.

— Я вам маленький подарок привез из Берлина, Наталия Николаевна, — Федор неловко передал банку икры и пакет с семгой. — У нас в Берлине открылся «Гастроном» . . .

— Спасибо, Федюшка, спасибо, милый!

Генерал занимал большую виллу: стильная белая с золотом мебель, белые ковры, много цветов, на стенах гравюры Дюрера.

— Хорошо мы устроились, герой? А?

— Уж и хвастается. Ты, его, Федя, не слушай. Все это чужое и нам не нужно — Бог с ним. Вы кофе или чай будете?

— Ну нет, мать! Ты это брось — приехал герой, а ты нас чаем. В Польше говорят: «Пусть чай гуси пьют», мы солдаты, а не гуси! Ты нам настоечки своей поднеси.

— Господи, да ведь утро-то!

Наталия Николаевна знала, что без настойки и наливки не обойдется, и уже приготовила, но для порядка на стол не подала.

— Славился Нордхаузен ликерами, а не устоять им против Наташиной наливки.

Наталия Николаевна расставляла рюмки и ей было приятно слушать похвалу мужа.

— Прислал мне как-то комендант города коллекцию ликеров от фабриканта — хозяина этой виллы. Попробовал — ничего. А я ему

Наташиной наливочки послал, так, по рассказам, только и говорил: «Херлих, вундербар!» и все рецептом интересовался!

— Да хватит тебе хвастаться-то, — остановила мужа довольная Наталия Николаевна.

— Ну, герой, выпьем за боевую дружбу! Наташа, а ты что? Выпей, выпей с нами!

Наталия Николаевна налила себе маленькую серебряную чарочку, свою.

— Выпьем за победу, за Россию — вот она какая стала — от Китая до Средиземного моря! А скоро и больше будет! Будет, герой?

Федор промолчал. Настойка была крепка и ароматна, на какой-то пахучей траве или ягоде. Стали завтракать. Наталия Николаевна больше подкладывала Федору. Генерал ел тоже много, то и дело подливая себе и Федору.

— Ты что, отпуск получил?

— Никак нет, товарищ генерал. Так сказать, в служебной командировке.

— Проездом, значит?

— Нет, к вам, вернее в Нордхаузен. Одному замнаркома машину послали достать.

— Вот оно как!

Федор стал оправдываться:

— Теперь время другое, товарищ генерал, — не война. Из госпиталя в хозяйственники в комендатуру послали, вот и делаешь черт знает что. Хорошо, что в дивизии побываю, вас встретил, Василь... подполковника Трухина.

— Это, конечно, хорошо. Но как же они, сукины сыны, боевого офицера — в хозяйственники?

— Говорят, что инженеры должны быть использованы по хозяйству — у меня сейчас все заводы и фабрики района.

— Ну, а при чем автомобиль?

— Комендант карьеру себе будущую делает.

— Сукины сыны! — рассердился генерал. — Слышь, мать?

— Что же ты можешь? Напиши в штаб группы или Соколовскому рапорт, может быть, переведут назад в дивизию.

— Да, переведут, держи карман шире. Они мне такого начальника инженерной службы прислали, хоть вой! Да ничего не поделаешь: Политуправление за него, член партбюро.

— Надо терпеть, товарищ генерал, — демобилизуют — дома хуже, — сказал мрачнея Федор.

— Да-а-а... Ну, а где же машину достанешь?

— Подполковник Трухин уже договорился с комендантом.

— Ну, а себе машину купил?

— Купил, товарищ генерал, опель-кадет.

— Что ж такую пиголицу?

— Нам, майорам, разрешают только четырехцилиндровые.

— Вот и мне разрешили шестицилиндровую, а я купил и хочу оформить хорьх, а он восьми цилиндров.

— Это можно устроить, товарищ генерал.

— Мне Военный Совет отказал.

— Блат сильнее Военного Совета, товарищ генерал.

— Как?! — генерал расхохотался. — Мать, слышишь, герой и здесь героем оказался — моего хорьха нам оформит!

— Да на что он тебе? Где ты будешь на нем ездить? У нас и дорог-то нет для него.

— Ничего, мать. Какой же я генерал-победитель, без трофея? Значит, поможешь, герой?

— С удовольствием, товарищ генерал. Если этим крысам приходится делать, то как же мне для вас не сделать.

— Ну, спасибо! А теперь я должен идти. Ты посиди с Наташей, обедать приходи, вечером потолкуем доскональнее.

Федор остался с Наталией Николаевной. Перешли в ее комнату. Здесь она, видно, проводила часы одиночества: вязала, вышивала. На столе лежал неоконченый пасьянс.

Она женским чутьем угадывала в Федоре какую-то нервность.

— Что, Федюшка, что-то не так на душе? Брав-брав, а в глазах тоска.

— Ах, Наталия Николаевна, все как-то вверх ногами идет.

— А ты женись. Пора семьей обзаводиться. Отвоевал — теперь семью строй.

— Да на ком жениться-то, Наталия Николаевна? Ведь Германия.

— А ты в отпуск съезди, погуляй, может быть встретишь хорошую девушку.

— Это за отпуск-то?

— Твоя правда, Федя. Трудно судьбу свою найти, а поспешишь — людей насмешишь и век будешь каяться.

В комнате рядом зазвонил телефон. Наталия Николаевна вышла.

— Я слушаю. Здравствуй, Вася. Здесь, здесь. Это тебе, Федя.

Василий сообщал, что автомобиль нашли — на территории цементного завода, в пяти километрах от Нордхаузена, — мерседес-компрессор, в хорошем состоянии, но без колес. Решили поехать посмотреть.

День был серый, моросил теплый дождик.

На безлюдном цементном заводе в огромном деревянном складе, среди нагроможденных заржавленых вагонеток, под брезентом, засыпанным для маскироки цементом и мусором, на деревянных козлах покоилось синее холеное тело мерседеса.

— Твой нарком будет доволен — красота! — Василий погладил темно-красную кожу сидения. — На таких «компрессорах», брат, сам Гитлер с гоп-компанией разъезжал.

Карла с Сашей Василий послал в Нордхаузен подыскать колеса и покрышки, а Федору сказал:

— Поедем к соседу?

— К какому еще соседу?

— Сосед этот, брат, из «органов» — майор НКВД, но парень ничего. Главное — увидишь такое... чудеса.

— Да ну его, Вася, не люблю я энкаведешников... с их чудесами.

— Кто их любит-то? Но не в нем дело: он начальник одного демонтажа — единственного на весь мир. Не пожалеешь.

— Завод?

— Сам увидишь. Поехали!

Ехать пришлось недалеко. В тумане высилась гора, дорога уходила в высокий туннель. По обочинам у въезда в туннель лежали груды ящиков, среди которых работали солдаты. Вокруг стояли фигурки часовых в фуражках с зеленым околышем — пограничники.

Часовой у будки остановил автомобиль. Пришел начальник караула, но, узнав Василия, проводил их к дому конторы.

Майор, похожий на мастерового, видимо скучал, и тут же предложил «выпить и закусить».

— Спасибо, товарищ майор, другим часом, — сказал Василий. — Я, вот, знакомого привез — он из Берлина, — и соврал для убедительности, — из ваших «смежных». Позволь пройтись по туннелю.

Майор пошел с ними.

Федор терялся в догадках: что за предприятие, которое демонтировали не немцы, а солдаты, да еще под охраной пограничников?

В туннеле на четырехосных железнодорожных платформах — «крокодилах» лежали какие-то огромные предметы, плотно обшитые «вагонкой»; на досках черные надписи: «Волгострой НКВД».

На других платформах Федор увидел гигантские цистерны.

— Неужели морские мины? — спросил он.

— А ты подумай! — Василий подмигнул майору.

— Таких никогда не видел.

— Такого, брат, и не увидишь, — засмеялся совсем довольный Василий. — Это Фау!

— Фау? Которыми Лондон обстреливали?

— Они самые!

Втроем пошли по асфальтированному тротуару вдоль рельс. Майор стал рассказывать. Туннель проходил сквозь гору — восемнадцать километров, слева в горе в два этажа шли сборочные цеха Фау-1, справа — в три-четыре этажа — цеха Фау-2. Сверху — гора, толщиною до полутора километра, — не страшны никакие бомбардировки. Союзная авиация в щепки разбомбила Нордхаузен и окрестности, не подозревая, что завод находился в горе. До конца войны завод расширялся, строительные работы вели эс эс — работали пленные и остарбейтеры.

— Но ведь здесь несколько месяцев были американские войска?!

— Ну и что ж, — по соглашению между союзниками американцы передали завод нам, — рассказывал майор.

— В полной сохранности? С готовыми Фау? — не поверил Федор.

— Не все — забрали штук сто готовых Фау и самых крупных специалистов. Остальное оставили. Даже чертежи оставили — не только Фау-1 и Фау-2, но и других, которые немцы собирались строит для обстрела Америки.

— Но это вы лишку дали — Америку обстреливать! — рассмеялся Федор.

— Да, да, — сказал майор, — называются А-9 и А-10, стреляли бы на дистанцию в несколько тысяч километров — прямо через Атлантический океан. Все чертежи были готовы.

— И американцы их нам оставили?

Василий хотел что-то сказать, но откуда-то послышался крик, громким эхом разнесшийся под сводами туннеля:

— Товарищ майор! Товарищ майор! Телефон! Из Берлина! От генерала Серова!

Майор развел в знак извинения руками и побежал между рельс по шпалам к выходу. Василий огляделся и спросил:

— Понимаешь ты их?

— Кого? — не понял Федор.

— Американцев. Отдали нам не только завод — тысячи и тысячи станков, склады готовой продукции, готовых деталей, тысячи тонн цветных металлов, не только готовые Фау, но чертежи дальнобойных ракет, которыми можно обстреливать Америку. Что они, дураки?

— Не думаю, Вася. Техника у них почище немецкой — самая промышленная страна в мире. Зачем им все это везти домой в Америку? Взяли самых крупных специалистов немцев, взяли образцы Фау, чертежи, наверно, скопировали. Сейчас их специалисты, вместе с немецкими, разрабатывают более усовершенствованные ракеты. А заводы они построят! Будут выпускать продукцию более дальнобойную и более точную. Такие ракеты, которыми смогут через океан простреливать всю территорию Советского Союза. Вот и все.

— Да я не об этом, — возразил Василий и снова огляделся. — Почему они всю эту штуковину не взорвали к чертовой матушке? Раз! — гора обвалилась бы, и все было бы похоронено на веки вечные. Что они, идиоты?

— Может быть военная хитрость, — чтобы наши строили вот такие, уже устаревшего типа заводы с устаревшими типами продукции. Ты что за них беспокоишься?

— Дело не в беспокойстве. Не понимаю. На политзанятиях в одну душу долбят: Америка теперь враг № 1, «цитадель капитализма» и прочее, — ты же знаешь, — а они — на тебе! — отдают нам такое оружие!

Федор засмеялся.

— У нас в Берлине, перед тем, как американцы и англичане заняли свои секторы, помощник по экономическим вопросам коменданта Берлина, полковник Шорохов, вызвал нас, районных, и приказал: из всех районов, которые должны занять союзники, вывезти все: машины, склады, мебель из домов — «даже ночных горшков союзникам не оставлять» — заявил он. Многое вывезти не успели — ломали, портили, спирт и бензин лили в канализацию. А они нам, видишь, завод Фау оставили. Культурный народ.

— Не только Фау! Когда мы вошли в Тюрингию, мы глазам своим не поверили: все оставили, как было: даже бензин в колонках! Через неделю ничего не стало — наши все раздербанили. Может быть пото-

му, что у американцев все свое есть, а, может быть, они верят нашим . . .

— Может быть верят, а может быть, среди них «наши» работают.

— Коммунисты?

— И коммунисты. Комендант как-то рассказал, что в Германии среди американцев немало «антифашистов», которым дали ходу во время войны против Гитлера.

— Не понимаю! — заключил Василий. — Пошли полазаем по цехам — интересно.

Они долго ходили по этажам, высеченным в скалистой породе. В одном месте даже заблудились.

На цементном заводе их поджидали Карл и Саша. Мерседес-компрессор стоял на разноцветных колесах со старыми шинами — джентльмен в темно-синем смокинге и в поношенных разных ботинках.

— Герр майор, — сказал Карл, — в моторе проводка неисправна — надо в гараж, — думаю, что дня два, а то и три понадобятся на ремонт.

— Вот тебе и на! — задерживаться на два-три дня без разрешения Баранова Федор не мог.

Вернувшись в дивизию он позвонил в Берлин. Комендант, видимо, подумал, что Федор загулял, но, заслышав о мерседес-компресоре, разрешил задержаться на три дня, напомнив Федору о котиковой шубе для замполита.

После обеда Федор поехал в бывший свой батальон. Новый командир встретил его сухо.

Солдаты были в классах. Дневальный попался тоже из новеньких и Федора не знал. Но, когда кончились занятия и из учебных классов стали выходить, застегивая сумки, офицеры, за офицерами повалили солдаты, Федора окружили, пожимали руки, расспрашивали. Федор угадывал много нового, чуждого ему, но он гнал это от себя и весь отдавался радости встречи с боевыми товарищами.

Следующими были строевые занятия. Солдаты надевали шинели и выходили на площадь. Федор вышел с ними и стал прощаться. И вдруг старшина Митюков крикнул:

— Братцы, качать гвардии майора!

И сразу десятки рук подхватили Федора, и он полетел вверх, потом вниз. Крепкие руки, которые строили с ним переправу через Днепр, через Березину, через Одер, поймали его — и снова взлет, снова падение, и снова небо, и снова руки, крепкие, мускулистые руки солдат.

Раздалась команда «Становись!»

Солдаты, оставив растрепанного Федора, стали строиться.

— До свидания, товарищи! — крикнул Федор, и ему показалось, что он больше никогда не увидит их.

— Счастливого пути, товарищ майор! До свиданья! Не забывайте! — раздались десятки голосов уже выстроившихся солдат. И Федору показалось, что и они это знают.

Вечером у генерала решили, что Василий через три дня с бумагами

на генеральский хорьх поедет в Берлин на мерседесе. Федор его встретит и устроит генералу паспорт и пропуск на хорьх.

Пили настойку, ели, вспоминали боевые эпизоды. Генерал захмелел и казался сердитым, — густые брови совсем закрыли глаза.

— Никогда не прощу ни себе, ни армии воровства твоего награждения, герой!

Он называл Федора героем с тех пор, как тот со своим батальоном под огнем авиации и артиллерии немцев навел переправу через Березину, отбил атаку пехоты противника, продержался до подхода танков, за что был представлен генералом к «Герою Советского Союза». Федора наградили только орденом Ленина.

— Будь ты партийный, носить бы тебе золотую звезду. Но для меня ты герой!

— Скис, товарищ генерал.

— Что так?

— Отстал от армии, или почему другому, может, от войны устал — не знаю.

Генерал поднял брови, и стали видны его неожиданно голубые, по-детски ясные, глаза.

— А ты, мать, говоришь — женить, — он посмотрел на Василия, — этот тоже гнуться стал.

Брови опустились. Генерал расстегнул ворот.

— Да-а-а... Вот что я вам, орлы, скажу: жизнь в наше время пришла в такое положение, что стала, как армия. Вся страна — армия, все население — солдаты. Правильно или нет, не наше дело, есть приказ — выполняй! Дисциплина армии — нелегкая штука, но привыкнешь и не замечаешь — всю жизнь проживешь, не подозревая, что можно жить иначе. Случается, нет у человека призвания к военной службе, не лежит душа, а его на действительную призвали. Трудно его сломать — целая наука! Не привыкнет: или убежит — тогда военный трибунал, или калечит себя — тоже трибунал, или самоубийством кончает. Вам это плохо известно — вы офицеры хорошие, но военного времени. Так сейчас и в жизни: не можешь приспособиться — погибнешь. Убежать из жизни некуда. Единственное спасение — не рассуждай, верь в устав, выполняй приказы! И только так.

— Разрешите, товарищ генерал, — не выдержал Василий, — почему же одни мы на свете должны жить, как армия? Почему другие живут без казармы?

— Это уже рассуждение. Я сказал — без рассуждений. И кончим об этом. Ты как, герой, стихи пишешь?

— Иногда, товарищ генерал.

— Вот это хорошо, но только, если для себя. В себе и поэзией можно заниматься, выносить на люди — или поэзия погибнет, или сам погибнешь. А теперь, орлы, спать. Не забывайте, что говорил про армию, — и опять поднялись брови и опять стали видны голубые глаза. — А еще, на прощанье, скажу вам стихами, хотя и не к лицу генералу лирические стихи:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои,
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне.

7. КАТЯ

Рано утром Федор поехал в Лейпциг. После Рождества немцы еще не торговали, но без шубы замполиту Баранов сказал не возвращаться. Да и Соне шубу захотелось купить. Федор шел по Николайштрассе, когда его кто-то окликнул. У тротуара из окна автомобиля махала женская рука. Федор узнал жену Марченко.

Марии Ивановне были известны все торговые фирмы и магазины Лейпцига: часа через два Федор купил не две шубы, а три — черные, «под котик». Хозяин магазина вначале не хотел продавать, но Марченко напугала его, шепнув, что Федор из комендатуры, — хозяин подумал, что из комендатуры Лейпцига. Третью шубу он купил для продажи: в Союзе такая шуба стоила около десяти тысяч рублей, здесь — всего восемьсот марок — четыреста рублей.

Покончив с покупками, он хотел пообедать и ехать в Берлин, но Марченко настойчиво приглашала его отобедать к себе, — они жили под Ошатцем, по дороге на Дрезден. Федору ехать не хотелось, но и возвращаться в комендатуру, имея разрешение полковника еще на два дня, тоже не хотелось. К тому же пообедать в Лейпциге приезжему офицеру было непросто — надо ехать к дежурному городской комендатуры, объяснять причину приезда в Лейпциг, ехать за талонами, потом в отель «Фюрстенгоф», а там и время обеда могло кончиться. Шофера немца накормить было совсем невозможно. И проголодавшийся Федор согласился ехать к Марченко.

Всю дорогу Марченко, пересевшая в автомобиль Федора, не переставая говорила, так что Федор обрадовался, когда показался Ошатц.

Марченко жили на территории большой, демонтируемой, бумажной фабрики. Фабричный двор был заставлен огромными ящиками с машинами, котлами и трубами. На снегу вокруг ящиков копошились рабочие — мобилизованные жители и рабочие фабрики. Ящики подтягивали к полотну железнодорожной ветки, готовя их к погрузке.

В кабинете Марченко толпились какие-то военные. По разношерстной форме, сшитой из немецкой серой или зеленой материи, по неумению носить ее и по отсутствию наград Федор узнал «сабуровцев». Демонтажники присылались в Германию в военной форме: директоров и инженеров — полковниками, подполковниками, майорами, начальников небольших цехов и техников — капитанами и лейтенантами, мастеров и рабочих — сержантами и солдатами. В армии «сабуровцев»

не любили за их принадлежность к «тыловикам», за офицерские погоны, и при случае издевались над ними.

Однажды в комендатуре Федор встретил одного такого «полковника» — маленький, сгорбленный, в мешковато сидящей, не по росту солдатской форме с полковничьими погонами, тот стоял перед развалившимся в кресле дежурным — лейтенантом Киселевым и о чем-то робко просил. «Ну и что вы от меня хотите?» — грозно спрашивал Киселев для пущего удовольствия сидящих тут же солдат комендатуры. «Полковник» оказался профессором исследовательского института керамики. Марченко был таким же «полковником», но знакомый с военной службой в прошлом, понимал какую власть давали ему полковничьи погоны и держался с достоинством настоящего полковника.

— Федорушка, вот здорово! — обрадовался он.

Федор за дорогу продрог, был голоден и с удовольствием набросился на еду. Марченко и слышать не хотел об отъезде в Берлин.

— Успеешь! Работа не волк, в лес не убежит. Погости денек-другой. Завтра охоту сорганизуем.

Федору и самому не хотелось уезжать. Он чувствовал симпатию к этому человеку, любившему его за молодость и силу, за все то, что любил сам в жизни и безвозвратно утерял.

— Сейчас начало первого. Ты ложись и отдохни. Я закончу со своими сводками и графиками — даже здесь в Германии нет от них спасения, а вечером устроим встречу чин чином.

Федор был рад остаться один, он устроился на диване и принялся рассматривать книгу об Олимпиаде 1936 года.

Он видел эту книгу не раз — она была почти в каждом немецком доме. Но ему нравилось рассматривать фотографии того, что принадлежало к неизвестному, запретному для него, миру. В Берлине он собрал много немецких журналов за последние тридцать лет и часами рассматривал их и читал. Английские и американские журналы попадались редко, французские чаще, но больше полупорнографические, из тех, что навезли в Германию солдаты.

Где-то за стеной играло радио. Тепло комнаты разморило, и Федор уснул.

А когда проснулся, не сразу понял, где находился: незнакомая комната, за окнами темно.

За дверью кто-то шептался. Федор увидел, как стала приоткрываться дверь, потом показалась чья-то голова.

— Да он не спит! — в комнату вошла свежая с мороза в гладко облегающем коричневом платье Екатерина Павловна Рыльская.

Федор вскочил, застегивая воротник.

— Здравствуйте, соня!

Запахло хорошими духами. За Рыльской показалась Марченко.

— Ну, гость дорогой, куда же это годится: приехал и завалился спать на целый день!

— Что пристали к Федорушке! Поспал с дороги — и слава Богу, — вошел Марченко в гражданских брюках, белой рубахе без воротничка, на ногах — домашние ковровые туфли. — У него теперь аппетит

за пятерых. Посему скорей к столу. Мария Ивановна хотела тебя будить, но я ей не дал. Пойдем, жена, готовить стол.

Рыльская села за стол, вытянула перед собой в глухих рукавах руки, и смотрела на Федора мерцавшими глазами.

— Вы довольны, что я приехала? — кончики ее пальцев чуть-чуть дрожали.

— Очень рад, Екатерина Павловна.

— Вы долго будете гостить?

— Завтра уеду.

— Жалко, а я думала, Новый год будем вместе встречать у Николая Васильевича. У них здесь хорошо.

— К сожалению надо возвращаться в комендатуру.

— Барановы тоже устраивают встречу Нового года...

— Не знаю, Екатерина Павловна. Еще три дня, всякое может случиться...

Рыльская посмотрела перед собой.

— Да, вы правы, — все может случиться.

— Федя, Екатерина Павловна! Прошу к столу, — позвал из соседней комнаты Марченко.

На большом квадратном столе были расставлены богатства русской кухни: заливной поросенок, икра, солёные грибы, квашенная капуста с яблоками, огурцы, селедка под лучком, нарезанные колбасы, ветчина и другие закуски; между блюдами симметрично стояли два графина с водкой.

Федора и Рыльскую посадили рядом.

— Начнем с маленькой, — священнодействуя пробасил Марченко.

Первую рюмку под закуску выпили за здоровье хозяйки. Вторую за гостью. Немецкая девушка в белом переднике подала рассольник с кулебякой. На второе был тушеный нашпигованный салом заяц. За зайцем последовали сырники в сметане. Все это сопровождалось немецким столовым вином, от которого мужчины сразу же отказались и пили водку, настоенную на лимонной корочке.

Потом пришли двое приглашенных: начальник демонтажа соседнего завода — лысый, угловатый человек в форме полковника, с лицом неподвижным и тоже угловатым, и помощник Марченко — веселый парень с черным чубом, с погонами капитана.

О первом Федор слышал от Марченко: старый член партии, участник гражданской войны, служил в наркомате пищевой промышленности в какой-то незначительной для его партийного стажа должности. Марченко рассказывал, что Шатов, так звали соседа, пьет запоем и и известен в Ошатце тем, что напившись, ходит ночами с автоматом по улицам и пугает стрельбой жителей.

Часа через полтора настроение было подогрето. Принесли шампанское и фрукты, привезенные, как догадался Федор, Рыльской.

Она предложила тост «за исполнение желаний».

— Ура! — закричал захмелевший Марченко. Федор чокнулся с Рыльской и, отводя взгляд, увидел возле себя освещенную полнова-

тую шею и начало груди в разрезе платья. Рыльская пила медленно, будто обдумывала или решалась на что-то.

Шатов пил мрачно. Помощник Марченко бегал на кухню «помогать» немке, после чего та входила раскрасневшаяся и избегала глядеть на хозяйку. Марченко стал предлагать выпить «за красу и гордость Красной армии — Федорушку». Он заметно пьянел. Мария Ивановна подвинула свой стул к Федору.

— Федор Михайлович, вы мне обещали адрес, где можно достать настоящий персидский ковер. На продукты или на деньги — все равно.

Федор не помнил, когда он обещал ей адрес, но, чтобы отвязаться, назвал знакомого немца.

— Может быть, вы и записочку напишете, Федор Михайлович?

Федор полез за блокнотом в задний карман и, повернувшись, коснулся коленом ноги Рыльской. Он хотел отодвинуться, но не сделал этого.

— Так вот и живем, Федорушка! Подальше от царей — голова целей. Гуляй, танцуй, что твоей душе угодно — никто не настучит!

И еще что-то говорил Марченко, что-то говорила Мария Ивановна, что-то отвечал Федор, он и записку написал уже, но все в нем сосредоточилось на месте прикосновения колена с теплой и упругой ногой Рыльской. И когда молчавшая Рыльская пошевелила ногой, он не задумываясь сделал то же, и она сразу же ответила едва слышным, будто бы случайным, встречным движением. И он посмотрел отрезвевшим взглядом ей в глаза и увидел в них твердую решимость и серьезность, с какой солдаты ходили в бой, и вдруг понял, что что-то случилось, от чего он уже не имеет права уйти и обидеть эту женщину. Именно — обидеть, он так и подумал. И она это поняла и слегка побледнела.

— Федорушка! Милый! Давай споем! Катюша, что будем петь? Какие же мы русские без песни! А?

— Давайте. Но что?

— «Огонек», — предложила Марченко.

— Давайте «Огонек». Запевайте, Федор Михайлович, — приглашая на что-то более значительное, чем песня, сказала Рыльская, становясь спиной к окну.

Она была спокойна и очень красива на фоне красной бархатной гардины.

Федор впервые увидел, что у нее при сильных бедрах тонкая мягкая талия. Он отвел глаза и, глядя перед собой в тарелку, запел. Контральто Рыльской присоединилось, потом подхватили Марченко и помощник.

«На позицию девушка провожала бойца» . . .

Федор пел, чувствуя на себе взгляд Рыльской.

К концу песни Марченко стал раскачиваться в кресле и дирижировать вилкой.

Шатов пересел в кресло у книжной полки. Он взял какую-то большую книгу и, положив на колени, медленно перекладывал листы, будто разглядывал не книгу, а как она устроена.

— А знаете, как у нас в Ростове поют «Огонек»? Продолжение? — весело спросил помощник, когда пропели последний куплет. Ему хотелось поразить собравшихся.

— Давай! — пьяно махнул вилкой Марченко. Помощник озорно повел глазами.

Но вернется с позиции победитель-боец,
Выйдет ноченькой темною на знакомый крылец,
И поймет, догадается фронтовик-паренек,
Что другой уж прикуривал об его огонек.

Марченко так и грохнул:

— Вот это да! «Другой прикуривал!» Молодец!

— Как вам нравится продолжение, Федор Михайлович? — спросила Рыльская, садясь.

— А вам?

— Бывает. Такая уж солдатская доля! — и засмеялась.

«Думает, что у меня дома осталась девушка», — усмехнулся Федор.

Шатов громко хлопнул книгой и встал, пряча в карман «вечное» перо.

— Пойду, — и не прощаясь, тяжело пошел к двери.

Хозяйка глазами показала помощнику, чтобы проводил Шатова. Тот мотнул чубом и исчез.

— Ну, теперь совсем по-семейному давайте! Что будем петь? Катя, Федя?

У Федора кружилась голова.

— Я слышала, что вы пишете стихи, Федор Михайлович? Прочтите нам что-нибудь.

— Давай, Федя, скажи-ка такое, чтоб знали наших!

Рыльская смотрела на Федора, уже не скрываясь от хозяев.

— Хорошо. Не знаю, понравится ли вам —

Все ищут себе места в жизни:
Кто в несколько га плодородной земли,
Кто площадью в две-три комнаты,
Кто кресла международной конференции,
Кто в несколько строк большой газеты,
Что называется Славой,
Кто уголка живого влюбленного сердца,
Кто — о, дерзкий! — переменчивого места
В Бессмертии.
А я говорю вам: нет на земле лучше
Места,
Площадью моего тела
На зеленой траве
В тени придорожного дерева,
Или скамьи городского парка;
Нет лучше для глаз места,

Как свободное для всех небо,
И еще — теплая глубина глаз
Влюбленной женщины.

В комнате в углу стояло пианино — «для мебели». Рыльская села за него и запела: «Мой голос для тебя и ласковый и томный» . . .

Федор налил в два бокала шампанского. Закрыв Рыльскую собой от Марченко и глядя в поднятые к нему глаза, ставшие вдруг беспомощными и влажными, он протянул бокал.

— За вас, Федя, и за . . . себя, — тихо проговорила она.

Федор выпил до дна и вернулся на свое место. В голове шумело. Марченко что-то говорил и смеялся. Федор услышал имя Рыльского, и ему стало нехорошо. Мучительно захотелось избежать идущего с ночью. Он принялся пить из двух бокалов, сам с собой чокаясь.

Рыльская угадала его бегство и старалась помешать.

Марченко кричал:

— Федя, не сдавайся! Федя, пей! — и, попытавшись подняться с кресла, свалился на пол, продолжая кричать: — Федя, не сдавайся!

Федор с трудом поднял грузное тело и понес в спальню — хозяйка поддерживала ноги. Марченко пьяно хохотал и бормотал:

— Федя, не сдавайся!

Потом хозяйка провела Федора в его комнату и показала на стеклянную дверь.

— А здесь Екатерины Павловны комната.

«Сводня», — зло подумал Федор и, ничего не ответив, пошел обратно в столовую.

Рыльская сидела на диване, курила и казалась совсем трезвой.

— Садитесь, Федор Михайлович, — сказала она, подвигаясь.

Она не смотрела на него, а словно к чему-то прислушивалась.

Федор сел вплотную к ней и, почувствовав ногой ее бедро, вдруг решился: взял за округлые плечи, повернул к себе и прижался губами к ее рту. Губы Рыльской были холодные и сухие. Она закрыла глаза и показалась ему пьющей птицей. У губ и у носа лицо ее казалось сильно напудренным. Она хотела что-то сказать, но только сжала его руку и, так и не взглянув на него, вышла из комнаты.

Федор закурил. Зачем-то пошел к зеркалу. На него смотрело до неузнаваемости напряженное лицо.

— Опять? — спросил он.

Изображение передразнило.

— Ну и черт с тобой!

Изображение повторило.

— А поэтому выпьем! — налил в чей-то бокал вина и вернулся к зеркалу.

— Прозит, лишний человек XX века!

Изображение чокнулось и выпило.

И, как это случалось с ним не раз после сильной выпивки, его вдруг охватил животный голод: он стал поедать с тарелок подряд — холодное мясо, огурцы, колбасу. Набив желудок, закурил и сел в крес-

ло у полки. На столике лежала книга репродукций картин Микельанджело. На первых литографиях по диагонали были сделаны чернилами надписи. Федор вспомнил «вечное» перо в руке Шатова. На «Адаме» стояло — «расстрелять», на «Еве» — «взять на ночь», на других — «выяснить», «в трибунал», «в расход».

Федор встал, замотал головой, оглянулся — мертвый электрический свет освещал беспорядок стульев, залитую скатерть, остатки еды на тарелках. Он потушил папиросу и пошел к себе.

Проходя мимо кухни, услышал шепот помощника, по немецки:

— Утром уберешь. Пойдем!

В комнате Екатерины Павловны горел свет. Федор принялся медленно раздеваться, все время думая о том, что ему нужно туда идти. Идти не хотелось, но идти было нужно — он должен был идти, будто на это был приказ и он не мог нарушить его. Он прилег подумать об этом и... провалился.

Проснулся он от каких-то звуков. В темноте над ним белым привидением стояла Рыльская. Федор сделал усилие сбросить с себя сон, но в голове шумело и болезненно хотелось спать.

— Я... сейчас... сейчас...

Она повернулась и стала удаляться к своей двери. Федор услышал сдерживаемое рыдание и сразу проснулся.

К себе Федор вернулся, когда окна стали синими.

Потом, сквозь сон, где-то рядом звонил телефон. Никто не подходил, и телефон звонил с перерывами, ровно, словно дышал. Федор услышал чьи-то шлепающие шаги и сонный, хриплый голос Марченко:

— Слушаю... Да, я... Кто? Аркадий, ты? Здравствуй, дорогой... Катя у нас, у нас, не беспокойся...

В голосе была фальшь, и Федор сразу все вспомнил и поморщился, как от боли...

— Что?.. Спит еще — мы поздно засиделись... Разбудить?.. Пусть спит. Моя тоже еще спит... Что? Приедешь?.. Ты где?.. В Торгау? Так это же рядом! Приезжай к завтраку. Прошу. Ждем. Пока! — в голосе уже была растерянность.

Федор лежал и думал, что в комнате рядом Катя тоже не спит и слушает разговор Марченко с мужем. «Сейчас приедет он»... — ясно увидел за столом Рыльского, себя, растерявшегося Марченко, бегающие глаза Марии Ивановны и Катю, «Нет, нет, сейчас же вон отсюда!» — и вскочив, стал одеваться.

«Бежишь? Напакостил, а теперь мужа испугался?» — стало совсем нехорошо. Потихоньку отворил стеклянную дверь. Катя лежала на спине, черные волосы на подушке были разметаны. Глаза встретили глаза Федора, словно ждали их.

Пересилив неловкость, он подошел к ней и сел на край кровати. Катя взяла его руку и прижала к теплой шее.

— Я уеду. Так лучше.

Она закрыла глаза и прижала руку сильнее.

— До свиданья... Катя...

Открыла глаза, перехватила руку у плеча и зашептала жарко и устало:

— Федя, я всю жизнь ждала тебя. Когда вчера мне позвонила Мария Ивановна, — я знаю, она женщина не всегда приятная, расчетливая, но она понимает, — когда сказала, что ты у них, я бросила в Берлине все и помчалась сюда, к тебе... Вчера мы с Аркадием снова крупно поссорились. Он сейчас приедет, хочешь, — я скажу ему и прямо отсюда уеду к тебе? Хочешь?

Федор не знал, что ответить.

— Все так неожиданно, Катя... В Берлине мы встретимся... Не сердись на меня.

Она разжала руки, отвернулась к стене.

— Я сделала все, даже то, что не должна была делать... Я сделала, чтобы ты понял, как я люблю тебя... Я сделала... Зачем я это сделала?.. — почти выкрикнула она и заплакала, кусая губы. Но тут же подумала, что ему неприятно встречаться с мужем и Марченко. С надеждой обернулась. — Ты прав. Поезжай, милый... — сквозь слезы, торопясь: — Я скажу, что ты должен сегодня быть в комендатуре... До свиданья, жизнь моя, — она потянулась к нему лицом.

Федор неловко поцеловал, и она снова показалась ему пьющей птицей.

8. КОМЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА

Автомобиль быстро бежал по запорошенному снегом шоссе Дрезден—Лейпциг. Сокращая путь, Карл свернул на север, через Дален. Выглянуло тусклое зимнее солнце.

Вдруг в моторе хлопнуло и затарахтело. Лопнул ремень динамо. Запасного не было. Досадуя на Карла, Федор приказал ехать на аккумуляторе.

Дежурный офицер даленской комендатуры — сутуловатый капитан — позвонил коменданту на квартиру.

— Товарищ гвардии майор, комендант города просит вас к себе.

Федору ничего не оставалось, как идти к коменданту.

— Тихо у вас, хорошо, — заметил он провожавшему его капитану, показывая на белые кусты и деревья.

— Тихо, товарищ гвардии майор, но скучно... Семью бы сюда...

Капитан до войны был учителем сельской школы. Дома ждала жена и двое детей. Тосковал, подавал заявления, обещали разрешить выписать семью, но прошло четыре месяца, а разрешения все не было.

— Молодым еще ничего: бегают по немкам, комендант живет с репатриированной, а нам, семейным, — тоска.

Комендант жил на маленьком демонтированном пивоваренном заводе, наглухо огороженном высокой каменной стеной. На звонок вышла немецкая девка — широкобедрая, неряшливая, с жирной кожей. Большая квартира была загромождена мебелью и вещами. В прихожей на шкафу лежали два аккордиона, почти в каждой комнате — по радиоприемнику. Бледный майор с припухшими глазами на обыкновенном лице, вышел из спальни и представился:

— Районный комендант, майор Носов.

Китель был увешан медалями и орденами — Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени.

Познакомились. Оказалось, воевали в соседних дивизиях. Четыре раза ранен.

Пришла «жена» — смазливая молодая женщина с усталыми темными глазами, в шелковом платье и сапогах на высоких каблуках. Глядя в сторону, подала бескостную руку и тут же ушла на кухню. Федор потом узнал, что она украинка, была вывезена немцами в Германию, при репатриации попала в сводный лагерь в Ошатце, где ПФК * проверяла репатриированных. Коменданты ближайших районов ездили в лагерь и набирали хорошеньких для «обслуги» комендатур.

Стали собирать на стол. Федор отказывался, но комендант был заметно рад новому человеку и не хотел его отпускать. Завел радиолу. Отобрал несколько пластинок — Лещенко и Вертинского.

— Только для своих, — сказал заговорщически..

«Ну, что ж, простимся, так и быть,
Минута на пути,
Я не могу тебя забыть,
Прости меня, прости».

Лицо Кати — пьющей птицы всплыло в памяти.

Вошла «жена» с тарелками на подносе. Она незаметно рассматривала Федора. «Освободили, — подумал он, — сделали наложницей, потом выбросят 'по приказу' на родину. Что ее там ждет, прошедшую военную Германию и постели 'освободителей'»?

Федор перевернул пластинку — тот же голос со слезами в горле:

«... Обо мне не грусти, мой друг,
я озябшая, хмурая птица.
Мой хозяин, жестокий шарманщик,
меня заставляет плясать ...
Вынимая билетики счастья,
я гляжу в несчастливые лица,
И под вечные стоны шарманки
мне мучительно хочется спать» ...

Комендант в другой комнате звонил по телефону.

— Товарищ майор, я приказал съездить за ремнем в Ошатц, а пока

---

* ПФК — Проверочно-фильтровочная комиссия.

давайте подкрепимся, — и он сделал широкий приглашающий жест: — Так сказать, легкий завтрак.

Опять еда — груды мяса, закусок, приправ, опять водка, опять вино. Столько лет лишенные еды досыта, советские люди, попав в Германию, старались есть, угощать, поражать едой. Так и у генерала, так и в Берлине, и у Марченко — повсюду.

Федору ни пить, ни есть не хотелось, но хозяин настаивал, обижался, так что «легкий завтрак» кончился пьянкой.

Время от времени появлялась «жена», убирала со стола и молча уходила. Когда Федор спросил ее, почему она не разделит с ними компанию, — покраснела, опустила руки и стала отказываться. Тогда комендант протянул ей стакан вина и приказал:

— Пей!

Тихо сказала:

— На здоровьечко, — и выпила, так же стоя у стола.

Собрала на поднос пустые тарелки и ушла в кухню.

Захмелевший хозяин, хвастаясь, рассказывал о своем «царствовании» в городке.

Волею войны закинутый в комендантыгородка, он быстро вошел во вкус положения. Жители, чье имущество, а порой и жизнь, зависели от воли коменданта, при одном появлении самодовольной фигуры представителя военной власти старались поскорее скрыться. Не дай Бог, если у какой-нибудь матери красавица дочь! Не дай Бог, если у кого в гараже остался автомобиль! «Непослушного» арестовывали и водворяли в подвал комендатуры, где он сидел, пока не соглашался с любым требованием коменданта. Жаловаться никому не приходило в голову.

Группы местных коммунистов даже при явном беззаконии не решались «портить отношения» с властью, Федор угадывал будущее этих «царьков». Он слышал, что в Москве готовились кадры для работы в Германии, что комендатуры по мелким городкам будут упразднены, комендантов ждала демобилизация и возвращение к себе в деревни или в рабочие поселки, где они, отвыкшие от труда, с новыми привычками к пьянству и безграничной власти, неминуемо должны были кончить тюрьмой или лагерем.

— Тебе что нужно — ты скажи, майор! Хочешь корову — пожалуйста! Хочешь бочку спирта — пожалуйста! Сахар, повидло — пожалуйста! Все равно немецкое — они у нас брали, теперь мы берем!

Разошедшегося коменданта прервало появление дежурного.

— Товарищ майор, надо бы сводки подписать.

— Извини, майор, надо сходить в комендатуру, сам знаешь — служба прежде всего!

Пошатываясь, стараясь держаться прямо, комендант удалился в сопровождении дежурного.

— Он часто у вас так? — спросил Федор, чтобы что-нибудь сказать, у поправлявшей скатерть «жены».

— Кажного Божого дня, — со вздохом, покорно ответила та.

Это Федор и без нее знал.

— А нельзя ли мне где-нибудь вздремнуть у вас?

«Жена» боком взглянула на Федора, и ему показалось, что она проверяла, не приглашение ли это мужчины ей, женщине. «Неужели она еще и спит с приезжими?»

— Я устал немного и хотел бы отдохнуть.

— Прошу, товарищ майор, до цыей кимнаты.

Она провела Федора в комнату рядом, по-видимому, «кабинет» хозяина. Везде валялись фотоаппараты, части киноаппарата, оружие, какие-то картонки с бельем, куски материи, недошытые посылки. Здесь же стоял широкий диван. «Жена» принесла стеганое одеяло и подушку.

— Про́шу, — но сама не уходила.

— Вы хотите что-то сказать?

— Товарищ майор, вы из Берлина, чи вы не чули, що с нами буде? — быстро спросила она, прижимая руки к груди.

— Домой, наверное, отправят.

— Хочь бы до дому, Боже ж мий! Уси кажуть, що пашпарты дадуть — але ничого не дають. Наши кажуть, що до Сибиру засылають... страх-то... от и сидю тут... Чи не можно там похлопотатысь? Може, допоможете, товарищ майор, вик Богу за вас молитись буду, — и она молча заплакала.

Комендант, наверно, ради хвастовства сказал ей, что Федор из берлинского СМЕРША — не меньше. Ему до боли стало жалко это замученное человеческое существо. Чем он мог помочь ей? Но, чтобы как-нибудь успокоить, достал блокнот и спросил фамилию.

— Ничипуренко, Галина, тысяча девятьсот двадцать пятого року нарождения, — вытерла рукой слезы и всхлипнув: — Вы вже попросить, товарищ майор, щоб до дому поихать.

Оставшись один Федор лежал и думал о «поихать до дому», о сотнях тысяч таких же девушек, искалеченных событиями, потерявших близких, дом и даже доверие правительства своей страны только за то, что их вывезли на работы в Германию.

Он слышал сквозь сон, как вернулся комендант, как он кричал на Галину, как та что-то тихо отвечала. Когда комендант разбудил Федора, стол в столовой был снова заставлен блюдами и бутылками.

Пить Федор отказался наотрез. Карл сидел на кухне, сытый, подвыпивший, что-то смешное рассказывал кухарке.

Комендант снова просил выпить и снова обижался, так что Федору пришлось уступить и, преодолев отвращение, проглотить три рюмки водки. Комендант пил, не закусывая и, опьянев, снова стал предлагать взять у него что-нибудь в подарок.

— Хочешь, бери вон ту картину. Ты человек образованный, и тебе она нужнее.

Большая картина изображала обнаженную женщину на фоне огромного павлина. Кожа женщины была написана так хорошо, что казалась теплой и живой.

— Из Дрезденской галереи. Когда союзники бомбили, всю галерею развезли по деревням. Эта попала в Дален. Бери!

— Спасибо, товарищ майор, картина очень хороша, но с ней под суд попадешь: знаете приказ маршала Жукова, — Федор чуть не сказал «покойного маршала», — у нас в Берлине одного офицера за гешефты с картинами на десять лет засадили, а тут из Дрезденской галереи!

— Ну ладно, тогда возьми что-нибудь — у меня вон сколько! — настаивал вошедший в раж гостеприимства пьяный майор. — Чего у вас в Берлине нет, ты скажи? Ну, продуктов хочешь?

— У нас «Гастроном» есть, спасибо.

— Ну, а мясо у вас есть?

— Столько нет, но хватает.

— Вот видишь, возьми мяса.

Думая, что все обойдется кругом-двумя колбасы, Федор согласился.

Было часов десять, когда он стал прощаться. На освещенном фонарями заводском дворе Карл прогревал мотор. Федор еще раз поблагодарил вышедших на крыльцо коменданта и Галину. Ночной полицейский открыл ворота, и автомобиль, освобожденный от тормоза, покатил с возвышенности.

Городок уже спал. Только комендатура была ярко освещена и с ее стены смотрел огромный портрет Сталина.

Когда въехали в лес, Федор почувствовал запах навоза. На заднем сидении что-то чернело и тяжело дышало.

— Что это, Карл?

— Овца, герр, майор.

— Что-о-о?

— Овца. Комендант сказал, что вы знаете.

— Вот идиот! — но тут же рассмеялся. — Что же мы будем делать с нею, Карл?

— Придется зарезать, герр майор. Она ягненая.

— Этого еще не хватало!

Если бы в пути комендантский патруль обнаружил овцу, да еще ягненную, без соответствующих документов — это грозило отдачей под суд по тому же приказу Жукова. «Попадешь на дурака — ну, и пропал. Надо выбросить».

— Останови, Карл!

Шофер затормозил. Федор вылез на снег. По обеим сторонам дороги, уходя кронами во тьму ночи, стояли сосны. Федора слегка лихорадило. «Куда же ее, проклятую? Жалко, — ведь замерзнет». И Федор снова сел в машину, решив оставить овцу в ближайшей деревне, о чем и сказал шоферу.

— Зачем выбрасывать, герр майор? Ведь в ней центнер мяса.

— За этот центнер мяса меня могут арестовать.

— За подарок коменданта?! Вы можете сказать, откуда она у вас.

— Тогда попадет коменданту, Карл.

— А кроме того, герр майор, уже ночь и до Берлина по этой дороге никаких постов. В Берлине вас все знают.

«Пожалуй, Карл прав», — подумал Федор.

В лесу снега было больше, автомобиль ехал со скоростью в сорокпятьдесят километров.

Одна канистра с бензином протекала, в автомобиле стоял удушливый запах бензина. То ли от этого, то ли от своего состояния овца задыхалась. Пришлось опустить заднее окно. Свежий морозный воздух овцу успокоил.

Федор поднял воротник пальто и стал дремать. Проснулся он, когда проезжали Торгау — большие темные казармы, красная освещенная комендатура, зимние ночные улицы, площадь с неизменной ратушей и фонтаном, снова улицы и снова темнота зимней ночи. Несколько раз впереди, в свете фар, пробегали зайцы, один раз метнулся рыжий язык лисицы, а когда въехали в лес, справа от дороги увидели козулю; животное, повернув голову, смотрело на огни приближающегося автомобиля; потом медленно, будто нехотя, вскинув задом, козуля сошла в придорожную канаву и скрылась в кустах.

Федор мысленно увидел свой маленький автомобиль, одиноко бегущий среди ночного леса. Будь это в оккупированной России — давно обстреляли бы или остановили бревном через дорогу, «Странный народ — немцы. Ни одного случая возмущения, хотя в оскорблениях от таких комендантов недостатка нет. Ни одного террористического акта, ни одной диверсии, а ведь они Германию любят не меньше, чем мы Россию ... И солдаты хорошие ... Всегда казалось, что нацистская молодежь воспитана в духе боевом и патриотическом ... Неужели все — пресловутое немецкое уважение к порядку: раз приказ о капитуляции подписан, значит надо терпеть и, пока не будет правительства и новых приказов, так и будут терпеть».

Вспомнил о недавнем убийстве двух демонтажников и шофера где-то недалеко от Лейпцига. Так же ночью в лесу их автомобиль остановил патруль — офицер с красной повязкой и солдат с флажком. Ехавшие не придали значения, что «КП» выбрал себе место в лесу. При проверке документов офицер в упор застрелил из пистолета сидящих в автомобиле. Трупы выбросили в кусты, забрали деньги, личные документы и скрылись в автомобиле. Убитых обнаружили, а месяц спустя в Дрездене был задержан «подполковник», документы которого были на имя убитого демонтажника. При задержании «подполковник» пытался бежать, застрелил одного солдата, но другой солдат патруля убил его из автомата.

По всей советской зоне оперировали банды дезертировавших солдат и офицеров.

От этих мыслей ночь стала черней, дорога глуше. Федор вынул пистолет, снял предохранитель, положил на колени. Карл сосредоточился и стал вглядываться вперед. Овца сзади временами тяжело вздыхала.

Пошел снежок. Далеко в ночи сквозь стволы деревьев замелькали огоньки.

— Ютеборг, — облегченно сказал Карл.

В Ютеборге стояла танковая дивизия. В темных окнах спящих

домов вспыхивало отражение света автомобильных фар, казалось, что кто-то в домах включал свет.

Выехали на длинную улицу. Впереди виднелся освещенный фонарем перекресток. Когда подъехали к нему, из-за углового дома выскочил солдат и замахал красным флажком. За ним вышли еще две фигуры в шинелях. Федор кивнул Карлу остановиться и взял пистолет. Автомобиль, скользя по укатанной мостовой, проехал мимо отскочившего солдата и остановился. Подбежал другой солдат с погонами сержанта и красной повязкой на рукаве. Федор опустил возле себя стекло. Разглядев погоны Федора, сержант приложил ладонь к шапке.

— Контрольный пункт. Прошу документы, товарищ майор.

Федор протянул в окно паспорт на машину, свое удостоверение и пропуск.

Сержант зашел вперед, сверил номер автомобиля с документами и, вернувшись к окну, протянул их Федору. В этот момент овца как-то особенно тяжело вздохнула. Сержант обернулся на вздох и стал пристально вглядываться в темноту заднего сидения. Он видел что-то черное, вроде шубы, но живое.

У Федора упало сердце. Сержант наклонился к открытому окну разглядеть и, — то ли от света перекрестка овце показалось, что пришли кормить, то ли от чего другого, — она вдруг высунула морду прямо к лицу сержанта и густо заблеяла: «бэ-э-э!»

От вида перед носом страшной косматой морды с нечеловеческим «бэ-э-э!» сержант испуганно отпрянул от автомобиля. Думая, что офицеры шутят над ним, только и успел сказать:

— Ну, что вы пугаете!

Не дав ему опомниться, Федор толкнул Карла, тот дал газ, автомобиль забуксовал и поехал, набирая скорость.

Федор оглянулся: два солдата подошли к сержанту, тот что-то рассказывал, показывая руками у головы.

Карл рассмеялся, засмеялся и Федор.

В этом настроении удачи доехали до Берлина. Какими-то неизвестными Федору улицами, через американский сектор, выехали к дому.

Квартира встретила теплом. Полы были до блеска натерты, ноты и книги аккуратно сложены, стол накрыт чистой скатертью. Все неузнаваемо преобразилось. Несмотря на поздний час, Федору не хотелось спать.

9. ТЕЛЕГРАММА ИЗ ДОМУ

Разбудил его чей-то вскрик. В раме двери, освещенная сзади утренним солнцем, стояла Инга.

— Ох, извините, — испуганно проговорила она и поспешно закрыла дверь.

— Не уходите! — крикнул Федор. — Я сейчас! — и стал торопливо одеваться, оглядываясь на дверь, где только что была девушка с солнцем в волосах.

В ванной было чисто, все стояло на местах: мыльницы, щетки, одеколон, вымытые стаканы. «Замечательная девушка», — несколько раз подумал, бреясь, Федор. Порезался, останавливал квасцами кровь.

— Гутен морген! — бодро, в тон настроению, утреннему солнцу, чистоте в квартире, сказал он, входя в кабинет, где Инга вытирала чернильный прибор на столе.

— Гутен морген, герр майор.

— Я напугал вас?

— Я была совершенно уверена, что в квартире никого нет. Вы, наверное, не выспались, а я разбудила вас — извините. Вы приехали после двух... — и смутилась.

— Я замечательно выспался! — Федор взял со стола фотографию Сони. — Вам нравится моя сестра?

— О, это ваша сестра? Теперь я вижу — она даже похожа на вас.

— А вы думали — не сестра?

Девушка не ответила. Сейчас ей нравилось это спокойное лицо с гладкой прической и грустными глазами: до этого прическа казалась старомодной, а глаза глуповатыми.

— Вам звонила вчера в час дня и вечером фрау-оберст Рыльская.

Федор помрачнел. Он совсем забыл о Кате, и в этом было что-то неприятное.

Инга взяла со стула белый эмалированный таз и вышла.

Федор поглядел в окно. Дерево напротив чуть покачало ветками в инее — то ли осуждающе, то ли приветствуя его. Поднялось чувство неясной тревоги, смешанной с неловкостью — чуть не со стыдом. Он зажмурился и замотал головой, как от боли.

Тайно, с детства — он никогда никому не признавался в этом — его влекли женщины Катиной внешности. Он, как бред, вспомнил набухшую, неожиданно розовую грудь, тяжелые ласковые бедра, прохладные податливые плечи... Подростком он тайно влюблялся в таких и всегда боялся, что кто-нибудь узнает. Потом были встречи, связи, но, по какому-то стечению обстоятельств, такой женщины в них никогда не было. Влюблялся он часто, но связи были недолгими, а на войне и просто торопливыми. Он не переставал ждать встречу-чудо, которая должна была его чем-то поразить и стать смыслом жизни. За книгами, в воображении *она* никогда не рисовалась с внешностью Кати. Настойчивость Кати он объяснял обычаями военной среды и привычками жен вечно занятых ответственных работников. Но ее предложение — так вот, сразу! — уйти к нему от мужа — напугало Федора. Захмелев у Марченко, он поддался этому скрытому в себе желанию. Но сходиться с ней (он даже не подумал «жениться») — противоречило всему, чем и как он жил до сих пор и как собирался жить дальше. Больше всего он не хотел сейчас встретиться с Катей: чтобы не запутывать положение, ему надо оттолкнуть ее, а это для него бы-

ло теперь самым трудным. После того, что она сказала утром, — это было бы хуже убийства, — ну, как беспомощного калеку избить.

Вошла Инга. Поставила таз. Выжала тряпку. Стала вытирать письменный стол. Федор оглядел ее и сказал:

— Я сегодня же поговорю с бургомистром района.

Девушка положила тряпку в таз, вытерла руки о передник.

— Мне хотелось бы знать, что вы умеете делать — где учились, знаете ли стенографию, машинку?

— Разве герр майор недоволен моей работой? .. — и, помолчав, быстро сказал, морща лоб: — Я окончила гимназию, музыкальную школу, знаю стенографию, машинопись плохо ...

— Нет, я очень доволен, но я обещал вашей матери устроить вас на работу в фирму. Эта работа не для вас ...

Девушка нагнулась над тазом и стала медленно выжимать тряпку.

— Мне эта работа удобна. Мама больна, и я всегда рядом ... Но если вам не подходит ...

— Вы меня не поняли. Мне просто неловко предлагать вам — образованной девушке — работу уборщицы. Но если вы согласны — я очень рад ... — Федор развел руками. — Тогда нам надо познакомиться. Меня зовут Федор Панин.

Лицо Инги порозовело, у губ, у глаз, на щеках зайчиком запрыгала улыбка.

— А меня — Инга фон Торнер.

— Ну, вот ... Очень рад.

Федор оглянулся на дерево за окном.

— Сейчас мне надо в комендатуру. Передайте шоферу, чтобы взял эту картонку и ехал туда же.

— Хорошо, герр майор, но ... разве герр майор не завтракает по утрам?

— Редко. И то обычно в комендатуре.

На дворе вовсю светило солнце, ослепительно сверкал снежок. Федор, поднимая полы шинели, перешел дорогу. Дерево кинуло сверху серебристо-солнечную сосульку, но Федор не заметил. Он быстро пошел по направлению к комендатуре. Когда подошел к большому трехэтажному кирпичному зданию комендатуры, ему стало жарко, он снова почувствовал себя бодрым и с удовольствием отвечал козырявшим солдатам.

Из ворот выезжала телега комендантской столовой. Задняя ось зацепилась за стойку, и лошади стали. Заметив Федора, солдат возница принялся хлестать кнутом по широким крупам лошадей. Кони прижимали уши, рвались, но ось не пускала.

Из ворот выскочил Валька — сержант Волков.

— Ты что, очумел? Рад, что кнут в руки попался! Чего зря коней порешь?

— Чего ж их жалеть — все одно немецкие! — крикнул, смеясь, возница.

— Балда! Виноваты они что ли, что немецкие?

Сержант взял лошадей под уздцы, подал назад и ловко вывел.

«Молодец Валька!» — Федор приветливо кивнул сержанту.

Полковник был один.

— А, Федя, заходи. Здравствуй, — он суетливо поздоровался. — Ну, докладывай, докладывай. Садись.

Федор рассказал о мерседесе и покупках.

— Значит, все в порядке. Молодцом. Сейчас позовем замполита, он артачился, но раз пальто жинке есть — затихнет. У него, между прочим, штаны носит жена.

На звонок явился секретарь

— Позовите подполковника Моргалина. Теперь вот что, Федя: тебе телеграмма. Она у Моргалина, — сказал Баранов и, подождав пока за секретарем закрылась дверь, продолжал: — Сестра заболела. Телеграмма заверена врачом.

«Вот оно» ... — Федор беспомощно посмотрел на серебряные от инея ветки за окном.

Вошел без стука замполит. Маленький, толстый, молча сунул сосиски пальцев коменданту, потом Федору и, придвинув стул, сел сбоку комендантского стола.

— Все в порядке. Пальто майор привез.

Моргалин ничего не ответил.

— Где оно у вас, товарищ майор? — спросил Баранов.

Федор не понял.

— Пальто где, товарищ майор?

— Пальто? В картонке ... дома ...

— Правильно. Завези его прямо на квартиру товарищу подполковнику.

— Очень кстати, — заговорил наконец Моргалин. — Спасибо, товарищ майор! Новогодний подарок жене. Очень кстати. Здесь вам телеграмма. Где она, товарищ полковник?

— Разве я не отдал тебе?

Баранов полез в ящик стола.

«Боялся без замполита отдать», — подумал, начиная злиться, Федор.

Телеграмма была распечатана. «Соня очень больна тчк требуется ваш немедленный приезд тчк соседка Козина тчк факт болезни заверяю городской врач Шишкина».

— Мы с комендантом решили дать вам отпуск. Работы много, но забота о человеке — правило коммунистов. Поезжайте и, если что нужно, пишите — поможем.

Федор встал и молча пошел к двери. «Соня ... Боже мой ... Соня ...»

На улице его окликнул Карл:

— Герр майор, что делать с картонкой?

Федор потер лоб.

— Отвези на квартиру коменданту. Потом приезжай домой...

И пошел, уже не замечая козырявших солдат.

Инга убирала в коридоре. Федор как был — в шинели и фуражке

— прошел мимо нее в кабинет и сел за стол. С фотографии грустно глядела Соня. «Что же делать? Что же делать?»

— Что-нибудь случилось, герр майор?

Федор взял карточку Сони.

— Сестру... — хотел сказать: арестовали, но поправился: — Сестра опасно заболела. Опасно.

— Майн Готт!

— Завтра я улетаю в Россию. Когда вернусь — не знаю. Прошу вас присматривать за квартирой. Я очень рад, что познакомился с вами. Если меня не будет больше месяца, возьмите мои личные вещи к себе. Карл вам поможет. Советуйтесь с ним, он хороший парень.

Открыл стол, вынул из ящика деньги и отсчитал 400 марок.

— Это ваше жалованье вперед.

Инга покраснела.

— Это очень много.

— Это ваше жалованье вперед, я могу задержаться.

Кто-то позвонил. Девушка пошла открыть.

— Все в порядке, герр майор, — доложил, входя, Карл.

— Ладно, Карл. Завтра я улетаю.

Федор подумал, что для хлопот понадобятся деньги и что надо продать автомобиль, но вспомнил о меховом пальто.

— Машину, Карл, береги. Поставь куда-нибудь в гараж, в западном секторе. Если кто из наших будет спрашивать, скажи, что я отдал ее в ремонт и ты не знаешь, куда. Понятно?

— Яволь, герр майор!

— Дальше: если я вдруг не вернусь вообще, бери машину себе, продай, купи другую и начинай свое дело.

— ??!!

— Дальше: вот тебе жалованье за месяц вперед. Если я не вернусь... через месяц, все мои вещи перенеси к фрейлейн фон Торнер, — мебель не моя. Если я не вернусь вообще, раздели вещи с ней и делайте, что хотите. Понятно? Я постараюсь дать знать письмом через сержанта Волкова.

— А что делать с овцой?

— С какой овцой?.. Зарежь. Мясо подели с фрейлейн фон Торнер. Теперь я напишу письма: одно отдашь подполковнику из Нордхаузена, он послезавтра приедет в комендатуру, другое отвезешь и отдашь лично, — понимаешь? — лично фрау-оберст Рыльской.

10. МИТЯ СЕДЫХ

Самолет вылетел из Адлерсхофа рано утром. Погода стояла пасмурная, до самого Минска летели в облаках. Над Белоруссией увидели землю. Рядом с Федором сидел старый генерал артиллерии. Им при-

шлось смотреть в одно оконце: далеко внизу плыла земля — ни одной деревушки, ни одного села — только печные трубы и землянки возле них; города были похожи на развороченные поломанные игрушки. И так до самой Москвы. Генерал глядел, тяжело вздыхал, отворачивался, но через минуту смотрел снова и снова вздыхал.

В Москве были в половине пятого.

Долго держали в таможне. Каждый пассажир открывал свои чемоданы и таможник выкладывал содержимое. У первого пассажира, больного полковника, отобрали бинокль и третий костюм, у второго — инженера из СВАГ — второе пальто и третью пару туфель. Федор стоял в очереди за генералом. Куча отобранных вещей на «прилавке» росла. Пассажиры пытались робко протестовать, но у очередного пассажира, полковника медицинской службы, нашли в бумажнике пятьсот рублей без оправдательного документа, пришел лейтенант НКГБ и забрал у него документы. Всякие протесты прекратились.

Генерал оглянулся на Федора.

— Не получит племянник подарка, — и показал на висевший у него на плече фотоаппарат.

Генерал вез два фотоаппарата: один внуку, а другой племяннику.

— А вы, товарищ генерал-полковник, дайте его мне — у меня фотоаппарата нет, пропустят, — шепотом сказал Федор.

Старик озорно, по-молодому оглянулся, и незаметно передал аппарат Федору. Федор подумал попросить генерала о пальто: одно не влезло в чемодан, и он вез его в отдельном пакете, но генерал сам догадался.

— Может быть, майор, и я могу чем помочь вам?

Федор нагнулся, будто поправить чемодан, отвязал пакет и толкнул его ногой к генеральским чемоданам. Генерал молча кивнул.

В это время таможенник заметил генерала.

— Товарищ генерал, генералам без очереди, — пожалуйста!

Все оглянулись. Старик хотел отказаться, но таможенник сам подошел и взял его вещи, а с ними и пакет Федора.

Из вещей Федора таможеннику не понравилась книга репродукций Рубенса.

— Что за литература?

Федор назвал.

— Немецкая?

— Да, немецкая.

— Нельзя, — таможенник бросил книгу в кучу отнятых вещей, но Федор решил не сдаваться.

— Этот художник умер триста лет тому назад! Классик!

Таможенник сердито посмотрел на Федора, взял книгу, стал перелистывать.

— Откуда я знаю, что он умер? Голые бабы — буржуазный разврат! Нельзя! — и снова кинул в кучу.

Рубенс перевернулся и упал за «прилавок».

Кругом засмеялись. Федор решил не связываться, запер чемодан и пошел в общий зал, где его ждал генерал.

— Здорово мы их, майор! — генерал был доволен удачей.

Столица поразила Федора усталыми лицами прохожих, бедностью одежды, толкотней и заметно увеличившимся числом автомобилей, больше немецких марок.

Хотел проехаться по городу — изменился ли он? Сколько лет прошло и каких лет! Но вспомнив Соню, и дело, по которому приехал, он отправился прямо на Курский вокзал.

На вокзале не протолкнуться — залы, проходы были забиты пассажирами (многие были с детьми), узлами, сундуками, чемоданами. Пахло карболкой. У касс стояли толпы — очередь занимали за три дня до отъезда, билетов ежедневно хватало только одной трети ожидавших. Достать билет через носильщика стоило в три-четыре раза дороже.

Федор пробрался сквозь толпу в зал для военных. Усталый, с красными глазами, дежурный вокзальной комендатуры предложил ему билет на завтра. Федор молча положил перед ним орденскую книжку, отпускное предписание и телеграмму о Соне. Дежурный хотел по привычке отказать, но, взглянув на Федора, махнул рукой и молча достал откуда-то из стола талон: такой все равно не отстанет — начнет скандалить, пойдет к коменданту и разрешение получит.

Поезд отходил через час. В воинской кассе очереди не было.

У входа на платформу стояла тысячная толпа, оттесняемая милиционерами. Все это должно было ринуться, как только подадут поезд. Федор в нерешительности остановился. Какой-то железнодорожник, пробегая мимо, посмотрел на него и раздраженно заметил:

— Вам-то, товарищ майор, зачем лезть? Когда уляжется, тогда и приходите — офицерские места нумерованы!

Из двери слева торопливо вышло десятка полтора милиционеров и железнодорожников. Они заняли проходы к двум соседним платформам. Подъехал запыхавшийся паровоз. Пассажиры выскакивали из вагонов, стараясь пробраться ближе к выходам, где милиционеры и контролеры уже проверяли паспорта, пропуска, командировочные. Тут же некоторых задерживали и уводили. Москва!

Вскоре подали поезд. Вагоны брали с боя. Кого-то придавили, кто-то кричал, плакали дети, визжали женщины . . .

В офицерском отделении вагона было даже пусто. Электричества не было — горели свечи. Федору досталось место в двухместном купе. Он стянул сапоги и полез на верхнюю полку. Ни белья, ни матраца не было. Под голову положил чемодан, укрылся шинелью. За окном бегали люди, просились в вагон, кондуктор однотонно говорил: «Воинский». Измученный женский голос крикнул:

— Чтоб им пусто было, этим лейтенантам!

Потом все смешалось: шум моторов самолета, печальное лицо старого генерала, вокзальные толпы, милиционеры, проверяющие документы, лицо Сони, крики . . . Отхода поезда Федор не слышал.

Проснулся он от боли в спине. Мерно стучали колеса. Светало.

Внизу храпел, укрывшись с головой шинелью с интендантскими полковничьими погонами, какой-то толстяк.

За окном в сером утреннем свете плыли снежные, уходящие до горизонта, поля. Пронесся сожженный полустанок, и снова низкое темное небо и мертвые белые поля.

Чем-то бесконечно родным повеяло на Федора от этой безрадостной картины зимних полей.

Метрах в ста от полотна шла проселочная дорога. Мимо проплыла, отчетливая на снегу, группа — лошадь, сани и фигура в полушубке и шапке. И уже когда они остались позади, Федор все еще видел клячонку с понуренной головой и человека, глядящего на поезд, на фоне бескрайнего снежного поля. Эта картина каким-то образом предельно дополнила ощущение того, что он — дома.

Мелькали сожженные полустанки и станции, бабы, укутанные в огромные платки, с кувшинами в кошелках, вороны на дорогах, поля и снег без конца, без края.

Подполковник ехал в Крым лечиться от «одышки», как он говорил. Был он шумный, плутоватый, сыпал анекдотами и все приговаривал: «А мы его за ушко да на солнышко». О своих болезнях — «одышке» и какой-то «контузии» говорил он так, будто они доставляли ему удовольствие. Вещей с ним было много, Федор даже удивился, зачем ему — в санатории.

— Э, батенька, да ведь в Крыму ничего нет — ни мануфактуры, ни трикотажа, ни обуви! Я и подлечусь, и времени даром не потеряю, — и подмигнул Федору.

Федор попытался собраться с мыслями о предстоящем. Все было неясно — даже представить Соню арестованной он не мог.

Взял со столика книгу подполковника «Краткий курс истории ВКП(б)» — это было неожидано и не похоже на толстяка.

Толстяк заметил снизу:

— Правильно, майор! Надо на зубок знать — без нее ходу нет, — и смеясь добавил: — Везде вожу с собой, но дальше двадцатой страницы никак не осваивается.

Вскоре подполковник ушел в соседнее купе играть в преферанс. Федор бездумно смотрел в окно — мягко проносились, отсчитывая расстояние, телеграфные столбы, бежали, то подымаясь, то опускаясь и перекрещиваясь, провода, косматый шар слонца, разрывая чащу леса, несся за деревьями, стараясь обогнать поезд и забежать вперед.

Кто-то без стука открыл дверь.

— Подайте безногому, товарищ офицер!

Федор оглянулся — с высоты пояса на него пристально смотрели светлые с усмешечкой глаза. На безногом была выцветшая гимнастерка с орденами «Славы» 1-й степени, «Красной Звезды» и медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». В руках — деревяшки для опоры.

Федор смотрел на калеку, тот на Федора, у обоих в глазах росло узнавание.

— Седых . . . Ты?! — первым опомнился Федор.

Усмешечка пропала, глаза сузились и стали колючими.

— Так точно, товарищ гвардии майор Панин, бывший гвардии сержант Седых, собственной персоной. Наше вам с кисточкой.

Федор подал руку. Калека посмотрел на руку, потом на лицо, снова на руку и, осторожно поставив на пол деревяшку, пожал грязными и сильными пальцами руку Федора.

— Привет, товарищ майор, если не шутите.

— Боже мой, Седых! Митя! Да входи же!

Какой-то офицер остановился в проходе у двери. Федор втащил безногого в купе и захлопнул дверь. Волнуясь и теряясь, помог ему сесть, стал угощать папиросами.

— Как же это, Митя? Сколько лет, и вот привелось...

Седых ловко закурил от спички, пустил кверху дым и посмотрел уже с усмешкой на Федора.

Федор знал эту усмешечку нагловатых светлых глаз. Вот так же они смотрели на него, когда он под бешеным огнем немцев на берегу Березины приказал сержанту Митьке Седых, самому отчаянному головорезу в дивизии, переплыть на другой берег и подавить немецкий пулемет, не позволявший приступить к наведению переправы. Приказ посылал сержанта на смерть. С этой же усмешечкой Седых скрипнул зубами и, повернувшись без обычного «есть», с гранатами за поясом скрылся в камышах. Через двадцать минут пулемет замолчал. И когда с мостом было кончено и на немецкий берег прошли танки, Федор написал рапорт о подвиге Седых. Сержанта нашли санитары раненым в ноги и увезли в тыл. Больше о нем Федор не слышал.

— Вот она «Слава» где! — Седых ткнул грязным пальцем в белую звезду, потом показал на обрубки ног.

От него разило самогоном. Он пошарил глазами по груди Федора.

— А я думал, вам «Героя» тогда дали.

— Какое там «Героя», Митя... Ты наверное, мне никогда не простишь этого.

Седых сильно затянулся дымом и, наклонившись вперед, отчего, казалось, вот-вот упадет со скамьи, с лицом налившимся кровью, прохрипел:

— Что там вспоминать, товарищ майор! «Сегодня ты, а завтра я!» — еще хорошо, что только ноги, а сколько корешков приземлилось на том свете! Сначала психовал, а потом ничего — попал в цвет! Стал ездить и торговать по маленькой, — деньжата завелись В госпитале боялся — бабы любить не будут, а вышло наоборот, ноги тут не причем. Плохо — ребятки с фронта к женам прикатили, но на наш век и вдовушек хватит. Хуже другое — «товарищи» спуску стали не давать. Раньше едешь с чувалом барахла, чтобы загнать, где подороже, — никакая зараза не прискипается! Чуть мильтон сунется в инвалидный вагон, мы его — костылями! До полусмерти долбали! А на базаре — за версту обходили лягавые нас! Теперь — крышка; засыпался с барахлишком — ну и хана — три-пять лет! Хоть бы ты «Ленина» имел. Ордена теперь не защита.

Федор достал из чемодана бутылку коньяка и закуску. Седых засмеялся мальчишеским ртом, полным белых зубов.

— Точно, товарищ майор: «боевые друзья встречаются вновь!»

Ему заметно нравилось говорить с Федором, независимо, как с равным.

Русский человек часто прячет неловкость в вине. Скоро последовала вторая бутылка.

— Куда же ты едешь, Митя?

— Домой.

— А где дом?

— Да везде! Куда ни приеду, там и дом. Везде жены-вдовушки, везде бедному калеке ласка обеспечена. Спасибо товарищу Сталину за вдовушек! Если бы, товарищ майор, не лягавые, — жить было бы можно; а так стали после войны прижимать инвалидов. Если раньше били милицию мы — теперь милиция нас бьет. Да как бьет! За старое отыгрываются. Бьют, бьют, а потом — под монастырь, в лагерь. Хоть я «Сибири не боюся, Сибирь ведь тоже русская земля», но обидно, товарищ майор, — они, заразы, всю войну отсиживались по бабам, а теперь опять наверху! Дали бы мне максим — всех мильтонов перестрелял бы!

— Как же тогда без них? — усмехнулся Федор.

— Внатуре, советской власти без мильтонов никак нельзя. Но наше время вернется, опять будем бить лягавых, и уже не одних мильтонов... Во второй не обдурят!

— А разве инвалидам не дают пособий, не устраивают на легкую работу?

— Как же, дают, дают, товарищ майор. Дадут, догонят и еще раз дадут. Вот недавно в Одессе собралась бражка на костылях да так накостыляла лягавым, что внутренние войска вызвали.

— Как же это?

— Да так, великая революция, инвалидов в городе Одессе! — рассмеялся совсем не пьяный Седых, — схватили корешков, ну, и тю-тю! Сейчас надо по маленькой. Вот милостыню собираю — офицеры дают, вдовушки жалеют, — каждый день пьян и нос в табаке. Может и пристану к какой зазнобе молочнице — «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет...»

Поезд подошел к какой-то большой станции и, стуча буферами, остановился. Седых глянул в окно, опрокинул в рот остаток коньяка и заторопился.

— Моя. Спасибо, товарищ майор, за угощение, за встречу!

Федор подумал дать Седых денег, но боялся обидеть. Когда тот опустился на пол, решился.

— Может тебе, Митя, нужны... деньги? Не обижайся...

Опять засмеялись глаза Седых.

— Нет, товарищ майор, со своих не берем. Желаю счастливого пути! — и, падая на деревяшки в руках, сильно понес туловище.

Федор пошел за ним.

В коридоре у выхода толпились офицеры.

— Дорогу инвалиду войны, товарищи офицеры! — весело кричал Седых и ловко двигался между сапог и галифе.

Федор дошел с обрубком сержанта до выхода с перрона. Остановились.

— Прощай, Митя. Прости меня...

— Бог простит, как говорили бабушки, товарищ майор! — и, засмеявшись глазами, добавил: — А я все ж пару червонцев у вас возьму и выпью за вас со своей Нюрочкой.

Федор, торопясь, достал из кармана гимнастерки смятую красную бумажку и сунул в цепкую руку.

11. С НОВЫМ ГОДОМ — С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Соседка, пославшая телеграмму, оказалась седенькой старушкой. Увидев Федора, она ахнула, закрестилась, но разглядев, заплакала.

— Господи, а я думала, — Витя наш! Летчик был, под Сталинградом убили. Такой же большой, красивый.

А когда узнала, что Федор брат Сони:

— Голубчик вы мой, дьяволы они окаянные, такую девушку забрали! Она мухи не обидит, не то что кого! Умница моя, только о покойнице и вспоминала да вас ждала. Что ж ей было родной матери голодной смертью дать померет? Ну, работала для больной матери — что ж тут за контрреволюция? На них, иродов, всю жизнь работаем — так это ничего!

В комнате Сони уже жила какая-то семья. Старушка занимала маленькую каморку — бывший чулан. Федор по дороге в Управление НКВД забежал на вокзал и заказал койку в комнате для приезжих офицеров.

Был уже двенадцатый час, а Федор все ждал в приемной начальника Управления. Секретарь — прилизанный лейтенант с тонкими ушами, что-то писал.

Зазвонил телефон. Секретарь взял трубку.

— Приемная начальника Управления... Я вас слушаю, товарищ начальник... Нет, не был... Слушаюсь... Есть майор Панин из Берлина по делу сестры Софии Паниной... Есть. Слушаюсь... — медленно положил трубку и повернулся к Федору.

— Начальник Управления может принять вас только завтра — в тринадцать ноль-ноль.

Федор поднялся и, не прощаясь, вышел из приемной. Сбежал по красной дорожке лестницы, но часовой у выхода не пропустил — пропуск не был подписан; пришлось подниматься к секретарю.

— Боевому офицеру нервничать не к лицу, — заметил тот, ставя на пропуск штемпель.

«У-у-у . . . тыловая крыса» — сжал зубы Федор. Секретарь блеснул белесыми глазами и подал Федору пропуск, не поднимая локтя со стола.

— До свиданья, товарищ гвардии майор Панин.

Федор долго бродил по сожженному и разбитому городу. Советские войска при отступлении взорвали центральную часть, бои завершили разрушение. Если в развалинах городов Германии было что-то трагическое: стертый в кирпичный порошок Кюстрин, сожженные виллы Целлендорфа, разбитые дворцы Потсдама, джунгли изуродованных труб заводов Мерзебурга, то развалины родного города были жалки и беспомощны.

Странными оказались и размеры улиц, площадей, уцелевших домов, — будто уменьшились вдвое. На месте дома, где жил когда-то Федор, лежала покрытая снегом груда кирпичей.

Знакомых в городе Федор не нашел.

Кладбище теперь расширили до рощи. Федор, проваливаясь в снегу, едва разыскал среди занесенных могил некрашенный крест. «Мама . . .» — и внутренне растерялся, не почувствовав боли. Он даже попытался эту боль вызвать в себе, но ничего, кроме холода, пустынности кладбища и невозможности поверить, что под снегом, в земле, лежала его мать, не было.

Стоял перед крестом долго, и все глядел на жестянку с именем матери, пока не заметил, что идет снег и стало темнеть. Одинокий, с обнаженной головой, покрывшейся снежинками, он еще раз обошел по глубокому снегу могилу, остановился, перечел надпись, надел шапку и пошел по снегу к дорожке, оглядываясь на темный крест.

Утром его разбудили заводские гудки. Он так давно не слышал их, что вначале не мог понять — не тревога ли?

С чувством щемящего одиночества и покинутости шел он по улице Ленина вдоль закрытого на зиму городского сада с разрушенной местами оградой. Прохожих на самой оживленной до войны улице было мало — шли, не разговаривая, уткнув лица в облезлые меховые воротники или в головные платки. Впереди, метрах в десяти от Федора, шла, осторожно ступая, высокая худая женщина в старомодном потертом бархатном пальто и такой же шляпе, повязанной сверху кашне; правую руку оттягивала тяжелая кошелка. Федора обогнали два подростка. Приблизившись к женщине, один из них — повыше ростом, — вырвал у нее кошелку, и оба бросились в пролом решетки в снежный сад. Федор, не раздумывая, побежал, скользя по утрамбованному снегу тротуара, за ними, вытаскивая на ходу из кобуры пистолет.

— Стой! Стрелять буду! — закричал он вслед скрывшимся в белых кустах спинам.

Влетев в кусты, брызнувшие холодным сухим снегом, Федор ничего, кроме следов на снегу, не увидел. Согнувшись, он пробежал еще шагов тридцать-сорок и остановился среди белых елей у восстановленного памятника Сталину.

Пришлось вернуться. На тротуаре стояла группа прохожих, женщина в бархатном пальто стояла сама по себе, а остальные — сами по

себе, и все смотрели на обсыпанного снегом Федора: повсеместные грабежи, вырывание из рук сумок, хлеба среди белого дня стало делом привычным, но погоня за воришками офицера с револьвером была не совсем обычным делом.

— Поймаешь их! — сказал Федору пожилой усатый рабочий.

— Они ни нагана, ни черта не боятся, — весело заметил парень в шинели.

— Могут и ножом пырнуть, за милую душу, — добавила старуха, прижимая узел.

— И милиции, как на грех, нету.

— Когда надо, ее всегда нет.

Пострадавшая стояла и, казалось, не слушала собравшихся. Лицо ее было бледное и неожиданно красивое. Федор сразу его узнал. Это была школьная учительница математики Ольга Антоновна — школьники боялись ее за строгость, но уважали, а мальчики влюблялись.

Федор подошел к ней, козырнул и сказал:

— Мне очень жалко, но я не догнал их, Ольга Антоновна.

Женщина осознанно поглядела на него.

— Вы меня знаете? В кошелке была картошка — получила по карточкам.

— Я ваш ученик, Ольга Антоновна, Федор Панин — выпуска тридцать шестого года.

— Вот как... Извините, но не могу вспомнить... Память...

— Вы на выпускном вечере сказали нам, что жизнь — это теорема, для доказательства которой прежде всего нужны знания. Вы даже шутливо предложили каждому из нас, кого жизнь загонит в угол, приехать к вам за помощью.

— Не помню. Только она, жизнь, оказалась не теоремой, а уравнением со многими неизвестными плюс коэффициент смерти. Простите, что я обманула вас. Меня она тоже обманула... Да... А теперь извините меня — нужно идти. Благодарю вас, что хотели помочь.

В ее лице ничто не изменилось. Федор заметил, что у нее губы обтягивали зубы. Она слегка кивнула и, все так же держась прямо, пошла по тротуару, покрытому плотным убитым пожелтевшим снегом в скользких бугорках.

— Картошку выхватили, — услышал Федор объяснение рабочего, — на карточки получила.

— Теперь неделю голодай, — сказала старуха с узлом.

Все пошли, — каждый в свою сторону. Федор постоял, отряхнул с шинели снег и тоже пошел.

Ровно в час он входил в кабинет майора госбезопасности Делягина. Крупный, с большим лицом с толстыми веками Делягин мельком взглянул на Федора и продолжал писать.

— Здравствуйте, товарищ майор государственной безопасности, — поздоровался Федор, неловко выговаривая непривычное звание.

Делягин театрально показал рукой на стул и тонким, не идущим к его большому телу, голосом сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Панин. Садитесь. Как до-

ехали? Как Германия? Как воевали? — и рассматривал Федора, думая о чем-то другом.

Федор сел. Делягин пожевал губами и вдруг заговорил резко и сердито:

— Напрасно ехали. Ваша сестра была связана с нацистской разведкой и работала против нас, в том числе и против вас. Она созналась и будет выслана.

— Я приехал, чтобы выяснить дело моей сестры, товарищ майор («государственной безопасности» решил не говорить). Она моя сестра и не могла работать против меня. Она работала на консервной фабрике, чтобы кормить больную мать. Я кавалер пяти правительственных орденов — это вам доказательство, как воспитала нас мать. После смерти матери я остался у сестры единственным близким человеком...

— Мы знаем это лучше вас, майор, — перебил Делягин. — Вы были «единственно близким человеком», говорите, а она путалась с немецкими офицерами.

Федор поднялся.

— Вы оскорбляете мою сестру! Если она работала в немецкой разведке, ее надо расстрелять, а вы говорите «высылка»! Боюсь, что мне придется ехать в Москву с жалобой самому товарищу Берия.

Делягин посмотрел на переносицу Федора и, когда тот остановился, неожиданно обыкновенным голосом сказал:

— Жалобу товарищу Берия? Ну-ну, поезжайте...

— Я требую свидания с сестрой! Мое командование предоставило мне отпуск по семейным делам, и я хочу привести их в порядок.

— Ваше командование... А вы вспомните, что вы в Советском Союзе, а не в Германии, и что партизанщина кончилась, Панин! — переходя на резкий, высокий голос заговорил Делягин: — Вы забываете, что говорите со старшим по чину! Кто вам здесь дал право требовать? Свидания с подследственными не разрешаются, — потом пожевал губами, помолчал, и опять, будто примирительно: — Я сейчас проверю дело вашей сестры, а вы подождите в приемной.

Не желая сидеть в обществе тонкоухого лейтенанта, Федор прошел в коридор. В коридоре время от времени открывались глухие двери и торопливо проходили люди в форме с папками и бумагами. Федор принялся ходить по коридору. Прошло минут десять, никто его не вызывал. «Сволочь!» — подумал он о начальнике Управления.

Мимо проходил худой сутулый офицер. Фигура показалась Федору знакомой. Офицер то же остановился и оглянулся.

— Панин! Здорово!

— Семушкин...

Федор обрадовался знакомому человеку в этом чужом и враждебном доме. Они вместе кончили школу. С тех пор не виделись.

— Да ты майор! В орденах! Поздравляю!

— А ты здесь? Давно?

— Да почти с тех пор. Ты зачем здесь?

— Да... жду вот...

— Пошли ко мне.

Семушкина Федор помнил, как посредственного ученика, но активного комсомольца.

Кабинет был небольшой и неряшливый.

— Старшим следователем в лейтенантах всю войну отбухал. Только «Красную Звезду» получил. Вам на фронте — лафа. Ну, рассказывай, какими судьбами?

Федор рассказал о Соне. Он только сейчас разглядел лицо Семушкина с синяками под глазами — лицо спящего днем.

Когда Федор рассказал о Делягине, Семушкин как-то странно поглядел на него и присвистнул. Встал, прошелся и, подойдя к Федору, взял его за орденскую планку.

— Вот что, Панин. В память юности... Я сейчас схожу кой-куда, а ты сиди здесь. Понял?

Федор остался один, не понимая, что хотел сказать Семушкин.

Минут через пять тот вернулся и молча сел напротив.

— Вот что, Панин, — дело твое — дрянь. Сестра попала под директиву 109 — ее отправят в ИТЛ, и никто ей теперь не поможет, будь она святая. Понял? Твое дело того хуже: разве можно связываться с майором — съест и косточек не останется! Ты ему пригрозил жалобой — сестре это не поможет, но Москва может майора ругнуть — не умеешь, мол, работать без скандала. Понял? И он тебя из своих рук не выпустит. Понял?

Чем больше говорил Семушкин, тем меньше понимал Федор.

— Я видел ордер на твой арест!

Федор даже привстал со стула.

— Но ведь...

— Ты брось донкихотствовать, это тебе не десятилетка! Арестуют, а там Делягин найдет под какую статью тебя подвести, — опыт у него с тридцать седьмого богатый. Понял?

— Ничего не понял.

— Короче: мотай, Панин. До тех пор, пока не выедешь за пределы области, помни, что ты в делягинских руках. Мотай немедленно. Как — это ты сам думай. Для сестры оставь у старухи денег: на еду и передачу с теплым барахлом, — я зайду и научу ее, как сделать. А ты — мотай и никуда, а прямо в Берлин. Там своя власть, так кто и заступится за тебя. А здесь — никто: раз НКВД — никто не заступится. Понял? Через полгода можешь начать хлопотать о сестре: сейчас пусть утихомирится чистка. Теперь — вот пропуск на имя Егорова. Если засыпешься у выхода, скажи, что нашел в коридоре. Понял? Большего я не могу для тебя сделать. И то в память прошлого... Помнишь, как ты Галю Сушко отбил у меня?.. Петя Семушкин не совсем скурвился.

Федор наконец понял: Соня будет отправлена в лагерь. Мелькнуло — пойти и застрелить Делягина.

Семушкин выглянул в коридор и дал знак выходить.

Часовой у входа взял пропуск, мельком взглянул на штамп и наколол на гвоздь.

Прибежав к старушке, Федор отдал ей чемодан с подарками для

Сони, деньги, себе оставил только на дорогу и одно пальто, которое решил продать в Москве..

— Постарайтесь передать Соне, что я буду хлопотать. Как приедет в лагерь, пусть даст знать на ваш адрес. Мой — вы знаете. Я тоже буду писать на ваш. Пальто продайте и купите валенки, полушубок, теплого белья, теплых чулок и побольше еды. Зайдет один товарищ, он вам расскажет, как передать. Спасибо вам за все. Я должен бежать. Никому не говорите обо мне.

На попутной машине Федор добрался до соседнего города и сел в поезд.

12. И Н Г А

Федор позвонил. Первое, что он увидел, — покрасневшие заплаканные глаза Инги.

— Вас ист лос? Что случилось?

Девушка отвернулась.

— Что случилось?

— Мейне мутти . . . моя мама . . . — только и могла сказать.

— Где ваша мама?

Девушка закрыла рукой лицо и убежала в столовую. Сбросив шинель, Федор пошел за нею, стараясь понять, что это могло значить.

Инга сидела у мирно горящей печки в кресле, уткнувшись лицом в спинку. Федор увидел креп на ее рукаве.

— И здесь . . . — по-русски сказал он.

Он подвинул стул к креслу, сел, взял Ингу за руку.

— Все мы сироты, — опять по-русски сказал он.

Она поглядела на него, не вытирая слез.

— Ваша сестра выздоровела?

— Нет, она заболела на долго — ее посадили в тюрьму.

Инга с испугом оглядела его лицо.

— Да, посадили в тюрьму, отправят на годы в концлагерь только за то, что работала во время немецкой оккупации . . . Вот так, как если бы сейчас из Берлина ушли советские войска и вас арестовали бы за работу уборщицей квартиры советского офицера.

— Это невозможно . . .

— У нас все возможно. Все . . .

Он вдруг почувствовал, как он устал за эти три недели. В Москве, когда очередная чистка, никто не берется защищать арестованного — бесполезно. Уже не держа руку девушки, а скорей держась за нее, он закрыл глаза и сказал:

— Меня тоже хотели арестовать за то, что я заступился за сестру. У нас все возможно, Инга, — он впервые назвал ее по имени.

— Майн Готт ... Я похоронила ее вчера. Всегда представляла похороны с людьми, которые прощаются ... А тут одна я ... Никого. Чужой человек отвез меня с гробом на кладбище, другой чужой закопал ее ... Я осталась одна. Шла по улицам среди мертвых руин, как по кладбищу ... Одинокий человек среди руин, а сверху холодное небо. Никого ...

— У вас никого, у меня никого, у моей сестры никого. Вы понимаете? Кому нужно это сиротство? Кому-то очень хитрому ...

Они долго сидели так, жалуясь друг другу и прислушиваясь друг к другу и к тому, что нарастало между ними, пока оно не захлестнуло и не бросило их друг к другу — заброшенных событиями, временем, судьбой, случайностями в этот изорванный, изрытый войной город, в этот чудом уцелевший дом.

Давно замолк шум горящих брикетов в печи. Давно погасли огни в доме напротив, — в темной комнате все слышались голоса Федора и Инги.

У Федора оставались два дня отпуска. Они провели их дома. Один раз кто-то звонил у входной двери. Они никому не отвечали. О случившемся, если кто и знал, то только дерево напротив, чьи сонные, казалось, ветки поднимались на высоту окон квартиры Федора.

Когда настало утро расставания, они долго прощались. Она похудела и слегка пожелтела, но еще ярче стали глаза и щеки. Он несколько раз возвращался от двери — уже одетый в шинель — и снова целовал ее.

На улице почувствовал на себе ее запах; став под деревом, оглянулся — в окне спальни, за занавеской, увидел ее, теперь дорогое для него, лицо в шапке темных волос.

В комендатуре Федора встретили приветливо, расспрашивали о доме, о Москве. Шутили, что похудел. Федор что-то отвечал, усталый, светлый, тихо радуясь, что скоро снова увидит Ингу. Но обедать пришлось с комендантом и замполитом — им тоже хотелось узнать, что нового дома. Баранов рассказал, что приезжал Василий, привез мерседес, и что он, Баранов, помог в автоотделе с оформлением документов на генеральский хорьх.

После конца занятий было назначено общее собрание комендатуры с обязательной явкой всех солдат и офицеров.

Актовый зал был полон. Председательствовал Моргалин.

— Товарищи солдаты и офицеры, повестка дня сегодняшнего нашего собрания следующая.

Первое — международное положение. Докладчик подполковник Попов из Политуправления группы войск.

Второе — приказ Главнокомандующего и Главноначальствующего.

На эстраду лихо вышел похожий на цыгана офицер в подполковничьих погонах.

— Товарищи, мы, советские люди, в результате победоносной Отечественной войны оказались далеко за пределами нашей горячо любимой Родины и являемся ее форпостами на границе капиталистичес-

кого мира. Поэтому нам, больше чем кому-либо, необходимо правильно разбираться в международном положении.

Кое-кому в мире не нравится, что из войны с фашистской Германией мы вышли не только победителями, но и на много сильнее. Империалисты всего мира и всех мастей надеялись, затягивая войну, затягивая открытие второго фронта, оставляя нас один на один со всей мощью немецких полчищ, надеялись обескровить нас, сделать нас бессильными, с тем, чтобы после войны диктовать нам свои условия. Но господа империалисты ошиблись. Наш вождь и учитель, гениальнейший полководец всех времен, великий Сталин (Моргалин захлопал в ладоши, понукая глазами собрание. В первых рядах пришлось хлопать всем) давно разгадал планы капиталистических заправил. В результате его гениальных предвидений мы с вами находимся в Берлине, в логове разгромленного нами фашизма, наши товарищи по оружию находятся в Чехословакии, в Венгрии, в Румынии. Вы можете быть уверены, что мы не уйдем, пока в этих странах не будет народной демократической власти без капиталистов и их наймитов. Когда пробьет час, мы протянем народам этих стран руку нашей братской помощи!..

Федор вспомнил довоенный анекдот, когда «протягивали руку братской помощи» народам Балтики. Возмущенный Иден спрашивает Молотова: «Когда вы перестанете протягивать руку братской помощи?» — «Когда вы протянете ноги», — отвечает Молотов.

— ... Капиталисты хотят восстановить Германию, как плацдарм против Советского Союза.

Вот почему, товарищи, нашему государству приходится, вместо долгожданного отдыха, напрягать силы страны для обороны! Новый послевоенный пятилетний план все предусмотрел, и господа капиталисты это знают. Потому и ненавидят нашу Родину; потому и стараются и будут стараться сорвать наши созидательные планы.

Все это характеризует общее международное положение. Перейдем к отдельным странам...

Докладчик стал перебирать страны Европы и Азии. Федор думал об Инге. Сзади переговаривались, зал явно не слушал — все было известно из газет, радио, политзанятий.

Доклад тянулся часа полтора. Когда докладчик кончил, все облегченно зааплодировали.

Поднялся Моргалин.

— Вопросы есть, товарищи?

Зал молчал.

— Товарищи, вопросы есть? — спросил снова Моргалин.

Кто-то крикнул из задних рядов:

— Все понятно!

— Переходим ко второму пункту сегодняшней повестки.

Моргалин взял со стола бумагу.

«Приказ Главнокомандующего Группой Советских Оккупационных Войск и Главноначальствующего Советской Военной Администрации в Германии, генерала армии Соколовского.

В связи с участившимися случаями сожительства солдат и офице-

ров группы войск и работников СВАГ с немецкими женщинами, в связи со случаями заражения венерическими болезнями немецкими женщинами советских солдат и офицеров, в связи со случаями попытки вербовки советских людей разведками иностранных государств через посредство немецких женщин,

п р и к а з ы в а ю:

1. Всему личному составу группы войск и СВАГ объявить: за сожительство с немецкими женщинами виновных гражданских лиц откомандировать в Советский Союз в 24 часа, военных лиц — подвергать дисциплинарным наказаниям вплоть до отдачи под суд военного трибунала.

2. Начальнику Комендантского Управления генерал-майору Говорову принять меры к усилению борьбы со случаями ночевок на квартирах у немецких женщин.

3. Командирам частей и подразделений сократить до минимума выдачу увольнительных офицерскому составу. Рядовой и офицерский составы должны находиться на территории своих частей.

4. Запретить хождение в немецкие рестораны, в немецкие увеселительные заведения и немецкое кино. В театрах выделить для советских граждан места отделенные от публики.

5. Разрешить командирам частей и начальникам управлений выписку семей по согласованию с Военным Советом и моим помощником.

6. Запретить военнослужащим и гражданским лицам хождение по немецким магазинам и рынкам.

7. Запретить посещение западных секторов Берлина.

Федор напряженно слушал: «запретить», «запретить», «запретить» . . .

Моргалин отпил из стакана воды.

— Объявить, что капитан Егоров — офицер комендатуры города N. за нарушение воинской дисциплины, выразившееся в женитьбе на немке, осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей.

Федор знал Егорова: мягкий, интеллигентный офицер, должен был демобилизоваться, страстно влюбился в немецкую женщину, согласившуюся ехать с ним в страшную и неизвестную для нее Россию. Запутавшись, Егоров решил обвенчаться с нею, а потом просить разрешение на выезд с нею в СССР.

Моргалин уже не читал, а говорил:

— Мы, живущие среди капиталистического мира, обязаны, как нигде, помнить о бдительности. Нас окружают шпионы, провокаторы, наших офицеров немецкие зубные врачи заражают сифилисом, «кто-то» подсылает в города, где расположены наши части, проституток-венеричек. В постелях, показывая фокусы разврата гнилой Европы, немки нашептывают о «перелестях» капиталистической жизни!

Нам, работникам комендатур, поручается борьба с этим злом. И мы искореним его! Если раньше, во время войны и сразу после войны, мы смотрели сквозь пальцы на случаи сожительства, теперь мы будем выжигать их каленым железом!

Но если это поручено нам, работникам комендатур, то как мы должны рассматривать случаи сожительства среди наших офицеров и солдат? Мне хорошо известно, кто не ночует дома, кто имеет всяких смазливых уборщиц и хозяек квартир! Предупреждаю, что мы не будем уговаривать — все слышали этот приказ. Завтра все распишутся на нем, чтоб не говорили, что не знали...

13. В КОМЕНДАТУРЕ

Все, чем жил до этого времени Федор, словно отошло и потеряло свою остроту. Даже арест Сони. Он послал старушке два письма и еще денег, с просьбой передать или переслать Соне. Желание возбудить дело против Делягина тоже угасло. Уже в Москве, советуясь с защитником, он понял безнадежность такой жалобы: выписанный ордер на его арест Делягин, после бегства Федора, конечно уничтожил. А может быть, никакого ордера и не было? Может быть, Семушкину приказали так сказать, чтобы напугать Федора, и тем самым отделаться от него? Кто знает, что и как там делается в НКВД?

Теперь, когда мысли его и желания были дома, где ждала его Инга, Федору все это казалось давно прошедшим, как то, что было на войне.

К своим обязанностям в комендатуре он приступил, но никак не мог охватить накопившихся за отпуск дел. Он и сейчас сидел в кабинете и перелистывал бумаги, совсем не думая о них. Рядом лежала копия приказа коменданта Берлина о мероприятиях по борьбе с сожительством с немками — в развитие приказа Главнокомандующего и Главноначальствующего. Федор думал о приказе, и тревога за Ингу, за их встречу росла в нем. Он старался придумать, как обезопасить ее и себя.

Выходить с Ингой из дому, бывать с нею в театрах, в кино — невозможно. В доме, рано или поздно, соседи догадаются, если уже не догадались. Кто-нибудь донесет в комендатуру. Могут прийти с неожиданным обыском, как это обычно делается. Днем не страшно — уборщица и только, но ночью! Федор придумал сделать, под видом ремонта потолка Ингиной комнаты, замаскированный люк: в случае «непрошенных гостей» Инга могла бы спускаться через люк из его столовой к себе в комнату.

Вспомнился Валька — сержант Волков. Месяцев пять тому назад Валька познакомился с молодой немкой.

Однажды Валька пришел смущенный и сумрачный. Синие его глаза бегали и не смотрели на Федора.

— Ты что такой сегодня?

— Беда, товарищ гвардии майор... Эх, все... — вдруг выругался он и отчаянно махнул кулаком.

— Что случилось?

У Вальки, как у обиженного мальчика, дрогнула верхняя губа.

— Триппером наградила, — и, озлобляясь, закричал: — Застрелю заразу!

Федор, как мог, успокоил его. Тогда страх болезни сменился обидой.

— Я всей их семье помогал, продукты таскал, кормил... Да что там, — просто влюбился. А она вон как, — и снова махнул кулаком.

Федор напомнил ему, что девушка избегала близости и что лучше всего, — объясниться с ней. Сержант утих, задумался и согласился, что лучше поговорить.

В тот же день, поздно вечером, Валька пришел к Федору на квартиру. На улице лил дождь и он пришел насквозь промокший. Федор дал ему чашку горячего кофе с коньяком, усадил у печки. И Валька рассказал. В дни падения Берлина девушку изнасиловали советские солдаты и заразили. Денег не было, и она до одурения пила олеодрон. А когда доктор сказал, что она здорова, снова стала веселой хохотуньей. Познакомившись с Валькой, пошла к врачу и объявила, что собирается замуж. Доктор посоветовал пройти повторный курс, что она и сделала. Но когда Валька пришел к ней, она по одному его виду поняла что случилось и все ему рассказала.

— Что же делать, товарищ майор? Наши нашкодили, да я и сам не без греха. Не говорила — хотела, чтоб все по-хорошему. Не виновата она, товарищ майор! — Валька махнул кулаком. — От стыда скрывала. Ну, короче, повел я ее к своему доктору. Обещал обоих вылечить за продукты.

— Как же ты с ней обо всем договорился?

— Да я, товарищ майор, со словарем ходил. Четыре часа разговаривали. Беда без языка. Я ведь и в постель словарь беру!

Так они и лечились вдвоем. Вчера сержант приходил снова, встревоженный приказом Соколовского.

— Товарищ гвардии майор, разрешите опять к вам за советом.

— Что — опять?

— Да нет, вот приказ. Моя Рудка придумала нанять квартиру в английском секторе, так я хочу, чтоб ваш Карл ее барахлишко туда вечерком свез.

«Может быть и мне нанять для Инги комнату где-нибудь в другом секторе? Но как ездить туда? В форме нельзя, надо переодеваться в штатское, и автомобиль с советским номером, и ночью могут позвонить или приехать, а меня нет. Подследят. В «шпионы» попадешь. Нет, не годится... Люк — лучше».

Суровость приказа Соколовского лишний раз подчеркивала охватившую армию волну увлечений женщинами местного населения. Сказывалась и солдатская жизнь, и экзотика, немецкие женщины были одеты в чистое «заграничное» платье, в котором в Союзе щеголяли редкие столичные жители, говорили на европейском языке, комнаты и квартиры их поражали мебелью, коврами, посудой, опрятностью. Немецкая женщина внешне была похожа на недосягаемую для солдата или офицера женщину из верхов советского общества. В интимной жизни неизощренные русские крестьяне и рабочие встречали то,

что им казалось чувственностью и что, на самом деле, было только опытной «Европой».

В армии ходил анекдот о «ликвидации проституции в Балтике»: все проститутки вышли замуж за советских офицеров.

К Федору это не имело отношения. Чувство к Инге пришло иначе. Больше всего полюбил он в ней беспомощную одинокую юность, которую она без оглядки отдала ему.

Он подвинул к себе папку с бумагами и хотел заставить себя заняться делами, но пришел дежурный, лейтенант Киселев.

— Товарищ майор, там какая-то немка к вам.

Вошла полная, в шляпе-корзинке облепленной цветами, немка лет пятидесяти.

— Гутен таг, герр комендант.

— Гутен таг. Зетцен зи зих, битте.

Немка села, поставив на колени сумку для покупок.

— Чем могу быть полезным?

— О, герр комендант! Эта фрау Шульц была всегда бесчеловечна, но то, что на делает с Петером, — это садизм! Она убьет его! Она била своих остовских девушек...

— Кто такая фрау Шульц, и кто такой Петер?

Немка удивленно посмотрела на Федора.

— Фрау Маргарита Шульц моя соседка по квартире. У нее пятилетний сорванец. Я вынуждена просить о ее выселении.

— Что она с ним делает?

Немка опять удивленно поглядела на Федора.

— О, Петер — это моя собачка. Он такой милый, такой ласковый.

Федор не выдержал и рассмеялся.

— Нет, нет, господин комендант, она и ее сорванец так его бьют, что Петер должен был защищаться.

Федор позвонил. Вошел дежурный.

— Товарищ лейтенант, заберите гнедиге фрау и объясните, чтобы она шла по своему делу в немецкую полицию. К сожалению, гнедиге фрау, у меня нет времени.

«Странные люди — сами голодают, а собак и кошек держат». И вспомнил, что месяца два тому назад в их районе от голода умерла старушка — она половину своего и без того голодного пайка отдавала своим двум собакам. А в Кениг-Вустергаузене пьяный солдат застрелил овчарку — хозяйка собаки от горя повесилась. После самоубийства в доме нашли непристойные фотографии хозяйки с собакой — даже видавшие виды солдаты плевались.

14. ГОСТИ

— Мы подождем. Политика переменится. Только люби меня...

— Политика меняется, но не так скоро.

— Ты сам говоришь, — стань Германия советской, тогда ничто нам не помешает.

Они сидели в кресле, у печки. В глазах Инги дрожало отражение пламени.

— Радость моя, ты ничего не понимаешь в политике. Это очень хорошо. Но тебе уже скучно: ты ходишь одна в театр; одна в кино, а мне так хочется просто пройтись с тобой под руку по вечерним улицам...

Зазвонил входной звонок. Инга испуганно вскочила с колен Федора и побежала на кухню. Федор причесывая волосы, сердясь на себя за испуг, пошел открывать. Инга на кухне стучала ведром.

За дверью стоял запыхавшийся от подъема по лестнице Марченко, а в стороне, в беличьей шубе, — Катя.

Федор растерялся.

— Прошу...

— А мне, Федор Михайлович, можно? — будто в шутку спросила Катя.

Но по ее глазам Федор видел, что ей не до шуток — лицо казалось больным.

Марченко молча снял шинель. Федор помог Кате.

В столовой она села у печки в кресло, где только что сидели Федор и Инга.

Марченко подошел к буфету и подряд выпил две рюмки водки, — Федору показалось, — для храбрости, и что пришли они неспроста.

Он извинился и пошел на кухню.

Инга стояла посреди кухни с ненужной тряпкой в руке.

— Дорогая, приехали гости. Где у нас продукты? Это свои — ты не беспокойся...

Он хотел поцеловать ее, но девушка отвернулась.

— Ты сердишься?

— Если это твои друзья, то почему мне нельзя быть рядом с тобой?

— Инга, ты не понимаешь: они друзья, а завтра... Ты не знаешь нашей жизни...

— Ты просто не хочешь, чтобы эта женщина видела меня. Это фрау-оберст, которая несколько раз звонила тебе.

— Клянусь тебе, что не в ней дело. Будь умницей. Нам нельзя рисковать.

Инга отвернулась. Федор обнял ее за плечи.

— Ну, не надо... Пожалуйста, не надо...

Она спиной прижалась к нему.

— Хорошо, любимый. Я здесь буду приготовлять, а ты будешь приходить и забирать.

Предстоящее объяснение с Катей пугало Федора.

Когда он вернулся с кухни, Катя сидела в кресле, поджав ноги, и смотрела в пламя печи. Марченко ходил по комнате.

— Ты что ж, паря, неделю в Берлине и никому знать не даешь? А?

Катя снизу посмотрела на Федора. Глаза ее, блестящие, с дрожащим отражением огня, казалось жили отдельной от нее жизнью.

— Работы накопилось за отпуск, Николай Васильевич, — но, понимая, что это не отговорка и что, все-таки, они были близкие и неплохие люди, Федор решился: — Да и дома такая беда, что никак не опомнюсь.

— А у тебя что?

— Сестру арестовали, — и, не останавливаясь, стал рассказывать о своей поездке домой и в Москву.

Марченко слушал и сопел. Катя смотрела на Федора так, что он знал — она больше не сердилась ни за письмо, ни за долгое молчание, а только боялась за него.

— Вот такие дела получаются. Что делать — не знаю.

— У Николая Васильевича тоже несчастье.

— Что такое?

Марченко засопел.

— И не говори, Федорушка.

— Марию Ивановну чуть не убили, — ответила за Марченко Катя.

— Говорил я ей — брось ты возиться с этим барахлом! Нет, надо ей ковер, шубу, то да се. Одним словом — баба! Через неделю, как ты улетел, поехала и она. Ну, а дома ночью бандиты налетели, все забрали, а ее ножом в спину: раз из Германии, — значит есть чем поживиться. Слава Богу, сегодня телеграмму получил — лучше ей. Нет, хватит с меня Германии! Не доведет она до добра — помяни мое слово, Федорушка. Твою сестру посадили за работу на русской фабрике при немцах, а придет время — нас станут сажать за то, что на немецких работали. Не раз так было. Уезжаю! Бросаю все к черту и уезжаю! И тебе, Федя, советую — бросай все к лешему и катай ко мне на комбинат. Архангельск тоже город. Буду тебя в командировки посылать в Москву, при комбинате квартиру дам, не то, что в Москве, а настоящую! А? Никакой Делягин тебя у меня не достанет. А там и за сестру начнем хлопотать.

Катя посмотрела на Федора, ожидая, что он ответит.

— Да... может быть вы и правы, Николай Васильевич... Спасибо... Ох, совсем забыл! Извините, — так и не ответив, пошел на кухню.

Стал носить тарелки с едой.

— Вам помочь, Федор Михайлович? — Катя встала, чтобы идти с ним на кухню, но Федор поторопился отказаться.

Она подумала, что он не хочет оставаться с ней без Марченко, и настроение ее снова испортилось.

В кухне Инга нарезала ветчину.

— Тебе лучше уйти, Инга, начинает темнеть.

— Я мешаю? — тихо спросила девушка и тут же стала снимать фартук.

— Ну, почему мешаешь? Ты, ведь, знаешь... — раздражаясь на нее, на себя и на гостей, вспылил Федор.

— Хорошо.

Они молча дошли до входной двери: она впереди, обиженная, готовая расплакаться, Федор сзади, с тарелками в руках, чувствуя неловкость за свою раздражительность. Он хотел проститься с нею, но руки были заняты и он только громко, чтобы услышали в столовой, сказал:

— Ауфвидерзеен!

— Кто там у вас, Федор Михайлович?

— Уборщица, — как мог безразличнее ответил он.

Кате снова стало легче, — ошиблась: там тоже был посторонний.

За едой разговор не клеился, но потом свернул на тему об охватившей Советский Союз эпидемии преступности. Федор рассказал о Москве, о милиционерах на каждом углу, о безногом Седых, о банде «Черная кошка», наводившей ужас на все города Союза.

— Нет, нет! Домой! Пусть бандиты, пусть партизаны. На них оружие найдется. А вот с этой Германией попадешь в такое, что никто в мире не поможет, — Марченко встал и, хлопнув ладонью по столу, вышел из комнаты — «мыть руки».

Катя словно того и ждала — быстро открыла сумку и торопливо вынула письмо.

— Ответь мне, Федя... в Карлсхорст... до востребования...

15. ПИСЬМО

«Жизнь моя, мой любимый и единственный, вот уже три дня, как ты в Берлине. Если бы не телефон и не почтальон, жить еще можно было бы. Почтальон приносит одни газеты. Я не отхожу от телефона. Часами лежу на диване и все жду...

Но ты не звонишь. Ночами в сотый раз перебираю, как четки, наши редкие встречи, и ночь нашу — единственную.

Ужасно было стыдно. Не хотелось жить. Теперь прошло. Я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо, поэтому мне надо объяснить тебе. И не только тебе, но и себе. Может быть это глупо, но я очень, видимо, неумелая, неловкая. А, может быть, все потому, что всегда была застенчивым человеком. Научилась только держаться так, как взрослая дама. Другие умеют как-то устраивать свое счастье — все у них выглядит пристойно: имеют любовников, живут двойной жизнью, а

если, ко всему, имеется оправдание — неудачный брак или еще что, то и совсем нормально получается. Я не умею. Вот попробовала и не вышло. Хуже — вышло нехорошо. Сама себе кажусь назойливо-навязчивой, до неприличия настойчиво искала встреч с тобой. Я знаю, что все было чисто — все от желания счастья, от любви к тебе. Получилось грубо и неловко, как у детей бывает. Ведь у опытных, уверенных людей, даже у развратников, все выглядит благопристойно и прилично — самые грязные вещи. Не умею. Я влюбилась в тебя, как девчонка, а поступила — как взрослая «дама», — как, мне казалось, должна поступить взрослая современная женщина. Получилось — «жена полковника решила развлечься».

Подумала — и опять стыдно. Ну, ничего, главное что ты не звонишь и, видно, не позвонишь.

Твое единственное письмо-записка всегда со мной. Выздоровела ли твоя сестра?

Только что позвонил телефон. У меня упало сердце. Не переставая надеешься на чудо. Звонили знакомые мужа, я сказалась больной и вернулась к мыслям о тебе и к своему ожиданию. Я никого не хочу видеть, мне никто не нужен, кроме тебя, мой сероглазый.

А теперь самое главное, Федя: чудо-то совершилось, и я буду иметь тебя! Буду! Удивляешься? Я даже не буду, а уже, понимаешь, уже имею! Тихо радуюсь и жду дня, когда прижму к сердцу твоего, нашего, Федя, сына.

Не сердись, милый, — никто и ничто не помешает мне теперь.

Я все сказала Аркадию. Он, эгоист, холодный, расчетливый, поразил меня — мало мы знаем людей, даже близких: долго молчал и два дня не разговаривал со мной, а потом пришел с работы — днем: «Я буду ребенка любить, как сына (так и сказал — сына, он чувствует, что сын; ему теперь больно, что у нас не было детей), только не встречайся с ним». Это с тобой. Но разве я могу обещать не встречаться с тобой, возлюбленный мой? Я жду твоего звонка, чтобы бежать к тебе, обнять, прижаться и выплакать эти дни. Да о чем теперь говорить — я уйду от него. Я хотела уйти сразу, но он просит сделать это под предлогом отъезда в Москву, с тем, чтобы никто здесь не узнал. Видишь, какой — и любит, и обо всем помнит. Я уеду в Москву к маме.

Я замужем семь лет. В школе хотелось необыкновенной жизни. А жизнь пошла серая, хотя внешне шумная, московская. Все вокруг, по сути, только боялись — я кончила школу в 38-м году, и ты знаешь, что это было за время. Мне часто казалось (да и теперь кажется), что шумят люди громко, чтобы как-нибудь заглушить в себе страх. Вышла замуж вскоре после школы; мне казалось, что Аркадий — он тогда кончал институт — крепкий, спокойный, уверенный, а главное, что он не боится, как все. Но скоро поняла, что живет он для карьеры и с тем же страхом; что и женился на мне из соображений карьеры и чтобы не так бояться (из-за моих родственных связей). Если я никогда не нуждалась, как большинство наших людей нуждается, то всегда была одна. Только что и было — книги, театр, кото-

рые только питали несбывшиеся желания настоящей жизни и настоящей любви. И вот пришел ты. И тебя нет снова.

Я знаю — ты меня не любишь. Ты даже не думаешь обо мне, а если думаешь, то как о случайной женщине. В этом виновата и я. Но все равно. Если бы не ожидание сына, я, наверно, никогда бы себе не простила. Ты для меня тот, кого я ждала, и я благодарна судьбе, что встретила тебя, пусть мельком, пусть стыдно.

Не думай, что хочу подействовать на тебя, что ребенком хочу привязать к себе, обязать. Нет, нет! Ты меня не любишь и не упрекай себя за это, милый — ты ни в чем не виноват. Только не думай обо мне плохо. Вспоминай меня как человека, полюбившего тебя всем, что у него есть.

Я буду жить с мамой, стану работать, буду растить сына. Я тоже знаю, что — сын, и что он будет похож на тебя: большой, сильный, теплый; буду его учить, буду водить гулять, разговаривать с ним, с ним печалиться, с ним радоваться. Когда-нибудь вы, может быть, встретитесь. Тебе не придется краснеть за него, Федя.

Мама. У меня очень хорошая мать. Правда, ей никогда не хватало времени для меня. Она с гимназических лет всю себя отдала революции, партии. Даже меня родила в тюрьме во время гражданской войны. Гражданская война и отца убила — он тоже был революционером. Я росла у разных хороших, но чужих людей. Мама после гражданской войны вся ушла в работу — вечно в разъездах, заседаниях, авралах. Об этом пишу, чтобы ты все знал и понял меня.

А, может быть, я уеду в Архангельск — Николай Васильевич предлагает работу. Устала я от Москвы, от этого постоянного московского напряжения. Я человек и хочу обыкновенной человеческой жизни, с ее простыми радостями, теплом, волей. Мне кажется, что в провинции свободнее, человечнее, и сыну там будет лучше, и ко мне будет ближе.

Знаешь, чего я ждала в то утро? Мне казалось, что ты возьмешь и увезешь меня — от мужа, от обеспеченности, от всего — далеко, далеко. С тобой я пошла бы и в глушь, и в бедность, на край земли. Но ты меня не взял.

Я не упрекаю тебя. Я просто рассказываю.

Когда твой шофер привез письмо — я все ждала чуда. Но письмо было холодное, ты уехал к больной сестре, не повидав меня. Мне было даже не больно, хотелось умереть. А потом я узнала о своей беременности. И все сразу посветлело, стало покойнее.

Теперь я почти счастлива. Видеть тебя хочу, но пусть это тебя не тревожит. Я уеду в начале марта.

Твоя».

Письмо лежало между тарелками с остатками еды. Федор смотрел на «Твоя», где-то внутри его билось — «Боже мой, Боже! . .»

Пробудил его стук в полу — стучала Инга (три дня тому назад немец плотник из английского сектора — из района Сименс-Штадт, проделал в полу люк). Федор поднялся со стула, спрятал письмо в карман кителя, отодвинул столик, отвернул ковер и поднял крышку. Сни-

зу из темноты улыбалось лицо Инги. Она стояла на стуле, поставленном на столе.

— Ушли? — радостным шепотом спросила она, протягивая Федору правую руку.

— Да... ушли, но... но меня вызывают в комендатуру. Что-то случилось... — ему хотелось побыть одному, ему казалось, что обязательно надо что-то продумать.

По выражению лица Федора Инга убедилась, что что-то действительно случилось.

— Я только попрощаюсь с тобой и стану ждать тебя.

Федор опустился на колено, крепко взял за запястье руку Инги, другой рукой она ухватилась за его запястье.

— Что случилось, милый? — уже в комнате спросила она.

Федор нагнулся закрыть люк.

— Не знаю... Что-то неприятное.

— Неприятное для тебя?

— Не думаю, до идти надо.

Инга ладонями повернула его лицо к себе.

— Ты не волнуйся, Инга. Ложись спать, я скоро вернусь.

— Может быть мне лучше спуститься к себе. Ведь, если кто вдруг придет, я спущусь, а ковер и столик останутся не наместе.

— Да, тебе лучше спуститься.

Инга наморщила лоб. Федор притянул ее к себе, спрятался лицом в ее волосах, пахнущих постелью.

— Прости меня, Инга... Нервничаю что-то...

— Ничего, милый. Мне очень хочется ждать тебя здесь — в нашем уголке, но надо быть благоразумными. До свиданья, милый. Скорей возвращайся, я не буду спать.

Стрелки на часах соединились на 1. Федор положил в карман брюк пистолет, оделся и вышел на лестничную площадку. Проходя мимо Ингиной двери, вспомнил Рождество, Ингину мать. И, словно в ответ, дверь распахнулась, и девушка — быстрая и легкая — метнулась к нему, прижалась к шинели, шепнула: — Не забывай меня, — и так же бесшумно исчезла за дверью.

Идти в комендатуру ночью без нужды было нелепо. Федор медленно пошел темной улицей по направлению советского ресторана «Нева». Остановился под уличным фонарем и как будто выпал из мироздания: освещенное фонарем пространство — в форме усеченного конуса, заполненное падающими снежинками, с фигурой Федора на дне, казалось, находилось во тьме океана или где-то в космосе. Федор достал из кармана кителя письмо и перечел: «Я даже не буду, а уже, понимаешь, уже имею!» Снежинка упала на письмо и растаяла.

В «Неве» было шумно и накурено. Немецкий оркестр играл «Офицерский вальс». Посетители — офицеры, гражданские из СВАГ, две или три русские женщины — громко разговаривали и пили. Немцам в советские рестораны вход был запрещен.

Незаметно для знакомых Федор прошел за оркестр и сел у свободного столика, спиной к залу.

Снова и снова перечитывал он письмо, пока его не пробудил чей-то голос:

— Это место свободное, товарищ майор?

Какой-то лейтенант с кроличьими глазами на угреватом лице стоял у стола.

— Пожалуйста, — опомнился Федор и только теперь заметил перед собой давно принесенную официантом водку и закуску.

Выпив водки, он снова стал смотреть в письмо, будто надеялся что-то увидеть и понять. Подошел официант принимать заказ от лейтенанта. Вдруг Федор почувствовал, что официант из-за его спины заглядывает в письмо. «Тут как тут!», но официант уже смотрел на лейтенанта. «Этот тоже!» Вид майора, читающего ночью в ресторане письмо, показался странным: агент-официант сообщил, другой агент, лейтенант, подсел.

— Дайте счет! — сказал Федор.

Официант пошел к кассе.

— Вы приезжий, товарищ мойор? — улыбаясь ртом с гнилыми зубами, спросил угреватый лейтенант.

— Да, — буркнул Федор.

Официант долго не возвращался. Лейтенант уходил в «уборную»

На улице к Федору подошел патруль — офицер с двумя автоматчиками

— Ваши документы, товарищ майор.

Стиснув зубы от нарастающего бешенства, Федор достал офицерское удостоверение. Офицер осветил книжечку фонариком и стал разглядывать.

Начни тот расспрашивать, Федор накричал бы на него.

Но офицер вернул удостоверение и козырнул.

16. АРЕСТ

Фильм кончился. Публика потекла к выходам. Инга, еще взволнованная ужасами фильма «Человек в сером», прижималась к руке Федора. У дверей он мягко отстранил ее — предосторожности ради. Вокруг были люди, которых Федор никогда не видел и которые никогда его не видели. Поездки в западные сектора Берлина были, как путешествия в неведомые страны — иные люди, иные кинокартины, другие витрины, книги, газеты, даже выражение лиц другое.

Курфюрстендамм горел огнями и казался не таким разрушенным, как днем. Федор, в пальто и шляпе, задержался у дверей, прикуривая. Инга прошла правее. Карл с машиной ждал за углом. Когда Федор вышел из толпы, перед ним выросла фигура незнакомого человека.

— Ваши документы, — по-русски спросил незнакомец.

Федор внутренне сжался. У человека были темные глаза и курносый нос, шляпа сидела неумело. «Наш!» — определил Федор.

— Вас воллен зи?

— Ваши документы, — повторил тот.

— Их ферштее нихт — вас воллен зи фон мир?

— Бросьте валять дурака, — немцы не курят папирос «Казбек», — усмехнулся незнакомец.

Федор растерянно посмотрел на свою руку с папиросой. «Влип! Как идиот!» — и, стараясь быть спокойным и увереным, сказал:

— Пойдемте к машине.

Агент, наверное сержант, подумав что имеет дело с начальством, послушно пошел за Федором.

«Только бы Инга не успела сесть в машину!»

Автомобиль стоял в тени, но Федор заметил фигуру Инги за деревом. Она, по-видимому, все видела. Один страх сменился другим — не бросилась бы к незнакомому просить, чтоб не обижал ее возлюбленного, чтоб не отнимал его у нее.

Карл, увидев хозяина без Инги, с чужим, обо всем догадался. Он завел мотор и, когда Федор со словами: — Документы у меня в портфеле — одну минутку, — полез на заднее сидение, включил скорость. Машина прыгнула козлом, на секунду забуксовала и рванулась вперед. Свернули, еще раз, и еще раз, и только на Шарлоттенбургершоссе Федор перевел дух.

— Ну, Карл, спасибо, дружище!

Подъезжая к Бранденбургским воротам, Карл успел разглядеть, что за воротами КП проверял автомобили. Их машина была с немецким номером — Карл брал ее у знакомого немца, но могли проверить личные документы. Повернуть назад было поздно — движение в обратную сторону шло по левому шоссе, отгороженному широкой полосой мусора и камней — надо было ехать до самых ворот.

Воспользовавшись скоплением автомобилей, Карл затормозил в тени у самой колоннады. Федор незаметно вылез и отошел в сторону.

Через полчаса он был дома.

Прибежала, в слезах, Инга.

— Это я виновата! Ты из-за меня ездишь в кино и театры! Я больше никуда не поеду!

Федор успокоил ее и отправил к себе. Его тревожило долгое отсутствие Карла. «Наверно, *тот* успел записать номер машины, и Карла задержали».

Готовясь к худшему, Федор стал перебирать бумаги и письма.

Собрав все, что ему казалось неуместным при возможном обыске, сложил вместе с деньгами и пистолетом, на который не имел разрешения, в чемодан и отнес Инге.

— Если что случится, запомни, Инга: никуда не обращайся за помощью. Карла не ищи — он вернется. Это береги. Бумаги и пистолет спрячь. Деньги трать, как найдешь нужным.

Девушка с ужасом смотрела на Федора. Слезы одна за другой ка-

тились по ее щекам. Федор вспомнил киножурнал: там так же катились с горки дети на салазках.

— Если... если с тобой что случится — я не хочу жить.

— Я сказал «если», это не значит, что обязательно случится, дорогая моя плакса. Возможно, они узнают, что это был я, за мной станут следить и нам некоторое время нельзя будет встречаться. А теперь — спокойной ночи, я должен быть у себя.

Предчувствие Федора не обмануло: он уже спал, когда позвонили. Федор вышел в пижаме.

— Кто там?

— Откройте, товарищ майор, — Федор узнал голос лейтенанта Киселева.

В прихожую за Киселевым вошли двое — капитан и сержант из районного оперотдела.

Капитан объявил, что должен сделать обыск, и показал ордер. Прошли в столовую. Сержант тут же стал рыться в ящиках. Киселев чувствовал себя явно неловко. Капитан сел за стол и стал снимать допрос.

— Где вы были сегодня в десять часов вечера?

— Дома.

— Как фамилия вашего шофера?

— Карл Мюллер.

— Где находится ваша автомашина?

— В гараже.

Когда обыск и допрос окончились, на столе лежали документы Федора, пистолет и письма. Капитан встал и, глядя Федору в глаза, угрожающе произнес:

— Вам придется ехать с нами.

— Как вас понимать — я арестован?

— Нет, но я имею распоряжение.

Повезли не в оперотдел, как думал Федор, а в Центральную Комендатуру на Луизенштрассе.

В маленькой грязной комнате без окон стояла койка с солдатским одеялом, стол и табурет. Дверь заперли. «Хорошее — не арестован!» Федор, не раздеваясь, лег на койку и укрылся шинелью.

«Инга стояла у окна, когда уводили... Карл сознался... Если вышлют в Союз, что будет с Ингой?.. — повернулся на другой бок. — Где же Карл?.. Нет, он не сознается... Надо не сознаваться. Дернул же меня черт поехать на эту идиотскую картину... Нет, сознаваться нельзя...»

Утром принесли завтрак — яичницу и кофе. По завтраку было непохоже, что арестован. Попросил газету — принесли. «Все одно и то же, как десять лет назад, — как им не надоест!» — отложил газету и снова лег.

Без пяти десять за ним пришел сержант-писарь.

В комнате, куда его тот провел, не было никого — хороший письменный стол, ковер, стулья, диван и портрет Сталина на стене.

Минут через пять дверь отворилась, Федор узнал во входящем полковника Колчина.

Уполномоченный НКГБ при Центральной Комендатуре Берлина был смугл, красив, длинные волосы делали его не похожим на военного.

Федор встал и поздоровался. Колчин кивнул головой и сел за стол. Федор продолжал стоять.

Колчин засмеялся, легко и безобидно.

— Вы извините, майор, наши хлопцы, как всегда, перестарались. Садитесь, пожалуйста. Вы, поди, решили, что арестованы?

— Решил, товарищ полковник.

— Чепуха ужасная получилась. Здесь какой-то агент сообщает, что вчера вечером видел вас в кино «Марморхауз» и что при требовании документов вы уехали от него на немецком автомобиле. Хороший агент! Придется вздуть, как следует. Короче, товарищ майор, я, как вы понимаете, не придаю значения этому вздору — я и сам, бывает, в немецкое кино езжу, — в другие сектора не рискую по положению, а в нашем езжу. Советским людям надо поглядеть, чем дышит заграница. Что же это был за фильм?

«Ловит или взаправду считает чепухой?» — но привычка не верить людям НКВД поборола.

— Я не был и не бываю в других секторах, товарищ полковник. Здесь какое-то недоразумение.

— Ну, как хотите: не были, так не были. Вся неловкость в том, что донесение агента имеется и мне нужно что-то на нем написать, — снова добродушно рассмеялся Колчин.

Он хотел уже писать, как вдруг досадливо поморщился и отложил ручку.

— Да, но здесь написано, по вашим словам, что вчера вечером вы были дома, а дома вас не было — к вам ходил дежурный комендатуры — так записано в рапорте.

— Я спал, товарищ полковник, возможно, он не дозвонился. — «Ох, врет!»

— Это хуже, майор, — формально, по донесению, вас дома не было. А где был ваш шофер?

— Не знаю, товарищ полковник. Я его отпустил часов в шесть вечера.

— Т-а-ак, — глаза Колчина смотрели уже недружелюбно. — Посмотрим, — он нажал кнопку, и сразу же вошел вчерашний незнакомец с Курфюрстендамм.

Колчин не сводил с Федора глаз, но Федор смотрел на вошедшего так, словно видел того впервые.

— Что вы скажете?

— Тот самый, товарищ полковник! — вытянулся агент.

— Что скажете вы, майор?

— Скажу, что ничего не понимаю, товарищ полковник. Кто этот человек?

Колчин сделал знак агенту выйти.

— Вы что, майор, ставите меня в дурацкое положение? Я же вам русским языком говорю, что смотрю на дело, как на вздор. Агент —

официальное лицо — говорит, что видел вас, а вы говорите, что там не были. Вы понимаете, что вы делаете?

— Товарищ полковник, не могу же я взять и наговорить на себя того, что я не делал! Ваш агент, по-видимому, с кем-то меня спутал.

— Нет, я вижу, вы не боевой майор, а баба! Вы сами вынуждаете меня передать дело следователю, а это для вас означает арест. Понятно?

— Как вам угодно, — делая вид, что тоже рассердился, ответил Федор.

— Но пеняйте на себя: если вы там были и отрицаете это, то у вас есть особые причины скрывать посещение английского сектора.

— Я ничего не могу прибавить к тому, что сказал, товарищ полковник.

— Не «товарищ», а «гражданин», — Колчин позвонил.

— Уведите арестованного, — не глядя на Федора, приказал вошедшему солдату.

Через полчаса Федор сидел в настоящей тюремной камере. Решетчатое окно снаружи было на три четверти закрыто козырьком. В свободной четвертушке виднелась верхушка ели.

«Нет, скажи я, что был в кино, то началось бы: — а что вы там делали? А почему немецкая машина? А гражданское платье? И подвел бы под трибунал. А так, если Карл не сознался, ничего они не сделают... А если сознался?.. Тогда, в лучшем случае, демобилизация и высылка в Союз с 'волчьим билетом'...»

Потом пришли мысли об Инге, безысходные, гнетущие. Сознание цеплялось за Баранова, за дивизию — они были здесь, в Германии. А боевое прошлое? А ордена? — становилось светлее. Но вспомнились Делягин, Соня, приказ Соколовского, и снова темнело.

И снова думал об Инге: «Что она, бедняжка, делает сейчас? Только бы в отчаянии не выдала...»

Так, шагая из угла в угол, он провел весь день. В девять часов вечера кто-то за дверью глухо сказал: — Спать!.

Долго ворочался: мешал яркий свет лампочки. Уснул только под утро.

На следующий день проснулся с мыслью: «А плевать — будь, что будет! — Ну, был в кино, ну, вышлют домой! Наплевать!»

Но вызвали его только на четвертый день: ночью. Следователь, старший лейтенант, черный, нервный, все посмеивался.

— Шофер-то сознался...

По следам сестрички пошли...

Бежать задумали...

С кем из англичан встречались?..

Кто завербовал?

Так, значит, «русский народ сам себе создает трудности»?..

В камеру Федора отвели под утро. Голова гудела, в ушах стоял крик следователя, и было, — как заноза, — случилось страшное: его обвиняли в подготовке к побегу на Запад и в шпионаже в пользу Ан-

глии. Это значило — не высылка в СССР, не демобилизация, а лагерь, а то и похуже.

«Могли же они осудить Соню. За эти четыре дня все собрали — и про Делягина, и про Соню, даже у замнаркома — «гостя» Баранова... Баранов и Моргалин, конечно, отказались. Генерал не отказался бы, Вася не отказался бы, но их не спросят...»

Федор несколько раз подходил к окошку и разглядывал решетку — сломать, бежать, спрятаться... И хотя понимал безнадежность этого, воображению отдавался охотно.

«Инга, Инга, зачем мы пошли с тобой в 'Марморхауз!'»

Чувство беспомощности гнуло его и он падал на табурет.

«Зачем это им? Колчин еще орден заработать хочет? Или приговор послужит иллюстрацией к приказу Соколовского — всех напугают, никто уже не рискнет нарушать приказ! Вот выгода от нелепости обвинений, а может быть, моей гибели!»

Федор повалился на койку, но сразу же в дверь застучал надзиратель.

— Днем спать не разрешается!

Федор встал и шатаясь опять принялся ходить. И вдруг, в первый раз за эти дни вспомнил Катю и ее письмо. «Может быть, это наказание за Катю?.. А Инга?»

Ингу, чувство свое к ней, он вырастил в себе, для себя, вложив в него желание любить, потребность кого-то оберегать, о ком-то заботиться, быть кому-то нужным. Возможно, приди Катино письмо раньше, до того как Инга была создана и стала заботой и помыслом, он полюбил бы Катю? И все, все было бы иначе! Когда он получил письмо, отказаться от Инги было бы уже предательством, признанием несостоятельности своего чувства. Любить же Ингу предательством не было: отношение нелюбви к Кате было с самого началаь, в нем была мука и боль Катина, но его предательства не было, и Инга была оправданием.

Только Инга за ночь словно отошла в прошлое. И все стало бессмысленным.

«Боже мой, Боже, какую же я заварил кашу!» — в полном отчаянии подумал Федор, берясь за решетку окна и глядя в дозволенный кусочек неба со следящей за ним верхушкой ели.

— У окна стоять нельзя, — тотчас же раздался голос за дверью.

К обеду — водянистому супу и каше — Федор не притронулся. Обессиленный, он сидел на табурете, когда щелкнул замок, и в камеру вошел Колчин в сопровождении щеголеватого капитана НКГБ.

Федор встал. Колчин улыбнулся дружелюбно и, как показалось Федору, чуточку растерянно.

— Ну, счастлив ваш бог, товарищ майор...

«Товарищ, а не гражданин!»

— Не знаю, кто за вас молился, но я получил приказ освободить вас. Сейчас вам вернут ваши вещи и документы. В вашем распоряжении ванна, парикмахер, столовая. Приведите себя в порядок, поспите часа два — не здесь, конечно, — Колчин брезгливо посмотрел на ка-

мерную койку, — и поедете к генерал-полковнику Серову. Вам назначен прием в пять тридцать.

Федор стоял, ничего не понимая. Только сердце торопливо стучало: «Свобода, свобода!»

— А нас извините — такая уж служба. Да и вы сами виноваты — вы были в «Марморхаузе».

17. ГЕНЕРАЛ СЕРОВ

Серов был среднего роста, строен и неожидано молод — лет сорока; высокий лысеющий лоб, нервный, сложной линии рот, холеные руки. Сидел он свободно, закинув ногу на ногу — в хороших сапогах. Заместитель наркома внутренних дел СССР, заместитель начальника СМЕРШа, Герой Советского Союза, генерал-полковник — это заставляло напряженно следить за ним — такому незачем гнаться за лишним орденом — он не носил даже орденских планок. Говорил он ровно и чуть устало. Глаза тоже усталые, с желтизной в белках.

Федор старался угадать, кто заступился, кто сказал о нем Серову. Генерал? Или все произошло по команде — Серов заместитель Главноначальствующего — Управление Комендантской службы подчинялось ему.

— Вам помог случай, — сказал Серов, разглядывая ногти. — Вы знаете, что вас ждало — лагерь, а то и смерть в заключении. Нелепость? Нет, логика. Вы нарушили приказ. Разве не прав командир, расстреливающий солдата за самовольную отлучку во время боя — к больной ли жене, к умирающей ли матери или сыну — все равно. Вы сами отдали бы своего солдата под трибунал за такое нарушение вашего приказа командира.

— Но, товарищ генерал-полковник, это логика военной обстановки...

— Нет! Бой идет — неумолимый, непрекращающийся, бой нового мира со старым. И он не прекратится, он не может прекратиться до полной нашей победы. И нет нам отдыха и не будет! — губы Серова зазмеились. — В иное время — в прошлом или будущем — вы были бы прекрасным членом общества, а сегодня — вы «слишком много думаете о себе», как выражался ваш любимый Блок. Вспомните Вертера, Чайльд Гарольда, Рудина, Печорина — они были интересными, яркими людьми, но они были «лишними людьми» своего времени.

«Неужели кто-нибудь подглядывал тогда у Марченко?» — холодея подумал Федор.

— Вы пишете стихи, но стихи в плане этакого «искусства ради искусства». У Плеханова есть очень верное определение такого творчества: «Взгляд 'искуство ради искусства' возникает у людей с безна-

дежным разладом с действительностью». Но так как вы поэт-любитель, то до безнадежного разлада не дошло, — по губам Серова остро пробежала улыбка. — Ко дню выборов вы написали стихотворение совсем в духе времени... Но вообще разлад имеет место, и вы должны его ликвидировать. Пока не поздно. Время требует от общества военной дисциплины. Если до войны мы жили, как в осажденной крепости, то теперь мы живем за стенами крепости — в наступлении, — Серов замолчал, приглашая говорить Федора.

— Я воевал, товарищ генерал-полковник, и, кажется, не плохо. Разве я не исполнил своего гражданского долга перед родиной?

— Вы воевали не плохо, а хорошо, но вы мальчик. Неужели вы думаете, что у коммунистов родина и защита родины — самоцель? Мы с вами русские, нам выпало счастье быть первыми гражданами Союза Советских Социалистических республик. Наш долг служить Союзу, каждой его республике, в том числе и каждой будущей!

Зазвонил телефон. Серов перегнулся через ручку кресла и взял трубку.

— Да?.. Нет. Списки фамилий арестованных мне не нужны. Только цифры — по провинциям в пропорции к населению и числу членов нацистской партии... Да. Сегодня.

Федор вспомнил, что сидящий перед ним человек перед войной выселял в Сибирь латышей, литовцев, эстонцев, в начале войны усмирял взбунтовавшихся рабочих Подмосковья, во время войны ликвидировал немцев Поволжья, крымских татар, калмыков, ингушей, чеченцев, балкарцев, карачаевцев. Теперь «чистит» Германию. Рука Федора потянулась расстегнуть ворот гимнастерки.

Серов положил трубку.

— Вы удивлены моим участием. Дело в том, что Катя Рыльская моя родственница, — она рассказала мне о вашем случае.

«Вот какие у нее родственые связи!» — успел подумать Федор.

— Да и случай типичен. Кроме того, «ничто человеческое мне не чуждо», — Серов посмотрел на ногти и как бы про себя сказал: — Поймите, молодой человек, имея дело с массами, мы не можем делать исключений. У нас нет ни времени, ни возможности разбираться в отдельных случаях, — приказ, если отступать от правил, перестанет быть действенным и приведет к развалу армии. Быть бы вам в лагере, где мы заставляем людей работать на общее дело, людей, по-разному «слишком много думающих о себе». Но ряд обстоятельств позволил мне обратить внимание на ваш случай, и пусть это будет вам уроком.

Федор не знал, что сказать. Одно было ясно: все обошлось благополучно — Катя спасла его. Но думать об этом было некогда — Серов продолжал:

— Я не собираюсь читать вам лекцию по историческому материализму и классовой борьбе, но помните: за этими сухими категориями — жизнь. Капитализма в классическом понятии уже нет, но сущность его остается. Враг приспособляется и ловчит. История никогда не простила бы нам беспечности.

Возьмите такой факт: кончилась самая кровавая война за всю историю человечества, а число людей, несмотря на жертвы, исчисляемые в десятках миллионов человек, увеличилось: например, в этой разоренной Европе — на семнадцать миллионов человек. Сейчас на земле около трех миллиардов человек, а через пятьдесят лет будет шесть миллиардов. Капитализм прокормить их неспособен, несмотря на все научные и технические достижения. Это означает голод масс и их недовольство порядком вещей и обладателями жизненных благ. Революционность масс прямо пропорциональна росту населения, — Серов сделал паузу. — Простая логика показывает обреченность капиталистического порядка. Но капитализм будет пытаться разрешить противоречия, как собирался их разрешить Гитлер, — уничтожением людей — «унтерменшей».

«Неужели он на самом деле верит этому?» — подумал Федор.

— Поэтому мы не имеем права успокаиваться. Пусть они отдыхают, а мы будем продолжать наше дело — в этом наш долг перед историей и будущими поколениями.

«А если им этого не надо? И имеют ли право будущие, не родившиеся, не существующие еще люди на страдания и гибель живых людей?»

— Наша слабость в том, что у них существование свободнее и богаче — в бытовом отношении, и в этом соблазн для нашего человека. Поэтому мы и не можем общаться с их людьми, не можем разрешать ходить в их кино, любить их девушек.

Федор похолодел. «Неужели он знает и про Ингу?»

— Как бы вы поступили с недисциплинированым солдатом? — вдруг спросил Серов.

Федор растерялся.

— У меня... у меня не было недисциплинированных...

— У вас не было, так у других были. Таких солдат расстреливали или отправляли в штрафные батальоны. Вы нарушили приказ, но учитывая ваши заслуги, мы ограничимся жизненным штрафбатальоном — вас демобилизуют. В Советском Союзе за вами будет следовать ваше личное дело, где записаны ваш арест и арест вашей сестры, и все остальное. Малейшее отклонение от тяжелого, но благородного долга советского человека будет означать для вас гибель. И, наоборот, — достойная жизнь вернет вас из штрафников в нормальное положение.

И мой вам совет — никогда, вы слышите, никогда не нарушайте приказ — «кто не с нами, тот наш враг», а врагов мы уничтожаем беспощадно.

Серов откинулся на спинку кресла.

— Советую вам уехать в провинцию, завести семью, детей и работать так, как вы воевали.

Серов засмеялся глазами и посмотрел на ногти.

— И если вас снова не наградят «Героем Советского Союза», а это с нарушившим однажды приказ почти наверное случится, — не ропщите.

«Всё знают!» — с ужасом подумал Федор.

— Вы человек интеллигентный, инженер, и, конечно, будете как-то объяснять новые приказы и события — объясняйте их всегда одним: так нужно партии! И только так вы не ошибетесь.

Серов встал. Встал и Федор.

— Вот так... И не мудрствуйте лукаво.

Протянул тонкую руку. Федор молча пожал, а потом сообразил, что надо поблагодарить.

— Я никогда не забуду, что вы сделали для меня и что сказали мне, товарищ генерал-полковник.

— Не забывайте. А благодарите не меня, а Катю Рыльскую. Желаю удачи.

Опомнился Федор только у ворот Инженерного Городка — постовой спросил пропуск. Вдоль высокой черной решетки горели фонари. Прежде в этих зданиях были расквартированы нацистские инженерные части, теперь находился Штаб Советской военной администрации. Федор медленно пошел вдоль решетки. Его догнал автомобиль и остановился у тротуара рядом с ним. Распахнулась дверца, и он увидел Катю. На всю жизнь запомнился ему свет фонаря, ее протянутые руки, странное новое выражение бледного лица — робкое и застенчивое. И подошла она к нему неуверенно, руку подала молча, словно девочка.

Не в силах что-нибудь сказать, он поцеловал ей руку, потом другую. Пошли рядом. Было предельно ясно: все в нем принадлежало ей.

Они поехали ужинать в ресторан «Москва», в район Вайсензее. В ресторане было три зала: общий; для среднего комсостава; для высшего и старшего комсостава. В зале для среднего комсостава было пусто — только за одним столиком сидели два офицера. Официант, принимая от Кати заказ, сказал:

— Для вашего мужа советую бифштекс по-гамбургски.

Катя ужасно покраснела. Федор поспешил сказать:

— Пусть будет бифштекс.

Она сделала вид, что рассматривает карточку вин, только лихорадочный блеск глаз выдавал ее волнение.

Федор стал рассказывать — о «Марморхаузе», о Колчине, о Серове. Ему хотелось и об Инге рассказать, но ему казалось, что он не имел права делать Кате больно и еще в такой день. Она и так выглядела больной.

Рассказывая о Серове, Федор по какой-то ассоциации вспомнил свое состояние год тому назад в госпитале, где ему угрожала ампутация ноги: все в нем тогда протестовало, но он знал, что если бы пришлось ампутировать, то, несмотря на протест, он согласился бы и дал себя резать.

— Будто дал согласие на ампутацию, а чего — не знаю.

Катя испуганно поглядела на него, думая, что ампутация относится к ней.

— Пойми меня правильно, Катя: он сказал, что малейшее отклонение от «тяжелого, но благородного долга», от «приказов партии» будет означать для меня гибель! И сам же назвал это «жизненным штраф-

батальоном». Безропотно жить, похоронить себя в глуши, и назвал это «счастливым случаем»! И я... согласился. Понимаешь? Согласился на ампутацию.

Катя оглянулась на офицеров за дальним столиком.

— «Нам некогда разбираться в отдельных случаях», «мы не можем разрешать людям»... Люди, видишь ли, «слишком много думают о себе»! Выходит, нужно отказаться от себя, стать таким же фанатиком, а если нет, то в лагерь — будь рабом! Мой генерал в дивизии — среднеарифметический. Серов устанавливает этот порядок, а тот другого выхода не видит, и подчиняется ему. Генерал — полураб!

— Федя, успокойся! Не так громко... Ты устал, тебе надо отдохнуть.

Федор потер лоб,

— Ты права... мне лучше домой и поспать. Завтра надо оформлять демобилизацию — в «штафники» оформляться.

Катя слегка погладила его по руке.

Федор, наконец, вспомнил:

— Прости, что я все о себе. Ты спасла меня, а я даже не благодарю. Я не знал, что ты его родственница.

Катя испуганно оглянулась и, наклоняясь к Федору, зашептала:

— Федя, пожалуйста, не надо! Забудь это и никогда, пожалуйста, никогда не говори нигде и никому.

Простились они у автомобиля.

— Завтра я позвоню, Катя. Спокойной ночи, — Федор устало, словно прося ее простить ему, улыбнулся.

Автомобиль тронулся, Катя помахала рукой. Федор снова виновато улыбнулся.

18. КАТЯ И ИНГА

Эта измученная улыбка его в свете уличного фонаря — последнее, что увидела Катя. Ей стало грустно от того, что оставила его одного и что надо ехать домой. Аркадий уже вернулся. Теперь он ужинает один, но не всегда, как раньше, после ужина уезжает на службу.

— Поезжайте, пожалуйста, медленнее, и не домой, а куда-нибудь — я хочу проехаться, — сказала она молчаливому шоферу — старому берлинскому шоферу такси.

Она забилась в угол сидения.

Вечерний Берлин — черные развалины, редкие фонари, серые пятна снега — плыл по сторонам, но Катя его не видела.

«Для него это ампутация... Ампутация свободы... Всю жизнь будет чувствовать себя калекой... Кончится тем, что возненавидит и себя и меня... Неинтересная работа, скука провинции, станет пить... Вечное раздражение неудачника... Что бы я ни делала, серость и

бедность провинциальной жизни его доканают... И я, и любовь моя, и дети будут только раздражать...

Будет стараться сдерживаться, будет понимать, что несправедлив, и будет еще тяжелее... А неизбежные «чистки»... Будет жить воспоминаниями о боевом прошлом... Пить и вспоминать... Боже мой, Боже... как я люблю его! Федя, Федюшка, я так люблю тебя! Что же нам делать, Федя? Я ведь на край земли готова идти с тобой...»

Мысль Кати, после внутренне произнесенных слов «на край земли», побежала по воображаемой географической карте Советского Союза, дошла до границы к вдруг увидела, что это еще не «край земли» — за линией границы шли очертания других земель и материков. Так уж устроен человеческий мозг — мысль на мгновение остановилась по советской привычке думать о земле в пределах красной краски, потом перепрыгнула и побежала.

Катя даже вздрогнула, все ее сомнения, вся любовь, заполнявшая сейчас ее, вся нежность к Федору и к ребеночку, присутствующему невидимо во всех ее мыслях и помыслах, увидели выход и бросились в догадку — бежать!

Бежать с Федором, бежать вместе в мир, где нет страха, где не нужно ампутации, где можно взять за руку и идти, идти, куда глаза глядят! Где можно любить, спать с ним, не боясь ночного стука в дверь, бродить по берегу южного моря, слушать чужие песни, петь свои, где можно работать, никому не отдавая отчета. Где можно «думать о себе», и не быть за это виноватым перед властью и человечеством...

Мысль о побеге с Федором, побеге для него, для своей любви к нему, прожгла и ослепила ее. Но тут же властно встало: «А мама? Мама останется одна. Маму могут выслать, могут посадить в лагерь за то, что дочь бежала, за то, что дочь полюбила. Может быть, дядя поможет? Вряд ли». О муже она не подумала. Но мама! И сердце уже просило маму простить, и знало сердце, что мама простит. «Есть ли то, чего я не отдам тебе, Федя?»

— Пожалуйста, назад! — крикнула она шоферу так, что тот испуганно обернулся. Забывая немецкие слова, она назвала адрес Федора.

Первое, что Федор увидел подходя к дому — темные окна Ингиной комнаты. Ускорив шаги, быстро вошел в парадное и, шагая через три ступеньки, взбежал по лестнице — дома должна была быть хотя бы записка. Он так торопился, что несколько раз не попадал ключом в замок.

Квартира была убрана и натоплена, как в то утро, когда он вернулся от Марченко. Он включил лампы, дважды обежал комнаты, но записки нигде не было. Забыв снять шинель, присел у стола, и в то же мгновение услышал, как кто-то поспешно отпирает входную дверь. Не успел он подумать что это она, как дверь в столовую распахнулась и Инга вбежала в комнату. Молча кинулась она к Федору, судорожно обхватила его шею и вся — телом, горячей щекой, полными слез рес-

ницами — прижалась к нему. Она хотела что-то сказать, но только застонала и разрыдалась.

— Не надо, девочка моя, не надо... не надо так...

Инга подняла заплаканное лицо и, глазами полными слез в рамочках слипшихся ресниц, стала оглядывать его лицо, словно проверяя что-то. И столько горя, столько тревоги было в них, что Федор почувствовал невозможность сказать ей о случившемся.

Она была дома, — сидела не зажигая света, когда над головой раздались его шаги. Все эти дни она никуда не выходила, боясь пропустить его или известие о нем.

После того, как его увезли, на следующий день, приходил какой-то русский. Он перерыл всю квартиру и допрашивал ее. Она сказала, что ее мать убирала квартиру господина майора, а после ее смерти убирает она — часа два в день, когда господин майор на службе. И еще она сказала, что у нее есть жених, который работает, и что она скоро уедет к нему. Русский гадко шутил с нею и обещал заходить в гости, но, слава Богу, больше не приходил.

Она каждый день убирала квартиру, убирала и плакала. Несколько раз приходила невеста Карла — Карла арестовали в тот же вечер у Бранденбургских ворот. Никто не знал, что с ним случилось, но сегодня он вернулся ужасно избитый. Он ни в чем не сознался, говорил, что возвращался из деревни от бабушки, которую не застал дома (он знал, что в тот день бабушки не было дома). Он лежит в постели.

— Но ты снова дома, — Инга не удержалась и заплакала, — не буду, не буду... Только скажи, что никто тебя у меня не отнимет... Если бы ты знал, что только я передумала...

«Как мне сказать ей обо всем, что случилось?» — он смотрел на ее лицо, на глаза, на плечи, ставшие родными, — ему надо было отказываться от них!

— Ведь тебя не увезут из Германии? Что они делали с тобой — ты так похудел? Ах, это я во всем виновата! — в отчаянии сказала она и опять заплакала.

— Не плачь, Инга... Они меня только спрашивали о Карле... И отпустили. Что будет — не знаю. Может... может, мне придется уехать, — не глядя на нее, неожиданно для себя самого сказал Федор.

Он боялся слез, но Инга сразу перестала плакать, и он скорей угадал, чем увидел, как она побледнела. Она вся обмякла, сгорбилась.

— А как же... а как же я? — едва слышно спросила она.

Это чуть слышное «а как же я?» переполнило его такой жалостью, что он схватил ее похолодевшие руки, притянул к себе и принялся торопливо гладить по голове, как ребенка.

«Что же делать? Боже мой, что же делать? Только бы она выбралась из разлуки, только бы встретила хорошего человека...»

И тут же, когда представил, что Инга, его Инга, будет счастлива с кем-то чужим и что этот чужой будет ее обнимать, целовать эти руки, этот рот, эти глаза — его так и ударило. Он прижал ее к себе еще крепче, словно кто-то уже отнимал ее у него.

Инга, не отрывая щеки от груди Федора, заговорила быстро и решительно:

— Я напишу вашему Сталину, я буду просить его до тех пор, пока меня не пустят в Россию к тебе... Я стану коммунисткой и буду делать все, чтобы Германия скорее стала советской. Я и об этом напишу Сталину...

— Дорогой мой глупыш, ты не знаешь, что говоришь: если ты напишешь о нас, то меня арестуют. Даже добейся ты разрешения въезда в Советский Союз, они однажды скажут, что ты приехала шпионить, и тебя и меня расстреляют, а детей наших посадят в лагерь.

Инга потерлась щекой о шинель Федора.

— Как же русские могут жить в такой... такой страшной жизни? Зачем тебе возвращаться туда?

Легкий холодок пробежал у Федора между лопаток.

В нем, как почти в каждом советском человеке, случайно попадающем за границу, мысль о невозвращении жила всегда, но инерция привычек, судьба близких людей, неизвестность жизни на чужбине, наконец страх, связанный с этой мыслью, обычно делали ее в самом начале игрой воображения «для себя».

Но теперь, после ареста, после невозможности, как ему сейчас казалось, потерять Ингу, мысль эта поразила его соблазном освобождения. «А Соня?» Соня была в лагере, помочь ей, когда сам стал «штрафником», он ничем не мог. «А Катя?» Катя сразу заслонила открывавшуюся было дверь. После того, что произошло сегодня, после того расстояния в Карлсхорсте, которое они прошли рука об руку, после счастья в Катиных глазах в «Москве», он уже не принадлежал себе, она одна имела на него право.

И словно в подтверждение этого дверь комнаты медленно отворилась и на пороге встала Катя.

Как громом пораженная, смотрела она на Ингу. Инга не захлопнула входную дверь и Катя вошла без звонка. Испуганная неожиданным появлением женщины в беличьей шубе, в которой сразу узнала «фрау-оберст», Инга только крепче прижалась к Федору. Его рука замерла на волосах девушки. другая обнимала плечи.

Было видно, как отливала краска от лица Кати. При электрическом свете оно стало почти серым. Левой рукой она схватилась за косяк двери. Федор хотел подняться, но Инга вцепилась так, что он снова сел и стал отрывать ее от себя.

Катя на мгновение по-другому взглянула на него, и странен был этот взгляд неестественно почерневших глаз. Потом рывком повернулась, пошатнулась и как бы выпала из рамы дверей.

Федор молча грубо оттолкнул Ингу и бросился за Катей. Двумя прыжками догнал ее на лестнице, забежал на ступеньку ниже и стал ловить ее руки.

— Катя... я не решался тебе сказать... выслушай меня...

Она жестом остановила его. Лицо ее было спокойно, но было видно, что вот-вот она потеряет сознание.

— Я опоздала, Федя... Я пришла сказать... сказать, что тебе

нельзя возвращаться в Союз... Я... я хотела бежать... с тобой. Но мое место оказалось занятым. Теперь я понимаю, почему ты не мог...

Совпадение слов Инги, его собственных мыслей и того, что говорила сейчас Катя так потрясло его, что он даже не сделал попытки задержать ее и только стоял и смотрел, как она уходила и как скрылась внизу за дверью.

Инга сидела в том же кресле, слезы медленно текли по ее мокрым щекам. Федор прошел к обеденному столу и сел на стул. Тупая боль в висках мешала, и он бессмысленно смотрел на стену. Прошло несколько минут, и вдруг резко зазвонил входной звонок. Федора словно сорвало с места. Но на лестнице никого не было. Он заглянул вниз, в пролет лестницы, потом вверх — никого. На улице снова раздался тот же шум отъезжавшего автомобиля. И только тогда он заметил у кнопки звонка торчавшую записку.

«Желаю вам обоим счастья». Написано было торопливо рукой Кати.

Так, с листком в руке, он вернулся в столовую. Инга сразу заметила записку. Федор сел за стол, положив перед собой листок на скатерть.

— Она... желает... тебе и мне... счастья, — деревянным голосом проговорил он. — Она... желает тебе и мне счастья. Ты понимаешь?.. Я не стою ее пальца... Мы оба не стоим ее пальца.

Инга, стараясь не шуметь, встала и подошла к нему.

— Ты ее любишь?

— Разве я могу так любить! Я не стою одного ее пальца, — ожесточаясь, громче и громче повторял он. — Она знает, что мне нельзя туда возвращаться, для меня знает! Мы оба не стоим ее пальца! — руки его сжались и поташили скатерть, листок косо слетел на пол.

Инга обхватила его голову руками.

— Федя, не надо...

Он был на грани припадка, но события последних дней так измучили его, что он вдруг сразу стих и дал уложить себя.

Долго лежал с закрытыми глазами, боясь расплакаться.

Катя потеряна, это было в ее глазах, в жесте ее руки, там, на лестнице. Потеряно было все, оставались Инга и Соня: Инга сидела на ковре у его ног, а Соня была *там*. Когда он пытался думать, что ждет его *там*, наплывало что-то черное и начинало нестерпимо болеть в висках.

. . . . . .

В эту ночь Федор решил бежать.

19. В ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ

Из книг он взял только томик Блока — подарок Сони в день окончания института, — Федор не расставался с ним всю войну.

Перед тем, как положить книгу в чемодан, он взял ее — погадать, как делали в детстве: что-нибудь загадывали, раскрывали наугад, и первая попавшаяся фраза была ответом на загаданное.

Весь день — в комендатуре, в Комендантском Управлении, в Отделе кадров, дома — мысль о границе не оставляла его. Могут убить, могут поймать — живым он не дастся — лучше застрелиться! Могут поймать союзники и выдать, — какая нелепость — выдавать перебежчиков! И кому?

«Что из этого выйдет?» — мысленно спросил он и раскрыл Блока.

«В стороне чужой и темной
Как ты вспомнишь обо мне?
О моей любови скромной
Закручинишься ль в тоске?»

Перескочил две строки.

«Если будешь, мой любимый,
Счастлив с девушкой чужой . . .»

«Значит, все будет хорошо!» И тут же подумал, что это о Кате. «Что она сейчас?» Ему очень хотелось написать ей, но он не знал, нужно ли писать, и не повредит ли ей его письмо.

Книжку положил сверху белья. Оставались письма: мамины, Сонины и одно — Катино.

Долго перебирал их, перечитывать боялся — инстинктивно избегал всего, что могло поколебать решение бежать. Брать с собой их он не имел права — могут убить, могут поймать. Первым — решительно, будто бросился в воду, — разорвал письмо Кати. Потом взял последнее письмо Сони, в нем лежала Сонина карточка — Соня смотрела укоризненно, будто осуждала.

«Не могу!» — поспешно сложил все письма в кучу — сверху порванное надвое письмо Кати, — связал шнурком. Потом развязал и добавил тетрадь со стихами, решив все оставить у Карла с тем, чтобы «после» тот переслал ему.

Вошла Инга — в берете, в «солдатских» ботинках. Будто старше стала и красивее.

Инга должна была ехать в Нордхаузен поездом с гражданским платьем Федора и частью своих вещей. Там, наняв комнату, разузнать о возможности перехода границы. Федор с Карлом на автомобиле знакомого немца поедут завтра ночью: если задержат по дороге, Федор скажет что едет в дивизию прощаться.

— Не беспокойся, милый, — я сделаю, как мы договорились. Только не задерживайся — я буду беспокоиться. Как приедете, пошли Карла на почту — я оставлю на его имя письмо с моим адресом.

Три раза позвонил звонок — условный знак Карла.

Он сильно похудел, казалось, сделался меньше ростом.

— Все в порядке, герр майор! — и положил на стол бумажный пакетик. — Два карата и чистый.

Карл выменял на автомобиль Федора бриллиант, на который Фе-

дор должен начать жизнь на Западе: деньги были ненадежны — ждали денежную реформу.

— Спасибо, Карл. Это куда портативнее.

— Герр Шульц за тысячу марок дает мне на три-четыре дня свой адлер.

— Очень хорошо.

Карл хотел что-то спросить и замялся.

— Я не знаю, герр майор, но если можно, не дадите ли вы мне пистолет, который в гараже?

— Пистолет?! Зачем он тебе?

— Ах, герр майор, в Германии все еще может быть... На всякий случай...

— Можешь взять, но только смотри...

— Филен данк, герр майор!

— Кушай на здоровье.

Снова зазвонил звонок — один раз — чужой.

Инга испугано посмотрела на Федора и побежала с Карлом в кухню.

Федор всунул пакетик с бриллиантом в кресло, огляделся и пошел открывать.

За дверью стоял сержант Волков.

— Пришел проститься, товарищ майор.

— А, Валя! Входи. Спасибо, что не забыл. В комендатуре меня, как заразного, обходят.

— Эх, товарищ майор, все люди б....!

— Так уж и все? А ты, а я?

— Если не все, то почти все. Мы что — солдаты, мы понимаем, а вот комендант, замполит — такие суки! Я ведь дежурил, когда вас забрали. Приехал к нам какой-то капитан из оперотдела. Заперлись они у полковника, а я у дверей слушал. Полковник все говорил: «просмотрели», «просмотрели». А замполит: «Я всегда говорил, что Панин подозрителен — необщителен, стихи пишет». Да что там говорить, товарищ майор! У меня то же самое: скурвилась моя — американца себе завела!

— Как американца?

— Да так. За все хорошее мое. Я теперь не могу часто к ней ездить — опасно, а у американца сигареты, консервы, шоколад, а главное — прятаться не надо. Сообразила, что там и замуж может выйти за него — так прямо мне и сказала. Хотел я ей надавать по морде, а потом подумал — Аллах с ней! Обидно, но чем она виновата за наши порядки! Типичное не то — эти немки! Наша деваха так не сделала бы.

— Что ж теперь?

— Буду в отпуск проситься. Поеду домой и женюсь на нашей.

Вскоре Валька заторопился — надо было на дежурство.

— Прощайте, товарищ майор. Может когда и встретимся.

— Прощай, Валя, не поминай лихом... Может и встретимся.

20. БЕРЛИН—ЛЕЙПЦИГ—НОРДХАУЗЕН

К границе Федор решил ехать окружным путем, через Лейпциг — по дорогам районов, где в комендатурах служили знакомые офицеры.

Он боялся проверки на контрольных пунктах — его документы демобилизованного могли вызвать подозрение.

Выехали затемно утром. На дворе было ветренно и сыро. Предосторожности ради Федор вышел из дому и пешком дошел до Александерплатц, где его поджидал Карл.

В пути начался дождь. Ехать по снежной грязи было трудно, автомобиль скользил и его то и дело заносило. Встречные машины попадались редко — больше немецкие грузовики, спешащие в Берлин.

Ненастье и безлюдье на шоссе Федора успокаивали — в такую непогоду и КП по дорогам меньше, посылают обычно солдат, которым тоже не хочется мокнуть: проверяют поверхностно, тем более — майора в орденах.

Проезжая временный деревянный мост через Эльбу в Виттемберге Федор вспомнил, что в ближайшей комендатуре он никого не знает. Решил сделать крюк через Дален.

В Далене, не заезжая в комендатуру, проехали прямо на квартиру коменданта.

На звонок вышел капитан.

— А, товарищ гвардии майор! Милости просим.

Капитан был нетрезв, весь вид его — лицо, одежда были помяты и неряшливы.

— Нет нашего майора... Пропал парень... — ответил капитан на молчаливый вопрос Федора. — Кутнул на стороне и заразился сифилисом. Отправили в венерический госпиталь, куда-то на север, на остров... Жалко парня, по сути неплохой человек был, да надорвался... Не по силам положение коменданта... Комендатуру скоро закрывают — на время меня назначили, — грустно рассказывал капитан.

За окном лил дождь, черные костлявые ветки деревьев метались, будто тоже что-то горестно рассказывали.

— А Галина?

— Галину заразил... Ей бы вылечиться, а тут приказ пришел — всех репатриированных отправлять в Советский Союз. Так больная и поехала... Пропадет дивчина...

Ветка громко стукнула по стеклу, капитан оглянулся и тяжело вздохнул.

Федор вспомнил Галину и ее «хочь бы до дому поихати» и тоже посмотрел в окно. Рассказ капитана, его запущенный вид, зимний

дождь за окном, черные ветки — от всего этого Федора охватило щемящее чувство одиночества и безнадежности.

— Ну а с вами как? Переведут? — спросил он, вспоминая о хлопотах капитана.

— Э, товарищ майор, да разве мы знаем! Сегодня опять написал заявление на демобилизацию. Кто ж его знает... Пойдемте лучше погреемся с дороги.

Федору представилась столовая, горящая печка, — хорошо сейчас сидеть, пить водку, смотреть в огонь и знать, что не надо ехать к границе, не надо рисковать жизнью.

Он поблагодарил капитана, пожелал ему скорой встречи с семьей и с тяжелым сердцем отправился дальше.

Когда подъезжали к Лейпцигу, небо очистилось и выглянуло солнце. В городе, несмотря на сильный ветер, улицы были полны прохожими.

Федор хотел приехать в Нордхаузен вечером. Думая скоротать время, решил осмотреть памятник «Битвы народов».

Долго поднимался по узкой винтовой лестнице, пока вышел на площадку. Лейпциг сверху чем-то напоминал весенний русский город. Наверху сырой ветер был сильнее, и Федор скоро продрог. Внутри памятника экскурсовод демонстрировал небольшой кучке посетителей-немцев эхо, но, завидев советского офицера, оставил тех, подошел к Федору и стал рассказывать ему историю памятника — в надежде на щедрую оплату.

Федор слушал рассеяно, а потом вспомнил и спросил про русскую церковь, построенную рядом с памятником — в память погибших русских воинов в «Битве народов». Экскурсовод вывел его на площадку перед входом и показал рукой вниз — на зеленую крышу церкви.

У подъезда церкви стоял чей-то серый хорьх с советским номером. Федор хотел было уйти, как из дверей церковки вышел чернобородый священник с ключами в руке, а за священником советский генерал.

Федор, забывая куда и зачем едет, выскочил из автомобиля.

— Герой! Какими судьбами?

— Проездом, товарищ генерал-лейтенант, — ответил Федор и тут же, вспомнив все, смутился, главное оттого, что надо было врать.

— Я тоже. Давно собирался посмотреть церковь. Утром был в Дрездене и решил воспользоваться случаем: пойдем взглянем на могилы наших храбрых предков

Священник возился с замком на дверях склепа. Спускались по узким каменным лестницам.

Генерал первым снял фуражку и молча читал надписи на старых потемневших плитах, под которыми были погребены офицеры русских полков, погибшие в битве с армией Наполеона. Федор тоже снял фуражку, но больше смотрел на свежие венки от советских частей.

Священник-серб что-то тихо говорил на неправильном русском языке.

Было холодно и торжественно. Генерал, опустив брови, слушал объяснения священника.

Вышли наружу, Федор спросил:

— Товарищ генерал, разрешите дать немного денег священнику на церковь?

— Конечно, — ответил генерал, но, завидев приближающуюся группу офицеров, отошел.

Федор вернулся к запиравшему склеп священнику.

— Батюшка, можно пожертвовать на церковь?

— Почему же нельзя, юноша, — многие офицеры жертвуют на Божий дом, — просто ответил священник.

Давать деньги было ужасно неловко. Священник, увидев банкнот в тысячу марок, внимательно посмотрел на Федора.

— Батюшка... помолитесь за раба Федора, — быстро проговорил Федор, не зная, почему и откуда пришла к нему эта фраза, и торопливо сбежал с крыльца.

Священник остался стоят с ключами в руке, зеленой бумажкой — в другой. Ветер рвал на нем рясу, забрасывал на лицо волосы. Приехавшие офицеры несколько раз окликали его.

Генерал поджидал Федора в автомобиле.

— Мне надо еще к генералу Кафтанову — он здесь комендантом. Поедешь со мной?

— Спасибо, товарищ генерал, я должен торопиться. До свиданья... Кланяйтесь Наталье Николаевне...

— Ты что, герой, сегодня странный какой-то?

— Нет, ничего, товарищ генерал... Я только хотел, чтобы вы и Наталья Николаевна никогда не сердились на меня...

— Да с чего это ты взял? Нет, в церковь тебе ходить нельзя. До свидания. Приезжай — мы оба тебя любим.

21. ГРАНИЦА

Дом стоял на окраине, полуразрушенный, окруженный развалинами. Старуха хозяйка охотно сдала Инге комнату.

Из окна виднелись руины, за руинами темнела зубчатая стена леса.

Солнце еще не село. Фигура Федора двигалась в закатном свете, вихря за собой рой светящихся пылинок.

— Как же другие переходят? — повторил он, ни к кому отдельно не обращаясь.

— Переходят, герр майор, но риск... — ответил Карл, сидевший у печки.

— Фрау Шмидт говорит, что дней через пять с той стороны вернется ее знакомый — он переводит с гарантией, — сказала Инга.

Она сидела на кровати против окна — вся в багрянце и, не мигая, смотрела на солнце.

Федор остановился и поглядел на нее. На освещенной стене, прямо над головой девушки, стояла тень оконной рамы, похожая на тень большого креста.

— Мы не можем столько ждать!

Они жили в Нордхаузене третий день. Карл отказался возвращаться в Берлин до перехода Федором границы. Ни он, ни Инга, несмотря на все старания, не могли найти проводника. Немцы толпами ходили на ту сторону, но их часто задерживали: после двух-трех дней опроса, обычно отпускали. Если бы задержали Федора, то акцент выдал бы его, да и документов немецких не было.

— Завтра ночью пойдем во что бы то ни стало! Надо . . .

Его перебил стук во входную дверь. Инга и Карл вскочили. Она хотела подойти к Федору, но тот нетерпеливо махнул им уходить в кухню. Достал из-за печки пистолет, положил в карман. Стук повторился. Федор вышел в коридор.

Фрау Шмидт оторвалась от глазка входной двери.

— Какой-то военный, — и уступила место Федору.

За дверью стоял Василий.

Василий вошел боком и первое, что увидел, — гражданское платье Федора.

— Что случилось?

— А вот, смотри, — Федор руками показал на себя.

— Ничего не понимаю!

— Пойдем, — Федор пропустил Василия в комнату, закрыл дверь и молча усадил на диван.

— Бегу, Вася.

— Бежишь?! Куда?

Федор махнул рукой в сторону окна — солнце уже село, только кровавая полоса зари, разлившись, стояла над лесом.

— Ты что, спятил? Что случилось-то?

— Ах, Вася . . . — щека Федора дернулась и он, взяв со стола папиросу, стал закуривать.

Он рассказал Василию обо всем, что с ним случилось после отъезда из Нордхаузена. Василий слушал и время от времени бил себя кулаком по колену, то ли от огорчения, то ли от возмущения.

— Вот, Вася, какие дела. Не мог не проститься с тобой, хотя, боюсь, что могу подвести. Когда вчера позвонил и сказали, что ты в отъезде, даже испугался, что не увидимся.

Василий сидел, свесив большую голову.

— Да-а-а, дела, — словно про себя произнес он. Несколько раз провел ладонью по подбородку. — А где же эта, твоя дивчина?

Федор позвал Ингу. Она вошла и остановилась на пороге. Тяжелый взгляд Василия так и впился в нее.

— Да-а-а, — снова проговорил он. — А как же вы пойдете через границу? — спросил, продолжая разглядывать Ингу.

Та поглядела на Федора, словно прося защитить ее от взгляда Василия. Федор перевел вопрос Василия и сам ответил:

— Хотели проводника, но не можем найти. Решил завтра идти так, а она вот боится за меня.

— Мы с Карлом думаем идти на ту сторону, чтобы разузнать все, завтра к ночи вернемся, — быстро проговорила Инга, глядя на одного Федора.

Федор перевел. Василий выпятил нижнюю губу и хмыкнул:

— Бой-девка . . . Любит.

Инга словно догадалась, что этот огромный и мрачный офицер похвалил ее.

— Мы идем сейчас. Возможно встретим попутчиков, которые знают дорогу . . .

И не удержавшись, покраснела.

Федор хотел позвать Карла, но, вспомнив, что нехорошо подвергать Василия встрече с лишними людьми, вышел с Ингой из комнаты.

— Все будет хорошо, милый, ты не беспокойся. Завтра мы вернемся.

— До свидания, Инга. Слушайся во всем Карла. Не рискуйте. Лучше мы подождем день-два, — они вышли в коридор.

Девушка потерлась щекой о его щеку.

— Я так люблю тебя.

— Может быть, тебе лучше остаться, а Карл сходит один?

— Нет, нет, Федя. Я хочу что-нибудь сделать для тебя, для нас.

Федор поцеловал ее, поправил выбившиеся из-по берета волосы. Девушка улыбнулась, потрогала пальцами его брови, щеки, губы и подтолкнула к двери.

— Тебя ждет твой друг. Не беспокойся, милый, все будет хорошо.

Василий все так же сидел на диване и мрачно разглядывал носки своих сапог.

— Ты что, как на похоронах? — стараясь пошутить сказал, садясь рядом, Федор.

— Конечно, похороны. Единственный друг уходит — разве не похороны! . .

Василий ушел ночью, пообещав в свою очередь разузнать о проводнике и завтра вечером, чтоб не заметили, придти снова.

Весь следующий день Федор нервничал. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным, побег начинал казаться неосуществимым и гибельным. Он даже раз поймал себя на мысли: не бросить ли все и не поехать ли в Советский Союз — еще было не поздно. Инерция принятого решения несла дальше: вечером вернется Инга, и все окажется не таким трудным. Потом ему стали мерещиться за окном подозрительные люди, начинало казаться, что за домом следят. Он то и дело прислушивался и едва заставил себя написать письма Соне и Кате.

Он, по-разному, просил их простить ему.

Уже стемнело, когда в коридоре послышался стук. Фрау Шмидт вышла из кухни, но что-то долго не отпирала. Федор выглянул в ко-

ридор — чей-то женский голос с явно русским акцентом просительно говорил за дверью одно слово: «Битте... битте... битте...»

Федор похолодел. Снял предохранитель пистолета и стал за шкафом у окна, выходящего из коридора на задний дворик. Бесшумно открыл оконную задвижку и дал старухе знак открывать.

Вошла маленькая толстая женская фигура.

— Наталия Николаевна!

— Вот чертовка! Едва впустила, — проговорила жена генерала и, разглядев Федора, протянула ему руки. — Федя, сыночек...

У Федора заныло внутри... Уже в комнате Наталия Николаевна сняла большой русский платок и заплакала быстрыми, дробными слезами.

— Вася мне все рассказал... Он ждет в машине за углом... Сыночек ты мой, за что же они довели тебя до этого... Проститься пришла. Моему не говорила, потом скажу... Он мне рассказывал про вашу встречу в Лейпциге — недаром душа болела у меня... Говорила ему — похлопочи, чтоб Федора в дивизию перевели...

Она вытерла концом платка глаза.

— Ну, что там теперь говорить... Ты о сестре подумай, напиши ей обо мне, ведь она теперь сиротой останется...

— Ах, Наталия Николаевна, разве я бежал бы...

— Знаю, Федя, знаю. Поэтому и пришла... Знать, судьба...

Она встала и трижды его поцеловала в щеки.

— Помоги тебе Бог, Федя. Не легко будет там... Прощай, Федюшка, — мокрое лицо ее сморщилось, и она снова заплакала. — Соне, сестре напиши о нас... Васе передай... Он сейчас придет... Прощай... страдалец... — жалостливо махнула рукой, повернулась и пошла, вытирая глаза.

Василий застал Федора на диване.

— Вот она, русская женщина! Не твоим немкам пара!

— Зачем ты так, Вася?

— А затем, что обидно! Ведь она приехала отговаривать тебя, а вернулась — плачет и говорит: «Не могу! Верну, а вдруг на муку. Да и немку несчастной сделаю. Боюсь, грех на душу возьму». Понимаешь? А ты так легко нас на немку меняешь!

— Я никого и ничего не меняю, Вася. Я просто не могу быть разменной монетой в руках «наших», о которых так правильно говорил твой отец.

— Что ты мне — «наши» да «наши»! Они мне тоже вот где! — Василий дернул волосатым пальцем по горлу. — Я всю ночь не спал — все думал; ведь это навсегда! Был Федя и нет его. Это, как умереть: тебе там, может, и будет что известно о нас, а нам о тебе уже никогда. Как с того света.

Василий сел рядом, положил тяжелую руку Федору на колено.

— Ты знаешь, всю войну мы — душа в душу, на войне все обошлось, и теперь терять... Я понимаю: интересно оно, посмотреть-то на белый свет: города там всякие, страны, океаны, как люди живут, — у нас в деревне дед древний жил — в молодости матросом плавал — вез-

де побывал: такие чудеса рассказывал... Да и житуха там не та, что наша: вольготная. Не наша бедность...

— Ты ведь знаешь, Вася, что не из-за этого я...

— Кабы не знал! Да все-то, вот думаю, может как по-другому повернуть можно? Может, как-нибудь сделать так, чтобы не расставаться навсегда...

— Как, Вася?

— С месяц тому назад у нас из дивизии сержант Егоров бежал — может помнишь, еще на баяне играл? Так тот замполиту записку оставил: «Ну, гад, держись, я еще вернусь!» — Понимаешь, в чем разница? Убежал, а сам о возвращении домой думает...

— Ему, наверно, все равно было. А у меня ты, Соня, Наталия Николаевна, генерал... Для меня главное, чтобы никому из вас не попало...

— Это верно. Это я понимаю. Только Егоров, с другой стороны, как бы с народом, что ли, остался...

— Это ты брось, — сердясь прервал Василия Федор. — Народ, народ... Я могу понять Колчина, Серова — те завтра назовут меня «врагом народа», «изменником родины», но ты...

Василий поглядел сбоку на Федора, вздохнул.

— Ты не злись. Перебрал я все-то ночью — и арест Сони, и твой арест, и твою демобилизацию, и Катю твою, и немку твою... Вот, скажем, не повстречайся тебе немка эта, ты бы бежал?

— Да не из-за Инги я бегу! Не из-за немки! Здесь дышать нечем!

— Эх, Федя! Что делать-то и не знаю...

— Помнишь, Вася, я говорил, что все равно, кто победит в мире, а человечество в далеком будущем придет к тому, к чему должно придти, — помнишь? Теперь я уверен в другом: победи то, что у нас творится, все кончится всеобщим рабством! Сейчас это скрыто напряжением наступления, если хочешь, ощущением побед. А вот потом, после последней победы, если она случится, все поймут, да ничего поделать уже не смогут. Вот как теперь мы после этой нашей победы!

— А я думаю не так, Федор. Не для этого-то человек на свет появился, чтобы сгинуть. Человек — он, брат, стожильный. Чего только не было у нас, как уж у нас его ломали, а он все терпит. И перетерпит...

— Бог терпел и нам велел — да? Член партии Василий Трухин проповедником заделался!

— Ты не зубоскаль... Война научила...

— А другому она тебя не научила?

— Чему это?

— Тому, что терпение это — рабством отдает. Я не знаю, что буду делать там, если пройду, одно знаю — здесь жить не могу. Хватит! Нет у меня больше терпенья! И кончим этот типично русский разговор. Бог знает, о чем говорим на прощанье.

— А, по-моему, дело говорим. Больно, вот и разбавляем боль, как спирт водой...

Сильный стук в входную дверь прервал Василия. Федор вскочил,

вытаскивая из кармана пистолет. Василий тоже поднялся — лицо его как одеревенело.

— Дай сюда пистолет!

Федор отступил, затравленно вглядываясь в Василия.

— Отдай, говорю! Ошалел...

Стук в коридоре повторился сильнее и настойчивее.

— Если это они, скажем, что приехал проститься со мной, а мне за пистолет ничего не будет.

Федор покорно отдал пистолет. В коридоре послышался голос хозяйки, стук двери, и сразу же следом в комнату ввалился Карл. Был он в грязи и бледен.

— Инга... Инга... — проговорил он, с отчаянием глядя на Федора, — убита!

— Что? — спросил Василий.

Федор стоял, как по команде «смирно», только глаза, сощурившись, побледневшие, смотрели на Карла. Потом поискали чего-то на стене над кроватью и остановились там, где вчера была тень креста. Василий схватил Федора за плечо.

— Что он сказал?

Щека Федора задергалась — быстро-быстро.

— Ингу... убили.

Василий обернулся к Карлу и по-русски спросил:

— Где убили? Кто убил?

Карл понял.

— На границе... Русский пограничник...

И Василий понял. Он осторожно усадил Федора на кровать. Обнял за плечи.

— Ну, а теперь? — шепотом спросил он.

Федор рывком скинул с плеча его руку, обернулся всем корпусом, сощурился, как только что на Карла, затрясся и исступленно закричал:

— Рад?! Доволен?! Так знай же — бегу! Сейчас! Слышишь, сейчас же!

. . .

Было половина четвертого утра. В лесу моросил дождик. Перешептывались в темноте деревья. Федор шел и шел. Проваливался в мокром снегу, спотыкался в темноте о пни и кочки; дважды где-то рядом слышалась русская ругань, но он шел, не сворачивая и не прячась, крепко сжимая в руке пистолет, — шел прямо на запад.

СТРАХ

КНИГА ВТОРАЯ

1. ПЕРЕСАДКА В БРЕСТЕ

Коротая в ночи привычный путь, колеса отсчитывали рельсовые стыки. Иногда сбивались со счета — вагон чуть встряхивало, и тут же начинали считать сначала.

Василий лежал на спине, полки не хватало — левый локоть свисал над краем, ныли колени неуместившихся ног. Расслабленное тело покачивалось — то в такт вагону, то слегка обгоняя; чтобы не удерживать согнутые колени, расставил пятки — колени упирались под углом и поддерживали друг друга.

Иногда забывался, и тогда поезд начинал двигаться назад. Пробовал подкараулить этот переход в ощущении, но поезд догадывался и направления не менял.

Закурил. Увидев дым от папиросы, понял, что стало светать. Морщась от боли в пояснице, повернулся на бок. За окном, в пепельном небе высоко холодели звезды. Внизу, у самого полотна — справа налево — мелькала пятнистая земля, рябили черные кусты в цеплявшихся клочьях паровозного дыма. У-у-у-у! — протяжно засвистел, не то кого-то предупреждая, не то на что-то жалуясь, паровоз, и так далеко, словно он был не впереди поезда, а где-то у горизонта. Спящий на нижней полке капитан еще больше подтянул колени, крепче прижался лицом к горстям рук, не желая отрываться от чего-то очень приятного. Напротив — на другой нижней полке — спал костлявый полковник: лежал на спине, подтянуто, собранно, с лицом сосредоточенным, словно сидел в приемной начальника политуправления, — спал, ожидая. Над полковником, на расстоянии протянутой руки от Василия, спал, отвернувшись от всего на свете, черноголовый кудрявый майор.

После побега Федора Василий под разными предлогами побывал всюду, где должны были знать, если бы Федора задержали: у коменданта Нордхаузена, в опергруппе, на погранзаставе. В сарае опергруппы видел труп Инги. Когда дежурный оперативник распахнул дверь, Василий не сразу понял, что это было. Обслуга опергруппы — репатриированные парни — озорства ради бросила труп на спину, ногами к входу, только голову и грудь прикрыли куском грязного солдатского одеяла. Больше всего запомнился Василию безукоризненно белый иней между циркулем вытянутых ног. Лейтенант гадко рассмеялся и, пытаясь носком черного начищенного сапога сдвинуть ноги, сказал:

— Какой товар, подполковник, пропал! А?

Окоченевшая нога спружинила, циркуль ног с туловищем сдви-

нулся по окружности, оставляя на инее мягкий след от пяток. Это геометрическое черчение было убедительнее всего — труп, смерть. Начищенный сапог оперативника был в тысячу раз живее того, что осталось от немки. Из сарая Василий вышел, навсегда сфотографировав глазами белый от инея дощатый пол, женские ноги цвета репы в пятнах, мерзлый кусок одеяла.

Василий все эти дни старался представить себе Федора там. Мысль о том, что Федор там был один, без немки, почему-то была приятна: значит ушел, значит бросил их не из-за нее. Мысль эта как бы восстанавливала Федора прежним, — каким был для Василия с первых дней войны.

Встретились они в ноябре сорок первого. Штаб дивизии попал в окружение. Решили пробираться двумя группами. Генерал — тогда еще полковник — повел первую группу, вторую — Федор. Как случилось, что старший лейтенант Панин оказался страшим в группе, где, кроме него, Василия, было еще два капитана, Василий не помнил. Правда, сам он был ранен в икру. Нога распухла, рана гноилась и, как Василий ни старался, быстро идти не мог. Группа их от генеральской отстала. Политрук Буркин предложил разбиться на части — легче, мол, пройти. Василий сразу догадался — это, чтобы отделаться от него.

— Пусти! Я сам! Сам доберусь!

И все, — он по глазам видел — соглашались с ним, но Федор — зрачки как у кошки, рука на пистолете:

— За попытку уйти или отделиться — застрелю!

Бинтов не было, Федор разорвал свою нижнюю рубаху на полосы. Немцы разговаривали шагах в пятидесяти. Все боялись, что Василий не выдержит и застонет. Он обливался холодным потом и только хватал ртом снег... Когда приходилось двигаться бегом, Федор подхватывал его руку через плечо и тащил так, что он едва успевал шкандылять...

Одного в Федоре Василий так и не смог понять: в опасности — распорядительный, требовательный, даже кадровые офицеры подтягивались; на отдыхе — вялый, безразличный. Это иногда даже обижало, особенно после боя, когда хотелось поделиться, порадоваться, что все обошлось. Генерал как-то сказал о Федоре: ««Стихи пишет». И на самом деле, на Березине, после той сумасшедшей постройки переправы, Федор всю ночь не спал и читал вслух какие-то стихи про «амортизацию сердца и души». Василий, чтобы не обижать Федора, крепился, не спал тоже — только проваливался, стараясь понять — как это душа может амортизировать — пушка она или трактор, что ли?

А в польской деревне с упавшим костелом, у полек? После «славянской ночи» или «смычки с сестрами-славянками», как говорил майор Худяков (похоронили под Варшавой), прибежал связной с приказом выступать. Федорова полька заплакала и стала крестить его.

— Оборонь тебя Свента Матка! Оборонь, помогай, Матка Боска, — будто требовала.

Худяков на диване с рыжей хозяйкой на коленях хохотал.

— И чего это, братцы, бабы Панина любят? Ведь она, ей-Богу, влю-

билась в него. Ты что же, Панин, стихи им в перерывах читаешь, или как?

Толстушка Зося по секрету рассказала Василию, что Федор всю ночь проговорил со своей Ганной — о Польше расспрашивал, а под утро отдал вещевой мешок с продуктами и деньги — так, ни за что. Потом, когда растрепались по штабу, капитан Марков (похоронили на Одере) уверял, что Федор это сделал, подражая поэту Блоку. Дурак, полька лучше знала: «Свента Матка, обронь!» Полька знала. Может и сейчас где-нибудь молится. А он — там . . .

Наталья Николаевна генералу ничего не сказала. Но с Василием за эти дни сошлась ближе, только и говорила, что о Федоре. Вроде польки той. А когда убедилась, что Федора не поймали, стала больше говорить о Соне и Кате, хотя ни той, ни другой не знала. Похудела. «Не заболела ли ты, мать, у меня?» — заметил генерал. Известие о мертвой Инге в сарае приняла по-женски — плакала. Она и поездку придумала. Генерал было заартачился: Василий в отпуск ездил летом — несправедливо и неудобно было перед другими офицерами, да и замполит подумает — любимчиков завел, но Наталья Николаевна две ночи по-бабьи упрашивала: «Пусти, ему жениться нужно», пока не сказал: «Ну, мать, сколько лет прожили, а не знал, что ты такая въедливая».

После этого Наталья Николаевна стала говорить Василию об одной Соне — и какая она хорошая, и одна одинешенька осталась, и в лагерь посадили ни за что, а сама Соню-то и в глаза не видела, все что знала о ней — от Федора. Пятьсот рублей на расходы заставила Василия взять. На прощанье расплакалась и сказала: «Ты уж, Вася, защити Соню, сирота ведь теперь».

Не будь Натальи Николаевны, Василий попросил бы кого-нибудь из надежных ребят бросить письма Федора в ящик на первой станции за Брестом, и только. Как-никак — член партии, рисковать не хотелось. Тем более, что Федор там, и это навсегда. Но разговоры с Натальей Николаевной заставили думать и о Соне, и о Кате, да и обязывали: она тоже чужая им, а рисковала — отказаться было неудобно. Но все-таки главным в поездке был отпуск — заехать домой, отвезти «трофеи», — посылками много не отправишь, а тут сразу два чемодана, аккордеон и приемник. Генерал, чтобы замполит чего не подумал, дал Василию задание — зайти в Москве в Управление связи насчет новых коммутаторов. В штабе армии выдали командировочное удостоверение.

Катю Василий представлял себе красивой — раз Федора полюбила. Соню видел летом, когда подарки Федора завозил. Елизавету Петровну, школьную учительницу литературы напомнила, про которую колхозники говорили — «из бывших». Вначале стеснялся, но когда разговорились о Федоре, почувствовал, что Соне стало приятно, посветлела даже — о Федоре у него выходило легко и складно.

Что получится из поездки — Василий себе не мог даже представить. В Москве надо отыскать Катю, рассказать ей о Федоре, но как и чем он мог помочь Соне? Страшновато иметь дело с «органами».

Правда, теперь не то, что до войны. Василий вспомнил, как в соседнем авиаполку месяца четыре тому назад пьяные летчики убили уполномоченного СМЕРШа — за то, что в офицерском клубе хамить стал. Молодцы эти летчики! Но он, Василий, переходить границу дозволенного не будет. В крайнем случае, Наталье Николаевне можно сказать: ничего, мол, сделать не мог...

Летом, дома во время отпуска, мать причитала: «Не приглядел еще? Мне бы внучка, Васенька, на старости понянчить». Присматривался к колхозным девчатам — не то. В техникуме думал об однокурснице Вале Хорошиловой (только он и знал об этом) — вышла замуж за аспиранта Зайцева; на фронте думал о полногрудой Клавдии Никитичне — военврача дивизионного санбата — вышла за майора из армейской редакции. Теперь: подполковник — и вдруг колхозница! Мать и та не простила б ему. И не от зазнайства это было, а от неясного желания иных людей. Оно-то и толкало его к Наталье Николаевне, Кате, Соне. Может быть, где-то среди них, на них похожая ждала его судьба. На фронте думалось: кончится война, поедут они с Федором в Москву, а там, с помощью Федора, ему удастся преодолеть в себе то, что мешало, — робел Василий людей, которые нравились ему. Сколько раз говорили: жениться, чтоб свадьбы вместе справить! А повернулось вон как... Один Федор догадывался о скрытой робости Василия. Скажи кому — никто не поверит: подполковник Трухин робеет! В работе, в службе робости не было — ни с подчиненными, ни с начальством. Там все ясно: дело, положенный порядок, а люди — части целого. Дело свое он знал, порядок тоже, а вот в жизни ясности взаимодействия не было. Он давно заметил, что в жизни существовал какой-то иной план отношений, вне установленных порядков. Учительница Елизавета Петровна, старичок преподаватель математики, в армии — Федор и еще два-три человека — независимо от их мест, были в чем-то значительнее и председателей колхозов, и секретарей райкомов, и директора техникума, и даже — иных генералов. Ну, вот Федор: хотя и майор, а поговори он с замполитом — тот только моргать будет. Или младший лейтенант Журавский — говоришь с ним и чувствуешь так, словно званиями с ним поменялся, — а ведь только десятилетку окончил и офицер не из расторопных.

Больше всего удивляло Василия в таких людях — их безразличие к начальству. Вначале думал: от бахвальства, от зависти, но потом увидел, что им на самом деле все равно, на каком месте стоит человек, какую зарплату получает, какие погоны носит. Встретятся двое таких, и пошло у них! И не то, что они имена всякие называют или стихи цитируют — этому можно научиться, а то, что сразу признают друг друга, словно жители иной страны. Тот же Федор или Журавский — встретятся, бывало, с немцем — «герром доктором» каким-нибудь, заговорят, и выходит, что не ты им земляк, а немец. Слово «культурные» ничего не объясняло. Василий встречал людей куда образованней: секретарь обкома институт красной профессуры окончил, начальник политуправления — академию. Другие объясняли — «бывшая интеллигенция», но он-то, Василий, не из «бывших» и не из ин-

теллигентов. Почему же его тянет к ним? Именно перед такими людьми Василий и робел, изо всех сил пряча и то, что тянет, и то, что робеет. Прятал потому, что от своего отказываться стыдился, а подделки людской не терпел, — как тот капитан Марков: и стихи в тетрадку выписывал, и арии из разных опер пел, и говорить «по-ленинградски» старался, а все выходило чужой одеждой. Внутренняя неуверенность эта сильнее сказывалась в отношениях с женщинами. Парнем — нравилась докторская дочка, а в лес ходил к солдатке Груне. Студентом — нравилась Валя, а бегал к уборщице техникума Поле. На фронте дело другое — за компанию с остальными, на правах войны. После победы была у него телефонистка Нина — курносенькая, ласковая. Он вызывал ее к себе со сводками и всегда боялся, что солдаты пронюхают и разнесут. Летом Нину демобилизовали. Федор про одних знал, про других догадывался, но никогда ничего не говорил Василию, не расспрашивал. Когда Клавдия Никитична — уже замужем — узнала про польку Зосю, Василий три недели боялся попадаться ей на глаза, даже на перевязку не ходил.

Забытая папироса подпаливала пальцы. Василий свесился с полки, стал тушить папиросу в жестянке на столике. За окном, рябя пространство, неслись деревья. Снегу было больше. Сосед внизу открыл глаза и возвращался откуда-то издалека, пока не оказался в вагоне. Поглядев на руку Василия, виновато рассмеялся.

— Что, товарищ подполковник, скоро Брест? — посмотрел на мелькавшие за окном деревья, почесал под рубашкой. — говорят, трясут там нашего брата, только держись.

Проснулись и напротив: длиннолицый полковник, не меняя положения, открыл глаза, покосился на капитана и стал закуривать; черномазый майор обеими руками пригладил чуб, легко сел, ловко поджав по-турецки ноги.

— Там, капитан, знают, кто и откуда, — сказал он, — будто не спал. — Раз из комендатуры, — значит потрясут по первой категории! Там все наперед знают. Комендант? — Пожалуйте бриться! — он подмигнул Василию черным теплым со сна глазом, приглашая разыгрывать пугливого соседа. Он, видимо, знал капитана.

Капитан, ссутулясь, вертел цыгарку. Медленно прикурил от спички, глубоко затянулся, подержал затяжку в себе — первую утреннюю — и, прочувствовав ее до конца, пустил в стекло толстой струей легкого процеженного дыма.

— Плевать я теперь хотел, товарищ майор, — ответил он, глядя в окно. — Демобилизовался и точка. Ну, везу барахлишко жене, деткам: за войну поистрепались — я из-под Минска Не спекулянт же.

Майор слушал, подкарауливая.

Шутить было не над чем, майор достал из-под «думки» легкие хромовые сапоги.

— Из-под Минска? Я там в сорок четвертом проходил — камня на камне не осталось. Что ж ты там делать будешь? — спросил он, натягивая сапог на поднятую к потолку ногу.

— До войны учительствовал в сельской, думаю, и теперь приго-

жусь. Конечно, в Германии лучше, да что поделать: полгода просил выписать семью — не дали. Ну, да все равно теперь — домой и точка.

Майор молодцевато спрыгнул на пол, сказал полковнику «виноват», снял с верхней сетки алюминиевый чемодан, вынул полотенце, несессер и пошел умываться. Капитан, вспомнив о доме, остановиться уже не мог.

— Я в Далене, в Саксонии, под Ошатцем восемь месяцев в комендатуре отбухал. К концу остались один я и солдат, — сказал он, обращаясь к полковнику.

Но полковник лежал, явно не желая разговаривать. Капитан не огорчился, стал рассказывать Василию:

— Понимаете, такая беда: комендант сифилис поймал, увезли парня в госпиталь, куда-то на остров, может быть знаете — «полком СС» называют. А тут комендатуру сворачивать стали, а я один, а зима немецкая, осенняя — такая тоска, хоть реви. Только и радости было: нет-нет — письмо из дому, да кто из офицеров проездом остановится. Оно, конечно, все больше по части барахлишка заглядывали: приедут, поедят и сразу: а что в городе достать можно? А какой Дален город, хотя и площадь, знаете, и ратуша, и фонтан — как полагается, по-немецки. А то: как продуктов организовать спрашивают. Потом где-нибудь на промтовары у немцев меняют. Я, конечно, давал — мне не жалко: сахар оставался, повидла всякие, мясо — за восемь месяцев запаслись по-хозяйски, для нужд комендатуры утаили от учета, при сдаче могло обнаружиться — скандал. Ну, я и раздавал. Но на всех разве напасешься. Редко кто так заглядывал. Последний раз гвардии майор из берлинской комендатуры заезжал. Молодой, но культурный такой, по фамилии Панин.

Василий подумал, что ослышался, но сразу же ожгла догадка: подослан! Капитан продолжал рассказывать как ни в чем не бывало. При посадке в Берлине Василий занял место вторым, после майора, потом пришел полковник, капитан — последним. Перед отходом поезда в купе капитана не было — это Василий помнил хорошо. Неужели подослан? Сразу главным стали письма Федора.

Полковник тоже стал собираться умываться. Василий воспользовался и полез за полотенцем и мыльницей. Заметив, что Василий перестал слушать, капитан замолчал. Достал вещевой мешок. Василию показалось, что сделал он это поспешно, с тем чтобы выйти вместе.

Письма лежали в кармане гимнастерки. Василий, торопясь, надел ее и, оправдываясь, сказал:

— Простужен, надену лучше...

— Пойдемте, товарищ подполковник, а то очередь наберется — до Бреста и умыться не успеем, — заметил капитан и как-то легкомысленно засмеялся.

— Идите, товарищ капитан, я еще вещи переложу.

Капитану ничего не оставалось, как выйти.

«Выбросить! — сразу же подумал Василий, — открыть окно и выбросить!» Но окно не открывалось. Василий, торопясь, осмотрел вен-

тилятор — отверстия в вентиляторе были узкие, просунуть по обрывкам не успеть — могли войти. Решил выбросить в уборной.

Очередь в туалет набралась большая. За капитаном уже стояло человек восемь. «А если совпадение? — подумал Василий, занимая очередь. — Паникуешь, Вася!» — и тут же решил письма спрятать. Сзади, за Василием, пристроился лысый толстяк с большим мохнатым полотенцем на жирной голой шее.

— Я сейчас вернусь... пасту зубную забыл... — сказал ему Василий.

В купе он оглядел вещи полковника — у такого искать не станут. Полковничьи чемоданы лежали, похожие на хозяина — затянутые ремнями, застегнутые на замки. У самой двери висело кожаное пальто майора. Байковая подкладка пристегивалась «молнией». Не раздумывая Василий отдернул замок «молнии», всунул под подкладку письма и задернул замок на место. Пригладил. Прислушался.

Капитан — с мокрыми прилипшими волосами, пробираясь из уборной, Василия в очереди не заметил, и это успокоило.

Перед Брестом успели позавтракать. Майор познакомился с какой-то пассажиркой и завтракал в ее купе. Капитан говорил без умолку и все Василию. Полковник разговора сторонился по-прежнему. Василий отвечал сдержанно, «хватить по маленькой перед Брестом» отказался. Прибежал майор за фотоальбомом — показывать знакомой, сообщил, что Брест будет минут через двадцать. Капитан придвинулся к окну.

— Где-то тут нашего окружного коменданта чуть не прихлопали, — сказал он Василию. — Ехал он, понимаете, в отпуск на своей машине — опель-супер купил. Не один, конечно, — знали, что поляки партизанят, — во Франкфурте-на-Одере собралось их, отпускников, человек двенадцать. Двинулись командой. Барахлишка, понятное дело, у каждого полный кузов. Кто с шофером отпускником, а кто сам за баранкой; кто с пистолетом, а кто и автомат до Бреста прихватил. Всю Польшу проехали, хоть бы что! Стали к Бресту подъезжать — километров тридцать оставалось, как все случилось. В лесу, вот таком же. Едут они, а из лесу вдруг как шарахнут из пулемета! Они и опомниться не успели. Наш комендант ехал первым — в него сразу не попали, он и рванул, что было газу. Вслед очередь из автомата — раз! — пробило плечо. Он лавировать — туда, сюда. Ушел. Он и еще один. Остальных постреляли, барахлишко и сало забрали, машины спалили. Коменданту в Бресте плечо подправили, забинтовали. Всю войну не зацепило, так на тебе!

Василий заметил, что полковник поглядывал в окно. Заметил и капитан.

— И по поезду могут шарахнуть. Потому-то охрана и ездит. Говорят: вдоль всей дороги части маршала Рокоссовского караульную службу несут.

За окном мохнатые сосны и ели угрюмо глядели на пробегавший поезд.

— Коменданта ранило, но это не все, — продолжал капитан, обод-

ренный тем, что теперь его слушал и полковник. — В Бресте — таможенный контроль. За машину, за оппель — налог, чуть не четыре тысячи рублей! Советских денег, сами знаете, нет: рубли нам в Германии иметь запрещено. Что делать? Дал телеграмму жене. Та заняла, прислала. А тем временем полотпуска прошло. Едва успел домой добраться. Что привез — продал на долг, а машину, что ж вы думаете, все равно не уберег. Дома где ее держать? Поставишь на улице — ночью украдут или раскулачат. А бензин? Купить негде, только краденный. А купишь — где держать? В доме нельзя — противопожарные нормы, в сарае нельзя, в подвале нельзя: хранить горючее можно за пятьдесят метров от жилых помещений или бетонное хранилище строй. Короче, продал он свой оппель знакомому директору завода. Директору легче: на заводе гараж, бензин заводской, шофер или там механик тоже, — капитан развел руками. — Где там уж нашему брату машину собственную! Я тоже соблазнился было — купил «декавушку», да перед отъездом продал. Аллах с ней!

В дверь заглянул проводник.

— Подъезжаем к Бресту.

Прибежал майор. Ловко укладываясь, подмигнул Василию.

— Москвичка! — вся его ладная фигура радовалась удаче. — Держись Москва!

Вагон наполнился шумом сборов. Поезд замедлял ход. Лес отошел от полотна и, когда остановился на расстоянии километра, на снегу показались фигуры пограничников. Они стояли вдоль полотна с интервалами телеграфных столбов. Неподвижность и ярко-зеленые погоны делали их некоей растительной разновидностью.

Документы проверял лейтенант погранвойск с красной повязкой на рукаве. Василий следил — не станет ли он проверять его документы тщательней, чем документы других, не выдаст ли чем-нибудь себя капитан? Но лейтенант дольше всех рассматривал бумаги майора. Полковнику и Василию козырнул.

Перрон был перегорожен деревянными шестами, вроде загонов для скота. Повсюду стояли меченные зеленым часовые. Пассажиры с вещами выходили из вагонов и по загородкам, очередями выстраивались к таможне. Василий держался кожаного пальто майора. Москвичка — круглолицая, в меховой шляпке, в манто «под котик» — стояла тут же. Позади Василия оказался капитан. На окрик офицера-распорядителя: «Держаться вдоль перил! Живая очередь!» капитан на правах знакомого заметил вполголоса:

— Родина встречает...

Василий сделал вид, что не слышал.

В очереди стояли с час. Люди чертыхались, дымили папиросами, садились на чемоданы. В таможне все притихли, разглядывая кучи отнятых вещей.

У капитана таможник хотел отобрать два отреза шерстяной материи и несколько пар дамского белья — сверх дозволенной нормы.

— Да, братцы вы мои, — взмолился капитан, — я ж не в команди-

ровку еду, не в отпуск, а домой. Дома двое малых ребят с жинкой! В Белоруссии! Пожалейте! Ей-Богу, нужда!

Даже таможенник не устоял: капитана пропустили.

Содержимое мешка и чемоданов капитана совсем успокоило Василия — «Паникер, пуганная ворона», — выругал он себя: у сексота таких вещей быть не могло. И все-таки, когда в справочном бюро сказали, что для старшего комсостава вагоны отдельные, Василий обрадовался —капитан туда попасть не мог.

Вагон был лучше, с постельным бельем. В одно купе с майором Василию сесть не удалось: два места непостижимым образом оказались занятыми семейной парой, два других заняли майор с москвичкой. Пришлось устраиваться в купе рядом. Соседями попались полковник артиллерист с женой и десятилетним сыном. Жена — полная пергидрольная блондинка с черно-бурой лисой на шее — на что-то жаловалась:

— Порядки, нечего сказать! И когда это безобразие кончится!

Мальчик, похожий на отца, темноглазый, с жесткими прямыми волосами, не отрывался от окна. Очереди солдат и младших офицеров с мешками и чемоданами все еще заполняли перрон. За перегородкой майорова москвичка хохотала, будто ее щекотали.

Василий, чтобы не мешать соседям устраиваться, вышел пройтись.

Вокруг вокзальной площади в неровных кучах снега стояли черные остатки стен. Не успел Василий сойти с выщербленных ступенек вокзала, как его окружило кричащее грязно-серое кольцо оборвышей. Таких лохмотьев, таких грязных худых лиц он давно не видел.

— Дяденька офицер! Копеечку! Товарищ подполковник!.. На хлеб!.. Копеечку...

Василий полез в карман шинели, но вспомнил, что денег там не было. А кольцо кричало, смотрело на него разными парами по-взрослому упорных глаз. Василий стал шарить по карманам галифе, хотя знал, что и там денег не было — деньги Натальи Николаевны лежали в сапоге, отпускные — в чемодане. Девочка в рваном платке поверх солдатской засаленной телогрейки вцепилась в полу его шинели — ее отталкивал рыжий мальчик в бесформенной капелюхе.

— Дяденька, дяденька — тоненько кричала девочка, стараясь заглянуть Василию в глаза, зная, что взрослому, большому и сытому дяденьке не устоять против ее запавших, замерзших до синевы глаз.

Василий круто повернул и, разорвав живое кольцо, зашагал по ступенькам к двери вокзала. В дверях оглянулся — попрошайки врассыпную убегали от милиционера...

В купе сынишка полковника отворачивался от матери, державшей в руке бутерброд с ветчиной, и упрямо говорил:

— Сто раз сказал тебе — не хочу!

Мать положила бутерброд на столик рядом с сыном и сказала Василию:

— Когда у нас научатся, чтобы поезда ходили по расписанию? В Германии такого безобразия не бывает!

2. БРИЛЛИАНТОВОЕ НАЧАЛО

Надоело. Валяться на диване, прислушиваться к звонкам, к голосам квартиры, вскакивать от каждого подъезжающего автомобиля, следить за улицей через дырочку в гардине, специально проткнутую спичкой, и все время думать, думать, думать — что делать? И еще боль-жалость к Инге.

Федор ходил по комнате в носках — не так слышно. Его поместили в детской Эдит, двенадцатилетней дочери хозяев. Светло-кремовые обои, белые занавески, голубой коврик, чистота. Иногда кажется больничной.

Герр Функе торгует текстилем и трикотажем. Несмотря на оккупацию и рейхсмарки, дела идут неплохо. «По-черному» получает товары из советской зоны — из Глаухау, Кременчау, Хемниц; «по-черному» продает здесь в Вуппертале, переправляет и через границу — в Бельгию, Голландию, Данию, взамен получает газетную бумагу, аспирин, шерсть и, конечно, валюту. Для расчетов в советскую зону посылает бритвенные лезвия и иголки из Золлингена. В сравнении с довоенным временем дела мизерные, но на жизнь хватает. И валютно-золотой фонд в ожидании денежной реформы понемногу растет.

Фрау Эльза — родная тетка Инги по отцу. Слушая рассказ Федора, она подносила чистый платок к глазам и говорила: «Бедный Райнгольд, хорошо, что он погиб, он не перенес бы гибели семьи. Петера в плену, конечно, замучили русские звери». Герр Функе отделывался дыхательными упражнениями и обычно торопился по делам.

— Что вы думаете делать? — спросил он Федора на второй день.

Тогда он им и сказал про бриллиант. Герр Функе долго рассматривал камешек в лупу, любовался игрой света.

— Герр майор имеет много таких камней?

Федор вначале не понял.

— Это все, что у меня есть. Я выменял его на свой автомобиль.

Но герр Функе не поверил. Продать бриллиант, выгодно продать он согласился сразу же.

— В нем, к сожалению, два «пера» и уголек, но я надеюсь, что мне удастся для вас, герр майор, получить прекрасную цену — тысяч двадцать пять.

В Берлине ювелир оценивал бриллиант в сорок пять тысяч и хвалил за чистоту. Но что делать? Герр Функе обещал тысяч за пять достать документ для английской зоны или «кеннкарту» для американской.

Сегодня герр Функе с утра ушел с бриллиантом к знакомому английскому офицеру. Фрау Эльза с Эдит в кирхе.

Оставаться в Вуппертале да еще в доме Функе Федор не собирался. Когда дородная фрау Эльза приносит ему еду, она всякий раз говорит о дороговизне, перечисляя до пфеннигов, что сколько стоит.

— Гнедиге фрау, как только получу деньги, я расплачусь за все расходы.

Кормят его супом и картофелем в соусе, тонкими ломтиками хлеба, кусочками колбасы, повидлом и эрзац-кофе. Все время голодно. Однажды, случайно заглянув в кухню, он увидел большой кусок зажаренного мяса и нарезанные колбасы. «Плевать! Получу деньги — наемся. Главное — документ».

Он никуда не выходил. Но начиная с границы, во всем чувствовал, что находится на Западе. То, что вывески по-немецки, что острые красные крыши — к этому привык еще в советской зоне. Но тротуары и мостовые были чище — здесь их мыли щетками, как полы. Между сгоревшими домами и развалинами — мытые улицы. В советской зоне мыли только западнее Эльбы. Может быть потому, что конец войны застал под союзниками? День окончания войны для городов, как конец припадка для человека, — пробуждение оставляет след на всю жизнь. Здесь был Рейн и Лорелея, мейстерзингеры и Лютер, Гейне и Гете и многое другое, что называлось Германией. В советской зоне тоже были Веймар, памятник Гете и Шиллеру, прусский Берлин, но там это было старинным полотном, на котором начали писать картину Александра Герасимова с портретом Сталина. Здесь то же старинное письмо загрязнено пылью и прахом развалин. Берлин казался некиим сварным швом, прихватившим временный стык двух качественно разных пространств. Для Федора главное было в происхождении вещей. Даже материалы, из которых они были сделаны, никогда не видели России, не были там, где он жил и рос. Предметный мир смотрел на него чужими глазами — ни одного знакомого лица. Если бы он вдруг узнал, что этот стол, сработанный на одной из вупперталевских мебельных фабрик, сделан из русской березы, было бы — как выходец из России, разучившийся говорить по-русски. Запад был не столько в географии, сколько в родословной вещей.

Ему не терпелось двинуться из Вуппераля — мерещилась встреча с русскими эмигрантами, Париж, Италия, Испания . . . — мысли бежали за океан, и внутри замирало от сладкого, потерянного в детстве предчувствия.

Это служило и облегчающим средством от тоски по Инге. Ему не хватало Инги. Когда Карл в Нордхаузене рассказал о пограничнике, разрядившем автомат в Ингу, хотелось бежать туда в лес, где лежало простреленное тело Инги. Карл, чуть не плача — кто их знает, русских — говорил, что Федор ничем не поможет, только погубит себя, и он сам знал, что не побежит, но зачем-то рвался и кричал. Теперь тоска по Инге стала отступать перед ощущением освобождения, перед миром перспектив и выбора — перед всем, что было возможным для него одного и невозможным с Ингой. Признаваться в этом не хотелось, и он, как на могиле матери, старался вызывать в себе сожаление и боль. Иногда удавалось: видел Ингу простреленную в лесу — собира-

лась жить и умерла. Из-за него. Тогда ворочался на диване, курил, вскакивал, бегал по комнате.

Так было и сейчас. «Зачем я пустил тебя! Зачем мы не пошли вместе — *этого* никогда не случилось бы!» — он остановился посреди комнаты и замотал головой. Но тут же услышал, как за окном затормозил автомобиль. Мягко прыгнул к гардине. В дырочке был до подробностей знакомый вид разбитой улицы. Сразу отметил изменения: внизу стоял старенький мерседес — ни полиция, ни англичане на таких не ездили, у противоположного тротуара — грузовичок со спящим шофером в кабине, на развалине — играли дети.

Решил развлечься — сделать вылазку (в детстве — в соседний сад, в юности — за город, взрослым — в город, в новые места, теперь — по комнатам вупперталевской квартиры герра Функе). Пошел через комнаты на носках, держась дальше от окон. Заднюю стену хозяйского кабинета занимал тяжелый книжный шкаф. На полках солдатами в формах с золотом плотно, спинами к Федору, стояли книги. Те же, что в Берлине, Дрездене, Штеттине, в таких же переплетах: зеленая история Германии, голубой Густав Фрайтаг, коричневый Готфильд Келлер, синий Шиллер, бордовый Гете. На самой верхней полке — тяжелая кавалерия энциклопедии Брокгауза.

Стараясь не стукнуть, приставил к шкафу стул и, косясь на мостовую за окном, достал два тома энциклопедии. Он с детства любил рассматривать и читать энциклопедические словари: всегда попадалось неизвестное, незнакомое.

Тем же путем вернулся к себе. Удобно улегся и, уперев уголок толстого корешка в солнечное сплетение, открыл том наудачу. Из книги на грудь вывалились бумажные пакетики. Федор вскочил поджимая ноги, как иная женщина при виде мыши. В книге было вырезано углубление. Федор развернул самый крупный пакетик — как разминировал — десять золотых монет. Второй — решительнее — серьги с бриллиантами. Стало неловко: не желая того, обнаружил валютные накопления Функе. Недаром супруги просили его не брать самому книг. Он уже хотел сложить пакетики в книгу и отнести на место, как вдруг увидел коричневую бумажку с голубой чернильной кляксочкой. Развернул — на бумажке ехидно поблескивал его бриллиант. «Как же так? При мне прятал в бумажник... Передумал продавать сегодня?« Но заноза недоброго оставалась. Завернул камешек в бумажку, сложил все в книгу. «Может быть, он сегодня только предварительно с англичанином?..» Но Функе сказал: «Зайду к приятелю ювелиру и проверю цену, а потом к покупателю». Оставить при себе? — но тут же подумал: «А если недоразумение? Обидится или испугается... Чего доброго донесет»...

Торопясь, прислушиваясь к входной двери, Федор отнес книги на место. Вернулся к себе, поглядел в дырочку — мерседес уехал, дети играли, шофер в грузовичке спал. «Фрау Эльза и Эдит тоже ушли... Странно... — резнул испуг: — пошел доносить?» Обежал комнату. Достал из дивана пистолет. «Выйти? Спрятаться в развалине и следить?» Но на развалине играли дети. Стал надевать сапоги, все еще

не зная, что делать. «Бриллиант надо взять — без денег пропадешь... Но вдруг, вдруг недоразумение! Паникой все испорчу. Ведь он богат, зачем ему мой камешек?»

Так, в сапогах голенищами под брюки, при галстуке, в пиджаке, с пистолетом в кармане, он стоял у гардины, следя за улицей, когда послышался звук отпираемой двери. Звук был спокойный, но Федор проскользнул в кухню — там была дверь на черную лестницу и окно во двор. В дверную щель увидел вошедшего герра Функе. Хозяин на цыпочках подошел к зеркалу и рукой поправил жидкие волосы, но так, словно хотел нарушить их прилизанность. Потом вошла фрау Эльза — без Эдит. Оба молча прошли в кабинет. Федор, незамеченный, вернулся к себе в комнату и лег. Сердце билось, как после бега.

Кто-то постучал.

— Войдите, — как мог спокойно сказал Федор.

Хозяин не вошел, а ввалился.

— О, герр майор!..

Он упал на стул, вытирая пухлой ладонью облысевший лоб.

— Не знаю, как вам и сказать...

— Что случилось?

Хозяин сделал глубокий вдох-выдох и, глядя на Федора светлыми, слегка на выкате, глазами, жалобно произнес:

— Я, конечно, все... все беру на себя! Я только честный немецкий кауфман...

— Да что случилось, герр Функе?

— Я попал в рацию! — выпалил хозяин и, не дожидаясь вопросов, быстро,быстро заговорил: — Со мной было все! Понимаете — все! Ваш камень, два моих, дорогое кольцо... И все забрали!.. Ах, зачем я пошел к ювелиру сегодня! Думал: воскресенье — безопаснее... Кто бы мог подумать, что английская полиция нагрянет именно сегодня и в тот час, когда я буду там! Кто бы мог подумать!

Герр Функе уже кричал, поднимая руки с таким отчаянием, что на мгновение Федор подумал: не ошибся ли он, приняв за свой другой бриллиант? Но хозяин переиграл.

— Все труды многих лет! Я снова нищий! Чем кормить семью, мою бедную крошку Эдит? Если бы не ваш камень, я пошел бы к ювелиру в другой день...

В Федора, как в мешок навесу, сыпался тяжелый песок бешенства. Казалось, что мешок вот-вот не выдержит и песок хлынет вниз на герра Функе. Уже побелевшие губы Федора втягивало внутрь, но он прикусил их — успел зажать мешок снизу.

— Идите за мной, — сказал он, вскакивая на ноги, как говорил на фронте во время боя провинившимся солдатам.

Герр Функе заморгал и несколько раз по-рыбьи пошевелил ртом.

«Какая сволочь!» — по-русски подумал Федор и пошел к кабинету.

Герр Функе догнал его у самых дверей.

— Что вы хотите? Что вы хотите?!

Не отвечая, Федор взялся за дверную ручку, но дверь оказалась запертой. Препятствие подняло бешенство, и он уже занес ногу, чтобы

ударом выбить дверь, как герр Функе неуклюже побежал к выходу. Одним прыжком догнал его Федор, схватил за воротник и отшвырнул к дверям кабинета. Хозяин хотел закричать, но, увидев в руке Федора пистолет, шлепнулся на пол, втягивая голову и закрывая ее ладонями.

— Что ... что это значит, герр майор?

Цедя слова сквозь неразжимавшиеся зубы, Федор стоял над хозяином.

— Так вот что значит «честный немецкий кауфман»? Я дал вам последнее, что у меня было .., чтобы начать как-нибудь жить ... Вы жалели Ингу ... Говорили о Боге ... Вы решили разыграть комедию, чтобы отнять у меня последнее ... Воспользовались моим положением ... Решили свой валютный капитал пополнить? И вы считаете себя честным немцем ... Ходите в кирху ... Читаете дочери «Германа и Доротою». И вам не стыдно?

Федору хотелось кричать: подлец, сволочь! Он с наслаждением ударил бы по посеревшей от страха морде, хлестал бы по отвисшим толстым щекам. Но хозяин был единственным человеком, которого он здесь знал, потому смягчал выражения, стараясь устыдить. И Функе это угадал.

— Вы не смеете мне не верить ... По вашей милости я пошел к ювелиру ...

— Сейчас же откройте дверь! Я покажу вам, где вы прячете свои доходы, «нищий» герр шурке! * И мой камень ...

Герр Функе закричал подстреленным зайцем:

— Эльза! Звони! Звони!

Он пополз к двери, но Федор придавил его коленом и сунул дуло пистолета в малиновое ухо. Немец совсем обомлел, розовые пальцы его закрывали то голову, то затылок, то уши. За дверью послышался звук набираемого телефона.

Потом голос Эльзы закричал:

— Полицайревир! Полицайревир!

Между мужем и женой все было сговорено.

Видимо, она от волнения набрала не тот номер — начала набирать снова.

Федор, что было силы, лягнул в нижнюю филенку двери. По тому, как отлетела нога понял, что дверь железная.

— Фрау Эльза, если вы вызовете полицию, я пристрелю вашего мужа! Слышите? Если вы отдадите мой камень, я немедленно уйду и никто не узнает о случившемся. Я не сделаю вам ничего плохого.

Хозяйка перестала набирать и всхлипывала за дверью. Федор за шиворот подтянул Функе к двери.

— Слышите, вы, скажите вашей жене, чтобы отдала мне мой камень, и я сейчас же уйду от вас. Иначе я ... пристрелю вас, как червяка!

Для убедительности Федор ткнул дулом в мокрый, в прилипших

---

* По-немецки — негодяй.

рыжеватых волосах, висок Функе. Хозяин только больше съежился.

— Слышите, вы, «немецкий кауфман»!

Функе пошевелился, посмотрел между пальцами круглым белым глазом и прохрипел:

— Эльза, отдай ему его камень... в коричневой бумажке.

За дверью передвинулся, тяжело заскрипел стул, потом заскрипел, освобождаясь. Хозяйка подошла к двери.

— Ганс, а как я отдам? Я должна открыть?

Функе быстро поглядел на замок. Замок был английский — ни одного отверстия, ни одной щели, куда можно было бы просунуть бриллиант.

— Пусть откроет, — приказал Федор.

Хозяин ткнулся лицом в пол и, зажимая голову, по-заячьи закричал:

— Не открывай, Эльза! Он заберет все, а нас убьет!

— Замолчите, идиот! — Федор не удержался и ударил носком в хозяйский бок. — Я не вы! Я мог бы забрать все, пока вас не было дома! Фрау Эльза, не бойтесь, мне не нужно вашего.

Немка за дверью не знала что делать.

— Ганс, я не знаю, я боюсь.

— Только не открывай, он заберет все, а нас убьет!

— Слушайте вы, шурке! Я отойду в самый конец коридора, пусть она выбросит камень.

Глаз Функе глянул между пальцами на Федора и на коридор.

— Хорошо, герр майор. Эльза, как только герр майор отойдет, я стукну два раза и скажу тебе — открой. Ты приготовься. Открой и сразу бросай. И сразу же захлопни. Понимаешь меня?

— Да, Ганс, я понимаю.

Федор подумал оттащить немца от двери, но тот выглядел совсем парализованным от страха.

— Учтите что я первоклассный стрелок, герр Функе: на шесть метров я попадаю в туз, не то что в человека.

Глаз хозяина опять посмотрел на Федора, на пистолет, на коридор.

— Я не хочу вас обманывать, герр майор, я только боюсь.

Федору стало смешно. С пистолетом, наведенным на сидящего на полу Функе, он отошел в конец коридора. Хозяин слегка повернулся к двери и стукнул два раза. Щелкнул замок, и Федор не сразу понял, что произошло: хозяин с криком «Это я!» навалился плечом на дверь, дверь раскрылась, Функе упал через порог в кабинет. Федору и в голову не приходило, что придется стрелять, — на это Функе и рассчитывал. Федор со всех ног бросился к двери, но она уже захлопнулась. Функе был в кабинете. Всем телом, с разбегу, ударил Федор в дверь, но она только отбросила его. Телефон уже набирала привычная рука герра Функе. Хриплый голос его шепотом кричал на жену:

— Не открывай окна! Я вызову Франца! Нельзя, чтоб соседи!..

Федор бросился к себе, с секунду оглядывал комнату, потом схватил пальто, шляпу, сорвал со шкафа портфель. Пробегая мимо кабинета, услышал голос хозяина, приостановился.

— Полицайревир? Битте, Франца Грубера! Что? Скажите, что герр Функе просит. По очень срочному делу. Битте!..

3. МОСКОВСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Москвы Василий не знал: перед самой войной довелось побывать со студенческой экскурсией, во время войны — приезжал в командировку с фронта.

Расспрашивал прохожих, долго искал Панкратьевский переулок. По правой стороне переулка шли кирпичные корпуса жилых домов Наркомугля.

Поднимаясь по сырой лестнице, Василий снова думал, как ему быть: рассказать Кате обо всем или только передать письмо (письма Федора ему удалось вынуть из пальто майора во время остановки поезда в Смоленске). «Кто ее знает-то, разболтает еще... Да и зла, наверно, на Федора — бабы такого не прощают».

Звонить надо было семь раз; чтобы не сбиться со счета, Василий нажимал кнопку и про себя отсчитывал. Открыла очень бледная, похожая на цыганку, женщина в большом пуховом платке на плечах. Вид незнакомого испугал ее, она отступила, прикрывая дверь.

— Извините, здесь живет Екатерина Рыльская?

Женщина по-новому испуганно поглядела на Василия, плотней запахнулась в платок.

— Это я...

— Подполковник Трухин, — назвался Василий и добавил вполголоса: — Я от Федора...

Чуть слышно, подстреленной птицей, вскрикнула Катя. Василий в коридорной полутьме увидел, как расширились и без того большие глаза, как побелели пальцы, прижимавшие платок к груди. Забывая предложить Василию войти, Катя вся подалась вперед и одними, теперь побледневшими, губами шепотом спросила:

— С ним... случилось что?..

По тому, как изменилась, как вскрикнула, Василий понял, что бояться ему нечего, да и бежать Федору посоветовала она же. Он оглянулся на лестничную клетку, но Катя схватила его за рукав шинели и потащила через порог.

В комнате долго не могла найти места для фуражки и шинели, пока, отчаявшись, не бросила их на кровать.

— Что же вы стоите... садитесь сюда...

Василий сел в зеленое бархатное кресло, на ручке кресла лежала недошитая распашонка.

— Извините меня, пожалуйста... в Москве грабежи... Днем... чаще в военной форме...

Катя не смотрела на него, словно боясь повторить вопрос о Федоре.

Василий достал из кармана гимнастерки письмо Федора.

Неловко разорвала конверт, руки не слушались, долго не могла вытащить исписанный листок, сразу развернула и так же сразу взглянула на весь листок. Взглянула и увидела — ушел, просит простить... Села на кровать, закрыла глаза — подступила тошнота, мучившая последнюю неделю. Передохнула и не то спросила, не то подтвердила:

— Значит, все обошлось...

Только тут Василий вспомнил: письмо Федор написал до возвращения Карла, и смерть немки сейчас была самым главным.

— Немку на границе застрелил наш пограничник, — сказал он деловым голосом.

И пока он это говорил, Катя смотрела, будто узнавая что-то, что уже видела, но забыла. Весь этот месяц, не желая того, она думала о наказании немки, отнявшей у нее Федора. Теперь, услышав о смерти Инги, испугалась.

Василий, стараясь что-то разрядить, сказал басом:

— Ну, Федя не пропадет. Нет таких крепостей, которых бы он не взял!

Вышло совсем нехорошо и по отношению к Кате и, вообще, нехорошо.

Для нее в его ответе было не то, что Федор не пропадет, а то, что этот огромный человек в мамином кресле хотел ее подбодрить и что о Федоре говорил с теплотой. Почувствовала, что сейчас расплачется. Встала, отошла к окну. Плакать для нее стало привычкой.

За окном шел тихий снег. Крупные теплые хлопья медленно, как в воде, опускались мимо окна, вниз, на дворик, на развешенное белье, на детскую площадку, где у снежной бабы возились с санками дети в башлыках и меховых шапках.

Последние дни она часто смотрела на играющих детей. В солнечные дни матери и няньки вывозили на салазках маленьких. Она ловила себя на том, что завидует им, и начинала мечтать, как будет гулять с сыном — она уже привыкла к мысли, что будет сын, — придумывала наряды ему и всякий раз после этого плакала. Мать возвращалась поздно, заставала ее в темноте с мокрыми щеками. Обнимала и говорила: «Опять плакала?»; слышала в ответ: «Легче, мама».

—Трудно ему будет одному, — не оборачиваясь, проговорила Катя.

— Что ж делать... — чтобы не молчать, ответил Василий..

Катя отошла от окна, села на кровать.

— Расскажите, как все случилось.

Василий опять подумал: «Не лучше ли сказать, что Федора я не видел, а все узнал от Карла», но поглядев на лицо Кати, на опущенные плечи, махнул на все рукой и рассказал, что знал: и о приезде Федора с Ингой и Карлом в Нордхаузен, и про свои разговоры с ним, и про Наталью Николаевну, про самый побег, и что было после побега.

Катя слушала, кутаясь в платок, глаза ее темно и не мигая смотрели на Василия. Услышав о Соне, словно обрадовалась.

— Вы знаете Федину сестру?

— Один раз видел.

— Расскажите о ней . . .

— Как вам сказать . . . Хорошая девушка, одним словом.

«Сам ты хороший», — подумала Катя и в первый раз улыбнулась.

— Как же вы думаете помочь ей? В каком она лагере?

— Честно сказать, не знаю. Поеду в их НКВД, разузнаю, что и как, а там видно будет.

Катя о НКВД знала много больше Василия.

— Можно мне помочь вам? — просто спросила она. — Дело в том, что в НКВД у меня есть один знакомый — адъютант большого генерала.

Услышав о знакомом в НКВД Василий пожалел, что все рассказал. Катя догадалась.

— Вы не беспокойтесь, это очень хороший знакомый. За него я ручаюсь. Про вас я и говорить ему не буду. Просто попрошу узнать, что с Соней, где она и что можно сделать. Если не поможет, то посоветует. Я знаю его с детства.

И все-таки Василий жалел, что разоткровенничался. Катя тоже подумала — не слишком ли она откровенна с этим незнакомым ей офицером. Но, вспомнив его рассказ, успокоилась: он сам неосторожен, да и выглядит добродушным.

Катя оставила Василия ночевать у себя, сказав:

— Вы обещали слушаться. За вещами съездить разрешаю.

Вещи Василия были в камере хранения на Белорусском вокзале.

Вернувшись из Берлина, Катя поселилась у матери. На свою квартиру заезжала два раза за вещами. Там жили знакомые мужа — он сдал квартиру на два года, чтобы не платить квартплату. Тогда Катя возражала — чужие люди на ее постели, в ее ванне, — теперь ей было все равно.

В одиннадцатом часу вернулась Катина мать. Анна Сергеевна лицом была похожа на дочь, только энергичнее, деловитее, седые волосы — коротко подстрижены. В прошлом — революционерка-подпольщица, член партии с семнадцатого года. Муж — отец Кати — погиб в гражданскую войну. После революции работала в Наробразе, потом — до 36-го года — в Наркомпросе: по совету брата — Серов тогда работал в секретариате Сталина — перешла в Наркомуголь, заведующей общей канцелярией. Брата своего — по матери — не любила, как всех сталинцев, но за совет, сохранивший ей жизнь при истреблении ленинской гвардии, была благодарна. Для дочери уцелела. В муже Катином ошиблась: думала — похож на студентов ее времен, но вскоре разглядела карьериста. Когда Катя приехала из Берлина и рассказала о разрыве с мужем, о Федоре, о беременности, крепко обняла ее и сказала: «Молодец, Катька! Будем жить вместе».

Катя на кухне успела рассказать ей о Василие. Василий сидел в комнате и опять жалел, что разболтал о Федоре, — мать-то стриженная! Успокаивало, что и она не захочет вредить дочери.

За чаем мать разглядывала Василия, задавала короткие вопросы и, когда разглядела, одобрила:

— Молодцы! Действуйте!

А ночью, в постели, обняла дочь и сказала на ухо:

— Не перевелись богатыри. И Федор твой, наверно, молодец. Наверно сложней...

Катя поняла, что Василий матери понравился.

Его пробовали уложить на диване, но диван был безнадежно короток и узок. Пришлось постелить на полу. Засыпая Василий упрашивал себя не храпеть.

На следующий день Василий съездил в Управление и договорился о заказе в Германии через Наркомвнешторг, в счет репараций, на новые телефонные коммутаторы и аппаратуру для армии.

Знакомый Кати должен был прийти вечером. Василий с Анной Сергеевной ушли в кино, на последний сеанс. «Девушку моей мечты» с Марикой Рёкк Василий видел в Нордхаузене, но Катиной матери в наркомате дали два бесплатных билета. Фильм в Москве шел второй месяц при переполненных залах. Очереди у касс тянулись на кварталы. «Правда» писала о «пустом, безыдейном буржуазном искусстве». Анна Сергеевна о фильме сказала:

— Красивая сказка — отдыхаешь, сказка всегда должна быть немного глупенькой.

Василий рассказал про замполита коменданта Нордхаузена. Тому фильм так понравился, что он ездил по всему округу, где только его показывали, даже в Эрфурт ездил. Дома стены обвешал фотографиями Марики Рёкк. Но когда в «Правде» написали о «буржуазной безыдейности», фотографии снял и стал говорить, что фильмом интересовался, чтобы воочую увидеть «пустоту и гниль капиталистического искусства».

В это время у Кати сидел капитан Николай Озолин — друг детства и школьный товарищ. В школе его называли «Вронским». Он на самом деле чем-то напоминал героя «Карениной».

Николай принес с собой бутылку «черного муската», разлива 1910 года, — купил по дороге в своем распределителе. Развалившись в зеленом кресле, смакуя вино, рассказывал Кате новый «генеральский» анекдот:

— Прислал генерал из Германии жене рояль. Позвала она настройщика. Настройщик настроил и стал выбирать в комнате место для рояля, чтобы звук был лучше. Выбрал у стены, а генеральша ни в какую — хочет у окна. «Резонанса не будет», — говорит настройщик. «Глупости! — отвечает генеральша. — Напишу в Германию мужу, он мне и резонанс пришлет».

— Ха-ха-ха, — первым рассмеялся капитан. Глядя на него засмеялась и Катя.

— Ты все такой же, Коля...

— А что мне, плакать, что ли? «Пусть неудачник плачет». За твоим дядюшкой, Катя, не пропадем. Я надеюсь, что его скоро из Германии

отзовут, тут грандиозное дело намечается. Большая подготовка идет. Народу понадобится уйма.

— Опять чистка? . .

— Она давно идет, с сорок третьего еще. Бывших под оккупацией чистят. Европа тоже поставляет, наберем!

— Знаешь, Коля, я как раз хотела спросить тебя об одном деле, связанном с чисткой оккупированных мест.

Озолин отставил бокал. Веселость как рукой сняло.

— Слушаю.

— Видишь, Коля, одна моя знакомая девушка, наша девушка, во время немцев не успела эвакуироваться из-за больной матери, вынуждена была работать при немцах по мелочи. Мать умерла, жених в армии до сих пор служит, подполковником, брат тоже офицер. В декабре ее вдруг забрали и с тех пор пропала. Жених и брат служат в Германии, жених член партии. И девушка наша, неплохая. Как-то нехорошо получается, честное слово: жених воевал, мать умерла от голода, а ее в лагерь.

— Ты ее лично знаешь, или кто просил?

Катя ожидала такой вопрос, и ответила:

— Я с ней в сороковом в Крыму познакомилась. А недавно в Берлине случайно жениха встретила. Разговорились. Вспомнила, как она по-молоду мечтала о жизни, об интересной работе, и так мне нехорошо стало, Коля . . . Может, беременность моя виной. Одним словом, расстроилась . . .

— Как? . . Ты в положении? — подскочил Озолин. — Поздравляю! Ай да Катя! Вот это да! — он долил в бокал вина. — С наследником!

Катя покраснела не то от смущения, не то от своей уловки.

— Только ты никому, пожалуйста, не говори пока. Еще сглазят. Боюсь я, опять не дождусь.

— Что ты, Катя, никому ни слова, честное пионерское! А мама знает?

— Знает.

— Здорово! Один я пустоцветом треплюсь — «Детей своих по свету растерял» . . .

— Так как же, Коля, с Соней?

— С какой Соней?

— Да с девушкой этой?

— Видишь ли, Катя. сама знаешь, как начальство строго на этот счет. Да и против всех, знаешь, моих правил — вмешиваться не в свое дело. Но ради наследника, так и быть, — обещаю узнать, где она находится, какой приговор и через кого надо нажимать. Это все. Условие: тебе не вмешиваться, пусть жених хлопочет. Ты знаешь, где он теперь?

— Это я узнаю. Конечно, я не буду вмешиваться. Просто дам ему понять, что и как делать.

— Правильно. Хотя ты и племянница самого Серова, но генерал и родной дочери не пожалеет, ты знаешь. И второе условие: о нашем

разговоре даже маме ни слова. Договорились? Как имя, отчество и фамилия твоей дивчины? Где арестована?

Николай ушел без четверти двенадцать — спешил в наркомат.

Анна Сергеевна по дороге домой расспрашивала Василия о службе в Германии, о настроениях немецких рабочих, о родных в колхозе. Вернулись в час ночи. Катя ждала их с чаем. На столе, с чайника смотрела подбоченившаяся краснощекая «Матрешка».

— Все замечательно! Коля обещал разузнать обо всем...

Анна Сергеевна обняла дочь, погладила по спине. Она была рада приезду Василия и перемене в Кате. Надеялась, что заботы о Соне развлекут ее.

— Ну, вот, и хорошо. Только ты не очень волнуйся — тебе это противопоказано, не так тебе, как маленькому. А мы с Василием Степановичем наговорились и друг другу, кажется, понравились.

Василий был рад и первому успеху с Соней, и новому для него чувству легкости с этими, еще вчера чужими и незнакомыми, людьми.

На следующий день Катя возила его показывать Москву. На Смоленской площади осматривали строящийся небоскреб, побывали в Третьяковке, обедали в «Арагве» — Кате захотелось острого. Василий «культпоходом», как он сказал, был доволен, но от множества картин Третьяковской ошалел. Катя звонила из автомата Николаю — обещал приехать вечером.

Василий хотел опять уйти, но не успел. Когда в коридоре позвонило семь раз, Катя растерялась и спрятала Василия на кухне в платяном шкафе — Николай, как свой человек, мог и на кухню зайти.

— Ну, вот, обещал — сделал, — услышал Василий мужской голос. — Даже не представляешь себе, как все удачно сложилось. Отсюда вывод: наследник будет счастлив. В картотеке Софья Панина числится за «Асбестлагом» — это возле Свердловска. Срок — пять лет, статья «связь с врагом», режим — работа по специальности, значит ничего страшного. Но самое главное не в этом. Подвернулся предлог позвонить по нашему прямому проводу майору Делягину — начальнику управления области. Он меня помнит по январскому совещанию — приезжал сюда. Волкодав, но дурак. Поговорил с ним по делу, он мне прямо как генералу: есть, есть, есть! Тут я его и спросил, будто между делом: «Да, кстати, майор, что это у вас за дело с Софьей Паниной?» Слышу по голосу — вспотел дядя. Отвечает, по директиве, мол, сто девятой. Я соображаю: раз ответил сразу, без справки, значит делом занимался сам, а раз сам, и испугался, то что-то не так. Я ему опять, будто между прочим: тут, мол, разговор о ней какой-то был, так я решил, что вам, возможно, интересно будет. Он мне: «Спасибо». Да так, словно я ему услугу оказал. Видно, на самом деле перегнул палку с Паниной этой — испугался, что жених до наркомата добрался. Пусть твоя Сонечка пишет теперь жалобу — первая жалоба идет на имя местного управления — тому же Делягину. Я думаю, пересмотрит. Только не вздумай ей писать сама — ни под каким видом. Передай, что, мол, теперь пересматриваются дела и исправляются ошибки, не-

избежные после войны. И все будет в порядке. Но мы с тобой ни о какой Паниной никогда не говорили. Договорились?

Василий стоял в шкафу, боясь пошевелиться.

— Спасибо тебе, Коля. Знаешь, честное слово, ты вчера ушел, стало ужасно неловко: беременная дура, рассентиментальничалась и приста-ла, а ты по дружбе должен рисковать. Право прости!

— Ничего, Катя. Я тебе скажу: наши на местах, вроде этого Делягина, часто перегибают палку. И еще скажу: приятно оно, знаешь, иногда и за ближнего заступиться — глупо, а приятно. Ну вот, а теперь бегу — свидание с одной балериночкой. То, так сказать, для души, а это для тела. Ну, ну, не буду. Ауфвидерзеен, как у вас в Германии говорят.

Василий оставался в шкафу, пока Катя не позвала его.

Когда пришла Анна Сергеевна, вместе решили: Василию немедленно ехать под видом Сониного жениха к Делягину.

Утром Василия разбудила Анна Сергеевна. Катя оставалась в постели. Попили чаю, договорились, что Василий будет писать им с дороги. Начали прощаться. Катя, укрывшись до глаз одеялом, пристально смотрела на Василия, и Василий понял: почему не Федор на его месте?

Василий с детства не любил прощаться. Прощание ему казалось неким преувеличением. Он даже с мертвыми избегал прощаться — с бабушкой Аграфеной, с убитыми на фроте друзьями. Проститься для него было — вроде забыть. Не проститься с мертвым — как буфер для разлуки, и значило — не верю, что умер. Не проститься с живым значило — я отлучусь на минутку.

Василий, пряча неловкость, лихо отдал честь и щелкнул каблуками. Но Анна Сергеевна подала ему руку, пришлось подать руку и Кате. Катя, придерживая одеяло у подбородка, высвободила голую руку и молча простилась, все так же пристально и темно глядя на Василия. Он вспомнил про фуражку на голове и подумал: «Наверно, неприлично пожимать женщине руку, не сняв головного убора», — и еще раз козырнул. Анна Сергеевна сказала:

— Ни пуха, ни пера.

Василий кивнул и, пригнув голову, вышел в коридор.

На улице было темно, морозно, ветренно. Гудели гудки. По тротуарам шли серые молчаливые фигуры — припухшие со сна глаза, поднятые воротники, в руках или в карманах свертки в газетной бумаге. Дул резкий ветер. Глаза Василия слезились, полы шинели бились о ноги. Над большим домом тревожно хлопал освещенный снизу красный флаг. Василию стало холодно и беспокойно. Поездка опять показалась опасной и опять где-то в уголке сознания зашевелилось сожаление. Но теперь не только перед Натальей Николаевной, теперь уже и перед Катей, перед Анной Сергеевной он был обязан ехать.

4. БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Те же развалины, тот же грузовичок со спящим шофером в кабине, только теперь — из парадного — все было немного сдвинуто вправо. Шагнув на тротуар, увидел продолжение — уходящие перспективы фасадов. Новизна улицы была и в этих двух перспективах, и в огромном пространстве неба над ними, и в необычайно подробной брусчатке мостовой с газетным листом на решетке водостока. Но главная новизна заключалась в плоскости стен с парадным и окнами этой стороны. Окна смотрели на него, и больше всего он боялся сейчас крика фрау Эльзы из окна кабинета. Тогда придется бежать через мостовую мимо выскакивающего из кабины шофера, по слежалым кирпичам развалины, мимо испуганных детей, а в спину будет орать вся улица.

Справа по мостовой, навстречу двигалась тачка со скарбом, за тачкой шел старик. Федор хотел повернуть налево, но там на углу разговаривали две женщины. Потом, много лет спустя, он мог нарисовать и угол и женщин, их сумки и даже цвета их одежды. И хотя угол, где они стояли, был ближе, Федор пошел навстречу тачке — женский крик всегда пронзительнее и призывнее. Шел, держась ближе к незнакомой стене, вне поля зрения из верхних окон — за каждым жил потенциальный крик фрау Эльзы.

Шел торопливым шагом очень занятого человека. Впервые за неделю шагал во всю ширь ног; мускулы, растягиваясь, приятно пружинили, как у тренированного легкоатлета после продолжительного отдыха. Функе, наверное, уже дозвонился, и полицейские уже мчались на автомобиле или мотоцикле. Федор настигал угол, когда оттуда показался автомобильный радиатор, успев вытащить половину кузова с передним колесом. Сразу же захотелось повернуть назад. Федор даже остановился, ощупывая карманы, показывая улице и окнам, что забыл нужную бумагу, но радиатор потащил дальше: длинный спортивный БМВ с белой шапочкой за стеклом свернул и умчался вдоль улицы.

С пересохшим ртом, крепко держась в кармане за рукоятку пистолета, Федор свернул за спасительный, единственный в мире, угол дома. Для убегающего, в городе, первый угол — что ленточка финиша для бегуна. Первый угол он настигает грудью, сердцем, инстинктом — так рвет ленточку победитель забега. Следующий угол он берет как бегун пришедший к финишу вторым — рвет грудью уже несуществующую ленточку. Последующие углы пробегаются, как пробегают

черту финиша те, кто занял в забеге третье, четвертое, пятое места — по инерции, больше ориентируясь на судей.

С каждым углом народа на улицах становилось больше. У реки Вуппы сел в подвесной трамвай. Высоко над речкой, вдоль набережных, минут за двадцать доехал до конечной остановки. Выходя, с лестницы увидел, что поток шляп, голов и плечей внизу на тротуаре омывал полицейскую фуражку. Действуя плечом, стал срезать в сторону и выплыл у газетного киоска, за три метра до полицейского. Мог ведь человек в последнюю минуту вспомнить, что надо купить газету! Взял первую с краю тощую газетенку и протянул старухе марку, — чтобы не спрашивать цену: если вспомнил о газете, то цену знать должен. Ожидая сдачу, увидел расписание поездов. Купил тоже.

Загородясь от полицейского киоском, делая вид что читает газету, пошел дальше через улицу вдоль мертвого пространства. Расписание было с картой. Из Вупперталя поезда уходили: на Дюссельдорф, Эссен, Кельн, Кассель, Дортмунд, Бремен, Вильгельмсхафен и Эмден. Куда? И сам ответил: «Подальше от границы». Это значило — на север, на запад и на юг. Но север не годился: однажды кто-то из «Хозяйства Сиднева» * рассказывал о посылке двух коммунистов с заданием ликвидировать беглого полковника, скрывавшегося не то в Бремене, не то в Гамбурге. Это было «против», «за» было море: забраться в трюм и выехать из Германии. Но тут же подумал: «Безграмотно. Времена Майн Рида прошли — обнаружат и выдадут». На западе была бельгийская граница — плохо, как всякая граница. Кроме того, в Дюссельдорфе — английский Карлсхорст: здешняя полиция даст знать, англичане «выжмут как лимон» и выдадут (кто-то об англичанах так говорил в Берлине). Французская зона? Еще в Берлине заметил: французы перед советскими заискивали. Оставался Кельн и дальше — в американскую зону. «Американцы хорошие ребята, на нас похожие» (тоже кто-то говорил).

Толпы, автомобили, повозки, детские коляски; гудки, смех, окрики — все двигалось, петляло, замешивая пространство улиц и площадей. И пространство сдавалось, густело, выкристаллизовывая желтые сгустки и звездочки электрического света. До «шперцайт» оставалось три часа тридцать шесть минут.

Еще на фронте заметил, что обратная реакция наступала с запозданием: в опасности был зло спокоен и расчетлив — происходившее двигалось, как в замедленном кино, и только потом, когда все кончалось, приходил испуг и расслабленность. Так случилось и сейчас. Спрятался в первый ресторан. Пиво было водянистое, двухградусное. Первую кружку выпил не отрываясь, от второй только отпил и стал разглядывать пиво на свет — из чего они его делают? Солдаты говорили, что из каменного угля. Химики! Пересчитал деньги: сто девяносто две марки — три пачки сигарет или килограмм масла. Еще были швейцарские часы, водопыленепроницаемые, в Берлине заплатил три тысячи. И все. Весь наличный капитал фирмы Панин и Ко. Остальной

* Оперотдел при Центральной берлинской комендатуре.

капитал состоял из облигаций займа Свободы — купил их на все, что было в жизни.

Первое — нужно выбраться из города, и чем дальше, тем лучше. Закурил, стал, как бумаги в папке, проверять портфель: пара белья, носки, платки, полотенце, бритвенный прибор, газета, расписание. Орденская книжка за подкладкой сапога. Ордена, завернутые в носовой платок, — в кармане, пистолет — в пальто. И что стоило достать в Берлине немецкие документы? Какую-нибудь «липу» на «герра Миллера». И ведь Карл говорил. Человек без документов — мозг без черепной коробки. У советского же человека документы — целый орган. Обильно питаясь справками, характеристиками, паспортами, военными билетами, пропусками, трудовыми книжками, удостоверениями Мопра, Осоавиахима, «Друга детей», командировочными, выписками из приказов, отметками о прописке, о месте работы, рождении, браке, комсомольскими, партийными, профсоюзными билетами, членскими взносами, этот бумажный орган за годы пятилеток разросся чудовищно. Случайно забыл дома — сразу чувствуешь отсутствие в кармане привычной тяжести. За войну орган вырос еще: офицерские, солдатские, орденские книжки, командировочные предписания, пропуска на проезд, пропуск на автомобиль, пропуск на службу, пропуск в управление, удостоверение на право вождения и паспорт на автомобиль, аттестат на питание, аттестат на денежное довольствие, аттестат на вещевое довольствие, карточки хлебные, карточки промтоварные, карточки продуктовые . . .

Улица встретила чернотой и ветром. Свернул за угол — сплошь руины. Мирный житель идти побоится, и это делало идущего подозрительным. Но полицейские тоже побоятся. По карте — с той стороны было шоссе на Кельн. За железнодорожным полотном увидел шоссе. На первом указателе стояло: «Кельн — 87 км».

Рурские дороги как улицы: поселки, поселки, города, соединенные пряжками заводов. Движение — группы, одиночки, велосипеды и редкие автомобили, больше военные, с англичанами.

Страшная минута пришла нарастающим позади ревом мотоцикла. Сворачивать было поздно. Шел, слушая спиной, затылком, кожей. Но мотоцикл, настигая, газа не сбавил и пронесся, обдав воздухом и брызгами. Увидел две полицейские спины в плащах — одна в коляске, другая за рулем. А может быть, просто не заметили? Захотелось свернуть и искать проселочную дорогу.

На большом перекрестке, с лестницами указок по углам, под фонарем, на светлом круге, стояли трое: мужчина и две женщины. У столба лежали их пузатые рюкзаки. Все трое «голосовали» — каждый автомобиль в сторону Кельна приветствовали привычным «хайль». Решение пришло по-человечески: а, может, и мне попробовать? Остановился метрах в трех от круга. В светлом кругу избранные приветствовали проезжавших богов, недостойный стоял в тени.

Потом один из избранных снизошел и приблизился.

— Нет ли у вас огонька?

Федор зажег спичку, закрывая ее от ветра, дал прикурить. Старая мокрая шляпа, красный вязаный шарф, замерзшее лицо в седой щетине.

— Спасибо . . . Полчаса стоим.

Немец пошел в круг. Не успел он дойти до спутниц, как со стороны Вупперталя показались огни. Женщины замахали. Немец поднял руку. Воспользовавшись, Федор вступил в круг, замечая, что хорошее пальто и новая шляпа выделяли его.

Автомобиль, переделанный по послевоенной моде из легкового в грузовичок, затукал, затормозил. Опустилось стекло, вылезла и повисла на дверце толстая рука и не иначе, как выросло из плеча усатое круглое лицо божества.

— В Кельн?

— Да, пожалуйста! — хором ответила женская половина.

— Скорей. Одна может ко мне. Надо торопиться — «шперцайт».

В кабину села в шляпке В кузов полезла в берете. Подсаживая ее, Федор у самого лица увидел крепкую икру и припухлость с ямочками под коленом. Подал рюкзаки. Вышло, будто вместе. Но та, в кабине могла сказать, что он из недостойных. Уселись на пол, под кабину. Грузовичек затукал, что-то перехватил внутри себя и бойко побежал в темноту. Ветер подул резче. Скоро стало так холодно, что Федор, не стесняясь, прижался спиной к спутникам. «До Кельна — тем лучше!»

По сторонам бежала все та же бесконечная рурская дорога-улица. Огни в окнах, редкие фонари, прерывались темными громадами не работающих заводов. Достал сигареты, молча протянул соседям. Прикуривали от его спички, заслоняя ветер втроем. Лицо женщины оказалось молодым — лет тридцати. Глаза — по-немецки светлые — быстро взглянули, но спичка погасла. Затянулась, проявляя в темноте острый кончик носа и круглый подбородок.

Ветер умудрялся дуть со всех сторон. Мужское плечо справа ничего не говорило; слева, ее, поеживалось.

— Холодно . . . — сказала одному Федору.

Федор понял: «Этот в шарфе мне чужой, и напрасно ты молчишь». Проверяя, он прижался к ее плечу, — она отодвинулась, но не от него, а от шарфа, так что между ними освободилось место. Федор подвинулся. От холода и от того, что это могло значит, тоже сказал:

— Холодно, — и укрыл ее полой своего пальто. Руку с плеча не убрал.

Щеки их оказались рядом. Женщина только чаще затягивалась; огонек сигареты теперь проявлял улыбающийся уголок рта. Потом сказала:

— Благодарю.

И это он понял: запоздание означало, что с момента, когда он укрыл ее полой, до ее «благодарю», она думала о нем, о его руке, о ветре, об оставшемся в ночи перекрестке.

Федор щелчком кинул окурок — огненный глазок полетел в темноту, от короткого замыкания с мокрой землей брызнул искрами и погас. Соседка свой окурок потушила о пол кузова и положила за

борт. И словно устраиваясь удобней, съехала спиной по рюкзаку, оставив Федора над собой — молчаливое «Ну вот...», полуприглашение. Шарф справа дремал, уткнувшись в колени.

И Федор наклонился. Она глядела вбок, на бегущие за бортом огни и улыбалась.

— Теперь теплее?

Посмотрела, засмеялась глазами, кивнула. Он укрыл ее другой полой, «забывая» убрать и правую руку.

Грузовичок подбрасывало, рука, прислушиваясь к мягкой теплоте тела, ложилась все тяжелей, и хотя женщина опять глядела на огни, ее участившееся дыхание говорило ему: «Ну и что?»

Медленно, как берут сонных, просунул руку между пуговицами пальто. Ласковым теплом встретила шерстяная кофточка. Понимая, что нельзя, что делает глупость — черт знает почему! — стал наклонять лицо к ее лицу и, когда из поля зрения исчез берет и подбородок и вся она перестала дышать, мягко прижался губами к холодному податливому рту...

Ухабик застал у губ. Автомобиль тряхнуло, зубы ударились о зубы, и это отрезвило. Федор воровато оглянулся. Шарф по-прежнему клевал в колени.

— Холодно? — спросил Федор невышедшим шепотом.

Но холодная ее ладонь закрыла ему искусанный рот. И было в этом: не того стыжусь, а слов — слова в мире были о хлебе, картофеле, документах, Германии. Желание последней, все разрешающей, ласки, не помещаясь внутри, лезло в голову: остановить машину и слезть вместе? На всю ночь? На все «что будет»? Выбросить соседа за борт?

Первым не выдержал автомобильчик — хлопнул и стал тормозить. И ночь, смилостивившись, крикнула: «Стой!»

Женщина оттолкнула Федора и, торопясь, стала приводить себя в порядок. Шарф, ухватившись за верх кабины, поднялся на ноги. Федор, проколотый окриком, сидел, мгновенно от всего освобожденный. Вспомнил про пистолет. Выбрасывать было поздно. У ног соседа фанерная обшивка кабины отстала. Федор едва втиснул туда пистолет.

Подошел электрический фонарик с полицейским. Силуэт другого полицейского с винтовкой стоял в стороне, у мотоцикла. «Ну, вот и все... — тупо подумал Федор. — Наверное, те же самые, что обогнали... Дурак, что не свернул...» Из кабины подали документы. «Скажу, что немец, бежал из советской зоны...»

— Ваши бумаги? — к той, что сидела в кабине.

Бормотание. Молчание. Возвращая документы, полицейский сказал что-то двусмысленное. В кабине рассмеялись.

— Куда едете?

— Домой, в Кельн. Торопимся до «шперцайт», — в тон полицейскому ответила в шляпке. — Сзади моя подруга и знакомый.

Фонарик заглянул через борт. Ведомый спасительным инстинктом, Федор успел обнять соседку. Фонарик увидел, как она его оттолкнула, и Федор глупо улыбнулся на свет, как если бы его застали в углу с женщиной. Шокированный лучик пробежал по ним и уставился на

шарф. Федор сошел за знакомого, а шарфу досталось положение постороннего.

— Что это там у вас?

— Картофель...

Из темноты, из-под фонарика протянулась рука в сером рукаве, ощупала рюкзак.

— А там?

— Картофель и немного муки, — ответила соседка и Федор услышал, что голос у нее картофельный.

Рука полицейского спряталась. Фонарик еще раз бегло оглядел автомобильчик и потух.

— Хорошо, но торопитесь; не успеете до «шперцайт» — задержат.

Полицейский отошел к напарнику, автомобильчик благодарно затараторил.

— Доброй ночи! — все так же игриво крикнула из кабинки шляпка.

Полицейские засмеялись и закричали в ответ:

— Оставайтесь, тогда и ночь будет доброй!

Федор достал сигареты. Соседка поправляла рюкзак. Прикуривая видел, как дрожала спичка. В кабине смеялись.

— Рут, я испугалась, что картошка пропала! Ты тоже? — крикнула шляпка.

— Я нет, они хорошие парни, эти полицейские. Слава Богу, что не было англичан.

Курил, глубоко затягиваясь. «Сошло. Вперед наука...» Покосился на соседку. Та рассказала, как в прошлый раз англичане отняли у них десять килограммов картошки. Незаметно вытащил пистолет и швырнул за борт. Опухшие губы плохо держали сигарету. Вспомнил афоризм майора Худякова: «Когда легче всего прихлопнуть муху? Когда на другой сидит. Так и с человеком». Опять подумал: «Спроси документы — и все...» — пришел испуг.

Стал слушать, что рассказывал шарф — у того тоже однажды отняли картошку и кусок сала. И опять дул ветер, холодный, промозглый, опять было темно. «Кельн, а там куда?» Соседка курила, отодвинувшись к борту. «Пойду к ней...»

В Кельн приехали за полчаса до «шперцайт». Остановились на углу. Хозяину надо было ехать куда-то в сторону. Шарфу тоже. Стали выгружаться. Снимая ее с борта, задержал на руках

— Пожалуйста, — сказала шепотом, не глядя на Федора.

Пока женщины прощались с толстяком, Федор перенес их рюкзаки на тротуар. Потом грузовичок затарахтел, из кабины замахала рука.

— Спасибо, герр Клюге! — закричали женщины.

Она подошла сама.

— Могу я помочь вам донести домой вещи?

Тихо засмеялась, покачала головой.

— Нет, я сама... Большое спасибо.

Женщины стали надевать рюкзаки.

— Ну, всего хорошего, — сказала в шляпке.

Федор стоял и глядел, как они перешли улицу. Потом услышал, как обе засмеялись.

Повернулся и зло зашагал вдоль стены, мимо пустых глазниц выжженных витрин. Только теперь заметил, что накрапывал дождь. По улице торопливо пробегали последние прохожие.

Оставалось минут двадцать, а идти было некуда. Впереди, по поперечной улице прошел полицейский патруль и обида отступила перед опасностью. Черная улица на краю ночи кончалась одиноким, бесприютным огоньком. Полквартала справа занимала громада сгоревшего здания. На мокром тротуаре кривлялась тень: вытягивалась, тускнела, пока не пропала. Оглянулся — видеть его никто не мог — и полез в первое окно. Пробираясь на ощупь среди каких-то изуродованных балок по кучам кирпичей, думал: «Провалишься или стена обвалится — и никто никогда не узнает . . .»

Если в темноте не смотреть на предмет прямо, а несколько в сторону, то предмет виден. Видеть прямо мешает «собственный свет глаза» — в центре поля зрения, от постоянного раздражения днем, в темноте видно светлое пятно и, как бельмо, мешает. Боковым зрением Федор заметил вход в подвал. Ощупал ногой площадку. Рискнул зажечь спичку — ступеньки в кирпичном бое и штукатурке уходили вниз. Медленно, видя только пятна «собственного света», держась за стену, спустился до следующей площадки. Сверху покатился потревоженный кирпич. Минуту стоял, прислушиваясь, но, кроме ударов сердца, ничего не слышал. Зажег вторую спичку — налево анфиладой шли захламленные бетонные помещения. Запомнив направление проходов, пошел, спотыкаясь о кирпичный бой, и когда заблудился, зажег третью спичку. Загораживая ее ладонями, успел дойти до помещения с ржавым котлом в углу. Здесь было суше и, казалось, теплее. Четвертая спичка позволила набрать тряпья и прихватить обломок доски. В темноте уселся за котлом, подложив под себя тряпье; доску и портфель подсунул под спину — к стене. Циферблат на часах высвечивал ровно десять.

«Для чего ты хотел ее проводить? Нет, это-то понятно, а другое? Ведь было и другое? Надеялся зацепиться, пристроиться? Лежал бы ты сейчас в чистой постели под периной, она моется в ванной и сейчас придет к тебе. Завтра проснулся бы в тепле, в защитной коробке стен и потолка, и не было бы ни дождя, ни полицейских патрулей . . . А в автомобиле? Бегство, товарищ, бегство. Ведь от нее картошкой пахнет . . .»

Разговор со своим «я» перешел в многоточие маленьких картинок — меньше, меньше, дождевыми каплями и — в сон.

Лил дождь. Старый разбитый Кельн лежал в ночи. Золотая булавка фонаря на черных, мокрых лохмотьях улицы светила, сигнализируя, что под громадой сгоревшего универмага Херти, в подвале за ржавым холодным котлом спал, положив голову на колено, человек и что у этого человека в кармане лежали завернутые в грязный платок, ордена Ленина, Боевого Знамени, Красной Звезды . . .

5. НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Майор государственной безопасности Делягин свою ответственную карьеру начал в «ежовщину», но уже после Ежова. Случилось это несколько неожиданно для него. Был он тогда старшим следователем, считал себя неудачником: за двенадцать лет службы продвинулся только до старшего следователя. А он ведь старался. От воспоминаний об этих стараниях берег инстинкт самосохранения — можно записиховать, как говорил уполномоченный Ивлев. Тот, на самом деле, «психанул»: стал пить, нюхать, а в тридцать девятом, когда все уже кончилось, застрелился. Летом тридцать восьмого разговорился как-то Делягин с инструктором обкома. «Наломали вы дров, братцы, меч революции не топор все-таки», — с усмешкой заметил тот Делягину. А там и «Правда» обрушилась на «злостных доносчиков». И увидел старший следователь Делягин ниточку — от решившегося на замечание против «органов» инструктора обкома, через «Правду», в ЦК и Политбюро — что-то в Москве менялось, вроде «головокружения от успехов», только уже не с колхозами, а с самими «органами» — «ежовщину» на кого-то сваливали. И Делягин рискнул: на совещании, в присутствии приехавшего уполномоченного наркомата, бахнул: «Руководство областного управления потеряло политическое чутье меча революции! Меч все-таки не топор! Головокружение от успехов, как сказал великий друг и учитель чекистов товарищ Сталин!» В первом ряду начальник управления выронил папиросу. В зале такая тишина повисла, что Делягину показалось — пропал!

Воспоминание у Делягина вызвало испарину и, как тогда, восемь лет назад, вспотело за воротничком.

Нюх чекиста не подвел. После собрания уполномоченный беседовал с ним отдельно. А через неделю старший следователь Делягин стал начальником следственной части, а через полгода — замом начальника управления в чине капитана.

В войну Делягин выселял немцев Поволжья, затем дагестанцев. В сорок третьем вернулся в область и был назначен начальником управления. И вот уже третий год начальником. Область очистил, на совещании в Москве рапортовал: «Война нам, чекистам, дала точный прибор для определения людей. Война, как лакмусовая бумажка, проявила сущность людей — показала, кто затаившийся враг, кто обыватель, а кто наш. Гениальные указания великого Сталина, мудрое руководство товарища Берия в деле учета настроений населения в тяжелых условиях войны нашим управлением были приняты, как директивы на будущее. Наша служба информации работала так, что к концу сорок четвертого мы имели новую индивидуальную картотеку

на область. Это дало нам возможность успешно и досрочно провести фильтрацию к настоящему совещанию». Свое выступление Делягин мог повторить и сейчас. Нарком, генерал-полковник Аббакумов, в заключительной речи поставил его в пример, а на банкете остановил и обласкал: «Ну, майор, так и держи область в чистоте, а кстати, и дыроку в гимнастерке еще одну можешь заготовить». Один только генерал-полковник Серов за столом начальства поглядел искоса. Серов в тридцать восьмом был начальником особого отдела ЦК при НКВД и, конечно знал, как он, Делягин, завалил областное начальство. Для него же старался. Не его ли «хозяин» и Маленков посадили в НКВД с Ежовым! Не он ли потом подвел под монастырь и Ежова и Агранова, и всех начальников управлений и отделов! А теперь косится! Делягин не долюбливал Серова: пижон, цирлих-манирлих какой-то, а не чекист. Вот Аббакумов — это да, посмотреть любо-дорого. В плечах косая сажень, прост, понимает, словом, свой на все сто. Делягин недолго работал с Аббакумовым в Ростове и с тех пор даже внешне подражал ему. Он в самом деле был чем-то похож на наркома: высок, дороден, большое лицо с толстыми нижними веками, такой же рот узкой линией над крупным круглым подбородком.

Январское совещание в Москве Делягин помнил до подробностей. Там он и познакомился с этим капитаном — порученцем Серова. Почему, собственно, его встревожил этот звонок? Ну, Панина, Иванова, Сидорова ... ну и что?

Делягин зло перелистал, не читая, коричневую папку, придавил ее тяжелой в рыжих волосах рукой и уставился на белую наклейку: «Панина, София Михайловна, рождения 1920 г., дело № 18137».

Еще тогда, в Москве, чувствуя неприязнь Серова, он вспомнил, что Серов в Германии и что армейский майоришка — брат Паниной — тоже там. Как он улизнул — уму непостижимо! Делягин по пятнадцать суток дал часовым, но как вышел из управления майоришка — так и не установил. Наверно, пожаловался Серову. Кто их там знает, в Германии, — может, и армейскому майоришке до замнаркома дойти нетрудно. А, может быть, блат?

«Навязалась на мою голову эта Панина! Ну, дали пять лет. Оставалась при немцах? Оставалась. Работала на консервной? Работала. Фабричная продукция шла немецкой армии? Шла. Все в ажуре, не придерется и сам Серов. И за кого? За какую-то Панину».

Беспокоило начальника управления другое. Четыре дня тому назад на заседании обкома Петричев сказал: «Надо тянуть отличившихся фронтовиков. Нельзя допускать недовольства среди них. Разложившихся изолировать, бандитствующий элемент ликвидировать, но просто растерявшихся в мирных условиях надо умело включать в новую обстановку. Людей не хватает, дела надвигаются огромные, и мы не имеем права легкомысленно подходить к вопросу кадров. Особенно ценны офицеры, выросшие на войне. Это ценный человеческий материал». И чем-то напомнило это Делягину его старый разговор с инструктором обкома. Секретная директива тоже об этих «бывших фронтовиках» пишет. А раньше? Писали, чтобы следить, пресекать запад-

ный душок. А инвалиды? Тоже фронтовики, а ведь приказали пересажать добрую половину по 35-й статье. Но Панин! Панин! Будь он проклят! Неужели нашел ход в наркомат? И, видно, крепкий, если порученец Серова — теперь он при наркоме — намекает. Кто их там знает, в Германии! Панин комендант, а в Берлине пол-Москвы перебывало. Был слух — сам Берия ездил.

«Видно, нашел! — решил Делягин и снова, но не так крепко, стукнул по папке. — А капитану спасибо. Умен: ничего не сказал, а знать дал: соображай, мол, сам. Дело, конечно, не в Паниной и не в Панине, а в новом повороте, так сказать, лицом к фронтовикам, — после того, как прижали их, — подумал, в скобках, Делягин. — Тут можно попасть и под горячую».

« А, может быть, нет худа без добра? А? — подумал вдруг Делягин. — как тогда: случай, а подсказал и вывез!»

Опытный чекист Делягин давно усвоил, что в плановой работе главным всегда оказывалось не только то, что стояло в плане или в директивах, а то, в чем было заинтересовано начальство. Он стал обдумывать положение с двух точек. Принципиально Москва озабочена ростом недовольства среди боевого офицерства и демобилизованных солдат. Тех, кто вышел из войны с шоком, с обидой, кого Европа заразила душком «декабризма», тех выявлять и изолировать: активных в лагерь, пассивных в сторону. Но те, кто чувствуют себя победителями, патриотами, кто при переходе из обстановки войны в мирные условия растерялся, те нужны и могут понадобиться. Делягин знал об указании ЦК обкомам — выдвигать на руководящую работу отличившихся фронтовиков. Его управление много поработало по составлению информационных характеристик новых руководителей предприятий области. В той же диретиве говорилось еще о преимуществах для русских перед нацменами, особенно рекомендовалось не допускать евреев.

С точки зрения личного дела Паниной он, конечно, может обезопасить себя — свалить на кого-нибудь из подчиненных. Ну, а если поворот? Делягин снова вспомнил свой разговор с уполномоченным наркомата в 38-м. Вот и сейчас, приедет такой, и произведет у него где-нибудь здесь, в управлении, разговор с кем-нибудь из следователей. «А не намекал ли мне капитан об уполномоченном?!» — вдруг подумалось Делягину. Впечатление от догадки было настолько сильным, что он тут же решил: «Надо пересмотреть! Хрен с ним, с этим делом!» — он так и сказал: с делом, а не с Софьей Паниной.

Вместо точки кто-то поставил многоточие стука в дверь.

— Да! — недовольно рявкнул Делягин.

Показался секретарь.

— Товарищ начальник, подполковник Трухин просит принять — из пропускного звонят.

— Какой подполковник Трухин? По какому делу?

— По делу Софии Паниной. Приехал из Москвы, — вытянулся тонкоухий лейтенант.

— Па-Паниной?! — «уполномоченный!» — пронеслось по всем делягинским мыслям. За воротником стало мокро. — Откуда? Кто?

— В офицерской книжке сказано «начальник связи», в командировочном — «уполномоченный».

— Какой связи? Какой уполномоченный?

— Не могу знать, товарищ начальник, разрешите выяснить?

— Не надо, — Делягин принимал решение, — Скажите, что отсутствую по срочному делу. Извинитесь. Предоставьте номер в гостинице, из наших забронированных. Скажите, что доложите, как только вернусь.

— Есть, товарищ начальник.

— Постой. Вызови немедленно Семушкина. Для всех — меня нет. Чтоб никого!

— Есть, товарищ начальник. Разрешите идти?

— Действуй. Семушкина немедленно. В гостинице пусть попытаются установить, кто и откуда. Косвенно установить.

Делягин вышел из-за стола и крупно заходил по ковру. «Уполномоченный вряд ли пошел бы в бюро пропусков, сразу нагрянул бы. Но кто их теперь разберет!» Со стены, с усмешкой под усами, следил Сталин. Делягин покосился на портрет. «Устал, наверно... Устанешь тут, твою мать!» — и пихнул начищенным сапогом попавшийся под ноги стул. Стул качнулся, хотел упасть, но передумал. Это показалось Делягину символом — устоял.

Семушкин застал начальника над папкой.

— Товарищ начальник, лейтенант Семушкин явился по вашему приказанию.

Делягин посмотрел на худое, испитое лицо сутулого Семушкина. Пожевал губами.

— Садись, Семушкин. Ты ведь из здешних?

— Так точно, товарищ начальник.

— Ты случайно не знаешь Паниных?

«Докопался!» — ахнуло все у следователя. Не раз жалел он, что помог Федору выйти из управления. И только недавно поверил, что Делягин перестал искать. Выдерживая взгляд начальства, спросил, чтобы выиграть время:

— Каких Паниных, товарищ начальник?

— Софью Панину.

— Нет, товарищ начальник.

— У нее брат Федор, майор.

По лицу начальства Семушкин видел, что тому как раз надо, чтобы он знал Паниных, да и о Федоре сам сказал.

— С Федором Паниным я учился в десятилетке.

То, что Семушкин учился с Федором Паниным, чем-то зацепило Делягина, но сейчас ему было не до того.

— Что за семья?

— Панин учился неплохо, но был необ... щительным, — Семушкин успел «необщественный» заменить «необщительным». — Стихи писал, потом уехал в Москву учиться, в какой-то институт...

— Когда ты его в последний раз видел? — быстро спросил, все-таки вспомнив, Делягин.

— Со школы не видел, — выдерживая взгляд Делягина, ответил Семушкин.

Делягин отогнал следственную привычку.

— Что за семья? Происхождение? Настроение?

— Знаю, товарищ начальник, что из интеллигентов, отец в гражданскую на Украине убит немцами. Мать работала бухгалтером в железнодорожных мастерских. Все, кажется, беспартийные.

Делягин опять пожевал губами.

— Здесь, — он показал на коричневую папку, — наши ей за работу при немцах на консервной фабрике пять лет припаяли.

Он сказал «наши», подчеркивая, что он и Семушкин непричастны к этому. И Семушкин понял, но для маскировки спросил:

— Это матери, товарищ начальник?

— Какой там матери? Дочери! Я просматривал дела и наткнулся. Приходится контролировать работу — это ведь не только дело, за ним живые люди, — совсем выдал себя Делягин. — Мы, большевики и чекисты, должны всегда помнить, что человек — самый ценный материал и тратить его надо по-хозяйски! —«Фу, черт, на кой я ему говорю все это!» — Короче, мне кажется, что наши перестарались. Ошибку надо исправить.

«Ой, врет! — повеселел Семушкин, — видно, Федька таки добрался до Берии».

— Пересмотри срочненько дело, сегодня же, и дай заключение, — Делягин передал Семушкину папку.

— Вы бы, товарищ начальник, написали «На пересмотр», а то начальник отдела скажет, что я свои дела задерживаю.

Делягин откинулся на спинку кресла и удивленно глядел на следователя. «Вот сволочь, так и есть — перестраховывается за мой счет! Учуял уже! Такой вот и пойдет к уполномоченному и зарежет!» Он хотел написать на первой странице, но сообразил и написал на отдельном листке: «Семушкину. Срочно. Пересмотреть. Делягин». Прикрепил листок скрепкой к папке.

И это понял Семушкин: докажи потом, что речь шла о деле Паниной.

— Через два-три часа чтоб было готово. Начальнику отдела не говори. Никому!

— Есть, товарищ начальник.

Семушкин поехал к старушке — Сониной соседке.

Старушка при виде бланка допроса испугалась.

— Батюшки, не помню! Стара стала — память отшибло. Ты уж избавь меня, сынок.

— Да пойми же, бабуся: освободить хочу твою Соню, а ты заладила — не помню, да не помню. Ну, слышала ты когда от нее против советской власти?

Старушка сбоку посмотрела на Семушкина.

— Да я с ней о политике никогда и не разговаривала. Я не понимаю...

— Опять двадцать пять. Раз не разговаривала, значит, не слышала!

— Нет, нет, Господь с тобой.

— Так и запишем: советскую власть хвалила и все ждала, когда прогонят немцев и власть советская вернется, и брата ждала...

— Брата ждала, ждала... Да только я с ней ни о чем таком не говорила, — старушка захныкала.

«Вот старая карга!»

— Так ты что ж, помочь ей не хочешь? Раньше и передачи носила и деньги посылала.

Старушка моргала мокрыми подслеповатыми глазами и что-то шептала. Семушкин протянул ей вечную ручку, но она отодвинулась, пряча руки за спину.

— Что хочешь, а я ничего не знаю.

«Ну, что ты с ней сделаешь!» Решил схитрить.

— Есть Бог, старая, или нет?

Старушка совсе обомлела.

— Не... не... не знаю... Вот те крест, не знаю.

— А икона зачем?

В углу чулана, над койкой, мерцал темный образок. Старушка поглядела на иконку и вдруг рассердилась.

— Да что ты ко мне привязался, окаянный! У вас — нет, а ко мне не приставай!

— Вот что, старая, чтоб долго не разговаривать, подпиши здесь — и все. Если хочешь по-хорошему. Подписывай!

Старушка заморгала, вытерла сморщенной рукой щеку, взяла перо.

— Да... да я, касатик, и писать-то не умею...

— Ставь крест, а домком заверит.

При упоминании домкома старушка сразу сдалась и вывела дрожжащей рукой «Мария Степанова». Не дай Бог, если домком — изверг ее жизни — узнает о посещении НКВД.

— Ну, вот и хорошо, — пряча бланк в портфель, рассмеялся Семушкин. — И чего это вы такие пугливые?

— Вам хорошо пугать, а побыл бы в нашей шкуре, понял бы, отчего век трясемся, — пробурчала старушка, наклоняясь над примусом, где у нее что-то кипело в котелке.

— А кто, Мария Ильинична, еще из соседей знает Софью Панину?

— Не знаю я, — не глядя ответила старушка, но тут же,следом, живо обернулась и, посмотрев на Семушкина помолодевшими глазами, сказала: — Если вправду хочешь помочь, то сходи к вдове Кашиной, через улицу.

— Я же тебе говорю, что пересмотр ее дела идет.

— Ну, тогда иди с Богом. Иди, иди...

Кашина — мать троих малолетних детей (мужа убили в сорок пятом) — с заплаканным ребенком на руках молча выслушала Семушкина, и, ничего не сказав, подписала протокол.

Семушкин приобщил протокол к двум старым — домкома и осведомителя с консервной. Дело могло осложниться отсутствием жалобы самой Паниной, но это уже было заботой Делягина.

Протокол пересмотра подписал Семушкин, подписал Делягин, хотя ему следовало подписывать последним. Но в этом и заключался трюк — его заместитель Ломов, увидев подпись начальника, решил, что секретарь принес протокол, который он забыл подписать раньше.

Василия Делягин принял вечером. В гостинице ничего установить не удалось. Визитной карточкой Василия стала широкая полоса орденских планок на кителе.

Василий всю дорогу обдумывал, как ему держаться в НКВД. Крестьянская хитреца и осторожность подсказывали: проще — лучше. И никаких подробностей — отвечать только на вопросы. Из рассказа капитана Кате понимал, что звонок из наркомата обеспечивал ему внимание. «Доказательств о побеге Федора у них нет. Арестовали Соню все-таки несправедливо. Брат воевал? Воевал. Я, жених, воевал? Воевал. Как член партии, я обязан выяснить политическое лицо невесты. Если серьезно — пересмотрю, мол, решение. Про Федора будут спрашивать — ничего не знаю. Соня — моя невеста и беспартийного брата это не касается».

— Подполковник Трухин, — сдержанно назвался Василий.

Делягин на всякий случай встал из-за стола. Василий ростом был выше его и шире в кости — это прибавило настороженности: на высоких людей более крупные часто так действуют.

— Садитесь, товарищ подполковник, извините, что заставил ждать — дела. Закуривайте.

Закурили.

— Чем могу служить, подполковник? — прощупывая, нарочно опустил «товарищ».

Василий понял.

— Я, товарищ майор государственной безопасности, хотел бы узнать, в чем состоит дело арестованной и осужденной вами Софьи Паниной.

Делягин оценил и полное знание и «арестованной и осужденной вами». Надо было бы спросить, кто он, сказав, что этого требует форма. Но решил переждать.

— Паниной? Одну минуточку, товарищ подполковник, — Делягин позвонил.

Появился секретарь.

— Принесите дело Паниной.

Секретарь исчез.

— А вы, товарищ подполковник, ее лично знаете, или . . .

— Она моя невеста, — просто ответил Василий.

«Вот оно что». Дедягин мельком поглядел на орденские планки Василия, безошибочно отмечая Ленина, два Знамени, Отечественной 1-й степени. «Не из наших, кажется».

— Как член партии я решил, что самое лучшее обратиться прямо к вам, — добавил Василий.

«Э, тут, может, и ЦК!» — подумал Делягин.

— Что ж, я понимаю, товарищ подполковник... Вы служите в строевых частях?

— Я служу, товарищ майор государственной безопасности, в подразделении полевая почта 99901.

Василй нарочно заменил «часть» на «подразделение» — пусть думает, что хочет.

Делягин подумал: «Наверно, погранвойска или внутренние», — улыбнулся, показывая, что ему-то можно было бы и сказать, что за подразделение.

Секретарь принес коричневую папку. Делягин принялся внимательно перелистывать ее.

— Ага... Прежде всего, товарищ подполковник, София Панина арестована нами по ордеру прокуратуры, осуждена по поставновлению областного особого совещания, а не нами.

Василий подумал, что взял «лишку».

— Во-вторых, — Делягин выдержал паузу, разглядывая Василия, — во-вторых, дело ее пересмотрено и ваша невеста подлежит освобождению.

Василий сделал усилие, чтобы не выдать себя.

— Вот так, товарищ подполковник, — засмеялся Делягин. — Ошибки и у нас бывают, что греха таить. Много новеньких, малоопытных работников — война лучших вырвала и из наших рядов. («У нас», «из наших рядов», говорил, чтобы проверить — свой все-таки он или со стороны. Но Василий кивал головой утвердительно и скорбно — выходило, будто свой.) — Одному трудно за всем уследить. Но мой долг, подполковник, если кто из подчиненных ошибся, исправить ошибку.

Василий сидел, все еще не веря.

— С месяц тому назад был у меня брат Паниной — нашумел и уехал, — Делягин поглядел на Василия, проверяя, знает ли он, как ушел Федор, но тот продолжал сидеть, будто все это его мало интересовало. — Не могу же я все бросать по первой жалобе, вы же понимаете.

О Федоре Василий решил ничего не говорить.

— Протокол пересмотра несколько дней тому назад послан в Москву. Пока попадет в ГУЛАГ, пройдет еще несколько дней. Уверен, что недели через две невеста ваша будет на свободе, с чем вас и поздравляю.

Делягина сбивало выражение лица Василия — сидел, словно ничего не случилось, и Делягин невольно принимал это за уверенность, Да и то, что приехал сам, просто сказал, что арестованная — невеста, — за этим что-то было.

— Вот посмотрите, — Делягин протянул Василию лист.

«...НКВД... постановление особого совещания... осужденную Софью Панину освободить...» — все, что мог понять Василий. Надо было что-то сказать.

— А нельзя ли, товарищ майор, мне выписку на руки получить? Мне бы хотелось захватить в Москву.

Делягин подумал: «Наверно, заварил там кашу, а теперь хочет вы-

крутиться — с пересмотром я их здорово подкузьмил. Пусть, пусть покажет в Москве!»

— Что за вопрос, подполковник, — и тут же увидел лазейку узнать больше.

Сообщение о том, что этап, где была Панина, доставлен в Асбестлаг, пришло дней десять тому назад, а это значило, что там еще карантин и сообщить по почте о своем местонахождении Панина не могла. Если же приезжий знает про Асбестлаг, то зацепка у него в Москве крепкая — или ЦК, или наркомат, — рассудил Делягин и сказал:

— Нам, к сожалению, до сих пор не сообщили в каком она лагере находится, — и полез в ящик стола, будто сказал это просто так.

— Она в Асбестлаге, — ответил Василий, тоже будто между прочим. Но тут же пожалел — об Асбестлаге сказал Кате Озолин и говорить об этом не стоило.

«Э, да он силен! Похоже, что из наших», — окончательно решил Делягин и порадовался, что поторопился с пересмотром. Позвонил. Появился секретарь.

— Приготовьте товарищу подполковнику копию постановления о пересмотре дела Софии Паниной.

Ожидая возвращения секретаря, Делягин вышел из-за стола и заговорил, отбросив официальность.

— В общем, очень рад, что смог порадовать вас, товарищ подполковник. Очень рад, — опять посмотрел на орденские планки Василия. — А майору Панину передайте, что горячка и порох. — «Вот фраернулся бы я, арестуй такого родственничка!»

Василий хотел опять смолчать, но подумал, что лучше воспользоваться случаем и отгородиться от Федора.

— Брата невесты я вряд ли увижу. Она переедет ко мне, — сухо заметил он.

«А, видно, и ты братца не очень жалуешь. Выдержанный товарищ!»

Секретарь принес выписку. Делягин перечел, мысленно выругал лейтенанта и густо зачеркнул дату пересмотра, оставив только номер.

— Ну, вот, пожалуйста. А здесь распишитесь в получении. Бюрократия, ничего не поделаешь.

Василий расписался, ругая себя за неосторожность — в конце концов, зачем ему выписка? Теперь оставляй свою подпись в НКВД.

— Благодарю вас, — Делягин протянул Василию руку. И опять не выдержал: — Возможно, и встретимся когда-нибудь!

— Очень возможно... — полуутвердительно ответил Василий. — Спасибо.

Делягин проводил Василия до двери. Потом сел за стол, полистал папку. «Лучше дописать в духе директивы — можно будет, на случай чего, использовать, как образец отношения к этим... фронтовикам». Вызвал Семушкина и приказал вставить в текст постановления после слов «Пересмотрено дело Софии Паниной» — «невесты гвардии подполковника Василия Степановича Трухина и сестры гвардии майора Федора Михайловича Панина».

Семушкин злорадствовал: «Что — съел? Федька, верняк, добрался до наркомата. А тут еще жених!»

Но все-таки Делягин был чем-то недоволен, — чем, и сам не знал. Подумал запросить Москву о Василии, но, вспомнив звонок капитана и что Паниных в области не осталось, решил не запрашивать.

Василия улицы встретили темнотой, редкими фонарями, сугробами. На углу стоял милиционер. «Нет, брат, шалишь! — подумал, проходя мимо него, Василий (он был готов пуститься бежать), — Вот это здорово! Вот это да! У них те же порядки! А мы все боимся».

На вокзале Василий пробился сквозь толпу пассажиров к справочному. Ему хотелось скорей позвонить семь раз в Панкратьевском, рассказать Кате, а потом, за чаем, Анне Сергеевне, чтоб порадовать, чтоб похвалили. А Соня в лагере ничего и не знает! Он представлял себе Соню в какой-то казарме среди воров и убийц. И от всего этого одной бумажкой он освободит ее. «А что, если взять и рвануть в Асбест? А?» В окошке сильно завитая барышня начала смеяться, решив, что подполковник сильно выпил и забыл, куда ему ехать.

6. СПРАВКА УНРА

Город затоплен. Покинутые дома — похудевшие, спавшие с лица — стояли по пояс в воде. Улица — как река. Мимо наглухо закрытых ставен неслась глинистая вода. И ни звука — как в немом кино. Плыла солома, мебель, пустые канистры. Плывет полосатый, как каторжанин, матрац, а рядом труп в зеленой немецкой шинели — смерть застала во сне на матраце, так вместе и плывут. Плывет огромная фанерная бутылка-киоск с белой надписью «Нарзан». Странно, что это их улица, дом где они жили, стоит напротив, а ведь был разрушен — камня на камне не осталось. Окна его комнаты занавешены изнутри одеялами, как при светомаскировке. Но это что? Кто-то изнутри дергал слуховое окно чердака. Потом окно медленно раскрылось, и на крышу стала вылезать женщина. Вылезла. Осторожно ступая, подошла к краю покатой крыши. И смотрит. Прямо на него. Так это же Соня! — но окликнуть побоялся — не испугалась бы и не упала бы. Но она сама его узнала и приложила палец к губам, а другой рукой показывает на слуховое окно, словно там, внутри дома, что-то происходит. Лодку бы! Он стоял на балконе, и вокруг ничего не было. Бросился назад в полутемную квартиру — одно тряпьё, мусор, куски обвалившейся штукатурки. Выбежал на балкон. Дом с Соней на крыше, вдруг сдвинулся, медленно развернулся, бурая вода забурлила у стен и стала выносить дом на середину улицы-реки — да ведь он каменный! Соня протягивая руки, забегала вдоль карниза. Он полез через чугунные перила балкона, но шинель зацепилась за острие решетки.

Он скинул шинель и прыгнул в ледяную мутную воду. Вынырнул среди соломенной трухи, вода подхватила и понесла. Выравнявшись, увидел, что дом на перекрестке остановился и стал медленно двигаться наперерез течению, словно кто-то сильно тянул его на канате. Хотел крикнуть но захлебнулся ...

Задыхаясь, Федор проснулся. Но не шевельнулся. Ныло отлежанное плечо. В полутьме высился котел и трубы. Сверху в проломе брезжил свет. Где-то снаружи спросонья свистнула птичка. Ей ответила другая. Федор сел. Принялся медленно растирать лицо.

Над головой бешено промчался виллис. Часы показывали десять минут седьмого. Поднялся. В суставных шарнирах колен вымерзла вся смазка. Дошел до прохода — такое же помещение с развороченным потолком — сверху между тоскливых закопченных стен смотрел живой кусочек утреннего неба.

Припомнил вчерашнее, вернулся в свой угол. Закурил. От первой затяжки чуть не закашлялся. Зазнобило. Как в халат, запахнулся в пальто. А сон? Федор всегда видел сны. На фронте солдаты по утрам обсуждали: «Жинку, братцы, видел — к чему бы это?», а в «четверговые» — верили, что сбываются. Высчитал, какой сегодня день, — вышел четверг.

Наверху опять проехал автомобиль. Шперцайт кончался в семь. А потом что? О Функе и Вуппертале не думал — дурной сон. Сто девяносто одну марку можно растянуть на несколько дней. Еще — часы. Мысленно оглядел себя — что еще можно продать? Ордена? Ленина из золота, но — Березина, переправа, взрывы, тело старшины Филиппенко без головы, безногий Седых, генерал — «Здравствуй герой!» — рассердился и стал кому-то грозить: «Не дождетесь! Ордена? Черта лысого! Лучше я вас кого прикончу!» А что в самом деле — дождаться темноты, схватить кого за горло и отнять документы?.. Тот сообщит, и потом по фамилии поймают ...

Вокруг светало. Стали видны кирпичи стен с остатками штукатурки, мусор на полу, кирпичный бой, истлевшие газеты, ржавые консервные банки. Повеяло чем-то непоправимым. Прошли имена, слова — каждое больше, чем мысль: беспризорник ... Соня ... мама ... ордена ... «Кусака» ... Последнее задержалось: «Кусака» — собачья бездомность, дождь, осень ... Потом пришло и встало, оттесняя все, — за что? Но об этом надо было думать.

Снаружи учащались шаги, автомобили, голоса. Кто-то кому-то крикнул, несколько проходящих дружно рассмеялись. Начинался день. Где-то взошло солнце; отраженное, оно прошло в подвал желтым госпитальным светом. В воздухе повисла пыль. Птичий щебет вырывался изо всех проломов и щелей. Что это были за птички Федор не знал — для горожанина все птицы щебечут одинаково.

Достал расписание поездов и принялся рассматривать карту. Нашел кружок Кельна. Захотелось выйти и посмотреть на город. Здесь был Кельнский собор, который знал по картинкам в старых журналах.

Стал приводить себя в порядок: вычистил пальто, брюки, вытер сапоги, шляпу, чтобы растянуть, набил бельем и полотенцем. Не сра-

зу нашел зеркальце — хотел поглядеть на Федора Панина в Кельне — как фотографию снять на память. Зеркальце было маленькое — ничего, кроме безпризорных глаз и щетины, не увидел. В соседнем помещении, под проломом с золотистой от солнца трубой, в лужице между кирпичами, набрал дождевой воды. Вода была ночная, холодная, настоянная на кирпиче. Долго мылил щеки и подбородок, растирал мыло холодными пальцами, как делают немецкие парикмахеры, и хотя лезвие взял новое, бриться было больно. Намочив в лужице платок, вытер лицо, шею. Сложил вещи в потфель и сел на доску ждать, когда на улицах наберется побольше прохожих.

У самых ног в мусоре валялся пожелтелый, сырой кусок газеты. Поднял, стал очищать от земли, истлевшая бумага рвалась. С трудом разобрал готические буквы: «... оберст фон Трахтенберг любезно уступил мне свой бинокль, и я увидел луковицы церквей Москвы — азиатская столица лежит перед нами. Армия знает приказ фюрера и ждет сигнала. Оберст ...» Ноябрь сорок первого! И кто бы мог подумать!

Но мысли были не столько о немцах под Москвой, сколько о себе, о подвале, где он теперь находился.

Минуты через две Федор вылез в заваленный обломками стен коридор.

Ржавые тавровые балки и рельсы в кучах слежавшегося мусора и кирпичей были как гигантские высохшие дождевые черви. Федор посмотрел в сторону дверного пролома на улицу — там стояло живое весеннее пространство, пронизанное утренним светом, зелеными точками и птичьим щебетом.

Быстро прошел до самой двери и стал к ней спиной, будто завернул сюда по нужде. Прошли, разговаривая, две женщины, и он сразу же шагнул на тротуар и, не оглядываясь, пошел за ними.

Руины, руины, руины — ни одного целого здания. Но улицы полны народа. Люди вылезали из развалин, сидели, грелись. Редкие полицейские и английские МП заставляли идти, не разглядывая. Еще в советской зоне заметил, что толкучки лепились чаще к вокзалам. Вокзал отыскал по высокому шпилю собора.

Собор был цел. Рядом лежал сплошной развороченной руиной железобетонный бункер. Для этого понадобилась бомба не менее двух тонн весом. Воздушная волна должна была сломать, повалить длинное высокое тело собора. Но она прошла его насквозь — через огромные готические окна. Окна спасли собор, заплатив за это всеми своими цветными стеклами.

За развороченным бункером копошилась толкучка. Долго наблюдал продающих-покупающих, через полчаса знал, кто торговал сигаретами и шоколадом, кто консервами, а кто вещами и одеждой. Группа евреев торговала комбинированно: двое, похожие на молодых одесситов, командовали, остальные приносили откуда-то продукты и ловили покупателей. Выбрав маленького — видом местечкового учителя, купил у него плитку шоколада и пачку «Честерфильд», а когда платил, сказал, показывая на часы:

— Хочу продать.

Тот посмотрел на руку Федора, подозвал одного из «одесситов». «Одессит», лениво оглядывая толпу, спросил:

— Сколько?

— Две тысячи.

— Вы сумасшедший.

И поставив диагноз, зная себе и всему цену, медленно пошел навстречу толстой немке.

— Хабен зи цум феркауфен?

Немка показала что-то в сумке. К ним подошел второй «одессит» в синем пальто, с неестественно широкими плечами, большими накладными карманами и поясом. Партнер что-то сказал, показывая на Федора. Федор сделал вид, что уходит. Второй «одессит» загородил дорогу.

— Хабен зи цум феркауфен?

Федор молча показал руку.

— И сколько вы хотите?

— Две тысячи.

— Дайте я посмотрю.

Федор снял часы и отдал, готовый тут же выхватить их. Покупатель быстро и ловко открыл ножичком крышку, оглядел у самых глаз.

— Тысячу двести.

Говорили по-немецки. Федор ответил по-русски:

— Нет, полгода тому назад я заплатил за них три тысячи.

Глаза «одессита» приятно изменились.

— Пан русский?

— Русский из Эстонии.

— Пан сильно переплатил. Полгода не сейчас, и я могу дать пану лучшую цену — тысячу триста. Ей-Богу, это хорошая цена, и то потому, как пан русский, а не немец.

Федор понимал: если торговаться — даст и полторы. Метаморфоза с глазами покупающего, его польско-русский язык стали решающими. Федор оглянулся.

— Разрешите мне быть откровенным: часы стоят больше двух тысяч, и я их продаю, чтобы добраться к семье, которую не видел больше трех лет. И если вы мне достанете какую-нибудь бумажку для проезда, то я отдам вам часы за тысячу марок.

— Какую бумажку?

— Чтобы проехать к семье.

—А где у пана семья?

Федор выбрал самое далекое место.

— В Баварии, у швейцарской границы.

— Пан власовец или военный?

— Нет, я остарбайтер, работал на «Борзинверке» в Берлине, до самого конца войны. Только теперь получил сведения, что дети и жена в Баварии.

— А у пана большая семья, много деток?

— Двое. Дочь и сынишка, — для жалости соврал Федор.

— И какую пан хочет бумагу?

— Какую-нибудь. Ведь я не немец, а эмигрант.

— А почему пан не обратится в эстонкий комитет?

Такого вопроса Федор не ожидал.

— А разве в Кельне есть эстонкий комитет?

Покупатель подумал, посмотрел на часы — он сам не знал, есть ли эстонский комитет в Кельне.

— Семья пана в лагере?

— Нет, в деревне.

— Жаль, в лагере было бы лучше. Эстонского комитета здесь, кажется, таки да нет.

— Мне бы только проехать.

— Почекайте тут, я сейчас приду.

«Одессит» отошел к партнеру. Федор следил, готовый бежать в развалину. Вернулись они вдвоем.

— Пятсот марок и справку УНРРА о направлении в Миттенвальд, в лагерь, — сказал другой, не глядя на Федора, на чистом русском языке.

— Где это, Миттенвальд?

— На самом юге Баварии, возле Гармиша.

— Справку и восемьсот.

— Пятьсот.

В том, что тот торговался, заключалась некая гарантия, что справка будет иметь ценность подлинности. Не веря удаче, Федор хотел согласиться, но побоялся выдать себя.

— Я уже говорил вашему партнеру, что заплатил за часы три тысячи. Мне нужно восемьсот, меньше не могу.

Часы пошли по рукам, сопровождаемые быстрыми замечаниями на жаргоне. Федору показалось, что первый уговаривал другого.

— Абгемахт. Напишите ваше фамилие, имя, возраст и национальность.

Федор совсем не думал, что справка будет на его имя. Имени своего он даже еще у Функе решил никому не говорить. Он оторвал кусок газеты и на полях написал: «Теодор» — хотел написать Орлов, но Орлов было неправдоподобно, — Петров, Иванов . . . — все отзывались псевдонимом, он, быстро прикинув свою фамилию: Панин—Танин, Панин—Паневский, — вышло Таневский, написал: «Таневский, 1915, эстонский подданый».

— Гут. Вам придется подождать.

Федор посмотрел на первого. Тот догадался.

— Вы не беспокойтесь. Надо же отпечатать на машинке. Пять минут.

Он взял бумажку, ловко пробился сквозь толпу, перешел площадь и скрылся за дверью полуразвалины с белой самодельной вывеской. Второй спокойно останавливал появляющихся немок: «Хабен зи цум феркауфен?»

Федор съел шоколад, закурил. «Таневский» — это хорошо. Он представил себе список в руках неизвестного с погонами НКВД — Панин и Таневский в алфавитном списке стояли далеко друг от друга.

Время от времени появлялись по двое полицейские, вызывая в

толпе ветерок настороженности. «Одессит» ходил, завидно не обращая на полицейских внимания; казалось, что он и у них вот-вот спросит: «Хабен зи цум феркауфен?» Но это не помешало ему раньше Федора заметить возвращающегося через площадь партнера. Приблизившись к Федору, он сказал:

— Все в порядке.

Раскрасневшийся, запыхавшийся партнер подмигнул Федору и, загородив его от толпы, вытащил из внутреннего кармана лист бумаги. Не выпуская его из рук, дал Федору прочесть. Слева, в верхнем углу, стоял печатный штамп УНРРА. Дата и текст были написаны на машинке по-английски, внизу по-немецки:

«Герр Теодор Таневский, год рождения 1915, эстонский подданый, направляется в гор. Миттенвальд (Верхняя Бавария) к своей семье».

Ниже стояла подпись с печатью.

«Одессит» отсчитал под полой шестнадцать зеленых бумажек, взял у партнера справку, вложил ее между деньгами и, в первый раз оглянувшись, протянул Федору. Федор протянул часы. Партнер загораживал. Когда свободная рука Федора взялась за деньги, а рука «одессита» за ремешок часов, оба одновременно отпустили — Федор часы, тот деньги.

— Спасибо, — сказал Федор партнеру.

— Тут, в Кельне, пусть пан не показывает. Счастливой дороги. Кланяйтесь деткам и жене. У меня самого трое, — он жалостливо улыбнулся, пожал плечами и побежал навстречу появившемуся немцу: «Хабен зи цум феркауфен?»

За 250 марок Федор купил две банки бекона, булку хлеба и еще пачку сигарет.

Бумажный орган-протез был на месте. Кому приходилось наблюдать, как идет по улице инвалид, которому только что на культяпку руки приделали протез, тот поймет, как шел Федор по улицам разбитого вдребезги Кельна, мимо гревшихся на солнце пещерных жителей, на виду у полицейских и автомобилей МП — военной полиции.

Аппетит завел его в какую-то забегаловку, где без карточек давали суп. Две тарелки похлебки с кусками бекона, ячменный кофе, не торопясь, вперемежку с сигаретой, перечитывая справку, и Теодор Таневский достиг той полноты уверенности, с которой смотрит на женщин молодой человек после признания одной из них его достоинств. Поезд Кельн—Аугсбург— Гармиш—Миттенвальд уходил в 6.45.

На берегу Рейна, против железнодорожного моста с перебитым костяком, на нагретых солнцем бетонных площадках у мертвых пакгаузов было людно: вязали немки, играли дети, дремали с газетами мужчины.

Справка УНРРА в кармане была контрамаркой, и Федор, расстелив пальто, с порфелем под головой, скоро уснул.

Разбудил его гутаперчевый мячик. Солнце стояло низко, тень от развалины, похожая на верблюда, загибалась к реке. Мячик принадлежал веснущатому мальчику, которого звала, собиравшаяся уходить мать. И хотя Федора не звал никто, он стал собираться тоже.

Вокзал, особенно покупка билета, вернули оглядку: а вдруг спросят пропуск? Командировочное? То же повторилось и при входе на перрон.

В вагонах все места были заняты, как будто поезд шел не из Кельна, а проездом. Федор стал в проходе, оставляя справа и слева одинаковые расстояния к выходам. К отходу в поезд набились совсем по-советски. Отъехали в темноте — электричества не было.

Духота. Заплаканные стекла. Приливы и отливы света от проплывавших за окнами фонарей. Гул пассажиров. Ныли ноги. Хотелось сесть на пол — слева в проходе три женщины пристроились на чемоданах, парочка справа на мешке... «Проверяют документы или только билеты? Вещи, говорят, проверяют: борьба со спекуляцией — совсем, как наши мешочники». Громче всех говорил мужской кашляющий голос:

— Четыре дня ходил! Все вещи за рюкзак картофеля предлагал! Так и еду ни с чем. Без картофелины! А дома дети! Карточки съедены! У-у, эти бауэры! Немецкий народ называется! Ничего, придет время — мы с этим «народом» посчитаемся!

«Так зреет революционная ситуация», — подумал Федор. Вспомнил Серова: «Революционность масс прямо пропорциональна росту населения». «Им, серовым, нужда нужна: отчаявшемуся человеку вовремя подсунутый коммунизм — универсальный выход из всех бед: озлобленный, он полезет на рожон. Русские рабочие в гражданскую также ездили и ходили по деревням. Коллективизация была замешана на дрожжах мести рабочих крестьянам. А в эту войну колхозники гнали из деревень городских — помните, мол, как мы плакали в коллективизацию...»

Впервые после Функе Федор снова думал обобщениями. Переход от личного к общему происходил в нем всякий раз, как только утихомиривалось личное: устраивалось с личным, — вылезала неустроенность в большем. «Не потому ли в Советском Союзе людей держат в непрестанном напряжении личной неустойчивости?»

В темноте не до условностей. Федор положил на пол пальто, сложил его горкой, и сел.

До Франкфурта на Майне поезд шел без остановок. Стук колес, гул голосов, кашель усиливались, затихали, но для Федора все было одной шумовой нотой — усыпляющей. Разбудила перемена шума — как если бы в оркестр с хором вдруг включилось неожиданное соло: шла проверка билетов. Приняв ее спросонья за проверку документов Федор нацелился было пробираться в противоположную сторону — без плана, просто бежать от проверки, — каждая грозила провалом, но на дальней скамье, у фонаря проводика, кого-то стали громко будить.

— Билеты, ваш билет! — и смеялись.

Рядом, справа, женский голос сказал:

— Вань, а, Вань! Билеты переверяють!

— Та ты их куда сховала? — ответил мужской голос.

Федор едва дождался фонаря проводника. Лица соседей оказались до того своими, что понадобилось усилие, чтоб тут же не заговорить.

Открытие уменьшило остроту первой встречи с человеком в форме.

Вагон разбужено гудел. Зашуршала бумага пакетов — послевоенные немцы жевали всегда и всюду. Соседи тоже полезли в мешок. Общее оживление позволило Федору заговорить с ними.

— Сосед, нет ли у вас спички? — спросил он по русски.

Ему ответила переставшая шуршать бумага. Потом с легким металлическим щелчком зажглась зажигалка.

— Про́шу.

Прикуривая, Федор дал разглядеть себя.

— Спасибо!

Раскуривая сигарету выдержал паузу.

— Вы не знаете, когда мы приедем в Миттенвальд?

— Завтра по обиди.

Лаконичность ответа исключала продолжение разговора.

— Спасибо . . .

Соседи стали есть. Запахло чесноком. Земляки! С этой минуты он прислушивался только к ним: шуршала бумага, двигался мешок, мужчина несколько раз кашлянул, чем-то занятый. Вдруг Федор услышал шепот женщины:

— Дай ему . . .

Не успел он понять, что это относилось к нему, как мужчина тронул его за плечо.

— Про́шу пидкрипиться.

Почувствовав в руке ломоть хлеба с куском колбасы, Федор чуть не расплакался.

— Спасибо . . .

«Дай ему . . .» — в этом было то, чего ему недоставало. Он держал в темноте кусок хлеба и думал, что только советская женщина, вот так, по звуку голоса могла все сразу понять. А может быть, они приняли его вопросы за прием попрошайки? Как бы там ни было, он твердо знал: «дай ему» останется на всю жизнь. И опять женщина догадалась: — Пан до Миттенвальду иде, до лагерю?

— Да, в лагерь.

Хотелось сказать ей больше, но движение мужчины — «молчи, кто его знает?» — остановило.

Разговорились только утром, после того как немка слева спросила:

— На каком это вы языке разговаривает?

— Они на украинском, а я на русском.

— Интересант! Это ваш родной язык?

— Нет, я эстонец.

С эстонцем украинец разговаривать жене разрешил и сам разговорился. И вышло: они из Западной Украины, из-под Львова, а он эстонский подданный. Существенным для Федора был рассказ о советских репатриационных миссиях, вылавливающих в западных зонах Германии советских граждан. «Кого зловять — вывозять на родину».

7. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ВАХТЫ

Правая сторона барак пела: по-блатному — гитаристо, надрывно, но боль — настоящая.

Не плачь, под-руженька — девица гуляща-га-я,
Не мучь ты-гы душу, объятую то-га-ской,
Все-га-равно, наша-га жизнь теперь пропаща-гая,
И тело женско-га-е проклято-га судьбой . . .

Деревянный, узкий, из некрашенных досок стол, за столом печь — бочка из-под керосина с железной трубой — делили барак пополам. По сторонам — деревянные углы, ребра, перекладины двухэтажных нар-«крестов». Правые нары — в пестрой рвани, в лоскутных одеялах, серых пятнах «обмундирования второго срока», на нарах фигуры — наверху полураздетые, внизу в одеялах и телогрейках. Левые нары занавешены — стена из неравных плоскостей разноцветных одеял и занавесок, больше серых оттенков. Справа — двигались и пели, слева лежали пластом, словно берегли силы.

С низкого закопченного потолка, над столом, висел черный патрон с мутной лампочкой. Из печки и стыков трубы время от времени упруго, как по команде, вырывался сизый дым.

Пела, собственно, Клавка Оловянная, остальные подпевали. Клавка сидела на верхних нарах, в одной рубашке цвета грязного обрикоса, свесив большие голые ноги, наклонившись, словно собиралась прыгнуть не то на пол, не то на печку. Пела Клавка горлом и высоко. На жилистой шее то набухала, то спадала толстая вена.

Рядом с Клавкой сидела Маша Чужие Ноги — рыжая, круглая — кличку эту ей дали за ноги иксом — распустила волосы и густым гребнем вычесывала гниды на разостланную газету. Из-под волос мужским голосом умело подпевала Клавке.

Барак ждал поверки.

Обитатели и правой и левой стороны барака осуждены по одной и той же статье «СВ» — «связь с врагом». Поделились по естественному отбору: ростовские воровки, одесские проститутки, харьковские спекулянтки, блатные донбассовские шахтерки — на правой; колхозницы, работницы, одна учительница, две продавщицы, бухгалтер, несколько девиц из довоенных десятилеток — на левой стороне. Все побывали под немецкой оккупацией, все арестованы за «связь с немцами». Правая сторона шумная, драчливая, скверно ругалась, пела, ссорилась. Левая больше молчала. Плакали обе: правая громко, истерично; левая тихо, за занавесками, в подушку, чаще ночью. Все вместе

составляли бригаду по очистке асбеста. Работали на 2-й асбестовой фабрике: в шесть утра подъем, в шесть вечера возвращались в барак.

На дворе стоял февраль, уральский, студеный. Поверки проводились в бараках.

— Эй, кто там из заслуженных колхозниц! Подкинь дров — сифонить начинает! — прервала Клавка песню.

Несколько голов на правых нарах повернулось к одеялам противоположной стороны.

— Я кому сказала, старая лярва! — закричала Клавка, кого-то имея ввиду.

— Тебе холодно — ты и подложи. Тоже мне баронесса с Молдаванки! — огрызнулся голос из-за занавески и закашлялся.

— Молчи, чахоточная зануда! Тебя не дерут, ты и не подмахивай. Эй, ты, колхоз долбаный, кому говорю! Вот возьму дрын и так перетяну, — Клавка скучала и искала ссоры.

За серым одеялом послышался другой, тихий, голос:

— Не надо, Нюра, пусть ее . . . — одеяло отодвинулось, показалась голова цвета спелого каштана, гладко причесанная, с узлом затянутых волос на затылке. Вылезла молодая женщина в телогрейке и валенках. Присев у печки, принялась неторопливо подкладывать поленья.

Клавка захохотала.

— Девчата, Тихая и тут в стахановки лезет!

Женщина не ответила. Бегущее пламя освещало ее лицо, которое нельзя было назвать более метко, как тихим: в серых глазах, в линии рта, в выражении было одно общее — покорность, осознанная и решенная.

Будь в бараке бригадир, она не позволила бы Тихой подкладывать в печку по окрику Оловянной: «На всех не упасешься», да и Клавка не рискнула бы: «пахани», как звала бригадира правая сторона, или «тети Мани» Струковой, как называла ее левая, — боялись самые отчаянные блатнячки. Плечистая, крепко сбитая казачка станицы Александровской, Срукова не терпела в бригаде двух вещей: воровства и когда кто-нибудь «психовал». Расправа была короткой: жестоко, по-мужски избивала. Блатных знала давно по Ростову, куда носила из станицы молоко. Из левосторонних жалела и не давала в обиду колхозниц, из «интеллигентов» любила Тихую — за терпеливость и за то, что напоминала ей давно умершую дочку.

Тихая захлопнула поленом дверцу. Клавка заголосила:

Прости меня, моя мама,
Что я Киев разбомбил.
Моя жинка с немцем спала,
А я ее разбудил!
И-и-и-и! . .

Правые нары подхватили, мстя левым и Тихой за то, что те считают себя лучше, что подкладывают в печь, что не отвечают на ругань. «Одним иодом мазаны!»

Тихая занимала нижние нары, рядом с бригадиром. Сверху жила тетя Даша — пожилая воронежская колхозница, и чахоточная Нюра Марченко — работница-табачница из Ростова-на-Дону. Тихая давно хотела поменяться местами с тетей Дашей — той трудно лазить наверх, со Струкова не разрешала: «Заразишься еще от Нюрки, а ей, старой, все равно», хотя и Нюру чахоточную жалела, называла землячкой и заботилась о ней, — ставила на работу полегче, где меньше пыли; носила из кухни куски хлеба; наверху положила, чтоб теплей было.

— Чего это ты, Соня, охальницам потакаешь? Не развалятся, поди, и сами подложат, — встретила тетя Даша вернувшуюся на нары Тихую.

— Эй, тетка Гапка, ты лучше скажи, как с фрицами крутила, а? — закричала Клавка.

— У, охальная харя, бесстыжая! Сама трепалась с немцами, а к людям пристает.

— Я и не отговариваюсь, как некоторые. Гуляла! Мой грех — мой ответ. Теперь стараюсь — грехи замаливаю: немцу раз дала — теперь своим — без счету!

Правая сторона дружно грохнула. Маша Чужие Ноги — громче всех.

— Ай да Клавка! Замаливает! И чем трудней, тем греха больше сострогивается! Ой, девочки, не могу!

— А чего это, девочки, Тихая все молчит? — закричала Клавка.

— Фрица своего забыть не может.

— Ей, верно, эсэсовец достался! Все и вспоминает!

— Все переживает! Ой, девочки, не могу . . .

— И как вас земля носит, таких бесстыжих? — опять не выдержала тетя Даша. — Ты, Соня, не слушай этих поганиц, — и, желая отвлечь, спросила: — Ты чего это сегодня обед не доела?

— Не хочется, тетя Даша.

— А ты через «нехочется». Неровен час, ослабнешь. (Недоеденную чечевицу Соня отдала Нюре.) — Я вот что хочу тебя, Соня, попросить: не прочитаешь ли мне еще разок дочкино письмо? До поверки как раз успеем.

Соня хотела сесть.

— Лежи, лежи! Я услышу и отсюдова.

Письмо — листок из ученической тетрадки в клеточку — начиналось, как все крестьянские письма, с поклонов родни:

«Дорогая маманя, шлем тебе поклоны и горячие приветы: я, дядя Петя, тетя Лида, Степка и Машутка. Ты береги себя там . . .»

Оловянная пела отчаянно залихватское:

Все говорят, что я воровка
Украла сердце у тебе . . .

«Я опять ездила к прокурору в район. Ответа пока из Москвы еще нет . . .»

А я девчоночка-плутовка
Словáм опутала тебе!

Мотив был из Оффенбаха. «Странно, кто соединил эти слова с Оффенбахом?» — подумала Соня.

«Я ему сказала, что я фронтовик-санитарка и что мне недаром 'Звезду' дали на фронте, и что я не оставлю так, чтобы мою родную мать сажали на пять лет в лагеря. Я добьюсь своего, до Сталина дойду...»

«Вот верят же, что Сталин — другое, справедливое...»

«Великий вождь генералиссимус Сталин и наша родная советская власть разберутся, где правда...»

«Не верит, — для цензора пишет», — догадалась Соня.

«...и не допустит, чтобы вас держали в лагере со всякими вражескими элементами...»

«Только бы освободили мать... Все эгоцентрики... Семья только и держится еще... Держится в деревне...»

«Это недоразумение, мама, будет исправлено. Вы уже потерпите там. В колхозе у нас дела идут хорошо. Восстанавливаемся успешно, готовимся к севу. Меня назначили звеньевой, и я оправдаю доверие. Живем сыто и в достатке, скоро все будем жить, как Шурик до войны наш жил а, может и лучше. Хотя бы вы, маманя, скорей возвращались.

Ваша любящая дочь Мила.

Послала вам на прошлой неделе сухариков, отпишите получили ли».

Тетя Даша слушала, высвободив из-под вылинявшего платка ухо и, когда Соня кончила читать, поправила платок, взяла письмо, аккуратно сложила его и спрятала под матрац. О чем-то подумала, вздохнула и снова свесилась к Соне.

— Вот она жизнь, Соня: родной матери нельзя, чтоб душой не покривить — чтоб вам пусто было, проклятущим, — сердито поправила платок. — Скоро, мол, жить будем, как наш Шурик. А Шурик-то — собака наша — перед войной околел. Воевала, воевала, раненым солдатикам помогала... Она у нас на передовой была, в санбате! Орден ведь не просто дали! А вернулась с войны — мать родная в лагерь посажена! С победой, доченька! Тьфу! Надо было мне, старой дуре, к немцу в кухарки лезть... Думала, сыта буду...

Соня знала историю тети Даши, как и истории всех сорока трех человек бригады. Она писала им жалобы, некоторым — письма.

— На поверку! — закричал за стеной голос нарядчицы.

Барак деловито зашумел. У ног Сони отвернулось одеяло. Струкова, с блестящим и красным от мороза лицом, заполнила собой проход между нарами.

— Соня, дай-ка мне список.

Соня ведала «личной канцелярией» бригадира — вела табель, заполняла наряды и сведения на питание.

— Тебя, кажись, во второй отдел вызывают после поверки. Может, брат...

Сердце Сони упало, ослабли плечи, живот. Вызов во второй отдел, да еще вечером! Неужели Федор!?

— На поверку выходи!

Все перешли на левую сторону. Нарядчица — маленькая, бойкая, черноглазая, с выбившейся прядью из-под черного вязаного платка, выкликала фамилии по фанерной дощечке. Каждая отвечала — имя, отчество, срок, статью, конец срока — и переходила на правую сторону. Потом нарядчица объявила, кому выходить на работу в ночную смену. Поискав глазами, окликнула Соню:

— Панина, после отбоя приходи в УРБ, — и радостно, завидуя, добавила: — Во второй отдел вызывают.

Барак сразу наполнился вопросами и восклицаниями.

— Во второй отдел? — Куда Панину вызывают? — Вдруг на волю! — Держи карман шире...

Соню окружили.

— Соня, ты когда посылала жалобу? — В верховный Суд или в область? — У нее брат, кажись, сам энкаведешник!

Клавка сверху перекричала всех.

— Вот тебе и Тихая — тихарем и выскочит!

Второй отдел находился в здании управления — за зоной. Нарядчица довела Соню до вахты и сдала поджидавшему в будке стрелку.

Высоко в небе холодно и чисто мерцали звезды. Снег под валенками хрустел звонко, стеклянно; стрелок шел сзади. Видны были далекие огни городка, вокзала, пунктир фонарей карьера на темной синьке ночи. Поднялось чувство узнавания чего-то давнего, нестерпимо дорогого: когда-то она так же шла зимой и глядела на далекие фонари. «Неужели Федор?»

Дежурный второго отдела посмотрел в список и что-то сказал стрелку. Стрелок оглянулся на Соню, — она так и стояла, охваченная воспоминанием и особенным ощущением заключенного, когда он попадает по ту сторону вахты, — зачем-то снял с плеча винтовку и, как говорят солдаты, когда им поручают ответственное задание, сказал, показывая на дверь:

— Давай.

Ничего не понимая, Соня пошла к выходу. На крыльце, под яркой лампочкой, оглянулась — стрелок смотрел тупо и зло.

— Давай налево! — прикрикнул он, показывая дулом, где «лево».

За углом в стороне ночная холодная даль светилась окнами одинокого дома, и это было самым неожиданным — 3-я часть! Стало страшно. Ожидание чуда осталось на крыльце со светом лампочки. И не было неба, не было звезд, не было узнавания прошлого. Одни светящиеся окна 3-й части и страх. Вспомнилось, как третьего дня на фабрику приходил уполномоченный по режиму и гадко оглядывал ее. Вспоминала тех, кого так же вечерами вызывали в отделы управления, а под утро они возвращались пьяные и веселые.

Длинный деревянный дом с трех сторон был огорожен частоколом. У ворот в будке мерз часовой. Часовой позвонил, из входной двери выбежал худой парень в гимнастерке.

— Пропусти.

Соне он велел подождать в дежурной, стрелка отослал в соседнюю комнату, а сам ушел. Барак, тетя Даша, Струкова, даже Клавка показались Соне обжитым покоем, решенным и дорогим.

— Пожалуйста, — сказал вернувшийся дежурный и повел ее по коридорчику.

Коридорчик кончался тупиком с дверью, на которой висела белая дощечка с надписью: «Начальник 3-й части ст. лейтенант Н. И. Недосекин».

Комната ударила ярким светом и нестерпимой чистотой. За большим письменным столом, под портретом Сталина, сидел белобрысый офицер с красным обветренным лицом. Спиной к Соне сидел второй офицер, но с другими погонами — это заметила сразу. Пока с ней совершался переход из дымного барачного мира в этот вымытый, беленый, теплый, второй офицер поднялся, головой почти достал потолок, и шагнул навстречу, загораживая краснолицего.

— Соня . . .

Увидела большие протянутые руки и, еще не узнав, инстинктом, ожиданием чуда, всей мукой последних месяцев поверила и пошатнулась. Он крепко схватил за плечи и, как в разыгранной роли, притянул ее к себе, прижал, больно придавив ее щеку к металлической пуговице кителя. Почувствовав чужого, Соня хотела отстраниться, но руки держали крепко и разрешили только взглянуть в лицо: один глаз — светлый, напряженный — моргал. И она узнала: приятель Феди, прошлым летом приезжал с подарками! Совсем растерявшись, она зажмурилась, по-настоящему прижалась к нему, стараясь понять, а главное, вспомнить его имя.

Но он помог ей сам.

— Соня . . . дорогая . . . успокойся! Ну да, я . . . твой Вася . . . Я же говорил, что все будет хорошо . . .

«Василий! — вспомнила она, догадываясь следом: — от Феди, приехал выручать». По-женски схитрила: закрыла платком лицо и заплакала — от радости, от страха . . .

— Ну, Трухин, поздравляю. Встреча, скажу тебе, даже меня прошибло!

Загораживая Соню, Василий сказал:

— Ты уж извини, Недосекин, сам понимаешь — невеста, поди не забыл, как в женихах-то ходил . . .

Соня поняла: приехал как жених к невесте. Мягко отстраняясь, отодвинулась, вытирая слезы. Недосекин подал стул.

— Садитесь, Панина и успокойтесь. И ты, подполковник, садись. Такую встречу обязательно надо вспрыснуть. Это на все лагеря, наверно, единственная в своем роде!

Недосекин позвонил. Явился дежурный.

— Принеси-ка выпить и закусить. И быстрей — одной ногой здесь, другой там.

Соня сидела, стараясь растянуть вытирание глаз. Василий не знал, что лучше: подойти к ней или разговаривать с Недосекиным.

— Надо же такому случиться, — заговорил Недосекин. — Где были вместе, а где встретились. Да еще ситуация — я начальник 3-й части, невеста твоя — моя заключенная, а ты к нам из Германии прикатил! Век не забуду!

Дежурный принес начатую бутылку водки, хлеб, тарелки с колбасой и селедкой. Василий помог Соне снять телогрейку. В ватных штанах и вылинявшей блузке она чувствовала себя неловко и поторопилась сесть, спрятав ноги под стол.

Вкус колбасы и селедки был каким-то первичным: как в детстве. Ела, сдерживаясь, быстро глотала и выдерживала паузу, чтобы не заметили. Но Недосекин заключенного знал.

— Вы, Соня, не стесняйтесь, ваше довольствие мне известно.

Василий сидел рядом и, для Недосекина, время от времени обнимал Соню за плечи. Недосекин, поглядев на руку Василия, засмеялся прокуренным ртом и, подмигнув, взял телефонную трубку.

— Дежурный? Дай там распоряжение приготовить комнату в Доме свиданий.

Василию сказал:

— Свидание я оформлю завтра. Все в порядке. Только копию постановления оставь мне.

Когда водка была допита — Соня выпила три рюмки, — Недосекин проводил их в дежурную. Стрелок таращил глаза на Василия и его погоны. На Соню смотреть избегал. Василий про себя отметил: «Не козыряет, словно и не солдат».

Недосекин вышел провожать на крыльцо.

— Ну, подполковник, приятной ночи! Завтра увидимся.

8. ПЕРВЫЕ ПРОЦЕНТЫ

Подъезжая к Гармишу, Федор, из окна, впервые в жизни увидел настоящие снеговые горы. Но скала за окном скоро пошла вверх и все заслонила. Вдоль скалистой стены бежала зеленовато-молочная речка. «Снег», — подумал Федор о цвете воды. Это тоже было впервые. Земля все уходила вверх — даже прижимась к стеклу нельзя было увидеть небо.

Поезд шел между гор, и горы назывались Альпами. Главное для Федора было в слове Альпы. То, что он видел Альпы, радовало необыкновенно — куда забрался! Присутствие пассажиров мешало, и он вышел на площадку. Поезд стал поворачивать, гудящая на одной

ноте стена за окном сразу, рывком, оборвалась, открывая пространство, долину, близкую цепь огромных гор. Одна гора стояла несколько выйдя из ряда. Федор видел тесно взбегавшие по ее крутому склону деревья (как пехота при штурме высоты), трещину с белой неподвижной лентой водопада, густую шерсть кустарника и вершину, облитую, как кулич, сахарным снегом.

Потом ощущение переменилось: вершины гор стали как бы поверхностью земли, а поезд шел по дну котловины.

Восторг от того, что он — Федор Панин — видит географические Альпы, был первыми процентами от купленного «на все» займа Свободы. В Польше, в Германии Федор многое увидел впервые в жизни: города, замки, памятники, реки, но ему всегда казалось, что все это он видел раньше. Здесь было предельно ясно: в первый раз! Видимо, ни книги, ни картины, ни кино не могут передать ощущение гор ...

Поезд стал поворачивать снова; далеко у подножья гор показались белые с черным прямоугольники — не то деревня, не то городок. Федор кидался от двери к двери, стараясь запомнить, собрать сменяющиеся картины в одно целое. Путешествие в страну неизвестности началось!

За окнами замелькали плоские белые дома в коричневых полосах деревянных балконов. Подъехали к станции. На перроне толпились люди в зеленых охотничьих куртках, в шляпах с перьями; на некоторых были свитера в оленях и удивительно выглаженные натянутые брюки, заправленные в большие ботинки. Было много военных американцев. Федор всматривался в рослых разволицых парней и снова радовался, что выбрался в американскую зону. Вспомнив о спутниках украинцах, вернулся в вагон. Там их не было. Подумал, что они вышли на перрон через другую площадку, но заметил, что не было и вещей. «Сбежали, испугались», — обиженно подумал он.

Вышел на перрон. Вокруг разговаривали, смеялись, но когда прислушался — не понял ни слова, хотя язык был немецкий. Из вокзального здания показались двое зеленых полицейских с карабинами за плечами. Вид полицейских насторожил. Оглянулся, увидел кондуктора.

— Скажите, пожалуйста, когда поезд отходит на Миттенвальд?

— Через десять минут, — ответил тот, подозрительно, как показалось Федору, оглядывая его.

— О, тогда я успею еще закусить! — сказал Федор таким тоном, словно он отлично знал и Гармиш, и все, что было вокруг.

Он вернулся в вагон и, выждав пока мимо окон неторопливо прошагали полицейские, пошел по вагонам вперед, на ходу решая: сойти здесь или остаться в поезде. В первом вагоне было пусто: две парочки и у самой двери группа зеленых баварцев с трубками. Решил остаться.

Поезд тронулся. Снова вокруг успокаивающее движение, отрывающее от земли с ее пропусками, полицейскими, случайностями. Стук колес, говор пассажиров, пыхтенье паровоза убаюкивали, разговаривали с Федором в разных, сменяющихся по желанию, ритмах. За ок-

ном плыли горы, белые домики в вылезших сквозь стены стропилах, с камнями на плоских крышах. Недавнего восторга, однако, не было. Долго рассматривал карту. Два миллиметра между точками — Гармиш и Миттенвальд — казались решающими. Южнее проходила граница, и это тревожило: граница для Федора означала погранполосу, пропуска, проверки. Успокаивала справка в кармане и то, что Кельн был далеко — поди, проверь!

К Миттенвальду подъехали в тумане. Городишко лежал в котловине. Земля за крышами домов уходила вверх, в туман. В серой сырости привокзальной площади пассажиры скоро растаяли, Федор остался один. Почему, собственно, он не сошел в Гармише — многолюдном и солнечном?

Из-за угла выплыла фигура в пелерине, с лицом Ницше под острой шляпой. Федор спросил о лагере . . .

У казарменного вида зданий прохожих было больше. Заметил гасштетте. В низком, из темного дерева, зале было накурено и шумно. За столиками, уставленными кружками, громко разговаривали. Заказал суп и кружку пива. Прислушался. Справа разговаривали на непонятном языке — по виду догадался, что балтийцы, слева сидели поляки, а в стороне, у колонны, громко говорили по-украински. Молодой скуластый парень рассказывал, похожий на Тараса Шевченко усач и смуглый кареглазый красавец слушали.

— . . . Репатриювати?! А ну, пишлы, хлопцы! Воны до комендатуры, а мы авто на дыбки, бензиною ихньою облылы, спичку — раз! — пишло полыхаты!

К украинцам подсел человек с испуганными красными глазками на маленьком личике. Через минуту он слушал с восторгом, слегка открыв рот, помогая рассказчику и губами, и головой.

Федор съел суп с остатками хлеба и бекона. Скуластый парень рассказывал о том, как в лагере, откуда он приехал, такие же, как он, ребята сожгли автомобиль советского репатрационного офицера.

К столику подходили новые слушатели и скоро скрыли рассказчика. Федор, оставив портфель и недопитое пиво, тоже подошел.

— Колы МП прыихало, в лагери лышылысь тилькы ти, хто документы загранычни, або нансенивськи мав. Де ж тут шукати? Прочосувати лис, так то ж дывизию вийска треба маты. Бабы с дитьми у бауеров заховалысь, а мы хто куды. Я з Петром и Павлом сюда ришылы податысь.

Похожий на Шевченко о чем-то спросил.

— И тут треба зорганизуватысь. Якщо прыпруться, так щоб усим дружно стояты.

По тому как он сказал «прочосувать» лес и «зоргонизуватысь», Федор узнал в нем бывшего советского и, наверно, солдата. Это прибавило смелости. Слушатели расходились. Федор остался возле колонны. Ему мучительно, как почесаться, хотелось заговорить. Он оглянулся и присел на стул возле человечка.

— Поступай, земляк, а не встречал ли ты в вашем лагере Таневских.

Все четверо обернулись.

— Я семью ищу по лагерям... Может, случайно, слышали — Таневские?

Человечек испуганно заморгал. Остальные переглянулись. Скуластый зло сощурился.

— Свыня тоби землячка, москаль! Иды, звидсы, покы по морди не надавалы!

— Что ж вы ругаетесь? Разве я обидел вас чем?..

Скуластый побагровел лицом, но усатый жестом остановил его и заговорил, цедя слова:

— Як пан розумие, мы чесни украинськи люди и, як пан розумие, з москалями не маемо ничого спильного. Звидсы выходить — не хочемо маты й зараз ничого.

— Извините, но я не понимаю... — Федор растерянно огляделся. — Разве... разве... в моем вопросе было что-нибудь... разве мы не земляки?

Кареглазый одним ртом нервно засмеялся.

— Кинь свыне не товарищ, украинец москалеви не земляк.

Вокруг засмеялись. Федор отходя к своему месту, услышал:

— Дай йому, Петро, щоб знав замлякив!

— Звидки вин такый узявся?

— В лагери я такого щось не бачыв!

Федор сел, отпил из кружки.

— Хлопци, а може, вин советський шпигун?!

Федор покосился на зал. Зал смотрел на него. По лицам, глазам, кулакам понял, что сейчас будут бить. Достаточно первой брошенной кружки. Но испугался Федор не этого, он боялся полиции. Взяв в руку портфель — им можно было защищаться от кружек, положил на стол марку. Путь к двери проходил мимо столиков: убегающего кто-нибудь обязательно ударит. Балтийцы продолжали разговаривать, будто их не касалось. Поляки смеялись, явно подзадоривая орущих.

Озираясь, Федор увидел приоткрытую дверь на кухню, а за дверью испуганное лицо человечка, который только что сидел за столом украинцев. Личико гримасничало, красные ручки звали к себе. Не раздумывая, Федор шагнул к двери и быстро захлопнул ее за собой. За дверью на мгновенье смолкло, но сразу же заревело, захохотало, засвистело.

У плиты две немки чистили картошку. Человечек стоял уже возле другой двери и быстро звал Федора красной ручкой.

Так вслед за ним Федор проскочил двор, какой-то склад.

— Скорей, Бога ради! — задыхаясь пискнул человечек и мелко побежал к длинному, с заколоченным окнами зданию.

Обогнув угол не то летнего ресторана, не то зала для танцев, они выбежали в переулок, пустой и серый. В некоторых окнах уже горело электричество. Преследователей не было. На вопрос Федора: куда мы? — человечек только махнул ручкой и побежал дальше.

Остановились они у большого красного дома. Человек огляделся и, приглашая Федора, юркнул в дверь.

— Ждите здесь, — приказал он в полутемном коридоре, а сам постучал в крайнюю дверь. Кто-то отозвался.

— Герр Майер, дас их...

Федор следом за человечком вошел в заставленную некрашенной мебелью комнату. В кресле у лампы сидел старик с длинной трубкой.

— Что нужно?

— Герр Майер... битте... — заикаясь начал человечек.

Федор решил помочь.

— Скажите мне, что вы хотите, а я переведу.

— Да то хочу сказать, чтобы вам дал место переночевать. В лагерь вам нельзя ни под каким видом. У него тут пансион. Наши останавливаются... В лагере русских нет, не дай Бог, ведь убить могут! А то еще чего...

— Он что, — сдает комнаты?

— Что вы, какие теперь комнаты... Все забито флюхтлингами, беженцами. Так иногда приезжему человеку выпадает свободная койка — у него пансион для лыжников. Вот и скажите ему, что я, мол, герр Адлер, прошу его для вас, значит, местечко, переночевать...

Федор хотел переводить, но герр Адлер схватил его за рукав.

— Ночь переночуете, а завтра видно будет, может, еще разрешит.

— Герр Адлер, — начал Федор и только сейчас понял смехотворность фамилии для ее обладателя, — герр Адлер просит вас помочь мне — его знакомому — устроиться с ночлегом. Я в свою очередь очень прошу вас не отказать мне, если у вас есть свободное место.

Хозяин пыхнул дымом.

— Вы иностранец?

Ответить Федор не успел.

— Герр Майер, майн камерад фолькcдейтч, — поторопился человечек.

— У вас есть документы, цуцуггенемигунг?

Федор не знал, что это такое.

— У меня есть удостоверение УНРРА, я разыскиваю свою семью.

Трубка пахнула два раза подряд.

— Ваше имя?

— Теодор Таневский.

Трубка пахнула три раза.

— Да, у меня есть одно свободное место. Двадцать марок. Деньги вперед.

Федор, торопясь, вытащил и положил деньги на столик рядом с лампой.

— Герр Адлер вас проводит. Комната семь, место одиннадцать, — сказал хозяин, так и не взглянув на Федора.

Высокое чердачное помещение было застроено аккуратными, выкрашенными в светлую краску нарами — где в два, где в три, а где и в четыре этажа. Постояльцы лежали, закусывали, за столом играли в скат. По свитерам в оленях, наглаженным брюкам и лыжам в кори-

доре — это были немцы проводившие отпуск в горах. «Будто им и дела нет — ни до Германии, ни до проигранной войны, будто чего-то ждут и в этом чем-то уверены», — подумал, снимая пальто, Федор. Его рассматривали. Федор вернулся в коридор, где ждал человечек.

— Ну, вот, устроился. Спасибо вам большое за все... Извините, не знаю вашего имени и отечества?

Человечек заморгал, шмыгнул мокрым носом.

— Что ж там, как говорится, помог земляку... Сергеем Аполлоновичем зовусь. Вот только стоять нам здесь неудобно — говорим-то по-русски... Сойдемте лучше вниз, в столовую.

В пустой столовой, за перевернутыми стульями, на подоконнике сидела парочка, оба в толстых джемперах и лыжных ботинках. Адлер из деликатности и пугливости хотел уйти, но Федор повел его в конец комнаты, в нишу, откуда парочку видно не было.

Сергей Аполлонович доверительно тронул холодными пальцами руку Федора.

— Я, Федор...

— Николаевич, — подсказал Федор.

— Я, Федор Николаевич, прямо скажу, человек боязливый, но увидел вас — поверил вам, а когда вы сказали, что семью ищете, а потом особенно так сказали им, на вас орущим: «За что вы на меня? Что я вам сделал?» — так меня прямо в холод бросило от жалости. Кругом сиротство, человек затравлен вконец, а ему на его слово человеческое в физиономию кружкой ни за что, ни про что!

Но я их, Федор Николаевич, тоже не виню, не смею, им тоже горе выпало — ведь как зверей травят, а другие, как тот, с усами, растравляют.

Ведь я, Федор Николаевич, месяц назад также искал семью! — радостно сообщил Сергей Аполлонович. — И все по лагерям, по лагерям. Страшно было, упаси Бог! Везде репатрационные офицеры, а я все езжу, все езжу — и откуда смелость бралась. Теперь даже вспомнить страшно. Семь лагерей объездил, и нигде нет! А у меня сынок — седьмой годок, дочка — двенадцатый в январе пошел, жена и сестра. Потерялись мы, когда от советских войск убегали. Не молод ведь пятьдесят четыре стукнуло. Что я без семьи? Всю войну вместе были...

Я уж вам все расскажу, верю вам! Я из-под Полтавы, из Полтавы эвакуировался на Кавказ, в Нальчик, а из Нальчика до самой Тюрингии. Что пережили, только Бог знает: и бомбежки, и голод, и холод... Сынок-то малюсенький был, дочке всего восемь. Я, сами видите, какой мужчина, все на жене и сестре... Шесть лагерей прошел я и никто о моих и слыхом не слыхал. А в седьмом — повезло: старушка одна — я больше старушек да женщин с детьми спрашивал — безопаснее оно, сами видели, как мужской пол реагирует на расспросы незнакомых, так эта старушка и вспомнила моих по лагерю в Фульде. Я в Фульду. Как увидел деток своих, так, верьте, обомлел, — Сергей Аполлонович потер красным кулачком глаза. Вздохнул. — Поплакали мы с радости. Божья милость, скажу вам, — найти человека в таком переселении народов. Это что иголку в стогу. Поплакали мы с радо-

сти, а на следующий день пришлось, знаете, от страха плакать. Такая уж жизнь пошла.

Проснулись мы на другой день, а в лагере советский майор — приехал уговаривать домой возвращаться. Я своим — бежим в лес, а сестра моя и жена — на меня не похожие! — никуда мы не побежим, сил наших нету, ничего он нам с детьми не сделает. Ум женский, что и говорить. Ты, Сергей Аполлонович, беги, говорят, ты как-никак мужчина, а мы останемся. Нет, говорю я им, не для того я искал вас, чтоб опять терять. Если уж на смерть останемся, так вместе. Уговаривали они меня, но я на своем настоял.

Стал майор с утра людей вызывать. Никто, конечно, не идет. К слову сказать, перед тем американцы в лагерь навезли белого хлеба, консервов разных: кто в лес ушел, так с едой. Позавтракали мы, сестра моя и говорит жене, пойдем, Маня, с детьми, посмотрим. Я на них: вы что это, погубить себя задумали? Детей пожалейте. А сестра у меня отчаянная: ты, Сережа, говорит, не ходи, а мы пойдем, а так, сиди не сиди, — ничего не узнаем. Ну и пошли. Я, хотя и боюсь, а сам за ними, с толпой смешался и смотрю, что будет. Майор такой попался, знаете, с бритыми бровями. Сидит за столом у конторы, рядом с ним шофер его, а вокруг толпа.

«Ну, что ж, товарищи! — обратился он к народу. — Кто хочет поговорить о родине, о возвращении домой? Родина вас ждет». А толпа молчит. Тут мои подошли: жена с сыном на руках, сестра — с дочкой. Подходят. Майор обрадовался, даже встал, смеется. «Ну как, едем домой?» И опять смеется. Мои тоже смеются. «Нет, — говорят, — не едем». А тут сынишка о чем-то жену по-немецки спросил. Майор услыхал и удивляется. «Смотри, какой маленький, а по-немецки шпарит. Так вам, мамаша, и переводчика не надо иметь». Все, конечно, смеются. Майор к сестре: «Чего же вы не хотите домой ехать?» А сестра ему: «Зачем?» — «Родина ждет вас», — говорит. А сестра ему: «Чем это она нас ждет? Тюрьмой или лагерем?» Все притихли и слушают. Видит майор, что не на ту попал, обращается к жене: «Ну а вы, мамаша, — пожилые уже, — чего ж вы не едете?» Жена ему скромно в ответ: «Да так уж . . .» Тут толпа смелости набралась и давай майору такое кричать, что атмосфера сразу накалилась. Я поскорей своих за рукава и утащил от греха в барак.

Майор с ними смеялся, так и мои по-хорошему ему, а на толпу стал кричать. Народ ему в ответ. Страсти разгорелись, а он, возьми и хватись за револьвер. Кто-то из молодых в него камнем! Он от стола — к лагерным полицейским.

Уехал майор, уехали МП, к вечеру из лесу народ стал возвращаться. А ночью налетели американские солдаты, лагерь окружили. Что тут поднялось! Люди, как куры мечутся, истерика, плач . . . Свет погас — по лагерю крик: выдают! А солдаты для острастки стрельбу еще подняли. Светопреставление и только! Переводчик догадался, сообщил по радио, что лагерь просто перевозят в другое место, за Кассель.

С рассветом стали нас грузить в грузовики. Мы семьей держимся. В одну машину погрузили — я с сынишкой с краю, жена с сестрой и

дочкой в глубине. Одним словом, поехали. Едем, едем, а я все, знаете, смотрю: куда это нас везут? Я ведь у немцев на железной дороге работал, так что знал в какой стороне Кассель. Смотрю я это и, вдруг вижу: на восток везут! К советам! «Братцы! — кричу. — Да они нас к большевикам везут!» Взвыла машина: крик, плач, вой, а они скорости не сбавляют. Ну, значит, вправду на выдачу везут.

Помутилось у меня в голове, кричу жене: «Маня, пробирайся сюда!» Пробилась она с дочкой, а сестра осталась в кабину стучать, чтоб остановились. Куда там — летят так, что на поворотах заносит. «Маня, прыгаем!» — кричу жене. «А дети как?» — спрашивает бедная. «С детьми!» Взял я сынишку в руки, мысленно перекрестился и прыгнул на повороте. Стукнулись о землю, перевернулись, я сына прижимаю, отлетели в сторону и лежим. Пошевелился я — цел. Сынишка со страху плачет тихонько. «Цел, сынок?» — спрашиваю. Вижу — цел. Гляжу — из кузова оторвался кто-то, по платку узнал — жена с дочкой. Я сына скорей в кусты — «Сиди, сынок, я сейчас», а сам к жене. Наш автомобиль последним ехал. Но кто же его знает, вдруг какая машина сзади наедет? Выбегаю на дорогу, а жена над дочкой сидит. Ой, думаю, убилась доченька. Подбежал — у жены на лице кровь, а дочка без чувств. Хватил ее на руки и в сторону, в кусты. Слышим, автомобили останавливаются, из кустов выглянул — из кабин солдаты выскакивают с винтовками, начали в воздух стрелять. Я скорей дочку на руки, сына жене — и в лес. И откуда сила взялась. Бежали мы, бежали, пока из сил не выбились. Залезли в чащу какую-то, дочка стонать начала. «Что, доченька, болит?» А у нее в лице ни кровинки. Посмотрели и вижу — ручка сломана. Жена в голос. «Тише, ты, ради Бога! Не плачь, доченька, не плачь, милая, потерпи, золотая», — Сергей Аполлонович смахнул кулачком слезу. — Минут через пятнадцать слышим, моторы заработали, знать уезжают.

Ну потом кое-как добрались до деревушки. Нашли доктора, — пожалел, сделал перевязку с лубками, позвал бургомистра, человек добрый попался: накормил, дал комнату. От него же на следующий день узнали, что всех сгрузили за Касселем в пересыльном лагере. Я, конечно, туда. Хоть и страшно было, но сестре знать дал. Она боевая у нас — выбралась за проволоку. Мы назад, в деревню. Пару дней отдыхали. Бургомистр — добрая душа, дай Бог ему здоровья, — выдал нам справку, что в войну в деревне работали. Там же от украинца одного узнали про Миттенвальд. Переехали сюда.

Я, слава Богу, по-украински с детства говорю, жена и сестра тоже — назвались украинцами. Украинский комитет дал справку, что мы из Львова. Теперь не так страшно — раз из Львова, так до тысяча девятьсот тридцать девятого жили не в Советском Союзе и выдаче не подлежим. У знающих людей все про Львов выспросили, — если спросят, где там и что было. Что ж делать, — извиняясь, проговорил человечек. — Пока ничего, а что завтра будет, никто не знает . . .

Сергей Аполлонович замолчал, подавленный своим «завтра».

Федор тоже молчал. Его «завтра» рисовалось того хуже.

— Вот оно, мил-человек, наша жизнь. Вы-то где свою семью потеряли?

Его участие, рассказ, бесхитростная доверчивость, тронули Федора. Ему тоже захотелось рассказать о себе. Остаток осторожности решил размять вопросами.

— Скажите мне, Сергей Аполлонович, о причине такой вражды украинцев ко мне, откуда она?

— Украинцы хотят отдельного от России самостоятельного государства и считают Россию поработительницей Украины. Я, Федор Николаевич, сам про это услыхал первый раз при немцах, в Полтаве. Советская власть-то сколько миллионов украинцев казнила и сослала? Ну а в эмиграции, оказывается, все время существовало такое.

— Но ведь никто, наверно, серьезно и не возражает им?

— Куда там! Среди русских — в штыки готовы идти, такие споры идут — до драк!

— Не понимаю. Делят шкуру не убитого медведя! Ловят-то их и советские русские, и советские украинцы. Что ж они воюют?

— Парадокс, Федор Николаевич, парадокс. Только непонятно мне как вы до сих пор? . .

Федор отодвинул признание еще вопросом:

— Ну, а дочка как, Сергей Аполлонович? Поправилась рука?

— Спасибо. Детские косточки, знаете, хотя и не крепкие, да заживают быстро. Повязку еще носит, но, слава Богу, обошлось.

— Да, Сергей Аполлонович . . . Хорошо, когда семья вместе . . .

— И вы найдете, и вы, Федор Николаевич, найдете.

— Да искать-то некого, Сергей Аполлонович.

Человечек заморгал, думая, что ослышался.

— Нет у меня никого, Сергей Аполлонович.

Человечек отодвинулся и глядел уже с обыкновенным испугом.

— Вы уж простите меня за невольную ложь. Как говорится, откровенность за откровенность: о семье я придумал, чтобы доехать сюда, чтоб иметь предлог расспрашивать, — Федор, стараясь не пропустить ничего на лице собеседника, сказал: — Я, Сергей Аполлонович, только что бежал из советской зоны — служил в советской армии офицером . . .

Лицо Сергея Аполлоновича на глазах серело.

—Э-э-э . . . Как же это? . . Советский офицер? — наконец выговорил он.

— Всю войну воевал, надеясь, что после победы человечность в жизни появится. А вышло не так. Подался сюда. Никого не знаю, ничего не понимаю. Что делать — тоже не знаю.

За спиной послышались шаги. Человечек подпрыгнул зайцем.

— Вы не бойтесь, Сергей Аполлонович, я так благодарен вам . . . Хочу просить у вас только совета: что делать, как пристроиться . . .

— Ой, не знаю, не знаю, не знаю . . .

— Я вижу, что напугал вас. Может быть, мне не следует оставаться здесь, в Миттенвальде?

Что-то осмысленное появилось в моргающих глазках Сергея Аполлоновича.

— Ни под каким видом! Здесь все знают всех. Ведь вас за советского шпиона примут! Убьют, ей-Богу, убьют!

— Куда ж мне податься, Сергей Аполлонович?

— Ой, не знаю, только уезжайте, вы, милый мой человек. Пожалейте и меня, дурака, и деток моих. Ведь я помочь вам хотел.

— Сергей Аполлонович, да успокойтесь, ради Бога! — сожалея что признался, прикрикнул Федор. — Сейчас вечер, скоро шперцайт, до утра мне все равно не уехать. Утром уеду. Только куда вот?

— Поезжайте в Мюнхен, — быстро проговорил человечек. — Знаю там одного господина, русского. Если кто может вам помочь, то только он. Связи у него большие, я тоже, когда своих искал, к нему обращался. Деловой человек. А живет он... — Сергей Аполлонович, торопясь и оглядываясь, полез в карман за записной книжкой. — Вот запишите: Мюнхен, Богенхаузен, Мауеркирхенштрассе, 37. Полковник Тоденгаузен, Юрий Александрович. Только... только вы уж, пожалуйста, не говорите никому обо мне... Страшно все...

9. ПОЖАЛЕТЬ — ПОЛЮБИТЬ

— Разве вы не получили моего письма? Я с дороги послал спешным.

— Нет... Я в карантине...

— Ну и перепугался я! Вы вошли — и, вижу, ничего не знаете. Пропал, думаю: невеста, а жениха не знает. Начальника лагеря не оказалось — уехал в Свердловск. Что делать? Я к начальнику 2-го отдела, а тот боится, видимо, решать. Я его, конечно, на пушку: для меня, мол, и дня много — из Германии до Урала одного пути пять дней, а у меня отпуск. Сую ему документы, орденскую книжку, он мне тогда и говорит: «Я не могу, а вот начальник 3-й части Недосекин может». Какой-такой Недосекин? — спрашиваю. Лейтенант Недосекин, Никифор Иванович, — отвечает. Мать честная, да это ведь наш смершевец? Рыжий? Рыжий, говорит. Я скорей в особый — в 3-ю часть, по-вашему. Смотрю — он! А он, как увидел меня, так даже с лица сменился. Э, думаю, испугался, брат. Тут, видно, про тебя ничего не знают. Он у нас в дивизии такой номер отколол, что все думали — пропал. А он вон где окопался — над лагерниками командовать поставлен.

Соня уже знала и про копию постановления о пересмотре, и про Катю, и про Делягина — Василий успел рассказать по дороге. Она сидела на койке и слушала: и то, что говорил Василий, и то, что происходило в ней самой. Факт освобождения был осознан, если не считать страха, — вдруг не выйдет, вдруг что-нибудь помешает, — но освободиться от себя — «тихой» — еще не могла. Было странно даже: чудо произошло, невозможное случилось, а ответной радости не было, только слабость и замедленность реакции на то, о чем говорил Василий.

«Дом свиданий» — маленькая деревянная избушка — одиноко стоял в снегу у дороги из лагеря на железнодорожную станцию. Кто-то до их прихода затопил печку в соседней комнате, белая «шуба» окошка начала оттаивать с верхнего угла. Соня сидела без валенок, подобрав под себя ноги, Василий — напротив на табурете. Пакеты с едой, купленной в московском Гастрооме, Василий выложил на стол. Соня поняла — покупал для нее, но есть не могла — желудок словно свело. В чемодане оставалась бутылка вина — Василий купил по совету Кати, но после недосекинского «приятной ночи» выставить на стол не решился. Больше всего он боялся сейчас расспросов о Федоре, потому, не переставая, рассказывал, жестикулируя так, что скрипел табурет.

— Стояли мы на отдыхе, — в сорок пятом уже. Дело солдатское: отдыхать, так отдыхать. И вдруг — созывается экстренное заседание партбюро. Видим: замполит напуган. Что такое? Оказалось: на территории дивизии найдены антисоветские листовки! Обнаружены СМЕРШ-ем, то есть Недосекиным. Всего листовок — две штуки. Налетело смершевское начальство. Недосекину благодарность за бдительность. Началось следствие. Стали таскать народ. Проверили все пишущие машинки: штабов, местных учреждений — там управление Силезско-Домбровского бассейна было, — шрифт не тот. Прибыл особый следователь — ничего. А тут дивизии выступать, так дело и замялось бы. Недосекину орденом пахло. И возьми тот особый следователь и надумай проверить машинку самого СМЕРШ-а. И что же вы думали? Шрифт тютелька в тютельку! Недосекина прижали. Вначале отказывался. А потом сознался: а что мне делать? Начальство требует разоблачения врагов, рапортов, а у нас в части порядок полный, происшествий никаких, народ — все патриоты. Где я вам врагов возьму? А начальство — выговор: плохо работаешь, не проявляешь бдительности. Вот и довели меня!

Короче, забрали нашего Недосекина. Мы думали, ему капут, — кто же смершевца пожалеет А он — вот где очутился. Видно, конфуз для начальства вышел, так что замяли... Он только две листовки отпечатал, а большое начальство тысячами «врагов», «вредителей» да «шпионов» печатает. Да... Вот чего он испугался-то. Подумал, что я кому из здешнего начальства могу рассказать — подрыв авторитета выйдет... Так-то, Софья Михайловна... Бывает же: и с Делягиным то само собой вышло — даже не пойму и как — и в Москве, и тут с Недосекиным... Вот и говори, что чудес не бывает...

Рассказ Василия явно соскальзывал на холостой ход. Соня сидела, обхватив колени, как васнецовская Аленушка, и чему-то улыбалась. На полу из-под валенок натекла лужица. Василию казалось, что улыбалась она случаю с Недосекиным, а она думала: «Не чудо. а ты, большой добрый Дедушка Мороз... И Федя... Федя знал, кого посылал...» Она опять хотела спросить о Федоре, но вспомнила про безногого в Вятской пересыльной тюрьме.

— Да, странно... Я тоже встретила в тюрьме одного инвалида безногого, в дезинфекционной камере работал, заключенный. Узнал меня

по фамилии. Оказалось, — служил в Федином батальоне. Перед самым арестом встретил Федю в поезде — Федя ехал домой, меня выручать.

Василий хотел спросить фамилию инвалида, но Соня без паузы коротко спросила:

— А как Федя?

Василий потянулся за папиросой, стал чиркать спичкой. Соня ждала. Наконец ему удалось прикурить. Глубоко затянулся.

— Федя ничего... По-старому в комендатуре, работы много, отпуск ушел на хлопоты дома и в Москве, второй не скоро... Мне помогла Наталья Николаевна — жена нашего генерала... Она вам поклон передает... И знакомая Феди в Москве, Катя с мамашей Анной Сергеевной тоже наказали кланяться. Да! Я и забыл. Они посылочку вам передали.

Василий обрадовался предлогу и полез в чемодан.

Соня взяла у него пакет и, не взглянув, положила рядом на койку. Подарки чужих женщин показались некоей претензией на родство, посягательством на Федора. Она опять хотела спросить о нем, но Василий замахал руками.

— Нет, вы уж не обижайте их — поглядите на подарки-то! Ведь они от всего сердца.

Коричневые туфли на высоких каблуках, серое шерстяное платье, черные резиновые ботики с бархатными отворотами, зеленая вязаная жакетка, шарфик, пестрые рукавички, белье, чулки, серый пуховой платок. Все новое, немецкое, нарядное, только платок Василий купил в Мосторге.

—Видите, какие люди-то, и все к вам относятся как к родной: и Наталья Николаевна, и они... Нет, Софья Михайловна, с такими людьми жить можно!

Василий остановился у совсем оттаявшего темного окошка и повторил:

— Еще как можно!

Слова ли его, вид ли вещей — у нее никогда не было таких — заграничных, чтоб сразу столько, — подействовали на Соню. Она разложила их на койке, как делала мама в дни рождения и именин. Рядом с ее ватными штанами, побелевшими от асбестовой пыли, на старом солдатском одеяле вещи выделялись, как иностранцы на советской улице. Это оживило в ней ощущение освобождения — волной накатило: воля! И, как сладкая боль, по всем мыслям прошло: можно идти через вахту, через железнодорожное полотно, до самого вокзала; не оглядываясь покупать билет (об этом думала часто, но всегда видела себя оглядывающейся у кассы), можно ехать в вагоне, можно сойти, где хочешь; увидела, не так, как там на нарах, а доступно: мир в снегу, дороги, улицы в белых деревьях, огни витрин, подъезды и людей, ничего не знающих о Клавке, о бараках, допросах...

Василий у окошка украдкой следил за ней. Если бы он знал ее лицо в бараке, то, верно, заметил бы, что исчезла решенная покорность. «Тихой» больше не было: серые глаза лучились, на щеках проступил румянец, будто она оттаивала изнутри. Всего заметней это бы-

ло на волосах: между туго и гладко стянутых отдельные освобождались и, как первая травка по весне, выбивались блестящими шелковыми завитками.

Опомнясь, что-то проверяя, Соня взяла самую яркую вещь — рукавички. Примерила. Потом шарфик — «кофе с молоком». О жакетку потерлась щекой, потом быстро надела левую туфлю, вытянула, оглядывая, ногу. Но в ноге в ватной штанине, с неуместными тесемками на щиколотке, что-то было не так. Прикрыла ногу платьем, но с одной туфлей полной картины не вышло, и она, торопясь, надела вторую. Стала на пол и, прижимая, как на примерке, платье, прошлась легко, легко, — вот-вот полетит. И все молча, посмеиваясь, совсем забыв о Василие. Он стоял, боясь помешать ей, даже папиросу спрятал за спину.

Когда Соня шла к двери, он увидел на спине вылезшую кофточку. Высокие каблуки, и широкие ватные брюки, и этот вылезший край кофточки — Василий смутился, будто подглядел ее в нижнем белье за примеркой. Соня словно догадалась, резко обернулась и, все еще закрываясь платьем, стала сбрасывать туфли. Потом, бросив платье на спинку койки, торопясь уселась на койку, крепко обхватывая колени.

— Знаете, чего мне сейчас больше всего хочется? — не глядя на Василия сказала она: — Вымыться от всего. Надеть все чистое, выглаженное... И чтобы чуточку духов... И чтобы чистый платок, знаете, такой... тонкий, батистовый... И еще, чтоб немножко цветов, маленьких... фиалок, именно фиалок. И чтобы идти, идти, идти... Вы понимаете? Идти, куда хочешь, куда глаза глядят. И чтобы разговаривать с кем хочешь... Нет, лучше, чтоб под руку... Идти и разговаривать... И чтоб не знать про Клавку Оловянную, чтоб никогда не подкладывать в печку, никогда не слышать про плачущую подруженьку... И никогда не молчать! Вы знаете... я так и не могу вспомнить вашего отчества?

— Степанович... — ответил Василий тихо, словно она шла по карнизу.

— Вы знаете, Василий Степанович, ведь вы опоздали.

Соня пристально посмотрела на него. Не понимая, Василий испугался.

— Ведь вы Дед-Мороз, а Рождество уже прошло. Вам надо бы на Рождество — я уже сидела, вы подарили бы мне незнание барака, Клавки, чахоточной Нюры, асбеста, ругани, смеха охранников, обысков... Как я теперь забуду все это!.. — выкрикнула она и закусила губу. — Мы зажгли бы с вами свечи... лучше одну, маленькую-маленькую, разложили бы подарки — вон там, на столе, а вас посадили бы рядом — вы ведь тоже подарок, большой подарок — чудо. И чтоб скатерть была белая-белая, а по скатерти хвоей выложила бы Свобода... Нет, лучше Воля. У нас, у русских, воля, а не свобода, как *правда*, а не *право*. Вы заметили?

Она хотела еще что-то сказать, но остановилась, поглядела на него невидящими глазами, секунду крепилась, не выдержала и, как при

неудержимом кашле, со стоном выдохнула и упала на подушку, закрывая локтем лицо, расплакавшись навзрыд.

Василий, схватив кружку, хотел бежать в коридор к бачку, но на глаза попался чемодан: в углу из-под голубого выглядывала бутылка. Голубыми были его кальсоны, Перед тем как взять бутылку, он принялся запихивать кальсоны, как будто сейчас это имело значение. Не найдя ножичка со штопором, несколько раз ударил ладонью в донышко бутылки, но донышко у винных бутылок — не как у водочных: вогнутое, — пробка только подалась. Ухватил зубами, вытащил, испачкав рот в пробочной крошке. Торопясь налил в кружку темного густого вина.

— Софья Михайловна, выпейте вот... Легче будет...

Соня, плача, не отрывая лица от локтя, взяла кружку и, отвернувшись к стене, отпила.

— Простите меня... как истеричная баба...

— Ничего, Софья Михайловна, на радостях и поплакать не грех...

Василий стал прибирать на столе. Соня лежала, уткнувшись в подушку. Потом отпила еще вина.

— Почему вы меня по имени и отчеству называете? У Недосекина вы говорили мне Соня! — спросила она вдруг.

— Ну... Не станет же жених невесту по отчеству величать, — пошутил Василий, но шутка не вышла. — Да и вы только что меня об отчестве спрашивали.

— А почему Федя даже письма не передал с вами? — спросила она, приподнимаясь на локте.

— Э-э-э... я просто не успел... в Берлин заехать... Звонил ему по телефону, решили, что времени терять не надо...

Василий опять стал закуривать.

Выдал ли его голос, или ее нервная обостренность подсказала ей — она села и, не пряча заплаканное лицо, спросила:

— А вы ничего от меня не скрываете? Вы совсем по-другому говорили о Феде летом. Что-нибудь случилось? Он обидел вас?

Василий, чтобы выиграть время, уронил папиросу под стол и принялся доставать. Соня, не отрывая от него взгляда, встала, подошла к нему.

— Василий Степанович, не обманывайте меня...

— Честное слово, ничего... правда же...

Взгляд ее заплаканных глаз продолжал спрашивать.

— Ей-Богу же, ничего. С чего вы взяли, что случилось...

Взгляд ушел в себя, она провела рукой по лицу и качнулась.

— Я... пьяна...

Она качнулась снова, лицо побледнело. Василий взял ее за локоть, подвел к койке. Она послушно легла, зажмурилась. Василий снял со стены шинель. Укрыл. Поправляя воротник, чтобы не колол шею, случайно коснулся теплого плеча.

— Вертится... — сказала она, не открывая глаз.

— Вы бы лучше повернулись на бок.

Она послушно повернулась к стене.

— Вы сердитесь, Дедушка Мороз?

— Что вы, за что мне сердиться-то? Усните, и все пройдет.

— До свадьбы заживет . . . — медленно произнесла она.

Василий на цыпочках стал собирать разбросанные подарки. Пакеты с едой сложил в тумбочку. Тумбочкой давно не пользовались и присохшую дверцу пришлось отрывать. Соня забормотала и потянула шинель на голову. Василий оглянулся и увидел открывшуюся спину с розовой полоской не то рубашки, не то тела вдоль пояса штанов и только теперь заметил высоко поднимающееся бедро.

Перед тем как выключить свет, он оглянулся еще раз: розовая полоска стала серпом. Лампочка потухла, но в глазах осталось — розовый серп на пояснице и крутое бедро.

Комнат в домике было четыре — это на тысячный лагерь. Даже в лучшие времена заключенных свиданиями не баловали. В комнатке рядом топилась печка. На полу и на потолке лежали светлые тени. Обжигая пальцы, Василий открыл железную дверцу: дрова прогорели, угли вспыхивали пламенем. Тут же на полу лежали заготовленные еловые чурки.

Василий сел на пол и стал по одному поленцу подбрасывать в печь. Сухие дрова с треском схватывало, комнатка и он сам покрылись веселым прыгающим светом.

Завтра приедет начальник лагеря. Недосекин сказал, что постановление из Москвы может прийти недели через две-три — не раньше, а отпуска осталась неделя. На обратный путь надо класть дней пять, день уйдет в Москве у Кати и Анны Сергеевны . . . Чурки потрескивали.

Где-то далеко засвистел паровоз. Коленям и лицу Василия стало жарко. В комнате стояла такая же койка, но без белья, — матрац и одеяло.

Лег не раздеваясь. Смотрел на шевелившиеся по потолку блики — как листья на дереве летом. А за стеной, лицом к нему, спала Соня. Ее заплаканные глаза, спрашивающие о Федоре, были началом мысли. Говорить ей о Федоре сейчас, пока не освободится, нельзя. А освободится — куда ей ехать? Домой? Дома у нее не было . . . Наталья Николаевна говорила про сестру где-то на Волге — так ведь чужой человек. И вдруг подумал: а как же ей теперь ехать, если он жених, а она его невеста? Никак нельзя, еще замуж выйдет. «А жених-то кто? — спросят. — Подполковник Трухин?» Ну и попался. Никак нельзя. Но ехать-то ей куда-то надо? Может, в деревню? То, что назвала Дедом-Морозом, подарком, то, что говорила о воле-свободе, цветах, духах — вроде «амортизации души» Федора, да и чего человек не наговорит с радости, каждый стал бы заговариваться. Но было в этом и приятное что-то. И уже не отгоняя от себя, прямо спросил себя: нравится она тебе? Не отвечая, знал — нравится. А в домике они одни — невеста и жених. Но тут же пришло: ничего себе, помог, называется!

Василий сел и пристукнув на себя кулаком по краю койки — за штаны с туфлями, за розовую полоску, за бедро; за то, что забыл — постыдился бы! — про лагерь, про то что мать умерла, брат сбежал,

одна-одинешенька на весь белый свет, а ты вон как! Что бы Наталья Николаевна сказала, Анна Сергеевна, Катя, Федор? Ну и подлец же человек: пожалел, спас, а сам вот на что засматривается! И почему-то вспомнилась ему бабка Фиса: «Сироту обидел». Ну, брат, не ожидал от тебя!

За стеной, жалуясь, застонала Соня. Второй раз, труднее и громче. Когда Василий добежал и включил свет, он увидел свесившуюся с койки Соню — ее тошнило. Она замахала ему рукой, умоляя уйти.

— Ради Бога... пожалуйста, уйдите... — проговорила она, изо всех сил стараясь сдержать рвоту.

Василий закрыл дверь и крикнул:

— Вы не беспокойтесь, я рядом, если что надо, стукните в стенку.

Подкинул в печку и лег, прислушиваясь. На голодный желудок выпила водки, поела, а я, дурак, еще вина добавил, вот ей и плохо.

За стеной стукнул стул, заскрипела дверь, в коридоре загремел бачок, хлопнула входная дверь... «На двор вышла — еще простудится».

Вернувшись несколько раз доставала воду из бачка, двигала табуретом, койкой — убирала. Потом все стихло.

Темное густо запотевшее окошко обливалось потом. Стараясь не шуметь, Василий выключил свет и только потом, словно Соня могла его видеть, снял китель и сапоги. Пистолет положил под подушку. Пробовал прислушиваться, но восемь дней дороги: Нордхаузен—Берлин—Брест—Москва—Делягин—Москва—Свердловск—Асбест пересилили, и он стал куда-то погружаться. Последним увидел домик в снегу, рядом лагерь и черный лес. Успел подумать: заперла ли она дверь?

От этого, когда в глаза хлынул свет, вскочил, хватаясь под подушкой за пистолет. На пороге стояла Соня — одна рука на выключателе, в другой письмо. Василий сразу понял: шинель! В боковом кармане шинели он забыл письмо Федора. Не успел он подняться, как она оторвалась от выключателя и быстро, как по доске, перебежала к нему. Бледная, оглядывая прыгающим взглядом его лицо, села рядом и как-то особенно ясно проговорила:

— Расскажите мне все.

Он так и остался — в голубой трикотажной нижней рубашке, с перевернутым треугольником рыжеватых волос в вороте, босые ноги под койкой, — пока не рассказал всего. Он все ждал, что она опять разрыдается, и опять думал, что Федор бросил ее, променял на немку (теперь ему снова казалось, что Федор ушел из-за немки), но Соня сидела, по-старушечьи ссутулившись, и даже когда он замолчал, не пошевелилась.

Прошло несколько минут опустошенной тишины.

— Зачем вы приехали? — все так же не глядя на него, тихо спросила наконец она.

Василий не нашелся и не ответил.

— Зачем рисковали? Собой, положением, будущим, родными. Вы Федю ведь не оправдываете. Зачем я вам? Или уравнять захотели то, что он сделал?

Он растерянно поглядел на нее. Ему вдруг показалось, что приехал он не потому, что Наталья Николаевна, не потому, что Анна Сергеевна и Катя, а ради нее одной приехал. Он был даже уверен, что так оно и есть, — ради нее, и что сейчас ее — сгорбленную и раздавленную — надо только притянуть к себе, обнять, и ничего не нужно будет отвечать. Он так ясно представил себе, что произойдет после этого, что изнутри к горлу, губам, мгновенно пересохшим, к затылку подступило горячее и дрожащее. Он быстро сбоку поглядел на нее и увидел, что это передалось и ей, и что она ждет. Но сомнение — не ошибся ли я? — и страх обидеть ее задержали подступившее желание: на помощь подоспела жалость. Что-то в нем отхлынуло и он остался сидеть с пересохшим ртом. Она поняла и отвернулась. Надо было бы спросить о Федоре, но Федора в мыслях не оказалось.

Сжав пальцы, словно за что-то держась, Василий проговорил, не узнавая своего голоса:

— Что ж, не бежать ему было поздно... Теперь обошлось — это большая удача... Вас я увидел летом... Что ж тут говорить... Не знаю, но оставить вас так я не мог... С Федором мы всю войну... душа в душу. Он много рассказывал о вас... Он и от меня тоже ушел, так что положение у нас с вами как бы одинаковое.

Выходило не то и он еще крепче сжал пальцы

— Что там говорить, Софья Михайловна... Если нужен — располагайте... Есть у меня отец с матерью — простые колхозники. Мне через неделю назад в Германию, так что вы, как освободитесь, езжайте к моим старикам в деревню... Отдохните, опомнитесь... Ну, а там и решите, как вам лучше-то быть. Одно прошу, верьте — от всего сердца я...

Соня понимала и то, что он говорил, и то, что хотел сказать. Ей вспомнилось, что летом он понравился ей — большой, сильный, застенчиво неуклюжий. Если бы ей сейчас сказали, что ни в тюрьме, ни в лагере она и не вспоминала о нем, она бы не поверила. Главным для нее было, что приехал, освободил, рискуя всем для нее одной, и то, что случилось так, как должно случиться, если верить книгам — «Геро и Леандр», «Манон Леско», «Витязь в тигровой шкуре», — и что теперь есть смысл одной большой любви и что эта любовь будет, — не будет, а есть и была — просто не узнавала раньше. Она сейчас почти что знала: всю ее жизнь — прошлую и будущую — как две плоскости этот вечер выравнял, сложил воедино, и стало видно и то, что было, и то, что будет — все было необходимо, чтобы пришел он, чтобы случилось чудо освобождения и чудо любви, и что теперь стоило жить, как стоило родиться. Жизнь удалась. И то, что об этом еще нельзя ему сказать, наполнило ее нежностью к нему. Повернув к нему, подавленному, изменившееся лицо, она сказала:

— Василий Степанович, простите меня: вместо благодарности за все, что вы для меня сделали, я только мучаю вас.

Деду-Морозу надо было помочь, она чутьем понимала, что теперь должна помогать ему быть тем, кем он стал для нее.

— Вы Дедушка-Мороз, и детям нельзя огорчать Деда-Мороза за то, что один подарок в его мешке оказался сломанным.

От неожиданного для себя сравения брата со сломанной игрушкой, она чуть было не расплакалась, но нашла силы улыбнуться. И то. как она улыбнулась ему, совсем убедило Василия, что он приехал сюда ради нее одной.

— Знате, что, Василий Степанович, пойдемте погуляем. На воздухе я совсем приду в себя. Только скажите, что вы не сердитесь.

Она коснулась пальцами его все еще сжатого кулака.

Как только за ней закрылась дверь, Василий схватил сапог и стал натягивать его так, что оборвал ушко. Набросал в печь чурок, причесался, затянул ремень. Он не совсем понимал случившееся, но знал, что случилось необыкновенное и хорошее.

Она вошла и он не узнал ее: не было ватных штанов, не было застиранной кофточки, не было валенок. В сером платье, в зеленой жакетке, в туфлях и ботиках она стала выше и стройнее. Показывая на себя, спросила:

— Вам нравится? — легко повернулась. — Вы думаете, без валенок мне можно?

В том, что она спросила его об этом, была интимность, и он радостно ответил:

— Ну нет. Промочите ноги, — простудитесь. Надевайте валенки.

— В валенках, рядом с вами, я совсем карлик; я так давно не ходила в туфлях, сегодня особенно хочется.

Василий, готовый сдаться, покачал головой, но она покорно — радуясь этой покорности — сказала:

— Если вы приказываете, я надену.

В полушубке, в валенках, в платке она показалась ему деревенской девушкой. Спускаясь с крыльца, она сама взяла его под руку.

С невероятной синей высоты опять глядели звезды. Над лагерем висел тонкий рогатый месяц. Снег заскрипел звонко и, казалось, не только под ногами, но и вокруг. Она отбежала и закружилась.

— Месяц, месяц, тебе золотые рога,
А мне золотая казна . . .

Он стоял и глядел на нее: как кружилась, как обернулась к нему, как подошла, как снова взяла под руку.

— Милый Василий Степанович, как хорошо, — и то, что месяц, и то, что мы с вами, как сумасшедшие, ходим ночью. Вы на меня не сердитесь?

— Ну что вы, Софья Михайловна, это вы должны сердиться на меня — напугал, обманул, — но тут же спохватился: о Федоре напоминать не следовало. — Вот мне так хорошо!

— Правда? — живо спросила она, заглядывая ему в лицо почерневшими глазами. — Знаете, давайте пойдем туда, к лесу, я никогда там не была — это будет для меня первым местом, где можно ходить только вольным.

Василий подумал, что территория вокруг лагеря, тем более со сто-

роны леса, охранялась: могли задержать, но отказывать ей ему не хотелось.

— Нет, лучше пойдемте туда днем, хорошо. А теперь просто погуляем, — догадалась она.

Вышли на дорогу.

— Посмотрите, — сказала она, оборачиваясь и показывая рукой в варежке на домик. — Какой он деревянненький, маленький, весь в снегу, а дым, как хвост у кошки, правда? Как нарисованный...

По укатанной за день санями и автомобилями дороге пошли молча. Она, чтобы идти с ним в ногу, растягивала шаг и шла, вся прислушиваясь к его большой и теплой руке. На повороте увидели освещенную вахту.

— Просто не верится, что я иду по эту сторону вахты.

— А много ли народа в лагере?

— Тысячи полторы.

— И все женщины?

— Еще барак малолеток.

— Это кто еще?

— Мальчишки-подростки.

— А их-то за что?

— Беспризорные, воришки, больше сироты — осколки разбитого войной.

— И много лагерей здесь?

— Много. В Тавде большой смешанный лагерь — из тех, кого из Германии привезли. Сроки — от пяти до пятнадцати. Дальше на север — женский лагерь из немок, румынок, венгерок. В Свердловске несколько лагерей военнопленных. Но немцы работают на заводах, получают нормальную зарплату, кормят их много лучше, чем наших.

— Вот оно как, немцам лучше, чем своим. Победили, нечего сказать!

— А туда — на восток, говорят, где-то в тайге большой лагерь наших военнопленных — кто в немецких лагерях сидел и кто у немцев в армии служил. Этих на общих работах держат, на лесоповале. А где-то совсем недалеко инвалидный лагерь — инвалиды войны и доходяги из других лагерей. Плетут корзины, сапожничают...

— А сколько пленным-то нашим сидеть?

— Слышала, от десяти до двадцати пяти.

Обоим хотелось говорить о другом, но разговор о лагерях выручал — то, другое, было упущено и не вышло бы.

— Вот оно, когда понимаешь, что сказал на прощанье Федя: людей рабами делают.

При имени брата Соня опустила голову и Василий не сразу заметил, что она перестала слушать его. Сам он уже привык, что Федора не было.

— Холодно... — сказала она, глядя под ноги.

— Да... — согласился он, понимая, что оплошал. — Пойдемте лучше домой.

«Домой», — повторила она про себя и опять едва не расплакалась.

Остановилась, по-новому оглядела ночь, остро сознавая, что эта холодная темнота, эти уральские звезды, электрическое пятно вахты, домик в снегу и его слова «пойдемте домой» — останутся на всю жизнь.

Простились они в коридоре перед ее дверью как чужие. Ему показалось, что она обиделась.

Соня легла на койку и, сама не зная отчего, заплакала. Но не так, как плакала перед этим, и не так, как в бараке за занавеской, а как в детстве — беспричинно, без мыслей, вся переполненная сладкими предчувствиями и жалостью к себе. Глядела в темноту и молча плакала: что-то сегодня разрешилось в жизни, а что-то не разрешилось, и еще о том, что Феди больше не было.

Василий лежал за стеной и по инерции думал о лагерях. Неужели война, победа, ничего не исправили? Ну Соню выручил, ну Федор ушел, а для всех? А что Соня? Наверно, разделась... А в домике они одни... Пришла мысль об открытой на ночь двери — постояла и ушла. И не потому, что сестра Федора, не потому, что на других не похожа, а потому, что не хорошо. Наплыла жалость — не просто жалость, а та, о которой говорят «пожалеть — полюбить», та, которую в старину называли пожалети. Пошли обрывки воспоминаний о бабке Фисе, о матери с отцом, о деревенских... От них шла эта жалость, а родилась она, может быть, еще при татарском иге, в лихолетье смутных времен, кормилась горем прадедов, слезами баб... Не она ли хранит и ныне людей в их развороченной жизни? Василий повернулся на бок. Подумал: «Ну а ты сам другой? Федор-то убежал!.. Нет, брат, от такой войны не может быть, чтобы не переменилось».

10. ТОДЕНГАУЗЕНЫ

Юрий Александрович Тоденгаузен при большом росте и брюшке двигался неожиданно легко. В стойке ног, в манере держать корпус сказывалась военная выправка. Породистое лицо с рыжеватыми жесткими, на английский манер, усами портили красные жилки и золотые зубы. Волосы — светлее усов, с сединой — были зачесаны по принципу «мобилизации внутренних ресурсов».

Долго расспрашивал Федора: кто именно послал его к нему, где Федор перешел границу, с кем за это время встречался. Расспрашивал и ходил, легко, неслышно, и все вокруг Федора. Несколько раз переспросил одно и то же. Явный допрос вел умело, со знанием. Потом сел и как-то особенно светски, слегка грассируя, стал задавать вопросы: где изволили служить? в каких боях участвовали? кто командир дивизии? какие танки были на вооружении? — и все мельком, мельком.

Федор сказал, что служил в танковой дивизии. Последние переме-

ны в дивизии он знал по рассказам Василия и генерала. О комендатуре решил не говорить. И не потому, что служба в комендатуре была чем-то хуже службы в дивизии, а потому, что по комендатуре советская агентура могла выяснить, кто он. Хороня Федора Михайловича Панина, он надеялся отвести угрозу наказания от Сони. И не только от Сони, но и от Василия, генерала, Натальи Николаевны, Кати.

Тоденгаузен Федору не понравился. Но осведомленность и уверенность Юрия Александровича говорили, что помочь он может, и знает как. Тоденгаузен жил на втором этаже шестиэтажного дома, в отдельной квартире из двух комнат с кухней. Федор спал на диване. Хозяин обе ночи дома не ночевал. Вечером ему звонил молодой женский голос. Днем приходили какие-то парни — по говору Федор безошибочно узнавал в них бывших советских. Иногда приходили старички — говорили по-немецки или французски. С одним, плешивым и сухоньким, хозяин познакомил Федора. «Барон фон Шульц — майор Федор Таневский». И несколько раз назвал барона «вашим превосходительством». В разговоре явно «преподносил» Федора гостю — спрашивал о маршале Жукове, генерале Серове, и так, словно Федор хорошо знал их.

С другими посетителями не знакомил. Когда кто-нибудь приходил, просил Федора уйти в свою комнату. Федор заметил, что некоторые уносили пакеты с сигаретами. Сигарет в квартире было много. Однажды Федор случайно открыл дверь стенного шкафа и увидел на полках картоны с «Кэмел», «Честерфилд» и плоские железные банки с трубочным табаком.

Выходить из дому Федору Юрий Александрович запретил.

— Помните, Федор Николаевич, в Богенхаузене, совсем недалеко отсюда — на Геркомерплац советская миссия. Если она пронюхает про вас, то и я ничего сделать не смогу. Соглашение маршала Соколовского с генералом Мак-Нерни обязывает американские власти выдавать всех дезертиров. С этим надо считаться, вы человек военный и не можете не понимать, что приказ должен быть выполнен. Поэтому лучше, если вы первое время выходить не будете. Узнают — выдать будем обязаны.

Вышло так, что выдать обязан и он.

— Я знаю. Слышал, что выдали лейтенанта из соседней дивизии...

— То-то дорогой, положение ваше весьма и весьма сложное, но будем надеяться на Бога и на... уменье.

— Юрий Александрович, а нельзя ли какие-нибудь документы на старого эмигранта, что ли, достать?

— Это не выход, Федор Николаевич. С фальшивыми документами фальшивое положение, чреватое весьма возможными осложнениями.

Хозяин заходил вокруг Федора.

— Американцам за гостеприимство надо... заплатить, — вдруг сказал он, останавливаясь напротив Федора.

— Но... у меня нет денег.

— Если бы и были, то делу б не помогли.

— Чем же я могу заплатить?

Хозяин сел на диван, откинулся, по-деловому сказал:

— Вот об этом я хотел с вами поговорить. Человек вы военный, понимаете, что каждая армия, в том числе и союзная, хочет знать о другой армии как можно больше. Американцам вы можете заплатить информацией.

— Какого рода информацией?

— Ну, прежде всего, интересной. Такой, какая американцам неизвестна.

— Например?

— Ну, скажем, для начала о настроениях в Красной армии или об известных вам офицерах, генералах, маршалах, о круге их занятий, о личных характеристиках ет сетера.

Федор промолчал. Хозяин следил за ним из-под век.

— Интересный, исчерпывающий материал и будет той платой за вашу, так сказать, легализацию. Вам нужна официальная кеннкарта, вид на жительство — цуцуггенемигунг, а главное, вам нужно, чтобы определенные американские власти взяли вас под свое высокое покровительство — покровительство от местных немецких властей, от американских и от . . . советских. Кроме того, вы, конечно, хотите эмигрировать, скажем в Америку. Но все это возможно только при содействии определенных оккупационных властей. Вы меня, надеюсь, понимаете?

Федор слушал и думал: «Втягивает он меня в грязное дело!» Как всякий советский человек, он много слышал и читал о способах вербовки иностранными разведками. Слова хозяина показались ему одним из таких методов: вначале безобидная информация о настроениях, потом требование иной информации, а там и требование активной работы под угрозой выдачи. Работа эта рисовалась Федору засылкой в советскую зону, а то и в Советский Союз.

— Мне бы хотелось точнее знать, какой информацией удовлетворятся ваши друзья, после чего я смогу считать считать себя человеком свободным.

— Вопрос резонный, но, к моему великому сожалению, ответить на него я не могу. Все зависит от информации, то есть, какую ценность она будет представлять. Я думаю, Федор Николаевич, что здесь работать вам не совсем удобно, неудобно и мне. Что вы скажете, если я предложу вам поселиться на время работы у меня в доме? Жена у меня человек добрый, они с дочерью живут в пригороде. Там спокойно, и никто вам мешать не будет, — «вот видите, как я вам доверяю» — было в его голосе. — И помните, дорогой, все мы русские — сыны одной родины. И я, и вы, и другие бежали не от России, а от болшевистской власти. Борьба с узурпаторской властью красных — не предательство, а служение отчизне, и мы должны помогать друг другу. Я рад, искренне рад, что случай вас свел со мной. Теперь самое главное — работать, работать, и все будет отлично.

Невольно тронутый, Федор все же успел подумать: «Ханжа». Это двойственное отношение к хозяину не покидало его до вечера.

Приехал старенький автомобиль.

— Федор Николаевич, собирайтесь, едем! — крикнул хозяин.

Ехали долго, через весь город. Шофер — русский парень — только раз выругался на замешкавшегося на перекрестке прохожего. Хозяин молчал.

Остановились они возле аккуратного крашенного забора. В глубине садика стоял двухэтажный домик. На звонок в окне показалась полная дама.

— Это ты, Юрий?

— Я, Таня, открой, — тоном очень занятого человека ответил хозяин.

Дама, осторожно ступая, подошла к калитке и отперла ключом.

— Прошу, — сказал хозяин Федору, опять показывая жене занятость, и уже в доме, все так же торопясь, бросил: — Таня, проводи, пожалуйста, Федора Николаевича в его комнату.

Дама пошла по лестнице, приглашая Федора.

Комната была маленькая — коврик, кровать, столик, стул. На стене висел застекленный портрет бородатого дяди в пенсне. Окно выходило во двор.

— Пожалуйста, располагайтесь.

Голос хозяйки, как вся она, был мягкий и усталый.

— Муж забыл нас представить друг другу — всегда спешит, всегда занят... Меня зовут Татьяной Владимировной.

Федор назвался и поцеловал ей руку. И рука была мягкая и усталая.

— Очень приятно.

Федору показалось, что приятно ей было не знакомство, а то, что он поцеловал ей руку.

— Надеюсь, вам будет удобно. Рядом кабинет мужа, но он пустует чаще. Напротив ванная, полотенце и мыло вам приготовлено. Шкаф здесь, в коридоре.

Умываясь, Федор услышал внизу голоса хозяев: мужской раздражался, женский жаловался. Чтобы расслышать, Федор открыл дверь ванной.

— Тебя не было целую неделю, Юрий.

— Ну пойми же, занят!

— Я тебя совсем не вижу, Ирина спрашивает...

— Опять ты свое.

— Деньги на исходе...

— Продукты я переслал, деньги вчера получил и привез, сигареты у тебя есть...

— Ах, Юрий, когда все это кончится? Одна, одна...

— Ну чем ты еще недовольна? Дом, не нуждаешься, дочь растет, знакомые приходят, ты в гости ходишь... Ну кто, скажи, сегодня так живет, как ты?

— Каких-то чужих людей привозишь. Кто он такой? У нас дочь...

— Ты же знаешь, Таня! Он будет работать, это нужно, кончит работу — уедет. И пожалуйста, ни с кем не знакомь его, даже лучше, если это время ты никого не будешь принимать.

— Ах, Юрий, Юрий, как я устала от всего этого. Так хочется покоя.

— Не понимаю, какого тебе еще покоя нужно?

— Ты так изменился, Юрий...

Хозяин загремел стулом и раздраженно заговорил по-французски.

Ужинал Федор вдвоем с хозяином.

— Жене нездоровится, дочь у сестры гостит... Я приеду дня через три.

Перед сном, в постели, перебирая тревоги, события, предчувствия прошедшего дня, Федор долго искал приятное. Дойдя до приезда в дом хозяина, наощупь угадал: усталость и мягкость хозяйки и то, что в доме живет «дочь», «Ирина».

Ирина приехала на следующий день под вечер. Федор сидел у себя и описывал характер сержанта Вальки Волкова, которого считал типичным для старших солдат. Звонок, длинный и требовательный, испугал его, но сразу же где-то на улице послышался веселый крик:

— Мама! Это мы!

Потом, уже в доме, тот же девичий голос крикнул:

— Мама, синее платье принесли из чистки?

— Ирочка, не кричи так громко, детка, — хозяйка перешла на французский, и потому, как голоса стихли, Федор понял, что хозяйка сказала о нем.

Позвали ужинать. Он причесался, оглядел себя в зеркало, растер слегка лицо.

В столовой на диване сидела худая, темная, очень завитая женщина.

— Федор Николаевич Таневский — баронесса Ольга Львовна Дитмар, — представила их хозяйка.

Ирины в комнате не было.

— Федор Николаевич, развлекайте нашу гостью, а я закончу на кухне.

Федор никогда не разговаривал с баронессами, но баронесса не заставила себя ждать.

— Вы давно в Мюнхене?

— Нет. Всего пять дней.

— Издалека приехали?

— Из Гармиша.

— О, Гармиш! Восхитительный городок. Последний раз я провела в нем лето в сорок третьем году. Лыжи, Цугшпице, вечером хоккейные соревнования на стадионе — изумительное зрелище! А ресторан «Вайсхорст»! Знаете его? Как он? Гармиш ведь совсем не знал войны. Я тогда так отдохнула, так отдохнула, словно знала, что повторение придет не скоро. А в первый раз в Гармише я была еще девочкой. В те годы весь Петербург ездил на лето в Висбаден и в Карлсбад. Я с тетушкой была в Карлсбаде, а матушка отдыхала в Висбадене. В конце сезона мы должны были к ней переехать и тетушка придумала мне удовольствие — путь от Зальцбурга до Мюнхена проделать в экипаже. Что это было за восхитительное путешествие! Гармиш тогда был

совсем-совсем иным — маленькой горной деревушкой. Канатных дорог, конечно, не было, железной дороги на Цугшпице не было.

Помню, мы пили молоко и катались на «кучере» ... И Мюнхен был другой — нарядный, истинный город художников. В Висбаден мы прибыли с запозданием на три дня. Матушка так беспокоилась, что заявила в полицию. В то лето в Висбадене гостил великий князь, и полиция боялась огорчить его, если бы что-нибудь случилось с кем из русских. Когда мы наконец приехали, то князь Курбатов шутил, что нашему приезду больше всего обрадовалась немецкая полиция. Но, антр ну, он и сам был рад. Папа в Петербурге ему поручил за нами приглядывать. Мой папа тогда был начальником департамента, а князь Курбатов был прикомандирован к нему. Представьте себе, я недавно получила письмо от кузины из Ниццы, и она в письме вспоминает как раз этот переполох в Висбадене. Она тогда тоже... Ах, Ирочка! Боже, какое прелестное платье!

Федор, прижатый именами и титулами, не заметил, как из боковой двери вошла дочь хозяев: возле пианино стояла высокая девочка-подросток, лет пятнадцати. В синем с мелкими белыми цветочками платье, с такой же лентой в темно-рыжих волосах, она стояла, спрятав руки за спину, глядя на Федора. Синие глаза ее были как бы драгоценной частью наряда. Федор встал, на кого-то обижаясь за то, что дочь оказалась подростком, а не девушкой.

— Это, Федор Николаевич, наша Ирочка, — сказала баронесса.

Девочка обостренным чутьем своего возраста угадала огорченность Федора, покраснела, подала влажную руку и сказала, извиняясь:

— Здравствуйте.

Ужин прошел под аккомпанемент голоса баронессы. После чая баронесса заторопилась.

— Нет, нет, поздно, темноты я боюсь ужасно, особенно с тех пор, как ограбили бедную Наташу фон Гольц.

— Оля, ты извини Федора Николаевича, он не может проводить тебя. Сейчас за ним должен с минуты на минуту приехать Юрий. Юрий просил его быть готовым. Мы с Ирочкой проводим тебя, — выручила хозяйка.

Баронесса разрешила проводить ее только до калитки.

— Ну вот, — сказала, вернувшись, Татьяна Владимировна. — Вы, Федор Николаевич, надеюсь, не сердитесь на Ольгу Львовну. Она на самом деле урожденная княгиня, ее отец был придворным Его Величества, у нее ничего не осталось, кроме воспоминаний. Муж пропал где-то в России. Теперь живет тем, что продает вещи. Одна. Только воспоминания. Мы все немного смешны в этой жизни, в этом вечном ожидании... Все по-своему прячемся за иллюзии или воспоминания. Эмиграция...

Она вздохнула и стала собирать со стола.

Ирина перебирала ноты.

— Ирочка, ты бы, котик, сыграла нам что-нибудь.

Ирина поглядела на мать, на Федора и покачала головой.

— Может быть, Федор Николаевич, вы играете? — спросила хозяйка, проходя мимо с подносом.

— Немного играю, — ответил Федор уже одной Ирине.

— Сыграйте, пожалуйста, — сказала девочка, — вашу самую любимую вещь.

Федор подумал о «Лунной сонате», но зачем им, эмигрантам, Бетховен, лучше русское. Ирина ждала, вытянув шею, словно уже слушала его.

Собственно, от этого случайного вечера могла зависеть его судьба. Сказывалась и домашняя обстановка, и усталая мягкость хозяйки, и настороженное внимание девочки-подростка. Федору было хорошо и ему хотелось быть приятным. Он заиграл «Ночь» Чайковского и, пересилив неловкость, запел:

... И за что я люблю тебя, светлая ночь,
Ты не мне, ты другим посылаешь покой ...

Успел заметить, как вспыхнула Ирина. Татьяна Владимировна тихонько вышла из кухни, и стала возле двери.

Оттого, может быть, что далек мой покой ...

Голос на последней строке выдал Федора. Хозяйка угадала, что было это не просто музицирование, а что-то о судьбе человека, случайно сидящего в их столовой.

— Еще, пожалуйста, — попросила с дивана Ирина.

Не оборачиваясь Федор заиграл «Лунную сонату». Он играл ее с детства и играл легко и умело. Для хозяйки размеренная безысходная жалоба сонаты была продолжением рассказа игравшего о своей судьбе.

— Ну вот, а теперь, Ира, сыграйте вы, — повернулся на стуле Федор.

— Нет, я лучше в другой раз. Пожалуйста, еще, — крепко держась за ручку дивана, попросила Ирочка.

— Она стесняется, — сказала мать. — Не знаете ли вы вещей Вертинского? Я когда-то знала его, он даже один романс мне посвятил.

Федор повернулся к клавиатуре.

Отовсюду слышатся слова:
Петроград, Фонтанка, Нева ...
А кругом чужие города
И чужая плещется вода ...

Берлин, города Восточной Германии, Вупперталь, разбитый Кельн под дождем ... Шпрее, Вупа, Рейн, Изар ... Голос Федора окреп и вышло совсем не плохо. Он почти знал, что сейчас он мог бы рассказать матери и дочери о себе, рассказать, чтобы не быть чужим. Музыка и слова романса что-то в нем освободили. Почти без паузы он запел романс, который Вертинский исполнял в Советском Союзе:

Если тебя ранят, милый, на войне,
Напиши об этом непременно мне.
Я тебе отвечу в тот же самый вечер,

Только будь уверен, что придет ответ.
Все проходят раны поздно или рано,
Но любовь, мой милый, не проходит, нет.

Татьяна Владимировна слушала, недоумевая.

Если ты изменишь, встретишься с другой,
И об этом в письмах пишут, дорогой...
Напиши, отвечу, но не в тот же вечер,
Только будь уверен, что ответ придет.
Но и эта рана поздно или рано —
Погрущу, поплачу — все-таки пройдет.

— Что это, Федор Николаевич? Я никогда не слышала этого романса? — садясь рядом с Ириной, спросила Татьяна Владимировна.

— Этот романс на слова советского поэта Иосифа Уткина Вертинский поет в Советском Союзе. Я слышал его зимой в Москве.

«Москва» ножом обрезала все, что успели протянуть музыка и пение между Федором и хозяйкой с дочерью.

— Как... в Москве? — выговорила Татьяна Владимировна..

— Да, в Москве... Ведь я только что бежал из Берлина. Ваш муж не сказал... Не знаю, почему, но я должен вам рассказать. У меня никого нет, все чужие, и я не хочу вас обманывать...

И Федор стал рассказывать. Мать и дочь сидели, не проронив ни слова, только выражение их похожих лиц и глаз по-разному менялось.

Рассказ Федора, расспросы хозяйки, синий взгляд молчаливой Ирины отодвинули время, и, когда часы пробили полночь, они увидели на столе неубранную хлебницу и солонку.

11. ТЫ ПОМНИШЬ ЦВЕТ УГЛЕЙ?..

Василия поедом ели клопы. Высохшие, порыжевшие от голода, они сотнями лезли из щелей к большому полному теплой крови телу Василия и впивались в него так, что тот дергался, как от ожогов. Он давил их, сбрасывал с себя, зажигал свет, вспоминал разрушенную Германию, где, если попадался клоп, то все острили, что кто-то привез с родины. Уснул он только заполночь, обессиленный, вздрагивая и ворочаясь от укусов.

К утру замерз. Натягивал одеяло на голову — мерзли ноги, поджимал ноги — стыла спина. Отодвигаясь от стены, во сне вспомнил — за стеной лежала Соня — и, ужаленный, — ей же холодно! — проснулся. Босиком по ледяному полу, шатаясь от сна, подошел к печке. Чугунная дверца была холодная, но пепел наощупь — теплый. Включил свет. Окошко белело плотной пушистой «шубой». Присев у чу-

рок, отобрал расщепленные и стал отдирать щепки. Растопки не было. Вспомнил про блокнот.

Вырвал все чистые листки, скомкал железнодорожный билет, но зажигать раздумал: в печке было много золы и могло не разгореться. Стал выгребать золу руками на пол, пока не оголились колосники. Сложил щепки с бумажками, осторожно поджег. Сильная тяга чуть было не задула пламя, но Василий успел прикрыть дверцу поддувала.

Вспомнилось вчерашнее. Пахнуло неловкостью, чуть не стыдом — отчего, он и сам не знал, — захотелось, чтобы встреча с Соней сегодня произошла как-нибудь случайно, незаметно. Глядя на неуверенное бумажное пламя, успел загадать: потухнет — будет нехорошо, не потухнет — все обойдется. Маленькое пламя ухватилось за первую щепочку, побежало по острому ее краю, черня его, перебросилось на вторую щепку. Подросло. Василий быстро подвинул две другие щепки, как бы борясь за то, чтобы все обошлось. Пламя соединило щепки и, утверждаясь, громко треснуло, щелкнув в руку Василия легким угольком. Василий положил сверху приготовленные щепки и, выждав, — три чурочки. Пламя занялось, засмеялось, затрещало. Вкусно запахло еловым дымом. Довольный Василий поднялся, повернулся к печи спиной и стал подставлять огню то одну, то другую занемевшую ступню.

Минут через пять в печи гудело. От стены потянуло теплом. Где-то на дворе взошло солнце: золотистое, мохнатое, как немецкое полотенце, окошко начало оттаивать.

Василий оделся. На цыпочках, поскрипывая половицами, вышел в коридор. Вода в бачке замерзла. Ночью шел снег. Василий с трудом открыл дверь — в глаза ударило ослепительным светом. Зажмурившись он вышел на крыльцо, а когда глаза привыкли, увидел иссиня-чистый, пушистый, снег, ровно заполнявший все пространство от крыльца до синей полосы леса. Наискось лежала голубая тень домика, оканчивающаяся бегущей полутенью дыма. Василий тихонько засмеялся, расставил руки и спрыгнул с крыльца, по пояс погружаясь в снег. Хватая пригоршнями невесомо-легкий рассыпавшийся, снег, стал растирать лицо и руки. Снег жег, колол миллионами иголочек, Василий радостно фыркал; онемел лоб, заломило у висков.

— Вот это да! Вот это здорово! — говорил он вслух, вытираясь подкладкой кителя.

Недосекин сказал придти в девять. Василий хотел написать Соне записку, но в блокноте не осталось чистого листка. Он снял крышку с бачка и написал карандашом: «Ушел к Недосекину. Завтракайте без меня. Подкладывайте в печку. Прогорела — проспал. Виноват». Крышку положил на пол перед дверью Сониной комнаты.

Подобрав полы шинели, высоко закидывая ноги, он с трудом выбрался на дорогу. Возле лагеря и фабрики дробно чернели цепочки фигурок: заключенные расчищали дороги.

От перекрестка дорог до 3-й части ему пришлось идти между работающими женщинами. В стороне, на снегу, стоял солдат в тулупе с винтовкой. Женщины одеты были разно: одни в заплатанных куртках-бушлатах, ватных штанах, другие в полушубках, часть в вален-

ках, но больше в брезентовых ботинках с уродливыми ватными чулками. Лица кутали в платки или в куски старых одеял. Если бы не одеяла, не брезентовые ботинки и не асбестовый цвет одежды, и не конвоир, их можно было бы принять за колхозниц на расчистке дороги.

Одна баба в сапогах, в красном цветастом платье поверх ватных штанов, в бушлате, в кокетливо, несмотря на мороз, повязанном платке, опираясь на лопату, загораживала Василию дорогу.

— Начальничек, а, начальничек, — сказала баба хриплым от мороза голосом. — Ты бы покалякал с нами...

— Холодно, не до разговоров, — засмеялся Василий.

— Вот я и говорю: холодно — погреться бы.

Рядом кто-то хихикнул.

— Да тебя за лопатой, чай, и мороз не проймет, — отшутился Василий.

— Лопата — что: дерево, а мне бы живого, горячего... Того, что у тебя, бугая, зазря болтается.

Василий ошарашенно поглядел на охальницу. Кругом смеялись. Только пожилая колхозного вида тетка плюнула и зло заработала лопатой.

— Ты, девка, что-то заговариваешься! — рассердился Василий.

— И как еще! Хочется же, начальничек!

— Тьфу, поганица! — плюнула пожилая, сердито оглядываясь на Василия.

Василий, обходя бабу в красном, подхватил полы шинели и полез через сугроб. Позади визгливо захохотали. Баба закричала:

— Начальничек, ты бы нам хотя бы показал! Забыли, как и выглядит!

Раздался взрыв визга и хохота. Кто-то чуть не басом заголосил:

— Боится, что отморозит!

Василий поглядел в сторону конвоира — тот будто спал, стоя в снегу.

Недосекин — опухший, с покрасневшими белками глаз, встретил новостью: вернулся начальник лагеря.

— Тебе назначил в десять. Но я пойду с тобой. Я сказал, что ты мой бывший сослуживец. Теперь он верняком считает, что ты из «органов», а раз подполковник, то — сам понимаешь, — Недосекин засмеялся и подмигнул Василию.

«Боишься, что про листовки расскажу», — подумал Василий и тоже засмеялся.

Позавтракали, как вчера, колбасой, селедкой и водкой. Поехали в нарядных ярко расписанных санях, с кучером в тулупе на козлах. Откормленная немецкая лошадь бойко несла по расчищенной дороге. Женщины уже работали у перекрестка.

— Что это за бабы? — спросил Василий.

— Зека. Разные, больше шалашовки. С утра весь лагерь пришлось выгнать на расчистку.

Что такое «шалашовки» Василий не знал. Лошадь взяла вправо и тяжело пошла по нетронутому снегу.

Площадь перед управлением была уже очищена. В стороне горланила толпа ребят, одетых в рвань грязных телогреек и матерчатые ушанки. Одни сгребали лопатами снег, другие бросались снежками, третьи валяли друг друга. Заметив сани Недосекина, два сорванца, несмотря на окрик конвоира, подбежали и закричали:

— Здравия желаем, гражданин начальник!

Василий увидел чумазые малокровные сопливые, в оскале смеха, лица с несмеющимися замерзшими глазами.

— Вот шакалье, — буркнул Недосекин. — Хоть бы им что! Дохнут, даже сифилитики есть, а «играют и поют», — и, словно гордясь, сообщил: — Ни черта не делают.

Начальник лагеря, мужчина лет сорока пяти, с иссиня-выбритыми щеками и мешками под глазами, здороваясь оглядел орденскую планку Василия. Самым примечательным в нем была папироса: она непостижимым образом перелетала во рту из угла в угол, иногда отдыхала, то держась на нижней губе, то повисая на кончике языка. Казалось, что она была связана с чем-то внутри хозяина, что так же там прыгало и дергалось.

Когда папироса догорела, он достал из портсигара другую, прикурил от первой, будто без папиросы у него ничего не вышло бы.

— Ну что ж, — затянувшись, сказал начальник лагеря. — Пока придет постановление, я думаю, лучше перевести Софию Панину в Свердловск, в лагерь для военнопленных — в формуляре стоит, что она знает немецкий, — будет там переводчицей. Оставлять ее у нас — и ей плохо, и нам хлопотливо: возможны всякие эксцессы со стороны зека. Не так ли, Никифор Иванович?

— С моей стороны возражений нет, — сказал Недосекин, — уполномоченному по режиму я скажу. Только она и здесь могла бы: я думал ее к себе в канцелярию перевести.

— Ну что ты, Никифор Иванович! У тебя тоже зека и тоже не первого сорта. Товарищ подполковник, поймите: здесь она будет белой вороной, и как бы мы ни старались, а от неприятностей ей не уберечься.

— Вам виднее, — ответил Василий. — А сколько, вы думаете, пройдет времени, пока постановление? . .

Он заметил, что проговорил это каким-то особенным тоном, что и сидел как-то неестественно — боком, нога за ногу, чуть не подбоченившись, словно на самом деле был подполковником НКВД.

— Разно бывает, не правда ли, Никифор Иванович? Ваш случай — ошибка, должен быстрей пойти. Но все-таки я рекомендовал бы вам в Москве напомнить. А в Свердловске переводчики почти на вольном положении. Расконвоированы. Мы имеем распоряжение ГУЛАГ-а передавать лагерям военнопленных тех зека, кому остается до конца срока не больше шести месяцев. Конечно, бытовиков и с немецким языком. Мы, со своей стороны, напишем соответствующее отношение и, если разрешите, укажем — невеста подполковника . . . Впрочем, это

Никифор Иванович по своей линии сделает, как я понимаю. Это обеспечит ей соответствующее отношение офицеров администрации лагеря.

Отъезжая от управления, Недосекин фыркнул.

— Фраернулся Кричевский. Принял тебя за нашего! Теперь он и меня больше побаиваться будет. А то, понимаешь, за спиной начальника Свердловского отдела думал, что кобениться может. Тыловая крыса.

Недосекин считал себя фронтовиком и презирал всех, кто «не нюхал пороху».

— Знаешь, чего он так хочет твою Соню сплавить в Сердловск? Боится держать у себя невесту подполковника из «органов», понимаешь? Но что в Свердловске лучше, то лучше. Наши шалашовки ее заклюют. А я напишу ребятам в Свердловск — все будет в порядке.

Соню Василий застал у печки — в платье и туфлях.

— Доброе утро, Василий Степанович. Видите, я честно, как вы приказали, подкладываю в печку.

Волосы у нее были зачесаны на пробор, как на карточке, которую возил с собой Федор.

— Доброе утро, Софья Михайловна. Виноват — проспал, вы наверное, совсем замерзли ночью?

— Нет, привыкла. У нас в бараке всегда так.

— А у меня для вас новость, — сказал Василий, снимая шинель. — Только вы завтракали ли?

— Нет, я вас ждала.

— Вот это не дело. Я завтракал с Недосекиным. Но раз вы не ели, я с вами еще раз, за компанию.

Вышло все просто. Позавтракали, попили чаю (воду Василий вскипятил в кружке). Рассказал о Свердловске.

— Да я и немецкий плохо знаю.

— Ничего, не Бог весть, что там им переводить-то. Если что не так будет, напишите Недосекину, он обещал мне взять над вами шефство. А что это у вас за ребята, тоже снег чистили?

— Малолетки. Мы панически их боимся. Воруют, срывают с голов платки, охрана ничего не может поделать.

Она могла бы рассказать Василию, что делали малолетки с женщинами, которых перехватывали вечером и затаскивали в свой барак, и что одна Клавка Оловянная рисковала пробираться к ним — придет, ляжет на дальние нары и кричит: «Эй, пацаны! Налетай на горячее! По трешнице! По трешнице!» А тете Даше потом говорит: «За это меня Бог простит, ведь я, тетка-Гапка, религиозная». Однажды попробовала сходить к малолеткам Маша Чужие Ноги. Но с ней сделали такое, что даже она проплакала всю ночь и несколько дней с трудом ходила. Клавка малолеток не боялась — крутит с их пятнадцатилетним паханом, за голенищем нож носит. Но как рассказать об этом Василию?

— Ужасные дети . . .

— Они, я думаю, даже Недосекина не боятся.

Соня не ответила.

— А что это у вас начальник лагеря курит так — одна папироса за другой?

— Мы зовем его пожирателем папирос: когда злится, папиросу изгрызает до табака.

— Все-таки трудно вам среди этих женщин.

— Не все такие, — догадываясь, о ком говорит Василий, ответила Соня. — Есть хорошие, добрые, но я, знаете, больше работой держусь, и не просто работаю, а стараюсь. Думаю, что НКВД на это рассчитывает. Блатные меня «стахановкой» ругают. Я, знаете, как планер — живу, когда двигаюсь, — иначе не выдержать.

— Ну, ничего, Софья Михайловна, отмаялись. Потерпите еще немного — заберем вас отсюда.

— Знаете, Василий Степанович, я все еще не могу до конца поверить. Умом понимаю, а сердцем не могу.

После завтрака Соня опять, как вчера, забралась с ногами на койку. Василий курил не переставая.

— Вы сегодня курите, как начальник лагеря, — засмеялась Соня и, поглядев на дым папиросы, вдруг спросила: — А что, если и мне с вами выкурить папиросу? У нас почти все курить стали.

Василий подал папиросу, зажег спичку. Соня, кося глаза на огонек, потянула и закашлялась.

— Не могу, только папиросу испортила.

— И хорошо, не женское это дело, курить-то. Вот немки, те все курят.

— Раз так, обещаю вам никогда больше не курить.

— Да нет, я так, вообще... Тут, в лагере, от горя чего не станешь делать...

Соня, о чем-то вспомнив, крепко обняла себя за плечи.

— Вот вы про лагерь, а я подумала: Федя правильно сделал, что ушел.

Это было вне разговора, он догадался, что она все время думала о Федоре, наверно и ночью не спала и все думала.

— Поймите меня правильно, Василий Степанович: обстоятельства, о которых вы рассказывали вчера, что ему бежать было необходимо, — это ведь не главное. Объективные причины, как говорите вы, партийцы, были только каплей — переполнилось и перелилось. Ведь он меня, вас, генерала любит. Он и там будет любить нас, еще больше. Я знаю, Василий Степанович! Всегда будет любить и тосковать. Не осуждайте его.

Она погладила себя по плечам.

— В его побеге нет прямой связи со мной, с вами, с родиной. Именно потому, что все это дорого ему, он и ушел. «Дышать нечем», говорите, сказал — ведь это и о лагере, и обо всем, что вы рассказывали. Вы думаете, его неудачное заступничество за меня не имело значения?

Это было оправданием Федора. Все время где-то внутри Сони оно кристаллизовалось и, став кристаллом, заискрилось, заиграло светом

Фединого подвига: Федя не мог смириться, Федя восстал, переступил дозволенное ими. Он снова был для нее прежним добрым героем.

Василию тоже показалось, что так оно и было.

— А знаете, вы правы, — сказал он обрадованно. — Я вот тоже, как все, недоволен, а только так — разговорчики одни: спьяна выругаешь власть, крепкое слово скажешь, а делать — ничего. Одни слова, да и то с оглядкой. Вот говорю вам это, а сам думаю: не подослал ли Недосекин под окна подслушивать нас? Если доходит до дела, то только так — в личной жизни, вроде зайца, — изловчился и улизнул. Один украдет, другой словчит, третий еще как-нибудь защитит себя или семью свою — и все. Только за себя, только за свой случай, а он-то, случай, — один из двести миллионов. У другого тоже так: свой личный и тоже один среди двухсот миллионов. Каждый свой случай прячет от другого, так что они и не сходятся в силу-то.

И не думайте, что виню кого. Самые крепкие, самые отчаянные себя не переходят. И вот в этом-то Федор храбрее поступил. На войне было: все воевали, все рисковали, умирали, но все в куче, а он из кучи выделялся — делал то же самое, да как-то самостоятельно. Не знаю, как все это вам объяснить...

Соня глядела на Василия, соглашаясь и все понимая.

— Вы это очень верно сказали: каждый сопротивляется, но сопротивление каждого движется само по себе, не соединяясь. А то и друг против друга, взаимно уничтожаясь. А Федор взял и выбросился за черту этих движений. Я вас отлично поняла и тоже никого не виню: очень уж ловко и страшно у нас устроено.

Василию показалось, что в ее словах таился упрек — нет смелых людей.

— Вы правы, конечно, но смелость-то, знаете, не дурость. Один в поле не воин. Сумели довести людей до боязни.

— Но вы ведь не побоялись... со мной. Федя не побоялся... Думала я ночью, думала — и вдруг обрадовалась за Федю! Ведь он там! Свободным стал от всего этого. Там талантливому человеку... Я совершенно уверена, что пройдет несколько лет и он докажет, на что способен наш человек в условиях нормальной жизни. Он нашим полпредом будет там. Он, Василий Степанович, на мелочи не разменяется, поверьте мне. Ушел он не от нас, а для нас. Вы только подумайте: Европа, Америка... Вы только представьте, что бы мы с вами могли сделать, будь мы не на Урале, а где-нибудь в Лондоне, Париже, Нью-Йорке!

Представить себе Лондон, Париж, Нью-Йорк Василий не мог, но сейчас он верил, что это было бы замечательно.

— Ведь только бы увидеть бульвары Парижа в увядающих каштанах, лампионию Бродвея, Королевскую библиотеку Лондона — все это жизнь, навсегда от нас закрытая, запрещенная. Знаете, что меня охватило ночью? Мне показалось, что раз Федя там, то и мы с вами какой-то частью тоже там. Вы понимаете меня? Я стала как-то больше оттого, что мой брат там...

И день их прошел за разговорами. Говорила больше Соня. После

ужина она сама предложила перейти к печке. Постелили на пол шинель, потушили свет и сидели в свете пламени, тянули вино, слушали за стеной разыгравшуюся метель.

Пламя птицей парило в печи над углями и, как у птицы, менялась окраска его оперения. Парило, плело, колдовало. Они смотрели и не могли оторвать завороженных глаз.

— Почему это смотреть на пламя никогда не надоедает? — сказала Соня. — Интересная книга надоедает, пьеса увлекательная во второй раз утомляет, а вот здесь ни сюжета, ни рассказа, ни картин. Казалось бы, одно и то же, а смотришь часами, не отрываясь. Смотришь, ни о чем не думаешь, мысли куда-то уходят... Вроде, когда смотришь на облака или волны... Растворяешься... Такой должна быть, я думаю, поэзия и музыка...

— Это вы правду сказали, — подхватил Василий. — Смотришь и не насмотришься — красота! Недаром в народе петухом зовут.

— А знаете, что я вижу, когда смотрю на пламя? Жизнь дерева. Росло оно, питалось солнцем, встречало зори, провожало закаты — много, много лет. Потом дерево спилили, и стало оно досками, мебелью, дровами. Удел досок — служить, дров — сгорать и греть. Вот горят дрова, и вижу я, как отдают они все, что дерево годами вбирало в себя: солнечный свет, зори, закаты, зимы, весны... И выходит: пламя — это концентрированная отдача, как человеческое творчество. Поэт или художник в творческом акте отдает то, что много лет собирал...

Василий не поспевал за Сониными словами. Он не все понимал, но речь ее была похожа на огонь. «Здорово! — подумал он. — Мало ты, брат, читал».

— Побег Феди — пламя. Ваш приезд сюда — тоже пламя. А жизнь такая, как у большинства, — функция мебели, стропил, подпор или игрушек в огромном доме страны. Мы, заключенные, — какая-то часть подвала, рабочие и колхозники — пол, армия — забор... Ой, остановите меня, Василий Степанович, я начинаю заговариваться.

— Нет, вы замечательно рассказываете, ей-Богу...

— Заговариваюсь, заговариваюсь... А как же вы решили? — вдруг спросила она, словно все что говорила, было только приготовлением к этому вопросу.

— Что ж, как я решил... Решать-то вам, Софья Михайловна... А мне завтра ехать назад, в Германию...

Соня обняла себя за плечи, словно ее обдало холодным ветром. Весь день каждый из них чего-то ждал, надеялся что другой первым начнет, первым что-то сделает. Так было и сейчас. Но Соня решилась, — поглядела на Василия и с какой-то новой серьезностью сказала, обрывая ожидание:

— Вам ехать — мне оставаться. Все, что случилось: Федя, ваш приезд, пересмотр моего дела — я потеряла и нашла... Не отнимайте у меня этого. Обещайте мне писать... Пожалуйста, Василий Степанович. И мне разрешите писать. Письмами и буду жить...

— Да разве надо спрашивать об этом!..

— Ну вот и спасибо! А теперь спать. Вставать вам рано — впереди длинная дорога.

Василий поглядел на часы.

— Эх, мать честная, да уже второй час! Засиделись мы с вами... на радостях.

— На радостях, — тихо повторила она, не то отвечая ему, не то себе. — Спокойной ночи, Василий Степанович.

Подала руку и следила, как она пропала в его большой теплой ладони.

— Спокойной ночи, Софья Михайловна.

Василий уснул сразу — уверенно пошел к чему-то. Соня долго еще лежала, прижавшись спиной к теплой стене, и все ей казалось, что тепло это от него, лежащего за стеной. И, уже засыпая, вдруг ясно увидела себя через много лет, спрашивающей Василия: «Ты помнишь цвет углей?» Вышли стихи.

12. ИРОЧКА ТОДЕНГАУЗЕН И МАРШАЛЫ

Каждая женщина знает своего мужчину. О «вечере признания», как назвала его Татьяна Владимировна, мужу она не сказала.

Юрий Александрович приезжал два раза. Федор написал «О настроениях в Красной армии» и «Советские генералы». Он ловил себя на усиливающемся раздражении против Юрия Александровича. Только вечера с Татьяной Владимировной и Ирочкой помогали надеяться, что все как-нибудь обойдется.

По вечерам они собирались в столовой. Федор рассказывал о Советском Союзе, читал стихи советских поэтов, пел «Землянку», «Одинокую гармонь».

— Вы знаете, что я задумала, когда вы играли первый раз? — однажды сказала ему Ира. — Я задумала: если вы сыграете Чайковского, то все будет замечательно и что вы хороший человек. И вы заиграли «Ночь».

Сегодня должен был приехать Юрий Александрович. В открытое окно было слышно, как на задних дворах выбивали ковры: была среда — один из двух дней недели, когда в Баварии разрешалось выносить постели, выбивать мебель и ковры.

В дверь кто-то стукнул — показалось лицо Иры.

— Можно, Федор Николаевич?

— Конечно, Ирочка. Что это у вас?

— Альбом. Вы обещали написать те смешные стихи...

Альбом был такой же, как в детстве у Сони; с тем же началом: «На первой страничке альбома...» и с тем же концом: «На последней странице альбома...» Наверное и сорок, и пятьдесят лет тому назад у рус-

ских школьниц были такие же альбомы. Вчера он рассказывал, как советские студенты переделывают известные песни и стихи. Мать и дочь смеялись, слушая пародию на романс Вертинского «Вам девятнадцать лет»:

Вам девятнадцать лет, у вас своя корова.
Вас можно раскулачить и сослать . . .

На одной страничке большими детскими буквами было написано начало «Руслана и Людмилы», а ниже «На добрую память Ирочке от Томы».

— Может быть не портить альбом, Ирочка?

— Нет, пожалуйста. На память о ваших рассказах. Ведь я знаю Россию по рассказам взрослых и по Пушкину, Тургеневу, «Войне и миру». А вы рассказываете совсем, совсем другое.

— Ну смотрите, — сказал, вздохнув, Федор и, выводя буквы, написал:

У лукоморья дуб спилили,
Златую цепь в Торгсин снесли,
Русалку паспорта лишили,
Кота в котлеты изрубили,
А лешего сослали в Соловки.
Там чудеса. Там люди в клетках,
Звезда там красная горит,
О достиженьях пятилетки
Там Сталин сказки говорит.

Подумав подписал: «Что вышло из России Пушкина».

Голос Татьяны Владиморвны позвал снизу:

—Ирочка, папа приехал!

Федор поспешил разложить бумаги.

Хозяин вошел с портфелем, сел на кровать, глубоко вздохнул.

— Вот что, любезный Федор Николаевич, — начал он, перелистывая бумаги. — «О настроениях» получилось так себе. Мои друзья знают больше, и, вообще, информация не совсем точна и, скажем откровенно, неинтересная. А . . .

— Я думаю, что ваши друзья просто мало знают, — перебил Федор, начиная раздражаться.

— Вы забываете, что от них зависит ваша судьба, — в тон Федору ответил хозяин. — А о генералах — совсем плохо. Вы пишете . . . вот здесь: «. . . Как бы ни относились генералы и маршалы к советской власти и Сталину, воевали они и будут воевать за эту власть, если война направлена против их страны и государства», а в другом месте: «. . . Лучшие из них мало что могут сделать, ибо их деятельность окружена контролем, вплоть до личной жизни; тройным параллельным контролем: СМЕРШ-а — особых отделов, политорганов и по линии парторганизации». Что же выходит по-вашему? Нет советских генералов, готовых бороться против Сталина и его диктатуры? Так вас позволите понимать?

— Об антисоветских, антисталинских настроениях генералов я написал, но я совершенно уверен, что сегодня они ничего сделать не могут. Все генералы, маршалы — члены партии, а это значит — партийная дисциплина и партконтроль. Фактически, они отгорожены от подчиненных им солдат и офицеров. И от оружия... Да что там толковать, советские генералы даже поговорить по душам не могут друг с другом, не то что...

— Ну, знаете, разве не бывает совещаний генералитета, встреч по службе?

— Бывают. Но поверьте мне, если на такое совещание придут два обыкновенных сотрудника СМЕРШ-а и при всех скажут — возьмем самого популярного полководца — маршалу Жукову: «Вы арестованы!», ни один генерал пальцем не шевельнет, чтобы заступиться или протестовать.

— Вы забываете маршалов Тухачевского, Блюхера, Егорова и многих других военачальников.

— Думаю, что арестованы они были не за то, что готовились к борьбе, а за то, что Сталин им не доверял. Если бы Тухачевский и другие во время этой войны стояли во главе армии, особенно в первое время поражений, возможно они и попытались бы сбросить Сталина. Сталин предусмотрительно и ликвидировал их.

— Вот видите, вы сами себе противоречите. Значит, есть среди генералов враги режима, думающие свергнуть большевистскую власть.

— Сегодняшние генералы и маршалы — это другие люди. После победы приверженность их к власти еще сильнее. Они теперь герои, почет...

— Ну а Власов?

— Что Власов? После выдачи Власова тем более... Союзники сделали все, чтобы Тухачевских не было. Генералы, знаете, тоже люди: просто так умирать, ради того, что вам так хочется, они не будут. Вы просили меня описать известных мне генералов, я описал вам.

— Да, но надо показать, что советские генералы против сталинской власти.

— Я написал, что есть и такие — потенциально. Вы думаете, генерал Власов, не попади он в плен, действовал бы против Сталина?

— Поймите, Федор Николаевич: от того, как вы покажете способность и готовность советских генералов выступить против большевиков...

— Да они сами большевики!

— ... зависит, поддержат или не поддержат западные державы нашу с вами борьбу с большевиками. Поэтому я прошу вас переделать эту работу, показав на убедительных примерах, повторяю, на убедительных примерах, что советские генералы готовы сотрудничать с союзниками.

— У меня таких примеров нет.

Хозяин вздохнул и тихо сказал:

— Тогда факты нужно... умненько сделать.

«Э, брат, ты и меня и американцев обманываешь!» — подумал Федор.

— Нет, Юрий Александрович, я обещал вам описать, что мне известно, и я это сделал.

— Ну, как хотите. Тогда я должен вам прямо сказать: работа эта не пойдет. А это значит, что за неделю вы едва отработали свой хлеб. Но я надеюсь, что следующими работами вы наверстаете, — поторопился добавить хозяин.

«Я так и знал: будет сосать, а сделать — ничего», — подумал Федор.

— Видите ли, Юрий Александрович, все это можно было бы куда лучше сделать и с большей пользой, если бы вы просто свели меня с людьми, интересующимися этим. А так я пишу впустую, и вам приходится попрекать меня хлебом.

— Я не знакомлю вас ни с кем для вашего же благополучия, Федор Николаевич. А что касается средств на питание, то я как раз имею для вас деловое предложение.

Федор насторожился.

— Вы мне показывали ваши ордена, так вот один крупный американский чиновник хотел бы приобрести советские ордена. Он хорошо заплатит.

— То есть как заплатит?

— Марками, продуктами... сигаретами...

У Федора мелко задергалась щека.

— Вы понимаете, что вы говорите?

— Абсолютно.

— Скажите, а вы своего Георгия продали бы?

(Когда Федор показал хозяину ордена, тот сказал, что в Первую войну получил Георгия.)

— Ну, то Георгий, а это какой-то Ленин и прочее.

— Знаете что... — шепотом сказал Федор, — этот Ленин и прочее — это четыре года войны, это моя мать, это, если хотите, мой подвиг ради родины.

— Какой там родины, майор! В защиту всей этой ленинско-сталинской сволочи! Ваши перебежчики даром раздают свои ордена...

— Раздают? От страха перед вами...

— Впрочем, как хотите. Лично меня интересуют ваши следующие статьи. Продажей орденов вы только продвинули бы дело своей легализации. Этот чиновник имеет большой вес.

— Я не верю вам! — вдруг выкрикнул, не выдержав, Федор. — Вы морочите мне голову неделю, а дело мое не подвинулось ни на сантиметр.

Юрий Александрович молча собрал бумаги, встал, расправил плечи.

— Прежде всего, я не желаю слышать в своем доме советского хамства. Во-вторых, если вы очень хотите, я сведу вас с моими друзьями...

Он хотел еще что-то добавить, но хлопнул замком портфеля и вышел.

Федор сел на подоконник. Внизу хозяин громко говорил жене по-французски.

Потом Федор услышал звук отъезжающего автомобиля. Сразу же раздались легкие шаги Ирины.

— Федор Николаевич, вас мама зовет.

— Ну разве так можно, Федор Николаевич, — встретила Татьяна Владимировна Федора у лестницы. — Вы знаете, как мы относимся к вам... У нас вышел крупный разговор. Но муж сказал, чтобы вы подумали и продолжали работать... Он приедет послезавтра, сказал, что постарается все забыть. Он сказал, что вы можете писать, как вам хочется... Что у вас произошло?

— Ах, Татьяна Владимировна, поймите меня, я не могу писать вещи, которые ваш муж требует от меня.

Хозяйка обернулась к дочери.

— Ирочка, пойди погуляй.

— Ваш муж требует, чтобы я врал для каких-то его отношений с американцами. Поймите меня... И то, что я уже написал... Главное, что бы я ни делал, ничего в моем положении не изменится. Юрий Александрович попрекнул меня хлебом и предложил мне продать мои ордена!

— Ах, Боже Ты мой! Но сдерживайте себя, Федор Николаевич: пишите как-нибудь компромиссно, что ли. Только не надо ссориться с Юрием, пожалуйста. Мне так хочется помочь вам, я сегодня же съезжу к Георгию Борисовичу. Умоляю вас, крепитесь и соглашайтесь со всем, пожалуйста...

Татьяна Владимировна уехала с Ириной — Георгий Борисович, знакомый Тоденгаузенов, служил в УНРРА — поехала просить устроить Федора у кого-нибудь из знакомых, до тех пор, пока удастся достать документы — кто-то из русских в Мюнхене делал фальшивые документы.

Вернулись они вечером. Ирина прибежала, запыхавшись.

— Федор Николаевич, идите скорей! Все будет хорошо. Дядя Жора обещал устроить.

Татьяна Владимировна рассказала, что под Мюнхеном живет сестра Георгия Борисовича, и что завтра Федор туда может перебраться.

— Мы скажем Юрию, что вы ушли погулять и не вернулись. Только умоляю, ради Бога, никогда не говорите ему об этом. Георгий не хочет ссориться с Юрией. Юрий устроил его в УНРРА.

Вечером пробовали играть в карты, но игра не получалась. Татьяна Владимировна устала, пошла рано спать.

Федору приснилось, будто уже утро и Ирочка пришла будить его — постучала в дверь, дверь приоткрылась и показалось лицо, и пока лицо появлялось, оно превратилось в лицо Кати — смолисто черные блестящие волосы, темные глаза, и улыбалась Катя так, как тогда у Марченко, вошла в том же коричневом платье — и молча смотрела на него. И только тогда Федор заметил, что в дверь кто-то или что-то

продолжало стучать. Дверь была открыта, и он видел, что стучать было некому. Но стук продолжался. Он посмотрел на Катю — она улыбнулась, приглашая его посмотреть лучше, словно фокус показывала. Он хотел подняться и проснулся. В дверь стучали, сильно и требовательно. Федор вскочил к окну. Внизу кто-то стоял. Он сел на кровать и хрипло сказал:

— Айн момент, — и принялся медленно одеваться, со сквозняком в позвоночнике.

За дверью, приткнувшись к стене, стояли два высоких американских солдата в черных касках с надписью «MP». Оба размеренно жевали и без всякого интереса смотрели на Федора.

Один быстро и ловко обыскал его. Второй повел вниз. В столовой, в халате, со сжатым носовым платком в руке, стояла заплаканная Татьяна Владимировна. За столом сидел штатский. Он встал навстречу Федору, спросил по-немецки:

— У вас есть вещи?

— Да есть: пальто и портфель. И еще шляпа.

Человек что-то крикнул наверх по-английски.

Когда солдат спустился вниз с вещами Федора, штатский сказал:

— Пойдемте.

— Прощайте, Татьяна Владимировна...

Та закивала головой, лицо ее сморщилось, и Федор вспомнил плачущую Наталью Николаевну в Нордхаузене. Не успел он переступить порог столовой, как сзади кто-то вскрикнул. Ирина в капотике, с распущенными волосами, бежала к нему от дверей спальни. Он приподнял ее, легкую, дрожащую, посмотрел в испуганные глаза.

— Ничего, ничего, Ирочка. Ничего... «У лукоморья дуб спилили...»

Штатский обернулся и слушал — он явно понимал по-русски.

13. ВАСИЛИЙ ДЕЛАЕТ ДОКЛАД О ПЯТИЛЕТКЕ

— Ну, рассказывай, что нового в дивизии?

— Да ничего, товарищ подполковник. Все то же: подъем, занятия, газета, отбой.

— Ну, а все же?

— Да, ей-Богу, ничего. Вот только Зигина в СМЕРШ таскали.

— За что?

Василий насторожился.

— Да все за то ж... — засмеялся Саша, словно СМЕРШ был веселым местом, — на политзанятиях ляпнул малость по дурости.

— Что же он еще выкинул?

— Да не то, чтоб очень... Лейтенант Павлушин спрашивает: «Ска-

жите, Зигин, что дала советская власть крестьянам?» А он: «Раньше, мол, в деревне были кулаки, товарищ Сталин кулаков раскулачил, а нам колхозы дал . . .» Лейтенант привязался: «А скажите, Зигин, как вы понимаете слова товарища Сталина 'жить стало лучше, жить стало веселее'?» Зигин захлопал глазами и говорит: «Это, товарищ лейтенат, значит патефонов и громкоговорителей стали больше выпускать».. Ну, мы так и закатились. А лейтенант в бутылку. Стал распекать: дисциплина, то да се . . . А потом спрашивает: «Для чего в армии дисциплина?» Зигин возьми и бахни: «Для старшины и дежурного по части!» Да что с него взять? Погонял уполномоченный, погонял и выпустил. Зигин теперь говорит, что ни в жисть не станет отвечать на занятиях.

— Треплешься ты, наверно, — наполовину веря Саше, сказал Василий.

Зигин числился за службой связи, и Василию было неприятно, что его солдата вызывали к уполномоченному СМЕРШ-а.

— Ну а обо мне что говорят?

— О вас? Да что блат у генерала имеете.

— Кто говорит?

— Офицеры, конечно. Сам в штабе слышал.

— А кто еще за это время отпуск получил?

— Да никто. Приказ по армии — отпуска запрещены.

— Это почему же?

— Да кто его знает, товарищ подполковник. Ребята треплются, что армию свертывать будут для отправки в Союз.

Солдаты и сержанты часто непонятным образом узнавали о предстоящих переменах раньше офицеров.

— Разве что заметно?

— Да нет. Говорят, будто армию сведут в дивизию, дивизии — в полки, а технику и материальную часть оставят всю — на армию, а народ отправят.

— Что-то вы придумываете. Как это технику оставят, а народ отправят?

— Да так, чтобы союзников объегорить Сейчас будто соглашение с ними — держать в Германии столько-то войск. Вот наши и придумали: войск будет по соглашению, а техника останется вся. В случае чего — раз! — перебросят на самолетах солдат и командиров, и опять армия. Союзники и опомниться не успеют. «Техника», товарищ подполковник!

— Для чего ж это?

— Да если война . . .

— Какая же война, дураки вы этакие?

— Мы уж не знаем, товарищ подполковник, больно уж много теперь нажимают против союзников.

— Ну ладно. Разбери чемодан. Грязное отдай в стирку.

В чемодане Сашу удивили толстые книги. Хотел заглянуть на названия, но Василий прикрикнул:

— Тебе про белье сказано! . .

Четыре тома орфографического словаря Ушакова Василий купил в Москве: сел писать письмо Соне и вдруг засомневался чуть не в каждом слове — так ли пишется. Очень ему не хотелось делать в письмах к Соне ошибки.

Саша стоял у двери с набитой наволочкой.

— Товарищ подполковник, а я вас ждал...

— Чего это?

— Хочу вас просить...

— Говори.

— Мой возраст в этом году под демобилизацию попадает...

— Ну?

— Так я хочу в училище проситься... Помогли бы.

— Чего ж тебе домой-то не хочется?

— Эх, товарищ подполковник, дома в колхозе, сами чай знаете, какая житуха. Вкалывай день и ночь, а в армии оно много легче. А офицером стану, так совсем хорошо.

— Чем же это хорошо? Или ты сразу в подполковники?

— Да нет, — застеснялся Саша, — я все передумал, пока вас не было. Офицеру почет: и зарплата, и форма, и сапоги, а то и кожаное пальто. И девчата заглядываются... Да и так, куда ни посмотри, офицеру всегда в первую очередь: на вокзалах отдельная касса, офицерский зал, ресторан... В книгах или там в кино — всюду про офицеров. Почет! Да вы ж сами знаете. А так, что я буду? Колхозник.

— Зато вольный казак.

— Это в колхозе-то? Да что вы, товарищ подполковник! Лучше уж я домой в отпуск ездить буду, как вы. Приедешь лейтенантом и сразу первым на деревне.

— Ну, раз надумал, дело твое — пиши заявление.

— Мне писарь, товарищ подполковник, говорил, что в штаб разнорядка в училища пришла.

— Посмотрим. А насчет экзаменов?

— Так я знаю. Читаю историю партии, а математику и другое — я с младшим лейтенантом Журавским заниматься буду.

— Ладно, если серьезно, помогу.

— Вот спасибо, товарищ подполковник. Из училища, может, опять в Германию пришлют, а то еще в какую страну. Так и свет погляжу.

— А если война, как ты говоришь?

— Что война? Офицера не так скоро убьют. Сами знаете: что есть солдат? Кусок мяса, завернутый в шинель и портянки.

— Ну, хватит. Дуй к прачкам и не засиживайся там.

Белье офицеров стирали уборщицы немки.

Василий позвонил Наталье Николаевне.

— Вася? Ах, ты, Боже мой, здравствуй, милый. Ой, я и спрашивать боюсь!

— Все хорошо, Наталья Николаевна. Низкий поклон вам от всех. Зайду к вам через час.

— Ой, милый, не томи, приходи скорей. Мой обедать придет в пять.

Василий решил прежде зайти к замполиту, полковнику Гудимову.

Соня на прощанье — на крыльце домика свиданий — поцеловала в щеку. «Спасибо, Василий Степанович... за все», — и покраснела. Чем дальше от Асбеста, тем лучше понимал он, что в жизни случилось то, чего ждал. Но вместе с тем, с удалением от Асбеста, росло и беспокойство. Сразу за Свердловском вдруг понял, что побег Федора стал в его, Василия Трухина, биографии тем случаем, который теперь всю жизнь будет висеть над ним камнем угрозы. Делягин—Недосекин, постановление о пересмотре, свидание жениха с невестой в лагере — все это пройдено и везде, где надо, записано, что подполковник Трухин — жених Софьи Паниной. Мысли об этом, скорей помогали главному — невозможности отказаться от Сони.

Хуже было с тем, о чем, где надо, не было еще записано: Софья Панина — сестра бежавшего за границу врага народа. Это делало камень угрозы тяжелей, а шнурок, на котором он висел, — тоньше. Перед Москвой вспомнил, как Соня говорила о Федоре: докажет, станет известным, а это значило, что о побеге узнают. Узнают, что свояк Василия Трухина за границей! Подумалось об этом ночью, на полустанке: за запотевшим окном сиротливо горел фонарь, ветер раскачивал вывеску, где-то свистел маневрирующий паровоз.

Жил Василий до сих пор ничего не боясь: сын бедняка, колхозник, комсомолец, член партии. Случись что — можно подавать жалобу в политотдел, в Главполитуправление, бить себя в грудь, трясти орденами, писать в КПК. А теперь? Теперь все зависело — узнают или не узнают о Федоре.

В Москве, разговаривая с Катей и Анной Александровной, почувствовал и у них запоздалый страх. Они придумали: отрезать на письме Федора дату и отправить письмо вторично откуда-нибудь из провинции — штемпель на конверте с датой и местом отправления будет доказательством, что Федор в феврале был в Советском Союзе. Где теперь — не знаем, мол. Почему не пишет — тоже не знаем.

Советский инстинкт подсказал Василию выход — перестраховаться: заметнее повысить партийно-политическую активность.

Замполита он застал в парткабинете.

— А, Трухин! Здравствуйте. Садитесь. Как гулялось?

— Здравия желаю, товарищ полковник! Вот вернулся. Решил прежде всего к вам зайти.

— Правильно сделали. Как там, на родине?

— Замечательно, товарищ полковник. Народ разворачивается вовсю. Работа кипит: строят, ремонтируют. Энтузиазм! После дома здесь, в Германии, как на задворках.

— На задворках? Хорошо сказано! А настроения как? Что колхозники? Как приняли постановление Цека о повышении урожайности и поголовья в этом году?

— Настроение боевое, товарищ полковник. Колхозы год начали под лозунгом крепкого урожая первого года послевоенной пятилетки. Готовятся к весновспашке, сортируют семена, удобрение в поля вывозят, ремонтируют трактора... Хотят подсев клевера и подкормку озимых начать с ледоходом... Борьба за высокий урожай началась,

товарищ полковник, культурно — по колхозам организуются агрокурсы... Урожай будет крепкий...

Полковник Гудимов был из городских и деревни не знал. Но Василия слушал серьезно, одобрительно кивая головой.

— В городах то же самое, товарищ полковник.

Василий не знал, что в городах, — думал отделаться сравнением. Но замполит оживился и ждал подробностей.

— Повсюду строят. В Москве такой дом закатили, что твоя Америка.

И тут же вспомнил о демонтаже немецких предприятий.

— Вокруг заводов и строек горы ящиков с оборудованием, — демонтированным в Германии. Рабочие говорят, что теперь и строить и работать любо-дорого: все есть — станки, инструменты, материалы.

Вышло так, что раньше ничего этого не было, но полковник не заметил.

— Приятные новости, Трухин. Так оно и должно быть. Я вот что — сейчас вызову парторга, и мы организуем открытое собрание офицеров с вашим докладом о впечатлениях на родине. О колхозах так и говорите, а о городах, о заводах развейте. Отметьте значение демонтажа и репараций для восстановления разрушенного фашистами, но главное, — подчеркните рост инициативы и трудовой подъем. Вы сейчас просмотрите материалы о послевоенной пятилетке — назовите главные цифры, пусть народ повторяет, пусть увидит, что пятилетка началась успешно. И обязательно скажите про задворки — это у вас хорошо получилось. Можно сравнение развить, например так: дома у нас в воздухе пахнет цементом, известью, стройкой, а здесь, на Западе, — задворками, гнилью, плесенью. Действуйте.

Василию пришлось позвонить Наталье Николаевне и сказать, что он придет после собрания. По голосу уловил — обиделась.

Офицеры догадались, что Василий выступал по заданию сидевшего в президиуме замполита. Но всем было интересно посмотреть на побывавшего дома Васю Трухина. Все радовались маленькому разнообразию в расписанной жизни.

После доклада задавали вопросы. Вначале о стройках, колхозах, а потом стали спрашивать и свое.

— А как там девчата, нас еще не забыли? Не все замуж повыходили?

— Нет, будь спокоен! Одна красная косыночка так и сказала мне: буду, мол, терпеть и ждать оккупанта — чай привезет чего к свадьбе-то!

Зал дружно захохотал.

— Товарищ подполковник, а вы сами, случаем, не успели обзавестись подругой жизни?

— Хотел, да все говорят: раньше разрешение на переезд в Германию пришли, тогда согласна. А так, мол, пока вы Германию осваиваете, а там еще и за Европу приметесь, что ж мне горевать дома и облизываться!

Зал грохнул, но Василий, покосившись на Гудимова, поторопился поправиться:

— Только, товарищи, наши девчата больше говорят: «Что у вас там в гнилой Европе делать? Приезжайте домой. У нас веселее — вместе порядок восстанавливать будем».

Вышло живо и весело.

— Активность на сто, — шептал партог замполиту.

Гудимов был доволен и шутников не обрывал.

В прениях первым, как обычно, взял слово майор Ильенков. Майора не любили за активность, за выступления по всякому поводу — «без мыла». Но сейчас Василий подумал: «А не старается ли и он из-за чего-нибудь *такого* в своей биографии?»

— Вы слышали, товарищи, — сказал майор, — как наши братья и сестры, отцы и матери отвечают мистеру Черчиллю и мистеру Трумэну. Америка, товарищи, нажилась на первой и второй мировых войнах! На нашей крови, на крови наших погибших товарищей!.. Конкретизируя, мы должны сказать себе со всей большевистской прямотой: что мы имеем в настоящий момент? Черчилль грозит нам. А у экипажа старшего лейтенанта Скорникова по боевой тревоге угломер на орудии не стоит на 30-0. В результате ствол орудия и оптическая ось панорамы смотрят в разные стороны! Надо, товарищи, поднимать качество огневой службы, улучшать состояние оружия, которое нам доверила наша родная партия, наш великий полководец товарищ Сталин!..

Василия посадили в президиум. Он смотрел на зал, оглядывал сцену, лица офицеров и опять думал: «Вот она жизнь, — как артисты: внутри одно, а играть приходится другое... Одна разница — артист разных людей играет, а мы одно и то же... Так и себя вконец потеряешь...»

Закрывая собрание Гудимов встал и, выдержав паузу, объявил:

— А теперь, товарищи, сообщаю приятную новость: прибыла почта!

Собрание ответило радостным гулом и аплодисментами. С крайних мест побежали к дверям.

Гудимов остановил Василия.

— Знаешь, подполковник, тебе надо заметку тиснуть в армейскую. Ты набросай и приходи ко мне. Заголовок можно просто «Дома».

Замполитское «ты» означало высшее одобрение.

Василию тоже было письмо — от Кати. В конверте было два письма — Катино и от Сони. Он уговорился с Соней писать ему не в Германию, на дивизию, а через Катю. Но в Москве Анна Сергеевна сказала, что переписка через Катю для них тоже не удобна. Решили — Соне писать матери Василия в колхоз, а та будет пересылать Василию. Он так и написал Соне и матери, но письма его дойти еще не успели.

«Дорогой Дед-Мороз!

Прошло двадцать семь часов, сорок восемь минут, как Вы уехали, и мне уже не хватает Вас. С Вами я все забыла, а теперь опять страш-

но. Сегодня меня вызывал Н. И. и сказал, что послезавтра меня переведут. Я заметила ему: как бы это не задержало мой отъезд домой, на что он ответил: 'Эх, дорогуша, еще не известно, когда придет распоряжение. Процедура с оформлением может затянуться'. Мне так грустно и одиноко стало, что не пожаловаться Вам не могу.

Так-то, дорогой Дед-Мороз. Случись перевод раньше — только радовалась бы, а теперь — опять ждать, опять неизвестность.

Ждать буду, и ждать теперь легче. Буду думать о Вас, буду писать Вам письма, получать Ваши. Раньше ничего этого у меня не было. Буду вспоминать наш домик, огонь печурки и то тепло, которое принесли с собою Вы. Ужасно не хочется снова замерзать.

Раньше ложилась и старалась скорее уснуть, чтобы ни о чем не думать. Теперь тороплюсь лечь, согреться и мечтать: чтобы у Вас все было хорошо, чтобы Ваша родственница была счастлива — верю в ее большую судьбу, чтобы и меня не обмануло счастье.

Пишите мне, пожалуйста. Как перееду — сразу же сообщу адрес.

Соня».

Они договорились Федора в письмах называть «родственницей» и ничего не писать о лагере.

Катино письмо Василий прочел уже дома.

«Милый Василий Степанович!

У нас неожиданность — маму переводят на Донбасс на восстановление. И это, и то, о чем я все время думаю, — привело меня к решению — Вы удивитесь — вернуться в Берлин. Бедная Соня. Но как я ей завидую, по-хорошему завидую. Мама шлет Вам привет — мы Вас очень любим. Вы для меня стали примером.

Ваша Катя».

Это было совсем неожиданно: уйти от мужа, а теперь возвращаться.

«И то, о чем я все время думаю» — о чем она могла думать, как не о Федоре? Но при чем тут ее возвращение в Берлин? Теряясь в догадках, Василий пошел к Наталье Николаевне.

14. УТРО ИВАНА СЕРОВА

Уснуть Серову удалось только около трех часов ночи — многолетняя привычка работать по ночам сказывалась и в Берлине, — но без четверти четыре порученец тихонько тронул правую генеральскую ступню — подальше от сердца! — генерала вызывали к телефону «ВЧ» — звонил Берия. Вилла, находилась в Бернау, на территории дивизии погранвойск. А три телефонных аппарата «ВЧ» — в Берлине: при кабинетах маршала Соколовского, заместителя Главноначальствующего по экономическим вопросам Коваля и при кабинете Серова —

каждый аппарат круглосуточно охранялся сменявшимися часовыми. Всего московский коммутатор «ВЧ» имел около пятиста аппаратов — он связывал ведущих руководителей партии и правительства — каждый из них знал, что в любую минуту по «ВЧ» может вызвать Хозяин. Особенно ночью. Днем Москва работала на «низы» — руководила каждым предприятием и колхозом огромной страны, ночью Москва уточняла, согласовывала, принимала решения внутри себя.

— Я вас слушаю, Лаврентий Павлович, — сказал в телефонную трубку Серов, придав голосу дневное выражение.

— Слушай, Серов, — услышал генерал гортанный глуховатый голос Берии. — Какое ты имеешь право допускать партизанщину у себя в Германии?

Берия был раздражен и говорил с еще большим грузинским акцентом.

— Как это украли экскаваторы? У кого украли? У самих «органов» украли! Ты что, не знаешь, для каких целей предназначены эти экскаваторы? А? Прошляпил, а мне тут приходится исправлять твои ошибки.

Ночью в Кремле на заседании Политбюро Берия — в присутствии Хозяина! — напал на Кагановича за тридцать экскаваторов, которые демонтажники-цементщики стащили со строительной площадки завода Фау в Тюрингии. Серову доложили об этом, когда экскаваторы находились еще на территории Германии, — он мог их задержать, но не сделал этого, не желая портить отношения с Кагановичем. Да ведь и сам Хозяин сказал: «Цемент — это пятилетка».

Во время войны почти все трех-пятикубометровые экскаваторы были свезены со всей Германии к Ла-Маншу на строительство «Атлантического вала» — в восточной зоне их оставалось мало, около сотни на строительстве завода Фау. Демонтировали завод для 1-го Управления, недавно созданного по приказу Хозяина для координации работ по атомной энергии и специальному вооружению, — все экскаваторы передавались Управлению. Но экскаваторы нужны были и металлургической и угольной промышленности, цветной металлургии и строителям, а больше всего в них нуждалась цементная промышленность: разоренная войной, она вместо довоенных семи миллионов тонн цемента в год теперь могла дать едва-едва два с половиной миллиона тонн. А были созданы три строительных наркомата — надо было восстанавливать сотни городов, строить заводы и фабрики, запланированные послевоенной пятилеткой.

Хозяин поручил цементные дела Кагановичу. Приказал к концу пятилетки поднять производство цемента до 13,5 миллионов тонн в год (в пятилетний план записали только 10,5 миллионов тонн). Изготовлять оборудование для новых и действующих цементных заводов должны были двести немецких предприятий советской зоны Германии; уже был оформлен самый крупный репарационный заказ — на комплектное оборудование 24-х цементных заводов, общей производительностью в 6,5 миллионов тонн цемента в год. Лет за двадцать Германия должна была создать для СССР самую мощную в мире це-

ментную промышленность — довести годовое производство цемента до 70 миллионов тонн.

Серов знал, что решение о развитии цементной промышленности Хозяин принял после того, как несколько дней изучал доклад о результатах атомных бомбардировок Хирошимы и Нагасаки — он всем членам Политбюро показывал фотографии, на которых среди развалин стояли сохранившиеся железобетонные здания. Тогда же было принято решение о постепенном переходе на железобетонное строительство, в первую очередь — промышленного строительства. Серов занимался репарационным заказом на цементные заводы — все еще не размещены заказы в Западных зонах Германии на редукторы и бандажи для печей обжига и на фасонное литье. Редукторы могли изготовить чехословацкие заводы. В Союзе только Уралмаш имел два станка нужного диаметра, но они были загружены другими первоочередными заказами.

Обо всем этом знал и Берия, но он знал, что 1-е Управление стало любимым детищем Хозяина, потому и решился лягнуть при Хозяине Кагановича, а за компанию и Серова. «Ишак», — как Серов называл про себя Берию, — догадался (а, скорее, кто-нибудь из своих же сотрудников «стукнул»!), что генерал задержал рапорт об экскаваторах на сутки и сообщил о нем Берии, когда экскаваторы были уже на территории СССР — разбирайтесь там сами: помогать ли им добывать цемент, или работать на 1-е Управление.

Вернулся Серов домой, когда стало светать. Не раздеваясь лег на диван, продолжая думать о разговоре с Берией. Тот явно держал его вдали от Москвы: перед войной — на Украине, теперь в Берлине, а в Москве окружил себя плотным кольцом своих людей, которых привез с Кавказа: Меркулов, карлик Деканозов, Гоглидзе, Машук, Кабулов ... «Боится ишак, — усмехнулся Серов. — Боится, что Хозяин опять применит вариант 37-го, а ему, Серову, поручит Берию с его кавказскими орлами пустить в расход».

Вот уже двадцать лет служил Серов Хозяину. Ух, как это было давно, когда толкового артиллерийского офицера, командира батареи, курсанта Академии Генерального штаба заметил и взял к себе в секретариат Сталина Поскребышев ... С тех пор Серов и не спит по ночам.

Недавно ему стукнуло сорок — генерал-полковнику, Герою Советского Союза, кандидату в члены ЦК Ивану Александровичу Серову сорок лет! Кто это сказал: «Жизнь начинается в сорок»? Вот закрыть бы глаза и спать ... «Как только в раннем детстве спят» ... А это кто сказал? «Видно и не уснуть», — решил генерал.

Но для Хозяина двадцать лет — пшик! Прошлого для Хозяина нет. Всего, что сделал для него, — нет: ни заслуг, ни воспоминаний. Прошлое человека держит в плену, ослабляет. Хозяин ценит в человеке работника — не за то, что вчера сделал, немного за то, что делает сейчас, и больше за то, что может сделать завтра. Хозяин, правда, постарел, и память стала иногда соскальзывать в прошлое — сердится. У Серова всегда наготове какой-нибудь план — для завтра. Хозя-

ин это ценит. Прошлое в помощниках каленым железом выжигает: Кагановичу послал подписать смертный приговор братьям, Молотову — приговор на жену, чтоб никаких близких! Близкие — это прошлая юность, прошлая дружба, прошлое...

И чтобы все наизнанку перед ним. Чтобы всегда в огонь за него готовы были. В этом его не обманешь — насквозь видит! И еще высоких и молодых возле себя не любит. Поскребышев это знает лучше всех — маленький, без единого угла, безбровый, бритоголовый, только в круглых глазах — сила апостола Петра. Серов даже горбится при Хозяине, лицо некрасивым делает — нос морщит, брови поднимает. Хозяин стал завидовать молодым — за то, что переживут его. Смерти Хозяин не боится, но не любит, ненавидит, как только он умеет на свете.

Одно Серов прячет от Хозяина — секрет самосохранения — умение *не видеть:* ни как арестовывают, ни как высылают, ни как сознаются, ни как расстреливают. Любую акцию продумывает до мельчайших подробностей, как гроссмейстер шахматную партию, но играет всегда не глядя на доску. Хозяин, если бы догадался, обязательно заставил бы *посмотреть*.

Серов не сразу понял, кто стучал. Он приподнялся на локте, оглянулся — в стекло большого углового окна согнутым пальцем стучала ветка.

«Постарел...» — подумал он, снова укладываясь удобнее, о Хозяине. И что будет, если ни китайская, ни тибетская, ни обыкновенная медицина не помогут? «Ишака» с его гоп-компанией незамедлительно съест Большая Четверка (так называл Серов про себя Маленкова, Кагановича, Булганина и Хрущева). Маленков умница, но в людях не разбирается, Каганович — еврей, Булганин — хлипок... Никита Сергеевич — этот от земли! Хитер. Перед войной они даже сдружились в Киеве: Хрущев был первым секретарем ЦК Украины, Серов — НКВД, маршал Жуков — командовал округом.

Не стань Хозяина, образуется чудовищный вакуум! Образуется тяга к нормальным отношениям, всем захочется, чтобы не было страшно. Вот тогда Никита Сергеевич и может подойти. И маршал — 25 миллионов ветеранов и армия за него. Маршал Хрущева поддержит. Ликвидирует бериевцев — освобождение от страха поддержат все.

Но Хозяин, как всегда, видит сквозь землю. После парада Победы подозвал Серова.

— Как ведет себя в Германии ее победитель?

Серов понял: предстоит ликвидация маршала. И не потому, что двух победителей Германии не должно было быть, а из-за чрезмерного влияния маршала. Серов сделал все, чтобы спасти маршала — для будущего. Пустил слух о бытовом разложении маршала в Германии, в донесениях Хозяину изображал его солдатом, лишенным политических амбиций, всегда подчеркивал, что маршал говорит, что без Хозяина Победы могло и не быть, что у Хозяина интуиция гениального полководца... А там и Никита Сергеевич постарался, чтобы маршала перевели в Одессу — под его, хрущевский, контроль. Хитер Ни-

кита Сергеевич! Да и все члены Большой Четверки, как могли, за маршала заступились перед Хозяином, — чтобы было кем защититься потом от Берии.

Ветка настойчиво стучала в окно. Серов в досаде, что помешала додумать, встал с дивана, распахнул окно и стал ветку ломать. А та, сырая, не давалась. Но он изловчился и сломал. Подержал в руке горьковато пахнущую на ветру и кинул вниз. Золотилась верхушка высокой ели — взошло солнце.

Серову захотелось чаю — крепкого, пахучего, сладкого чаю, Позвонил. Бесшумно вошел сержант.

— Чаю.

Чай на подносе принес порученец. Ставя поднос на столик у дивана, тихо сказал:

— Товарищ генерал-полковник, вам звонит племянница.

— Какая племянница?

— Екатерина Рыльская.

— Что ей нужно?

— Не могу знать, товарищ генерал-полковник.

Серов пошел к письменному столу, взял телефонную трубку.

— Я слушаю.

— Дядя Ваня? Это я, Катя...

Серов паузой спросил, что ей нужно.

— Я из Москвы, привезла письмо от мамы. Маму переводят на Донбасс, и она сказала мне повидать тебя... Заходила и к твоим...

— Спасибо. Как Анна?

Серов явно не понимал родственного звонка. Сестра Анна последний раз звонила ему перед войной, а Катя — в Берлине по поводу своего приятеля.

— Мама ничего, скучала без меня, старенькая становится...

Серов подумал, что сестра поручила Кате спросить его о чем-нибудь. Анна обращалась к нему в крайних случаях, и он это ценил.

— Ты позвони как-нибудь в обед и приезжай, пообедаем вместе.

Катя на другом конце телефонного провода поняла, что встреча состоится не скоро.

— Спасибо... Только я теперь плохой едок — аппетит капризный, больше тянет на острое...

Хитрость удалась.

— Вот оно как! Значит, Анна бабушкой скоро будет? Поздравляю!

— Да... — засмеялась в трубку Катя. — От этого мама и растерялась — за меня боится...

Серов знал, что у Кати не было детей. Новость и письмо сестры что-то тронули в нем. Собственно, у него было еще время.

— Знаешь что, у меня есть с час времени. Если хочешь, приезжай сейчас.

Встречаться с Серовым и было тем, для чего Катя вернулась в Берлин. Муж от Баранова узнал о демобилизации Федора, узнал, что тот сидел и под арестом. Но Катя жила в Москве, и Федор уехал в Союз — Рыльскому все время казалось, что они там встречаются, он

по ночам видел их вместе и совсем извелся. Ревность обострила в нем все, что касалось Кати. Подсказала и необходимый такт: он ни разу не написал, что прощает или что согласен забыть Федора и чужого ребенка. Он просто писал: мы прожили больше десяти лет, мне так не хватает тебя. Когда на Берлинском аэродроме Катя сошла с самолета, он поцеловал ей руку и только сказал: «Спасибо!» Теперь часто звонил со службы, вчера вечером пригласил двух сослуживцев: и звонил, и гостей пригласил, и вернуться просил, унижаясь, — все для того, чтобы в Карлсхорсте знали: жена Рыльского не бросила. Быть брошенным — было выше его сил.

Рыльский понимал, что родство с Серовым афишировать нельзя, но каждый его новый начальник знал о нем — Рыльский умел сказать об этом — будто случайно. Он знал, что ни один человек не пропустит и не забудет, что у полковника Рыльского такой родственник. Это обеспечивало Рыльскому внимание любого начальства и было тайной основой его карьеры.. То, что он с генералом и знаком не был, значения не имело. Катя знала об этом.

Теперь это не имело значения. У нее был Федор. Если до приезда Василия в Москву она старалась вырвать себя из любви — вспоминая Федора в кресле с немкой, всякий раз плакала, и ей казалось, что все кончено, — то после того как узнала о смерти немки, воспоминание помогать перестало. Теперь она все время думала о Федоре, тревожась и мечтая о встрече, которая гипотетически могла прийти, случись в мире война, революция или еще что-нибудь — она сама не знала что. Удача с Соней, счастье в лице Василия, когда рассказывал о Соне, любовь его, пришедшая через риск и подвиг — одна поездка Василия в лагерь чего стоила! — и то, что любовь ждала Василия и Соню, все это подняло в Кате нестерпимую тоску по своему счастью, иногда заслонявшую даже ожидание сына.

И все же решение ехать в Берлин пришло не сразу. Когда Василий сказал, что боится: узнай НКВД про Федора — и Соню не освободят, и ему попадет, и ничего из их встречи не будет, — Катя тоже испугалась, не за них и не за себя, а за сына: следствие докопается, что ребенок Федора, что за Федора она просила Серова. Последнее вначале напугало больше всего: Серову это грозило неприятностями — освободил изменника, дал возможность бежать, — она знала, что Серов не пожалеет ни ее, ни ребенка, никого. Потом, раздумывая, поняла, что причастность Серова может и помочь: если НКВД установит, что Федор в Западной зоне, то об этом в Берлине узнает Серов. Он не захочет раздувать дело — вместе с собой он должен будет выгораживать всех. Пришло другое беспокойство: а что, если Федора выдадут? Если она будет в Берлине, то в случае выдачи она что-нибудь сможет сделать: хлопотать, умолять генерала, напугать его ответственностью за освобождение Федора из-под ареста.

Приехав с аэродрома, Катя сказала мужу:

— Будем жить так, а дальше посмотрим.

Беременность исключала близость — она сразу устроила себе отдельную спальню.

Трудней было с мамой, но Анна Александровна догадалась сама. Она и командировку в Донбасс себе устроила.

В отличие от Кати и Василия, она была уверена — или старалась показать им, что Федор никогда не скажет, кто он — «Ведь он знает, что это значит для вас. Ну вот вы, Василий Степанович, сказали бы?» «Да ни за что на свете!» — ответил Василий, обижаясь. «Вот видите!» Ее заступничество за Федора успокоило. После отъезда Василия Анна Александровна сказал: «Если что случится, сама буду просить Ивана, но для этого надо вовремя узнать». Беспокойство за будущего внука тоже заставило Анну Александровну согласиться на разлуку с дочерью: в Москве Катя только изведется от слепой тревоги, а в Берлине будет занята, близость к генералу успокоит, и жить будет в лучших условиях. В письме к брату по-женски просила присмотреть за Катей — «Бабой становлюсь, хочу бабушкой быть, беспокоюсь. Знаю, что занят, но, если можешь, разреши Кате время от времени навещать тебя — прими посильное участие в потомстве».

В проходной городка в Бернау Катю встретил какой-то капитан. Он просмотрел ее удостоверение, посоветовал отпустить автомобиль.

Посадил в свой виллис и повез через сад.

Дверь виллы открыл молодой, похожий на борца, пограничник. Генерала Катя узнала не сразу — в штатском он был похож на научного работника.

— Ну, покажись. Ничего и не заметно, — встретил ее Серов.

Прочел письмо.

— Будешь писать матери, — кланяйся. Скажи, что рад за тебя. Ты, если что, позванивай... А Анна, хоть бабушкой и хочет быть, а на Донбасс уехала. Старая гвардия не сдается! Выходит, что и я дедушкой двоюродным буду?

Катя промолчала, по-настоящему смутившись.

— Ну, а как тот, Панин?

Катя знала, что Серов спросит о Федоре.

— Вся эта история на него как-то странно подействовала. Как уехал в Советский Союз, только одно письмо с Кавказа прислал. Написал что-то про жизненный штрафной батальон — я не поняла.

Серов поднял широкие жидкие брови.

— Ничего. Проштрафился — пусть терпит. Ну, а твоя семейная жизнь? муж? Кажется, хороший работник.

— По-старому... Скучно иногда...

— Ребенок родится — будет тебе полон рот хлопот. Советую: ребенок подрастет — иди служить, в коллектив. Как это случилось, что Анна воспитала тебя какой-то домашней?

— Может быть потому, что все время сама работала.

— Ерунда. Просто ты в отца: он все мечтал после революции народить дюжину детей.

15. БЕРЛИНСКИЕ ИСТОКИ

Закрытый автомобиль довез Серова до Лихтенберга. Въехали во двор комендатуры. В сопровождении двух, тоже в штатском, генерал прошел по пустым коридорам и вышел на задний двор, где его ждал старенький опель с немецким номером.

По дороге на Франкфурт-аллее к ним присоединился зеленый автомобиль-наблюдатель. Долго кружили по разбитым улицам. Остановились на одной из улиц Штадтмитте.

В задней комнате обыкновенной квартиры навстречу Серову поднялся неизвестный высокий, по-спортивному худощавый — и сказал с американским акцентом:

— Здравствуйте, товарищ

— Здравствуйте, — ответил Серов, пожимая костлявую сухую сильную руку и, перейдя на английский язык, спросил:

— Надеюсь, у вас не было затруднений?

— О, нет. Это прекрасная идея использовать гитлеровские подземелья.

В явочную квартиру незнакомца провели подземным ходом из развалин рейхканцелярии Гитлера.

Иностранцы — туристы, военные, журналисты — толпами ходили осматривать Рейхстаг, рейхканцелярию, развалины Унтер ден Линден. В рейхканцелярии среди руин в дальней комнате был тщательно замаскированый и охранявшийся переодетыми агентами потайной ход. Нужный иностранец, щелкая аппаратом, незаметно проходил в эту комнату и спускался в подвал. Позже его выводили тем же путем, а иногда через другой выход — на Александерплац. Подземные переходы были построены Гитлером во время войны. НКВД приспособил переходы для своих нужд, замуровав и завалив выход в Рейхстаге в английском секторе.

— Прежде всего, — сказал Серов, — я имею передать благодарность от лица партии за Кемптен, Дахау и, в особенности, за Власова и других изменников.

Незнакомец чуть поклонился. Очень светлые глаза его смотрели умно, но без блеска и не мигая. Серов опустился в кресло, приглашая собеседника сесть.

— ... Во что бы то ни стало необходимо добиться выдачи наших военнопленных. Каждый из них за границей — источник информации о нас, свидетель наших трудностей и наших, если хотите, слабостей. За границей они неизбежно станут источником антисоветской, антикоммунистической пропаганды. Допустить этого нельзя.

Неизвестный по-птичьи моргнул.

— Дипломатическими каналами мы добились формальных поло-

жений о выдаче коллаборантов, изменников, военных преступников, сотрудничавших с немцами. Это значит — как можно больше беглецов документально подводить под эти категории. Необходимо изолировать военнопленных, не давать им возможности влиять на мнение мадам Рузвельт и пап римских. Для этого не плохо было бы окружать их переводчиками и охраной из лиц, пострадавших от немцев... Обратите внимание на власовцев. То, что произошло с ними в Германии, в определенном смысле — освобождение от чувства дисциплины с последующей метаморфозой пассивного врага в активного. Во время войны нам удалось руками немцев удержать эту метаморфозу. Власовцы могли стать опасностью.

Все это разные случаи нарушения дисциплины, и дисциплина должна быть восстановлена. Поимка и наказание нарушившего дисциплину необходимы. Рефлекс дисциплины за войну притупился, его надо восстановить.

Неизвестный моргнул и пошевелился. Серов понял, что тот хочет что-то сказать.

— Выдача изменников, — негромко сказал, разглядывая свои большие плоские ладони, американец, — в частности в Кемптене, произвела невыгодное впечатление на армию. В офицерской столовой, когда вошел офицер командовавший выдачей, все присутствующие офицеры встали и вышли. Произошло вроде однодневной голодовки протеста.

— Пусть вас это не озадачивает, — весело сказал Серов. — Это ведь пустяки! Валите на Вашингтон. Сделайте так, чтобы армия возмущалась госдепартаментом. Это только поможет антагонизму между армией, разведкой и госдепартаментом. Но как контрмера — покрепче изображайте выдаваемых военными преступниками, дезертирами — такое объяснение импонирует солдату.

Серов улыбнулся, словно говоря, — видите, как просто.

— Теперь о гражданских. Здесь основной упор на помощь нашим репатрационным миссиям. Для правильного разрешения вопроса с гражданскими нужен правильный психологический подход.. Учтите, что поражение Германии и наш «союз» с капиталистическим Западом шок для их иллюзий. Будущее для них темно, настоящее страшно. Чувство временно утерянной дисциплины снова сильно у них. И надо из этого состояния их не выпускать. Больше того, надо его всячески усиливать. Ваше дело найти усилители для чувства безысходности, обреченности. Жалко, что вы, американцы, не понимаете психологического фактора голода. Голодом их можно было бы сильно прижать. А ваша УНРРА и армия кормят этих предателей тушонкой и белым хлебом!

Поэтому действуйте на их психику — презрением, недоверием, отчужденностью, бесперспективностью. Мешайте эмиграции из Германии как только возможно. Факт их жизни в гитлеровской Германии изображайте коллаборантством. Для этого — побольше в УНРРА людей пострадавших от немцев, или просто несимпатизирующих немцам. В самой среде изменников разжигайте всяческую вражду — нацио-

нальную, религиозную, идеологическую. Учтите неизбежный антагонизм между старыми эмигрантами и новыми. Главное — взаимное недоверие: пусть боятся друг друга, подозревают, ссорятся. Мы со своей стороны применим испытанный способ — донос. Вы только поощряйте — распустится пышным цветом.

Неизвестный подумал и повторил — «Пышным цветом» ... Серов не сразу понял.

— «Пышным цветом» — это значит, что нужный нам эффект получится блестящий.

То, что американец обратил внимание на отдельное выражение, слегка рассердило Серова. «Он, кажется, все старается запомнить».

— Вы получите подробную инструкцию. Сейчас вы должны уяснить себе проблему в целом.

Неизвестный кивнул.

— Теперь перейдемте к третьей категории. На нее я попрошу вас обратить особое внимание. Я имею ввиду так называемых «невозвращенцев», дезертиров. Напомню вам Райса, Кривицкого, Бармина, химика Ипатьева, теперь этот прохвост Гузенко в Канаде, Кравченко у вас. Вы занимались ими и знаете, какой вред они принесли. Если раньше мы могли бороться с опасностью «невозвращенчества», так сказать, профилактическими средствами, то теперь это почти невозможно. Здесь, в Германии, в других странах находятся тысячи советских людей. Активизация нашей внешней политики неизбежно связана с посылкой за границу неизмеримо большего числа людей. Правда, они не Кривицкие и, конечно, не Троцкие, это простые солдаты, офицеры, служащие. Но в некотором отношении их бегство опаснее бегства аппаратчика или дипломата.

Почему? Потому, что они представители масс: армии, колхозного крестьянства, интеллигенции, рабочих. Я особенно прошу вас усвоить эту точку зрения. Опасность информации беглецов — военного или экономического характера — ничтожна. Учитывайте психологию беглеца — пугайте его выдачей, требуйте побольше информации, — Серов улыбнулся. — Он неизбежно начнет «стараться» и заврется. А мы со своей стороны подсыплем дезинформации. Но, повторяю, нас это не беспокоит. Опасность в другом. Сегодняшние беглецы — это живые свидетели нашего сегодня. Это вчерашние победители Гитлера, и их трудно опорочить, как военных преступников. Скажем прямо: их свидетельства могут сорвать часть нашей с вами пропагандной работы. Соглашение генерала Соколовского с генералом Мак-Нерни дает нам право требовать выдачи беглецов, как дезертиров. Это значит: вы должны мобилизовать все возможности для выявления беглецов и сообщать нам. Во что бы то ни стало вам нужно иметь своего человека в соответствующей инстанции, где сходятся сведения о появляющихся на Западе беглецах.

Можно предполагать, как вы понимаете, неизбежное сопротивление со стороны разведок, армейских кругов и вашей, так называемой, общественности. Парировать ваших умников можно — надо насадить подозрение, что беглецы — наши агенты и шпионы. Прошу вас это

особо отметить. Для этого мы устроим несколько провокаций, а ваше дело раздуть. Это в значительной мере определит общее к ним отношение. А для них будет холодным душем. Как можно больше осложняйте их устройство на Западе. Пусть нуждаются, пусть голодают. Они ведь уверены, что у вас молочные реки и кисельные берега.

Серов взглянул на неизвестного, но тот знал, что значит «молочные реки и кисельные берега».

— Окружите их недоброжелательностью немцев. Широко оглашайте криминальные случаи — они неизбежны в их положении. УНРРА не должна их брать под свою защиту. И мешать эмиграции — в других странах у нас меньше возможностей следить за ними. Особое внимание к беглецам-интеллигентам, они могут стать опасными. Обрекайте их на физический труд — пусть хлебнут западной свободы! Не допускайте их в прессу. Если кому удастся, немедленно принимайте меры, опорочивайте всеми средствами. На этот случай мы имеем про запас нескольких наших агентов, которые выступят с такими «сенсациями», что свидетельства изменников будут выглядеть ребяческим лепетом. Ваша пресса любит ведь сенсации. На будущее — не допускать никаких организаций беглецов. Нельзя, чтобы они заговорили от имени масс.

Короче, надо отбить охоту бегать на Запад. А это зависит от того, как Запад встречает беглецов. Представьте, что у вас найдутся умники и станут использовать беглецов в борьбе за общественное мнение. В одном из ваших рапортов вы сообщали, что в Америке наблюдается спад симпатий к нам, и вот представьте, что ваша пресса, кино, телевидение подхватят антисоветские темы вчерашних защитников Сталинграда. Этого допускать нельзя. Пусть ваш обыватель смотрит фильмы, вроде «Песни о России», пусть читает книги о героизме советских людей. Но если бы вдруг появилась какая-нибудь писанина, пьеса, кинокартина — о Гузенко или о другом каком изменнике, уничтожайте рецензиями, заваливайте письмами — протестами в газеты, радио, телевизионные станции — бейте долларом, делайте так, чтобы книга не пошла, фильм провалился, чтобы ваши бизнесмены второй раз побоялись связываться с подобными темами.

Неизвестный кивнул, и неловко, как человек после долгого молчания, сказал:

— Я понимаю, товарищ.

— В инструкции, которую вы получите обычным путем, все наши предложения имеются. Теперь я изложил вам их смысл. Помните, что нам необходимо восстановить дисциплину. Железная дисциплина, кроме того, что она делает людей послушными солдатами, она делает их верящими во все, что вы им скажете. Иногда дисциплину называют страхом. Но страх тоже хорошо, если он помогает делу. Я имею ввиду и тот Великий Страх в мире, который не даст заметить наших усилий, который собьет ваших умников с толку. Когда у нас будет атомная бомба, — она будет, и скоро, как вы знаете, — тогда мы этот Страх получим.

Серов мысленно проверил намеченную ночью повестку разговора — он никогда не делал заметок.

— Перед тем как перейти к конкретным вопросам нашей встречи, я должен вам передать соображения руководства об общем развитии событий на будущее у вас в Соединенных Штатах.

Американец пристально, не мигая, поглядел на Серова и несколько подался вперед.

— Вы, наши американские товарищи, лучше нас знаете Америку. Но у нас есть опыт Великой русской революции. И руководство считает, что американским товарищам необходимо опыт этот досконально усвоить, творчески усвоить, применительно к условиям современной Америки и современного международного положения.

Американец напряженно по-птичьи моргнул, явно не понимая такого общего вступления Серова.

Серов засмеялся.

— Я не собираюсь читать вам лекции по историческому материализму или по истории российской коммунистической партии. Наше с вами дело — изнанка истории. И я хочу обратить ваше внимание на одну сторону исторического опыта победы нашей партии в России. Я знаю разницу между Америкой сороковых годов и Россией начала века. Но история учит, что империи гибли от разложения изнутри. Внешний военный удар обычно следовал потом. Ученые насчитывают в истории человечества двадцать две цивилизации — девятнадцать из которых погибли от разложение изнутри. Изучайте разложение России! Досконально, научно. Организуйте научно-исследовательскую тематику по университетам — это у вас ведь нетрудно и даже модно. Начните с разночинцев, нигилистов, террористов-народовольцев. Обратите внимание на босяков Горького, на «толстовцев» с их «непротивлением злу», на богоискательство, религиозные секты, на декадентство в искусстве с уклоном в сексуальность. Напомню об увлечении наркотиками — опиумом, кокаином, гашишем. И пьянство — повальное. Тщательно проследите роль интеллигенции — не технической, не научной, а так называемой гуманитарной — роль ее критицизма. Не позитивного, а негативного критицизма.

Критиковать всех и все — при вашей конституции с биллем о правах, при вашей прессе, радио, — куда легче и в тысячи раз эффективнее, чем это было возможно в царской России. Недовольными должны быть все! Критиковать во имя Бога, во имя бедных, во имя негров, во имя добра, во имя равенства, во имя свободы слова, во имя академической свободы, во имя мира. Особое внимание молодежи — учащейся молодежи: студентам и школьникам. Опыт России показал, что начинать надо с воспитания недовольства подрастающего поколения. Ваша свобода от голода делает детей независимыми от отцов — это очень поможет молодым оторваться от старшего поколения. Знаете, как разводы: чем экономически независимее жена, тем вернее развод!

Серов усмехнулся: он знал, что жена его собеседника именно поэтому и бросила его.

— Разложение общества начинается с разрушения образования —

школы. Пока школы действуют нормально, общество устойчиво.

Разлагайте! Книгой, забастовкой, беспорядками, демонстрациями, религиозным отступничеством, развратом, алкоголем, наркотиками, коррупцией, преступностью, ужасами, страхом, всем, чем угодно, всем, что разбалтывает общество. При вашей конституции, когда практически все дозволено, это распустится пышным цветом.

Американец уже понимал выражение «пышным цветом».

— Что касается классового сознания, то рабочий класс Америки ходом исторического развития относится не к пролетариату, а, скорее, к новому социальному классу — среднему классу. Вот, может быть, цветное население...

«Зачем я ему это говорю, он знает это лучше меня», — подумал Серов.

— Вы знаете лучше нас особенности американского общества — его слабости и его силы. В Америке — в главной крепости капитализма — надо действовать применительно к особенностям ее общества, — действовать на разложение...

«Включая и разложение армии», — вспомнил Серов, но решил не вдаваться в подробности относительно армии.

— Все с расчетом не на год, не на пять, а на десятилетия. Повторяю: главные направления — интеллигенция с негативной критикой, расовый и всякий другой антагонизм и разложение школы. Очень важно, чтобы появилась этакая мода — негативно критически мыслящая личность, которая бы стала героем романов, пьес, песен, радио, школы, университета, политического собрания, любимых ваших «парти». Да-да, изучите опыт русского романса — русско-цыганского, где все на свете «трын-трава»!

Серов тут же объяснил:

— Когда человеку ничего не жаль и на все наплевать. И еще — наш русский опыт показал огромную пользу, в смысле разложения государственного строя и общества, небольшой войны — где-нибудь далеко-далеко, на краю земли! Великий Ленин говорил, что непопулярная война России с Японией на далеком от Петербурга, от Москвы, от России Дальнем Востоке принесла огромную пользу — вызвала волнения и беспорядки, получившие название революции 1905 года, и очень усилила разложение.

— Что вы имеете в виду, товарищ? — спросил явно заинтересованный американец.

— Конкретно ничего. Вам лучше знать. Какая-нибудь небольшая война — территориально далеко от Штатов, в которую бы мы общими усилиями могли втянуть Америку. Лучше две... три. Маленьких. В разных концах. И лозунг «Мир!» Это всегда привлекает. Молодежь особенно. Женщин — матерей, жен... Обыгрывая лозунг «Мир!», большевикам удалось раздуть кадило гражданской войны и победить! Одним словом, передайте товарищам в Штатах, чтобы организовали изучение предреволюционной России. Ее разложения. И помните, что во времена России в мире не существовало социалистического лагеря, то есть внешней помощи... А конституцию свою и права берегите

как зеницу ока, — некоторыми своими статьями и поправками она помогает.

Два столетия тому назад американская Конституция была огромным прогрессивным явлением. Но история на месте не стоит. Вы знаете лучше меня историю Соединенных Штатов, в том числе борьбу между исполнительной, законодательной и судебной властью — этими китами вашей Конституции, — бывшими китами! Борьба эта неизбежно будет обостряться. Надо использовать все возможности для усиления конфликтов между противодействующими силами американской государственной власти. У русского баснописца Крылова есть басня о лебеде, щуке и раке, которые впряглись везти воз: лебедь тянет в облака, щука — в воду, а рак пятится назад: воз ни с места! Надо делать всё, чтобы Америка стала таким возом!

Американец сейчас был особенно похож на большую хищную птицу. Он знал Америку лучше Серова. Выражение «как зеницу ока», он помнил, было у Сталина.

Монолог Серова постепенно превратился в диалог. На прощанье Серов сказал:

— Вы понимаете необходимость глобального подхода к проблеме социальной дисциплины? Не правда ли? Что касается Германии — боритесь за сохранение Ялтинского и Потсдамского соглашений. В Ялте и Потсдаме нам удалось разрешить *вопрос транспорта,* — Серов, улыбаясь, посмотрел на удивленно поглядевшего американца. — *Кто на ком ездит!*

16. ДВА АМЕРИКАНСКИХ КАПИТАНА

— Вы сказали, что знаете генерала Серова и полковника Колчина? — опять неожиданно переменил разговор капитан. По-русски он говорил с легким акцентом.

Плотный, с полными по-женски плечами, черные усики стрелкой, безукоризненный пробор в слегка напомаженных волосах, — все время улыбается. В этот раз улыбка вышла: «Ага! что ты на это скажешь?»

— Я не говорил вам, что знаю их. Я знаю, кто они. Встречал их, — ответил Федор.

Сегодняшнее собеседование, как называл капитан допросы, длилось второй час. В начале капитан прочел Федору список фамилий советских офицеров, а Федор должен был называть тех, кого знал. Из более сорока фамилий Федор узнал только семь. Капитан трижды переспрашивал фамилию Гудимов, и Федор трижды отвечал, что Гудимова не знает. И каждый раз капитан улыбался.

Страх выдачи то спадал, то наваливался. Успокаивало Федора, что

в выдаче для американцев не было никакого смысла. Допрашивали его два капитана: этот с усиками и другой с трубкой. Тот, второй, не ловил, не запутывал, а больше расспрашивал о советской жизни, о войне, о настроениях солдат, молодых офицеров. Иногда они просто разговаривали — о писателях, об отдельных книгах. Первый раз разговорились о Хемингуэе. Федору казалось, что доброжелательность второго капитана началась благодаря Хемингуэю. Федор всю войну носил в вещевом мешке три книги: «Пятую колонну и 36 рассказов» Хемингуэя и однотомнички Пушкина и Блока. Возле Варшавы Хемингуэя дал почитать майору Худякову, а того разорвала мина вместе с книжкой. Однотомник Пушкина украли в госпитале, а Блока он оставил в квартире Функе в Вуппертале.

— Почему Хемингуэй и Пушкин? — спросил капитан (о Блоке он не слышал).

— Пушкин учил меня любить волю, свободу, Хемингуэй учил мужеству.

— Мужеству? — спросил капитан. — У нас критики пишут, что Хемингуэй боится смерти.

— Я, знаете, критиков не читаю. У нас они не пишут, что думают. Но герои Хемингуэя чем-то похожи на нас советских: они знают, что погибнут, что рок сильнее их, но они стоят до конца, борются до последнего шанса. Мой побег — это попытка перестать быть советским вариантом хемингуэйского героя.

Иногда Федору казалось, что разговоры эти чем-то нужны самому капитану. Доброжелательность его укрепляла в Федоре надежду, что его не выдадут.

Допросы этого, с усиками, пугали и страх выдачи возвращался, хотя и этот капитан несколько раз говорил Федору: «Вы ведь не власовец, не коллаборант — вы наш гость».

Уступая беспокойству, Федор сказал:

— Господин капитан, я рассказал вам правду о себе. Здесь я надеюсь найти жизнь, мне более близкую, жизнь свободных отношений...

— Еще хорошо, что вы не говорите, что пришли бороться с вашим правительством.

— Бороться? Как? Что я могу? Я даже себя не могу защитить, я могу только просить вас разрешить мне жить здесь.

Капитан не ответил, курил, ловко пуская кольца.

— Я понимаю: беглеца проверить надо — не преступник ли он. Но вы сами видите, что я ничего плохого не сделал и не для плохого пришел сюда. Ваши подозрения...

— В чем подозрения?

— Я ведь не маленький и вижу, что вы подозреваете меня... шпион, советский агент. Понимаю, это ваша обязанность... Я сам хочу, чтобы меня проверили и убедились, что я не преступник и не враг...

— Но преступник тот, кто нарушает закон. Мы в союзе с Россией, и наши соглашения, наши договоры — это закон.

По спине Федора прошел ветерок, заныло под ложечкой, как бывало при налетах немецких бомбардировщиков.

— Соглашение генерала Соколовского с генералом Мак-Нерни касается военных дезертиров, а я демобилизован, значит, гражданский и не дезертир.

— Вот какие вы юридические тонкости знаете, — рассмеялся капитан. — А чем вы докажете, что вас демобилизовали?

Демобилизационный пакет остался в Берлине у Карла, но там в бумагах стояла фамилия Панин. Панин или Таневский, Соня или Катя — какая им разница? Да и документы у Карла, и их не получить.

— Ведь вы меня арестовали не в военной форме, — сказал Федор, понимаю всю неубедительность своего довода.

— Есть определенная категория офицеров, переодевающихся в гражданское платье, а, кроме того, с вами — военные ордена.

Когда капитан рассматривал ордена, Федор испугался — по номерам можно установить, кому они выданы. Но ордена ему вернули, даже не записав номеров. Наверное, не верят, что и ордена его.

— Вот видите, вы опять подозреваете меня. У агентов, поверьте, все документы в таком порядке, что к ним не придерешься. Да и вообще, зачем им посылать своих, когда у вас достаточно коммунистов? Кроме того, — вы меня извините, — что может сделать агент, с самого начала ставящий себя под наблюдение и контроль?

— Но документы должны быть не только у агентов.

— Я свои оставил, боялся попасться на границе. Попадись я им, застрелили бы, и никогда не узнали бы, кто я. Тем самым я избавил бы себя от мучений, а сестру и близких от наказания за мой побег.

— Как это ваша сестра может быть наказана за ваш побег? Ведь вы сказали, что она и так сидит в лагере? Одно из двух — или она сидит и наказана второй раз быть не может, или она *может быть* наказана и тогда не сидит в лагере.

— Вы не знаете наших порядков . . .

— Но я знаю законы, таких законов нет. По-вашему выходит, что все население оккупированных немцами мест посажено в лагеря?

— Посажены или высланы те, кто работал на предприятиях, чья продукция шла немцам.

— О, вот оно в чем дело! Значит ваша сестра работала на фашистов, то есть против нас?

— Знаете, то же самое мне сказал начальник НКВД . . .

— А чем бы вы застрелились на границе, если бы вас поймали?

— Из пистолета, — ответил Федор, сбитый с толку новым переходом капитана.

— У вас был пистолет? Это вы скрыли.

— Я его выбросил.

— Где?

— По дороге из Вуппераля в Кельн . . .

— Значит, у вас был пистолет на территории Западной зоны?

— Послушайте, господин капитан, зачем вам все это? Опросите всех, кого я здесь встречал. Они вам скажут . . .

— Вот они и говорят, например, названный вами господин Тоденгаузен.

— Что он говорит?

— Говорит, что вы для него писали странные статьи, которые он квалифицирует как дезинформацию. Говорил, что вы пытались втереться в доверие к его семье, даже ... даже успели соблазнить его малолетнюю дочь.

— Какой вздор! Спросите его жену! Я ей все рассказал!

— Женский пол слаб.

— Вы видели, что я написал для господина Тоденгаузена? Где вы нашли дезинформацию?

— Статьи эти вы писали для него, и это его частная собственность.

— Как для него? Я писал их для вас.

— Господин Тоденгаузен никогда для нас не работал и не работает. Это вы хотели, чтобы ваши статьи попали к нам и чтобы мы так думали, как вы написали.

— Он жулик, ваш Тоденгаузен! Я писал так, как оно есть, как я видел, по крайней мере! Это он вам, американцам, морочит голову, он подбивал меня писать вещи, которые были бы дезинформацией! ..

— Я уже сказал, что мистер Тоденгаузен не имеет никакого к нам отношения.

Капитан перестал улыбаться.

— А вам советую рассказать всю правду о себе. От этого будет зависеть ваше будущее.

— То есть? Выдадите меня на убой или нет?

— Не надо истерики. Никто вас не собирается выдавать. Если бы вашей выдачи потребовали советские власти, тогда ... тогда не знаю. Но раз о вашем побеге они не знают, вам волноваться нечего. Мы выдаем тех, кто был с Гитлером, кто помогал фашистам воевать против нас и против нашего русского союзника. Но вы боевой офицер, вы воевали против немцев. А что вы собираетесь делать, когда уйдете от нас? — опять переменил разговор капитан.

— Я хочу работать и жить.

— Как работать?

— Чтобы жить, а не жить, чтобы работать, как жил там.

— Вы два дня тому назад рассказывали мне о стихах. Может быть, вы хотите написать книгу, работать в прессе?

— Я не думал об этом ... Хотя написать книгу о жизни там не мешало бы, — образумились бы здесь несколько. Может быть, я напишу когда-нибудь.

— Ну а я прочту с интересом. Но помните: будущее в ваших же руках — нам нужна правда. Гуд-бай.

«Боже мой! Подозревает меня в шпионаже, и для кого?!»

Федор несколько минут перебирал разговор с капитаном, как бы просматривая его радаром нервов, ясно выплывало: «Выдадут». И сразу же на экране сознания проплывали: глаза встречающих на границе пограничников, крик следователя — «Американский шпион!», потом что-то темное, косматое, и мертвый свет в бетонном подвале,

куда поведут расстреливать. Он никогда не видел, как расстреливают, тем более в подвале НКВД, но всегда представлял, что стреляют в затылок с близкого расстояния... «Ни Соне, никому не поможет, что скрыл Панина... Может сказать? Тому, с трубкой рассказать, объяснить — он поймет! А вдруг не поверит? Уже ничему? Дать адрес Карла? Пусть у него возьмут документы...»

«За что?! — Федор забегал по комнате. — Бежать! Спрятаться, забиться в глушь, никогда не вылезать!» Сзади, за дверью, прошел часовой. Федор посмотрел на решетку — не убежишь. Внизу за окном был виден угол белого барака, дальше — два ряда колючей проволоки. По небу шли безразличные тучи. Там, в бараке, наверное, решается его судьба.

Загремел замок. Немец официант принес обед. Федор с отвращением поглядел на алюминиевый поднос: томатный сок, мясо, желе, виноград и веселая мозаика из кубиков моркови и зеленого горошка. Рядом с подносом официант поставил большую стопку с виски и соду.

— Что вам заказать на ужин? — спросил немец, вытаскивая блокнот.

— Ничего.

— Битте?

— Ничего! — громко повторил Федор и тут же вспомнил о существовании голодовки. — Ничего! Это тоже унесите! Скажите, что я отказываюсь от пищи.

Немец спрятал блокнот.

— Вы нездоровы? Может быть, вызвать врача?

— Я совершенно здоров. Прошу вас сказать, что я отказываюсь от пищи.

Федор не знал, как по-немецки «голодовка».

— Очень неприятно... Уже который случай, — немец оглянулся на дверь. — Слава Богу, что я оставляю эту работу. Через два дня я возвращаюсь домой к матери. Четыре месяца ждал разрешения. Моя мать живет в советской зоне, в Радеболь, может быть знаете?

Федор знал, что Радеболь возле Дрездена. Но тут же вспомнил, что возле Радеболя находилось какое-то управление НКВД. И сразу же понял — провокация! Щека задергалась, он шагнул к столу и с размаху швырнул поднос в стоящего у двери немца.

— Вон!

Немец, облитый томатным соком, с морковью и горошком на белом пиджаке, что было силы застучал в дверь.

— Хелп! Хелп!

Вбежал сержант. Федор лег на койку. Немец что-то говорил по-английски сержанту. Оба принялись убирать. Федор лежал, закрыв глаза, и только дерганье щеки выдавало, что он не спал.

Минут через двадцать пришел капитан, второй.

Он снял фуражку, сел, как всегда, напротив.

Еще вначале Федор подумал, что у капитана когда-то случилось какое-то горе, после которого он перестал улыбаться.

— Почему вы отказываетесь от пищи?

— Иначе вы не пришли бы. Вам запретили ко мне приходить?

Разговаривали они по-немецки: капитан русского не знал.

Он достал трубку и долго прикуривал от спички. И хотя трубка разгорелась, продолжал держать спичку, пока та не догорела.

— Скажите *мне,* — капитан сделал ударение на «мне», — в вашей автобиографии все правда?

— Нет, я написал не всю правду: я изменил имя сестры, скрыл свое последнее место службы и скрыл свое настоящее имя. Вам я могу сказать правду и об этом. Но только при одном условии: я скажу вам — человеку, а не следователю, если вы пообещаете мне, что это нигде не будет записано.

— Почему?

— Потому что я боюсь за сестру, за людей, которым я и так причинил горе своим побегом. Если я не скрою своего имени, своего последнего места службы — то рано или поздно советская разведка узнает обо мне.

— Какие у вас основания так думать?

— Основания? Инстинкт советского человека. Вы вряд ли поймете меня. У нас человек окружен атмосферой постоянной борьбы между властью и людьми. Вот и выработался этот защитный инстинкт. А еще основание логики. Почему Сталин так настойчиво требует нашей выдачи? Почему министр иностранных дел огромного государства на первых же заседаниях новой Лиги Наций начал с требования выдачи беглецов? Я несколько раз слышал, что НКВД посылает сюда на Запад своих агентов ловить нас, даже убивать. Соглашение Соколовского с Мак-Нерни выдумали не вы. Чувство самосохранения советского человека — вот прибор, который реагирует на присутствие НКВД. Ваш коллега старается представить меня советским шпионом, агентом, подсылает официанта с провокационным разговором и в то же время обвиняет меня и мою сестру в том, что мы враги «правительства своей родины!» Если вы боитесь советских шпионов, то зачем же вы выдаете Сталину на убийство бежавших от него? Зачем выдаете тех, кто поднял руку на его режим? Ведь это Сталин придумал, а не вы — вы только повторяете за ним слова: «коллаборационист», военный преступник», «изменник родины». Ведь он уже сегодня открыто называет вас фашистами, империалистами.

Послушали бы вы наши политзанятия! Можно объяснить непониманием, уважением к договорам, но без опытной руки таких глупостей не бывает.

Капитан сидел и ровно потягивал трубку. Федор вспомнил, с чего начался разговор.

— Моя неправда в автобиографии — это не для обмана. Это моя защита. Самозащита одинокого человека. Это все, чем я могу защитить себя и оставленных близких. Начиная с Вупперталя, я беспрестанно чувствую здесь запах сталинской провокации. И это не только страх. В положении эмигрантов, в ненависти украинских парней ко мне, русскому, в глупости или подлости господ тоденгаузенов, в вопросах и смехе вашего коллеги, в газетных сообщениях — везде я

чувствую запах того, чем я дышал всю жизнь. Среди воздуха свободы этот запах особенно чувствуется...

Я хочу вам сказать правду, чтоб вы убедились, что моя неправда только реакция затравленного человека на этот запах. Если вы будете вынуждены меня выдать, единственное о чем я прошу вас, — дайте мне возможность умереть. Это не истерика. Так я избавлюсь от мучительной смерти, а близких избавлю от страданий. Я хотел бы, чтобы когда-нибудь, лет через десять, вы вспомнили меня. Уверен, что к тому времени вы сами поймете, что я был прав. Я пришел сюда, потому что я человек. А вы...

Там на мое обыкновенное, человеческое, отвечали «классовой борьбой», промфинпланом, шпиономанией, бдительностью, партийной, военной, производственной и иными дисциплинами. А за всем этим стояли глаза холодные, бездушные, смотрящие на вас газетными цитатами, очередеными лозунгами... Всегда казалось, что здесь, на Западе, люди все еще глядят человеческими глазами. А вы...

— Я понимаю вас, но и вы должны понять. Разведка, контрразведка, НКВД, СМЕРШ, гестапо — в таком деле забывают о человеческом. Не так ли?

— Нет! Тысячу раз не так! Если я совершил преступление, тогда так.

— Вы думаете, что даже отсюда советские власти могут узнать о вас?

— Я не раз слышал в Берлине, что среди союзников много «наших» — коммунистов или агентов, я не знаю.

Капитан встал и взял фуражку. Федор вскочил — ведь он ничего еще не успел сказать!

— Я должен идти. Прошу вас, майор, хорошенько обдумайте, о чем вы мне сейчас говорили. Особенно о ваших подозрениях в советской провокации. Постарайтесь вспомнить более обоснованные примеры. Завтра утром я буду у вас.

После ухода капитана Федор долго сидел не двигаясь. Потом прошел в уборную, выбрал на полочке два бритвенных лезвия поновее, как будто резать вены и артерии не все равно — новым или ржавым лезвием: одно всунул в лацкан пальто, другое в пояс брюк.

17. ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРИБУНАЛА

Опять не то! Василий в сердцах скомкал лист и швырнул его под стол, где уже валялись два забракованные варианта письма. Разбросанные по столу тома справочника Ушакова помогали мало. Стал перечитывать письмо Сони:

«Свердловск, 17 февраля 46 г.

Милый, милый Василий Степанович!

Позавчера приехала в Свердловск. Н. И. был так внимателен, что дал мне сопровождающего. Новое место службы не совсем в Свердловске, а за городом. Мои фабзайчата работают на Уралмаше. Старшие преподаватели встретили бурно — одному, развязному, пришлось в первый же вечер дать по рукам. Мои коллеги — три дамы, — по-видимому, с ними ладят, но мне, судя по встрече, придется воевать. Вы не беспокойтесь, я за себя постоять сумею.

Питомцы мои внешне весьма живописны. Внутренне — интересны необычайно.

Расспрашиваю, сравниваю. Вчера разговорилась с одним больным. Толстой 'Анну Каренину' начал с утверждения: 'Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные — несчастны по-разному'. Здесь же наоборот: счастливы были по-разному, в несчастьи стали одинаковы.

Иногда жалко старого места. Там остался наш домик в снегу, туда приезжали и вы... Грустно думать: огонь потух, угли остыли, а может быть, горит другой огонь и чужие люди смотрят на него. Воспоминаниям моим холодно тоже.

Но я верю, что все будет хорошо, что вы когда-нибудь приедете и заберете меня отсюда навсегда. Знаете, куда мне хочется уехать? На юг, к самому синему, синему морю. Чтобы грело жаркое южное солнце, чтоб белый песок горячий, чтоб баюкая, плескалась у ног волна...

А здесь второй день метет буран, стужа смертная... Пишите, ради бога.

Ваша Соня.

П. С. Если можно, называйте меня в письмах просто Соней, пожалуйста».

Письмо пришло утром, в одном конверте с письмом матери. Василий достал листок, исписанный неумелыми буквами.

«Дорогой наш сынок Вася!

Шлем мы тебе наш родительский поклон. Посылаю вместе письмо твоей знакомой, как ты мне написал. Отец сердится, что не заехал ты к нам. А я думаю, что ты лучше знаешь и обидеть нас не хотел. Кто это тебе пишет, Вася? Чтой-то ты мне никогда не рассказывал про нее. Убивается, бедная, от чего-то. Ты уж не обижай ее, сынок. Не нравится мне, что она хочет ехать в какие-то жаркие страны — непоседа, не дай Бог. Еще хочу я тебя попросить взять из твоих денег на сено, колхоз кормов не дает, летось косить в лесу запретили, так что Зинке нашей до молодой травы не хватит. Ты уж не сердись. Без Зинки нам трудно. И еще сообщаю тебе беду нашу, уж и говорить боюсь: твои вещи пропали! Гармонь цела, а чемодан пришел с кирпичами да камнями. Босота на почте все вытащила. Отец ездил в район, да разве найдешь? Говорят, что такое бывает, — посылки из Германии распарывают и подменяют. Жалко уж очень нам, да не знаем, что жалеть, так ты хоть отпиши, что там было.

Все тебе кланяются в колхозе, отец бурчит, но скучает по тебе. Приезжай, Васенька, порадуй старость нашу.

Твои отец и мать,
Степан и Гликерия
Трухины».

Вещей было жалко. Такой отрез! Вот жулье! Ответ домой Василий написал еще утром.

«Здравствуйте, дорогие родители!

Шлю и я вам свой привет и пожелания здоровья. Приезжал я по делу и потому не заехал. Так что отец напрасно обижается. Четыре дня тому назад послал вам еще посылку. Может, эта дойдет. Там все указано — что кому. Если отцу костюм маловат, продайте. Я пришлю другой. Вещи с буквой С — это для Сони. Их берегите. Она моя хорошая знакомая и, может быть, будет вам невесткой, а мне женой. Еще не знаю я. Пока я в Германии, этого решить нельзя. Я буду присылать в посылках часть вещей для нее. Может, она скоро приедет к вам в колхоз. Так вы примите ее, как родную. Но только ни о чем таком не говорите ей, я сам скажу. Тут уж я отца попрошу проконтролировать тебя, мать. Денег буду посылать тоже больше. Если что понадобится Соне на какие расходы, дайте из моих. И больше в письмах о ней не спрашивайте. Это как приказ. Письма ее ко мне и мои к ней пересылайте сразу. В Германии нам не рекомендуется переписываться с незнакомыми адресатами — только домой. Деньги на корм, конечно, берите, я же вам говорил. Вещей жалко, да ничего не поделаешь. Будьте здоровы!

Ваш сын Василий Трухин».

«Приказ, не приказ, а мать изведется — кто такая, откуда, со всем колхозом пересудачит», — подумал Василий и приписал на обороте:

«Очень прошу не болтать о Соне по колхозу. Если приедет, скажите, что сестра товарища, эвакуированая. А пока не приехала, никому ни слова».

«Вот так бы и Соне — сел, раз — и готово». Василий посмотрел на черновики под столом, на тома Ушакова, взял чистый лист. Написал «Здра...» Но вспомнил, что Соня не пишет «Здравствуйте». Взял другой лист.

«Дорогая Соня!

Пишу одно имя, как Вы приказали. Я получил Ваше второе письмо. Очень рад, что Вам на новом месте веселей и интересней. В работе и время скорей пройдет. Вы только не убивайтесь так по поводу задержки с ответом из Москвы. Я уверен, что ответ будет. Я также (пришлось проверить в словаре, как пишется «также» — вместе или отдельно) часто вспоминаю дом свиданий. Об огне не горюйте: скоро лето, а до следующей зимы мы с Вами успеем другой зажечь. У нас в деревне кругом леса, дрова березовые — горят, что поют. Не то, что те, чурки еловые».

«Фабзайчатами она, конечно, Фрицев называет — недаром «Ф» вывела толще. Старшими педагогами — работников лагеря. Какой-то в

первый вечер приставал. Хотя и пишет, чтобы не беспокоился, а мне беспокойно: одна, молода, а начальство, наверно, холостое больше».

«Вы сторонитесь и учителей и учеников. А если что — скажите заву учебной части — приедет, мол, жених и так даст по рукам, что тошно станет».

Василию хотелось написать о главном — намеком бы. Но как тут напишешь? Стал перечитывать и испугался — вышло того хуже, будто дело решенное!

«Многое хочу Вам сказать, да не умею, все не так выходит. Вы уж берегите себя. Если что надо — пишите, не стесняйтесь. У меня все в порядке. Стоим на страже завоеваний Отечественой войны. Можете быть спокойны. Никакие фашисты — ни американские, ни английские — нам не страшны. А теперь до свиданья.

Ваш Василий.

П. С. Раз я Вас Соней, то и Вы меня по имени называйте, а то несправедливо получается».

— Уф! — откинулся Василий, вытирая рукой лоб.

Оставалось проверить ошибки. Хуже всего было со знаками препинания — в справочнике о них ничего не сказано. В трудных случаях ставил черточку или кляксочку: если должна быть запятая — можно принять за запятую, если нет — кляксочка, мол, случайная.

Резко и требовательно зазвонил телефон — раз длинно, два коротко — так телефонистки звонили ему в случае тревоги или если начальство вызывало.

— Подполковник Трухин?

— Я вас слушаю, товарищ полковник.

Василий узнал голос замполита.

— Немедленно ко мне. Партактив!

Василий, торопясь, заклеил письмо и побежал, на ходу надевая фуражку и китель. Почтовый ящик висел в коридоре штаба, недалеко от кабинета замполита. «Может быть, еще раз просмотреть?» Но рассуждать было некогда, и Василий письмо опустил в щель ящика.

— Товарищи! — заговорил Гудимов, как только все собрались. — Внеочередное собрание офицерского партактива считаю открытым. Я созвал вас вот по какому делу: по требованию нашего командования американские власти передали нам изменника родины . . .

Василий стиснут зубы, чтобы не ахнуть.

— . . .который недавно бежал из наших рядов на сторону врага.

Гудимов обвел собравшихся командирским взглядом. Василий сидел бледный, как при ранении. Ему показалось, что взгляд полковника задержался на нем.

— Предатель находится в нашем СМЕРШ-е. Политкомандование армии решило устроить показательный суд у нас в клубе. Солдаты и офицеры дивизии, изменника знают в лицо. Я вас собрал сюда, чтобы вы выбрали из своих подразделений людей для присутствия на суде. Здесь список — сколько человек из каждого подразделения. Остальные будут слушать по радио в казармах. Коэффициент полезного дей-

ствия от открытого заседания трибунала должен быть наивысшим. Предварительно поговорите с народом. Упор на то, что американцы выдали дезертира по требованию нашего командования, согласно существующему соглашению о дезертирах. Об остальном позаботится трибунал. Чтобы отбить охоту у всех притаившихся изменников! Вот так. Разойдись!

Молча подходили к столу, заглядывали в список и расходились, ступая на носки, словно в соседней комнате кто-то был при смерти. Василий едва поднялся. Только в коридоре решил спросить шедшего рядом лейтенанта Павлушина:

— Кого это?

— Как кого, товарищ подполковник? Сержанта Егорова, Лукашку. У нас один пока!

— А... — сказал Василий, чувствуя, что выстрел в упор пощадил — пуля прошла мимо...

На клубной сцене, за столом президиума, стояли три кресла с высокими спинками. Кумачевую скатерть заменили темнокрасной. Над креслами, на заднике сцены, висел портрет Сталина — тоже другой: раньше висел в парадной форме, а этот в тужурке, глаза прищурены, под усами злая довольная улыбка.

Офицеры и солдаты входили молча, занимали места, смотрели на Сталина. Василий заметил, что не один он отводил взгляд и поглядывал на портрет исподтишка. На сцене слева стоял простой стол и некрашеный табурет. Справа, впритык к столу президиума — стол понаряднее и стул. В первом ряду уже сидели: генерал, замполит, начальник штаба, несколько старших офицеров из штаба политуправления армии и из других дивизий. Василий сел подальше с экипажами. Рядом никто не разговаривал. Топали, скрипели сапоги, хлопали сиденья. Многим мест не хватило, становились у стен.

Слева, из-за кулис, выглянул оперуполномоченный СМЕРШ-а, капитан Филимонов. Стали закрывать двери. Первый ряд разговаривал. Оттуда же, откуда выглянул Филимонов, мелкими деловыми шажками вышел незнакомый офицер с папками. Он пересек сцену, сел за стол справа, разложил папки, потом встал и крикнул:

— Встать! Суд идет!

Зал встал. Василию под коленами мешало сидение, но он так и простоял, согнув ноги, пока входили и занимали места: незнакомый полковник юридической службы — бритоголовый, безлицый, и два заседателя — парторг 1-го полка и Герой Советского Союза майор Дудко. После них вышли два солдата с винтовками и стали по углам сцены.

Секретарь передал папку председателю. Тот полистал, пошептался с заседателями, поправил бумаги и неожиданно высоким голосом объявил:

— Открытое заседание военного трибунала 3-й ударной армии группы советских оккупационных войск объявляется открытым! Слушается дело бывшего старшего сержанта Егорова, Лукьяна Прохоровича, по обвинению в измене родине. Подсудимый обвиняется в пре-

ступлениях, предусмотренных пунктом Б статьи 58-1 Уголовного Кодекса Российской Советской Федеративной Республики.

Председатель повернулся к кому-то за кулисами.

— Введите подсудимого!

Где-то на улице проехал автомобиль. За сценой беспорядочно затопали, об что-то деревянное стукнуло железо. Первым появился солдат с обнаженной шашкой. За ним маленькая фигурка в вылинявшей измятой гимнастерке, без пояса и без погон. Черные, густо взлохмаченные, волосы и то, что был без пояса, делали его чужим и отдельным. Второй солдат шел следом и подталкивал фигурку к табурету. Рядом с Василием кто-то громко перевел дух. Василий всматривался в фигурку и не узнавал. И лицо было маленьким, и губ не было, и шея вылезала из воротника тонкая — Егоров ли это?

Председатель махнул конвою. Солдат потянул фигурку за рукав. Фигурка сломалась под гимнастеркой и села. Председатель стал шептаться с заседателями — в том же порядке: сначала с правым, потом с левым. А зал смотрел на фигурку — да Егоров ли это? Тот, как сел одним движением, так и сидел — лицом к столу, словно боялся смотреть в сторону зала, заполненного рядами лиц, погон, кителей и гимнастерок.

— Подсудимый, ваша фамилия, имя, отчество?

Фигурка, не поднимая головы, что-то ответила.

— Год и место рождения? . . Отвечайте громче

— Тысяча девятьсот двадцать четвертый . . . Станица Цимлянская . . . Ростовской области . . .

Председатель начал опрос.

И голос не Егорова. Где же голос запевалы Лукашки Егорова?

— Обвинительное заключение по делу подсудимого Егорова! — раздался голос секретаря. — Егоров, Лукьян Прохорович, бывший старший сержант 97-й танковой дивизии, 3-й ударной армии, обвиняется в том, что 21 ноября 1945 года самовольно покинул расположение своей части, дезертировал из рядов вооруженных сил Союза ССР с изменнической целью нелегально перешел границу у города Нордхаузена, с умыслом, в целях способствования иностранной державе связался с ее представителями, добровольно был завербован разведкой упомянутой иностранной державы с намерением причинить ущерб вооруженным силам Союза ССР передал секретные сведения военного характера: об организации, численности, дислокации, боеспособности, вооружении, снаряжении, боевой подготовке, довольствии, личном и командном составе своей и других частей группы советских оккупационных войск в Германии. Подсудимый обвиняется в преднамеренном нарушении воинского долга и военной присяги и в изменнических преступлениях: дезертирстве, умышленном переходе на сторону врага, выдаче военной и государственной тайны, квалифицируемых как измена родине.

— Подсудимый Егоров, признаете себя виновным в совершении перечисленных преступлений? — спросил председатель.

— Признаю! — выкрикнула фигурка.

— Расскажите суду о содеянных вами преступлениях.

Голова Егорова по-птичьи легко заворочалась на тонкой шее. Он, мельком, в первый раз поглядел на зал и зачем-то хотел оглянуться назад, но стоявший позади солдат мешал ему. Многим в зале почудилось, что оглянувшись так, он лихо растянет баян, заведет свою любимую песню «Соловьи, соловьи не будите солдат, пусть солдаты немного поспят», потом посыпет прибаутками, как бывало на привалах в прифронтовом лесу сыпал Лукашка Егоров. Под Брестом все Лукашкины напарники по экипажу сгорели — один он выскочил. Второй танк подожгли под Кюстрином; спасаясь от огня, Лукашка на глазах дивизионного НП * бросил танк в Одер, выплыл сам, а потом принялся нырять, пока не вытащил раненого лейтенанта Зурова. «Меня ни огонь, ни вода не берут!» — выжимая штаны, говорил тот Егоров собравшимся за НП связными. За спасение командира генерал тогда Лукашке Звезду дал.

Начало рассказа Василий пропустил.

— ... спрашиваю немца: где тут американцы? Он думал, я по делу какому, служебному, довел меня до угла и показывает — вон там их комендатура. Пришел. Сидят двое, ноги на столе и жуют — американцы всегда резину жуют, вроде жвачки. Так и так, пришел к вам. А ты кто такой? — спрашивают, поплевывая. Отвечаю: к вам пришел и, конечно, против советской власти им вру. Так, говорят, проходи сюда. Смотрю, а они меня в кутузку вонючую и на замок. Ну вот, значит ...

— Сколько вас там продержали?

— Два дня.

— Кормили? Как к вам относились?

— На второй день есть так захотелось, аж тошно стало. Начал стучать — дайте поесть, а они смеются. Ничего, говорят, ты русский — можешь и не поесть. Как же так, говорю, дайте хоть хлеба корочку. Ничего, казак, опять смеются, у вас, у русских, и поговорка такая есть: «Терпи, казак, атаманом будешь». К вечеру приходят к двери человек шесть. Ну, Иван, говорят, как дела? Дайте, говорю, хоть покурить, курить хочется. Один достает сигарету и протягивает мне. Я только брать, а он назад. Что ж ты издеваешься? — спрашиваю его. А он мне: «Дам сигарету, если русскую спляшешь нам» Ну, думаю, не дождешься ты этого, рыжий. Они сели против двери и давай есть. Я отворачиваюсь — есть-то хочется. А они хоть бы что. Ну вот ... значит ...

— Потом что было?

— На третий день приехал офицер, заковали мне железом руки и повезли. Я офицера спрашиваю: за что вы это меня как бандита, я ведь к вам по доброй воле пришел. Там увидим, говорит. Ну вот, значит ... привезли меня в какой-то лагерь и опять за решетку. Только тогда и дали баланды миску да кусок сухого хлеба.

— Допрашивали вас?

— Офицеры разные вызывали. Расспрашивали про часть — какие,

---

* Наблюдательный пункт.

значит, танки, какие пушки, кто офицеры, значит, сколько в Германии войск. Расскажешь, говорят, получишь кусок шоколада. А чуть что не нравится — раз дубинкой по голове. Я, значит, все что знал рассказал, думал — легче будет. Ну вот... значит...

— А о заводах они спрашивали вас?

— Да, расспрашивали: какие в Советском Союзе заводы и фабрики знаешь? Я им — не знаю, мол, я только сержант.

— А про колхозы спрашивали вас?

— Про колхозы? Да... Про Дон спрашивали, про Кубань... Какая земля, что родит... Я им рассказывал, а они посмеивались только. Хорошо, Иван, говорят, скоро мы к вам придем. Раз у вас такая хорошая земля, так мы ваши города с землей сравняем и всю русскую землю одним полем своим сделаем. Ну вот... Да, и еще: что вы, мол, русские, украинцы и белоруссы и остальные будете у нас, американцев, на плантациях, вроде негров. Ну вот...

— А про женщин спрашивали вас?

— Про женщин? И про женщин спрашивали. Майор один, жирный такой, спрашивал — какие у нас бабы. На какой манер? Худые или толстые? Я ему отвечаю — разные бывают. А он мне: когда домой поедешь, скажи матери и сестре и всем бабам, чтоб встречать готовились — американец любит поесть и поспать хорошенько. Так, говорит, и скажи, чтоб старые женщины яйца и сметану готовили, а молодые — постели помягче...

По залу прошел глухой гул. Егоров быстро оглянулся назад и опять попытался посмотреть туда.

— А кто еще к вам приходил?

— Да разные... разные американцы с женами и детьми приходили... меня смотреть, вроде я зверь какой.

— Так никто к вам и не отнесся хорошо?

— Ко мне? Один человек только пожалел — значит, немец уборщик Нет-нет кусок хлеба подбросит. Я у него спрашивал — что это, американцы только к нам, русским, так? Что ты, хлопец, говорит, они и к нам, немцам, тоже так — издеваются. С другими народами у них один разговор — дубинкой. По всей зоне безобразничают, грабят, насилуют, посмешища для себя устраивают. Едут на машине, увидят где люди стоят, бросят несколько сигарет и гогочут, как люди ползают и дерутся. Мы, говорят, победители. Мы, американцы, весь свет победим...

— Потом что было? Дали работу? — перебил председатель.

— Нет, когда, значит, выдавили все из меня, что им надо было, сказали, чтоб домой собирался. Я испугался, начал проситься, в ногах ползать. А они мне — зачем ты нам здесь, у нас своих безработных некуда девать. Заковали в наручники и отвезли на границу.

Егоров опять заворочал головой, оглядываясь. Потом сказал:

— Значит, все... как было...

Председатель пошептался с заседателями.

— Подсудимый, расскажите суду, что вас побудило перейти границу?

Фигурка шевельнулась и что-то сказала.

— Суду не слышно, говорите громче.

— Легкой жизни искал.

— Нашли вы за границей такую жизнь?

Фигурка покачала головой.

— Были ли вы хоть раз сыты за эти месяцы?

— Нет.

— Сколько раз вас били?

— Несколько раз...

— Кто, по-вашему, хуже относится к нашему народу и нашей родине — американцы или нацисты во время войны?

— Американцы в тысячу раз хуже! — выкрикнул Егоров.

— Вас били, чтобы получить секретные данные, или вы давали их добровольно?

— Добровольно давал...

— За что же вас били?

— Да так, как скотину бьют... — и, словно вспомнив, торопливо добавил: — Потому что русский я.

— Что вам обещали американцы за ваше предательство?

— Что они меня не выдадут.

— А потом выдали все-таки?

— Выдали.

— Подсудимый!

Председатель сделал паузу, доставая какую-то бумажку.

— Что вы имели ввиду, когда, после побега, прислали на имя заместителя командира дивизии вот эту записку?

Егоров быстро, затравленно, посмотрел на председателя и опять, уже настойчиво, стал оглядываться назад.

— Я вас спрашиваю, подсудимый!

— От злости это я... За то, что пять суток мне тогда дали...

— Вы угрожали, в лице заместителя командира дивизии, советской власти?

Егоров молчал.

— Подсудимый, вы знали, что измена родине, совершенная военнослужащим, есть самое тяжкое, самое позорное, самое гнусное злодеяние? Вы знали, что за измену родине подлежит наказанию не только сам изменник, но и совершеннолетние члены семьи изменника?

Егоров низко наклонился над столом.

— Имеют ли члены суда вопросы к подсудимому? — спросил председатель.

— Скажите, знали ли вы, что, давая присягу, военнослужащий берет на себя обязанность строго хранить военную и государственную тайны? — спросил Дудко.

— Знал, — чуть слышно ответил Егоров.

— Знали ли вы 36-ю статью боевого устава пехоты, где говорится, что «ничто — в том числе и угроза смерти — не может заставить бойца Красной армии в какой-либо мере выдать военную тайну»? — спросил парторг.

Егоров кивнул головой — все равно, мол.

— Кому из солдат или офицеров вы говорили о замышленном побеге?

— Никому!

— Кому вы говорили, что в Европе жизнь лучше, чем у нас на родине?

Егоров промолчал.

— Вас спрашивает суд! — проговорил председатель.

— Старшине Сапожникову и старшему сержанту Белову, — едва слышно ответила фигурка и словно еще уменьшилась.

— Кому вы говорили, что американцы хорошие ребята?

— Не помню.

Председатель спросил о чем-то членов суда, каждый покачал головой.

— Свидетель полковник Гудимов! — вызвал председатель.

Полковник подтвердил получение письма Егорова. Потом старший сержант Яшин показал, что в мае 45-го года Егоров хвалил американцев. Старшина Сапожников отрицал, что Егоров говорил ему, что жизнь в Европе лучше. После перекрестного допроса Сапожников сказал, что не помнит. Старшего сержанта Белова не вызывали — Белова осенью демобилизовали. Потом выступал майор Ильенков, — он командовал ротой, где служил Лукашка, — прежнего командира роты за побег Лукашки разжаловали и демобилизовали. Ильенков говорил о бдительности, о том, что командиры несут прямую ответственность за поступки солдат.

— Имели бы мы этот позор, это предательство, — сказал он, — если бы командиры во время войны обратили должное внимание на поведение предателя? Нет, не имели бы! Почему офицеры и солдаты скрыли тот факт, что сидящий перед нами изменник родины, враг народа во время тяжелых боев в Белоруссии распевал враждебные частушки? Посмеивались, думали — так, дурачество. А частушки были стопроцентной вражеской пропагандой.

— Какие частушки вы имеете ввиду, товарищ свидетель? — спросил председатель.

— Да я не помню хорошо . . .

— Постарайтесь вспомнить.

— Что-то вроде этого:

Меня вызывают в Особый отдел: —
Почему ты с танком вместе не сгорел? —
Товарищ начальник, в следующем бою
Я вместе с танком обязательно сгорю.

По залу прошелся смешок. Председатель застучал по столу.

— Прошу соблюдать тишину!

Василий сидел в том же положении, в каком его застало начало заседания. Сидел и видел на табурете не Егорова, а Федора. «Подсудимый Панин, кому вы говорили о замышленном побеге?» И чужой, не Федора, голос отвечал: «Подполковнику Трухину».

— Подсудимый Егоров, вам предоставляется последнее слово! — объявил председатель и тут же начал разговаривать с майором Дудко, будто его не касалось, что скажет в своем последнем слове фигурка.

Егоров встал, закрутил головой, несколько раз посмотрел на председателя, прося внимания, но председатель продолжал разговаривать.

— Я... я честно сражался за родину... Я знаю, что я наделал... Прошу только дать мне... — фигурка вдруг выпрямилась, стала похожей на прежнего Лукашку Егорова и закричала сквозь рыдание: — Этих гадов, этих американских фашистов перестрелять, как паразитов! Если мне оставите жизнь! Буду одного ждать — когда придет время их стрелять, как я уничтожал фрицев!

И больше сказать не мог. Стоял и рыдал, вытирая рукавом глаза. Лукашка Егоров — первый весельчак, Лукашка Егоров — запевала и баянист — «Меня ни огонь, ни вода не берут» — плакал.

Василий переглотнул, покосился на соседа.

— Суд удаляется на совещание.

Вокруг зашевелились, загудело. Егоров плакал, положив голову на стол.

— Вот тебе и американцы! — сказал кто-то тихо за спиной Василия.

— Союзнички, мать их... Посмотри, что они из него сделали.

— Так и надо, дурак, —«Я еще вернусь». Вот и вернулся, как собака, — сказал другой голос.

— Мать-то ждет, поди...

— Чего ждать-то? За него, паршивца, где-нибудь доходить будет в лагере.

У Василия мелко-мелко дрожала нога. Страх ледяной многотонной тяжестью придавил к сидению. То, что Федора поймают и выдадут, теперь казалось неизбежным. «Демобилизоваться! Уехать... Спрятаться!... Белов демобилизовался, и ему ничего не будет...» Почему-то вспомнилось письмо брошенное Соне — «Ни одного письма, ни одного!» И выходило: пока Федора не поймали, пока не выдали — демобилизоваться.

— Встать! Суд идет!

Вышли они бодро, с лицами только что хорошо пообедавших людей. Председатель даже не поглядел на подсудимого. А тот пристально смотрел на него. Председатель откашлялся, вытер очень белым платком рот, потом — бритую голову.

— Товарищи! Советский патриотизм, горячая любовь советских людей к родине, их готовность отдать ей свои способности, энергию и самую жизнь являются одной из самых могучих идейных сил нашего народа.

В своем докладе о двадцать седьмой годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции товарищ Сталин сказал: «Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте, имеют своим источником горячий и животворный советский патриотизм».

Возможность отдельных изменнических преступлений в Красной армии обусловлена капиталистическим окружением. Вся острота классовой борьбы для СССР в настоящее время передвинулась на международную арену...

... на восемнадцатом съезде ВКП(б) товарищ Сталин предостерегал против недооценки «силы и значения механизма окружающих нас буржуазных государств и их разведывательных органов». Эти указания товарища Сталина... Вот как надо понимать преступление сидящего перед нами врага народа и изменника, пробравшегося в ряды Вооруженных Сил Советского Союза!..

В своей гнусной записке он грозил родине! Грозил партии! Он, видите ли ошибся в американцах! Он не верил своим командирам, своим политическим руководителям, что американцы только более гнусная разновидность фашизма, расизма, загнивающего капитализма! Они использовали предателя и выбросили...

После разбора сущности и обстоятельств дела подсудимого, объявляю приговор Военного Трибунала третьей ударной армии.

Рассмотрев в открытом заседании... приговорил: Егорова Лукьяна Прохоровича...

В тишине, немыслимой при таком скоплении людей, председатель сделал паузу и громко выкрикнул:

— К казни через повешение!

Общий взгляд всех сидящих в зале будто толкнул фигурку. Егоров с секунду смотрел на председателя, словно ожидая: «Но принимая во внимание...», потом рывком повернулся назад и, не найдя чего-то, так же рывком загнанного волчонка обернулся к залу, и все увидели, как открылся его безгубый рот. Но в первом ряду громко захлопали, конвоиры схватили фигурку под руки и поволокли.

— Братцы!! Они... — услышали все сквозь аплодисменты.

Судьи поднялись, и аплодисменты, заглушая все — недовыкрикнутое Егоровым, ужас совершенного, страх каждого из зрителей, — заполнили зал. Сосед слева бил в ладоши, словно отгонял что-то от себя. Василий увидел свои руки — они стучали одна о другую, независимые от него. «С кем говорили? — С подполковником Трухиным... — К казни через повешение...»

— Разрешите пройти, товарищ подполковник.

Сосед, лейтенант, глядел невидящими глазами.

**
*

Саша застал Василия на диване.

— Ужинать будете, товарищ подполковник?

— Не буду.

— А я вас видел.

— Где видел?

— Там, в клубе. Я у стенки стоял. Пропал Лукашка не за понюх табаку. А заметили, как он все оборачивался?

— Куда оборачивался?

— Да назад. Там за кулисами капитан Филимонов стоял. Наверно пообещал Лукашке, что оставят в живых, если будет говорить, что приказали.

— Что говорить?

— Да ну, товарищ подполковник, будто не понимаете. Да чтобы американцев ругал. Для этого и показательный устроили.

— Его ж американцы выдали.

— Да кто его знает, товарищ подполковник. Темное это дело. Ребята говорят, что Лукашку уже месяц как выдали. Вот и обработали в СМЕРШ-е. Кто-то видел: привезли его чистенького, в заграничном костюме. Это его до ручки уже у нас довели... Может, и не повесят?

— Как это не повесят?! — крикнул, вскакивая, Василий. — Приговор обжалованию не подлежит.

— Так это ж показательный, товарищ подполковник! По нотам разыграно. Я раз в конвое в настоящем трибунале был. Там такого митинга не бывает, раз — и шлепка. А тут театр! И повесить — летом указ был отменить военные законы — в газете читали...

— Что ты понимаешь! Для оккупационных войск законы военного времени оставлены... специальное указание Верховного Суда было...

— Все равно, товарищ подполковник, — театр. Филимонов, вроде режиссера или суфлера за сценой стоял.

— Ну, что стоишь, тащи ужин.

Но за ужином, после стакана водки, испуг вернулся — раз союзники выдают беглецов, то выдадут и Федора. А тогда? Демобилизоваться, как Белов?

Саша пробовал заговаривать:

— А чего это, товарищ подполковник, американцы такие дураки? Помните, в сорок пятом, когда встретились... Мировые парни были. Тогда все говорили, что в Европе и в Америке жизнь лучше. А теперь Сапожникову пришивают. А почему? На него СМЕРШ давно копает.

Василий посмотрел на Сашу и в первый раз за все годы подумал: а не завербовал ли Филимонов Сашку следить за ним? Не выпытывает ли у него Сашка?

— Вот что, парень, дуй-ка отсюда, чтоб ноги здесь твоей не было!

18. РАЗВЕДКА ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ПРОФЕССИЕЙ

Федор открыл глаза, увидел, что очень рано, но сна не было — одни следы растаявших предутренних снов.

Сны — руины прожитого: того, что было вчера, и того, о чем давно забыл. Многоэтажное здание прошлого бесшумно рушится, этажи годов перемешиваются и детство оказывается в груде последних дней. Как развалины домов в Киеве, Варшаве, Дрездене, Берлине... В развороченном подвале — угол чердака, черный фонтан взрыва на берегу Одера, а рядом раздавленный ящик со старыми школьными тетрадями в клеточку, и полицейские в коляске мотоцикла увозят плюшевого медвежонка, с которым спал в кроватке в детстве... А где теперь Соня? А Катя как? Василий, Наталья Николаевна с генералом были совсем рядом — всего двести километров, и так астрономически далеко...

Сквозь мысли, наплывом, едва заметная, просвечивалась связь — с тем, что должно случиться сегодня, когда наступит день. Была эта связь вне его, где-то там, непостижимо высоко. И сны были там, как то, что происходило над Альпами, когда поезд подходил к Гармишу. Какое-то мгновение показалось, что вспомни он сейчас сны сегодняшней ночи и он узнал бы, что случится сегодня.

Он продолжал лежать не двигаясь и глядел сквозь потолок. Связь была где-то там. Он даже подумал, что если есть Бог, то тогда понятно, почему молятся, взывая к небу.

Попробовал думать, о чем ему говорить сегодня — тому, третьему, неизвестному. Но мысль, как конь, сама чуяла дорогу — поплыли лица, глаза, опущенные плечи: Кати, Сони, Инги, Василия, мамы... И снова засыпая, увидел с невероятной высоты, куда успел отлететь, что это и было главным.

Уснул он так крепко, что не видел и не слышал ни восхода солнца, ни радио-трубача, проигравшего по лагерю «подъем», ни официанта — другого немца, принесшего завтрак. Спал без сновидений, будто здесь его не было, будто был там, где бывают люди до своего рождения.

А в лагере началась своя жизнь. Седой, коротко стриженный полковник сидел в своем кабинете и просматривал папку с делом советского дезертира Таневского. Тут же на столе лежало письмо жены, и оно мешало полковнику. Мэргерит писала, что гостит у дочери во Флориде, что внуки ходят в школу и их не узнать. Все согласны поездку в Европу отложить до будущего лета, а этим — к его отпуску — всем собраться в Мейне. Отпуск он берет в конце июля. Полковник потянулся от мыслей о летнем доме в Мейне: веранда в шезлонгах, с большим полосатым зелено-белым зонтом, яркое поле для гольфа, за полем быстрая холодная речка с серебристой форелью, а еще дальше — палевая ширь озера в блестках и синие канадские горы... А на руках мурлычит Том. Рядом на стеклянном столике высокий стакан с джином и тоником — весь льдистый, в веселых пузырьках и солнечных искорках...

Полковник взял письмо жены и запер в ящик стола. Конечно, хочется домой: четвертый год не собирались вместе. Он придвинул папку, стараясь понять, что пишет этот советский майор... Беспокойный народ, ей-Богу! Война кончилась, победили, всем бы по домам, к близким, родным, а они — бегут! Вот и возись. И еще вчерашнее донесение

из Берлина: отправленного месяц тому назад сержанта, в его же дивизии, приговорили к повешению. Варвары! Иных наказаний они не знают — повесить, расстрелять, сгноить в концлагере.

В овальном телефонном репродукторе — под цвет стола — щелкнуло и электрический голос секретаря Хэллен сказал:

— Капитан Грин, сэр.

Капитан, свеже выбритый, подтянутый — тонкие усики только подчеркивали подтянутость — вошел с папкой желтой кожи.

— Доброе утро, сэр.

— Доброе утро, кэптен. Я просматривал дело Таневского. Его надо заканчивать. Ваши выводы?

Капитан открыл папку, достал заготовленный лист.

— Центральное бюро, сэр, подтверждает засылку в нашу зону Германии советских агентов, частью под видом дезертиров . . .

— Это я знаю, — оборвал капитана полковник.

— Но я хочу обратить ваше внимание, сэр, на одно обстоятельство: в случае провала мы только выдаем их, на основании соглашения, в руки тех, кто их засылает.

Капитан сделал паузу, давая время оценить его сообразительность.

— Вторая особенность этих агентов — их интеллигентность, знание языков . . . Интеллигентность, конечно, в русском понятии.

Капитан усмехнулся, но полковник усмешки не принял.

— Эта интеллигентность связана с теми задачами, которые поставлены агентам, сэр: влезать в среду старой русской эмиграции, в прессу, в среду журналистов. Цель — разложение эмиграции, организация среди эмиграции, пользуясь ее стесненными обстоятельствами, агентурных ячеек для сбора информации. И, наконец, — дезинформация наших разведывательных органов и общественного мнения.

— Ближе к делу, кэптен.

— Арестованный нами Таневский, как он себя называет, соответствует такому типу агента, сэр.

— Вы думаете, его фамилия не Таневский?

— Уверен! Он говорит о себе, как о начальнике технической службы девяносто третьей танковой дивизии, третьей ударной армии. Он неплохо ее изучил, но он не знает фамилии Гудимов! А Гудимов — заместитель командира дивизии по политической части. Это все равно, если бы я не знал вашего имени, сэр.

— Откуда известно, что заместитель командира дивизии носит такую фамилию?

Полковник русских фамилий не выговаривал.

— Из показаний сержанта той же дивизии, Лукьяна Егорова, сэр.

Капитан, наоборот, любил козырнуть произношением русских имен.

— Кстати, кэптен, кто вел дело этого сержанта?

— Я, сэр!

— Так . . . Вы думаете, что сержант знает лучше майора старших командиров дивизии?

— Сэр! Гудимов — комиссар! Его обязаны знать все солдаты и офицеры. Сержант Егоров находился в этой дивизии со дня ее фор-

мирования. Он дал описание всего боевого пути дивизии, всех крупных боев, — с точки зрения простого танкиста, конечно. Он хорошо помнил, что полковник Гудимов заменил убитого на Одере полковника Сахно. Перечисляя офицеров, он не назвал фамилии Таневский, сэр.

— Логика.

— Второе, сэр, — оживился капитан, — подследственный хочет писать книгу о Красной армии, о советской России. Его статьи мистеру Тоденгаузену...

— Кто такой мистер Тоденгаузен?

— Мистер Тоденгаузен, сэр, офицер старой русской армии, выходец из Балтики. В семнадцатом году он бежал в Латвию, служил в латвийской разведке, во время войны работал для Абвера по опросу советских военнопленных и имеет большой опыт и большие знания о Красной армии. Сейчас организовал нечто вроде пресс-бюро: собирает материалы для журналистов американских, английских, французских, для исследовательских институтов, университетов... Иногда оказывает услуги нашим отдельным агентам, в частности сообщает о появляющихся в западных зонах советских дезертирах...

— Что он говорит о майоре Таневском?

— Он говорит, что его сразу же насторожила неожиданная для советских офицеров — он их знает, сэр, — интеллигентность Таневского. Я просматривал статьи Таневского: с одной стороны, дезинформация в сторону преувеличения недовольства солдат и офицеров результатами победы, с другой стороны — утверждение о лояльности советского генералитета генералиссимусу Сталину и коммунистической партии.

— Ваш вывод, кэптен?

— Я предлагаю подвергнуть испытанию поездкой к границе, сэр. Повезу я, объявив ему, что везу выдавать советским властям, а по пути предложу сознаться. Если не сознается, значит не боится выдачи, значит агент. Если сознается — получим ценную информацию о том, что он действительно знает.

— Что ж, можно попробовать.

— Выдать так и так придется, сэр. Я очень подозреваю, что одна из целей засылки к нам агентов — проверка провокацией нашей лояльности к договорам и соглашениям. Если мы не выдадим — повод обвинить нас в нарушении соглашения.

— Можете идти, кэптен. Ждите моих распоряжений.

Капитан лихо и в то же время почтительно отдал честь и вышел, прижимая папку желтой кожи.

Полковник включил телефон и сказал в репродуктор:

— Капитана Тейлора.

Потом аккуратно записал на листке столбиком: «Фамилия комиссара Гуд. (до сорок пятого — Сахно). Стихи, пресса, книга. Тоденгаузен».

Вошел второй капитан.

— Хелло, Боб. Сейчас у меня был Грин. Предлагает испытать Та-

невского поездкой к границе. У него есть несколько убедительных аргументов.

Полковник посмотрел на слегка сутулую худую спину отошедшего к окну капитана.

— Я прошу вас, сэр, лично поговорить с майором.

Полковник любил Боба, он напоминал ему Стива Тейлора, — погиб при все еще не выясненных обстоятельствах: был сброшен для связи с партизанами в Югославии и пропал. Вирджиния Тейлор умерла еще до войны. Полковник старался, как мог, заменить Бобу отца. «Умный мальчик, но слишком молод».

— Это не положено, Боб.

— Сэр, вы сами подозреваете, что у нас творится неладное. Ваши рапорты, наши с вами разговоры — все это находит подтверждение в словах майора. Я ему верю. Его догадки совпадают с ноябрьским меморандумом. Кстати, что же решило начальство?

— Ничего.

— Вот видите. Грин копается не там, где нужно. Знаете, как старик Форд нанимал на свои автомобильные заводы инженеров из других отраслей промышленности? Из тысяч «почему?» этих инженеров при их знакомстве с процессом автомобильного производства несколько «почему?» всегда подсказывали Форду новые рационализаторские улучшения. «Почему?» этого майора убеждают меня в том, о чем мы с вами только догадываемся.

Он вырос среди коммунизма на практике, он знает скрытую его сущность. Разве мы понимаем, что хочет этот «союзник»? Разве мы не делаем ошибки за ошибками? Нам надо начать с изучения людей оттуда, а мы? Мы отталкиваем их. Мы выдаем их. Мы даже не хотим осознать, почему они бегут и почему их так настойчиво требуют. Требуют ведь для того, чтобы убить, как теперь убили этого сержанта. Я знаю — соглашение. Но у меня ощущение, что я помог его убить!

— Мы солдаты, Боб . . .

— Да, сэр, но коммунисты — это не только Россия. Это и Соединенные Штаты, это повсюду. Кончилась война — сколько проблем она оставила! А мы торопимся домой, мечтаем о бейзболе или бизнесе. Мы догадываемся о термитах, но мы не хотим о них думать — дом большой, на наш век хватит. А они точат. Иные не хотят говорить о них — неудобно, что подумают о нашем доме! Простите меня, сэр, но вы мечтаете об отпуске, приглашаете меня в Мейн, генерал не хочет портить отношения со всеми уважаемым мистером Икс! Третий боится за свой джоб или за пенсию. Кто будет нести ответственность?

— Что ты от меня хочешь, Боб? Для этого есть правительство. Я не президент.

— Сэр, я прошу вас выслушать этого русского парня. Я не знаю, что вам говорил Грин, но майор боится и не доверяет ему.

— В чем не доверяет?

— Он говорит, что Грин явно не симпатизирует ему из-за его, майора, нелояльности к сталинскому правительству.

— Техника допроса, Боб.

— Сэр, я осмеливаюсь настаивать: выслушайте его.

— Он просил тебя об этом?

— Нет, но я обещал ему.

— Гм...Ты понимаешь, что он будет знать меня в лицо, — это не положено.

— Сэр, вы сами обратили внимание, что половина бегущих с русской стороны идет прямо к нам, как тот сержант. Никто, кроме нас, о них не знает, а советские власти узнают.

— Возможно, красные просто требуют выдачи всех, кто сбежал.

— Нет, сэр, они ни разу не требовали у нас тех, кто попал к англичанам. Они часто указывают место перехода границы — откуда они это знают? Знаете, когда они потребовали выдачи лейтенанта из Эрфуртской комендатуры? Он пробыл в нашей зоне больше трех месяцев, а они потребовали его через пять дней после задержания его нами.

— Но, Боб, если узнает генерал...

— Сэр, этого сержанта они повесили! У меня ощущение, что я участвовал в убийстве солдата, который в своем танке за войну сохранил жизнь нескольким нашим парням.

Полковник встал, поправил бумаги на столе.

— Ладно. Лучше, если никто не будет знать: может дойти до генерала.

Федор вошел в кабинет бледный. Полковник успел переодеться в штатское.

— Хау ду ю ду? Сит даун, плиз.

Федор хотел ответить по-немецки, но зачем-то сказал:

— Мерси.

Полковник все-таки был недоволен, что согласился выслушивать этого высокого, похожего на эсэсовца, русского. Он заглянул в листочек.

— Спроси его, кто был комиссаром их дивизии.

Капитан быстро перевел.

— До моего ранения на Одере замполитом был полковник Сахно.

— А потом?

— Потом из госпиталя я был направлен на работу в берлинскую комендатуру. Слышал, что после Сахно в дивизию прислали другого. Я не помню его фамилию. Потом я служил помощником районного коменданта по экономическим вопросам в Берлине. В районе Панкова.

Полковник заглянул в папку.

— Но вы ничего не писали о комендатуре?

— Я не писал об этом, как не писал своего настоящего имени. Я не Таневский, а Панин, Федор Панин. Я боялся, что советская агентура узнает о моем побеге. За побег за границу у нас наказывают членов семьи и даже близких.

Полковник посмотрел на капитана: «Вот видишь!» Капитан сидел, будто он знал и про комендатуру, и про Панина.

Федор вдруг понял, почему *тот* капитан спрашивал его о Гудимове.

— Кстати, новый замполит дивизии носит фамилию, похожую на Годимов или Кудимов.

Полковник зачеркнул на листке первый пункт.

— Вы по образованию инженер?

— Да.

— Но вы пишете стихи? Собираетесь писать книгу, статьи в прессу?

— Я пишу стихи с детства. У нас в стране молодежь любит стихи, как у вас спорт. У многих это остается на всю жизнь.

Федору показалось совершенно необходимым доказать полковнику, что в его стихах нет ничего плохого.

— Я слышал, что мистер Черчилль и ваш генерал Айзенхауэр рисуют. А что касается книги, то я говорил о ней гипотетически.

— У нас вполне достаточно книг о коммунизме.

— О коммунизме вообще или о жизни человека в Советском Союзе?

— Каких хотите, — усмехнулся полковник.

— Не знаю, какие у вас книги печатаются, но ваши люди, люди на Западе, самых простых вещей о коммунистической действительности не знают. Речь ведь не о книге... Во время революции и гражданской войны в России боролись коммунисты, которых называли красными, и их противники, которых называли белыми. О белых народ России знал все: и хорошее, и плохое, а о красных знал только то, что говорила их пропаганда: «Земля — крестьянам!», «Заводы — рабочим!», «Свобода собраний!», «Свобода совести!», «Свобода религии!» и так далее. Народ поддержал красных, и красные победили. Но знай народ что получится из обещаний красных, он никогда бы их не поддержал — никогда! Это знают даже коммунисты. Сейчас в мире сложилась похожая обстановка: с одной стороны — коммунизм, а с другой — демократия. Люди на земле, на всех континентах, знают о демократии и хорошее и плохое...

— Что вы имеете ввиду — плохое?

— Ну, скажем, колониальную политику старой Англии да и других европейских стран...

Полковник кивнул.

— А что знают народы мира о коммунизме? Практически то, что рассказывает коммунистическая пропаганда! В Европе, наверно и в Америке, я уже не говорю об Африке, Азии, Австралии — люди не верят в миллионы арестованных ни в чем не повинных людей в СССР, ни в страшные концлагеря, ни в расстрелы сотен тысяч безвинных людей, ни в голод, ни в бедность, ни в бесправие...

— Почему же вы, солдаты Красной армии так героически защищали эту власть?

— Скажу вам только, что мы защищали свой дом, свою родину, а не власть... Двести миллионов человек в течение тридцати лет узнали коммунистическую действительность на собственном опыте. Они хотят поделиться своим трагическим опытом со всеми, с вами... А вы не верите. Хуже того, вы выдаете их на смерть своим врагам.

Когда капитан кончил переводить, Федор сказал:

— Вот что я имею ввиду под книгой.

— Вы думаете, у нас в Штатах много коммунистов? Вот у вас в России, действительно их много.

— Я думаю, что столько же, сколько у вас в Америке христиан. Но в Италии, во Франции, в Китае членов коммунистических партий миллионы. Симпатизирующих, заблуждающихся насчет Сталина, наверно еще больше.

— У нас в Соединенных Штатах коммунисты никаких шансов на успех не имеют, — улыбнулся полковник.

— В вашей стране они, наверно, действуют иными методами. Например методами, о которых сообщил в Канаде Гузенко.

— Нас это не очень тревожит.

— Напрасно. В России до коммунистического переворота думали так же. При первом же потрясении они дадут о себе знать.

— У нас никаких потрясений не предвидится.

— Я думаю, что в каждой стране бывают потрясения. Я читал о кризисе в годы президента Гувера. Коммунисты у вас, наверно, делают все, чтобы вызвать потрясения. Не только экономические. Любые... Я не желаю Америке этого, но я боюсь...

— О, вы беспокоитесь за Америку? Это интересно, черт побери!

— Ваша страна — единственная, кого Сталин боится.

Федор выждал пока капитан перевел. Полковник удовлетворенно кивнул.

— Он уже не боится Германии, Японии, не боится Франции и Англии. На его пути стоит только ваша страна. И все свои силы, всю свою подрывную работу сталинцы направляют сейчас против Америки. Это логика. Самое удивительное, что Ленин, а затем Сталин столько раз говорили об этом...

— Это особенность вашего режима и ваше внутреннее дело.

— Как внутренее?! Возьмите сочинения Ленина и прочтите, где он пишет о сосуществовании их мира с вашим, что рано или поздно кто-то должен победить и что пока это произойдет «ряд самых кровавых столкновений неизбежен». Они воюют на уничтожение. «Кто кого» — вот их партийный принцип. А вы продолжаете думать о нормальных дипломатических методах, в крайнем случае о нормальной войне. Они хотят вас уничтожить. Они об этом говорят, а вы...

— Боюсь, что вы свое желание выдаете за действительность. Сознайтесь, что вы хотите, чтобы Америка воевала со Сталиным и уничтожила вам неугодную власть. Этого многие эмигранты хотят. Но вернемся к вашей книге. Мне кажется, что подобные книги только преувеличат силу и значение Сталина, и, как всякое преувеличение, — принесут вред.

— Такие книги только показывали бы вам, с кем вы имеете дело. Мир должен знать, что такое коммунизм, — вернее сталинизм, его методы, его силу и слабости.

— Слабости Сталина мы знаем. Война показала, что он у нас просил.

— Слабость его не в том, что он просил, а в том, что к себе не пустил. Вы знаете, что у него не было автомобилей и яичного порошка,

но верите ему, что наши солдаты и офицеры в Сталинграде защищали его власть и режим. А мы защищали родину и народ. Вот это ему удалось от вас скрыть. Для этого он и требует меня от вас, и всех бежавших от него. А автомобили Сталин завтра научится строить.

— У нас к тому времени будут другие силы.

— Вы говорите об атомной бомбе? Гузенко доказал вам, что они завтра появятся и у Сталина.

— А почему вы так настроены против вашего правительства?

— Я бежал потому, что не мог там жить. И я сознательно оборвал пуповину. Я не думал об оставленном. Здесь я все время думаю о настоящем. Думать об оставленном — это с ума сойдешь. Вот только сны — из каких-то дальних комнаток вылезает прошлое . . .

Полковник, недоумевая, поглядел на переводившего капитана.

— Но вы забываете, что Сталин, Советский Союз — наш союзник.

— Кто союзник? Это ужасно, что вы так говорите! Кто ваш союзник? Вот мои ордена!

Федор вырвал из кармана носовой платок с орденами и хлопнул ими по столу. Орден Ленина вылетел из платка и лег на краю стола перед полковником.

— Вот вам доказательства, как я дрался с нашим общим врагом! Я офицер, и вы, наверно, офицер. Мы были боевыми союзниками до самой победы! А они? Им был нужен ваш союз, чтобы удержать власть! Уже в конце войны они вели в армии пропаганду против вас. Среди партийных эта пропаганда не прекращалась никогда. Теперь они мобилизовали весь свой чудовищный аппарат пропаганды против Америки. И их вы называете союзниками?! Союзник ваш — я! Военный и духовный! А вы выдаете нас нашему общему врагу! Вы предаете ваших союзников!!

Капитан едва успевал переводить. Полковник давно зачеркнул «стихи», «книга», «пресса».

— Я понимаю вас по-человечески, но дипломатические отношения, договоры — это закон для всякого уважающего себя государства.

— Вот и ужасно, что вы видите в преступнике Сталине уважающее себя государство. Сегодня ему нужно соглашение с вами, и вы послушно подписываете его, хотя многое в этих соглашениях вам не нужно, а завтра будет вредно. Возьмите соглашение о выдаче беглецов. Разве ваши солдаты и офицеры бегут к Сталину? Не понимая планов Сталина, вы не поняли и политического смысла этого соглашения и всего вреда его. Вы уважаете закон и выполняете договоры. Сталин их, пока, тоже выполняет, потому что они приносят ему пользу, а вам вред. Разве антиамериканская пропаганда в армии и в стране против союзной Америки это не нарушение соглашений и договоров?

— Внутри страны — это нас не касается.

— А разве они не ведут пропаганды против вас у вас же в Америке? Уверен, что ведут. Скоро они начнут плевать на соглашения и договоры.

— Но мы не можем давать им поводы к нарушению соглашений.

— В наше время повод не ищут, повод делается. Они, скажем,

меня не требуют от вас — не знают, но, преположим, узнают, а вы не выдадите; вы думаете, они расторгнут соглашение о выдаче беглецов? Единственное, что они могут — это украсть вашего майора и потребовать обмена. Можете судить об их понятии законности.

— Скажите, майор, вы армейский инженер, но откуда вы разбираетесь в вопросах подрывной работы?

— Я мало что смыслю в этом. Но я советский человек, советский же человек живет в атмосфере тотального шпионства государства за ним. Советские люди окружены СМЕРШ-ами, особыми отделами, спецотделами, милициями, паспортами, советским контролем, партконтролем, осведомителями. прописками, отметками, пропагандой бдительности — во всем и повсюду. Методы тотальной слежки и контроля над народом и человеком они перенесут — я в этом уверен — и в международный план. Это неизбежно.

Только теперь я начинаю понимать, почему Сталин мучит нас пресловутой бдительностью: он знает, как много дает ему отсутствие бдительности у вас. Он украдет у вас секрет или устроит в вашем правительстве шпиона — и радуется. А подумает, что то же самое вы можете сделать у него, и начинает кричать о бдительности. Мне кажется, что у вас сохраняются понятия о разведке и контразведке со старой профессиональной точки зрения, а они уже давно развернули дело так, что разведка обеспечивает проведение всех мероприятий — военных, политических, хозяйственных, партийных. Разведкой и контрразведкой у нас занимаются везде — НКВД, партия, Коминтерн, дипломаты, дворники, соседи, суд.

— Скажите, майор, вы на самом деле убеждены, что среди американцев имеются советские шпионы?

— Уверен.

— Вы знаете это или только предполагаете?

— Об этом я слышал от своего коменданта — он дружен с уполномоченным НКГБ при центральной комендатуре, полковником Колчиным. То же самое я слышал от начальника правового дела СВАГ Карасева. Слышал еще от знакомого майора из Галле — он служит при генерале Шляхтенко, старом работнике НКВД.

— Вы думает, что и к выдаче дезертиров красная агентура тоже имеет отношение?

— Прямое. Репатриационное управление работает вместе со СМЕРШ-ем.

Полковник внимательно слушал переводившего капитана. Федор воспользовался и сказал:

— Ведь я ничего у вас не прошу. Я стараюсь предупредить вас об опасности, но вы так уверены в своей силе и в своих понятиях, что гоните нас. И в этом ваша слабость.

Полковник улыбнулся, но Федор не дал себя перебить.

— Америка в сравнении со Сталиным, как сильный человек рядом со слабым. Сильный уверен в своей мощи и спокойно спит по ночам, не подозревая, что слабый сосед ходит вокруг дома, расшатывает доски, ищет лазейку, чтобы убить сильного. И когда однажды пасынки

слабого прибежали к сильному и рассказали ему, что замыслил их злой отчим, сосед отвел их домой. Рассвирепевший отчим убивает их. Сосед слышит крики истязуемых и говорит: «Должны слушаться отца. В доме должен быть порядок». Так выглядит все то, о чем мы с вами говорим.

Полковник слушал капитана, косясь на Федора.

— Хорошо, майор. Я очень доволен нашим разговором. Очень рад...

Полковник встал, сразу же встали капитан и Федор.

— Гуд-бай. Я сделаю для вас все, что смогу.

— Типичный невротик, — сказал полковник, как только за Федором закрылась дверь.

— Почему невротик, сэр?

— Почему? Потому что все его суждения имеют мало общего с действительностью. Все построено на желаниях и страхе.

— Он говорил и о фактах, сэр.

— Но как! Сталин в его голове вроде цензора — все факты окрашены теми же желаниями и тем же страхом Сталина. Советская жизнь, как она есть, не совпадает с его представлениями, с его внутренним миром, который он себе создал воображением. Он бежал от одной своей иллюзии к другой. Он не способен принять в свой искаженный мир факты, ибо они опрокинут последовательность и логику его представлений. Это — его собственный Сталин. Он бежал через зональную границу, но через свою, внутреннюю, границу бежать не может.

— Сэр, вы думаете, что он преувеличивает работу Сталина среди нас?

— Несомненно. Но ты прав, невротики, несмотря на нереальность их внутреннего мира, очень чувствительны. Их нервность дает им хотя и болезненный, но обостренный нюх. Каким бы ни был Сталин, но наша с тобой обязанность предполагать худшее. Но... но, какого черта им не сидится дома? Делали бы там, что хотели! Русские созданы для подобных режимов: гениальный безумец Петр, блудница Екатерина, Распутин, сифилитик Ленин, параноик Сталин — это их личное дело. Мы-то тут причем?

Капитан знал увлечение полковника модной психологической школой. Но то, что полковник сердился, было добрым знаком: он, обычно, сердился, когда уступал.

— Но в одном он прав: разведка перестает быть профессией. Теперь разведчик должен быть и собственно разведчиком, и дипломатом, и политиком, и ученым, и психиатром, и инженером — всем. А у нас на разведчика смотрят, как на какого-то детектива, как на человека второго сорта...

Капитан пришел к Федору после обеда. Как всегда сел у стола, закурил трубку, положил ногу на колено. Федор ждал, страшась.

— Все, что мы можем для вас сделать, — это выпустить вас, — спокойно проговорил капитан.

От мгновенной слабости Федор сел, охваченный тем же ощущением

освобождения, как тогда в камере центральной комендатуры, когда пришел Колчин.

— Но с условием: никому никогда не говорить о вашем пребывании здесь. Если случится, что вас спросят официальные лица, которым станет известно, что вы были у нас, скажите, что вы бежали от меня.

Федор не понял.

— Вечером, когда стемнеет, я повезу вас на восток, в сторону границы, а по дороге выпущу. Это и будет вашим побегом. Сейчас я должен идти, — вы приготовьтесь, — капитан поднялся. — По дороге мы поговорим еще.

Капитан приехал на виллисе. Федор вышел с пальто и портфелем в руках. Когда выехали из города, капитан сказал:

— Я дам вам номер своего телефона. Пользуйтесь им в крайних случаях — позвоните и спросите капитана Боба. Вы хорошо защищали себя, только обстоятельства вынуждают меня оставить вас без поддержки. Мне хочется верить, что мы еще встретимся. Постарайтесь устроиться где-нибудь в укромном месте. Русских эмигрантов много, но будьте осторожны. Лучше держитесь немцев.

Они догнали какой-то виллис — капитан долго всматривался, а потом на большой скорости обогнал и оторвался.

— Вы тогда хорошо сказали о героях Хемингуэя. Я сам был таким. Но чувствую, что перестаю им быть. В этом и ваша заслуга.

Все это он говорил, вглядываясь в дорогу, и как будто про себя.

— Мы с вами ровесники. Дети двух миров, но одного времени. Если мы будем терпеть, как герои Хемингуэя, то погибнем, как все они погибают. У нас в Штатах свои проблемы. Но в чем-то большом они совпадают с вашими проблемами. Раньше мне казалось, что человечество, подобно герою греческой трагедии преследуемому роком, и что человечество не может быть хозяином своей судьбы. Но теперь я начинаю понимать: трагедия в том, что человечеством управляет воля немногих людей. Это не мойры, а такие же как мы люди. А раз так, то трагедия может быть предотвращена. И поэтому истинный герой тот, кто не терпит, а борется с этими немногими. Вы бежали от них, но мы станем героями тогда, когда начнем бороться.

— Я не вижу возможности бороться, — в тон капитану, словно про себя, сказал Федор.

— Вы сегодня уже боролись. Из всего, что вы говорили, я не могу понять одного — вашего убеждения в неизбежности, собственно в необходимости войны. Может случиться, что в будущей войне никто не победит.

— Вся беда в том, что у нас эти *немногие* уверены, что победят они. Если не они, то их идея.

— Вы думаете, у них есть идея?

— Есть. Эта идея заключает в себе, как составную часть, то, о чем сказал Сталин: смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика.

— Это было сказано и другими, и задолго до него.

Навстречу стали попадаться автомобили, и капитан замолчал. Проезжая какую-то деревню, сказал:

— Я высажу вас в деревне, где есть пансион.

— Нет, лучше в лесу. Сегодня нехолодно, а пальто у меня теплое. Не надо, чтобы видели, как вы меня выпустите.

Капитан поглядел на Федора. Вскоре по сторонам побежал черный лес.

— Вот здесь, я думаю, будет хорошо, — сказал Федор, разглядывая в свете фар путаницу кустов и деревьев.

Капитан посмотрел в зеркальце, затормозил, выключил фары. Федор достал с заднего сидения портфель.

— Ну вот, майор. До свиданья. Хочу вас еще попросить, не отказать взять у нас немного денег, — он протянул Федору конверт. — Здесь же две продуктовые карточки.

— Спасибо, капитан. Я никогда не забуду вас... Я тоже хочу просить вас — возьмите это на память обо мне, о встрече «детей двух миров, но одного времени».

Федор вытащил из кармана сложенный платок с орденами. Капитан смотрел на платок — он знал, что там было — и не брал.

— Прошу вас.

— Хорошо, майор. Спасибо. На обороте карточки мой телефон. До свиданья.

Они пожали друг другу руки. Федор отошел от виллиса, перепрыгнул канаву и, разрывая мокрые кусты, шагнул в темноту. Автомобиль зажег фары, круто развернулся — по кронам и кустам пробежал белый свет — и набирая скорость, помчался по пустынной дороге.

19. В БЕРЛИНЕ

Перед тем как подать заявление о демобилизации, Василий два дня повторял про себя: «Спокойствие, Вася, спокойствие». Решение казалось поспешным — «Выкидыш с испуга!» Но на третий день вечером сказал вслух:

— Не выкидыш, а здоровые роды — поздравляю, — и стал писать: «Патриотический подъем и энтузиазм народа в деле восстановления страны зовет меня на трудовой фронт. Как член партии, считаю, что главное сражение сейчас дома — на стройках послевоенной пятилетки...»

В дивизии все еще говорили о Егорове. Большинство Лукашку жалело. Американцев ругали: вслух за то, о чем говорилось на суде, на самом деле — за выдачу.

О Лукашкиной записке замполиту теперь знали все. Он, хотя и гармонист и чудило, но работяга. Кто-то вспомнил, как Лукашка на от-

дыхе в Польше, по своей охоте вызвался помогать полякам — старику и старухе. Хлев уделал, забор починил, помог с огородом управиться — «Руки по работе соскучили», — говорил. Нет, Лукашка не легкой жизни искал!

Вспоминая себя на суде, Василий от неловкости подтрунивал над собой — «Паника, товарищ подполковник, паника».

Вечером пошел к генералу. Застал за ужином.

— Ну, заходи, заходи, орел!

Наталья Николаевна поставила на стол рюмку и тарелку. Василий стал отказываться.

— Есть не хочет — не неволь, а рюмку выпьет, — решил генерал. — Ты что же это задумал, а? Не заявление написал, а доклад для политзанятий.

— Это я не для вас, товарищ генерал.

— Еще бы ты мне такое написал, — хмыкнул генерал.

— Раз знаешь, что не тебе, так и не приставай, — вставила Наталья Николаевна.

Генерал отложил салфетку.

— Что с тобой сделалось, мать? То «В отпуск пусти», теперь «Демобилизуй!»

Наталья Николаевна поняла, что вмешиваться ей не следует.

— Эх, думал я из вас настоящих вояк сделать. А из тебя даже война крестьянской души не выбила.

— Я, товарищ генерал, семьей обзаводиться хочу. И домой тянет. Старики стареть стали.

— Вот он, русак! — снова хмыкнул генерал. — За свою землю насмерть стоял, а на чужую попал — домой просится.

— И слава Богу!! — не выдержала Наталья Николаевна. — А о военной жизни не жалей. Кто-кто, а я ее за тридцать-то лет знаю.

— Опять ты, мать! — нахмурился генерал. — Я тебе, подполковник, вот что скажу — демобилизовать я не могу тебя. Запрашивал штаб армии, говорят — нельзя.

Генерал поднял седые кустики бровей, и Василий увидел, что тот на самом деле не может. Генерал засопел, налил рюмки, выпил, закусил огурцом.

— Что ж ты не пьешь?

Василий аккуратно выпил, не закусывая.

— Единственно, что можно сделать, это если тебя какое-нибудь гражданское учреждение затребует. Скажем, то, где ты до армии работал. Тогда отпустят. Есть такой приказ Совнаркома. Как это устроить, думай сам. Сейчас в Германии «сабуровцев» и разных наркоматовских крыс полно — поищи, может и уговоришь кого.

— Тебе, Вася, в Берлин надо съездить. Катя, наверно, таких знает, — сказала Наталья Николаевна, видимо повторяя свой разговор с мужем до прихода Василия.

— Кстати и дело в Берлине есть — в Управлении Связи. Из штаба звонили, что разнарядка на телефонное оборудование пришла. Можешь хоть завтра катить.

— И я с тобой съезжу, — следом сказала Наталья Николаевна. — Мне Катю хочется посмотреть. Да и Берлин так ни разу и не видела.

— Ну, а *герой* пишет тебе? — спросил генерал, опуская брови.

Василий и Наталья Николаевна переглянулись.

— Нет, товарищ генерал. Видно устраивается.

Генерал промолчал, занятый цыпленком.

— То он, теперь ты... Разлетаетесь, орлы. А там совсем нас со старухой забудете.

— Что вы, товарищ генерал!

— Ну мне ладно, а Наташе? Только тем и занята: то Федором, теперь тобой... Написали бы — все веселей было б. Она мне рассказала бы. Ведь сколько вместе отшагали!

— Товарищ генерал!... Я обязательно писать вам буду...

— Ты когда еще будешь, а тот как уехал, так и забыл...

— Нечего на Федю напраслину наводить, отец. Поди не легко там устраиваться!

Генерал опять налил рюмки.

— Ну, ладно, давай выпьем, подполковник. Не пустил бы я тебя, да теперь все равно. Армия сворачивается. Меня, наверно, тоже переведут домой. На то и служба, чтоб на одном месте не засиживаться.

Генерал выпил, крякнул, подумал...

— Сколько прошло людей за службу, с кем только не служил, больше в живых нету...

Наталья Николаевна с тревогой следила за мужем. С вечера заседания трибунала он плохо спал, по ночам вскакивал курить, ходил хмурый. Она знала: не потому, что неприятности из армии, а потому, что сержанта повесили. Раньше сам говорил про Егорова: «Расстрелять мерзавца мало!» Но Егоров был *его* солдатом, с первых дней дивизии.

— Ну, добре, подполковник. Если ехать, то поезжайте завтра пораньше. Мою, — посмотрел на Наталью Николаевну, — по дороге береги. И не засиживайся там.

Разлуки с женой генерал переносил трудно. Ночью, если ее не было рядом, не мог спать.

Но выехать рано не удалось: под утро позвонили из армии — генерала вызывали в Бабельсберг, в штаб группы. Главнокомандующий, маршал Соколовский, 23 февраля устраивал банкет по случаю Дня Красной армии. От 3-й ударной армии были приглашены командующий, начальник штаба и два командира дивизий, в том числе и генерал. Жены приглашались тоже.

— Честь, мать! — сказал генерал проснувшейся Наталье Николаевне. — Лучших командиров приглашают. Союзников, говорят, много будет. Так ты уж расфуфырься немного — надо показать им, что и мы не лыком шиты.

— А как же с Васей теперь?

— Что, как же? Пусть едет сам, с нами нельзя — поедем вместе с командующим.

— Ой, отец, уволь. Ты уж поезжай с ними, а я с Васей. Не люблю, прости Господи, эту балаболку — она, ведь, за дорогу заговорить может.

Генерал сам не любил крашеную жену командующего.

— Что ж, мне надо, а ты поезжай отдельно. Дам вам своего хорька с Николаем, а приедете, так от Кати своей звоните в Бабельсберг. Мы, наверное, в Веймаре задержимся, — за Чуйковым будем заезжать. Правда, что тебе маяться!

Генерал расцеловался с женой, проводил до автомобиля.

— Смотри, Николай, если что случится, шкуру спущу.

— Есть, товарищ гвардии генерал-майор!

Шофер генерала, сержант Крутиков, ходил щеголем — кожаное пальто, хромовые сапоги; пилотка, в нарушение всех законов равновесия, как приклеенная, чудом держалась над ухом. «Блатная служба», — говорили солдаты, завидуя Николаю.

Пока он постукивал носком сапога по колесам, последний раз обходя блестящий, как его сапог, автомобиль, Наталья Николаевна уговаривала мужа:

— Не стой на ветру, простудишься.

— Если что случится, подполковник, — наказывал генерал Василию, — сразу звоните дежурному по штабу, вышлет машину.

Поехали. Хорьх тянул сильно и ровно. Выехали на автостраду. В одном месте путь был забит застрявшими в снегу автомобилями, но Николай не даром был генеральским шофером. Он свернул с дороги и объехал по ровному снегу поля. В другом месте, при объезде разрушенного моста, автомобили на обледеневшем подъеме буксовали и съезжали вниз. Николай развернул машину и, на удивление немцам, въехал задом.

— Теперь в порядке — до самого берлинского кольца никаких объездов, — сказал Николай. — Можно считать, что мы уже в Берлине. Мы с товарищем генералом в последний раз в Берлин ездили, когда парад с союзниками устраивали против рейхстага.

— Ну, и как? Хороший был парад? — спросил Василий, чтобы не молчать.

— Парад так себе, не то, что у нас на Красной площади. Американцы и англичане до того смешно маршируют — как гусаки.

— А ты как думашь, Вася, Катя ничего не будет иметь против нашего приезда, Все-таки муж . . .

(Василий перед отъездом звонил Кате.)

— Что вы, Наталья Николаевна, она обрадуется.

На звонок вышла Катя: похудела, подурнела, смотрела испуганно.

— А это, Катя, Наталья Николаевна, — пропуская жену генерала, сказал Василий.

Женщины одним взглядом оглядели друг друга. Катя убедилась, что Наталья Николаевна на самом деле пожилая женщина и Федору могла быть матерью; Наталья Николаевна, — что Катя не вертихвостка, а красивая, замученная скрытым горем женщина. Они и «здравствуйте» не сказали, — обнялись щека к щеке и стояли так. И то, что

Наталья Николаевна стала гладить ее по спине, как делала мама, Катю совсем не удивило.

— Родная вы моя... — тихо говорила Наталья Николаевна. Иди, Вася, мы сейчас, — обернулась к Василию: не дело тебе, мол, глядеть на наше женское горе.

Василий прошел в гостиную. В креслах сидели седой полковник и черная худая женщина. Полковник встал, с веселым удивлением разглядывая Василия.

— Трухин, — назвался Василий.

— Марченко, — пожимая руку, ответил полковник. — А это моя половина.

Мария Ивановна с готовностью заулыбалась.

Супруги Марченко перед отъездом из Германии жили в Берлине и часто навещали Катю.

— Маня, а подполковник и Феде очка даст, а? — захохотал Марченко. — Вы, доложу вам, что Илья Муромец. Наш знакомый, может знаете, Федор Панин, так тот только Алеша Попович.

— Да, Бог не обидел, товарищ полковник... — ответил, усаживаясь, Василий.

— А вы не из комендатуры берлинской, товарищ подполковник? — не удержалась Мария Ивановна.

Марченко даже ногой притопнул с досады.

Завязался русский разговор: откуда родом, где кто жил, где служили. Узнав, что Марченко «сабуровец» и возвращается на постоянную службу директора Архангельского бумажного комбината, Василий тут же решил спросить у Кати — не поможет ли тот с демобилизацией.

Кати и Натальи Николаевны все еще не было. Марченко успел распорядиться, и они с Василием выпили за знакомство. Когда Катя и Наталья Николаевна вошли, Марченко говорил уже громко, любовно похлопывая по колену Василия.

— Я, Катя, говорю, что подполковник даже Феде очка даст!

По припухшим глазам Кати и Натальи Николаевны Василий догадался — говорили о Федоре, плакали. Заметила и Мария Ивановна. Быстрые глазки ее бегали и старались понять — кто эта незнакомая женщина. Услышав, что — жена генерала, сразу подсела, заулыбалась, закивала.

— Если вам Василий Степанович так понравился, можете его к себе забирать (Наталья Николаевна успела рассказать Кате о Василии). — Василий Степанович демобилизуется, он инженер связи.

— Не инженер, а старшим техником службы связи до войны работал, — поправил Василий.

— Как? — живо реагировал Марченко. — Вы демобилизуетесь?

— Хочу, но требуется отношение от гражданских организаций.

— Так это же пара пустяков! — совсем оживился Марченко. — Такое дело спрыснуть обязательно надо, — он взял бутылку с «Дюбель-Кюмель», посмотрел на свет. — Катенька, нет ли у тебя нашей, водочки, а? А то эта очень уж иностранная, ни то, ни се.

— Вы, товарищ полковник, к нам в Нордхаузен приезжайте, — сказала Наталья Николаевна. — Угощу вас настоечкой и наливочкой собственной выделки.

— Да я бы, как говорится, с моим удовольствием в рай, да грехи не пускают, — через два дня до дому отчаливаем. А вы, товарищ подполковник, если хотите, можете и ко мне. В Архангельске у меня на комбинате особой связи, правда, нет: коммутатор на сто номеров, радиоузел, пожарная сигнализация, да и та монтируется еще. Но начальник связи требуется.

— Николай Васильевич, Василию Степановичу пока хотя бы требование. Очень вас прошу помочь нам с этим делом.

— Да о чем разговор, Катенька? Что ж мы, рыжие? Наш наркомат, как все, охотится за демобилизованными из армии специалистами. Иван Данилович еще здесь, я ему скажу, и все в порядке. А еще лучше, знаете, чтобы в долгий ящик не откладывать, давайте сейчас к нему и махнем! Мне все равно надо к нему в четыре.

Марченко тут же позвонил по телефону.

— ...Мне, Иван Данилович, здесь удалось из-под носа у металлургов одного демобилизующегося замечательного специалиста по связи перехватить!..

Мария Ивановна торопилась тоже.

— Я тут на Курфюрстендам нашла магазин один — что вашей душе угодно! Белогвардеец держит — сын самого генерала Линевича, знаете, который в Японскую войну? Для виду картинами и фарфором торгует, а в задних комнатах — одежды, обуви, материи — всего на свете! Я там такое платье нашла! Белье! Коле — костюм английский! Три кило масла в задаток дала, сейчас остальное везу.

— Смотри, чтоб тебя патруль не зацапал в английском секторе, — остерег Марченко.

— Так я же на немецкой машине — переводчик Баранова устроил.

Василий уехал с Марченко.

— Ведь вот как хорошо устроилось, — радуясь за Василия, сказала Наталья Николаевна. — Только не нравится мне что-то эта чернявая. А Вася крепится, Катя, хотя у самого на душе — ой как неспокойно! Это хорошо, что он домой поедет. Соне выбраться скорей поможет. Мужем будет хорошим, я его знаю. Так что Соня у нас пристроена.

— Я рада за них.

— Поженятся, дети пойдут...

Заметив, что Катя достала из рукава платок, Наталья Николаевна пересела к Кате, взяла ее за руки.

— А вы берегите себя, о ребеночке думайте. Родится, растить будете, радости-то сколько.

Не пряча слез, Катя крепко взялась за мягкую руку Натальи Николаевны.

— Люблю я Федора, Наталья Николаевна. Дни и ночи только о нем. Извелась вся от страха. Ведь в Берлин я для него вернулась. Случится что — кто ему поможет?

Наталья Николаевна обняла ее и, гладя спину, заплакала от жалости.

Долго сидели они вдвоем, поверяли свои женские доли. Катя не пряталась, знала что не бабское любопытство привело к ней Наталью Николаевну. И стало ей легче. Уговорились, что приедет она в Нордхаузен погостить.

— Они мужчины, им больше бояться надо, Катя, — говорила Наталья Николаевна о генерале. — Я так и не сказала ему и не скажу. Нас, женщин, все же не трогают, как их. Я думаю, Катя, нам ничего и не будет, если даже узнают.

Василий вернулся счастливый — замнаркома написал два письма: на имя командующего армией и в отдел кадров группы войск. Но только не согласился с Марченко, что Василий нужен Архангельскому комбинату: предстояли работы по переоборудованию пожарной сигнализации на всех предприятиях наркомата, и отделу капитального строительства требовался работник группы связи. Пока Василий рассказывал это, женщинам стало ясно, что удача отдалила его от них: он еще больше отошел туда, к Соне, к своему счастью, а они остаются здесь, при том, что оставил им Федор.

Катя предложила Василию остановиться у них, но Наталья Николаевна, помня о Катином муже, отговорила. Позвонили в Бабельсберг. Генерал был в гостинице и волновался. На прощанье договорились на завтра — созвониться и ехать осматривать Берлин.

20. БРЕД

Федор сидел за столиком, охваченный разудалостью. Выпитый киршвассер отодвинул действительность, гаштштетте казалась ему старинной таверной из давно прочитанных книг, посетители — регенсбургские обыватели — портовыми ворами, авантюристами, морскими волками. Он оглядывал их с надменностью бывалого человека, убежденного, что крепкий кулак — лучший пропуск во всех случаях жизни, и все жалел, что за столиками не было хорошеньких женщин.

Костя, отпивая из пивной кружки, рассказывал, то и дело приговаривая: «Так, так, — сказал бедняк, — денег нет, а выпить хочется», и тут же то, о чем рассказывал, сам называл «разговорами в пользу бедных».

Потом, за крайним столиком, толстяк баварец громко сказал «Руссише швайн»; в публике стали оглядываться и смеяться. Если бы Федор не был пьян и если бы соседи баварца не стали уговаривать, этого не случилось бы. Федор поднялся и пошел к столику, удобнее складывая кулак — в редких школьных драках он почти всегда выбивал себе большой палец и в конце концов научился складывать кулак, для

чего иногда брал в руку монетку или носовой платок. Федор стал над баварцем, тот смотрел снизу зло и вызывающе, красное лицо жирно блестело; он что-то выкрикнул Федору обидное на диалекте, чего Федор не понял, но тут же — всем корпусом — ударил в середину мясистого лица. Он помнил, как баварец повалился вместе со стулом, показывая толстые икры в белых толстых чулках, как вскочили сидящие за столиком, как со всех сторон стали надвигаться кричащие рты и размахивающие кулаки. Не вмешайся сосед баварца, Федор вернулся бы к своему столику и стал бы нарочно спокойно пить свой киршвассер, как подобает человеку, не позволяющему над собой шутить. Соседа он сбил прямым ударом левой. Потом бил, зажав в кулак чужую салфетку, выбирая для ударов подбородки. Костя оказался рядом — бил табуретом, матерился и кричал:

— Срывайся!

Затем перед глазами взметнулся ослепительный сноп, как будто бесшумно разорвалась граната, и все кончилось.

Очнулся Федор в валлисе. Первое, что почувствовал — ветер, пронизывающий холод и тупую боль в затылке. Первое, что увидел — темноту и рядом скрюченного Костю. Федор повел непослушными глазами — впереди маячили два силуэта в форменных фуражках. Испуг отрезвил; превозмогая боль, он всмотрелся — фуражки были не советского образца. Пробуя сесть, почувствовал на запястьях холодное железо наручников, — это было так необычно, — он окончательно пришел в себя.

— Влипли, — хрипло сказал Костя.

— Куда нас? Кто? — язык опух и мешал Федору говорить.

— Эм-Пи, американцы. Кажись в Платтлинг.

— Куда?

— В лагерь, — Костя придвинулся и зашептал на ухо: — Я тебе не сказал — я бежал из Платтлинга. Я власовец. Меня опознали, решили, что и ты... Тебя кто-то долбанул стулом по башке. На меня навалились и скрутили. В полицию. Приехали Эм-Пи. Я требовал, чтобы тебя в госпиталь, но полицейский сказал, что череп цел. Влипли! — Костя заскрипел зубами. — Как привезут, ты требуй, — что не власовец.

Понимал Федор Костю плохо, но одно было предельно ясно — опять арестован и уже по своей вине.

Познакомился он с Костей у газетного киоска; тот покупал брошюрку на русском языке. Заговорил. Костя сказал, что он остовец и что пробирается к дружку в Штуттгарт. Похожий на цыгана, с веселыми озорными глазами, он понравился Федору тем, что не скрывал, что советский. О себе Федор сказал, как говорил всем: из Балтики. Решили держаться вместе. У Федора оставалось тысячи две марок и две продуктовые карточки, которые дал ему капитан. У Кости не было ничего. Он уговорил Федора заехать в Регенсбург, к приятельнице. «Она нам бумаги устроит и денег подкинет». Приятельницы в Регенсбурге не оказалось — уехала в деревню «на менку».

Вечером попали в гасштетте. Он помнил, что отговаривал Костю,

но усталось, радость от встречи со своим, советским, наконец уверенность видимо бывалого Кости, взяли свое и Федор согласился «погреться». «Так тебе и надо! — подумал, злясь на себя, Федор. — И этот тоже хорош: беглый власовец, а говорил — остовец, ему бы прятаться, а он в Регенсбург поперся!» О власовцах Федор слышал на фронте, потом в Берлине в комендатуре, здесь — из разговоров с американцами узнал, что власовцев выдают. На фронте власовцами называли всех советских, кто служил в немецкой армии: в плен не брали, каждый имел право застрелить на месте.

— Что это, Платтлинг?

— Лагерь власовцев и пленных. Выдать могут... В других местах были выдачи. Многие порезались.

— Как порезались?

— Да ты что, в самом деле? Не знаешь, что ли, что там будет? Пленных, и тех наверно к стенке, не то что нашего брата.

«Опять..» — подумал Федор и тут же вспомнил о записке капитана.

— Алло! — громко крикнул он, приподнимаясь.

Правый силуэт в фуражке обернулся.

— Шпрехен зи дойч? — крикнул Федор, стараясь перекричать шум мотора.

Солдат отвернулся.

— Алло! Шпрехен зи дойч? — повторил Федор, каждое слово отзывалось в голове тупой болью.

— Но, — ответил второй солдат, не оборачиваясь.

— Ты что? — повел цыганским глазом в темноте Костя.

— У меня есть знакомый капитан, американец, — чтобы позвонили.

— Американец?! Эй! Бойс! Стопинг! Майн френд вил колинг ту юрс кэптен, американ кэптен!

Правый солдат обернулся и что-то крикнул.

— Что он говорит?

— А хрен его знает! Я в лагере научился нескольким словам поихнему, а что говорят, не понимаю. Эй! Майн френд вил колинг ту юрс кэптен! Американ кэптен! Плиз!

Солдат крикнул опять, сосед за рулем засмеялся. Впереди показались огни. Костя матерно выругался.

— Платтлинг, — сказал он и завертелся. — Карандаш есть у тебя?

— Зачем?

— Скорей напиши телефон твоего капитана! Пока не въехали в лагерь, надо этим попкам всунуть, может позвонят. Шанс! Среди них есть хорошие ребята.

Федор, боясь опоздать, обеими руками достал из нагрудного кармана пиджака продуктовую карточку и оторвал угол с номером телефона. Костя взял клочок, близко поднес его к глазам, прочел.

— Эй! Бойс! — закричал он солдатам. — Хир ис нумеро фром кэптен. Кол хим, плиз! Ю кол хим, плиз!

Солдат за рулем сказал что-то соседу, тот обернулся и взял клочок у Кости. Зажег фонарик.

— Плиз, бойс! Плиз! — старался перекричать ветер и шум мотора Костя. — Май френд ис френд юрс кэптен!

Затормозили перед большими деревянными воротами в отделке из колючей проволоки. Из проходной вышел солдат в белой каске и с белой повязкой на рукаве. Ворота медленно открылись, и Федор увидел ряды ярко освещенных прожекторами бараков. Костя молчал.

Их поместили в пустой комнате. Пришел блондинистый бесцветный лейтенант. При виде Кости он весело сказал, по-иностранному выговаривая русские слова:

— А, старый знакомый! Дронов собственной персоной! Не далеко же вы ушли.

Костя скрипнул зубами и не ответил.

— А это кто будет? — так же весело, словно играя, сказал лейтенант в сторону Федора.

У Федора от яркого электрического света так разболелась голова, что ему трудно было говорить

— Ваши лягавые схватили человека ни за что ни про что! — зло ответил за него Костя.

— Власовец?

Федор с трудом открыл опухшие веки.

— Его полицаи избили. Позовите лучше доктора, голову ему разбили. Он старый эмигрант из Балтики. К армии никакого отношения не имел, — опять за Федора ответил Костя.

— Документы есть?

— Полицаи забрали, — не моргнув, соврал Костя.

Федор полез в карман и достал кельнскую справку.

— Сейчас придет доктор, — прочтя справку, сказал лейтенант. — Утром разберемся.

Как только он вышел, Костя принялся ругаться:

— Зануда староэмигрантская! Переводчиком здесь. Он и еще один субчик.

Федор смутно понимал происходящее. Доктор с капитанскими знаками перевязал ему голову, дал какие-то порошки.

Лекарство стало действовать, и Федор, свернувшись у стены уснул.

Класс. Парта. Спины и затылки. Екатерина Антоновна вычерчивает на доске треугольник АБС... Белый треугольник по черному — негатив. Только успел понять: теорема о трех перпендикулярах! — как с задней парты Витька Корякин дернул резинкой по затылку Федора — против волос — снизу вверх! От боли закричал, но никто в классе не обернулся. Он сам не может обернуться к Витьке. А тот опять, еще больнее! Закричал снова, но уже одной спине с длинной талией и сильно обтянутыми бедрами Екатерины Антоновны. Она медленно, как в замедленном кино, обернулась. И оказалась Катей. Смеется... И в классе уже пусто, как на переменке.

Катя, у доски, медленно говорит: «Соня, вставайте!» И это сигнал: класс с Катей, с доской, с негативом треугольника пошли каруселью.

Быстрей, быстрей, потолок выше, выше, а когда все разрослось в сумеречный зал, осталось только повторяющееся эхо: «Соня, вставайте... соня, вставайте...» Потом все сразу исчезло, и кто-то тихо и просто сказал: «Соня, вставайте!» И это было началом стихотворения:

— Соня, вставайте! — свежий наряд
В раме дверной, от солнца оранжевый.
— Как вам не стыдно спать столько подряд!
Как не грешно вам... А помните, раньше вы...

Но это было давно, задолго до Кати. «Оранжевый» и «раньше вы» — как он тогда гордился этой составной рифмой. Но что дальше? Боль мешала вспомнить... Боже ж ты мой, как это было дальше?.. *Сверху из ничего выплыла стена, на которой с фотографической точностью, как было на листе черновика, написано:*

Милые руки, улыбка, очей
То же сиянье — как мог я забыть их!
Не удержать, упустить! Но ничем
Мне не вернуть прошлогодних событий...

Дальше стерто. Резинкой... Стена, как стена. Белая. Где-то тает, капает с крыши... Капнет и слушает... Да это кто-то ходит по комнате...

Федор открыл глаза, успел разглядеть потолок и стену. Попробовал повернуть голову, но сразу же заскользил, валясь в яму, на краю которой сидел старичок с белой бородкой и в очках.

Река текла спокойно, серебрясь и позванивая. Он лежал в траве и смотрел в небо. Облака и синь... Густой усатый голос говорил:

— Тема революции, пережитой тобой, революции, изуродовавшей твою жизнь, требует сильного и сознательного волевого напряжения.

Другой голос, знакомый, отвечал:

— Процесс познания — это разговор человека с Богом. Стремление большевиков заставить людей в этом разговоре перестать быть учениками, а стать в позу учителя — есть не что иное, как влечение к смерти...

Так это же профессор Рудаков! Что он здесь делает на реке?

— Современный период истории есть переход от отдельных государств к единому государству. С этим вы не можете не согласиться. Будет ли это государство говорить с Богом тоном зазнавшегося ученика или останется почтительным и благоговейным — от этого зависит судьба мира, смерть или жизнь...

Шумят кусты. Облака ускоряют свой лет. Какой ветер гонит их?

— Наша трагедия даст свои плоды познания большевизма. Все познается по сравнению — в этом методологический смысл познания большевизма...

Вместо паузы — шум кустов и журчание реки у берега.

Федор хотел приподняться, но полетел в яму.

Кто-то тасовал колоду больших — в два раза больше нормальных — карт. Потом карты сами раскладывались на столе в пасьянсе. Фе-

дор посмотрел, а там оказались не карты, а фотографии. Карточка Кати легла вместе с карточкой соседки по дому, в котором он жил мальчиком. Капитана Боба — рядом с Сониной, а мамина оказалась по соседству с фотографией Тоденгаузена... Кто перетасовал колоду лет пережитого? Пасьянс не вышел — одна карта осталась на столе закрытой. Непослушной рукой Федор перевернул ее — он сам, пополам с Костей! Оглядел стол и вдруг увидел, что у фотографий шевелятся губы. Прислушался: Федя... Федя... Федя... Потом громче: Федя!.. Федя!.. Федя!.. а затем в крик: Федя!.. Федя!.. Федя-а-а-а! Стол сдвинулся и стал вращаться — быстрей, быстрей! Лиц уже не видно, только крик: Федя-а-а-а!.. Бешено, воронкой! И-и-и-и... Он бросился в канаву, прижался к грязи. Взрыв! Его отбросило, оглушило. Теряя сознание, успел понять звук взрыва: Панин!

Тот же потолок, та же стена. Справа на койке, лицом к Федору, старичок в очках и другой, со спины, в халате. Федор пошевелил головой, но комната стала наклоняться, и он поторопился закрыть глаза.

— ... Зачем закрывать глаза? У нашего народа явно проступают черты оккупированного народа. Власть не своя!

Говорил — в халате. О ком это он?

— .. Старые оркестранты имеют такую же забитость От многих лет команды, от жизни по дирижерской палочке. Разница между свободным человеком и нашим — это разница между солистом и оркестрантом. И обратите внимание — оркестрант умеет играть все, а солист нет ...

Федор лежал не открывая глаз, боясь свалиться в яму. Ему хотелось услышать, о чем будет говорить дальше усатый голос.

— ... Я говорю не о страхе смерти. Я имею в виду советский страх, комбинированный. В сознании каждого советского человека болезненно отражен государственный принцип распоряжаться человеком как вещью, во имя политической целесообразности. У каждого советского человека — в той или иной мере — две реакции на все явления жизни: одна — для самого себя, — другая — для среды.

Первая — органическая, но запретная, вторая — дозволенная, но условная. Страх несет функцию усилителя. Естественное он загоняет вглубь, часто в область подсознательного, а дозволенное усиливает. Он измучивает человека так, что инстинкт самосохранения, желание жить без непрерывной пытки толкает сознание подчиниться.

Федор лежал, стараясь не пропустить ни одного слова.

— ... Вы историк и все ищете исторические аналогии. Вы почти пять лет наблюдаете нас, советских, и удивляетесь нашей переменчивости. Вам хочется установить, сколько процентов в каждом осталось человеческого, или, как вы говорите, божественного, а сколько процентов из этого большевикам удалось уничтожить. А человека советского надо рассматривать в движении. Статический метод здесь не подходит. Сделайте сегодня точную фотографию советского человека, а через день или год он уже не тот! Совсем уничтожить человеческое

— такой задачи себе большевики не ставят. Им важно время, им важно власть выиграть.

Вы не понимаете смысла перманентных чисток. Кого чистят, кого ликвидируют? Тех, в ком побеждает естественное. А его — раз, и долой. При этом заметьте, что советский человек, достигнув высокого положения, больше знает, может сравнивать и в конце концов он начинает осознавать свой разлад. Поэтому чистки, главным образом, направлены потив них.

Теперь меня обязательно ликвидировали бы. А кого берут на их место? Пастухов, чернорабочих, которые за движение кверху, — за институт, за звание инженера, директора, дипломата — человеческое в себе забывают. А пока опомнятся, пройдет лет десять. Десять лет энтузиазма, службы... Вот что нужно Сталину.

Старичок поднялся, подошел к Федору. Снял со лба компресс, зажурчала вода, на лоб легло прохладное, захотелось потянуться. Федор чувствовал, что в нем что-то прошло, как бывало после кризиса болезни.

Собеседники замолчали. И Федор уснул. А когда проснулся, на потолке уже горела лампа. Скосил глаза — старичка справа не было. На соседней койке лежал кто-то с головой под одеялом. Разговаривали слева. Говорил тот же усатый голос.

— Выдадут, ну и черт с ними! Мне бы только узнать — что там? Как там теперь? Не может быть, чтобы война — такая война! — чтобы победа не изменила человека! Мы, власовцы, — порождение страха, вернее, бегства от страха, началом которого было пораженчество первого года войны. Хотя бы одного живого человека оттуда повидать! Узнать, что я не ошибаюсь — и все. Тогда и умирать легко. Пусть выдают!

Федор пошевелил ртом, проверяя, может ли он говорить.

— А что вы хотели бы знать? — ясно произнес он, глядя в потолок.

В следующее мгновение над ним выросли два лица: с бородкой — его он уже знал, и другое — длинное, бровастое, с блестящими черными глазами.

— Я, кажется, опомнился.

— Вы вторые сутки лежите и бредите, — сказал старичок, снимая компресс. — Доктор говорит, что кость цела, но сильное сотрясение.

— Я слышал, о чем вы... Я недавно оттуда... Майор... Только никому не говорите..

— Как же вы к нам попали? — быстро спросил длиннолицый.

— Случайно...

— Вам надо немедленно заявить. Вы союзный офицер.

— Нельзя. Меня выдадут. Есть такое соглашение... Как вас, так и нас.

Лица переглянулись. Старик прохладной рукой пощупал лоб Федора.

— Вам лучше не разговаривать. Вот, примите таблетку.

Он умело и ловко вытряхнул таблетку и подал Федору.

— Поспите. Потом поговорим.

— А какое сегодня число?

— Двадцать второе февраля. А теперь спать, спать.

— «И не видеть снов», — подхватил Федор.

Длиннолицый по-новому взглянул на него, видимо узнал пастернаковскую строку.

— А я думал, у вас усы, — сказал, глядя на него, Федор. — У вас голос усатый.

Оба улыбнулись, как взрослые — выздоравливающим детям. Федор закрыл глаза. Хотелось плакать.

21. ВЛАСОВЦЫ

Профессор истории и философии Иван Иванович Осьмеркин до войны преподавал в Юрьевском и Пражском университетах. У Власова читал лекции в школе пропагандистов. Второй — полковник Чугунов — до войны был вторым секретарем райкома Москвы, на войне — замполитом пехотной дивизии.

Оба сидели на койках и ждали пробуждения Федора.

Федор проснулся поздно, оглядел потолок, пошевелил головой — в ушах шумело, но «ямы» не было.

— Ну как, молодой человек? — сказал подойдя профессор.

— Кажется, в порядке.

Полковник сразу же пересел на койку Федора и сбоку, горячим глазом, оглядел его.

— Это правда, что вы вчера сказали?

— Правда.

Полковник повернулся всем корпусом и посмотрел на Федора в упор.

— Вы когда оттуда?

— Месяц с небольшим.

— Вот это здорово!

Полковник встал, хотел по привычке пройтись, но сделав шаг, вернулся к Федору.

— Вы извините, если я начну вас расспрашивать.

— Пожалуйста.

— Нет, нет, Павел Петрович, — вступился старичок. — Раньше надо выяснить его положение и решить, что делать. Вы, — сказал он Федору, — должны немедленно заявить, что вы не пленный.

— Я не могу сказать, кто я — выдадут. Я уже сидел у американцев и... бежал.

— Костя Дронов нам рассказал, — вмешался полковник. — Как вы могли так глупо напиться?

— Я и сам не знаю. То побег, то предательство немца, то предатель-

ство русского. Потом арест, допросы, опять побег... Цу филь, как говорят немцы, для одного месяца.

— Вот видите, профессор. Всех! Всех им подавай! Как мальчишек, ваших демократов обкручивает геноссе Сталин. А вы говорите: европейский гуманизм, право убежища!

Полковник подошел к койке Федора.

— Скажите мне только одно: что дома, что изменилось? Вы — офицеры, солдаты, члены партии — те же, или другие?

— Как вам сказать. Сложно это... Лучше я про свой разговор с моим другом подполковником расскажу. Он сын колхозника, член партии — типичнее.

Федор рассказал о разговоре с Василием — в дивизии, и в последний раз перед побегом.

Профессор слушал, крутя веревочку, полковник сидел ловя каждое слово Федора. Когда Федор рассказал про записку бежавшего из дивизии на Запад сержанта Егорова, полковник вскочил и чуть не закричал профессору:

— Вот оно, видите! «Держись, гад! Я, русский Иван, еще вернусь домой!» Вот оно, сознание победителя! Ведь это он и мне мог так написать! Сукин сын! — в восторге произнес он, блестя глазами. — Разве до войны такое было?!

Рассказал Федор и о своей поездке домой, и об аресте Сони, и о встрече с безногим Митей Седых. И опять вскакивал Чугунов. Федору было приятно волнение полковника, и он, чтобы поддержать его радостное возбуждение, сказал:

— У нас солдаты сейчас любят петь «Песенку фронтового шофера», особенно последние слова припева: «Помирать нам рановато — есть у нас еще дома дела».

Полковник попросил пропеть всю песенку. И когда Федор спел припев, стараясь петь бодрее и энергичнее, полковник вскочил и забегал по комнате.

— Это же необыкновенно! Ах ты, черт тебя дери! До чего замечательно! «Есть у нас еще дома дела» — вы понимаете, профессор? А смысл-то какой! Ура!

Старичок из-под очков взглянул на полковника.

— Но вы совсем не обратили внимания, Павел Петрович, на арест сестры, на массовые аресты в бывших под оккупацией губерниях, на запрет говорить о Европе...

— Эх, Иван Иванович, это наш народ знает. Это Сталину не поможет. Разве, — он ткнул пальцем в сторону Федора, — разве раньше так разговаривали с начальником НКВД?

И опять рассказывал Федор, и опять вскакивал полковник, а профессор крутил веревочку.

Принесли завтрак — чашку кофе, кусок хлеба и немного повидла. Профессор прошел к четвертой койке, где все так же, укрывшись с головой, лежал кто-то.

— Что с ним? — спросил Федор полковника.

— Горло перерезал себе.

— Горло?!..

— Только здесь, в лагере, узнал о ликвидации Калмыцкой республики. Он калмык. И, конечно, — страх. Ночью вот так укрылся с головой и бритвой... — полковник дернул ладонью по горлу.

Профессор принялся кормить забинтованного калмыка. Полковник словно ждал этого, пододвинулся к Федору и шепотом спросил:

— А к нам... о нас что говорят? В народе? В армии?

Федор не знал, что отвечать.

— Только, пожалуйста, правду, как есть! — жарко зашептал Чугунов.

— Армия всех, кто был на стороне немцев... не любит... На фронте, сами знаете... на месте расстреливали. Но кто такие власовцы — толком никто не знает. Я, честно говоря, смутно себе представляю... Вот в Белоруссии, по-моему, знают больше, но говорить боятся. Теперь, после ареста генерала Власова и других, чувствуется, что жалеют. Даже в армии.

— Как же это?! Не знают? Не слышали про РОА? Про Пражский манифест?

— Я не слышал... — сожалея, что делает полковнику больно, ответил Ферод.

— Но в Белоруссии, говорите, знают, да?

— Думаю, что знают.

Чугунов опустил седеющую голову и молчал.

— Вы ешьте, — подошел к Федор профессор. — Вас как зовут?

— Федором Николаевичем.

— Раньше подкрепитесь, Федор Николаевич, а наговориться успеем.

После завтрака расспрашивал больше Федор. Рассказывал профессор, — как лекцию читал. Чугунов лежал на койке, о чем-то своем думал, редко вставляя замечания.

— К концу сорок пятого было здесь около десяти тысяч: эсэсовцы, венгры, просто немецкие пленные, и мы, власовцы — тысячи три. У нас и театр свой, и оркестр, и курсы иностранных языков, журнальчик издаем. Церковь есть — сами устроили. Свои художники алтарь расписали, иконы... Хотя и произошли уже выдачи в Лиенце, теперь в Дахау... Но мы верим в право на политическое убежище. Ведь Власовское движение — движение политическое. Пражский манифест тому доказательство.

— Даже слух пустили, — отозвался с койки полковник, — что сам генерал Эйзенхауэр читал манифест и сказал: «Это демократическая программа, и армия Власова — самая демократическая из армий, какие я только знаю», — усмехнулся и добавил: — Пустили и утешаются.

— Может быть и придумали, а может быть и нет, Павел Петрович. Да... Жизнь, Федор Николаевич, конечно, не легкая. Что поделать — пленные. Но дух поддерживает церковь. Рождество встретили, как подобает православным. Церковь не могла вместить всех желающих. Службу простояли на дворе. Горячо молились...

— Бога, профессор, вспоминают, — проговорил Чугунов, — когда страшно становится.

— В январе пришло известие о выдаче в Дахау, — продолжал тем же голосом профессор. — Настроение, конечно, упало. Люди опустили головы. Страх, — профессор поглядел в сторону полковника, — придавил... Талантливый художник Мельников, тот что церковь расписывал, покончил с собой. Доктор Быстролетов в знак протеста голодовку объявил. Восемнадцать дней держался молодцом, — выполнял туалет, выходил на построения.

Подали общий меморандум коменданту лагеря, подполковнику Джиллесу. Ответил: «Никто насильно выдан не будет». Успокоились. Русская общественность из-за проволоки помогает, чем может: посылочками, ободрением. Несколько священников хлопочет. Одному из них удалось вывезти тридцать человек под видом церковного хора. Участились попытки побегов. Вот, как лейтенант Дронов. Слухи, что за проволокой людей хватают на улицах советские офицеры, сдерживают. Да и вообще избегаем раздражать американцев...

Чугунов на койке шумно вздохнул.

— От страха, сопротивляемость падает, профессор. А насчет русской общественности — преувеличиваете. Она, ваша общественность, сама трясется.

— Прибыла военная комиссия под председательством генерала Робертса, — продолжал профессор. — Опять слух: среди американцев, мол, переодетые советские. Люди реагировали болезненно. Послали делегацию к генералу. Успокоил. Комендант выдал блокам документ за своей подписью: «Никто насильно репатриирован не будет. Даю слово американского офицера». А двум — казаку, бежавшему из советского плена, и другому — Герою Советского Союза — лично обещал скорую свободу. «Вы уже одной ногой стоите за проволокой», сказал при этом. К генералу Робертсу может идти каждый запросто, и разговаривать.

Полковник опять шумно вздохнул, но ничего не сказал.

— Люди еще больше успокоились. Но снова слух — советские офицеры будто бы рядом, в Дегендорфе. Будто все анкеты из комиссии возят им на аэроплане. Как видите, слухи, а вот Павел Петрович допускает...

— Руку чувствую, Иван Иванович, — отозвался Чугунов, — руку знакомую, не американскую. Одни анкеты чего стоят. Нам, советским, анкета ох как знакома.

— Всех вызывали в комиссию. Все заявили: родине не изменяли, хотели бороться против антинародной власти Сталина. Каждый о лишениях, репрессиях, концлагерях рассказывал. И о колхозах...

— Вы лучше расскажите о вопросах анкеты.

— Вопросы были такие: носил ли военную форму, имел ли оружие, какие погоны, пользовался ли правом голоса на родине? Вопросы, как вопросы.

— Ах, профессор, — Чугунов сел. — Не понимаете! Мы-то знаем, куда такие вопросы клонят. Военную форму носил? Носил. Погоны,

оружие? Да. Значит, военный преступник. Правом голоса пользовался? Пользовался. Значит, изменник родине. Да кто такой вопрос мог поставить — о праве голоса? Американцы? Нет. Американцы-то думают, что право голоса у нас вроде как у них в Америке. Ну, рассказывайте, рассказывайте, — Чугунов снова лег.

— Комиссия опрос окончила, уехала. Но тут опять, знаете, случилось. Наши уборщики нашли в помещении комиссии несколько смятых бумаг. Принесли мне — я английский знаю. Оказались бланками решений комиссии. Внизу бланка два пункта — «Является ли данное лицо военным преступником? Подлежит ли выдаче в Советский Союз?» Расстроились люди ужасно. Я, как мог, успокаивал. А тут эти два офицера, владеющие русским языком. Вместо того, чтоб успокоить, один сказал, что у нас «хорошо поставлена разведка». Людям не до шуток. А другой сказал, что все решать будет Франкфурт. Напомнили им обещание генерала, слово офицера подполковника Джиллеса. А лейтенант заявил, что это, мол, личное дело подполковника. На него набросились — он русского происхождения. А он тоже вскипел: у каждого из нас, мол, личные недоразумения со Сталиным, каждый чем-либо обижен советской властью. Поднялся крик, ссора. А он горячится: «Вы все скомпрометировали себя союзом с нашим общим врагом. Вы шли на риск, как военные авантюристы, и вы проиграли. А поэтому имейте мужество нести ответственность». Молодо-зелено...

— Заметьте, Иван Иванович, что это говорит сын русских эмигрантов. Что же вы хотите от американцев? — отозвался полковник.

— Я, кажется, его знаю, он у меня справку УНРРА взял. Блондин? — спросил Федор.

— Да, он, — ответил профессор. — Другой, чернявый, в очках, еврей. У того хоть есть основания ненавидеть всех, кто был с немцами. Но у этого... очень неприятно. Ему, конечно, возражали: хоть с чертом, но против Сталина. Стали писать всем и вся — Черчиллю, Трумэну, Папе Римскому.

Павел Петрович считает, что в случае опасности надо забаррикадироваться в бараках и оказывать сопротивление... Вот так и живем. Да...

— Что же вы, Иван Иванович, не рассказали, за что вас и меня в больные произвели? Ивана Ивановича посадили сюда за знание английского: вел курсы английского, писал всякие прошения, был за переводчика. А это американцам неудобно. Меня изолировали в плане борьбы с «вождизмом». Я народ организовывал по принципу борьбы со страхом.

Федор, ухватившись за подоконник, подтянулся к окну. За мокрыми стеклами он увидел замешанную автомобилями грязь, выстроившиеся длинные бараки с квадратными заколоченными оконцами. Дул ветер. Низко шли снеговые тучи. Людей во дворе было мало; перебегали, согнувшись под ветром, из барака в барак.

— Теперь я расскажу, Федор Николаевич.

Чугунов несколько секунд сидел сжимая и разжимая руки, словно разминал перед тем, чтоб крепко за что-то ухватиться.

— Глубокоуважаемый Иван Иванович, видите ли, верит, глубоко верит в демократический мир, в котором он прожил без малого тридцать лет. Он историк и на все смотрит в плане исторических параллелей и сравнений. Сравнения эти его успокаивают. А мы с вами, советские, вернее подсоветские, люди, мы лучше, чем кто-либо на свете знаем: политика дело безжалостной выгоды государства или партии. На Западе хотят, чтобы Сталин почил на лаврах и стал этаким добрым дядей. Вот они и умасливают его и верят в перерождение советской власти. Смысл власовства ясен — в страхе Сталина перед ним.

Рожденное бегством людей от страха, Власовское движение есть не что иное, как постепенное освобождение от советского страха. Люди сдавались в плен не желая умирать во имя жизни в страхе, и от страха смерти, конечно. И, заметьте, большинство, собственно, не сдавалось в плен, не переходило на сторону врага, а сидело и ожидало, когда их возьмут в плен. А было и другое: отступали, с надеждой что их догонят и окружат. Вы понимаете разницу? До последней минуты боялись! И страх искусственно поддерживался заградотрядами, расстрелами, штрафбатальонами. Инстинкт самосохранения — вот чем действовал и действует Иосиф Кровавый. Из немецкого плена шли к Власову, шли от страха голодной смерти, от страха тифа, холода. Некоторые отказывались от родителей, от родины, называли себя фольксдейтчами, незаконными детьми немцев. Все это было этапами освобождения человека от советского страха. Болезнь роста, как говорили у нас. Так началось рождение идеи освобождения. Власовство — это метаморфоза запуганного человека, превращение в бойца. Власовство — часть общего освобождения нашего народа от страха в горниле войны. Мы, власовцы, не дошли до победы. Но народ дошел. Народ победой закрепил свое освобождение от страха. Я так думаю, я верю в это.

Власовство едва только стало обрастать плотью, мускулами, но гитлеровцы оказались плохими педиатрами, вырасти ему не дали. Теперь, на поверку, оказалось, что страх в нас только заглох, отступил, не исчез из сознания или подсознания. Вы посмотрите: в бараках люди ходят серые от страха, давятся по ночам, режут себе вены, боятся агентов, сексотов. Вы слышали, как они стонут во сне? Страх душит их, и они вскакивают, обливаясь холодным потом. Сновидения — мир подсознательного. Мы с вами свидетели рецидива советского страха.

— Как же совместить, Павел Петрович? Эти люди, серые от страха, как вы говорите, учат иностранные языки, изучают новые специальности, готовятся к жизни.

— Языки? Одни учат, чтобы выдать себя за выходцев из Польши или Балтики, другие, чтобы уметь по-английски просить американцев не выдавать их. А специальности: после победы Сталину потребуются рабочие руки — расстреливать не станет. Кто сидел в лагерях, тот знает, какие специальности там дефицитны. Знают, что электрику, сварщику или санитару выжить в лагере легче. Выжить! — вот для чего учат специальности, Иван Иванович. Перестраховка и типичная раздвоенность советского сознания.

За стеной в углу послышались голоса. Молодой сильный голос запел:

Не знал отца, не знал я мать
Мальчонка был с задором.
Провел я детские года
В канаве под забором.

Чугунов подошел к окну и попытался заглянуть в сторону.
— Иван Иванович, по-моему, это Костя.
— По-моему, он.

Мне жизнь копейка, смерть плевок,
Гляжу веселым взором.
Я все на свете пережил
В канаве под забором.

— Вот вам пример. Храбрейший солдат, толковый офицер. Мог стать настойщим борцом за освобождение. А кем был? Дезертиром, хулиганом, советским уголовником.

И вот когда сентябрь пройдет
По переулку вором,
Тогда и я умру в ту ночь
В канаве под забором.

— На Западе из вора и гангстера никогда не получится политический борец, а у нас — Костя вам пример.

Профессор пошел к калмыку, дал тому напиться. Полковник лег. Разговор, казалось, прервался. Вдруг Чугунов рывком сел и стукнул кулаком по койке.

— Тупица нацистская! А демократический Запад продолжает! Сейчас надо было бы все сделать, чтобы уберечь наш народ от рецидива страха. Не давать Сталину снова оседлать человека. А народ остальное сам бы довел. А они? Они делают все, чтоб помочь Сталину.

Профессор сел рядом с Федором.

— Я понимаю, Федор Николаевич: для вас, для Красной армии, мы, власовцы, кажемся изменниками. Но поверьте мне, наша трагедия — это трагедия единственной попытки свергнуть режим Сталина своими силами. Мы имели все шансы стать многомиллионным движением. Только жадность, колониальная глупость Гитлера и его окружения предали эту историческую задачу. Но я уверен, что демократические державы этого предательства не повторят.

Чугунов хотел возразить, но неожиданно, без стука, открылась дверь, будто кто-то подслушивал за нею. Вошел знакомый Федору лейтенант. Полковник лег и отвернулся. Профессор, наоборот, встал.

— Здравствуйте, господин профессор. Как вы себя чувствуете?

— Здравствуйте, господин лейтенант. Благодарю вас.

Лейтенант прошел по комнате, заглянул в какой-то листок.

— Я имею сообщить вам, господин профессор: вас и этого, — он показал на калмыка, — сегодня или в понедельник перевезут в госпиталь.

Лейтенант остановился против койки Чугунова.

— А как чувствует себя господин полковник Чугунов? Надеюсь, хорошо?

Чугунов не ответил.

— Вас, господин полковник, переведут в ваш барак, — лейтенант сделал паузу. — Но сегодня у меня к вам личная просьба, полковник. В вашем блоке имеется русская пишущая машинка. Мне очень хочется переписать стихотворение Лермонтова «Бородино». Ваши парни требуют письменного разрешения от вас, как от старосты блока. Я очень прошу вас...

Чугунов встал, молча написал записку и также молча подал ее лейтенанту.

— Благодарю вас.

Федор ждал, что лейтенант и ему что-нибудь скажет. Только дойдя до двери, офицер обернулся.

— А по вашему делу, господин Таневский, сделан запрос. Вы останетесь здесь до получения ответа.

За стеной опять запел Костя: «И вот, когда сентябрь пройдет...»

Лейтенант подошел к окну, но ничего не увидел, оглянулся на Чугунова, усмехнулся.

— Люблю русские песни, музыку. Чайковский, Мусоргский, Рахманинов... Конфуций сказал: «Если бы все люди любили музыку — не было бы войны». Потому будем любить музыку. До свиданья, господа.

Не успела щелкнуть задвижка, как Чугунов, громко, в голос, сказал:

— Дурак.

Профессор испуганно замахал руками.

В комнате потемнело, все трое оглянулись в окно. За стеклом смеялось белозубое лицо Кости. Чугунов приоткрыл окно.

— Господин полковник, — сказал Костя, оглядываясь, — в бараке приказано сломать перегородки между койками и не закрывать на ночь вторых дверей. Сняли телефоны. Свидания сегодня опять не дают.

— Как ты пробрался?

— Так я ж вроде в штрафроте, на работу пригнали.

— Что народ?

— Волнуется, некоторые паникуют.

— Скажи, что завтра воскресенье: американцы отдыхают. Завтра ничего быть не может.

— А как Федя? Кумпол зажил?

— В порядке, — ответил придвигаясь к окну Федор. — Мы с тобой маху дали: записку с телефоном отдали. Отсюда можно было бы позвонить.

— Да ты что? Так давай — звони: Мюнхен, ГР 4 23 00.

— А ты откуда знаешь?

— Так я же перед тем, как отдать, прочел! — засмеялся, блестя цыганскими глазами, Костя.

— Что ты говоришь! Постой, запишу.

— Господин полковник, что передать ребятам?

— Скажи, что завтра или послезавтра вернусь. И чтоб духом не падали. Устрой там что-нибудь для веселья.

— Есть, господин полковник, — Костя обернулся. — Срываюсь, а то попка идет.

— Ну вот, — сказал Чугунов, пройдясь между коек. — Что вы на это скажете, глубокоуважаемый Иван Иванович? А если прибавить факт появления двух грузовиков с резиновыми палками, привезенными на комендантский двор, то пахнет горячим, как говорит Костя.

— Причем здесь палки, Павел Петрович? Имущество, положенное, как говорит тот же Костя, всякому лагерю военнопленных.

— Нет, вы неисправимы, Иван Иванович! — отмахнулся Чугунов.

Профессор хотел ответить, но передумал и пошел к калмыку.

Принесли обед, а вместе с обедом — по пять пачек немецкого табака.

— Это еще что? Откуда такая щедрость?

— Вам, Павел Петрович, и здесь мерещится умысел, — тоненько засмеялся профессор. — Без табака плохо, и с табаком не так.

По заведенному Чугуновым порядку после обеда полагалось спать. Когда полковник снимал халат, Федор увидел у него под рубашкой не то образок, не то крестик. Это было так не похоже на Чугунова, что Федор уставился и глядел, пока тот заметил. Чугунов молча полез за ворот, вытащил заношенную, потемневшую от пота, тесемку и стал отвязывать. Узелок затянулся и отвязывать пришлось довольно долго. Федор смотрел и ждал.

— Ключ, — сказал Чугунов, протягивая бронзовую пластинку. — От московской квартиры моей.

Федор взял ключ и стал рассматривать: обыкновенный ключ от английского замка — стертый, как старый пятак, с чернизной в пазах.

Чугунов лег, натянул одеяло до подбородка, вздохнул и сказал:

— Открыть бы им сейчас дверь, войти...

Федора, как в ледяную воду, бросило в жалость к этому человеку.

— Вы вчера обмолвились строкой Пастернака. Вот у кого замечательно сказано об этом:

«Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь...»

За стеной, жалуясь, завизжала пила. Что она пилит? День и ночь, день и ночь.

— А вы знаете, какое сегодня число? — продолжал Чугунов. — Двадцать третье февраля — День Красной армии. В Москве парад, приемы...

Федор увидел, как крепко полковник зажмурился.

— Да... — ответил Федор, вспоминая Берлин, комендатуру, дивизию.

22. ПЛАТТЛИНГ

Проснулся Федор от стука: по крыше хлопала оторвавшаяся доска. На дворе дул штормовой ветер. Дощатые стены гудели, где-то в щели посвистывало. От окна тянуло холодом. Вся комната в полусвете далеких прожекторов, перекрещенная тенями оконных рам, казалась больше.

Стараясь не разбудить соседей, Федор подтянулся и глянул в окно. За ночь выпала снежная крупа, — земля лежала белая, тоскливая. Свет прожекторов был мертвеннее, бараки ниже и безлюднее. Над входом крайнего барака размеренно подмигивал фонарь.

— Вы что не спите, Федор Николаевич? — услышал Федор шепот профессора.

— Стучит вот... — также шепотом ответил Федор.

— Ветер-то какой поднялся...

— Да...

— «Ветер, ветер на всем белом свете...» — неожиданно громко раздался голос Чугунова.

— А вы почему не спите?

— Думаю, профессор, думаю... Вы молитесь, а я думаю, — каждому свое.

— От молитвы, Павел Петрович, легче...

— Наверное. От мыслей тяжелее.

Помолчав, полковник тихо, совсем по-другому, сказал:

— Жизни, Иван Иванович, жалко.

Профессор не нашелся и стал закуривать. Федор тоже закурил. Один только калмык лежал, укрывшись с головой. О чем он думает? За все эти дни не произнес ни звука.

— Сколько бы еще можно было сделать... — опять проговорил Чугунов.

— И сделаете, голубчик, Павел Петрович.

— Знаете, чем я сейчас занимался? Арифметикой. Да. Мне недавно исполнилось сорок шесть лет. Если бы мне дали десять, то сорок шесть плюс десять было бы только пятьдесят шесть. А ведь в пятьдесят-то шесть лет еще многое можно было бы... — и как бы подводя черту под высказанным, прибавил: — Только Иосиф Кровавый мне десять не даст.

— Что с вами сегодня, Павел Петрович?

— Иосиф Кровавый мне десять не даст... — не слыша профессора, повторил Чугунов.

Где-то далеко, сквозь ветер, загудели автомобильные моторы: по дороге проходила автоколонна.

— А почему это отец Сергий вчера не служил? — меняя разговор, спросил профессор.

— Не пустили отца Сергея — и все. Сегодня воскресенье — пустят, — ответил полковник. — А который час?

— Без двадцати шесть. Не нравитесь вы мне нынче, Павел Петрович. Завтра вас в барак вернут, там гам, шум, заботы нахлынут. Отоспались бы.

— Стучит, как сказал Федор Николаевич. Помните, профессор, Уленшпигеля? «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Да и что спать, Иван Иванович? Поговорим лучше. В последний раз, наверно: вас в госпиталь, меня в барак. А завтра... Вот вы в темноте молились, я и подумал: у профессора Бог, а у меня что? У меня вера в человека. Вы страх верой в Бога побеждаете. а я верой в него, в человека. Но мы с вами оба страх победили. И победим. Победим, Иван Иванович?

Профессор ответил не сразу.

— Должен вам сказать, Павел Петрович, и я думал о том же. О страхе. Вы напоминаете мне философов страха, только со знаком минус. Киркегор категорию страха выдвигает как необходимое условие истины, как основу человеческого совершенства и спасения.

— Слышал, Иван Иванович, слышал. Не верю я им, Иван Иванович. Ни человек не умрет, ни жизнь не умрет. Ведь из них кто-то, кажется Сартр, договорился до того, что жизнь наша, мол, не что иное, как авантюра, без единого шанса на успех. А вот я — обреченный на выдачу и смерть, обанкротившийся власовец, утверждаю — все это чепуха! Старость — вот что это! Молодость никогда не верит, что умрет!

И, знаете, Иван Иванович, даже у Сталина больше здорового, чем у этих гавриков. Только нас, русских, этим не возьмешь. Не выйдет! У нас уже было: богоборчество, богоискательство, декаденты, хлысты, «свобода полов», долой стыд и позор! А что вышло? Дегтем на ворота — вот чем русская женщина ответила. Вцепилась в дитя свое, в семью свою и — отстояла. Вот у кого надо учиться философии жизни, Иван Иванович.

Они, женщины, больше, чем мы на войне, спасли родину. И я в них верю. В великое материнство на земле верю! Только оно, материнство, спасает человечество от человеческой выдумки. А не ваши европейские умники.

— Материнство, Павел Петрович, я понимаю как любовь, а любовь — это Бог.

— Так и не так, Иван Иванович. Материнство — любовь деятельная, эгоистичная, земная. Любовь же Бога — абстрактность, этакое, знаете, непротивление злу...

— Христианская любовь, Павел Петрович... Не так вы ее понимаете.

— Может быть, может быть... Ведь я, Иван Иванович, двадцать четыре года был большевиком. Теперь я кающийся большевик. Пом-

ните кающихся дворян? Так вот я — кающийся большевик. И власовство мое было покаянием. Не от меня зависело, что оно вышло этаким Рудиным, да еще в стиле модерн.

Чугунов замолчал, молчал и профессор.

— Сталина победить можно, но для этого надо быть хитрее, а главное, здоровым и чистым. У вашей Европы нет здоровья. В нашем власовстве не было чистоты. Понимаете, к чему я веду? В христианстве есть большая чистота, в материнстве — и чистота и здоровье.

Федор первым услышал непонятный гул. Где-то совсем рядом, сквозь ветер еще громче загудели десятки автомобильных моторов, послышались крики команды, свистки. Когда раздался топот многих ног, услышали и Чугунов с профессором. К окну вскочили втроем. Двор был полон солдат. Группами, по свисткам, они быстро расходились, окружая бараки. Все были вооружены, с резиновыми палками в руках. Вдоль забора стояли часовые.

— Вот оно... Началось, — задыхаясь прохрипел в оконное стекло Чугунов.

Солдаты врывались в бараки и, подгоняя палками, выталкивали людей — в белье, в одеялах, многих босиком — на двор, на снежную крупу. Их отводили между бараками и там выстраивали. Истошно гудели десятки невидимых автомобилей. Люди кричали, но, как в немом кино, крика не было слышно.

Из офицерского барака вытащили какую-то фигуру в нижнем белье и тут же поставили лицом к стене.

— Пропагандист, поручик Милонов, — словно диктуя, сказал Чугунов.

Выволокли еще двоих. Один, в разорванной рубахе, отчаянно сопротивлялся, но солдат взмахнул палкой, и человек, как вдребезги пьяный, повис на руках у других солдат. На большой скорости к ним подъехал виллис. Солдаты, торопясь, впихнули троих на заднее сиденье, автомобиль развернулся и помчался в сторону ворот.

— Вот вам гарантия и слово вашего генерала! — закричал вне себя, отбегая от окна, Чугунов.

Федор догадался: те двое были — Герой Советского Союза и казак, прибежавший из советского плена.

— Господи, не может быть! Господи, что же это такое?! — шептал профессор, не отрывая глаз от выволакиваемых, выталкиваемых, босых, полураздетых.

Гудели моторы. Ветер, обезумев, налетал на выстроенных, рвал на них одеяла, полы шинелишек, дул в лица солдатам, словно желая помешать, не допустить.

Стало светать. Похудел свет прожекторов и фонарей. По белой замле носились какие-то бумажные листы.

— Господи, холодно ведь... Босые... — кого-то уговаривая шептал профессор.

Чугунов упал спиной на койку и лежал бледный, с зажмуренными глазами.

Погасли фонари, за ними прожектора. Земля у бараков преврати-

лась в черную грязь. Только площадка за окном все еще была безукоризненно чистой. Из-за второго барака вывели шеренгу полураздетых и по одному стали загонять в барак.

— Павел Петрович, в бараки назад ведут! — закричал профессор.

Чугунов вскинулся к окну. В это время из следующего барака три солдата вынесли человека в нижней рубахе. На белой рубахе алел широкий галстук.

— Господи . . .

Чугунов бросился к двери и стал, что было сил, бить ногой в нижнюю филенку.

— Алло! Алло! Откройте! Немедленно откройте!

Профессор засеменил к полковнику.

— Павел Петрович, голубчик вы мой, остановитесь!

За дверью отозвался часовой.

— Откройте! Профессор, переводите! Я требую, чтобы меня немедленно вернули в барак! Как старосту барака!

— Павел Петрович, милый вы мой, чем вы поможете?

— Переводите! — зверея закричал Чугунов на профессора. — Они режутся там!

Профессор, повернувшись к двери, как на молитве, стал быстро переводить. Чугунов стоял рядом, одна нога его заметно дрожала.

— Они не трусы! Они на смерть стояли! Под огнем, под бомбами!

— Павел Петрович, часовой сказал, что доложит.

Из третьего барака стали выводить одетых, с вещами. Подгоняли палками, прикладами, — загоняли в освободившийся барак. Странной была походка людей: сгорбленные, едва передвигая ноги, даже от ударов не отклоняясь, они послушно шли, оглядываясь на тех, кто еще стоял под ветром в белье и одеялах.

На крышу офицерского барака вылезла фигура в американской форме с киноаппаратом и стала прицеливаться.

Федору казалось, что только что кончился уличный бой: выводят пленных немцев, суетятся младшие командиры, проходят команды. Он только теперь увидел в конце дороги два танка с наведенными на бараки пушками.

В коридоре загромыхали шаги, стукнула задвижка, вошли лейтенант и два солдата. Следом втиснулся сержант с одеждой, тут же у порога он бросил ее на пол. На солдатах висели гранаты, лица были красные, возбужденные, глаза смотрели растерянно. В комнате запахло спиртным.

— Вы хотите в барак, господин полковник? — спросил лейтенант успевшего лечь на койку Чугунова. — Там никого нет. Своих ребят вы увидите немного позже. Зачем же показывать темперамент и ломать дверь?

— Я хочу только помочь вам, господин лейтенант, — не вставая, неожиданно спокойно проговорил Чугунов. — Помочь делать ваше иудино дело.

Лейтенант постно поглядел на него, раскрыл папку и стал читать:

— Павел Чугунов, Иван Осьмеркин, Иван Багудов — приготовиться. Одевайтесь. Федор Таневский остается здесь.

Больше всего Федора удивило, что калмыка звали так же, как профессора, Иваном.

— Ну вот, Павел Петрович, значит вместе, — сказал профессор, как только вышли солдаты и лейтенант.

Чугунов встал, взял профессора за плечи, оглянулся на Федора и улыбнулся. И была улыбка его необычна — жалкая и всепрощающая.

— Ничего, Иван Иванович, надо было бы дать им бой, да не стоит рук марать. Помните: тема революции, пережитой тобой революции, изуродовавшая твою жизнь, требует сильного и сознательного напряжения. А теперь — поможем одеться Багудову.

Затем, что-то вспомнив, подошел к Федору.

— А вам, майор, на память я подарю это.

Он вытащил из-за ворота тесемку, рванул и подал Федору ключ.

— Берегите, майор, ключ от нашего дома!

Сдерживая слезы, Федор отвернулся к окну. Окоченевшие люди прыгали, хлопали руками, терли лица, уши. Из бараков, все больше, выводили одетых, с чемоданами, мешками. Их вели за бараки, где, видимо, шла погрузка.

На дорогу выехал грузовик. Федору опять показалось, что это приехал за пленными советский студебекер. Разница была не столько в американской форме охраны, сколько в торчащих из кузова подошвах — люди лежали на дне, вниз лицами.

Как только грузовик скрылся в сторону ворот, оттуда показался черный легковой автомобиль. «Начальство», — подумал Федор. Из крайнего барака вынесли окровавленного, и автомобиль, как бы желая рассмотреть, покатил к нему. Сидящий в автомобиле офицер спросил о чем-то солдат. Один из них показал рукой прямо на окно Федора. Федор отвернулся.

Чугунов был одет. Профессор помогал калмыку. Немецкая форма делала их непохожими, чужими. От неловкости Федор опять отвернулся к окну.

Черный автомобиль, оставляя четкий след на снежной крупе, разворачивался перед окном, и Федор вдруг узнал в седоке капитана — своего капитана.

— Капитан! — закричал он, не помня себя, выдавая и испуг и страх от всего, что случилось. — Капитан!..

Он стал бить кулаком по раме, потом схватил жестяную пепельницу и мелко застучал по стеклу.

Услышал ли его капитан или оглянулся случайно, но он явно заметил жестикулирующего в окне Федора. Остановив автомобиль, вылез, захлопнул дверцу и пошел прямо к окну, оставляя за собой пунктир следов — все в каком-то ровном, одинаковом ритме. Федор, раня пальцы, сорвал задвижку и распахнул оконные створки. Холодный, сырой ветер, рев моторов, крики, окрики, свистки хлынули на него, но он ни холода не замечал, ни криков не слышал. Он видел одного

капитана — на белом фоне площадки, продолжавшего соединять автомобиль с окном пунктиром следов.

— Это что за помещение? — разглядывая забинтованную голову Федора, спросил капитан.

— Лазарет.

— Вы больны?

— Голова... Ударили.

Капитан заглянул через подоконник.

— Что вы здесь сказали о себе?

— Я дал им справку УНРРА, русский из Эстонии.

— Ол райт. Я увижу вас. Закройте окно.

Когда капитан сел в автомобиль, Федор услышал за спиной тишину. Профессор сидел рядом с калмыком на койке, Чугунов стоял выпрямившись, все трое глядели на Федора.

— Это... это мой знакомый... Капитан американский... Он придет... Я ему скажу... Он понимает...

Первым ожидание чуда пропало в глазах Чугунова. Он застегнул воротник, поправил пояс. Потом и профессор отвернулся и принялся надевать на Багудова шинель. Никто ничего не сказал.

— Правда, он... Он сделает...

Но они даже не обернулись.

Капитан пришел с сержантом. Чугунов и калмык были уже готовы, профессор натягивал сапог. Капитан показал на Федора и что-то сказал сержанту.

— Йес, сэр, — ответил сержант и быстро заговорил, по очереди оглядывая калмыка, профессора, Чугунова.

Чугунов сел на койку спиной к американцам. Федор ждал, что капитан заговорит с ним, но тот даже не взглянул на него. Как только капитан и сержант вышли, профессор, в одном сапоге, припадая на босую ногу, подбежал к Федору.

— За Павла Петровича просите, за Павла Петровича... Меня и Багудова отправляют в Фильцгофен, в госпиталь, а его...

— Перестаньте, профессор, — не оборачиваясь сказал Чугунов. — Что он про Федора Николаевича сказал?

— Приказал одежду принести. С собой, кажется, забирает.

— Очень хорош, — Чугунов потянулся, поглядел в окно. — Видите, Иван Иванович, зачем им это, как вы изволили назвать, лагерное имущество — резиновые дубинки — понадобилось? Врали все. Давно решено было. Как по расписанию действуют. А этот сукин сын просил машинку «Бородино» перепечатать, а сам прокламации печатал, видите, сколько накидал...

Капитан вернулся с одеждой Федора.

Федор принялся одеваться: как по тревоге. Натягива брюки, заметил на столике ключ Чугунова. Торопливо положил в карман.

— Вот ваша справка, — капитан протянул Федору кельнскую справку.

Справку Федор положил в другой карман.

Несколько минут он одевался при общем молчании. Никто на него не смотрел. Он чувствовал почти стыд.

— Вы кто? — вдруг спросил капитан профессора.

— Профессор истории, Иван Осьмеркин, — ответил тот по-английски. — А это коновод Иван Багудов. А это, сэр, замечательный человек, полковник Павел Чугунов. Редкой души человек, сэр, прошу вас обратить внимание...

— Кем был полковник в советской России?

— Крупным партийным работником в Москве. Во время войны — комиссаром дивизии, защищал Одессу, Севастополь, Сталинград. В Сталинграде попал в плен. Потом стал близким сотрудником Власова — борцом за освобождение родины от тирании... Теперь... хотят выдать сталинцам. Это... это вопиющее попрание прав и христианства, сэр. Мы с вами христиане, сэр.

— Вы хорошо говорите по-английски, господин профессор. Вы слышали, что мне сказал сержант?

— Да, сэр. Потому я и осмеливаюсь просить вас как-нибудь помочь полковнику Чугунову. Во имя справедливости, во имя Бога...

Пришел сержант с двумя солдатами. Они стали укладывать Багудова на носилки. Профессор растерянно забегал по комнате, не решаясь подойти к Чугунову. Но потом подошел и, смахивая слезы, чуть слышно проговорил:

— Павел Петрович, простите меня, голубчик... Дай вам Бог...

Чугунов обнял его, крепко по-мужски поцеловал, но слова сказать не смог. Никто не обратил внимания на Багудова на носилках. Повернув голову, Багудов пристально смотрел на Чугунова, а когда солдаты подняли носилки, протянул руку и похожим на клекот голосом, при общем молчании, сказал:

— Бывай... здоров... хороший человек...

И то, что он впервые заговорил, и то, как сказал это, потрясло Федора.

— Будь здоров, Багудов, — срывающимся голосом ответил Чугунов.

— Что сказал этот человек на носилках? — подошел к Федору капитан.

Федор негромко пересказал.

— Что вы думаете о полковнике?

— Он на самом деле замечательный человек... Если бы ему можно было помочь...

Дверь хлопнула, и по наступившей тишине Федор понял, что с профессором и Багудовым кончено. Чугунов сидел на койке калмыка, обмякший, ссутулившийся.

— Он понимает по-немецки? — тихо спросил капитан.

— Да, капитан, я говорю по-немецки, — не поднимая лица, ответил Чугунов.

Капитан прошел к двери, выглянул в коридор, прислушался, потом осторожно прикрыл дверь и сказал:

— Я попытаюсь вас вывезти отсюда, полковник.

Федору показалось, что он ослышался. Он глядел на капитана и не узнавал. Капитан был взволнован.

— Вы сейчас выйдете за мной, в помещении никого не осталось, все там, — он кивнул в сторону окна, — Впрочем, я лучше выйду и проверю. Как только я вернусь, вы идите за мной, шагах в трех-четырех, на всякий случай. Мой автомобиль стоит у крыльца. Я отопру багажник и пойду к мотору. Сразу лезьте в багажник. Я запру. Сидите там, что бы ни случилось. Если в это время придут солдаты, — он обернулся к Федору, — вы, Федор, скажите, что приходил какой-то сержант и полковника Чугунова увел.

Капитан вышел. Он назвал его по имени — Федор скорей угадал, чем понял, что произошло с капитаном. Чугунов встал, тут же сел, потом обошел комнату.

— Чертов инстинкт! — радостным шепотом проговорил он, беря Федора за локоть. — Шанс жить, как сказал бы Костя.

Дверь открылась, капитан махнул Чугунову. Полковник решительно пошел, но на пороге обернулся и подмигнул Федору.

«Боже помоги! Помоги!» — твердил про себя Федор, удерживая дрожь.

Капитан вернулся так скоро, что Федор испугался.

— Ол райт. А теперь покурим.

Федор увидел знакомую трубку.

— Нам лучше переждать. Лагерь оцеплен. Все дороги контролируются.

— Но могут хватиться . . .

— Посмотрим. Как ваша голова?

— Я совсем забыл про нее. Я хочу вам сказать, что вы . . . Боб, замечательный человек . . .

— Вы оптимист, Федор: я замечательный, полковник замечательный, профессор тоже ведь замечательный? А?

В комнату ввалились два солдата. Увидев офицера, замялись.

— Что вам нужно?

— Сэр, нас послали за полковником, — сказал один, заглядывая в бумажку, — Чуджунов.

— Полковника уже увели.

— Увели?! Кто?

— Не знаю, меня здесь не было.

Солдат осмотрел Федора, но по гражданскому пальто принял его за американца.

— Извините, сэр. Такая неразбериха — ничего не понять. Нам приказали отконвоировать полковника отдельно. Ничего не понимаю. Извините, сэр.

— Итс ол райт, сержант.

Федор изо всех сил старался понять, о чем они говорили. Увидев, что солдаты уходят, поверил что все обошлось.

Капитан поглядел в окно, о чем-то подумал и сказал:

— Нам лучше ехать. Из лагеря выедем, а там, в крайнем случае, полковник где-нибудь спрячется.

Над лагерем стоял стон. Где-то за бараками кричали, как кричат раненые в полевых лазаретах. У центральных ворот в грузовике кто-то в кузове высоко, не по-человечески, вопил. Сидевший на скамье солдат взмахнул палкой, и вопль оборвался.

У ворот их остановил лейтенант с повязкой. Капитан показал книжечку удостоверения и какую-то бумажку. Лейтенант оглядел Федора, заглянул на заднее сиденье, обошел автомобиль. Когда он задергал ручку багажника, Федор даже дышать перестал. Капитан сидел с лицом невозмутимым, только зрачки стали узкими. Лейтенант дал знак часовому, и тот замахал большим пальцем — проезжать.

Вдоль дороги стояли патрули и виллисы. У перекрестка — танк. Недалеко от лагеря толпилась кучка женщин. Они перебегали, солдаты отгоняли их. По платкам, завязанным под подбородками, по сапогам на высоких каблуках Федор догадался, что это были жены и подруги тех, кого вывозили, и тех, кто еще оставался в лагере.

На втором перекрестке их остановил патруль. Пока капитан предъявлял документы, мимо проехал грузовик. Снизу, из кузова, на грязь дороги что-то капало. Две капли упали на валявшуюся бумагу и ярко заалели, пока ехавшая следом санитарная машина не вмяла бумагу в грязь.

По всей дороге и по обочинам валялись бумаги, вещи, книжки, фотографии.

— Выбрасывают, — сказал Федор.

— Зачем?

— Боятся. Без документов постараются выдать себя за других.

Капитан затормозил, вылез, что-то поднял. Передал Федору — почтовый конверт с письмом и фтографией. С карточки смеялась молодая женщина в украинской блузке. На руках у женщины сидел удивленный годовалый мальчик, рядом стояла девочка с косичками. На обороте надпись: «Папке на память, чтоб скорей домой возвращался. Харьков. Июль, 1941 год». Письмо промокло. Федор стал переводить. «Трудно. Местные жители-ташкенцы, хотя и жалеют, но у них самих голодно. Я целый день на фабрике. Поля нянчит Митю. Последнее письмо от тебя пришло в ноябре. Милый мой Ваня, ты по нас не убивайся, береги себя. Проклятая война, сколько . . .» — дальше не разобрать

Капитан опять затормозил и показал рукой на обочину со стороны Федора. Там валялся раскрытый чемоданчик: какая-то одежда, газеты, толстая книга в сером переплете, зеркальце — круглый кусочек неба. Федор открыл дверцу и, наклонясь, достал книгу. «Русско-английский словарь». Между страниц закладки, заметки. Учил английский. Готовился жить. Капитан взял книгу, положил рядом на сиденье, — так собирает улики следователь.

Вдоль дороги тянулись фруктовые деревья — низкорослые, костлявые — они выстроились по обочинам дороги, глядели на проезжавшие грузовики, на автомобиль Боба, хватались за головы и раскачивались как плакальщицы.

Въехали в городок. Улицы к вокзалу охранялись. Из окон глядели

испуганные лица обывателей. Площадь у товарной платформы была оцеплена. Капитан поставил автомобиль у тротуара и пошел к старшему офицеру, разузнать про выезд из города.

Вдоль платформы стоял большой состав из четырехосных вагонов. Четыре вагона были заперты. Оттуда неслись вопли и крики. Остальные вагоны были открыты. Федор увидел деревянные решетки, делившие вагон на две части с проходом посредине. Вот что день и ночь пилила за комендатурой циркульная пила!

На площадь на большой скорости, один за другим, въехали два грузовика. Развернувшись, кузовами подкатили к дверям вагонов. Солдаты принялись поднимать людей и загонять в вагоны. Из второго грузовика вытащили окровавленного, видимо без памяти, и кинули, как труп. Справа за забором, кто-то истерически закричал. Федор увидел двух женщин с бинтами и ватой. Они выскочили из калитки, но солдаты оттеснили их назад. Только тогда Федор увидел на окружающих крышах и заборах жителей городка. Они, как и американцы, молча смотрели на площадь. Происходившее там, как стихийное бедствие, как наводнение, пожар, тянуло взгляды потрясенных людей.

На углу улицы стояло высокое дерево, на верхних ветках Федор увидел двух мальчиков. Ему вдруг показалось, что дерево старается поднять мальчиков выше, чтобы им было лучше видно, — чтобы все увидели и все запомнили.

Еще не окончилась разгрузка грузовиков, как подъехали два другие. Федор не сразу понял, что это значило: в одном грузовике пели. Это было так неожиданно, что немцы за забором стали перебегать поближе. Подошел какой-то офицер и крикнул солдату охраны, сидевшему с краю грузовика. Тот зло оглянулся, махнул рукой и, видимо, пустил крепкое американское слово. Песня была русская, но Федороу не знакомая. Запевал молодой сильный голос:

. . . Поведут нас всех огулом,
Отдадут команду: пли!
Чур, не хныкать перед дулом,
Не лизать у ног земли.

Припев подхватывался всем кузовом:

Эх, доля-неволя, глухая тюрьма.
Долина, осина, могила темна.

У Федора повело по спине. Голос стал опять запевать. И Федор вдруг узнал — тот, что тогда у лазарета, — голос Кости. «Костя!» — захотелось крикнуть ему, но тут же вспомнил про Чугунова в багажнике — тот мог подать голос, — ведь там пели его ребята!

Не к лицу нам покаянье,
Не пугает нас огонь,
Мы бессмертны! До свиданья!
Трупом пахнет самогон.
Эх, доля-неволя, глухая тюрьма.
Долина, осина, могила темна.

Место у вагонов освободилось, и грузовик поехал к платформе. Вдоль эшелона забегали солдаты. Грузовик оцепили кольцом. Песня перепугала. Со стороны паровоза показался советский офицер. Федор даже назад подался. Офицер подошел к стоящему в стороне американскому офицеру и, смеясь, протянул руку. Американец отвернулся, сделав вид, что руки не заметил.

— Что они поют? — услышал Федор голос капитана.

Федор стал переводить слова песни. Его трясло. Капитан слушал, крепко держась за руль. Из другой улицы на площадь въехал закрытый автомобиль с большими радиорепродукторами на крыше. Не успел он остановиться, как из репродукторов раздались джазовые звуки, — заглушая крики, песню, плач.

Капитан стукнул кулаком по рулю и зло закрутил, выезжая на дорогу.

— Надо получить пропуск в комендатуре, — и без связи с этим, чему-то отвечая, добавил: — Солдатам сказали, что военные преступники собираются бунтовать. Солдат есть солдат... Выдали виски...

У здания комендатуры с колоннадой, с американским флагом на крыше, стоял грузовик. В кузове сидели и лежали люди в немецкой форме. Почти все были наспех забинтованы. У некоторых на бинтах — кровь. В одном из лежащих Федор узнал Багудова. С самого края сидел, качаясь, большой бородатый человек. Он смотрел невидящими очень светлыми глазами поверх толпившихся на тротуаре немцев и однотонно выкрикивал:

— Мама, горит... Мама, горит...

Женщины плакали. Кто-то в толпе выкрикнул:

— Майн Готт! Теперь это не Платтлинг, а Блютлинг!

Из парадного комендатуры вышли старичок и солдат.

— Профессор! Боб, это профессор.

Капитан вылез и стал на дороге профессора. Тот посмотрел сквозь очки и узнал.

— Сэр, вы видите! Вы видите, сэр! Торжество зла, — голова профессора тряслась.

— В больницу. Одиннадцать человек: кто порезался с самого начала... Багудов, вот, доктор Быстролетов... Трое... трое резались сэр, одним ножом. А этот, — он показал на бородатого, — сошел с ума. Торжество зла .. Вы, сэр, как те римские воины, помогавшие распинать Спасителя... — профессор говорил как в бреду. — Но кровь, сэр, она не пропадет даром. Через нее познаете зло... Мы православные, мы прощаем не ведающим, что творят...

Сопровождающий солдат испуганно глядел то на профессора, то на капитана. Было видно, что солдату страшно от слов профессора.

— Мама, горит!.. — тоскливо выкрикнул безумный.

Профессор оглянулся и, семеня, пошел к грузовику. Солдат помог ему влезть. Капитан побежал по ступенькам в здание.

В холодном небе трепетал звездный флаг. Федору показалось, что флаг старался сорваться с древка и улететь.

23. ПОПЫТКА ВЕРНУТЬ СВОЕ «ВЧЕРА»

Капитан оставил их в деревне под Нюрнбергом. Зобатая пучеглазая хозяйка пансиона отвела им лучшую угловую комнату на втором этаже: американская форма капитана ее напугала, а несколько долларов заставили думать, что Чугунов и Федор — нужные американцам персоны. По дороге из Платтлинга — Чугунов так и лежал в багажнике — капитан купил для него комбинезон и куртку. Переоделся Чугунов в лесу.

Капитан уехал, пообещав вернуться на следующий день и перевезти их куда-то под Вюрцбург.

Пообедав, они пробовали уснуть. Федор лежал, разглядывая чужую комнату, и все прислушивался к проезжающим автомобилям. Чугунов, прилег, но тотчас же встал: ходил и не переставая говорил:

— Косте бы песенку о шофере! С самого начала грянуть по баракам: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела» — никто не резался бы. Я на фронте это не раз пробовал — песней можно организовать народ...

— В Дахау люди молились и все равно резались, — нехотя возразил Федор, разглядывая коврик над кроватью.

На коврике бежал, преследуемый охотниками в шляпах, олень. Одна стрела торчала в предсмертно изогнутой шее оленя. Олений глаз тоскливо смотрел на Федора, спрашивая: «За что?»

— Молитва расслабляет. Да наши и молитв не знают. Правда, американцы и этого боялись — отца Сергия не пустили не случайно.

Чугунов остановился и тоже посмотрел на оленя, а потом устало проговорил:

— Лучшие наши намерения только несчастья навлекли на молодежь, — и, словно оправдываясь перед Федором или оленьим глазом, добавил: — Ведь я не бежал до этого, потому что ребят не мог оставить... Но теперь я бежать обязан! — И горячась, уже одному Федору: — Чтобы дома про них узнали! Это долг! Вы сами говорили: народ даже манифеста не знает. Я обязан бежать! Не дать Иосифу Кровавому замолчать нас! Это моя программа. Чем больше нас уцелеет, тем хуже для Сталина.

Федор вдруг подумал: «А не тронулся ли Чугунов?»

— Я вам говорил, что капитан понимает и поможет...

— Что капитан! Храбрый и хороший... А что делают его демократические соотечественники? Видели?!

— Он и теперь нам поможет, — защищая Боба, сказал Федор.

Чугунов сел на кровать рядом с Федором.

— Послушай, Федя, я старше и опытней тебя. Капитан парень хо-

роший, он, наверно, понимает, а может, у него свои планы на нас... Но все равно, скажем ему спасибо, а сами двинемся...

— Куда?

— Домой.

Федор даже приподнялся.

— То есть, как домой?!

— Да, Федя, — домой, на родину.

— Да что вы, Павел Петрович? Вы понимаете, что вы говорите?

— Да, да, Федя. Родина зовет. Не так, как об этом говорят посланцы Иосифа Кровавого, а так, как душа говорит. Ты прислушайся. Ведь там друзья, близкие, сестра, которой ты нужен... Там все, что зовется отчизной, Федя.

Федор отодвинулся к стенке и с испугом глядел на исступленное лицо Чугунова.

— Да вы что, Павел Петрович?! Ведь, это самому в петлю лезть!

— Нет, Федя, нет, молодой друг. Человеку, познавшему то, что мы сегодня видели, все возможно. Здесь тебя предавали вчера, сегодня, предадут и завтра. Предадут и выдадут. Но даже если ты спрячешься, забьешься, как клоп, в глухую щель, разве для этого ты собирался жить? Я четыре года здесь прожил, я знаю, Федя... Это чужое небо, эта чужая земля, чужие глаза, чужие вещи...

— А там и дышать нечем, не только... Там жизнь чужая!

— Нет, Федя, нет! Я сторожем на бахчу пойду, дни и ночи просто в небо — в свое небо — смотреть буду. Песни наши слушать буду, с людьми — своими, родными мне — разговаривать буду. И ты их поймешь, и они тебя поймут. Знаешь, как в старину странники по Руси ходили, вот так и я — отпущу бороду, возьму палку, узелок и пойду по земле...

— Вас на первой же дороге схватят и в лагерь, — Федор усмехнулся, — за нарушение паспортного режима.

— Не так-то просто, Федя. Это со страху кажется. Порядки наши я вон как знаю. У меня друзья есть: крупные партийные работники, фронтовые товарищи, однополчане, — они помогут. Здесь тебя на самом деле на первом углу схватят. Мало тебе Платтлинга? Мало тебе Тоденгаузена? Куда пойдешь? К кому притулишься? А жить-то, жить-то чем будешь?

— А там чем жить? Очередными «постановлениями партии и правительства»? Очередными авралами?

— Дома чем жить? Бороться, Федя! За себя, за близких своих, за народ свой. Ведь не боролись — со страха. А без страха будут! Еще как будут! Ты бежал, потому что заставляли жить по указке. Ты долго еще бегать будешь, если не поймают. А кончится бег, оглянешься и станешь в тупик с вопросом: «Ради чего жить?»

— Не надо мне никаких вопросов! Хватит с меня! Жить хочу, чтобы просто жить, — и все!

— Эх, Федя, так ли это? Жить «без вопросов» мы не можем. Русские такими выросли. Ну, скажем, станешь ты немцем — разве ты сможешь жить для «Великой Германии»? Станешь англичанином,

американцем — так ведь только так, формально, а по-настоящему они тебя и не примут к себе. Прости за цитату, но в ней большая правда, — Достоевский сказал: «Быть русским значит быть всечеловеком...» Это заложено в нас и никуда не денешься. А такой ты никому здесь не нужен.

— Оставьте! Бороться, бороться... Здесь тоже можно бороться. А вот дома, с вашим Иосифом, не поборешься. Вся надежда на Запад, на Америку. Вот и надо вправлять мозги Западу.

— Мозги им вправит, рано или поздно, сам Сталин. А бороться надо дома — на передовой. Наш народ, Федя, на революцию надеялся — революция обманула его; на Запад надеялся, на войну, но и Запад и война обманули его. Германия ведь для нас была Западом, Федя. На что ж теперь народу надеяться? Только на себя. Это логика надежды. Помогать ей. А это опять же значит — не допускать возврата страха, убивающего надежду. Это наш долг, тех, кто освободился от страха. Вот почему я пойду домой, Федя. Освобождение от страха — это ключ он нашего запертого дома.

— Не верю я в это, Павел Петрович! — защищаясь выкрикнул Федор. — Сталин опять навалит на людей тонны вашего страха.. Преувеличиваете вы это самое освобождение от страха во время войны. Вас в плен в сорок втором взяли, а видели бы, как потом трибуналы шлепали солдат и офицеров! Видели бы вы, что делали СМЕРШ, заградотряды! Вы отступали, а мы наступали. В наступление гнали тем же страхом: сзади заградотряд — верная смерть, а впереди, может, в живых останешься. В плен не сдавались, знали, что плен — та же смерть.

Чугунов сбоку смотрел на Федора непринимающими глазами.

— Да ведь, по-вашему, опять все свернет на ту же революцию, а она, как вы сами говорите, обманула народ.

— Молоды вы еще, Федя, — вдруг сказал Чугунов, перейдя на «вы». — До войны вы вряд ли побежали бы сюда. А теперь бежали.

— Попал за границу, вот и убежал. Из Советского Союза и сегодня не убежишь.

— Нет, не только это. Я за полтора года войны насмотрелся и на генералов, и на комиссаров, и на солдат. Они мне — замполиту — в глаза говорили такое...

— Это первое время, потом языки прикусили, а после войны при одном имени Сталина — по стойке «смирно» становятся.

— Ну, а женщина?

— Что женщина?

— Она как, боится?

Федор вспомнил Наталию Николаевну, Катю, Соню, сестер санбата, регулировщиц...

— А что они могут? Они и до войны в очередях ругали Сталина. Больше того, — бабьи бунты в деревнях поднимали. А мужчины на печках прятались.

— Вот тут-то оно и есть, Федя. Теперь мужчины, пройдя войну,

прятаться не будут. У людей сознание победителей, защитников родины, защитников жен и матерей. Мужчина на фронте за них насмерть стоял, Федя. Русская женщина доказала, что она сильней Сталина и сильнее страха. Она и бомбежки легче переносила, чем иные солдаты. Материнство — вот ее сила. Среди женщин и сумасшедших меньше и боль переносят они легче. А страх — это ведь болезнь. Верь в нее — рускую женщину, Федя. В великое материнство верь. Тургеневская воробьиха — вот сила подвига и силы его.

— Так вы что же, революцию женщинами сделать хотите? Материнством Сталина сбросить?

— Важно, что Сталин его боится, Федя. Теперь надо только не давать Сталину снова мужчин страхом подмять.

— Туманно это все для меня. Может, мне и плохо здесь будет, но корабли свои я сжег.

— Ничего ты не сжег! Просто дома, по молодости, не разглядел смысла. «Большое видится на расстоянии», Федя. Был один, как все, а теперь нас двое. А там у тебя друзья, у меня...

— Нет уж, Павел Петрович. Вы говорите, что здесь плохо, но в этом вы сами убедились, а я, русский человек, сам пощупать хочу.

Чугунов закурил. Затянулся.

— Был у меня минер один. Однажды пощупал так вот мину и... все. Страх в вас силен, тот самый, советский.

— Да, и старх! Я с ума, пока, не сошел, — на верную смерть идти.

В дверь постучали.

— Герр Таневский, — сказал за дверью голос хозяйки, — вас к телефону.

— Наверно Боб, — обрадованно вскочил Федор и стал натягивать ботинки.

Телефон был внизу, в конторке.

— Алло, Теодор?

— Я! Алло! Я слушаю!

— У меня неприятности, — сказал на краю света капитан. — Через полчаса улетаю в Париж...

— Как?!

— Неприятности. Уезжаю. Вы меня не ждите и сейчас же уезжайте тоже. Вы меня понимаете?

— Я... понимаю... — ответил не своим голосом Федор.

— Немедленно. Я, если вернусь, то не скоро. Желаю удачи. Напишите в Мюнхен, до востребования. До свидания!

В трубке щелкнуло, и Федор услышал какую-то радиомузыку.

Он с трудом поднялся со стула и не сразу понял, что говорила ему хозяйка. Она стояла в дверях и протягивала ему газеты.

— Герр Таневский, может быть вы хотите посмотреть последние газеты?

Федор взял газеты и, не поблагодарив, пошел на верх.

— Капитан?.. — встретил его Чугунов.

— Да...

Федор сел у стола и только теперь увидел, что на дворе темно и льет дождь.

— Что случилось?

— Дознались. У него неприятности. Улетает в Париж... Нам надо бежать...

— Что?!

— Два раза повторил, чтобы уезжали немедленно.

— Вот это некстати. Наверно, про меня узнали.

Чугунов энергично прошелся.

— А, может быть, развязаться решил?

— После всего...

— Пожалуй, вы правы. Да и вас он забрал из Платтлинга, не имея права, наверно.

— Не знаю...

Федор вдруг необычайно ясно вспомнил, что вот так же он сидел за столом в своей берлинской квартире, когда прочел записку Кати. Тогда в комнате была Инга, а теперь Чугунов. Даже комнаты чем-то похожи.

— Вот видишь... Так все силы и будут уходить на убегание. Те не успокоятся, пока не затравят. А выдадут — ни себя не спасешь, ни сестру, никого.

— Ради Бога, перестаньте, Павел Петрович!

Федор посмотрел на черное окно — по стеклам, серебрясь от света лампы, текли дождевые струи.

— Дождь какой... Куда же мы пойдем?

— Идти некуда, Федя. Но уходить надо.

Федор дотащился до кровати, лег, отвернулся к стене. Что же делать Что теперь делать? Капитана не было. Справка на Таневского... Полиции, наверно, дали знать. В книге пансиона записано «Таневский». Уходить надо немедленно. Но приметы... Денег нет. Жить не на что... Чугунов уйдет.. Один. Куда?

По окну дробно прошумело ветряной капелью. На диване Чугунов шуршал газетами

— Вот послушай, Федя, — окликнул он, показывая газету.

Федор подумал, что о них что-нибудь напечатано, о побеге, но Чугунов прочел:

«Заседание Сессии Объединенных Наций... Советский делегат Арутюнян заявил: 'Все дело помощи беженцам должно быть организовано на чисто гуманитарных основах, исключая возможность использования беженцев в политических антидемократических целях...

Первая задача в деле организации помощи — прекратить помощь предателям и военным преступникам, скрывающимся под видом беженцев... Истинный гуманизм заключается в том, чтобы воздать должное предателям и военным преступникам, наказать их, как требует справедливость. Основная задача в деле помощи беженцам заключается в том, чтобы помочь им вернуться на родину. Организация

Объединенных Наций не может превратить институт беженцев в постоянно действующий. Не могут существовать вечные беженцы'»

Чугунов поглядел на Федора и усмехнулся.

— Слушай дальше:

«Те беженцы, которые не хотят вернуться на прежнее место жительства, должны получить содействие в скором устройстве на месте с согласия страны, гражданами которой они являются...

В состав обслуживающего персонала лагерей привлечь в первую очередь представителей заинтересованных государств, гражданами которых являются беженцы.

Содействие заинтересованным странам в проведении совместных мероприятий по репатриации беженцев на родину».

После каждого абзаца Чугунов смотрел на Федора и усмехался.

— Но это еще не все. Тут жена президента Рузвельта выступала, Послушай.

«Никто из нас не будет возражать против того, чтобы лица, активно действовавшие против своих стран, были возвращены туда и наказаны».

— Ну, что теперь скажешь?

Федор отвернулся к стене.

— Пойдем домой, Федя, пойдем, милый! Увидишь, все будет хорошо. Никто и не узнает, что ты был здесь, — демобилизовался и все. Два месяца, мол, ездил в поисках работы.

Федор подумал о пакете с демобилизационными документами — пакет остался в Берлине, у Карла, в гараже. С документами, конечно, можно выехать в Союз законно... Если что, можно сказать, что пьянствовал с горя... Но тут же все внутри отмахнулось и запротестовало. Возвращаться? После всего, что было? После того, как выбрался за черту границы?

Федор почувствовал на себе взгляд Чугунова и словно отвечал ему: «Нет, я с ума не сошел еще!» Но навалились безжалостные мысли о звонке капитана, о безденежье, о фальшивой справке; он ясно увидел, как бросили того, окровавленного, в вагон; вспомнил профессора — «одним ножом резались» — и опять бессильно забилась внутри безвыходность: поймают, обязательно поймают и выдадут... Увидел себя со стороны, выдаваемого на границе, потом колючие ледяные глаза Колчина, Делягина и всех тех, кто будет допрашивать. Господи, что же делать?!

Чугунов сидел на диване и переобувался. Заметив, что Федор обернулся, он поднял налившееся кровью лицо и, глядя насмешливыми, блестящими глазами, спросил:

— Ну, как?

— Не знаю, не знаю я, Павел Петрович.

Чугунов пересел к Федору, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, заговорил:

— Ты же не маленький. Они, — он показал на газеты, — своего добьются. Если жена президента, — а она умный и, видимо, не плохой человек, — если она вынуждена говорить так, то будь уверен, това-

рищи демократы не устоят, всех выдадут. А мы с тобой возьмем и обманем и тех и других — сами вернемся. Ты мне не веришь? Ведь они, сталинцы, вон как, — он опять показал на газеты, — боятся нас, не выданных и не наказанных...

Чугунов сказал, что двинется в путь перед полуночью. Он сходил вниз в конторку, где висела карта Баварии, и зарисовал нужные дороги к границе. Федор все лежал и думал — и о безнадежности своего положения, и о гибельности возвращения. Страшно разболелась голова, он не мог даже прислушиваться к проезжавшим автомобилям.

Когда внизу пробило одиннадцать, Чугунов выложил последний аргумент:

— Ну хорошо, если ты так боишься, то я на твоем бы месте все-таки уходил бы отсюда, а так как уходить некуда, то ушел бы в советскую зону. Здесь тебя поймают обязательно, поймают и выдадут. Советскую зону ты знаешь хорошо. Там у тебя друзья, знакомые. Снесешься с ними, где-нибудь отсидишься, обдумаешь все, посоветуешься...

Головная боль мешала Федору, но, слушая Чугунова, он вспомнил Василия, Карла, Катю... Мысль о Кате переборола.

Из пансиона они вышли незамеченными. Дождь еще шел, но мелкий, холодный. Сразу же свернули в темный переулок и скоро вышли к лесу. Пошли в темноте по опушке, держась дороги.

Через час дошли до какого-то городка. Улицы лежали в черных развалинах. Городок был похож на разложившийся, затем замерзший, а теперь лежащий под весенним дождем труп какого-то огромного животного.

Небо плакало мелкими старушечьими слезами. Кого оно оплакивает? Федор шел за Чугуновым, занятый одной мыслью о невидимой черте границы. Ему все казалось, что-то непременно произойдет и переходить границу ему не надо будет.

24. «ВЧЕРА» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Два дня, не переставая, лил дождь. На дворе было холодно и сыро. Из тучи, как из окна, руками вперед вылезало солнце, озирая казармы, вымытые в лужах мостовые, идущих с завтрака строем солдат. Солдаты неохотно, понукаемые браво шагавшим в стороне старшиной, пели:

«... Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Дорогие спутники мои...»

Василий сидел дома и ждал звонка Наталии Николаевны. Было уже начало девятого. Вставал Василий теперь рано, задолго до подъема. Вчера решили выехать пораньше — вначале в Цвикау, потом в Лейпциг. Комендант Цвикау, полковник Васильев, во время войны

служил в их дивизии, в Лейпциге комендантом был генерал-майор Кафтанов — тоже знакомый Натальи Николаевны. «Через них все и достанем», — сказал она. И список покупок составила: для Сони, для стариков Василия, для него самого и для ребеночка, — так и сказала: «Дома где купишь, когда народится?» — «Когда оно еще будет, Наталия Николаевна». — «Ничего, мать до времени припрячет. И не красней, не маленький. Я еще крестить приеду».

В дивизии уже знали о его демобилизации по собственному желанию. Посмеивались: «Чего он дома, чудак не видел?!..»

Демобилизации помог случай — как с тем заместителем наркома в Берлине. Возвращались из Берлина вместе с начальником штаба армии, старым приятелем генерала по академии, и его женой. Генеральши в пути судачили про прием у главнокомандующего: американки все красятся, пьют, а курят, что твои мужики...

Генералы были навеселе и довольные — и банкетом, и приемом, а больше всего награждениями союзными орденами: начштаба получил Орден Британской Империи, генерал — американский Легиона Чести. Как только отъехали от Берлина, генерал надел американский орден на шею и сидел, расстегнув шинель, поглядывая себе на грудь. «Солидный орденок, а?» Начштаба вытаскивал свой английский орден из кармана и говорил: «За твоим только двести лет американской истории, зато за моим — века и века — и какой истории — Королевской Англии! Для ордена это, знаешь, звучит».

Жена начштаба в Веймаре приглашала на обед, но надо было торопиться домой в дивизию — голосовать — был день выборов в Верховный Совет. При прощанье Наталия Николаевна и показала начштабу письмо замнаркома о Василие, а жене его шепнула: «Напомните, милая, мужу о полковнике. Очень вас прошу... Там его невеста ждет...»

От дел дивизии Василий отошел, даже на партзанятия перестал ходить, хотя замполит и напоминал ему; занятия были посвящены результатам выборов — «победе блока партийных и беспартийных». Голосовали за генерал-полковника Серова — в Верховный Совет и за маршала авиации Новикова — в Совет Национальностей. Василий вспомнил тесную фанерную будку, обитую красной материей, красный избирательный бюллетень с именами Серова и Новикова, вспомнил, как он заклеил бюллетень и тут же заторопился из кабины: как бы кто не сказал, что слишком долго раздумывает над бюллетенем! «Взять бы и зачеркнуть их к ядреной матушке! — вдруг почему-то рассердился Василий. — Тоже выдумали — СМЕРШ выбирать», — и снова вспомнил себя, выходившего из кабины — «На виду у всех с дурацкой мордой, будто дело какое сделал!» Встретил замполит: «А, подполковник Трухин. Проголосовали?» — «Так точно, товарищ полковник». — «Поздравляю. Мы тут начинали уже беспокоиться, что вы с генералом закутили в Берлине и к выборам не успеете: собирались автобатальон на поиски посылать...» Все вокруг смеялись. «Что вы, товарищ полковник! Для такого дела мы с товарищем генералом бегом добежали бы, не то что... Рекорд в беге по пересеченной местно-

сти поставили бы, а проголосовать — проголосовали бы обязательно!»

Все загоготали. Гудимов одобрительно поглядел на Василия — молодец, мол, Трухин — умеет политически верно шутить и поддерживать настроение масс... «Что поделаешь... — вздохнув, подумал Василий. — Видно им День выборов нужен, чтобы все мы в один день, — во всесоюзном масштабе чувствовали бы себя так».

Много хлопот было с автомобилем. На автомобиле настоял генерал. «Победитель без приличного трофея — не дело. Дома пригодится, а девать будет некуда — продашь: все не в убытке». Комендант Нордхаузена «устроил» четырехцилиндровый мерседес — почти новый, всего девять тысяч километров прошел, — черный, в никеле, с радиоаппаратом, — и всего за семь тысяч марок. Хозяин автомобиля, местный фабрикант, продавать не хотел, но в комендатуре пригрозили «демонтировать в счет репараций». Василий все представлял себе, как он въедет на мерседесе в деревню — сбегутся все на свете! Будут завидовать, ахать. А об отце и говорить нечего, — скажет: «Ну, Василь, ты у меня теперь вроде помещика какого или министра!» Посажу отца с матерью да Соню, — подумал Василий, — и поедем по деревням, по родичам и знакомым!

Оставалось оформить паспорт и пропуск на автомобиль в Транспортном управлении в Берлине. Генерал через того же начальника штаба армии усторил Василию разрешение на отправку автомобиля до Бреста попутным военным эшелоном.

Саша у спекулянта достал для мерседеса четыре комплекта новеньких шин и камер. Сегодня чуть свет умчался доставать запасные комплекты радиоламп. По мнению Саши, Василию надо брать как можно больше запасных частей: «Карданный вал в запас надо? Надо. На наших дорогах, как пить, может полететь. Где возьмете там? Еще две запаски надо? Надо. У нас не разживетесь». Саша вначале был сильно огорчен демобилизацией Василия, но Василию удалось выхлопотать через генерала и замполита, чтобы Сашу включили в список кандидатов в военную школу.

В Бресте, на границе, за автомобиль надо будет платить таможенный сбор — с демобилизованных брали пятьдесят процентов стоимости автомобиля. Василий надеялся, в Берлине через Катю — у нее там блат — поменять тысячи три-четыре марок на рубли. Написал матери в колхоз, чтобы выслала в Брест две тысячи рублей. Василий половину своего денежного довольствия отсылал в деревню — там скопилось уже больше одиннадцати тысяч.

Все, все выходило отлично. Сегодня в Лейпциг и Цвикау, завтра в Берлин — и айда! Прощай, Германия! С приближением отъезда росло нетерпение. С армией было покончено.

Наконец зазвонил телефон.

— Слушаю, — хотел сказать «Наталья Николаевна», но по шуму в трубке понял, что звонили по городской сети. — Подполковник Трухин у телефона.

— Вася? — сквозь шум и потрескивание спросил далекий голос.

Василий больно придавил телефоном ухо, надеясь, что ослышался, голос был Федора.

— Это я, Вася.

Василий весь сжался, думая, что Федор звонил из западной зоны.

— Я ехал к вам, да лопнула покрышка, а запаски нет... Сижу у Дюрена, по дороге в Эрфурт.

«Здесь!» — гвоздем насквозь пробило Василия.

— Ты?.. Ты... из отпуска?

— Да, вернулся. Один день остается. Выручи, пожалуйста.

— Ты где? В Дюрене?

— Возле. Я встречу тебя на дороге.

— Ладно. Пока.

Василий поспешно, как пряча, повесил трубку. «Мать честная!»

Не успел он отойти от телефона, как тот опять зазвонил.

— Да, — выдавил он с трудом, ожидая голос уполномоченного Филимонова или замполита.

— Васенька? Я готова.

— Э-э-э... Наталья Николаевна? Где вы? Дома?

— Где ж еще? Заезжай и едем.

Наталья Николаевна ждала на крыльце, в пальто, в платке, в ботах. У ног притулилась набитая пакетами авоська.

— Ты что это такой? — спросила она, всматриваясь в Василия.

Василий оглянулся.

— Вы готовы?

— Как видишь. Авоську возьми, — еды набрала, кто его знает, сколько проездим. Еще масла и сала немного: немцы будут сговорчивее.

Усаживаясь рядом с Василием, она спросила снова:

— Не заболел ли ты не вовремя? Вид у тебя сумрачный какой-то...

— Хуже, Наталья Николаевна. Отъедем — скажу.

За шлагбаумом Василий остановился у первого угла, — ехать и рассказывать он был не в состоянии.

— Федор звонил, — одним духом проговорил он.

Наталья Николаевна секунду смотрела на него, потом сорвала с головы платок, словно он мешал ей.

— Батюшки!.. Откуда?

— Отсюда, километров двенадцать.

— С границы?

— Нет, с этой стороны.

— Да как же это?

— Ничего не знаю. Просит приехать. Что-то случилось.

— Ой, Вася!.. Что ж теперь делать?

— Надо ехать, ничего не сделаешь. Не мог же он так — по дурости.

— А как увидят? Да как же это? Господи Ты, Боже мой...

Она завертелась, хватаясь то за платок, то за перчатки.

— Может с ним беда какая... Скорей поезжай, милый, скорей...

Ехали поминутно оглядываясь — не следит ли кто, не едет ли следом.

Наталья Николаевна первая увидела за деревом, у самой дороги, высокую фигуру в синем пальто и шляпе. Как только Василий затормозил, Федор подошел и полез на заднее сиденье.

— Поезжай до поворота направо, там небольшая дорога в соседнюю деревню, — быстро проговорил он.

Наталья Николаевна, обернувшись, с ужасом глядела на мокрую измятую шляпу, на худое, заросшее, какой-то мукой измученное лицо.

— Как ты попал сюда? — выговорила она наконец.

— Сейчас, Наталья Николаевна, сейчас...

Василий свернул, дорога шла через лес.

— Вот там, направо, след. Сверни туда и — прямо в кусты...

Подминая мокрые кусты, автомобиль въехал за деревья. Василий потянут тормоз и сразу обернулся.

— Ты как попал на эту сторону?

— Через границу... С приятелем.

— Тоже из наших?

— Не совсем. Павел Петрович Чугунов. Был замполитом дивизии, под Сталинградом в плен попал...

— Замполит?!

— Был. Теперь домой пробирается.

— Да ты как его знаешь?

— Ты не бойся, Вася, он хороший человек. Он в лесу, далеко, ожидает, меня ожидает.

Федор оглядел красное злое лицо Василия, испуганное — Натальи Николаевны и не увидел того, что ожидал после такой разлуки, после всего, что было.

— Я ему ничего не говорил о вас.

— Ты не кипятись! — раздражаясь сказал Василий. — Я демобилизовался, через день уезжаю.

— Как демобилизовался?! Почему?

— Так. Сам. От греха подальше. Соню должны вот-вот освободить. Я ездил к ней...

— Ты, к Соне?! Где она?

— На Урале. В лагере. Пять лет дали.

— Пять лет?..

— Я и у Делягина твоего был. И в Москве. Обошлось. Катя помогла... короче — освободят Соню.

— Катя в Москве?

— Была. Теперь вернулась в Берлин. Все из-за тебя. И демобилизовался я из-за тебя...

— Как из-за меня?!

— Да так. Сержанта Егорова помнишь? Вернули его американцы, а трибунал приговорил — повесить. А с ним потянули приятелей, да с кем разговаривал, да кто помогал. Понятно тебе? Выдают вас союзнички-то? — не то со злорадством, не то со злостью спросил Василий.

— Выдают... — словно был виноват в этом, ответил Федор.

— Видишь! Такая каша может завариться.

— Подожди, Вася, — вмешалась Наталья Николаевна. — Ты, Федя, расскажи толком, что случилось-то, почему ты назад вернулся.

— Деваться там некуда. Наталья Николаевна.

И торопясь, словно боясь что не успеет, Федор стал рассказывать.

Василий слушал мрачно, то и дело оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Наталья Николаевна два-три раза начинала плакать.

— Вот так и согласился с полковником! Единственный выход — пробираться домой. Демобилизационный пакет у Карла — на конверте даты нет. Границу переведу, а там замету следы.

— По демобилизационному пакету как раз и засыпешься, — уже совсем зло сказал Василий. — Теперь для переезда границы надо специальный пропуск.

— Какой пропуск?

— НКВД! В Берлине, в штабе СВАГ, дают. А на нем фотография и секретный шифр.

— Не может быть!

— Вот тебе и не может быть!

— Тогда я так попытаюсь... пробраться.

— Как это «так попытаюсь пробраться»? Граница там не то, что здесь. Ты что, не знаешь? А пограничная зона? Собака и та не пробежит. Поймают — где был? Прижмут и крышка. Два месяца куда спрячешь? Надо доказать, где был. Не дело говоришь.

— Тогда посоветуй, как лучше...

— Вот ты когда совета спросил! Бежал — никого не спрашивал! Что мы тебе теперь посоветуем?

— Может быть, Катя...

— Катя, Катя... Довел женщину черт знает до чего, а теперь — Катя! Нет, ты Катю не вмешивай. Заварил кашу, сам расхлебывай!

Федор, не узнавая, глядел на Василия.

— Подожди, Вася, перестаньте вы!.. — прикрикнула на них Наталья Николаевна. — Ты, Федя, слушай: надо думать и как тебе помочь, и как нас не подвести. От твоего положения мы все зависим: и он, — она кивнула на Василия, — и Соня, твоя сестра, а его невеста. Ведь он ее от лагеря, от гибели спас, а так ее не только не освободят, но еще хуже засадят. И Катя... А с ней ребеночек — твой ребеночек же. А с ними и я, старая, за компанию. И мой старик, и его... — опять кивок на Василия, — отец и мать. И Катина мать... Пойми нас, Феденька... — она не выдержала и заплакала в платок.

Василий сидел вполоборота, только скулы выдавали волнение. Наталья Николаевна вытерла концом платка глаза.

— А здесь еще такие страсти пошли. Людей судят — каждый день приказы... И не просто судят, а по законам военного времени.

— Эх, заварил же ты кашу! — хлопнул рукой по сиденью Василий.

— А ты не выходи из себя! — прикрикнула на него Наталья Николаевна. — Надо обдумать без горячки. Конечно, лучше бы ты, Федя, не бегал, но сделанного не вернешь и говорить об этом не стоит. Два месяца никуда — это правда — не спрячешь. Если бы знать наверно,

что проберешься через границу — лучше и не придумать. А если поймают? Рискуешь-то всеми...

— Наталья Николаевна, я ведь хочу лучше...

— Верю, Федя, верю, милый. Вот и давайте по-хорошему. Ни ты нам не враг, ни мы тебе не враги.

От этого противопоставления «ты — нам, мы — тебе» Федор поежился. Получилось, вроде не враги, но уже и не свои.

— Я вот что думаю, Вася: поедем-ка мы сейчас прямо в Берлин. Федя тут попрячется, обождет. А ты, Федя, дай нам адрес твоего прежнего немца шофера — Карла. Он тогда не подвел и сейчас не подведет. Посоветуемся с ним, он здешний, положение знает лучше. Может, и с Катей поговорим — не чужой человек... Это мы по дороге обсудим. К ночи нас поджидай. Только, ради Бога, своему комиссару о нас не говори. Не верю я им, комиссарам — уволь. Хочет идти — пусть идет.

— Он даже ваших имен не знает — я ведь там Таневским назывался.

— Вот и хорошо, пусть не знает... Да ел ли ты сегодня? — вдруг спросила она, что-то разглядев в Федоре.

— Я... я ел, Наталья Николаевна, — попробовал соврать Федор.

— Ой, старая дура, да ты ж голодный!

Она полезла в авоську и стала совать Федору пирожки и котлеты.

Василий в зеркальце видел, как судорожно проглотил Федор непослушную слюну.

Наталья Николаевна засуетилась.

— Ты вот что: возьми все продукты и неси своему товарищу — комиссару твоему. Поешьте и ждите. Мы когда, Вася, управимся?

— К полночи, не раньше.

— К полночи нас тут и поджидай, Федя. А где вы спите?

— В лесу — сарай с сеном...

— Так вот и спите?

Федор кивнул.

— Боже ты мой. Дай, Вася, мое одеяло.

Василий передал Федору одеяло.

— А теперь иди, милый... Только адрес шофера дай.

Василий достал блокнот. Федор написал адрес Карла, потом вылез, взял авоську, одеяло и, не оглядываясь, пошел в кусты.

— Вы это серьезно, насчет Берлина? — спросил Василий, выехав на дорогу.

— А что же делать, Вася?

— А Катя?

— С Катей я не знаю. Любит она его очень. Примчится...

— Да он-то ее не любит, Наталья Николаевна. Нехорошо это...

— Так-то оно так, да грех ей не сказать.

— Потом скажем, Наталья Николаевна. Нельзя ему назад в Союз. Поймают обязательно — все пойдет прахом. Наши, может, уже и пронюхали про него — в этом власовском лагере, а то и в разведке американской. Нельзя! Шутка ли — через границу!

— А, может быть, и можно как-нибудь, Вася?

— Это же граница, Наталья Николаевна! А потом? Этот его напарник — комиссар? А разведка? А власовцы? Вы понимаете, чем это пахнет? Такой шпионаж пришьют! А нас всех шпионской организацией сделают.

— Ох, Васенька, понимаю. Да ведь жалко. Ты видел, на кого он стал похож?

— А Сони не жалко? А Кати не жалко? А нас не жалко? Как мы будем выглядеть в НКВД? Нет, как хотите, а назад ему нельзя.

— А если его там поймают и выдадут?

— Пусть живым не дается.

— Что ты говоришь, Вася!

— То и говорю. Не маленький, знал что делал. Вы думаете, мне его не жалко? Будь я один, можно было бы и рискнуть. А так...

— А нельзя ли ему здесь, в нашей зоне запрятаться, Вася?

— Здесь через год будет то же, что и у нас: паспорта, милиция, НКВД.

— Что же делать, Боже ж ты мой...

— Назад ему надо — вот что. Ходил через границу два раза, пройдет и третий. Дадим денег, еды. Может, Карл какой немецкий документ достанет. Будет там жить как немец. Немецкий язык знает. И пусть не лезет к американцам да к белым с власовцами. Пристроится — не маленький...

Федор с Чугуновым сидели в сарае на сене и ели пирожки.

— Ради одних пирожков домашних стоит рискнуть! — хотел пошутить Чугунов, но шутка не удалась.

Федор сидел согнувшись и не слушал.

— Боятся, говорите?

— Боятся. Сестру из лагеря выручают, все налаживается без меня...

— Как же так? Бежать помогали, сестру из лагеря вытаскивают, а назад — к ним же — боятся?

— Репрессии идут. Трибуналы приговаривают к повешению.

— Понятно. Восстановление Его Величества Страха. Но раз запугивают, Федя, значит сами боятся. В оккупированной зоне, видно, удается — люди в чужой обстановке. Да и то не очень — сестру-то выручают, а? Сейчас помогают? Пирожки кто дал? Одеяло кто дал? Она — русская женщина...

— Ах, Павел Петрович, все это рассуждения, а тут люди. Не имею права я рисковать ими.

— Правильно, Федор Николаевич, тогда двинемся сами.

— А поймают?

— Будем ответ держать. Живыми в руки не даваться.

— Они и по мертвому установят, а живые будут отвечать.

— Логика. Что ж вы решили.

— Разве я знаю? Подождем ночи.

Федор стоял за деревом, когда автомобиль с притушеными огнями свернул и въехал в кусты. Фары потухли, но где-то выглянувшая лу-

на осветила за деревьями дорогу, и Федор успел разглядеть, что в автомобиле сидело четверо. «Катя! — внутри похолодело и заныло. — Катя и Карл!» Он хотел было броситься к автомобилю, но вдруг увидел, что вылезли три мужские фигуры. Он так и замер.

От радиатора отделился высокий силуэт Василия. Тихонько свистнул. Лунный свет за деревьями стал гаснуть, будто его выключали через реостат. Одна фигура повернулась, и Федор узнал сутуловатого Карла.

Василий подошел один.

— Ну вот, привезли Карла и еще одного, брата твоей немки...

— Герр майор, — совсем рядом позвал голос Карла.

— Карл!

— Я, герр майор. Гутен абенд.

Федор пошел на голос.

— Спасибо, Карл.

— А это Петер, герр майор. Брат фрейлен Инги.

Опять посветлело. Федор увидел узкую фигуру. Рука была тонкая и сухая.

— Петер, ангенем, — сказала фигура.

— Ангенем, — ответил Федор, радуясь, что тот не видит его лица.

— Потом поговоришь — они останутся с тобой, — дернул Федора за рукав Василий. — Пойдем к Наталье Николаевне.

Пошли рядом, пружиня по мокрой прошлогодней листве.

— Мы все обсудили, Федя.

Василий остановился.

— Возвращаться тебе никак нельзя. Ты уж прости... Этот парень на днях вернулся из плена. У него справка. Такую же справку он взял у товарища для тебя. Он пойдет с тобой. У него в западной зоне родственники и знакомые есть. Говорит, что наверняка устроит все... Карл приехал повидаться. Он тоже собирается срываться на Запад.

«Так...» — Федор понимал, что лучшего придумать нельзя, но обида, холодная, одинокая, росла в нем от каждого слова Василия.

— А Катю видели?

— Нет. Мы заезжали, — уехала куда-то гостить.

Василий соврал. Кате они даже не позвонили.

— Может быть, это и хорошо, Федя, — не надо ее мучить Она в положении, муж... Наталья Николаевна тоже так думает.

Наталья Николаевна стояла у дверцы. Она шагнула навстречу Федору, ощупала его, как это делают слепые, поймала руку и прижала к холодной мокрой щеке.

— Феденька... Милый ты наш... Не сердись, родной. Все от тебя зависим...

— Что вы, Наталья Николаевна. Я и сам думаю — так лучше. Пришел, повидал вас... Теперь Петер — все будет хорошо. Не сердитесь и вы на меня.

— Ну, не надо, не надо, милый... На Васю не обижайся. Он мужем Сони будет... Сроднились... Проститесь по-хорошему...

Федор обернулся к Василию.

— Будь здоров, Федя. Прости, брат... Такое дело...

Федор понял, что больше ничего не будет, — только прощанье.

— Прощай, Вася. Спасибо тебе за Соню... Я начал, мне и отвечать. Кланяйся ей... А, может, не рассказывай ни ей, ни Кате...

— Ладно. Держись крепче... Одним словом, будь здоров, Федя.

Наталья Николаевна плакала, ухватившись за рукав Федора. Василий полез за руль.

— Феденька, прости нас, ради Бога... Жалко нам тебя, сынок ты мой, — душа раздирается. Но пожалей и ты нас, несчастных, — и тебе не поможем, и себя сгубим... — быстро проговорила она, глотая слезы.

— Виноват один я, Наталья Николаевна. Скажите Кате — пожалел я, да поздно. Прощайте, Наталья Николаевна. И генерал пусть не сердится.

— Ему я не говорю, Феденька. Не надо... Помоги тебе... — она хотела еще что-то сказать, но отвернулась к дверце и, плача, стала искать ручку.

Василий открыл дверцу изнутри.

Мотор заурчал. Василий высунулся из окна.

— Федя, деньги, продукты, барахло у Карла. Остальное он расскажет.

Ломая кусты, наполнив лес треском, автомобиль полез на дорогу.

Фары зажглись только у поворота. Федор смотрел на белый, ломко бегущий за деревьями, свет — все дальше, дальше, пока совсем не сломался.

Он постоял в темноте, вслушиваясь в затихавшее гудение мотора — «Всё...» Карл и Петер ждали его у толстой сосны. Федор только теперь заметил набитые рюкзаки.

До сарая было около километра. Шли молча. Под ногами хлюпала вода, иногда мягко трескалась отсыревшая ветка. Ботинки и штанины брюк намокли. Небо очистилось, наполняя лес верхним светом и тенями.

Чугунов лежал в углу, притворившись спящим. Карл одеяло отдал Федору. Разулись, зарылись в сено.

— Вы давно из плена? — вполголоса спросил Федор Петера.

— Двенадцать дней тому назад привезли в Берлин. По болезни.

Помолчал.

— В Вуппертале у меня тетя и дядя.

— Герр Функе?

— Вы их знаете?

— Еще как!

Федор рассказал про бриллиант.

— Торгаш. Будьте спокойны, — бриллиант я получу.

— Черт с ним, с бриллиантом!

— Зачем же? Поможет вам обойтись без посторонней помощи.

Федора удивляло, что Петер ничего не спрашивал его об Инге.

— Ты, Карл, тоже решил на Запад?

— Не знаю, герр майор. Петер устроится — напишет. А что делать с вашими бумагами?

— С бумагами? Они здесь, у тебя?

— Дома. Герр оберст-лейтенант не советовал брать: опасно.

— Спрячь, я напишу через Петера.

— Еще герр оберст-лейтенант просил передать вам, чтобы вы написали два письма: фрау-оберст Рыльской и сестре вашей. Обыкновенного содержания, но будто вы находитесь в России. Дату поставьте теперешнюю.

— Письма? Зачем?

— Он думает, что их когда-нибудь могут спросить о вас, тогда они покажут письма. Власти будут думать, что вы в России.

— Вот как...

Предусмотрительность Василия подействовала как обида: «Сам сказать постеснялся...»

— Давай спать, утром договоримся.

— Еще герр оберст-лейтенант просил передать вам пистолет.

— Какой пистолет?

— Тот, что вы мне оставили, помните?

— Зачем мне пистолет?

— На всякий случай.

Карл в темноте передал Федору холодный металлический треугольник

«На всякий случай... Это, чтобы живым не сдаваться, — стало еще обиднее. — Мужицкая предусмотрительность!»

Проснулись они от шума — Чугунов вылезал из сарая.

Утро было холодное, сырое, туманное. Карл вытащил бутылку водки.

— Герр оберст-лейтенант передал.

Вернулся Чугунов, оглядел Петера и Карла, поздоровался, но ни о чем не спросил.

— Садитесь, Павел Петрович, погреемся русской горькой, — каким-то легкомысленным тоном сказал Федор.

Пили из горлышка. Петер отказался. Закусывали колбасой. Карл сказал, что Василий продукты купил в «Гастрономе».

— Родненькая, — повеселел Чугунов. — Так. А вы назад в Берлин? — спросил он Карла.

— Он вас проводит, Павел Петрович.

Чугунов поглядел на Федора, хмыкнул и отвернулся к Карлу.

Его заинтересовал рассказ Карла о том, что в Рюдерсдорфе, под Берлином, грузились железнодорожные транспорты с демонтированным оборудованием цементных заводов.

— Охраны много с ними? — спросил он Карла.

— Нет, Павел Петрович, не больше четырех человек демонтажников на состав, — ответил Федор. — Идут до Бреста, на перевалочную базу. Там — перегрузка на платформы и в вагоны нашей колеи.

— Вот и отлично, — оживился Чугунов. — Залезу в цементную печь или в какой «грохот» — и до Бреста, а Брест уже Союз.

— Да, но там начинается пограничная зона. Возьмите вот это, — Федор протянул Чугунову парабеллум. — Может пригодится.

Чугунов взял пистолет, повертел в руках.

— Нет, Федор Николаевич, задержат — буду врать, что остовец. Боялся репатриации и сам пробираюсь домой. Остовец — не власовец.

— Но придется говорить, откуда.

— Э, мил-человек, я за полтора года войны столько стертых с лица земли мест прошел, ни одного жителя живого не осталось. Да и не задержат меня...

После завтрака Федор написал письма — у Карла была и бумага и перо. Сегодня просьба Василия Федору уже не казалась обидной — «Хитер, правильно!» Письма пометил Карагандой. Написал, что жить «штрафником» не хочет и будет искать свое место. Если, мол, устроюсь, — напишу еще. Не устроюсь — не поминайте лихом.

Продуктов в рюкзаке было много — сало, колбаса, шоколад, хлеб. Федор поделил их поровну — себе и Чугунову. Три тысячи марок тоже поделил. Чугунов вначале отказывался, но Карл сказал, что деньги будут нужны. Он брался доставить Чугунова до Рюдерсдорфа.

— Спасибо, камрад. И это расскажу дома — немцы начинают понимать!

— Русские тоже понимают нас, — неожиданно сказал молчавший до этого Петер. — Женщины плачут, кормят, если можно. Русский человек добрый. Некоторые из наших бежали с Урала, с Донбасса. Добрались до Германии только благодаря русским женщинам.

— Вот оно, Федор Николаевич, а вы говорите — боятся!

Чугунов от слов Петера совсем оживился: опять блестели глаза, опять посмеивался нервный рот.

Туман еще не разошелся, но верхушки сосен уже были в солнце. От сырой земли поднимался пар, крепко пахло прошлогодней листвой.

— Солнце, солнце, божественный Ра-Гелиос! — подекламировал, выглядывая из сарая Чугунов. — Древнее божество приветствует меня. Я к нему, а вы от него, — сказал он Федору, показывая рукой на солнце, но, увидев что Федору не до шуток, рассмеялся. — Ничего, Федор Николаевич, ваш Боб и вот они доказали мне, что и вы правы. Может быть, и Запад не безнадежен. Объясняйте им, что когда придут сроки, чтобы не делали глупостей, как геноссе Гитлер. Мы там, вы с ними здесь. Целая программа!

Федор благодарно улыбнулся: он все это время чувствовал себя так, словно предал Чугунова.

Проводил Чугунова и Карла до опушки.

— Будь здоров, Карл. До встречи.

— Счастливого пути, герр майор. Пусть Петер сразу напишет мне.

Карл отошел к дереву.

— Ну, Федор Николаевич, — сказал Чугунов, весело глядя на Федора, — пожелаем друг другу удачи и скажем «до свидания».

Они обнялись. Федору показалось, что Чугунов хочет расцеловаться, но боялся ошибиться. Чугунов первым приблизил лицо. Поцеловались, обкалываясь о щетину.

— Прощайте, Павел Петрович.

— До свидания, Фома Неверный. А то, что ваши друзья испугались, — ничего не доказывает, — отдельный случай.

Чугунов, не оглядываясь, пошел к поджидавшему Карлу.

Освещенное солнцем дерево громко свистнуло птицей.

Петер на сене тихонько покашливал. При дневном свете Федор разглядел его худобу и желтоватую бледность кожи, какая бывает у очень малокровных людей. Петер молча смотрел на Федора — глаза были Ингины и думали они об Инге.

— Знаете, Петер, — сказал Федор, опускаясь рядом, — для бегуна на длинные дистанции главное перейти «мертвую точку». Если перейдет — будет бежать до финиша. Не пересилит — сойдет с беговой дорожки. Мне кажется, что этой ночью я свою «мертвую точку» перешел.

25. БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ

Нордхаузен обошли стороной. Вдоль дороги в промозглой темноте попадались фигуры, чаще женские, с рюкзаками, чемоданами.

На Федоре была куртка, старые лыжные ботинки и вылинявшая егерская фуражка — Петер купил в деревне. Смятое, испачканное грязью пальто Федор хотел бросить в кусты, но Петер поднял, отряхнул.

— Материал хороший, отдадите в чистку.

И, аккуратно сложив, положил в рюкзак.

Рюкзак нес Федор — Петер и так шел поминутно вытирая лицо и шею.

Иным актерам без соответствующего костюма и декораций даже репетировать трудно — одежда и справка в кармане на освобожденного из советского плена унтер-офицера Ганса Лютгенса позволили Федору войти в свою роль. Вот только акцент, — чем ближе к границе, тем хуже, казалось, становился его немецкий. И еще луна: после дождей и кромешной темноты она, как вымытая лампа, светила во всю свою космическую мощность.

Петер упорно не спрашивал об Инге, хотя убили ее где-то неподалеку, — воспоминание в Федоре набухало, как открывшаяся рана.

Рюкзак больно давил каким-то бугорком между лопатками. Федор на ходу поправлял его, но рюкзак сползал и бугорок снова давил.

Километра за два до границы натолкнулись на группу из женщин, мужчин и двух подростков, сидевшую вокруг старой ели.

— Гутен абенд, — сказал Петер.

— Гутен абенд, — глухо ответила группа.

Помолчали. Потом мужчина сказал:

— Кто-то из наших откупился шнапсом, русские солдаты перепились.

— В двенадцать смена караула, — сказала женщина с краю.

— Пойдем, — вполголоса сказал Федору Петер. — Пьяные шумят скорей услышим.

Пошли меж деревьями, не теряя из вида дороги. «Ерунда», — успокаивал себя Федор, вспоминая как все вышло и в первый раз и во второй — с Чугуновым И вот тут-то и пришло в голову нелепое, — под стать суеверной старухе: «Бог любит троицу». И не потому, что Бог, не потому, что троица, а совсем наоборот — потому что: «Два раза вышло, а на третий попался! Два раза вышло, а на третий...»

— Знаете, Петер, давайте уходить от дороги, — сказал Федор, уступая беспокойству.

Пошли зарослями молодого кустарника. Лес стал темнее, глуше. Все реже лунным лучам удавалось отыскивать лазейки в черных переплетенных кронах. В слежанной хвое попадались ямки — подворачивались ноги, приходилось перелезать через упавшие стволы, обходить лунные болотистые полянки. Сучья под ногами трещали выстрелами, заставляя приседать и вслушиваться в колотящуюся в ушах тишину.

Вышли на неширокую просеку. По звездам — просека шла на запад.

— Пойдемте по просеке, — шепотом сказал Петер.

— Ладно. Вы идите первым, а я метрах в пятнадцати за вами. В случае чего...

Федор показал парабеллум.

Он подождал, пока отойдет Петер, чувствуя неловкость за то, что послал того вперед, к опасности. Вверху предостерегающе шумели кроны сосен.

Просека выходила в лунное поле. Петер дошел до края. Его худая фигура ясно виднелась силуэтом на фоне белого пространства.

«Надо было бы свернуть, не доходя...» — не успел Федор додумать, как на весь лес артиллерийским залпом ухнуло:

— Стой! Руки вверх!

Федор видел, как присел силуэт Петера. Сам он, ведомый спасительным инстинктом, неслышно упал в сторону, за куст, кончавшийся, рядом с фигурой Петера, порослью. Первым движением Федора было — отползать назад. За порослью он разглядел две фигуры. Одна, пригнувшись, стала забегать между деревьями, словно хотела отрезать отступление Федору, но не дойдя до него, полезла через куст, пересекла просеку и стала обходить с другой стороны, явно имея в виду Петера.

— Стой, ... твою мать! — заорал солдат, выскакивая с автоматом, направленным на Петера. Силуэт Петера поднял руки.

— Вер ист дас? — крикнул солдат.

— Я... военнопленный... иду домой, — ответил Петер по-русски с сильным акцентом.

Федор не знал, что Петер понимает по-русски.

От заросли отделилась фигура второго солдата — с винтовкой.

— Документы есть? — закричал первый с автоматом.
— В кармане... — ответил Петер.
— Пашка, возьми! Обыщи!

Второй солдат, Пашка, подошел к Петеру и стал обыскивать. Петер что-то сказал ему. Солдат полез в нагрудный карман. Отошел в сторону, зажег фонарик.

— Все правильно, Степан... Справка из лагеря... Освободили пятнадцатого февраля... Местожительство Штетин... Подпись и печать. Все правильно.

— Что ты там понимаешь, мудило! «Все правильно»! Штетин где, а он через границу!

— Штетин — теперь Польша, — сказал Петер. — Немцев эвакуировать...

— «Эвакуировать»! А тебе кто разрешил эвакуировать на Запад?
— В Вуппераль — мой дядя и тетя...
— Знаем мы этих «дядю и тетю»! А ты кто такой?
— Петер фон Торнер, из плена...
— Слышь, Пашка? «Фон» — из богачей... А ты где в плен попал?
— Под Москвой... Сорок второй год...
— Где под Москвой?
— Вязьма...
— Слышишь, Пашка? «Земляк», туды его мать! Вязьма...
— Да брось, Степка, справка правильная...
— А где пропуск через границу?
— Тогда отведем к лейтенанту.

Степан плюнул и заматерился.

— Стой здесь, Фриц.

И отведя Пашку, стал вполголоса что-то ему говорить. Потом громко:

— А лейтенант сразу: где водку брали? А? И пойдет...
— Пустим его, пусть идет...
— А, может, это он, зараза, подстрелил меня под Вязьмой? Тебе что, а мне чуть ногу не отрезали! У, фашистская морда! — заорал Степка на Петера, хватаясь за автомат.
— Да брось, Степан, чего ты привязался...
— Отойди, Пашка!

Степан подскочил к Петеру и наотмашь ударил того кулаком по лицу. Петер упал. Солдат стал бить его ногой — носком сапога, потом каблуком.

Пашка махнул рукой и пошел к заросли.

— Сказился... — ясно услышал Федор.

Потом солдат обернулся и сердито крикнул:

— Брось, тебе говорят!

Степка оставил лежащего Петера и, тяжело дыша, подбежал к напарнику.

— Ты что, зараза, заступаешься, а? — пьяная злоба душила его. —

За фашиста заступаешься? Да? Он меня подстрелил, а тебе ничего? Да?

Степка уже верил, что ранил его под Вязьмой не кто другой как Петер.

— Они у меня сестренку повесили, мать убили, хату спалили. А ты заступаешься ... твою мать! Ничего мне не будет ...

Федор сквозь ветки увидал, как Степка схватился за автомат и обернулся в сторону Петера.

Все это время Федор, не отдавая себе отчета, полз вдоль куста к заросли, за которой стояли солдаты. Он уже различал круглую спину в шинели Степки и мешковатую спину второго солдата. Мысль об Инге — тогда она, теперь Петер! — и острое сознание, что все из-за него — трус! — и тяжесть пистолета в руке, и испуг — и Федор поднялся, шагнул сквозь ветки куста и в упор выстрелил в Степкину шинель, целясь немного выше хлястика, и сразу же прыгнул ко второму солдату, схватил за дуло висящую через плечо солдата винтовку и рванул ее что было сил на себя. Пашка, насмерть испуганный выстрелом за спиной, повалился навзничь под ноги Федору — шапка-ушанка скатилась на землю, обнажив стриженую голову— Федор тут же стал бить по голове рукояткой пистолета — раз, два, еще ...

— Федор! — услышал он над собой голос Инги: бледное лицо Петера, измазанное черной кровью, смотрело на него. — Федор! Выстрел ... Бежим!

Федор, дыша как после бега, оглядел тела солдат — один лежал ничком — над хлястиком шинели слева темнело пятно, второй лежал лицом к луне.

— А рюкзак где? — спросил Петер.

Федор не понял — какой рюкзак? Петер скрылся в кустах.

Федор стащил со Степана автомат, решив добить второго солдата. Он поднял тяжелый автомат, целясь прикладом в Пашкин висок. Но вдруг сверху сосны так зашумели, одна сосна даже жалобно заскрипела, и Федор оглянулся, поднял лицо к соснам, увидел звезды.

— Ладно ...

Из темноты вынырнул Петер с рюкзаком.

— Дайте мне ...

Перед тем, как надеть рюкзак, Федор стащил с руки Пашки винтовку и, размахнувшись, бросил ее в кусты. Петеру отдал пистолет.

Побежали вправо вдоль поля.

Теперь все зависело от того, был ли с той стороны дозор. Проверяя на ходу автомат, Федор решил пробиваться с боем. Петер бежал, припадая на ногу, и Федор был готов накричать на него за медлительность.

Добежав до конца поля, Федор не свернул, а стал углубляться в лес. И только сделав большой круг, найдя по звездам запад, пошел шагом, держа автомат на взводе.

Попалась какая-то речушка. Присели в кустах. Долго всматривались и прислушивались. Где-то далеко, слева, лаяла собака.

— Придется переходить, — сказал Федор.

Петер кашлял, зажимая рот шарфом.

— Садитесь мне на плечи.

— Нет, я сам . . .

— Садитесь, говорю вам! — прикрикнул Федор и нагнулся подставляя шею.

Петер сел на нее верхом. Федор выпрямился и, осторожно ступая, вошел в воду.

Петер первым заметил на дереве щит с двойной надписью — понемецки и по-английски: «Ходить запрещается». Присели в тени двух сросшихся деревьев.

— Ну, вот . . . — сказал Федор. — Бог любит троицу . . .

Спина в шинели с пятном над хлястиком . . . Круглая стриженная голова . . . «Два раза прошло и третий раз прошло . . .»

— Спасибо, Федор . . . — сказал за стволом голос Петера.

Федор промолчал.

— Теперь я знаю, что вы не виноваты в смерти Инги . . .

«Вот почему он все время молчал о ней . . .»

Автомат и пистолет они бросили в пруд. Нос и глаз Петера опухли. У Федора от подбородка к уху шла царапина — ободрался о ветку.

Первый раз их остановили возле Фульды. На всю жизнь запомнил Федор вышедших из-под навеса полицейских: один полный рыжеватый, с пытливыми сердитыми глазами; другой — моложе, худой, с унылым лицом.

— Документы, — сказал старший.

Первым отдал справку Петер.

— Из восточной зоны? — спросил худой, пока старший читал справки.

— Да. Мать умерла в Берлине, в Вуппертале дядя, — сказал Петер, — а у Ганса, — показывая на Федора, — товарищ по плену в Верхней Баварии. У него никого не осталось.

Старший передал справки худому, оглядел Петера и Федора. Болезненная худоба Петера, повидимому была сильнейшим аргументом.

— Где были в плену? — спросил он уже обыкновенным голосом.

— Я на Урале, в Свердловске; Ганс в Сибири, в Челябинске. Наш лагерь работал на заводе, а их — в лесу, на лесоповале.

— Многих освобождают?

— Нет, только больных, кто работать не может.

Полицейский поглядел на Федора. Федор больным не выглядел.

— У меня ТБЦ началось, а у него припадки от контузии, — сказал Петер, отвлекая полицейского от Федора. — Но и другие долго не выдержат: питание плохое, морозы страшные . . . Каждый день умирают.

— Да, морозы в России — это страшно. Я под Ленинградом был. Еще удивительно, что красные больных не добивают.

— Я тоже под Ленинградом был, — сказал Федор.

Совсем не говорить — могло показаться подозрительным. Объясняя свой акцент прибавил:

— Я был в балтийских частях.

— Я встречал там балтийских немцев. Хорошо дрались! Ты в плен под Ленинградом попал?

— Нет, в Сталинграде.

— О, майн Готт! — полицейский с уважением посмотрел на Федора.

Молчавший полицейский помоложе спросил, показывая на рюкзак за спиной Федора:

— Надеюсь, не шварцмаркт?

— Какой там шварцмаркт! Одежда и немного еды, — ответил Петер.

— А ты где попал в плен? — спросил рыжий Петера.

— Я под Москвой. Восемьдесят вторая танковая генерала Гудериана.

— Да что ты! И я был у генерала Гудериана! — обрадовался рыжий.

Они стали вспоминать командиров. Федор нарочно снял рюкзак и стал перевязывать на виду у полицейских.

— Границу перешли благополучно? — спросил старший полицейский Федора, когда тот кончил застегивать ремни.

— Да, — нагибаясь к рюкзаку, ответил Федор.

Петер поспешил вмешаться.

— Мы около Гельмштадта перешли.

— Этой ночью в сторону Нордхаузена убили русского солдата. Говорят, — бежавшие власовцы. Англичане и американцы по требованию русских повсюду ищут.

После этой встречи пропала боязнь перед полицейскими. Во второй раз — в Нюрнберге — Федор даже рассказывал подробности боев в Сталинграде. На вокзале в Мюнхене их остановил полицейский с американским сержантом МП. Федор испугался, но все обошлось предъявлением справок.

26. ОПЯТЬ БЕРЛИН

У Кати сидел Николай Озолин. Неделю тому назад его вызвал из Москвы Серов. Генерал покидал Германию.

Капитан приехал к Кате прощаться: завтра он с генералом улетал в Москву.

— Жалко, что не успел как следует «развернуться» в Берлине, — рассказывал он Кате. — Только раз и кутнул, третьего дня в Бернау. Пограндивизией там командует такой веселый грузин. Был Василий Сталин. Переводчик привез девочек из кордебалета Ренессанс-театра. Одна, правда, — Озолин весело захохотал, — совсем не немочка. Как раз наоборот — мулатка. Цоя или Зоя . . . — и он опять захохотал. —

Ты извини, Катя, но соблазн — не устоял. Ни разу негритянки не было, согрешил.

— Ох, Коля, Коля, когда ты остепенишься?

— Я думал, экзотика, а кроме цвета — никакой экзотики, честное пионерское. А Василий Сталин перепился — выбрал Гретхен, а та с голоду на масло налегла — ее стошнило в самый неподходящий момент!..

— Коля, генерал чем-то озабочен?

— Как тебе сказать? У нас реорганизация идет: СМЕРШ ликвидируют, Безопасность опять отделили от Внутренних. Лаврентий Павлович своих из Грузии выдвигает. Да и на генерала сердит. Догадался, что генерал одну услугу Кагановичу хотел оказать — этого наш Лаврентий Павлович не любит больше всего! Хотя Хозяин и один, у них этакое «соцсоревнование». — Николай засмеялся. — Но думаю, что Берия с удовольствием оставил бы генерала здесь. Только высшее начальство решило иначе — у генерала блат и у Поскребышева, и у самого Хозяина.

— Кого ж на его место пришлют? — спросила Катя, занятая мыслями о последствиях отъезда Серова.

— Никого. Просто каждое управление наркоматов, — тьфу, министерств — никак не могу привыкнуть, — будет иметь здесь свое отделение. Генерал...

В коридоре зазвонил звонок. Катя поглядела на часы — было без пяти четыре, муж так рано не приходил.

— Прости, Коля.

За дверью стоял Василий.

— Фу, как вы меня испугали, Василий Степанович!

— Зашел проститься, Екатерина Павловна.

— Уже?

— Да. Только что закончил оформление. Получил пропуск на себя и на машину.

Катя приложила палец к губам, головой показывая, что в столовой посторонний. Шепотом объяснила:

— У меня тот капитан, из Москвы. О Соне ни слова.

— Подполковник Трухин — капитан Озолин, — познакомила их Катя. — Садитесь, Василий Степанович. Сегодня у меня день проводов. Подполковник, Коля, тоже пришел прощаться — демобилизовался и уезжает домой.

— О, — сказал Озолин, разглядывая Василия.

— Потянуло на родину, — работы непочатый край, специалистов не хватает.

— Это правильно, — подхватил Озолин, угадывая начало скучного, застегнутого на все пуговицы, разговора. — Пятилетний план утвержден, задачи грандиозные. Но, знаете, с другой стороны — оборона, передача боевого опыта молодняку...

— Я, товарищ капитан, думаю так: член партии должен быть всегда на передовой: война — солдат, стройка — строитель.

— Пожалуй, вы правы, — согласился Озолин, подумав, что пора уходить.

— Извините ... — Катя встала и торопливо вышла, прижимая платок ко рту. Последние дни ее опять мучила тошнота.

— Так вы, значит, совсем? — сказал, чтобы не молчать, Озолин.

— Да, наркомат отзывает.

— Министерство, вы хотите сказать?

— Да, министерство. Вот только демобилизационного пакета на руки не выдали. Говорят, приказ.

— И правильно, что не выдают. Вас министерство отзывает — вам все равно. А другому дадут документы на руки, а он вместо того, чтобы по месту жительства или по месту работы, едет куда хочет. А так, документы идут в райвоенкомат — не сбежишь. Надо было бы с самого начала такой порядок завести. А так за год с миллион человек разбежалось, а то и больше. Главным образом колхозники — все в города подались. А в колхозах скандал с рабочей силой ...

Катя вернулась побледневшая и осунувшаяся.

— Ну, Катенька, мне пора, — сказал Озолин. — Что передать дядюшке? На него, знаешь, на прощанье, так сказать, дело свалилось.

— Что такое?

— Из американской зоны шел транспорт с выданными изменниками родины.

Василий сжался в кресле, Катя села, устало опустив плечи.

— Транспорт с власовцами, — продолжал Озолин. — В одном вагоне проломали пол и человек пять ушло. Эти идиоты, американцы, не установили на задней площадке прожекторов. Те прыгнули и лежали между рельсами, пока поезд не прошел. Часовой на задней площадке ничего, конечно, не заметил. А сегодня ночью на границе убили нашего солдата, второго ранили. Ну, генералу и пришлось на прощанье всякие распоряжения давать, ноту союзникам составлять ...

Озолин поднялся, кивнул Василию.

— Всего хорошего, подполковник. Желаю успеха. Очень рад.

Катя пошла его провожать. У двери сказала:

— Может быть, нехорошо что я не еду прощаться с генералом, Коля?

— Наоборот, — смерть не любит родственных чувств.

— А тебе Коля, желаю бросить болтаться и скорей жениться.

— Ох, Катенька, знаю, сам знаю. Может, и женюсь. Есть у меня на примете одна девушка, в студии Вахтангова. Все не решусь со свободой расстаться ... Да ... А может быть, и по другой причине.

— Что еще?

— Не нравимся мы настоящим женщинам, — как-то серьезно и печально сказал Озолин. — Да, да ... Я это вот как знаю! За нашего брата из «органов» замуж все больше «прости господи» идут, хорошая девушка брезгует ... Казалось бы, и положение, и власть, и распределители всякие, и квартира, и другие блага ..., а женщине настоящей, с душой, с сердцем мы не нравимся! Мы, и партработники руководя-

щие. А это тревожный симптом, как говорят врачи. Ученый ей нравится, писатель нравится, актер, педагог, врач, даже работяга нравится иной, но не мы. Да... Пойми вас, женщин...

— Что, Коля? — тихо спросила Катя.

— Не знаю, как это тебе сказать... Ну да ты понимаешь...

Василий сидел в гостиной, расстроенный встречей с «энкаведешником», и думал, как Наталья Николаевна передаст Кате письмо Федора, — письма Карл отдал Василию с час тому назад.

— Чего это он к вам приходил? — спросил Василий об Озолине вернувшуюся Катю.

— Прощаться. А что?

— Да, знаете, действовать на нервы стали эти... «органы». Встретишься, и сам-то не знаешь отчего, а настроение портится.

— Полно, Василий Степанович, Николай парень хороший.

— Все они хороши до поры до времени. Как вы чувствуете себя?

— Спасибо, неважно, — Катя попробовала улыбнуться. — Так вы все уже оформили?

— В порядке, вот демобилизационый пакет на руки не дали. Хотели отправить в военный отдел наркомата, а это значить — жить в Москве.

— Ну, и отлично. Столица.

— А Соня? Вы же знаете: Москва — прописка, проверки, а там и докопаются. Но все обошлось: сказал, что хочу пожить у своих в деревне. Отошлют в местный райвоенкомат.

— Может быть, вам, Василий Степанович, лучше к Николаю Васильевичу в Архангельск?

— Посмотрю.

— А Соня пишет?

— Последний раз писала, что все еще в Свердловске.

— Не горюйте, Василий Степанович. Все обойдется. Вы как же решили — женитесь? — Катя сбоку посмотрела на него черным лихорадочным глазом.

— Я-то что, Екатерина Павловна. Наталья Николаевна говорит как о деле решенном, а мы с Соней ни о чем таком и не говорили... Кто ж его знает...

— Вы думаете, что Федор сумеет там устроиться? — вдруг спросила Катя.

— Э-э-э... — не сразу нашелся Василий. — Он ведь мастак. Язык знает, что твой немец... Что ж ему-то не устроиться?

— Выдают ведь... — будто не ему, сказала Катя.

— Выдают... — проговорил Василий. — Так он не маленький, чай должен понимать...

Катя прошлась по комнате.

— Видите ли, Василий Степанович, были у меня здесь связи — узнала бы, если б выдали. Что могла — сделала бы... А теперь связи эти кончились. Людей в Москву возвращают.

Она присела на диван.

— Жить мне с мужем тяжело... А теперь и бессмысленно. Посо-

ветуйте мне, Василий Степанович, — в какой-то безысходности проговорила она. — Может быть, и мне уехать домой... Что я буду здесь одна делать?

Если бы он мог ей рассказать!.. Но Наталья Николаевна наказала не рассказывать ни под каким видом.

— Вы будете не одни, Екатерина Павловна. Съездите к Наталье Николаевне, погостите, все легче. Она добрый человек, посоветует... А я устроюсь — к нам приедете... Мы вам писать будем...

Катя быстро-быстро мяла платок в маленькой крепкой руке.

— Правда, съездите к ней, Екатерина Павловна. Она тоже одна, вам будет рада...

— Вы когда едете, Василий Степанович?

— Сейчас в дивизию, а завтра вечером, надеюсь, уеду.

— Может быть, вам надо что купить в Берлине? Вы знаете, я даже подарка Соне не приготовила...

— Что вы, Екатерина Павловна! Мы с Натальей Николаевной столько накупили, как бы чего в Бресте не отняли. Вот только... не знаю, удобно ли...

— Что такое? Пожалуйста...

— Вы в прошлый раз говорили, что здесь можно марки на рубли поменять... Боюсь, в Бресте денег не хватит.

— Сколько вы хотите обменять?

— У меня около двух тысяч марок осталось.

— Это не трудно. Я меняю у одного знакомого в «Гастрономе». Но сегодня уже поздно... Вы ехать через Берлин будете?

— Да, в одиннадцать тридцать, с Брестского.

— Оставьте мне марки, завтра я обменяю и привезу вам на вокзал. А Наталье Николаевне передайте — приеду обязательно. Она на мою маму похожа...

— Вот видите...

Так ничего не сказав ей о Федоре, Василий простился. Катя его не задерживала: скоро должен был вернуться муж.

27. РАЗРЯДКА

Большой зал ресторана «Ам Пляцл» пустел. Крикливые официантки в баварских нарядах убирали со столов. Заметнее стали обгорелый потолок, крашеная фанера на окнах, облезлые стены. В дальнем углу все еще сидели трое, один в американской форме.

— Хорошо, что я не выбросил справку на Таневского, — сказал Федор. — Петер спрятал ее в ботинок. Без нее на почте мне вашего письма не выдали бы, и мы никогда не встретились бы в с вами, Боб.

Рассказ Федора о попытке вернуть свое «вчера» капитана потряс.

— Странные вы люди, русские: то бежите, то возвращаетесь. Ведь его там расстреляют, — сказал Боб о Чугунове.

— Он не боится, Боб. У него есть цель.

— А вы?

— Я? . . Я испугался. Не за себя. Полковник всех потерял, а у меня близкие.

— Все потерять и все найти, — ни к кому не обращаясь проговорил Петер. — Я тоже все потерял: отца, мать, сестру . . . Но чувствую себя на грани какой-то истины. Война, потери и то, что было в плену, — все это фильтр необходимой чистоты, как писал Шопенгауэр.

Федор успел привыкнуть к манере Петера разговаривать. У Боба слова Петера вызвали неожиданную реакцию. Он вообще сильно переменился — не стало замкнутого спокойствия. Он несколько раз пыхнул трубкой и заговорил, путая немецкие слова с английскими:

— Все потерять и все найти . . . Это верно. Мы — три молодых человека: американец, русский и немец — представители народов, вчера воевавших, сегодня враждующих. У каждого из нас свои утраты. Но мы сидим вместе, мы думаем вместе. Это начало того, что мы нашли. Той истины, как я вас понял, Петер. Вы знаете, Федор, меня демобилизуют!

— Из-за нас?

— Да. Мой начальник пытался замять — отослал в Париж. Не помогло. Но я рад этому! Я снова свободный гражданин. Я еду домой. У меня есть знакомства. Несколько влиятельных журналистов. Они поднимут этот вопрос в прессе. Правительство и Конгресс будут вынуждены обратить внимание.

— Оставьте Боб. Как это журналисты могут писать против правительства?!

— У нас они только и делают, что пишут против правительства. Я не один. В армии много офицеров, которые думают так же, как я. Меня поддержат. Про ваш случай я расскажу в Вашингтоне. Пусть сами приедут и говорят с вами. Я пришлю толкового журналиста. Надо сделать так, чтоб об этом заговорила пресса. Полковник Чугунов прав: он там, а мы здесь.

— Боюсь я, Боб, как бы такая огласка не стоила жизни моим близким.

— Не бойтесь, Федор Панин, речь идет о Таневском.

— Так-то оно так . . .

Федор опять подумал: может быть, рассказать Бобу о случившемся на границе?

— Надо быть осторожным, Боб.

— Я понимаю, Федор. Теперь главное — пристроить вас.

Приняли план Петера: ехать в Оберсберг, где жил его товарищ по плену Курт Майер. Курту Майеру в лагере ампутировали руку, он вернулся еще в декабре. Его отец, владалец мясной, умер во время войны, и делом управлял старший брат. Петер через Красный Крест получил в лагере от Курта письмо, в котором тот приглашал его к себе.

— Вы поедете со мной, Федор, как Ганс Лютгенс. Я уверен, что Курту можно будет обо всем рассказать. Позже . . .

— Вы думаете, Петер, для Федора там найдется работа?

— Уверен. У братьев Майер мясная лавка, гастштетте, коровы, целое хозяйство. А кроме того, у Федора достаточно денег на первое время. Потом я съезжу к дядюшке Функе и получу бриллиант.

— Отлично. Автомобиль у меня пока есть, давайте сейчас и поедем.

День был ясный, холодный. До Вайльхайма ехали по дороге на Гармиш, потом свернули к Обераммергау. Часто попадались военные автомобили. Но страха не было: Боб сидел рядом.

В Оберсберг приехали в сумерки. В долине уже стемнело, снизу поднимался холодный туман, но вершины гор стояли розовые от солнца. Зеленоватое, необыкновенно высокое небо было таким же, как тогда, когда Федор подъезжал к Гармишу.

Трехэтажный дом с вывеской «Бр. Майер» стоял у дороги при въезде в деревню. Справа от освещенного входа темнело большое окно витрины мясной. Слева шли окна гастштетте.

Зал был низкий длинный, с двумя чугунными люстрами. Стены и потолок из темного дерева. Аккуратно расставленные квадратные столики в синих клетчатых скатертях. Некрашенные баварские стулья смотрели спинками с выпиленными сердцами. Вдоль правой стены шла начищенная стойка со стаканами и глиняными кружками. Чисто, тепло, пусто.

— Хелло! Есть кто живой? — окликнул Боб.

В стене за стойкой отодвинулось окно. Выглянуло раскрасневшееся девичье лицо. Увидев американца, спряталось.

— Хелло, — рассмеялся Боб.

Федор рассматривал помещение, — может быть здесь ему предстояло заново начать жизнь? И то, что было тепло, и то что чисто и пахло чем-то домашним, и то что выглянуло девичье лицо, — от всего этого ему нестерпимо захотелось здесь остаться, забыть Федора Панина, Таневского . . .

Из боковой двери вышла сердитая старуха. Сухо оглядела их и спросила, обращаясь к Бобу:

— Что вы хотите?

— Хотим, чтоб вы нас угостили, хотим, чтоб напоили хорошим пивом, хотим . . . — весело заговорил Боб.

— Ужин еще не готов. Рано, — буркнула старуха. — И то, если у вас имеются продуктовые карточки. Сейчас можете получить пиво и кофе.

— А нельзя ли нам, гнедиге фрау, поговорить с хозяином?

— Хозяина нет дома, вернется завтра.

— Тогда с его братом, Куртом Майером, — все больше веселясь, сказал Боб.

— Я сейчас узнаю, подождите.

— Напугали вы ее, Боб. Она не иначе думает, что вы арестовывать приехали, — засмеялся Федор.

Они сняли куртки и уселись у крайнего столика. Федор посматривал на окошко за стойкой — не выглядит ли опять девушка.

Где-то над головой застучали шаги. Вошел худой с унылым носом, темноглазый парень в зеленой куртке и шляпе с пером. Левый рукав был пуст.

— Что вам угодно? — спросил он Боба, но, взглянув на поднявшегося Петера, сразу признал. — Петер! Майн Готт, Петер! Грюс Готт!

— Здравствуй, Курт.

Они пожали друг другу руки и стояли, улыбаясь. Федор подумал, что мужчины немцы не обнимаются и не целуются.

— Это, Курт, мой товарищ, Ганс Лютгенс. А это капитан Боб Тейлор, тоже мой товарищ.

Баварец подавал единственную руку и говорил:

— Ангенем.

— Капитан нас привез. Я и Ганс думаем где-нибудь устроиться здесь.

— Майн Готт, это замечательно, Петер! А как сестра, мать?

— Мать умерла в Берлине... Ингу застрелил советский солдат на границе.

— Майн Готт, — по-другому проговорил Курт и опять протянул Петеру руку. — Макс, мой брат, вернется, мы поговорим с ним. — Танте Христел! — крикнул он в сторону кухни.

— Я, — ответила старуха подслушивавшая за дверью.

— Приготовьте ужин для нас. Это Петер, танте Христел. Знаете, мой Петер.

— Гут, — ответила старуха.

— Пойдемте наверх, я покажу ваши комнаты.

Комнаты для гостей занимали третий этаж — маленький коридорчик, по четыре белых двери по сторонам, в конце — дверь в ванную. Петера поместили в дальней комнате слева, Федора — напротив.

В окне — казалось совсем рядом — высились горы, потемневшие, синие, только небо за ними все еще было в солнце. Внизу — постройки, двор, телеги, грузовик, бочки. Федор потрогал рукой перину, плоскую подушку. Вид подушки в белой накрахмаленной наволочке — было последним, что делало ощущение найденого пристанища до конца полным. Бежать больше не нужно. Не надо ползти под дождем в темноту, не надо лезть в холодную черную воду; не надо стрелять в спину с хлыстиком... Чистя костюм, бреясь, он думал обо всем сразу, все время оступаясь мыслью о девичьем лице в окне кухни.

В конце зала был как бы отросток — комната для гостей хозяев, с дверью в кухню. Высокая полногрудая Ленхен — так звали девушку — радостно носила блюда. Когда не смотрел Курт, она улыбалась, и Федор знал, что улыбалась ему. Танте Христел принесла две бутылки «Мозель» и бутылку корна.

В зале появились первые посетители — усатые, с трубками, в белых гамашах. Они говорили «Гутен абенд, танте Христел» и усаживались на свои места, на которых, наверно, сидели каждый вечер. За

крайним столом начали играть в скат. Воздух наполнился трубочным дымом. Ленхен включила радио.

Курт ел мало. Он сидел возле Петера и в десятый раз говорил:

— Это замечательно, что ты приехал, Петер! Ты не переменил своего решения?

— Нет, Курт.

— Вундербар! Я все узнал в Мюнхене. Летом подготовимся, а осенью поедем.

— Куда это вы собираетесь? — ревниво спросил Федор.

— В университет, в Мюнхен. Мы с Петером еще в лагере решили. Он хотел в Берлин, а теперь вместе. Вундербар!

Федор переглянулся с Бобом.

— Крепкий народ, а? — сказал Боб. — Вчера умирали в плену, войну проиграли, страна в развалинах, а они — в университет.

Федору стало слегка грустно: те в университет, Боб в Америку, а он...

— Вы когда, Боб, уезжаете?

— Дня через три-четыре. Но я обязательно вернусь, Федор. Выпьем за будущую встречу.

Петер и Курт пили вино. Федор и Боб — самогонного вкуса корн.

— Боб, а что тот, капитан с усиками?

— Пошел в гору. С моим увольнением он тоже постарался.

— Как у вас странно: за помощь в побеге арестованному и пленному только уволили из армии.

— Вы хотите сказать — несправедливо?

— Нет, я хочу сказать, что у нас за это расстреляли бы. Меня выгнали из армии только за то, что я в кино немецкое пошел.

— А для меня, Федор, странно другое: как ваши люди могут жить в таких условиях?

— Живут. Послушно.

— Когда-нибудь может кончиться взрывом.

— Не знаю, Боб, кончится ли. Война не дала никакого взрыва. Мне кажется, что наш народ вроде спортсмена, которого вот уж двадцать восемь лет тренируют в чемпионы мира. Чемпионом еще не стал, а духовность потерял, отупел, как все спортсмены-профессионалы.

Курт и Петер разговаривали о лагере. В зале нестройно загудели голоса гостей, кого-то приветствовавшие: «Гутен абенд, фрау Эрика... Гутен абенд, фрау Эрика...» Федор откинулся вместе со стулом и выглянул в зал.

По проходу между стойкой и столиками шла женщина — в темно-зеленом с узорами сарафане, в белой с широкими рукавами блузке и в белых гамашах. Шла легко, держась руками за концы узорчатого платка на плечах, слегка кивая в ответ на приветствия. В такт походке вздрагивала копна темно-рыжих волос. Сзади женщины шла танте Христел и что-то той говорила.

Федор сел, будто занятый разговором с Бобом, — женщина шла к ним.

Она стала на пороге арки. Федор оглянулся — лицо было злое, то-

го особенного яркого цвета, который бывает только у темно-рыжих женщин. Она стояла, держась за концы платка, и смотрела на Боба. Федор успел увидеть, что глаза у нее тоже рыжие, и что вся она — лицом, длинной шеей, покатостью плеч, длинными крепкими кистями рук была ни на кого не похожа.

Федор встал. И как только он поднялся, она обернулась к нему. Боб не понял, почему встал Федор. Заметив женщину, поднялся и он.

— Эрика, — сказал Курт, — это Петер, о котором я вам рассказывал.

А она стояла и — не моргая, — глядела на Федора.

— Не тот, Эрика, — неловко засмеялся Курт. — Это герр Лютгенс, Ганс Лютгенс — приятель Петера. Петер вот . . . — и, наконец, сказал: — Знакомьтесь, жена моего брата, фрау Эрика.

Мельком взглянув на Петера, Эрика подала руку Федору. Рука ее вначале словно впустила в себя — в мягкое, упругое, теплое, не оставляя между ладонями ни одного пустого уголка, а потом уже там, внутри себя, слегка сдавила, обняла.

— Ангенем, — сказал Федор и поцеловал руку.

Когда она пожимала руку Петеру, Федор увидел ее спину — длинную, тонкую от талии до лопаток, и тут же заметил подстерегающий взгляд танте Христел.

— Садитесь с нами, Эрика, — сказал Курт.

— Данке, — ответила она, оглядываясь на Федора. — Я сейчас вернусь.

Голос был неожиданно тихий, но со звонким «н».

Ушла через дверь кухни. Федор еще заметил близко поставленные ноги, — широкие баварские туфли на толстой подошве и широкая юбка сарафана делала их тонкими и даже костлявыми.

Курт, как будто ничего не случилось, продолжал прерванный разговор с Петером. Боб тоже.

— Я вам буду писать, Федор. Ни с кем из американцев без моего письма не разговаривайте. Петер прав, — пусть съездит к этому Функе и попытается получить бриллиант. Этого вам на первые месяцы хватит. А теперь, прозит — за то, чтобы все было хорошо.

— Цум воль! За все хорошее, — подхватил Петер.

Потом выпили за университет. Потом за счастливую дорогу Боба. Федор предложил тост:

— За то, чтобы наше вчера оставило нас в покое!

— Я тоже хочу за это выпить, — услышали они от дверей.

В дверной раме, как на темном полотне стояла Эрика — в серых фланелевых штанах и черном свитере. Свитер сливался с темнотой двери, — лицо с рыжей взбитой копной казалось отдельным.

Она сама выбрала себе место — рядом с Петером, напротив Федора. Когда пролезала за стулом Боба, Федор увидел обтянутые серой фланелью широкие круглые бедра. Сухость лодыжек и икр и длинная спина сразу приобрели иной смысл — «Как красивая кобылица».

Эрика выпила корну.

— Я очень рада, что вы, Петер, навестили нас, — сказала она, гля-

дя куда-то мимо глаз Федора, как если бы она рассматривала его висок.

— Я и Ганс, гнедиге фрау, потерявшие все и все нашедшие, хотим остаться здесь, в Оберсберге, — ответил захмелевший Петер.

— Что же вы нашли?

— Мы нашли друг друга, гнедиге фрау. Мы понимаем друг друга, и это начало...

— Тогда выпьемте за счастье найти друг друга.

Она опять посмотрела мимо глаз Федора. Выпила, улыбнулась, как будто изнутри, помимо ее воли, что-то прорвалось к губам.

Ее можно было бы назвать красивой, если бы не утолщенный посредине нос, не тонкие нервные губы, и не особенное моргание: веки, моргая, не сходились, а чуть сдвигались.

Курт с Петером наперебой стали рассказывать ей о лагере. Она слушала и медленно, как произносила слова, отпивала из стопочки. Университет одобрила. Поглядела на Боба, сказала:

— Они хорошие мальчики. Им надо учиться. Но как это вы, американский капитан, попали в компанию немцев-фашистов?

— Завтра я перестану быть капитаном, гнедиге фрау. Ганс мой давнишний друг. К сожалению, через несколько дней я уезжаю в Америку.

— Счастливец! Жить, где нет руин, где не знали войны.

— Но у вас в Оберсберге тоже, кажется, нет руин.

— Оберсберг — деревня... Я берлинка.

Федор несколько раз пытался вмешаться в разговор, но она его не слушала и на него не глядела.

Боб посмотрел на часы.

— Мне очень жаль, но надо ехать, девятый час...

Федор и Петер пошли провожать Боба. Уже на улице Боб сказал:

— Я думаю, Петер, что Федору не надо говорить здесь, кто он.

— Во всяком случае, не теперь. Курта я знаю, — ему можно доверять, но лучше познакомиться ближе со всеми.

— Ну, Федор, до свиданья! Пишите и ждите меня. Хотя я вам говорил, что терпеть — это не выход, но вам придется еще потерпеть. До свиданья, Петер, гуд лак!

И уже за рулем, вполголоса, смеясь, сказал Федору:

— Не очень ухаживайте за фрау Эрикой: она женщина из породы пожирательниц мужчин.

— Ну что вы, Боб...

— Гуд бай! — Боб пошевелил в воздухе пятерней и поехал.

Эрика сидела одна.

— Итак, один мушкетер уехал. А кто из вас Д'Артаньян?

— Он, гнедиге фрау, — показал Петер на Федора. — Если б не он, меня постигла бы участь сестры...

Петер стал рассказывать о происшедшем на границе. Эрика один раз взглянула на Федора, — не на него, а на висок.

Вернулся Курт с какой-то замасленной деревянной фигуркой в руке.

— Узнаешь, Петер? Это Петер в лагере мне на память вырезал.

Они оба занялись фигуркой, опять вспоминая своих товарищей по плену.

— Вы не немец? — спросила Эрика, глядя рыжими немигающими глазами на Федора.

— Я балтийский немец, гнедиге фрау.

— Я так и знала.

Если бы она не сразу сказала это, он покраснел бы.

— Вы хотите остаться в Оберсберге?

— Да. Надо будет подыскать какую-нибудь работу.

— Что вы умеете делать?

— Я инженер, но у меня есть и пара крепких рук. Мне все равно, что делать.

Она посмотрела на его руки, допила свой корн, налила ему и себе.

— Моему мужу нужен работник, но работа грязная — разделывать туши, убирать за коровами.

Подняла стопку, посмотрела на свет.

— Мне все равно. Я должен ждать возвращения Боба.

— Вы хотите уехать в Америку?

— Все равно.

— Хорошо. Прозит! За вашу жизнь здесь, — и выпила — все сразу.

Федор поторопился тоже выпить.. Потом вмешались Курт и Петер, разговор стал общим. Эрика говорила мало и все подливала — себе и Федору.

— Нашел! — сказал он. — У вас глаза цвета крепкого пива.

Она поглядела на Курта и не ответила.

Но когда Курт сказал:

— Макс, наверно, не вернется сегодня.

Ответила неожиданно будничным голосм:

— Да. Он говорил, что не успеет. Я думаю, что наши гости хотят спать.

— Если вы не обидетесь, я пойду, — сказал совсем захмелевший Петер.

— Курт, а белье сменили?

— Нет. Но там, кажется, чистое, Эрика.

— Я схожу, проверю.

По крутой тесной лестнице первым поднимался Петер, за ним Курт. Федор шел последним, за Эрикой. Ему стало жарко, когда у самых глаз увидел ее, обтянутое фланелью штанов, сильное тяжелое бедро, а снизу, из-под штанины, — маленькую сухую пятку. Он был уверен, что она знает это, и потому шла, дразня его. Уже наверху, в коридорчике, обернулась, но он не выдержал и отвел глаза.

— Курт, — чуть задохнувшись от подъема, сказала она. — Проверь у Петера и покажи ему, что надо, а я посмотрю у герра Лютгенса.

Пока она говорила это, по Федору разливалась, подступая к горлу, жаркая щекочущая волна. «А вдруг я ошибаюсь?.. Опять все пойдет к черту...» — думал он, входя вслед за нею в комнату. Но по тому, как она обернулась к нему потерявшим подвижность лицом, как по-

глядела тяжелым взглядом из-под мелко дрожащих век, словно ей было нестерпимо больно, словно ее глаза засыпало невидимой пылью, понял, что не ошибся. Она ногой захлопнула дверь и, опустив руки, лицом потянулась к нему.

Это была отдача — полная, до конца — губ, холодного рта, теплых зубов... И спина была — как ее ладонь — мягкая и в то же время упругая, и руки, как ладонь, охватили его шею, не оставляяя ни одного просвета. И еще особенное движение тела, которое потом всегда вызывало в нем мгновенную обжигающую спазму... Одна рука ее взяла его за ухо, быстрыми пальцами ощупала, больно сдавила мочку, словно это было необходимо, чтобы сказать:

— Я сейчас вернусь... В соседнюю комнату. Я стукну в стену...

Он остался один с колотящимся у горла сердцем. «Что ты делаешь, идиот...» — но так и простоял, прислушиваясь. Курт за дверью сказал:

— Шлаф гут, ангенеме руе.

Заскрипели половицы, ступеньки. Стало тихо. Потом опять заскрипели ступеньки, скрипнула осторожно половица, металлически клюнула в коридоре ручка, — пока в стене не застучало быстро-быстро, словно требуя.

Туфли он догадался снять. Неслышно, помогая себе всем телом, открыл дверь, так же закрыл ее, и двумя шагами перешагнул расстояние до двери слева.

В темноте, длинной тенью, стояла в халате Эрика. Она, как в танце, проскользнула за его спиной, провела дверной задвижкой и, захватив его плечи снизу ладонями-погонами, прижалась к нему сзади — коленями, животом, головой, грудью. Он рывком обернулся, рывком поднял ее и понес к белевшей кровати, чувствуя легкость напряженного туловища, легкость ног и угрожающую тяжесть всего, что было в руках — от колен до поясницы...

— Ты, ты,ты... — сквозь зубы, ожесточаясь, в присущем только ей ритме, задыхаясь повторяла она. — Пришел?Да?.. Откуда ты пришел? Ты знал? Да?.. Ты знал, что ждала? Знал? Да?..

За окном холодели лунные Альпы.

28. ЗИМНЯЯ СКАЗКА

После Владимира проехали четвертую станцию. Василий стал собираться — следующая остановка была его.

— Мне тоже надо-сь, — сказал бородач в полушубке и полез под лавку за мешком.

— Тебе ж через одну еще! — удивилась баба напротив.

— Так я товарищу офицеру помогу, — ответил бородач. — Вы, то-

варищ офицер, берите главный чемодан, а я чином поменьше стану носить, неровен час, еще сопрут на площадке-то.

Баба засмеялась.

— Табачок тебе, дядя, товарища офицера больно понравился, вот что.

Засмеялись и остальные.

— Что ж, табачок хорош, немецкий, — спокойно согласился бородач.

Он всю дорогу старался быть полезным Василию: присматривал за вещами, бегал за кипятком. Василий угощал его табаком — вез отцу три пачки. Угостил немецкими сигаретами, но бородач от сигарет отказался — «Больно силенки в них мало». Цыгарки из табака скручивал преогромные, словно хотел на месяц накуриться

Когда перенесли вещи, — площадка оказалась забитой чемоданами. Проходящий проводник с трудом перелез через них, раскричался:

— На площадке с вещами запрещено!

— Мне, товарищ проводник, выходить на следующей, — просительно объяснил Василий.

— Мне все равно, — по правилу не положено.

Но понимая, что вещей обратно не унесешь, проводник ушел.

— Ишь ты, по правилу . . . — заметил бородач. — Правил да законов-то у нас издано вон сколько. По ним, выходит, нам и жить запрещено. А мы живем — стало быть, законы эти нарушаем. Вон как . . . — сам удивился сказанному и стал пристраиваться в углу на мешке.

— Вам где же все-таки выходить? — спросил Василий.

— Сразу после вашей, — ответил дядя и вытащил обрывок газеты, давая понять, что пора и перекур устроить.

Василий достал распечатанную пачку табака и протянул добровольному помощнику.

— Возьмите себе. Все возьмите.

— Эх, мил-человек, вот спасибо-то! — засуетился дядя. — Хороший табачок!

И тут же засунул пачку за пазуху, достал замасленный кисет и стал сворачивать из своего табака тоненькую цыгарку.

Василий рассмеялся.

— Вы что ж, домой?

— Нет, мил-человек, — на менку. Картошку везу, думаю сальца выменять.

— Что же вы из города в деревню-то картошку везете?

Дядя хитро прищурился.

— Так уж оно выходит теперь. В колхозах заготовки прошли — картофель в город попал. А самим колхозникам до весны и не дотянуть-то. А раз картошки нет — очисток не будет. А раз очисток нет — свинок кормить нечем. Вот и соображай: колхозники своих свиней резать стали — не отдавать же задаром колхозу. А я, мил-человек, картошечки им и привезу. А сальце увезу. Так и живем, помаленьку . . .

— Вы что ж, и в городе картошкой торгуете?

— Зачем? Я — рабочий класс — на ткацкой фабрике работаю. А картошечкой так...

— Где же вы ее берете?

Опять хитро прищурился дядя.

— Огородик имею, — с войны отнять не успели. И так достаем, город — не деревня.

— Что ж вам возить ее так далеко? В городе, чай, картошка тоже дорога?

— Кум просил призети, вот и везу. А в городе по пятнадцать рублей за кило торгуем.

— Эх ты, что ж так дорого?

Бородач засмеялся.

— А самолеты, а танки почем, мил-человек?

Рассмеялся и Василий.

— Вам так контрреволюцию пришьют когда-нибудь.

— Да ее, мил-человек, за все пришить могут. Вот одному моему знакомому недавно хотели пришить за то, что марки на письмах вверх ногами наклеивал. Да-да... Досмотрели ведь! Так и сказали: ты контреволюцию не разводи, чтоб нам марки наклеивал по закону.

Дядя хотел рассмеяться, но, подавившись дымом, закашлялся.

— Но он, мил-человек, все равно нет-нет да и наклеит вверх ногами — сопротивляется. Отчаянный человек!

Поезд стал тормозить. Сквозь замерзшее стекло Василий увидел свой полустанок. Вагоны стуча буферами остановились. Василий, открыв в чистое заснеженное пространство дверь спрыгнул на снег. Дядя принялся подтягивать и подавать ему чемоданы.

— Вот и приехали. Бывайте здоровы, — сказал бородач и захлопнул дверь.

Будто его никогда и не было.

Вдоль заснеженного полотна, прочерченного, как ватман тушью, черными рельсами, не было ни души. Стена вагонов в замерзших окнах, в бахроме грязных сосулек, безучастно глядела на пустынный полустанок, на одинокую фигуру красноголового дежурного на снегу, на Василия у желтых чемоданов. Только пар из-под вагонов и пыхтение паровоза говорили о тесной, прокуренной, надышанной жизни внутри поезда.

Василий стал переносить чемоданы через скользкие рельсы, по засыпанным снегом шпалам к черной замасленной стрелке. Пока носил, высоко и тоскливо засвистел паровоз, задергались с лязгом вагоны, и поезд, пыхтя от натуги, двинулся. Красноголовый дежурный побежал в помещение.

Василий из Москвы послал в колхоз телеграмму, чтобы выслали к поезду сани. Но за станционным домиком было пусто.

«Мать честная, что ж делать?.. — подумал он, оглядывая чемоданы. Постоял, снял пояс, связал два большие чемодана, взвалил их на плечо, два поменьше взял под мышки и по одному чемодану в руки.

Единственный обитатель станционного домика — дежурный сидел за стеклянной перегородкой — без шапки, лысый.

— Эй, друг! Не приезжал ли кто из колхоза «Победа»? — окликнул его Василий.

— Что-то не видать, — разглядывая Василия, ответил дежурный.

— Вот тебе и на! А я вчера из Москвы телеграмму послал.

— Быстрый какой! Наверно в сельсовете, а то в районе и лежит. Заносы. Не то что почта, а поезда на сутки опаздывают.

— А нельзя ли тут где лошадь нанять?

Дежурный вышел из-за перегородки.

— А ты чей-то будешь?

— Подполковник Трухин. К родным в «Победу» приехал.

Дежурный подтянулся, — Василий на это и рассчитывал.

— Попоробуйте, товарищ подполковник, дозвониться до сельсовета. Я вызову район, а вы уж на них нажмите, чтобы соединение дали.

Вернувшись за перегородку, дежурный принялся крутить ручку телефона. Дозвонившись, позвал Василия.

— Ну что растарахтелся?! — услышал в трубке Василий.

— Это кто там так разговаривает? А? Говорит подполковник Трухин. Немедленно соедините меня с Шуйским сельсоветом. И побыстрей!

Дежурный таращит от удовольствия сонные глазки.

— Без этого нельзя, товарищ подполковник. «На бога» только и можно взять.

Цикадой затрещал диспетчерский телефон. Дежурный принялся передавать сводку. Василий вернулся к чемоданам. Закурил. Вышел на заднее крыльцо — не едет ли кто?

Сугробы, кое-как расчищенная дорожка к дороге, лошадиный замерзший помет на укатанном снегу, за дорогой опять сугробы, переходящие в небольшое поле, и за полем лес. Небо ровно лиловое, низкое. И тишина. Великая белая тишина зимнего захолустья. Гудение телеграфных проводов только углубляло ее. Санный путь шел мимо полустанка, мимо глухого пакгауза, до белых шуб кустарника, там поворачивал и, пропав за сугробами, опять виднелся у леса.

Мороз щипал нос. Василий вернулся в помещение. Дежурный все еще был занят на линии. Василий сел и стал ждать.

Начиная от Москвы, он сутки не спал: боялся за вещи. В брестском поезде, в соседнем вагоне, ночью обокрали какого-то майора — разрезали чемодан и вытащили добрую половину вещей. В Москве у пассажира колхозного вида из-под носа стащили мешок. Проводники предупреждали пассажиров, чтобы следили за вещами сами.

В Бресте Василию досталось труднее всего, особенно с мерседесом намучился. Воинский состав стал на запасных путях, а автомобиль надо было грузить у пакгауза.

— Что я вам состав буду перегонять из-за вашей машины? — кипятился начальник станции.

В комендатуре и слышать не хотели.

— Устроили свою машину по блату в воинский, теперь сами и разгружайте.

— Сбросим и все тут, — грозился начальник, пока Василий не догадался и не положил на стол триста рублей.

Через полчаса мерседес Василия стоял на площадке пакгауза.

В Москве тоже пришлось дать сто рублей — весовщику: обещал погрузить мерседес в первый багажный поезд на Горький. Взятки брали все. «Без смазки далеко не уедете, товарищ подполковник», — сказал Василию в багажном какой-то лейтенант.

Налога за автомобиль в Бресте взяли не две тысячи рублей, а две тысячи двести. Если бы Катя в Берлине не обменяла остаток марок на советские деньги, двух тысяч рублей, присланных из дома по телеграфу, не хватило бы.

— Кажись кто-то едет, — окликнул Василия дежурный, показывая рукой в окно.

Из леса рысцой выбегала лошадь. В розвальнях сидела закутанная баба.

— Что-то не похоже... За мной приехал бы отец, или кто из колхозных ребят.

— К нам, кажись, тоже некому-то... И лошадь не признаю.

Василий вышел на крыльцо. В белой тишине ясно был слышен шероховатый звук полозьев.

«Кто бы это мог быть?.. — и вдруг увидел, что баба в санях стала на колени и замахала рукой. — Мать честная, да кто же это?»

Но лошадь и сани с бабой скрылись за сугробами.

Василий пошел навстречу, к кустам, а когда вышел на поворот, до лошади оставалось не больше пятидесяти шагов. Женщина, держась за вожжи, теперь стояла в санях и махала рукой. Он уже различал лицо в пуховом платке. «Да кто же это?» И вдруг узнал.

— Соня! — не веря, закричал он и бросился к ней.

Вид ли бегущего навстречу человека, возница ли неосторожно дернула вожжой — лошадь стала. Женщина неловко спрыгнула с розальней, бросила в снег кнут, потом скинула тулуп и тоже побежала навстречу Василию.

Как все случилось, он никогда не мог толком вспомнить. Он ли не успел остановиться, она ли не сумела...

— Вася...

Кто кого сначала поцеловал — и этого они потом не могли вспомнить. Василий говорил, что он первый, Соня — что она. Может быть и поцелуя не было — просто прижались случайно теплым ртом, щекой холодной...

— Вася...

И слова откуда-то пришли.

— Сонюшка... Родная... Да как же это?

Она прижалась лицом к его шинели и быстро сказала:

— Скажите...

И сразу понял Василий.

— Ты же знаешь... Люблю... Невеста моя...

Она только сильней прижалась к нему.

— Да ты-то любишь ли?.. Да как же это! Когда же ты приехала?

Отстранилась, посмотрела на него синими-синими от снежного света глазами.

— Четвертый день. Вы насовсем?

— Насовсем.

Но что-то в них успело пройти и они замолчали.

— Телеграмму принесли только в час. Гликерия Семеновна меня одну не пускала... — наконец сказала Соня.

— Что я стою, балда! — спохватился Василий. — Вы, наверно, замерзли.

— Нет. Мне хорошо.

Он подобрал со снега тулуп, укутал ее, усадил в сани и так крикнул, что лошаденка, вздрогнув, затрусила к полустанку рысцой.

Дежурный помог вынести чемоданы. На прощанье, чем-то довольный, сказал Соне:

— А я вас помню. Вы с горьковским на прошлой неделе приехали.

Соня улыбнулась ему из тулупа, благодаря и за то, что помнит, и за то, что первым видит ее вместе с Василием.

Бежать лошадь отказалась — ну, куда вам теперь торопиться? Когда въехали в сиреневый полумрак зимнего леса — белые великаны вдоль санного пути стояли в мягкой снежной тишине, — Соня сняла рукавичку и теплыми пальцами погладила Василия по щеке.

— Дедушка Мороз мой...

Василий бросил вожжи, притянул ее в тулупе к себе и сильно поцеловал.

— Знала?..

— Знала. Все знала, хотя ты и не мог написать...

— Никак не решался.

Он обнял ее под тулупом. Поцеловал еще раз, еще... Нежная кожа местами была теплая, местами холодная. И запах — яблочный — единственный... Нежность переполняла его. А она, не глядя на него, словно прислушивалась к поцелуям щекой, потом шеей, потом дала губы, и уж потом сама стыдливо стала отвечать на поцелуи...

Когда опомнились, лошадка стояла опустив голову. У дороги в снегу — в белом наряде удивленная елочка растопырила руки, как девочка.

— Мне кажется, — шепотом, боясь вспугнуть тишину, сказала Соня, — мы уже были в зимнем лесу с тобой — давно-давно, в сказке: ты дед Мороз, а я твоя пленница...

Высоченная сосна сверху лохматой лапой бросила на них горсть пушистого серебра — серебристый комок стремительно полетел вниз, но на полпути рассыпался в воздухе и снежной пылью медленно стал опускаться на санный путь, на зеленые крестики елочек, на понурую лошадь, на сани, на сено, на две обнявшиеся фигуры.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ

КНИГА ТРЕТЬЯ

1. ДОМОЙ

От Рюдерсдорфа до Бреста эшелон шел двое с половиной суток. Польша встретила вьюгой; вагоны и платформы, груженные демонтированным оборудованием, покрылись плотным снегом. Только во втором вагоне из забитого окна дымила железная труба. В вагоне ехали демонтажники, сопровождавшие эшелон. На седьмой, от их вагона, платформе лежал крепко закантованный проволокой котел среднего размера, внутри которого сидел Чугунов.

Чем дальше на восток, тем становилось холодней. Последние сутки, перед Брестом, ударил мороз и Чугунов в своем железном убежище непременно замерз бы, если бы не было на нем трех пар толстого шерстяного белья, да если не одеяла и не спирт, добытые Карлом. Спирт Чугунов берег — спирт был его капиталом, с которого ему предстояло начать жить: и как взятка хорош, и знакомство завести поможет, и для обмена ходок. Но когда Чугунов начинал коченеть и его клонило в сон, он схватывался на одеревеневшие ноги, делал большой глоток из фляги — горло, пищевод, а через некоторое время и желудок обжигало, — Чугунов торопливо набивал рот сухим снегом и принимался делать гимнастику: раз-два, раз-два — приседание при выпрямленном корпусе, раз-два, раз-два — резкие повороты всем корпусом на расставленных на ширину плеч ногах; раз-два, раз-два — в такт колесам — рывком поднять прямую ногу, стараясь достать носком кончики пальцев вытянутой руки; раз-два, раз-два, раз-два ... пока под одеждой не проймет слегка влажным теплом. Потом надо ходить по овальной ржавой стенке котла; шагов не слышно: поверх теплых больших ботинок накручены и обвязаны веревочками половинки одеяла.

Наблюдение из «дота», как прозвал Чугунов свой котел, он вел через десятка полтора отверстий от полдюймовых заклепок. Единственную крышку котла он еще в Рюдерсдорфе, до отправки эшелона, закрутил изнутри трехмиллиметровой проволокой, так что открыть ее снаружи и заглянуть в котел было невозможно. Врагом номер первый был мороз. Но была и другая опасность: как бы вокруг отверстий от заклепок не образовался иней от собственного дыхания Чугунова — белый иней на черном котле был бы виден за версту. Для избежания этого Чугунов время от времени менял, под солдатским одеялом, которым была укутана его голова и лицо, шерстяные тряпки и куски грязной ваты — для фильтрации дыхания, — отрывая их от одеяла.

К границе подъехали вечером. Два пограничника с сильными электрическими фонарями, с овчаркой, сопровождаемые демонтажниками, обходили эшелон. Шел мелкий морозный снег, машины и другое оборудование на платформах и в вагонах пахли маслом, химикалия-

ми, запахами многих людей — собака не почуяла притаившегося в котле человека, а может быть, ветер помог, налетев сбоку. Да и двухдневный снег на секциях цементных печей, на «грохотах», редукторах, шаровых мельницах, котлах, трубах, на платформах был таким плотным, спокойным, в паровозной золе и саже. И мороз, конечно. Ничто не вызвало подозрения у опытных пограничников. Когда они осветили котел фонарями, черная внутренность его наполнилась лучиками, как ночное фронтовое небо в свете прожекторов. Трех демонтажников Чугунов уже видел на станциях Польши; в солдатской форме с офицерскими знаками различия на погонах, они бойко меняли у полек немецкие одеяла и носильные вещи на сало, колбасу и самогон.

Определенного плана у Чугунова не было: добраться до советской территории, потом до Москвы и до квартиры, ключ от которой снова висел на тесемке у него на груди. Он все представлял себе, как отопрет ключом дверь (поздно вечером или ночью), как бросится к нему испуганная Нина, как он на цыпочках войдет в спальню поглядеть на дочерей, но те сразу проснутся, ведь барышни уже. Тане семнадцатый в феврале пошел, а Ольге в мае будет пятнадцать! Нина, когда он уходил на фронт, работала инструктором в его же райкоме.

Заперев себя в котле, Чугунов как бы отрезал все, что было с ним с 42-го года, с того дня, когда он — дивизионный комиссар теперь знаменитой на весь мир 62-й ударной армии генерала Чуйкова — попал под Сталинградом в плен. Котел был одним из сталинградских дотов, попавшим на заблудившуюся в мире железнодорожную платформу.

Единственный, кого Чугунов несколько раз вспомнил из «этой» жизни, — Карл. «Спасибо немцу, а то замерзать бы мне, как ямщику во той степи». Мысль напомнила, что Карл помог потому, что ему сказал Федор, но о Федоре Чугунову думать не хотелось. Хотелось думать об одной Нине.

В Брест на перевалочную базу эшелон подали уже за полночь. На путях под выгрузкой и погрузкой стояли десятки составов: поезда, составленные из немецких вагонов и платформ, разгружались, а русские составы нагружались. Гигантская территория перевалочной базы была ярко освещена и, несмотря на глубокую ночь, жила напряженной жизнью: свистели маневрировавшие паровозы, лязгали буферами вагоны, шипя и отдуваясь переносили тяжести паровые краны, матерно ругались такелажники и грузчики, сновали с разноцветными накладными в руках ответственные исполнители, всякого рода «толкачи», съехавшиеся со всех концов Советского Союза.

На Чугунова никто не обращал внимания, хотя одежда и ботинки его были явно иностранного происхождения, — но кто теперь не носил одежды из Европы, особенно в Бресте? Из котла он взял с собой флягу со спиртом, оставшийся кусок сала с килограмм весом и кусок хлеба, — сало и хлеб завернул в подобранный с земли номер «Известий», сверток засунул в карман куртки и совсем стал похож на работягу, каких на базе сновали тысячи. Для полной маскировки он держал в руке несколько подобранных с земли разноцветных квитанций и накладных.

У ярко освещенного газетного стенда стояла группа в шесть-семь человек. Чугунов тоже подошел. Первую и вторую страницы «Правды» занимали статьи и заметки в связи с постановлением «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1946 год», на третьей странице отчет о нюрнбергском процессе, на четвертой — большая статья о фультоновской речи Черчилля. Вид «Правды» потряс Чугунова: она как близнец была похожа на довоенные номера; газета в нем самом что-то проявила из того времени, когда он был секретарем райкома. В одном месте он вдруг заметил жирно напечатанную строчку: «Секретарь обкома тов. Д. И. Артемьев систематически проводит...» — «Мать честная, Митя! Значит, он не в Москве. Он знает, где Нина!».

Дмитрий Иванович Артемьев был близким человеком Чугунову: вместе жили в общежитии партшколы, перед войной работали в соседних райкомах. «Вот это повезло!» — чуть не сказал вслух Чугунов и полез под вагон на соседнюю платформу. Он ходил по базе часа два, пока не нашел эшелон, на вагонах которого значился город той области, где Митя Артемьев теперь был секретарем обкома. Эшелон был нагружен, и, видимо, ждал отправки. «Как будто для меня приготовили», — усмехнулся Чугунов и полез в широкораздвинутые двери одного из вагонов. В темноте перелез через какие-то ящики, тюки в дальний угол. Глотнул спирта, закусил салом и приготовился ждать.

Уже стемнело, когда стали запирать и пломбировать вагоны. Вскоре подали паровоз, который грубовато, как друга, толкнул Чугунова — вот, мол, как тебе, паря, везет! В полутьме Чугунов отыскал пачку с войлоком, стянул в угол четыре мешка с чем-то мягким, вроде ваты и бумаг, устроил из них медвежью берлогу, залег, отдышался, снова отвинтил флягу и уже отпил трижды, каждый раз торопясь, закусывая салом и хлебом. Хмелея, завалил себя кусками войлока. Паровоз дернул, состав тронулся.

Когда поезд набрал скорость, Чугунов под войлоком стал смеяться. Потом слушал стук колес. Потом пел во весь голос:

Далека ты, путь дорога,
Выйди, милая, встречай,
Мы прощались с тобой у порога
И, быть может, навсегда...

— Нина, Ниночка! Ведь я еду к тебе! Твой Павел! Павлуша твой! Ты слышишь меня? Нина-а-а! Ниночка-а-а!...

2. ФИРМА «БР. МАЙЕР»

Петер писал из Мюнхена Федору, что поселились они с Куртом рядом с университетом — сняли комнату на Каульбахштрассе, ходят на курсы по подготовке к осеннему приему на архитектурный фа-

культет, иногда работают на разборке развалин университетских зданий, хотя оба по состоянию здоровья могли бы этого не делать. Раз в неделю им посылали продукты — в Мюнхен всегда кто-нибудь ехал — или соседи, или проезжие знакомые.

С отъездом Курта все хозяйские заботы легли на плечи старшего брата, Макса, но он говорил:

— Одному из нас надо учиться. Война разрушила планы отца... Надо восстанавливаться.

Федора Макс взял охотно — именно такой работник был и нужен в хозяйстве: молодой, сильный, грамотный, а главное — одинокий. Местные в округе налаживали свои хозяйства, толковые люди стремились к собственному хозяйству. Потребность в продуктах питания в американской и, особенно, в английской зонах, отрезанных теперь от восточных сельскохозяйственных провинций, росла с каждым днем, и каждый бауэр работал не жалея сил, стараясь привлечь побольше работников — беженцев из советской зоны и областей отошедших к Польше, Чехословакии, СССР. Лучшим способом закреплять новых работников считались свадьбы: местные вдовцы и парни женились на вдовах и девицах из восточных провинций, местные вдовы и подросшие девушки выходили за вдовцов — беженцев и возвращающихся из плена.

Хозяйство состояло из мясной, гастштетте, скотного двора с тридцатью семью коровами и хлева с десятком свиней и поросятами, огорода с парниками при доме и картофельного поля в двенадцать гектаров за деревней у самого леса по дороге в Гармиш. С наступлением тепла коров в поле не выгоняли, как делали в соседних высокогорных районах, а кормили картофелем в стойлах.

Федор следил за коровником и хлевом, варил пойло. Кормить скот ему помогал старик огородник. Иногда Федор ездил за шофера, таскал грузы и вообще помогал там, где требовалась крепкая спина и сильные руки. По вечерам помогал хозяину вести расходно-приходные книги, сверял и выписывал счета, — раньше это делал Курт. И все — за еду «от пуза», комнату, стирку — в большом доме это было просто незаметно; что касалось двухсот пятидесяти рейхсмарок, которые хозяин платил Федору в месяц, на них можно было купить два килограмма мяса.

Дом был большой, трехэтажный, белый, окна в резных наличниках, — под одной крышей с красным деревянным скотным двором. Первый этаж с улицы занимали мясная лавка и гастштетте, со стороны двора — кухня, помещение где изготавливались колбасы, и две комнатушки, в которых жила кухарка с мужем. Верх дома с улицы занимал, высотой в два этажа, зал для танцев, с войны запертый на замок. Заднюю половину второго этажа занимали комнаты хозяев, там же жила танте Христел с Ленхен. Над хозяйскими комнатами на третьем этаже шли комнаты для гостей, — в одной из них теперь жил Федор.

Между капитальной стеной дома и коровником, если смотреть со двора, втиснулась железобетонная прачечная с цементным полом, в

которой грели воду и варили пойло для скота, там же разделывали коровьи и свиные туши. Над прачечной, на высоте второго этажа, находилась хозяйская кладовая, дверь которой через капитальную стену выходила в коридор рядом со спальней хозяев. Над кладовой — на третьем этаже под крышей — имелось маленькое как бы чердачное помещение о трех стенах — четвертой стены, со стороны сеновала, не было: через сеновал туда втаскивали зимние оконные рамы, старые ковры, матрацы. В полу этого чердака был люк — в хозяйскую кладовую. Во дворе стояли три деревянные сарая: гараж с мастерской, сарай для сельскохозяйственных машин и старой мебели и склад. За сараями — погреб, парники, огород.

Гаражем, мастерской, автомобилями — грузовиком и легковым мерседосом Фау-170 и машинами ведал механик — долговязый, жилистый немой, живший с семьей в деревне. Старик огородник жил у парников в пристроенной к задней стенке склада комнатке. На уборку картофеля нанимали эвакуированных.

Дела хозяйства «Бр. Майер» заметно поправлялись. Макс работал не покладая рук: днем больше в мясной, вечером в гастштетте. Чуть ли не каждый день к нему приезжали торговцы вином, пивом, хозяйственными товарами и покупатели мяса и мясных изделий — чаще владельцы гастштетте, пансионов и небольших гостиниц альпийских городков. Время стояло нелегкое: продовольственные карточки, запреты оккупационных властей, многоступенчатые цены, обесцененные рейхсмарки, сложный товарообмен, черный рынок, незаконность почти всех сделок — все требовало смекалки и осторожности. Хозяин ни днем, ни ночью не знал покоя: в мясной шутил со всеми «гнедигефрау», покупавшими по карточкам немного мяса, костей и по четвертушке колбасы; угощал вином и нарезанными колбасами заезжавших представителей властей, полицейских, ночами грузил окорока, колбасы, сосиски, а то и целые туши, часто сам отвозил товар куда-нибудь в Гармиш или на Амер-озеро и Тегерн-озеро.

Детей у Макса и Эрики не было. Как-то вечером, после подсчета дневной выручки, за кружкой пива Макс разговорился:

— Душа моя в коровах, в земле, а для этого нужна семья. Вот, может быть, Курт после университета вернется на землю, женится, дети пойдут... Иногда думаю о тебе, о немом, о других... — как сделать, чтобы работник работал с душой, как я? На чужого, не на себя, человек долго по-настоящему работать не станет — к своему потянет. И вот я иногда думаю, что, может быть, время такое наступило, что надо всех партнерами в деле делать. Да, да! Партнерами. Чтобы общая выгода. Умные хозяева об этом говорят. Главный секрет нашего времени — умение отказываться от своего. Ведь от неумения, от упрямства — все беды: и в хозяйстве, и в государстве, и в личной жизни, — хозяйства летят к черту — революции, государство обеими руками держится за свой суверенитет и опять же крах — война, ну а в жизни личной, если упрямиться, не уметь отказываться от своего «я», разваливается семья...

— Это еще Христос говорил: о любви, как об отдаче, — засмеялся Федор.

— И верно! И политически, и экономически верно! Мы две тысячи лет не можем понять всей практичности и выгоды любви.

— Ну, а если бы дети были?

— Эх! Если бы были... Да, может быть, тогда своя любовь к своим детям пересилила бы и был бы слепым... Тут надо думать. Ну, ладно, пошли спать. Скучно тебе одному спать... Ты бы Ленхен приласкал, что ли, а то ходит девка, а глаза как у коровы, грустные. Знаешь почему у коров глаза грустные?

Но Федор думал не о Ленхен. Он думал о жене хозяина, об Эрике.

Эрика вставала поздно, танте Христел приносила в спальню завтрак и кофе, днями — читала романы, часто запиралась в зале для танцев, сидела там до темна, иногда включала радио и одна танцевала по паркетному полу среди высоких зеркал на виду у Альп с умирающим закатом. Никто этого в доме не знал. Может быть, одна танте Христел. Знали только, что по требованию хозяйки каждую неделю паркетный пол пустовавшего зала натирался.

С приездом Федора она перестала запираться, никуда не ходила и не ездила, чаще меняла свитера, чаще надевала платья и до самого вечера кружила по дому и что-то искала.

Кружила она вокруг Федора и искала встреч с ним. Чистил ли он стойла коровника, замешивал ли в прачечной пойло, писал ли в конторке хозяина, Эрика появлялась неожиданно, быстро глядела на него жалким, как казалось ему, взглядом рыжих, под чуть вздрагивавшими веками, глаз, улыбалась и быстро уходила. Федор незаметно следил за мелькавшим то тут, то там обтянутым свитером и брюками телом. Эрики. Появление Эрики в платье мгновенно наполняло его острым нетерепением: переодевание в платье было знаком близкой встречи.

Вставала Эрика по-прежнему поздно. Раздвигала шторы окна спальни, чтобы Федор мог видеть ее со двора. Потом спускалась, подходила к воротам коровника и говорила:

— Как дела?

Федор смотрел ей в глаза и отвечал:

— Жду.

Она тихо смеялась и отворачивалась. Нервно мяла конец цветного платка и опять спрашивала:

— Что нового?

— Ты.

Довольно ухмылялась и уходя бросала:

— Может быть, вечером.

Боб прислал из Вашингтона открытку с видом Нью-Йорка: «Борьба началась. Все будет о-кей. Боб».

Еще раньше Федор получил в местной полиции паспорт — «кенкарту» на имя Ганса Лютгенса, родившегося в октябре 1919 года в Берлине, вернувшегося из советского плена в марте 1946 года. Баварский

комиссар по делам беженцев выдал вид на жительство — «цуццугенемигунг». Все устроил хозяин. Но тем не менее Федор боялся, что все обнаружится и советские представители потребуют его выдачи. Он сторонился местных жителей, избегал гостей, старался не попадаться на глаза заезжим, особенно людям в форме — американцам и полицейским: один их вид заставлял его уходить в коровник — оттуда можно было через сеновал влезть на чердак, с чердака через люк — в кладовую хозяев, из кладовой в коридор, затем в спальню хозяев, где стоял большой платяной шкаф — в нем полицейские вряд ли стали бы искать. В случае, если бы за ним приехали ночью — Федор всегда просыпался, когда возле дома останавливались автомобили, — он сбежал бы на второй этаж, там — в кладовую, на чердак и на сеновал, где залез бы в приготовленную в сене глубокую нору и сам завалил бы себя сеном так, что его не легко было бы отыскать; или через коровник выйти во двор, и по огороду в лес. Все это он продумал до мельчайших подробностей по ночам, когда просыпался от останавливающихся автомобилей и потом долго не мог уснуть, хотя автомобили уезжали и все вокруг спало. Однажды герр Трайчке — владелец маленькой гостиницы в Гармише — постоянный покупатель Макса сказал хозяину:

— Странный акцент у твоего Ганс.

— Он из Прибалтики.

— Нет, балтийские немцы говорят иначе, — я их хорошо знаю.

После этого случая Федор стал избегать разговаривать при посторонних.

Редкая ночь проходила без кошмаров, без того, чтобы его не ловили люди в советской форме. Однажды людей не было, а были только глаза — пара серых, беспощадно спокойных, наблюдающих глаз. Снилась площадь, улицы, развалины — и куда бы он ни шел, повсюду за ним на расстоянии следовала и следила эта пара глаз. Он вбежал в полуразрушенный многоэтажный дом, и через три ступени стал подниматься на пятый, на шестой, на десятый этаж... Он задыхался, он шмыгнул в чужую квартиру, он забрался в чужую спальню, но пара глаз нашла его. Он выбрался через окно на крышу, но глаза по воздуху двигались за ним. Он знал, что выхода не будет и что сейчас сорвется вниз и умрет раньше, чем долетит до булыжников мостовой. В ужасе он успел только подумать, что, может быть, все это только сон? И тут же понял, что, конечно, сон! И, когда понял, — проснулся и увидел себя в комендатуре в кабинете Баранова. За столом коменданта сидел Серов и у него были те же глаза! И только тогда, уже от совершенного ужаса, Федор, сделав невероятное усилие, проснулся и от этого второго сна — весь в холодном поту, наполненный отчаянным стуком собственного сердца.

После таких ночей Федор сам искал встреч с Эрикой. Страх Федора Панина всегда отступал перед тем, что приходило, когда Ганс Лютгенс встречался с Эрикой Майер, хотя в каждой их встрече был тоже страх, но другой, связанный с Максом Майером.

Федора беспокоил колючий подстрегающий взгляд танте Христел. Он сказал об этом Эрике утром, когда та пришла в коровник.

— Не бойся.

Она протянула под мягкой шелковистой складкой на горле коровы руку — узкую в запястье и полную у плеча — и острыми ногтями, накрашенными красным лаком, провела по голой груди Федора.

— Не бойся...

Оглянулась на распахнутые ворота и потянулась у самых рогов через шею жевавшей коровы лицом.

— Поцелуй меня...

Федор, с вилами в руках, косясь в сторону ворот, поцеловал Эрику. Она успела лизнуть узким горячим, шершавым как у кошки, языком его губы и с хрипотцой, всегда появлявшейся, когда они оставались одни, сказала:

— Макс вечером уезжает. Я приду к тебе.

В этот раз она пришла в черном шелковом платье, которое надела без нижней юбки, отчего под материей заметнее двигались округлости ягодиц и бедер.

В эту ночь, под утро, она рассказала Федору о себе. Родилась она в Мюнхене. Еще в школе стала активным членом Гитлерюгенда. На съездах и слетах нацистской молодежи у всех была на виду.

— Самой красивой девочкой была, — сказала она со вздохом.

Отец был торговым агентом, мать меняла любовников.

— Однажды я пришла из школы и застала ее с мужчиной. Мать схватила тяжелую телефонную книгу и так ударила меня по голове, что я потеряла сознание. Я не любила ее...

Девушкой ее заметил «сам» Геринг — на каком-то торжестве, — подарил цветок. С приходом к власти фюрера попала в высшие нацистские круги. В семнадцать лет стала любовницей молодого генерала СС.

— Ты на него похож. Убили в России.

В девятнадцать лет вышла замуж за начальника департамента министерства здравоохранения — стала «фрау министериальрат». Жила в Берлине — в Целендорфе у них был большой дом, а на Николайзее — загородная вилла.

— Если бы ты видел, Ганс...

Федор видел дома Целендорфа, Далема, Потсдама, Бабельсберга: их комендатура реквизировала из уцелевших от бомбежек домов ковры, гобелены, картины, статуи, хрусталь, мебель, свезенные чуть ли не со всей Европы. «Может быть и твой дом реквизировал», — подумал Федор.

— Мне так хотелось бы сейчас оказаться с тобой в ванной моего загородного дома, Ганс! — Эрика зажмурилась. — Поцелуй меня... Сильнее...

И ванные эти Федор помнил — размерами с большие гостиные, отделанные разноцветным мрамором, с бассейнами, в зеркалах, в коврах, с замысловатым, скрытым от глаз, освещением, обставленные широкими диванами, узкими кушетками. Солдаты комендатуры гого-

тали, прикидывая и показывая друг другу, что делали на таких кушетках нацистские «шишкомотатели».

— Летам к двадцати я окончательно убедилась, в чем смысл жизни...

— В чем же? — спросил Федор.

Эрика, голая, повернулась и резким движением прижалась к нему.

— Вот в этом. Я еще девочкой знала, что буду хорошо это делать.

Во время войны она иногда работала медсестрой в офицерских госпиталях. Бывала на фронте.

— Ты знаешь, что такое любовь под бомбами или под артиллерийским обстрелом?! Наверно, знаешь, — ревниво добавила она и больно ущипнула Федора за ушную мочку. — Ну, а потом все стало рушиться и кончилось катастрофой.

В конце войны она уехала в Рамзау возле Берхтесгадена.

— В день катастрофы я родила девочку... Началась оккупация. Пришли французы. У меня забрали все, что осталось... Потом Гретхен умерла. Со мной осталась только танте Христел. Она моя дальняя родственница по отцу; она все знает и боится за меня. Ты ее не бойся. Меня стали преследовать — известная наци и прочее. Я переехала сюда в глушь и стала женой Макса: из «фрау министериальрат» превратилась в «фрау мецгер»...

— А муж?

— Мужа убили русские партизаны, — как бы в скобках сказала Эрика. — Но здесь я хозяйка. Для всех здесь я «фрау министериальрат»! Макс очень гордится, что унего жена «фрау министериальрат», — она засмеялась, обнажая ровные зубы с несколько удлиненными клыками.

«Лучше бы она не рассказывала!» — подумал Федор, чувствуя рядом с собой не теплое тяжелое тело жены хозяина, а безымянное тело с невидимыми следами сотен чужих мужчин.

— Сколько же у тебя было любовников? — спросил он, уступая желанию знать это.

— Какая тебе разница? — она довольно рассмеялась. — Сейчас мой любовник ты.

— Потому что похож на твоего эсэсовского генерала? Да?

Эрика не ответила.

— Он что, был самым лучшим? — злясь и ревнуя спросил Федор, ловя себя на том, что, ответь она утвердительно, это польстило бы его мужскому самолюбию.

Вместо ответа Эрика снова больно ущипнула его за мочку левого уха. Федор отодвинулся. Его злили и появившиеся любовники, которым она, наверно, улыбалась сейчас, и эти идиотские щипки за уши.

— Откуда у тебя эта садистическая привычка щипать за уши?! Может быть это твой генерал научил тебя держать его за ушную мочку для возбуждения? А? А его научила его первая любовница? Так и передается по наследству постели? Так, что ли? Что же ты молчишь?

— Это длинная история, Ганс...

— У нас есть время.

Где-то далеко-далеко спросонья заголосил петух. Ему ответил другой, еще дальше — третий... Эрика протянула руку к голове Федора и мягко взяла за ухо, как ювелир берет драгоценную брошь.

— Поэты, философы веками говорили, что глаза — зеркало души. Возможно. Но уши — зеркало секса, зеркало половой силы человека, а значит — его жизненной силы. Я окончательно убедилась в этом, я никогда не ошибалась...

— В чем не ошибалась?

— В мужчинах.

— От этой методики явно отдает обанкротившимся расизмом...

— Напрасно ты злишься. В первый раз, еще девочкой, я прочла в книге Стефана Цвейга о Казанове о том, что величина кадыка мужчины рифмуется с его мужским достоинством...

— Какая ерунда! — перебил Федор. — Каждая женщина, как, кстати, и многие мужчины, свои половые ассоциации готова выдавать за истину.

— Согласна. Но ассоциации многих за всю историю человечества дали наблюдения...

— Какие наблюдения?

— Одни женщины придают значение росту мужчины, другие ширине плеч, третьи величине мускулов груди или бицепсов, некоторые — величине икр или ляжек, иные видят силу в волосатости тела, а кто — бороды и усов. Но все это примитив. Есть более сложные: хироманты утверждают, что все дело в мясистости основания большого пальца, гомосексуалы — в отсутствии перепонок между пальцами рук, в древней Греции женщины придавали значение густым бровям: «Светлые глаза под темными густыми *бровями*...», — скандируя как бы прочла Эрика и задумалась.

— У меня в Берлине была любовница, которая утверждала, что безошибочно узнает хорошего мужчину по его вискам — по ширине и густоте бачков.

— Все эти признаки не могут быть правилом — слишком много исключений, — проговорила Эрика, словно шел какой-то научный разговор. — Путаницу подобных теорий порождают стареющие женщины и гомосексуалы, для которых главное — механическое раздражение. Главное — в психике, в эндокринной системе человека. Теория твоей берлинской любовницы родилась среди романских народов. а у женщин Востока, где у мужчин мало растительности на лице, другие теории. Я знала норвежца с очень жидкими височками, но замечательного мужчину.

Романская теория височков вышла из легенды Самсона. Флобер носил пышные усы и мучился из-за лысины, его ученик Мопассан отрастил длинную шевелюру и полуметровые усы. Еще раньше была теория бакенбардов. Интересно, что в наши дни лысые мужчины нашли утешение — научно доказали, что волосы на голове выпадают от чрезмерного количества мужских гормонов в организме (кстати, и плохие зубы от того же). Смешные, они не понимают, что идеальный

мужчина, как и идеальная женщина, содержит в себе идеальное сочетание мужских и женских гормонов. И если у мужчины слишком много мужских гармонов — он патологичен, чаще всего становится педерастом. А что касается теории рук, пальцев, плеч, колен, икр и тому подобного, то забывается род занятий предков. Это профессиональная, а не сексуальная наследственность.

— Сразу видно, что ты долгие годы была женой крупного деятеля нацистского министерства здравоохранения, — съязвил Федор.

— О, это мне очень помогло! Знакомый врач, подчиненный мужа, во время войны проверил мои выводы на многих кацетниках... Он выбрал одного кацетника —цыгана — отличный мужской экземпляр: уши у него были идеальные, — и стал постепенно убивать его половую силу. Ты только бы посмотрел, как реагировали уши! Когда он совсем сделался скопцом, уши вскоре стали вялыми, потеряли форму, мочка ссохлась...

— Черт знает, что ты говоришь! — морщась проговорил Федор.

— Ты просил доказательств. Ты думаешь, что случайно люди всех времен, всех народов старались увеличить, оттянуть к низу ушные мочки? Современные женщины это делают с помощью серег так же, как делала царица Савская или Клеопатра. Инстинкт нравиться. Эндокринология и судебная медицина давно доказали прямую связь формы уха с характером и особенностями человека.

Ухо со дня рождения все время меняется — мягкое, оттопыренное в детстве, оно с половым созреванием крепнет, твердеет, меняет форму, а к старости атрофируется, сморщивается, рыхлеет. Я собрала коллекцию ушных слепков, фотографий ушей величайших любовников и куртизанок всех времен: древнего Египта, древней Индии, Эллады, Римской империи, германских государств эпохи Возрождения — и до наших дней. Гений в изобразительном искусстве интуитивно подметил в человеческом ухе, то, что подметили женщины.

— Ну и теория! — засмеялся Федор, хотя ему было совсем не смешно.

Он скосил глаза в сторону Эрики — на подушке из-под волос выглядывало маленькое ухо с острой припухшей мочкой.

— Моя коллекция погибла при бомбардировке Берлина. Это трудно рассказать. Главное — мочка. Чем сильнее она развита, тем сильнее в человеке секс. Второе — форма ушной раковины: чем очерченнее она, чем яснее линии ее, тем сильнее, настойчивее чувство человека. Прижатое ухо — хорошо, оттопыренное — плохо.

— В каком смысле хорошо? — спросил Федор, зная что у него уши прижаты.

— В том, о котором я рассказываю.

— Ну, а у меня какие уши? — не выдержал Федор.

Эрика засмеялась.

— Таким вопросом, обычно, заканчивалось каждое мое объяснение, — она по-деловому, как врач, ощупала ухо Федора. — Мочка на редкость хороша. Форма уха — благородно удлиненная, индийская.

Немного мягковат ободок — не агрессивный, но зато много фантазии.

— Это все, чему ты научилась в жизни?

— Да, все! Единственная форма бессмертия. Это слабые придумали бессмертие дел или благочестия. Сидит иной лет двадцать, живет отшельником, пишет, работает, а все для того, чтобы хотя бы пару лет прожить так, как грезилось в детстве, когда в нем просыпался мужчина. Признайся: как человек ни живет, как ни меняется, а главным остается то, что грезилось в далекие горячечные ночи под детским одеялом, после того, как впервые подглядел голым отца или мать...

Федор скинул ноги с постели. Сел. Эрика стала ему до тошноты противна.

— Ты черт знает, что говоришь! Кто только сделал тебя такой...

Эрика приподнялась на локте. Глаза сделались кошачьими.

— Кто? Ты спрашиваешь — кто?! Вы! Вы, мужчины. Ваши книги! Ваши пьесы, ваши фильмы! Вы придумали таких женщин! Мы по природе спокойнее — семья, дети, обед, носки мужа... Я выросла на вашей мужской выдумке! На вашей похоти!

Помогая себе ногами, она слезла с кровати, схватила со спинки стула халат и, уходя, так хлопнула дверью, что, должно быть, разбудила внизу танте Христел и Ленхен.

Утром Федор долго разглядывал перед зеркалом свои уши. Весь день рассматривал уши домашних: у немого они были плоскими и невыразительными, у старика огородника — вялые со сморщенными мочками, у Ленхен маленькие, но без мочек. Вечером вернулся Макс — у хозяина уши оказались широкими, красными с большими ушными отверстиями, но с мясистыми мочками в белесых волосках.

Эрика не показывалась весь день, а вечером спустилась вниз в зеленом баварском платье. Федор не понял, что это значило: муж-то был дома!

Он уже собрался было спать, когда в дверь стукнула Эрика.

— Я дала ему снотворных порошков, — сказала она, запирая за собой дверь на ключ.

3. МОЛОДОЖЕНЫ

Кончили ужинать. Керосиновая лампа с «линейным» стеклом слегка коптила и Степан Иванович — отец Василия, — высокий, узловатый, похожий на суковатую палку, краснолицый, с жилистой шеей старик — снял, обжигая пальцы, стекло, подрезал ножницами фитиль. В избе стало светлее. Мать — Гликерия Семеновна — убрала со стола и принялась возиться у печи: выгребла угли, большим ухватом запихала в печь большущий чугун с водой — нагреть на утро корове на пойло. Василий незаметно от отца поглядывал на Соню. Она сидела в углу под иконой и делала вид, что не замечает взглядов мужа.

Спали они в небольшой, отгороженной задней печной стеной и деревянной перегородкой, горнице. Большая русская печь занимала чуть ли не четверть избы, деля ее на три части: на горницу, на маленькую комнатку в одно окно с правой стороны печи, где спала мать на старой, заваленной тряпьем, железной кровати; перед печью была общая комната — у окон, выходивших в огород, стоял некрашенный стол со скамьей и двумя табуретами. Василий и Соня сидели на скамье, отец — на табурете, ближе к входной двери. Левая сторона печи, с приставленной деревянной лесенкой, смотрела прямо на дверь, сени выходили на крыльцо, а с другого конца переходили в хлев-коровник. Уборной не было. По нужде зимой ходили в коровник, летом в огород, в кусты крыжовника и смородины. Соня, даже после лагеря, стеснялась и ходила в коровник незаметно, когда никто не видел. Ей стыдно было даже коровы Зинки, особенно, когда та смотрела на нее своими большими золотистыми глазами.

Мать с грохотом укладывала ухваты в подпечье. Василий под столом прижал колено к Сониной ноге, Соня поглядела на него, умоляя подождать, пока мать не сходит к корове, а потом помолится перед иконой и, задув лампу, затихнет за печкой. Василий ухмыльнулся, — Соня обернулась к свекру и спросила:

— Почему это, Степан Иванович, так плохи дела в колхозе, как вы рассказывали вчера? Это только у вас, или в других колхозах тоже?

Соня в колхозных делах не понимала ничегошеньки, но старик вопросу невестки обрадовался: ему все хотелось поговорить с Василием и с городской невесткой, да не удавалось. Он удобнее уселся на табурете, потер ладонями угловатые свои колени в больших заплатах.

— Что ж тебе сказать, дочка. Дела плохи были и будут плохи — ничего не поделаешь: человек не чурка с глазами... Не работают люди — хоть ложись и помирай!

— Почему? У нас в лагере, и то работали.

— Оно и в колхозе работают, что в твоем лагере, но как, спрашивается? Бежит народ из колхоза. Молодые бегут учиться или куда на стройку — лишь бы вырваться. Теперь бабы бегут — те, кто ребятишками не связан по рукам и ногам: с войны без мужей остались, бегут хоть какое счастье найти... Да только какое оно счастье на чужой стороне... Маятье.. Да и куда убежишь-то, когда вся страна вроде одного колхоза?.. Нет, друг ты мой разлюбезный, некуда бежать. Один всесоюзный колхоз имени дорогого любимого товарища Сталина.

— Ничего, отец, — вмешался Василий, — скоро вот восстановимся... Война была. Не сразу...

— Удивляюсь я, на тебя глядя, Василь. Ведь ты мог бы завтра полковником стать, а послезавтра — глянь! — и весь генерал! Ваше превосходительство! Ну и ну! — сам же удивился старик положению Василия. — Удивляет меня, сын, вот что: партия ваша большевистская и Сталин ваш — уж на что дотошный и суровый на руку — и как это вы не поймете: дай человеку поесть досыта, дай ему чем наготу свою прикрыть, да еще часок свободный для веселия — вот и всех делов! Разве у власти нет такой возможности? Есть. И еще: раз у человека

что появилось, то ты этого не трожь — не смей отнимать! Ну, дали ему участок в две сотни, коровку — так не трожь! Не мучь его налогом, не отнимай корм! Ведь и власти-то тогда было бы спокойнее. А там, глядишь, и народ отошел бы. Так нет же, — не дают, хоть им кол на голове теши! Святая правда, что Бог, если наказать хочет, разума лишает. Вот, дочка, какие дела-то.

Ободренный вниманием невестки, помня возражение Василия, старик хотел продолжать, но Василий перебил:

— А что, если гайки держат закрученными, да подкручивают туже, чтоб человека в руках держать? На голодуху-то человека куском хлеба и дрова рубить заставишь, не то что! А сыт станет — подите вы к чертовой бабушке! — скажет. А там и думать примется, старые обиды вспомнит. Сталин, он башковит!

— Может и так, — согласился старый Трухин. — Только, думаю я, что народ наш отходчив. Это на другой народ — не забудет вовек, а наш поверит. Ему так: дай подарочек пустяковый, чуточку послабления и сразу сказку расскажи. Только Сталин ваш тонкости такой не понимет, — не русской крови он...

— А мне кажется, отец, что трудная жизнь, вроде как армейская дисциплина, — чтоб ни минуты свободного времени, чтоб полная занятость!

— Так разве же это жизнь?

— А ты что, колхозы захотел распустить?

Старик затянулся дымом цыгарки, отхаркнулся, плюнул на пол, растер подшитым валенком. У Сони внутри пробежали мурашки, — не могла привыкнуть.

— Не знаю, сын, не знаю. Все так перевернули, что и вернуться назад уже вряд ли можно. Колхоз, он не только в печенки мужика, но и в жизнь его забился... Только помяни мое слово, хоть и удобен для власти колхоз — мужика сподручно в кулаке держать! — но выйдет это боком! Измучают народ, землю измучают и только потом сообразят, что не дело делали...

— Степан Иванович, вы извините, я ничего в таких делах не понимаю, — решилась спросить Соня, — но почему люди в деревне, сделавшись колхозниками, не хотят работать?

— Как бы это тебе сказать дочка? Ну, может быть, вот так: была у крепкого да ладного мужика девка ли, невеста ли, жена ли — одним словом, баба и любил он ее крепко. И вот вышло от власти распоряжение, чтобы бабе его гулять и спать не только с ним, но и с соседями. И стали соседи так и поступать, — иной сосед и человек не плохой. Что ж получилось? А получилось, что отвернулось сердце у мужика — перестал он любит ее. Жалко и ее, и себя, слезы льет, а жизни нету уже... Вот так-то, доченька...

— И что ты болтаешь, отец, ей-Богу! — Гликерия Семеновна подбоченясь смотрела от печки на мужа, напустив на лицо строгость. — Спать пора, а не политикой заниматься. Все равно толку никакого. Завтра на работу.

— Мне хотелось бы пройтись немного, — сказала Соня.

Днем Соня выходила редко — из-за деревенских баб, а перед сном, после жарко натопленной душной избы, любила пройтись по затихающей на ночь деревне; возвращалась, когда старики уже спали.

— Ну, что ж, пойдем, если хочется, — сказал Василий и стал доставать с печи полушубки и валенки.

Валенки и полушубки были теплые, ласковые. Соня на голову надела вязанный платок. Василий натянул старую отцовскую меховую ушанку. На дворе было лунно и тихо. Хрупко заскрипел под ногами подмерзший снег, перед калиткой стеклянно хрустнул раздавленный ногой ледок лужицы. В морозном воздухе пахло еловым дымом. Только с другого конца деревни, из крайней избы вдовы солдатки Капы, слышалась хоровая женская песня:

... В хороший час заката
У тесовых новеньких ворот,
Может быть, сюда знакомого солдата
Ветерок далекий занесет.

— Опять бабы загуляли, — заметил Василий.

Соня не ответила и, взяв его под руку, повернула влево к околице, за которой начинался лес.

В деревне было с войны полно вдов. Часто, еще на работе, бригада женщин — «вдовья команда» начинала по-мужски пить — покупали вскладчину четверть водки и пили. Потом с песнями, а то и с плясками возвращались с работы домой. Гулянье иной раз затягивалось до ночи, как было сейчас, — чаще у Капы, изба которой была побольше, да и детей малых не было, — опять пели, реже разудалые, а то и бесстыжие частушки, чаще — тоскливые, грустные, за душу хватающие песни, после которых плакали и кого-то ругали. Соню не взлюбили сразу: мужиков на деревне почти не осталось, а тут такой представительный мужчина, как Василий, — в инженеры вышел, подполковник, свой деревенский, а достался чужой, сторонней. И что он в ней нашел? — Ни мяса, ни шерсти, ни груди, ни зада, — вроде девчонки! Но зато городская, мать ее за ногу!

С самого начала всем в деревне сказали, что Василий и Соня муж и жена еще с войны: встретились на фронте. Решили, при первом же удобном случае, съездить в районный ЗАГС и зарегистрироваться. Мать вздыхала, думая о свадьбе «как у людей»; было грустно и Соне — не так представляла она себе начало своего замужества.

А решилось между ними все по дороге с железнодорожной станции. Василий так и спросил Соню: хочет ли она, чтобы он сразу объявил всем, что они муж и жена? Зимний лес был как храм, белые деревья — подружками невесты в свадебных кружевных платьях, а, может быть, и ангелами белокрылыми. В огромной как мир тишине, в зимнем лесу-храме, во вселенной венчались два человека, две точечки, две бесконечно малые величины — раб Божий Василий и раба Божия София. Василий поцеловал нареченную ему судьбой жену, высокая сосна бросила на них горсть пушистого серебра ...

Гликерия Семеновна не такую невестку ждала для сына, думала о работящей, дородной, подстать Василию, а у такой, не дай Бог, и детей может не быть! Но когда узнала про лагерь, что сиротой осталась, обняла, поплакала скупыми старушечьими слезами над невесткой, а за одно и над своей молодостью, которая была, была, да так давно, что уже и не вспомнить хорошенько. Перекрестила. «Ну что ж, доченька, видно судьба такая...» Невысказанным остался страх, что городская невестка увезет сына в город, не захочет жить в деревне...

Степан же Иванович сразу посчитал, что именно такой жены, городской, образованной, Василий и достоин. Соню приласкал. «Ты, дочка, ноль внимания и фунт презрения на этих баб. Завидуют, вот и чешут языки. Ты меня слушай».

Вторую неделю Василий и Соня были мужем и женой. По дороге со станции оба не знали, как придет их первая брачная ночь, а близость пришла не ночью, а раньше, днем, когда мать работала в колхозном коровнике, а отец поехал с председателем в соседний колхоз. Василий привлек к себе Соню: он считал, что должен *это* сделать, если стал мужем. Соня стала говорить ему откуда-то пришедшие ласковые слова:: жизнь моя, любимый, родной, счастье мое. А у него эти слова выдернули откуда-то мыслишку, что она говорила их привычно, не в первый раз. Но когда застонала, затосковала в голос о чем-то невыносимом, а потом навзрыд расплакалась и в жарком бреду, в стыде забормотала: «Вася... Вася... никогда...» — ему стало стыдно, что, хотя и про себя, но обидел ее; и нестерпимо радостно, что жена дасталась ему, о какой мечтал и думал. И такая нежность прошла по всем его жилам, что не знал, что и сказать, а только вытирал большими своими ладонями мокрые от слез щеки ее...

Они молча шли по синей от лунного света дороге. Остановились у березы.

— Не пойму я что-то, Сонюшка.

— Что такое, родной мой?

— Да вот как-то все вверх ногами получается: начальство говорит — выходит правда, отец говорит — тоже правда. Но не могут же быть на свете две правды?

Соня тихонько рассмеялась.

— Есть и еще одна правда...

— Какая же еще?

— Та, что я тебя очень, очень люблю! И что мне здесь хорошо, как никогда в жизни! Посмотри... — она показала рукой в сторону деревни.

В лунной зимней ночи светились глубокие окна квадратных крепко сбитых изб в толстых снежных шапках. Как косматые теплые звери с золотыми глазами.

— А слышишь, как звенит тишина? Это они, — Соня показала рукой на кроны деревьев, — стоят и делают тишину... Ну, как электрическая печка делает тепло, или такой аппарат-холодильник делает холод... Они, деревья, делают тишину не такую, как дуло винтовки, или кресты на кладбище, а хорошую тишину, счастливую.

— Ну, знаешь, деревья эти, случись ветер-то, делают и шум, да еще какой, что твое море! — засмеялся Василий.

Он уже привык к Сониной манере говорить, и манера эта ему очень нравилась, — как сказку рассказывает. Одним из ласковых слов, которыми он ее называл, было — моя сказительница.

— Конечно, делают и шум! Они все могут, Вася, «Идет-гудет зеленый шум»... Ветер принесет что-нибудь из дали, вот они и обсуждают, и жестикулируют.

— Как на собрании.

— Нет, я думаю, — умнее. А вот вчера, когда я днем гуляла, они стихи читали.

— Кто читал? — не понял Василий.

Вспомнил, что «Зеленый шум» учили в школе.

— Сосны, елки.

— Какие стихи?

— Свои, зеленые. Я им читала Есенина, Блока, а они мне свои... Хорошо здесь, Вася. Никогда не думала, что в деревне зимой так хорошо.

— Это — природа. А колхоз — другое, ты его еще не знаешь. Колхоз и человек, вроде косы и камня: сошлись — искры летят, а толку-то нет!

— Не знаю, Вася, но вот сегодня дома смотрела я в окно на сосульки. Вот они делают весну, зиму перерабатывают на весну: набирают из воздуха свет, накапливают в себе что-то золотое-золотое, вроде солнечных капелек, — сбежит по сосульке вниз и капнет на землю... Капля за каплей, капля за каплей... А теперь поцелуй меня.

Соня в деревне была впервые в жизни и все было ново, все радовало ее здесь: и тишина, и избы в снегу, в сосульках, в дымах из труб, и снежная даль с синим зубчатым лесом, и мычание коров по дворам, и блеяние овец и коз, и ночной лай собак, и неторопливость людей, и язык какой-то очень русский: «пошто» вместо «почему», «уделать» вместо «починить», и названия еды — «пресняк», «ватрушка»... И сама она — произносила обыкновенные слова, а они приобретали какой-то первозданный смысл. Она говорила: «луна» или «зима» — получалось, как названия картин, рассказов, стихов.

Зима еще стояла крепко, но весной пахло. Соне казалось, что запах этот накапливался в туманной глубине леса, чтобы однажды выйти оттуда и полонить все вокруг.

Домой возвращались мимо изб с уже темными окнами.

В избе было душно, жарко, влажно. Горела прикрученная лампа. На печи на старых валенках и старом тулупе тонко храпел Степан Иванович. Василий помог Соне снять полушубок и валенки, снял свои, поставил их в печь и на цыпочках пошел в горницу.

Соня уже лежала в кровати, когда Василий в свете лунных окон в исподнем подошел к кровати. Соня лежала зажмурив глаза, натянув до подбородка ватное лоскутное одеяло, хотя кровать стояла у горячей стены.

Он постоял, переминаясь босой с ноги на ногу, приподнял край

одеяла и осторожно лег. Большая старая кровать громко — Соне показалось, что слышно на улице! — заскрипела под тяжелым телом Василия. Соня вся сжалась, мучительно прислушиваясь к избе, — ей казалось, что треск кровати разбудил Гликерию Семеновну и Степана Ивановича, хотя тот продолжал заливисто храпеть.

Василий лег и не шевелился. Соня благодарно погладила его по шее. Василий обнял ее левой рукой и тихонько поцеловал.

Утром и днем было иначе. Просыпались они затемно от громких голосов бригадиров, ходивших от избы к избе и будивших людей на работу. Ругались бабы, кто-то отдавал распоряжение ехать за навозом, кто-то кричал, что порвалась уздечка... Мать уже возилась у печи, кашлял и отхаркивался Степан Иванович. Они завтракали и уходили — мать на скотный двор, отец на конюшню. И вот тогда Соня забывала и проскрипящую кровать, и про все на свете. Она была поражена новым для нее счастьем — этим умиранием и этим воскресением, этой нежностью к Василию — до крапинки в левом его глазу, до крепкого запаха его мужского пота. Василий еще в детстве наслышался о мужской власти над женщиной и потому старался изо всех сил, утверждая себя в новом положении мужа.

Мать обо всем догадывалась и перестала приходить на обеденный перерыв и Степану Ивановичу наказала брать с собой на работу еду из дома.

Ночью Василий все-таки не мог с собой совладеть. Он привлекал Соню к себе, но проклятущий матрац начинал вызванивать, что твоя гитара; Соня вся сжималась и едва слышно просила: «Вася, Васенька, не надо... пожалуйста...» — Василий замирал и, несколько позже, опустошенный, освобожденный от желания, тяжело дышал, и Соня закрывала похолодевшими пальцами ему рот, умоляя дышать не так громко.

Так было и в этот раз. Потом Василий сказал вполголоса:

— Послезавтра придется в райвоенкомат ехать, — надо на учет стать. Да и в райком тоже. Председатель едет, и я с ним.

Соня прижалась к теплому боку мужа — кровать скрипнула, матрац зазвенел, но теперь Соне было не страшно.

— А мне можно с тобой?

— Не знаю, Сонюшка, говорят, погода разыграется завтра, — еще заметет в дороге-то.

— С тобой я не боюсь.

— Я там, в районе, ходить буду, а тебе где? Лучше оставайся дома...

— Когда тебя нет дома, мне так тревожно... А тут на целый день. А метель будет, так я совсем изведусь от беспокойсва.

— Ничего со мной не станется, — ответил довольный Василий. — Возьмусь на учет. И будем с тобой ждать вызова из наркомата.

— А мне уезжать отсюда совсем не хочется, — спокойно, тепло мне здесь, Вася...

— Ну нет, это ты зря! Это тебе попервоначалу так, после лагеря. Колхоз — не город, — с тоски помрешь.

Соня помолчала, потерлась щекой о плечо мужа.

— А по мне, так кажется всю жизнь бы здесь прожила... Но ты делай, как тебе лучше, мне с тобой везде хорошо.

— Вот только на этой кровати не всегда хорошо, — пошутил Василий,

— Ты прости...

— Чего там! Знаешь, в Германии, — да и вообще, говорят, по всей Европе, — муж и жена спят на отдельных кроватях. Я лучше уж развелся бы к чертовой бабушке!

— Может быть, оно и гигиеничнее, но... отвыкательно, — Соня крепче прижалась к Василию.

За стеной спросонья хрипло заголосил петух. Степан Иванович забормотал что-то на печи и зашелся в кашле.

4. СЛЕЗЫ

После отъезда Серова Катя, несмотря на беременность, чуть ли не каждый день ездила в гости: к Баранову, к Колчину, с женой которого познакомилась через Тоню Баранову, к начальнику правового отдела СВАГ Карасеву, к заместителю Главноначальствующего Ковалю, к самому маршалу Соколовскому. Ездила днем, так что встречалась больше с женами. Родство с Серовым открывало Кате все двери. Жены начальствующих занятых мужей скучали и гостье были рады. Угощали, судачили о попавшихся с «барахольством», о задержанных в западных секторах Берлина, о бежавших на Запад и о тех, кого выдали. Чаще выдавали англичане.

В середине марта сильно потеплело, и Катя поехала, на несколько дней, погостить в Нордхаузен — с Натальей Николаевной она могла говорить и о Федоре. Генерала дома не было: дивизия готовилась к переходу на лагерное положение. Наталья Николаевна приезду Кати и обрадовалась и испугалась. Хлопотала по хозяйству, ухаживала за ней, не знала, что называется, где и посадить, — о Федоре, о Федоре надо было рассказать, но как же это сделать?!

Ездили осматривать окрестности. Гористая Тюрингия лежала в туманной дымке: темные, влажные худые деревья стояли по склонам, вдоль дорог, по берегам речек — стояли и ждали. Побывали в Вартбурге, где в домике на стене сохранилось явно подкрашиваемое чернильное пятно: по преданию Лютер швырнул в искушавшего его черта чернильницей; а во дворце, где в средние века соревновались мейстерзингеры (проигравшему певцу рубили голову), в коридоре рассматривали фрески — по одной стороне шли фрески, изображающие жизнь мужчины, по другой — жизнь женщины: мужчина до двадцати лет — теленок, после двадцати — козел, после тридцати — бык,

после сорока — лев, потом рабочая лошадь, а в девяносто — осел, столетие было изображено черепом; женщина изображалась голубкой, лебедем, павой, сорокой, курицей, в девяносто лет — совой, в сто — такой же череп. Катя, вместе с Натальей Николаевной, смеялась, смеялась, смеялась, а потом вдруг расплакалась.

— И сама не знаю отчего... Извините, Наталья Николаевна.

Это, может быть, и решило: вернулись домой, пообедали, Наталья Николаевна усадила Катю на диван и все рассказала: и о приходе Федора, и о «комиссаре», и о брате «немки», и о Карле. Отдала письмо Федора. Кате сделалось дурно. Напуганная Наталья Николаевна с помощью вестового солдата уложила ее в постель, вызвала дежурного врача. Катя пришла в себя, оглядела неузнававшими глазами комнату, врача майора, остановилась взглядом на лице плачущей Натальи Николаевны, что-то вспомнила, встала и, не говоря ни слова, принялась лихорадочно одеваться. Наталья Николаевна и врач пытались ее остановить, но Катя с такой силой оттолкнула майора, что тот чуть не упал.

Не простившись, Катя села, с одеревеневшим лицом, в автомобиль и, забившись в угол, сказала шоферу:

— Поезжайте домой... Скорее.

После Галле разразился ливень. Били молнии, по небу из конца в конец гневно грохотал гром. Старик шофер включил фары и напряженно вглядывался в потоки дождя, заливавшие и смотровое стекло, и свет фар, и дорогу, и сам воздух. По обочинам автострады то и дело попадались легковые автомобили и грузовики, пережидавшие ливень. Мосты все еще не были восстановлены и ехать нужно было осторожно, но Катя повторяла:

— Скорей! Скорей!

— Это невозможно, гнедиге фрау, ничего не видно...

— Делайте, как вам говорят!

Быстро надвинулся вечер. Измученный шофер все-таки успел разглядеть впереди полосатое заграждение и стал тормозить.

— Я сказала вам: ехать быстрей! — чуть не закричала на него Катя.

Старик рассердился и, не ответив, свернул с бетонной автострады на глинистый выбитый путь объезда — задние колеса сразу занесло вправо, потов влево; скользкая, обильно поливаемая потоками дождя дорога сразу пошла круто вниз, шофер затормозил, но автомобиль продолжал скользить. Шофер успел заметить поворот налево и стал поворачивать, но автомобиль занесло, — справа сквозь дождь вырос кузов застрявшего у обочины грузовика — и он ударился в него задним правым колесом. Катю сбросило с сиденья, швырнуло правым боком на спинку переднего сиденья.

Автомобиль стал. Верх кузова загудел на ровной дождевой ноте. Шофер, чертыхаясь, вылез под дождь. Катя, опираясь руками о сиденье, села — сильно заболело в ушибленном боку.

— Вы в порядке? — крикнул шофер.

— Да, да... Поезжайте!

Старик не ответил и стал дергать за вмятое крыло. Потом плюнул и полез за руль.

Поврежденное крыло со скрежетом терлось о покрышку заднего колеса и, хотя ливень скоро стал стихать, быстро ехать было невозможно. Боль в боку, нарастая, переместилась в низ живота.

«Ну, вот и все... Выкидыш... — подумала Катя и тут же в горячечном исступлении стала твердить: —Ну и пусть! Пусть! Пусть! После этого предательства, после того, что они сделали с Федором, пусть и ребенок умрет! Пусть и я умру! Пусть все идет к черту! Ах, какие сволочи! Шкуру свою, шкуру только б сберечь! Предатели. И этот еще, — подумала о Василие. — Мама, я, Коля помогли ему Соню найти, помогли освободить, я рисковала мамой, собой, ребенком — твоим сыном, Федя, рисковала! Помогли, устроился, а теперь предал! Мужицкая душонка! Ты его на фронте спас, а он, видишь, как... Нет, не будет и вам добра! Нет. Нет. Нет. И эта старая ханжа: 'Феденька, сыночек', 'милая вы моя', крокодиловы слезы... Когда надо, не отговорила бежать, а теперь отговорила! Все шкуры. Шкуры... Федя! Куда же они тебя отправили?! Куда забрали от меня?! На какую новую муку? Что мы им сделали, Федя?!»

Она не береглась толчков: разбитая автострада была сплошь в выбоинах, каждый толчок больно отзывался в боку и животе. «Пусть! Пусть! Пусть!..»

На контрольных пунктах, при проверке документов, дежурные офицеры по несколько раз переспрашивали ее, — она не понимала, кто они и что хотят от нее, пока шофер догадался и стал говорить:

— Фрау оберст очень больна. Авария случилась, — и показывал на вмятое крыло.

В Карлсхорст приехали ночью. Катя с помощью шофера едва поднялась в квартиру на второй этаж. Рыльский вышел в пижаме; разглядев Катю, испугался.

— Что случилось?!

— Авария, герр оберст... очень скользко...

Катя, скинув пальто, прошла к себе в комнату и, не раздеваясь, легла на кровать. В коридоре муж кричал в телефон, вызывая скорую помощь.

Больница Карлсхорста была в нескольких кварталах. Катю поместили в отдельной комнате. Дежурный врач, обнаружив небольшое кровотечение, позвонил главврачу, жившему при больнице. Главный врач — полковник медицинской службы — полная розовая женщина в очках, сквозь которые умно глядели светлые глаза, — осмотрела молчащую в исступлении Катю, распорядилась сделать укол, вызвала сестру.

— Паша, не отходите от больной... Психическая травма. Если кровотечение усилится, разбудите меня.

Рыльскому сказала:

— Вы, полковник, поезжайте домой. Она сейчас уснет — посмотрим, что покажет завтра.

Засыпая Катя видела над собой строгое лицо сестры, потом потух

верхний свет, сестра отошла к столу у окна, где горела маленькая лампочка под зеленым абажуром.

Почти двое суток Катя лежала, не отвечая на вопросы врачей, не разговаривая с сестрами, отказывалась от пищи. Только пила. Боль то утихала, то нарастала. Рыльский приходил три раза в день, но по распоряжению главного врача его к Кате не пускали.

На третий день около полудня Катя уснула, и так крепко, что проспала до вечера. Открыла глаза, огляделась, — сестры не было, в окне за качавшимися от ветра черными ветками больничного сада догорал желтый закат. Катя подняла одеяло и потрогала живот — боли не было. Повернулась на бок к закатному окну — боли не было. Подтянула колени, свернулась калачиком. «Феденька, я дура у тебя... Влюбленная в тебя дура... Беременная сыном твоим дура... Я ведь чуть его не убила, Федя, сына нашего чуть не убила... Прости меня, дуру... Ты ведь жив там? А Карл здесь. Через него я и найду тебя! Чего же я, дуреха, распустилась? Ты только пережди где-нибудь. Где-нибудь в уголочке. Слышишь, Федя?..»

Катя не слыхала, как в комнату вошла медсестра. Ее строгое лицо выросло над Катей, темные глаза улыбнулись.

— Ну вот... Теперь все будет хорошо...

— Вы о чем? — спросила Катя.

— О том, что плачешь... Обошлось, значит.

Катя рукой потрогала лицо — оно было мокрое от слез. И подушка была мокрая. Катя полезла под подушку за платком.

— А вы не прячьтесь. Слез стыдится не надо, — отходя к столу, сказала сестра.

— Что ж тут хорошего? Все мы, женщины, плачем: горе — плачем, радость — плачем, больно — плачем, сладко — плачем... Просто неприлично получается.

— Ничего такого не получается! Слезы — Божья благодать. Нам, русским бабам, судьба слезы дала, вроде как силу. Беда ударит — слезы удар смягчают, и сердце не разбивается. Горем глаза затмит — слезы омоют — и опять кругом видать. Ум помутнится — слезы опять же очищают. Только подумать, что русской бабе пришлось перенести — и в старину, и теперь тоже! Слез целые реки пролито, только смыли они и мор, и глад, и беды, и пожарища, и душа осталась чистой.

— Это что ж, вроде дезинфекции?

— А вы не смейтесь. Дезинфекция не дезинфекция, а вроде противоядия, чтобы с ума не сойти да душа чтоб не очерствела.

— Так разве только русские женщины плачут? — улыбнулась Катя.

Сестра поглядела на нее, подошла, присела на край кровати.

— Вон как хорошо ты улыбнулась, голубка вы моя. Слава Богу! А что до других, то другие не так плачут. А иные и вовсе не плачут — привычки к беде нет. Насмотрелась я за войну на всякие нации: на фронте медсестрой в полевом санбате была, в плен попала, у немцев в госпитале работала, потом во Франции, там с подругой бежали к партизанам ихним. Пришли американцы и англичане — в английский

госпиталь военный попала, с ним в Англию, а тапарь привезли сюда на репатриацию. Только меня опять в госпиталь вот из лагеря взяли... Что дальше будет — один Бог знает...

Катя с интересом разглядывала простое крестьянское лицо сестры. Оно казалось темнее от белого халата и белой косынки. Руки ее лежали на коленях мягкими ладошками кверху, — сколько ран перевязали они? Сколько глаз закрыли навеки?

— Немка, к примеру, та в беде крепка, за добром своим глядит! Случись бомбежка, горит все, смерть гуляет кругом, бомбы рвутся — светопреставление, а она голову не теряет, отберет самое ценное в чемоданчик и аккуратно в бомбоубежище... Вот только, если мебель у иной сгорит, случается, плачет: «Майне шенэ мебель! Майне шенэ мебель!» Француженка, так та плачет скорее истерично. Англичанка — та, я и не видела, чтобы плакала: в самую страсть — смешное видит.

Помню: в наш госпиталь бомба попала, — всю стену на шесть этажей как ножом срезало, а врач наша — ни в какое бомбоубежище не ходила! — ванну принимала. Стена-то обвалилась, а она голая в ванне на четвертом этаже на виду у всего белого света. Так и сидела, пока солдаты спасательной команды ее по пожарной лестнице не сняли. Снесли, а она и говорит им: «Не можете ли мне принести мой халат и сумку с вещами, что на двери висеть остались?» Солдат слазил, принес. Построились они, как по команде, вокруг нее, отвернувшись, чтобы переоделась. Она халат надела, пудреницу из сумки достала и давай нос пудрить. А лицо-то у самой все в саже! Смеются только. Вокруг убитые, раненые, стон... Одним словом, каждый по-своему бережется. Наша, если в горе не плачет, — беда: с ума тронется.

— Вы наверное, и про меня так думали? — спросила Катя.

— По правде сказать, думала. А увидела слезы — обрадовалась.

— Вы все-таки преувеличиваете силу слез.

— Нет, не преувеличиваю. Возьмите с другого конца: раньше в России, да и теперь, говорят, чудеса бывали. Так чудеса эти больше про иконы Богородицы, — плачут они. В других странах разные чудеса бывают, а у нас больше слезы Богородицы. Да что там, спросите самую захудалую старушонку у нас, и та вам скажет: без слез пропадать бы нам.

— Ну, а мужчины?

— Что мужчины, — они слабы плакать. Чтобы плакать, надо силу от земли-матери иметь... Если читали Евангелие, то знаете, что когда распяли Христа, то все покинули Его, даже ученики Его, а вот женщины остались возле креста... Плакали. И дело свое женское делали.

— Вы что же, Паша, верующая?

Паша неумело улыбнулась, опустила строгие глаза и просто сказала:

— Верю. В немецком лагере уверовала. Потом укрепилась в вере. Баптисткой стала.

— Почему баптисткой?

— Да так оно вышло, голубка. Может, потому что в советское время выросла — к собраниям привыкла, церквей настоящих не стало,

служба церковная дело мудреное — стой и слушай, что священник скажет, а баптистское собрание — оно удобнее, самому можно выступить. А потом — Бог-то один...

— А вы не боитесь?

— Чего?

— Ну, хотя бы, что я возьму и донесу?

— Не донесешь... Да оно, начальство-то, наверно, знает... Держат меня, потому что сестра я опытная. А что отправят меня отсюда в лагеря дальние, так на то Господня воля. Только Божья воля и в другом — пошлет добрых людей в помощь, как посылал до сих пор.

— Я шучу, Паша.

— Знаю.

— Шучу, хотя и не англичанка.

— Какая из вас англичанка — вы из нашего брата: себя бы только отдать...

— Как вы сказали?

— Себя отдать.

Катя во все глаза смотрела на Пашу — откуда она такая взялась?

— Я, может быть, уже и отдала себя, Паша, — сказала она чуть слышно.

— Догадываюсь. А теперь я вам поесть принесу, я вам оставила, ждала, что переборетесь.

— Значит, слез одних недостаточно?

— Слезы — они для души, еда — для тела.

5. СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА

Секретарь обкома Артемьев поднял телефонную трубку и сердито сказал:

— Я вас, Мария Николаевна, просил не соединять меня...

— Дмитрий Иванович, — ответила в трубке секретарша, — извините, но звонит какой-то Павел и утверждает, что вы ждете его звонка.

«Павел?...»

— О, я, действительно, забыл. Спасибо. Соедините.

Артемьев подождал, пока секретарша положила трубку. Но на линии оставалась телефонистка, контрольная телефонистка, да и мало ли чьи уши могли быть на его, секретаря обкома партии, телефонных проводах! Сказал очень занятым голосом:

— Артемьев у телефона.

— Здравствуй, Митя. Это я — Пат.

Еще на рабфаке Чугунова и Артемьева прозвали «Пат и Паташон». Но Артемьев и без того узнал голос Чугунова.

— Ты где?

— В городе... Проездом...

— Надолго?

— Не знаю... Хотел повидаться. Ты когда возвращаешься домой?

— Дома я буду поздно. — «Дома никак нельзя!» — А в обком не зайдешь? — проверяя положение спросил Артемьев.

Посетителям обкома нужно было оставлять свои паспорта в бюро пропусков, посетителей же первого секретаря проверял еще и «цербер», как называл Артемьев своего личного охранника, капитана госбезопасности Мешкова. Чугунов, конечно, знал порядки.

— В обком я зайти не успею, Митя.

«Значит, не может... Где же мне его встретить?»

Ответить на этот вопрос секретарю обкома было не так легко: капитан-«цербер», сидевший сейчас у двери кабинета, повсюду сопровождал его, освобождая от своей опеки только дома. Шофер Петрович, домработница Нюша и кто-нибудь из личных секретарей, наверно были осведомителями и сообщали «кому следует» о жизни, передвижениях, встречах, посетителях первого секретаря — порядок был твердый, давно заведенный и даже привычный.

«Как же быть? Тьфу, дьявол!»

— Подожди, дай сообразить, — сказал он в трубку.

— Жду.

Артемьев подумал: «Встретить где-нибудь на улице? А «цербер»? А Петрович? У кого-нибудь на квартире?» И сразу вспомнил секретаря по сельскому хозяйству, отправившегося в поездку по области. Уезжая, он еще просил Артемьева о матери старушке, оставшейся одной дома.

— Подожди, — другим тоном сказал Артемьев в трубку и стал листать книжку телефонов. — Запиши: улица Ленина. дом восемь, квартира двадцать шесть. Старушку зовут Юлия Федоровна Кочетова; ты должен знать ее сына — Николая Кочетова, он теперь у меня по сельхозделами. Он в командировке, а старушка прихварывает. Я обещал заехать сегодня в... семь часов вечера. Записал?

— Да.

— Тогда, до скорого.

«Цербера» отправлю обедать — скажу, что еду домой на обед, а Петрович завезет меня к Кочетовой, а минут через сорок заедет, за это время мы и поговорим... и договоримся».

Старушка Кочетова — деревенская бабушка — сразу стала угощать пришедшего Чугунова обедом, как привыкла это делать для сына. (Жена сына погибла на фронте.) Чугунов, на радость старушке, съел все до крошки. Без четверти семь в дверях появился Артемьев. Короткий, широкий, в коричневом кожаном пальто с поясом, в такой же фуражке, лицо круглое, курносое, глаза быстрые. Протянул Чугунову крепкую короткопалую руку, левой рукой взял за плечо и рассматривал его снизу раскосыми, светящимися от волнения глазами.

— Ну, здравствуй, Павел! Как же ты, а? — поцеловал в щеку, обнял, хлопнул по спине. — Война уже год как кончилась, а ты вроде с войны, — обернулся к старушке. — Вы извините нас, бабушка.

— Да ты что, батюшка. Встречай, встречай дружка, а я что, я пойду подремлю... Разве я не понимаю...

Старушка ушла в соседнюю комнату. Чугунов и Артемьев остались стоять друг против друга — один высокий, в мятом немецком костюме, другой коренастый, в кожаном пальто: Пат и Паташон.

— С войны — не с войны, а из плена, — ответил Чугунов, разглядывая Артемьева.

— Из плена? Откуда? — сбрасывая пальто, спросил Артемьев.

— Из американского.

— Вот оно как... Узнаю орла. И что теперь?

— Не знаю. Документов нет. Ничего нет. Но об этом потом. Первое — что с Ниной? Где она? Что с детьми?

Артемьев достал носовой платок, громко высморкался

— Нина в порядке, Павел. Давай сядем.

Сели за столик, покрытый серой клеенкой.

— Дети тоже в порядке.

— Что она... что делает?

— Партинструктором по-прежнему. Но не в Москве, а на периферии. Но сначала расскажи о себе...

— Мне главное Нину, девочек...

— Насколько я понимаю в арифметике, тебе сейчас не Нину встречать, а где-нибудь в глуши, в медвежьем углу где-нибудь пристроиться, — сказал, перестав улыбаться Артемьев.

— Я пять лет их не видел, Митя!

— Мы с тобой тоже пять лет не виделись. Да... — Артемьев оглядел Чугунова. — Задача почище новой пятилетки!

— Если тебе не с руки, то я как-нибудь иначе...

— Ты это, знаешь, брось!

— Риск...

— Ладно уж, я, а не ты первый секретарь обкома. Ты как узнал, где меня искать?

Чугунов рассказал про Брест, про номер «Правды», про поездку в вагоне с демонтированным немецким оборудованием.

— Это для нашего химзавода, — заветил Артемьев. — Меня сюда в сорок четвертом перебросили.

— Не жалко Москвы?

— Нет. Сейчас лучше на периферии.

— Что так?

— Да так уж: шаг назад — два вперед, как учил Ильич.

— Как вообще дела?

— Дела? Сложные дела...

— В каком отношении?

— Как бы тебе это сказать...

Артемьев обрадовался возможности отвести разговор от Нины.

— Прежде всего, понимаешь, война как бы показала, что — как бы это тебе сказать? — госработа, правительственная деятельность, дипломатия, промышленность, наука, ранги, погоны и прочая в каком-то плане значительнее партийной работы. Правительственная деятель-

ность — война, перестройка Европы, Азии — это как-то грандиознее, историчнее, как бы больше историей пахнет! В нашем многотысячелетнем прошлом войн, министров было в тысячу раз больше, чем партийной работы. Ты улавливаешь мою мысль?

— Не совсем, но ты давай... высказывайся.

Артемьев хохотнул.

— О таком, брат, только и можно при таких обстоятельствах высказаться...

— Не боишься?

— Чего? Я — секретарь обкома, член ЦК, а ты беглый пленный, подлежащий расстрелу. Чего мне бояться? Это тебе надо бояться.

— Все-таки, — подумал?

— А как же? Приходится.

— Боишься по-старому?

— И боюсь. Скажет Хозяин на голову стать — стану, гопака уже плясал, — сказал: пляши — я и плясал. Повыше меня плясали. Ничего не поделаешь. Все боятся, а я что, лучше других?

— Все?

— Конечно, все. Вот фронтовики некоторые смелости набрались, но им — раз! — и рога обломали.

— Извини, что перебил, рассказывай — о переменах.

Артемьев сбоку бычком поглядел на Чугунова, хмыкнул — все, мол, такой же!

— Как бы тебе это сказать. Ты знаешь о довоенном равновесии сил между госаппаратом и партаппаратом, а сверху «хозяйский» контроль через «органы». Ты думаешь, меня зло не берет, — вдруг рассердился Артемьев, ударив сверху тычком в воздух, — что я — член ЦК, секретарь ведущего обкома партии, должен встречаться с тобой как какой-нибудь жулик! Ты думаешь, мы, партработники, не знаем, что Берия установил тотальную слежку за каждым из нас? Взбредет Хозяину в голову «гениальная» идея, и опять пустит нас всех в расход, как пустил ЦК тридцатых годов! Вот почему победит тот, кто даст членам ЦК, ведущим работникам гарантию, что этого больше не будет...

— Позволь, в чем победит? — перебил Артемьева Чугунов. — Хозяин-то жив?

— Жив-то он жив, но всяко может быть... Постарел да и труханул за войну — это, знаешь, даром не проходит... Так вот, во время войны, когда решалась судьба государства, партаппарат фактически не функционировал. За годы войны он оказался на второстепенных ролях — равновесие нарушилось. Хозяин это чувствует; стал Председателем Совета Министров — Совнарком его уже не устраивает! — Генералиссимуссом... Создал недавно Президиум Совета министров из восьми своих заместителей... Это с одной стороны. Но с другой стороны, генералиссимус-то он генералиссимус, а сам хорошо знает, что не то что Жуков, а простой толковый генерал в военном деле смыслит куда больше его! В государственных делах вверх идет ученый человек: экономист, инженер, химик, а Хозяин духовной семина-

рии не кончил. Он хотя и «гениальный» и «всех времен...», но сам-то знает, что все — подхалимаж! Зато в партийных делах — там он действительно Хозяин! Вот почему я уверен, что генсек в нем в конце концов съест и председателя Совета министров и генералиссимуса, а Политбюро ЦК съест Президиум Совета министров, — хотя там и там те же люди. Понимаешь?

— Не совсем...

— А ты вспомни, что в программе государственная власть, государство должно у нас отмереть. Так? Но никто никогда не говорил об отмирании партийного руководства! Вот в чем штука! — Артемьев захохотал, словно кого-то наивного ловко обвел вокруг пальца.

— Рассказывай дальше, — сказал очень заинтересованный Чугунов.

— Соображать, Павлуша, надо! — Артемьев крепко потер свои короткопалые руки. — Цель остается идеологическая — построение коммунизма. А это значит, что неизбежны противоречия и конфликты между интересами страны и партии. А значит — между госаппаратом и партаппаратом! Вот почему сейчас Хозяин начал усиливать и аппарат партии, его вес, усиливается партийная, идеологическая работа...

— Каким же образом?

— Прежде всего найден новый враг — внутренний враг.

— Кто еще?

Артемьев добродушно засмеялся.

— Не поверишь: «Абрамович» — еврей. Тот самый, что и у Гитлера был.

— Начнете сажать?

— Уже сажают. Будут и стрелять.

— Но как же антисемитизм совместить с коммунизмом, с пролетарским интернационализмом?

— Антисемитизма никакого и нет, — Артемьев хихикнул. — Враг называется «космополитом» да еще «безродным». Слово подобрать не трудно, — сам знаешь. Еврей удобен...

— Я где-то читал, — сказал Чугунов, — что после общегерманского погрома в тридцатые годы в Берлин приезжала делегация японцев. Глава делегации сказал, что ему жаль, что в Японии нет своего еврея, который помог бы создать мощное движение среди японцев.

— Хозяин свое образование пополняет у всех, не только у Гитлера, — засмеялся Артемьев. — Так-то, брат... Есть слухи, что Хозяин собирается расширить состав Политбюро, а это пахнет временами Николая Ивановича!

— Ну, а если кто-нибудь из госорганов возьмет и ликвиднет Хозяина? Терять-то все-равно нечего.

— То есть как это?.. — Артемьев бычком уставился на Чугунова.

— Ну, или помре. Сам же говоришь, что постарел...

— Тогда будет не чистка, а драка.

— Между кем?

— Между равнодействующими — госаппаратом и партаппаратом.

Только вначале, думаю, и те и другие перестрахуются за счет «органов» — в «органы» я сегодня не пошел бы!

— Чем же это — постановлениями «партии и правительства»?

— Зачем, — серьезно отретил Артемьев, — у армии старые счеты с «органами»... Только, как бы там ни было, а победа будет за нами!

— Это за кем же?

— За партийными органами. Потому я в них и остаюсь. Чтобы не попасть в заваруху, — сижу на периферии. После Хозяина нужно будет оживить партийную работу, — приблизить ее к жизни. Сейчас ее приходится искусственно поддерживать евреем, «врагами»; идеологическая работа, как и сама идеология, стоит на месте со времен Маркса, во всяком случае — со времен Ильича. Хозяин может попытаться свалить вину на «головастиков», чисткой, но он ничего сделать не может, ибо приблизить партработу, идеологию к жизни для Хозяина означало бы признаться в ошибках, а этого он никогда не сделает. Понимаешь ситуацию? Хозяин хитер, но хитростью истории не сделаешь...

— Что же это получается? Что это за государство, что за общество, если борьба за власть никогда не сходит с повестки дня? — сказал Чугунов.

— Это, Павел, признак здоровья, признак молодости. Кто бы ни победил, — основа та же.

— Ну, а насчет народа, насчет рабочего?

— Как? Все так же. Народ, он и есть народ, Павел.

— Но все-таки?

— Думай сам: тяжелая промышленность — в первую очередь, пока не догоним капиталистов по продукции, а это значит, что потребителю — в последнюю очередь.

— Ну, а если Сталина не станет и начнется драчка?

— Тогда участники драки начнут народу подкидывать...

— А если он не поверит подачкам на этот раз?

— Народ-то?! Да ты что! И подачек-то много не нужно— больше обещай, и все будет в порядке. Ты что, не знаешь наш народ?.. Легковерный.

— Митя, а в коммунизм ты веришь?

— То есть, как это, верю ли я?! Во что же мне верить? В Бога? В «свободу, равенство и братство»?

— Прости, я пошутил.

— Хорошие шутки.

Артемьев потер крепкой рукой подбородок. Усмехнулся. Опять сбоку поглядел на Чугунова.

— Конечно, живи сегодня Маркс с Энгельсом или Ильич — стенки бы им не миновать... Но коммунизм — его, брат, уже не расстреляешь. Он, знаешь, сам еще долго стрелять будет. И Хозяина может... Все еще может быть...

— Митя, а что Нина?

Артемьев, опомнясь, откинулся назад, поглядел на не сводившего

с него глаз Чугунова. Потом тяжело встал, расставил ноги, сложил короткие руки на груди, поднял плечи.

— Нина, Павел, третий год моя жена.

Чугунов медленно повалился грудью на край стола, лицо его стало сереть, словно от клеенки. Артемьев поторопился сказать:

— Ты, Павел, меня знаешь. Были мы с тобой друзья с юности. Вместе за Ниной ухаживали, она выбрала тебя... Я тогда уехал на строительство, в работу влез с головой, чтобы ни дня, ни ночи!.. Помнишь? Она и теперь одного тебя любит...

Чугунов зажмурился и тихо сказал:

— А замуж вышла...

Артемьев, словно этого и ждал, — рубанул рукой в воздухе и чуть не выкрикнул:

— Ты брось из себя Отелло корчить! Вышла она за меня из-за девочек! Из-за Тани и Оли. Кто-кто, а я это знаю вот как! Ты-то в плен под Сталинградом попал, власовцем там заделался, а ей что было дедать? Ты целку из себя не строй! Про власовство твое сразу узнали. Ее пособия в военкомате лишили, с должности сняли, из квартиры с детьми выгоняли, был поставлен вопрос об исключении из партии. Я помог, чтобы не исключили из жизни. Посоветовал оформить развод с тобой — я, да, я посоветовал. Защищал на обкоме. Потом предложил замуж... Она несколько дней проплакала и согласилась. Согласилась спасти твоих, Павел, детей. За твое власовство ей, как жене изменника родины, пять, а то и восемь лет припаяли бы. Девочек под чужой фамилией — в детский дом. Ты этого бы хотел? Чего же ты молчишь? А?

Чугунов сидел не двигаясь, крепко зажмурившись. Из левого глаза показалась слеза и, наполнившись, скатилась по впалой щеке.

— Вот как было, — сказал Артемьев, глядя на мокрый след от слезы. — Теперь понимаешь, почему я не мог тебя домой... Вот сидим с тобой, а они там ждут меня обедать... Может, позвонить...

Чугунов открыл лихорадочные глаза, подался в сторону Артемьева.

— Митя, позвони... Дай услышать... Только голос...

Артемьев, насупившись, молчал.

— Митя .. Пожалуйста...

Артемьев взял телефонную трубку и стал набирать номер. Чугунов торопливо встал, подошел к нему, приложил ухо к обратной стороне трубки.

Где-то далеко, совсем как прежде в Москве, раздался голос жены:

— Слушаю.

— Нина, ты извини... Я опять опаздываю... — проговорил Артемьев.

— Я так и знала. Обед стынет. Девочки пришли из школы... Предупредил бы, право!

— Извини. Я тут старого друга повстречал...

— Мог бы его пригласить к обеду...

— Не сообразил сразу. Вы без меня обедайте...

— Вечная твоя манера, — обещать, а потом — объективные причины. Оля вот говорит: «Я так и знала» . . .

Чугунов с совершенно безумным лицом схватил Артемьева за плечо. Артемьев закрыл ладонью микрофон трубки.

— Ты что?

— Попроси девочек, девочек попроси подойти . . .

Артемьев махнул от огорчения рукой и, слегка отвернувшись от Чугунова, сказал в трубку:

— Нина, позови к телефону Таню и Олю, я извинюсь перед ними.

— Это лишнее . . .

— Я хочу с ними поговорить! Прошу тебя . . .

В трубке далекий голос жены позвал:

— Таня! Оля! Идите сюда . . .

Послышались девичьи голоса.

— Да. Я слушаю.

— Таня?

— Да.

— Танечка, вы уж обедайте без меня. Мне никак не успеть, дорогая.

— Я так и знала, что опять дела задержат . . .

Чугунов так прижался ухом к оборотной стороне трубки, что сдвинул Артемьева с места.

— Ну, а Оля как?

— Оля так же голодна, как и я, как и мама.

— Дай мне Олю.

— Да, это я, папа.

— Ты тоже сердишься?

— Что?

— Я спрашиваю: ты тоже сердишься на меня?

— Я? Нет. Это Танька сердится, а я нет. Я уже конфет наелась.

В трубке послышался голос жены:

— Дмитрий, а когда ты приедешь? Я спрашиваю, потому что у меня райком. К которому часу Маша должна разогреть обед?

Чугунов вдруг обмяк, отвернулся, отошел к окну. Артемьев, забывая ответить жене, смотрел на его сгорбленную спину. В трубке женский голос продолжал спрашивать:

— Что ты там молчишь? Митя? Алло?

— Да, да . . . Я соображаю . . . Разогревать не надо . . . Я скоро приеду . . .

Над дверью зазвонил звонок. Артемьев посмотрел на звонок, на Чугунова, громко сказал в трубку:

— Нина, одну минуточку . . .

Показал Чугунову свободной рукой, чтобы тот ушел в спальню, а сам пошел открывать дверь.

За дверью стоял Петрович.

— Прибыл, Дмитрий Иванович.

— Очень хорошо, очень хорошо, Петрович. Подожди меня минутку в машине, я сейчас освобожусь.

Петрович ушел.

Артемьев вернулся, взял трубку, сказал жене:

— Вот и Петрович приехал, так что буду через несколько минут.

Чугунов вышел из спальни осунувшийся, но спокойный.

— Поезжай, Дмитрий, — сказал он Артемьеву, — я только хочу спросить тебя, не знаешь ли ты, где теперь Борис Шилов?

— А, «воспитанник»! Как же, он сейчас секретарем райкома неподалеку...

— Кроме того, у меня, понимаешь, ни документов... Ничего.

Артемьев взял со стула свое кожаное пальто, сел.

— Фу ты черт! Что тут придумать? Деньги у меня есть при себе, а вот насчет документов... Что ж тут придумать? Подожди, подожди...

Он полез в карман брюк, достал металлический кружок печати.

— Вот нашлась.

Достал портмоне, вытащил оттуда чистый обкомовский бланк, подвинулся к столу, подписался «вечной» ручкой снизу бланка, открыл кружок с печатью, подышал на нее и сильно приложил к подписи.

— Ты, Павел уже сам вписывай какую хочешь фамилию... Чугунов — не советую.

— Понимаю: в случае чего — ты ничего не знаешь...

— А ты как бы хотел?..

— Нет. Все правильно. Спасибо. Еще хочу попросить...

— Говори.

— Поезжай проводить Нину в райком... И девочек повези покататься.

— Зачем? — спросил сердито Артемьев.

— Когда будете выходить, я погляжу на них.

Артемьев подошел к Чугунову.

— Зачем ты ковыряешься, Павел?

— Очень прошу. Больше ничего... Дай посмотреть...

Артемьев от жалости развел руками.

— Ладно. Но обещай, чтобы ничего... Не для меня, для них...

— Обещаю, Митя. Обещаю. Павла Чугунова больше нет. Убит под Сталинградом.

Артемьев жил в старинном барском особняке возле центра города. Вдоль тротуара стояли многолетние зимние деревья. У одного дерева — жестяная голубая урна для окурков, за деревом стоял Чугунов. У подъезда ждал черный лимузин мерседес, из числа вывезенных из Германии. За рулем сидел Петрович. Вскоре из особняка выбежали две девушки-подростка в серых меховых шубках, таких же шапочках и с такими же муфтами. За ними вышла высокая дама в фетровых ботах, в серой каракулевой шапке и в синем пальто с серым каракулевым воротником, в руках она держала толстый портфель. За ней показался кожаный Артемьев, он был на полголовы ниже жены. Девушки со смехом полезли в автомобиль. Артемьев подсадил жену и, оглянувшись на Чугунова, полез за ней следом. Автомобиль пыхнул газом и поехал, разбрасывая утрамбованный снег.

Чугунов вышел из-за дерева, несколько секунд глядел вслед автомобилю, потом расстегнул на груди рубашку, полез рукой за пазуху, вынул ключ, подержал на ладони, словно прикидывая, сколько он может весить, и бросил его в грязно-голубую урну.

6. НЕВЕРОЯТНЫЕ ВАРИАНТЫ

Что-то в их отношениях изменилось. Прежде в ожидании встреч с Эрикой она как бы и не участвовала — было только его томление. Встречи проходили как припадки, после которых к Федору возвращался страх: узнают, будет скандал, все выяснится и все рухнет, — какое-то время он даже радовался, если что-либо мешало новой встрече с Эрикой. Теперь он думал об Эрике, об ее любовниках, об ее прошлом, и хотя мысли об этом делали ее как бы чужой, действовали они на него странно: после них он искал ее, искал встреч с ней.

Они оба искали встреч, все меньше с чем-либо считаясь. Макс последние дни никуда не уезжал. Эрика придумала встречаться на чердаке. Днем на втором этаже, кроме Эрики и танте Христел, не было никого. Эрика проходила в кладовую, запирала дверь изнутри, влезала по лестнице через люк на чердак. Федор прилезал туда с сеновала.

Так началась между ними азартная игра — рискованная, полная выдумки. Придумывала обычно Эрика, а затем вдвоем, как талантливые актеры, без репетиции, экспромтом они разыгрывали очередную встречу. Первые их встречи, как вспышки от короткого замыкания двух накопившихся томлений, оставляли в памяти только световые пятна, теперь каждая встреча бесстыже продумывалась, они видели ее как бы со стороны и запоминали.

Запоминание со стороны подсказало Эрике новую выдумку. Под предлогом, что один угол танцевального зала сыреет и что сырость может испортить висевшее там большое зеркало, Эрика распорядилась зеркало снять и поставить в кладовую. Снимали зеркало и переносили вчетвером: Макс, Федор, немой и старик огородник. Когда одетая в широкую юбку Эрика в кладовой говорила мужу, куда лучше подвинуть зеркало, Федор поторопился уйти в коровник. Немного выждав, он полез на чердак, открыл люк и увидел в кладовой Эрику — она ждала его у зеркала.

Вскоре дом и постройки превратились в шахматное поле, на котором Эрика с Федором разыгрывали свои варианты. Но, как и шахматная доска, дом и постройки ограничивали возможности игры, и варианты стали повторяться. Игроки комбинировали. Эрика, как одержимый шахматист, целыми днями придумывала очередную партию, с той только разницей, что цель ее была — получить мат, и чем полнее, тем слаще и желаннее.

Федор втягивался в игру, соревнуясь с Эрикой в выдумках, и забывал страх Ганса Лютгенса, и страх Федора Панина. Он заметил, что чем неожиданее был сюжет встречи, тем яростнее проходила игра, тем благодарнее смотрели на него рыжие глаза партнера.

Они стали давать названия своим встречам, даже прошлым: «Вариант Сонный порошок», «Вариант Зеркало» . . .

Потом случился «Вариант Крик» . . . Однажды хозяин послал Федора за картошкой в дальнюю деревню: своя до нового урожая осталась только мелкая — на корм скотине. Федор выезжал на грузовичке из ворот на улицу, когда его окликнул хозяин:

— Эй, Ганс! Подожди!

Через несколько минут хозяин вышел из дверей с Эрикой — на ней был дождевик и новое зеленое баварское платье.

— Ганс, моей жене нужно в Вайльхайм. Завези ее, а на обратном пути заедешь за ней.

Хозяин поцеловал жену в щеку и подсадил в кабину.

Федор отвернулся. Впервые они с Эрикой будут вне дома. Хозяин подумал, что Федор недоволен.

— Ничего, Ганс, это небольшой крюк, — ты успеешь. Только картошку выбирай покрупней и получше.

Поехали по улице на виду у всех соседских окон. Эрика молчала, лицо ее было неподвижно, веки мелко дрожали.

Выехали за околицу. Эрика шепнула, словно кто-то мог ее услышать:

— Сверни на Гармиш . . .

Старая дорога на Гармиш шла через лес, ездили по ней редко — за дровами. Проехали километров пять. Эрика показала рукой в сторону.

— Здесь . . .

Заехали в чащу. Федор выключил мотор. Тишина с редким птичьим щебетом мгновенно обступила их. Эрика посмотрела на Федора. У нее никогда еще не было таких глаз: от солнца вперемежку с шевелившимися тенями и еще отчего-то они были золотисто-желтыми и с узким зрачком, как у козы. Она поцеловала его, взяла за руку, потащила из кабинки — в лес. Она почти бежала, крепко держа его за руку.

— Зачем так далеко? — шепотом спросил Федор.

Она остановилась, засмеялась и громко, во весь голос, сказала:

— Ты ничего не понимаешь!

Целуясь, спотыкаясь о кочки, они прошли метров двести, а может быть и больше, и когда Федор притянул ее к себе, она вдруг вырвалась и побежала, громко крикнув:

— Лови! . .

Федор кинулся вслед за ней, но она бежала так быстро, что он даже отстал. Они бежали через кусты, больно хлеставшие ветками, сквозь золотистые лучи, пятна солнца и тени, потом выбежали под сосны на упругую слежанную хвою, пробежали по изумрудно-зеленой в солнечных пятнах лужайке, после которой начался подъем — и

тогда он догнал ее. Но она не давалась, рвалась с такой силой что Федор даже подумал: «Что с ней? Игра ли это?» Он повалил ее на сырую прошлогоднюю траву, придавил грудью, поймал безумный взгляд желтых глаз и увидел, что все-таки это был только новый вариант все той же игры.

Вариант был задуман Эрикой куда более сложный, чем думал Федор. Она начала кричать и не просто, а в голос, хрипло, чуть не по-звериному. Он испугался, но, к счастью, испуг уже ничего не мог испортить. Потом он хотел ее спросить, что это значит, но она стала ожесточенно целовать его похолодевшими губами и не дала говорить.

Обратно шли, взявшись за руки. Невидный с дороги желтый грузовичок с синей надписью «Бр. Майер» на борту поджидал их в кустах.

По дороге до Вайльхайма Эрика гладила Федору шею, забиралась рукой за ворот рубашки. Встречные автомобили ее не останавливали — словно хотела натрогаться впрок. Вариант «Крик» дома был немыслим.

За Эрикой Федор заехал под вечер. Небо затянуло лиловыми тучами, было душно— дул «Фён». Слева от дороги за грядой снежных Альп вспыхивали далекие молнии.

— Как мавр . . . — сказала Эрика.

Федор не понял.

— Неужели ты не видишь? — спросила она со знакомой хрипотцой в голосе, глядя в сторону Альп.

Снеждые вершины стояли близко, четко вырисовываясь на фоне лилового неба, на котором то и дело вспыхивали трепещущие зарницы.

— Ты же поэт, разве ты не видишь?

Он по голосу угадывал, что она там видела нечто такое, что ей нравилось в том определенном смысле, который она только и признавала. Федор рассмеялся.

— На развороченной постели Альп кто-то кого-то любит . . .

— О постели я не подумала . . . Теперь вижу: снег и тени на снегу — смятые простыни и подушки . . . Ну, а кто любовники?

— Любовников не видно, их скрывает лиловое одеяло неба.

— Одеяла нет, иначе не было бы видно простынь. Он, мавр, огромный лиловый мавр, а она — хрупкая блондинка.

Над Альпами вспыхнуло, затрепетало, погасло.

— Ты видел?! — Эрика схватила Федора за плечо. — он ее насилует! Она вырывается! А он зажимает ей рот свой большой лиловой ладонью.

В воздухе прошло урчание далекого грома.

— Ты слышишь? Это он рычит от страсти!

По ветровому стеклу ударили, вдребезги разбиваясь, первые капли.

— Дождь . . . — проговорила Эрика и прижалась к Федору. — Господи, хотя бы пошел дождь . . .

Федор не понимал, зачем ей понадобился дождь.

— Ганс, я хочу дождя! Я весь день прошу, чтобы был дождь. Еще с того места в лесу.

Словно ей в ответ по крыше кабины дробно застучали капли и хлынул дождь. Федор включил фары — свет был пронизан насквозь секущими линиями ливня. Федор включил «дворник» — тот судорожно, ритмично задергался, образуя на стекле прозрачный конус. Из открытого бокового окна стало брызгать, Федор хотел поднять стекло.

— Пусть... — остановила его Эрика и выставила под дождь руку, ладонью кверху.

Пересекли новую дорогу на Гармиш. Эрика молчала и тоже всматривалась вперед.

Догадываясь, Федор свернул на старую дорогу, заехал в те же кусты. «Может быть ей хочется повторить 'Крик'» — подумал он. Теперь это было совсем безопасно — дождь заполнял шумом весь лес, да и живой души вокруг не могло быть. Он с удовольствием бы удовлетворился одним вариантом — за день изрядно устал, проголодался, но по сложившимся правилам он не имел права выйти из игры. Он выключил мотор. Гул дождя, как в ладони, взял кабину с Федором и Эрикой. Федор хотел обнять Эрику, но она отстранилась и в полумраке сказала:

— Выйдем.

— Дождь ведь...

— Именно. Он теплый...

«С ума сошла...» — подумал Федор: ему совсем не хотелось вылезать под дождь, в лесную сырость.

Эрика рывком открыла дверцу и вылезла. Она взяла его за руку и, не прячась от дождя, как бы показывая пример, пошла в сторону огромного причудливо раскинувшегося дуба. Дождь стал стихать, сильно запахло сосной. Ослепительно вспыхнула молния и сразу над головой что-то оглушительно разорвалось.

В глазах осталась ясная до подробностей фотография леса, желтого грузовичка и алебастрово-белого лица Эрики с черными впадинами глазниц, обрамленного прямыми черными мокрыми волосами. За ворот куртки попала первая капля, стало зябко. «Она сумасшедшая, — говорил про себя Федор, нехотя идя за Эрикой. — Куда она? Там сухого места нет...»

— Эрика, там мокро...

Она остановилась, бросила руку Федора и пошла к дубу. Федор догнал ее у самой развилки огромного дерева и обнял за плечи. Эрика была мокрая, но теплая, как дождевая вода. Она вырвалась — скользкая, гибкая — и, высоко подняв ногу, ступила на основание развилки дуба.

Опять ослепительно вспыхнула молния. Эрика облокотилась на правый ствол дерева, раскинув руки по поперечным ветвям, полулежа, оборотясь лицом к Федору. «Она, ей-Богу, самасшедшая!» чуть не сказал вслух Федор, влезая на развилку дуба.

«Вариант Дерево» кончился безнадежным патом. Ко всему снова пошел дождь. Эрика злая, мокрая, молча села в кабинку и не разго-

варивала. Федор, чувствуя неловкость, злясь на Эрику и на себя, попробовал пошутить:

— Представляешь, если бы лесник нас застукал на дереве?!

— Тогда ты должен был бы его убить. Как убивали во времена, когда любили... умели любить на деревьях.

И больше не проронила ни слова до самого дома.

Встречать их вышел Макс. Федор, въезжая в ворота, поглядел в зеркальце и увидел свою прокушенную губу, она кровоточила и опухла.

— Я уже беспокоился, Эрика, — сказал, помогая жене выйти из кабины, хозяин.

Федор взвалил на плечо мешок с картошкой и, поворачиваясь, ткнулся на глазах хозяина лицом в угол кузова, — из губы потекла кровь.

— Майн Готт, Ганс! Ты разбил себе губу! — крикнул хозяин. — Иди промой водой! Я сам разгружу.

Они не виделись два дня. Эрика была простужена и не выходила.

Потом встретились, и оба почувствовали, что все уже будет «повторением пройденного»: как у тренированного силача, которому вдруг приходится поднять очень легкий предмет.

К концу недели Эрика пришла к Федору в коровник и сказала:

— Хочу обыкновенной близости — жены с мужем, со сном, с просыпанием, с умыванием, с чтением книг в постели... Хочу вместе завтракать, ужинать, пить кофе в постели...

Федору показалась, что она расплачется.

Потом хозяин уехал. Эрика пришла к Федору ночью в ночной кружевной сорочке. Была тихой, нежной. Они лежали в темноте, тесно прижавшись друг к другу, но мгновенного желания уже не было, пришла иная близость — замедленное нарастание, которое потом захлестывало и оглушало. Оглушенные, они лежали, отвернувшись друг от друга. Федору было жалко и себя, и ее. От этой двойной жалости он, неожиданно для самого себя, ни с того, ни с сего взял и рассказал о себе, — только вместо Панина оставил Таневского.

Эрика лежала рядом, и он чувствовал, как ее тело напрягалось от его рассказа. Она дернула над изголовьем кровати шнур — на потолке зажглась лампочка.

— Так ты русский... Русский офицер...

В лице ее появилось знакомое выражение — она придумывала новый «вариант».

— Вот вы какие, — проговорила она, во все глаза разглядывая Федора. — Теперь я понимаю, почему вы победили наших мужчин.

Она дотронулась до его руки, как будто и рука, и весь он были ей не знакомы.

— Может быть, это ты убил моего мужа?! И Арнольда?!

— Какого еще Арнольда?

— Моего первого любовника.

Признания Федора хватило на несколько встреч. Эрика назвала их «Русскими вариантами». Федора называла то казаком, то азиатом,

то комиссаром. Она просила его не бриться, чтобы легче войти в роль «наложницы славянского варвара». Отдельные встречи получили свои названия: «Сталинград», «Москва», «Падение Берлина», «Оккупированный Берлин». Смысл «русских вариантов» был в поражении и уничтожении Эрики, Федор играл роль победителя и оккупанта.

Но встречи становились реже. Эрика проводила дни в постели за книгами. После очередного книжного «запоя», приходила к Федору и, лежа рядом с ним, закрыв глаза, называла его новыми именами. Его удивило имя «Снежный буран». Он взял у нее несколько книг и скоро нашел, что Эрика занималась чистейшей воды плагиатом: героиня пьесы «Пятая колонна» Хемингуэя, жена американского журналиста называла своего любовника «Снежным бураном». Эрика стала изменять Федору с ним же. Разговаривая о прочитанных книгах, он зло критиковал и книги, и их героев.

Макс уехал на два дня. Эрика только что прочла толстый роман какого-то швейцарского автора. Ночью она сказала Федору:

— Я не могу так больше. Ты должен мне помочь, Тео!

— Что я могу, Эрика? . .

— Ты мужчина.

Федор прочел роман швейцарца: нечто похожее на «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, с той только разницей, что у Лескова мужа губит жена, а у швейцарца — любовник жены. «Вот ты чего, голубушка, захотела! Федор Панин должен убить Макса Майера! Гвардии майор Федор Панин бежал из Советского Союза, чтобы убить мясника Макса Майера! — озлобляясь на Эрику, думал Федор. — Ну нет, этого 'варианта' ты, дорогая, не дождешься!»

После обеда он ушел в лес и вернулся только к вечеру, когда надо было кормить скотину. Коровы встретили его ласковым мычаньем.

— Вы понимаете, скотинки, чего ей захотелось? Ты понимаешь, Зизи? — спросил он пятнистую корову.

Та поглядела на него влажным глазом и отвернулась.

«Хоть бы Боб скорей приезжал! Хотя бы письмо от него . . .»

Эрика три дня не показывалась.

Вечером в субботу в гасштетте собралось чуть ли не все взрослое население деревни и окрестностей. Эрика в черном свитере и серых фланелевых штанах дважды пробегала мимо Федора, не замечая его.

— Праздник? — спросил Федор старика огородника.

— Нет. Герр Эберт вернулся из плена.

— Кто?

— Герр майор Эберт. Из Америки вернулся

Федор пошел в зал. Столики были составлены. На почетном месте в баварском костюме сидел крупный блондин и громко что-то рассказывал. Все слушали. По правую руку от гостя сидел Макс, по левую Эрика, то и дело подливая из бутылки в бокал блондина. Хозяин заметил Федора.

— Ганс! Проходи сюда, — окликнул он Федора, показывая на стул позади себя.

Эрика не оглянулась.

Федор пробрался к хозяину и сел, разглядывая гостей в профиль. Тот что-то сказал — и все дружно рассмеялись. Эрика громче всех. У гостя было энергичное лицо с крупным круглым подбородком, по шее наискось — старый шрам-метка студенческой корпорации, голубой глаз, который был виден Федору, — навыкате. И ухо — толстое, крепкое, как слиток, с сильно развитой, слегка отвислой, мочкой.

7. СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА

— Мать честная, неужели... неужели Павел Петрович!

Борис Шилов, первый секретарь райкома, молодой плечистый блондин в ладно сшитой коверкотовой гимнастерке, крепко подпоясанной офицерским ремнем, вскочил из-за письменного стола.

Чугунов приложил палец к губам.

— Боря, не ори...

— Чай я у себя! Тут вам не Москва, а райком, да еще дальний! — Шилов показал белые зубы.

— И все раво... Дай погляжу на тебя... Бежит время. Окреп — это хорошо.

— Да какими судьбами, Павел Петрович?

— Длинными, Боря, кружными, окольными... и нелегальными.

— Нелегальными?! — тише спросил Шилов.

— Да, Боря. До тебя добрался. Вот только в приемной у тебя народ...

— Сегодня приемный день. И председателей колхозов созвал. Но, как странно, именно сегодня ночью я думал о вас! Ведь я считал, что вы погибли на фронте...

— Меня действительно нет в живых, Боря, то есть Павла Чугунова нет... А зачем это я тебе понадобился?

— Длинная история, Павел Петрович. Вы где остановились?

— Нигде. Прямо с поезда к тебе. О тебе узнал от Артемьева.

Шилов, глядя на плохо выбритого, с взлохмаченными бровями, исхудавшего Чугунова, хотел что-то сказать.

— Я знаю, Боря. Даже видел Нину с девочками. Почти, понимаешь, не изменилась, может быть чуточку пополнела... А девочки уже барышни... «Жди меня» не получилось, Боря...

Шилов слушал Чугунова, как взрослый младшего, как когда-то Чугунов слушал его, подростка-сироту.

Мать Бори Шилова умерла от тифа в гражданскую войну на фронте; служила сестрой милосердия в полку, которым командовал его отец. Во время коллективизации отца, «двадцатипятитысячника», убили раскулачиваемые. Борю взяли к себе Чугуновы, вырастили, выучили, — за два года до войны он окончил московский институт иностранных языков и был направлен на работу в Наркомвнешторг. К Чугуно-

вым относился, как к отцу с матерью, но когда узнал, что Нина Георгиевна вышла замуж за Артемьева, перестал заезжать к ней, даже писем не писал.

— Но как это ты на партработу угодил?

— Путями длинными, кружными, окольными, хотя легальными. Мы, Павел Петрович, сделаем так: вот вам ключ от моей квартиры — дом в двух шагах. Вы идите, приведите себя в порядок, закусите — на кухне что-нибудь найдется, и ложитесь отдохнуть. Я здесь быстренько проверну совещание с председателями колхозов, а посетителей передам второму секретарю и, скажем, к часу приду. Да, вот еще что: я женат, жену зовут Люся, она учительница, но дома ее нет — на курсах усовершенствования учителей.

— Боря, но я должен тебя предупредить, — проговорил, всматриваясь в Шилова, Чугунов, — серьезно предупредить: Павла Петровича Чугунова больше нет.

— Идите и отдыхайте. Я рад, что вы ко мне . . . Мне вы тоже нужны.

— Я?! Такой?

— Может быть, такой вы особенно нужны.

— Не понимаю.

— Расскажу дома . . . товарищ Иванов.

Шилов занимал в новом двухэтажном доме квартиру из двух комнат и кухни. Чугунов старательно умылся под краном, согрел воды, побрился, съел две холодные котлеты с хлебом, выпил стакан молока и улегся на диван.

Разбудили его голоса в кухне. Он вскочил, отгоняя мгновенный страх. Хлопнула дверь, в кухне все стихло. Потом послышались твердые шаги и в комнату вошел Шилов.

— Ну вот . . . На кухне два обеда — принесли из столовой. Отдохнули?

— Ты знаешь, Боря, — диван в теплой комнате — это как детство, как юность!

Поели в кухне, перешли в рабочую комнату Шилова. Чугунов лег на диван, закурил, затянулся, закрыл глаза. Его охватило давно забытое чувство покоя, безопасности, дома. Квартира Шилова чем-то напоминала ему его московскую квартиру, — Шилов свою рабочую комнату устроил похоже на московский кабинет Чугунова.

— Ух, до чего хорошо жить на белом свете, Боря! Спасибо. Кому начинать?

Оба засмеялись. Когда-то в Москве Шилов студентом занимался в кабинете Чугунова. Чугунов возвращался из райкома глубокой ночью, жена и дети спали. Он на цыпочках приносил из кухни остывший обед, чай и они вдвоем ели. Потом Чугунов ложился на диван, курил и разговаривал с Борисом. О чем они только тогда не говорили! Иногда до синего рассвета в окне.

— Давай сначала выкладывай ты, — сказал Чугунов. — Прежде всего, зачем я тебе понадобился? Ты на фронте был?

— Нет. Просился добровольцем, но меня послали в Америку с закупочной миссией. Потом отозвали в Москву. Участвовал, больше как

переводчик, в переговорах с союзниками, был на Ялтинской конференции. Потом снова в Америке, в Исландии побывал, в Швеции, в Англии, в прошлом году в Маньчжурии — забрали под метелку заводы и фабрики — под видом японских забрали и китайские. Потом работал в 1-м Управлении при Совнаркоме — атомная энергия, ракеты и прочая; ведал иностранной документацией и иностранными источниками. Интересно. А потом запросился на низовую работу. Вначале и слышать не хотели, а потом ЦК послал вторым секретарем горкома в Горький, а теперь дали этот район.

— Почему ж такой захудалый, после такого опыта? Провинился?

— Район скоро будет особым: с осени начнется строительство большого спецзавода.

— Секрет?

— Не просто «секретно», а «совершенно секретно»: завод будет монтировать ракеты... Сборочный.

— Вот как... Но ты-то почему запросился на низовую?

— Помните «хождение в народ»?

Чугунов высоко поднял косматые брови.

— Решил проверить некоторые свои мысли, наблюдения, сомнения...

— Сомнения в чем?

— В чем? Вот об этом мне и хотелось ночью с вами... Началось с записок отца, — в старом сундуке нашел: двенадцать толстых тетрадей — с гражданской до коллективизации. Наткнулся в них — об «азиатском способе производства» — в начале индустриализации в партийных кругах была, оказывается, такая дискуссия. Чтобы разобраться, взялся за Маркса. Ранний Маркс отличительной чертой «азиатского метода производства» считал «высасывание» деспотически организованным государством «неоплаченного прибавочного труда» прямо из непосредственных производителей. Ленин не мог не знать об этой Марксовой концепции, но он не увидел, а может быть, не захотел видеть в бюрократии господствующего класса...

— Продолжай, продолжай!

Чугунов с нескрываемым восторгом смотрел на своего воспитанника.

— Маркс несколько раз писал об азиатском государстве, как владельце основных средств производства и силе, присваивающей себе основную массу национального продукта. Если в Восточном обществе правительственное чиновничество было господствующим классом, то надо пересмотреть вообще взгляд на характер класса и переоценить историческую роль частной собственности? Так? Ленин, по-моему, перед смертью осознал, что созданное им общество ведет не к бесклассовому обществу, а к новому варианту бюрократической деспотии, политически создающей еще большее бесправие для народа, чем агро-азиатский предок — Восточный деспотизм.

— Значит, твой отец еще в двадцатые годы чувствовал?

— Судя по запискам, — да. Но, как и вы, создавал индустрию, про-

водил коллективизацию, даже жизнь отдал «борьбе с классовым врагом».

— Что ж, ему повезло: случись иначе — расстреляли бы в тридцать седьмом, а ты, как сын врага народа, никогда бы не окончил институт и никогда не был бы секретарем райкома. О чем еще писал отец?

— О многом. Например, о второй партии. Тоже была дискуссия, о которой ни слова в «Истории партии», — о необходимости оппозиционной партии. Будто Киров...

— Для чего же?

— Отец писал, что оппозиционная партия может быть даже хуже правящей, но важно, что ее критический свет всегда направлен на правящую и не дает ей застаиваться, загнивать, превращаться в тираническую...

— Это отец. А сын что думает?

— Сын?.. Поездки за границу показали сыну, что наши представления о Западе безнадежно устарели: мы рассказываем народу о Западе, как будто там ничего не изменилось со времен Маркса. Сталин Запада явно не знает...

— А что, по-твоему, изменилось на твоем Западе?

— Во первых, он не мой, Павел Петрович, во-вторых, там работают лучше нашего. А вы меня сами учили, что в жизни побеждает тот общественный строй, который предлагает более выгодный, лучший метод производства. На Западе я убедился, что работаем мы безнадежно плохо. Мы все еще нажимаем на технику, механизацию и кадры: «Техника решает все», «Кадры решают все», а в современном производстве отношение кадров к труду — вот что решает! А если техника, то такая, как кибернетика, — на Западе над ней работают день и ночь и это скоро даст фантастические результаты, а у нас ее называют мракобесием!

— Ну, а в своем «хождении в народ» ты чему научился?

— Чему? В горкоме я ведал промышленностью. Чуточку стало легче — демонтированное оборудование из Германии помогает. Только и оно ведь довоенное, — замечу. Работаем мы страшно непроизводительно: накладной расход на рабсилу у нас в среднем сто пятьдесят — двести процентов, а на Западе процентов сорок—пятьдесят! Это значит, что кругом унас на одного рабочего два придурка! План по-прежнему вроде кнута. Пятилетку выполним — по показателям, а толку? Построили в Горьком дома, а на следующий год треть крыш надо менять, отопление не работает, штукатурка валится.

Разговорился как-то в Горьком с главным инженером завода — толковым парнем. Он мне и говорит: «Вы, товарищ секретарь горкома, поймите: мысль творческая от давления умирает, а современное производство все больше и больше требует творческого к себе отношения». «Кто же на вас давит?» — спрашиваю его. Он только посмотрел на меня и отошел: что, мол, с тобой, партбюрократом, разговаривать!..

Чтобы перейти предприятию на новый тип продукции у нас требуются годы! На Западе это занимает месяцы. Один иностранец со

смешком рассказал мне такую историю — только послушайте: потопили немцы пароход — часть пассажиров спаслась на маленьких островках: три итальянца на одном, три француза на другом, три англичанина на третьем, три американца на четвертом, а на пятом островке — три советских. При этом на каждом из островков — двое мужчин и одна женщина. Что случилось? На итальянском островке один мужчина убил другого — и никаких проблем; на французском — с самого начала никаких проблем не было; на английском — женщина оказалась одинокой; на американском — мужчины организовали корпорацию по эксплуатации женщины, а на советском все трое стали бегать по острову и искать телефон. Зачем? Чтобы позвонить в Москву и спросить, как им быть!

Простите за анекдотическое отступление, но каково мне было, когда все иностранцы ржали, а мне и крыть нечем. Наша промышленная продукция, в основном, копия западных образцов: пока мы копируем их, пока вводим в производство, осваиваем, проходит несколько лет, а у них уже несколько улучшенных типов вышло. Вот и догони!

— Ну, а с сельскими делами как?

— Как? .. Голод надвигается снова — вот как. Виды на урожай плохие, очень плохие: снега за зиму выпало мало, земли запущены, леса повырублены; — эрозия почвы, машины износились, запчастей нет, новых машин мало, удобрений нет, навоза нет — скота мало, а ко всему — рабочих рук нет — одни бабы да старики с подростками. Более тридцати миллионов жизней нам стоила эта война! .. Ночью я вспоминал, что «бытие определяет сознание», — вы не раз мне это повторяли: суть, мол, бытия экономика, производственные отношения. а на поверку оказалось, что в бытие входят и такие категории как психика, имеющая прямое отношение и к экономике!

Заметив протестующий жест Чугунова, Шилов добавил:

— Я поясню. Наша промышленность, плохо ли хорошо ли, но работает и растет, а сельское хозяйство ни с места! Не потому ли, что исторический возраст промышленности — лет триста, а исторический возраст земледелия — отношений между человеком и землей — десятки тысяч лет. В промышленности мы еще можем ломать человека на свой лад — изменять его отношения с машиной, а в сельском деле ломать, значит сломать! А мы, увы, так делаем.

Сегодня у меня было это совещание с председателями колхозов. Я сидел — для острастки, а второй секретарь стучал кулаком по столу и грозил всех сгноить за срыв плана, а план невыполнимый — это и я, и второй секретарь, и уж, конечно, председатели колхозов знаем. Требуем вывозить навоз на поля, а навоза мало, и транспорта нет; требуем удерживать снег на полях — нечем ...

Если бы по-деловому взяться, чтобы голод предупредить, то надо было бы сейчас же не отнимать у колхозников и горожан их огороды военного времени, выращенную скотину, а поощрять это дело. Нет, нельзя, потому что это, мол, частный сектор, а он, в плане идеологии, должен уничтожаться. Ежели я у себя в районе все-таки, чтобы люди не поумирали от голода, не ликвидирую эти частные огороды на

никому не нужных землях, то на меня донесет начальник местного МВД и мои же помощники.

— А что бы ты сделал, Боря, будь на то твоя воля? Я имею в виду колхозы.

— Что бы я сделал? .. Не знаю. Думаю, разрешил бы рядом с колхозами, оправдавшими себя, другие формы землепользования — кооперации, артели, единоличное хозяйство. Пусть бы соревновались перед потребителем и перед государством! Теперь у нас новая мода — укрупнять колхозы, деревни чуть ли не в города превращать.

А вот был я в Америке, летел над средним Западом — сверху все, как на ладони — ферма от фермы в десяти-двадцати километрах: дом, рядом постройки, а вокруг дома поле, пастбище, скот — все под рукой у хозяина. Вышел он утром из дома, поработал, пошел домой, позавтракал, отдохнул малость, опять вышел, поработал, — и так весь рабочий день; никаких тебе затрат на внутритранспортные перевозки и передвижение!

А у нас? На работу чуть свет идут за три-пять километров, а то и больше, — в страдную пору месяцами живут в поле! Хозяйки каждый день должны ходить в поле доить коров; а перевозки зерна, картофеля с полей в деревню! Ведь исторически деревня сложилась как поселение земледельцев для защиты от набегов врагов. Экономически, в смысле затрат рабочего времени, деревня — вчерашний день.

— Какие же твои выводы?

— Выводы? Подождите, я главного еще не сказал — о человеке.

— А что с ним?

— Что с ним? А вот что ... На прошлой неделе разбирали мы на бюро райкома ЧП: на здешней мебельной фабрике случился пожар, но бригадир вовремя заметил, и пожар потушил. Бригадира представили к ордену, хотели выдвинуть на административную должность (он член партии с тридцать седьмого года!), но выяснилось — старушка уборщица заметила, — что поджег сам бригадир!!! Вот оно как получается с новым человеком! Поощряем рабочий карьеризм, а чем карьеризм лучше стяжательства?

Воруют буквально все, вплоть до руководящих парттоварищей. А нравы! Когда мы приехали сюда, Люся, жена, заняла место прежней учительницы в здешней школе. Та учительница десять лет жила в общежитии в одной комнате с тремя другими девушками, и десять лет ждала комнату в нашем, тогда еще строящемся доме. Ей бы уже въезжать в долгожданную комнату, а ее вдруг вызывают в местком: завобщежитием, с которым она отказалась сожительствовать, написал вместе с другим таким же «ухажором» донос на нее, что она, мол, проституцией занимается, позорит детей и прочая. А через пару дней ее уже в МВД вызвали по анонимному доносу — ругала, мол, Сталина и вождей. После МВД пришла она в этот дом, в свою еще недостроенную комнату, и повесилась.

— И школьники об этом знают?

— Наверно знают, но с детьми беда ... Как-то Люся вернулась домой из школы и чуть не плачет. Что такое? Оказалось, ребята расска-

зывали ей, как они провели летние каникулы: надували живых лягушек, выжигали воробьям глаза — смешно, мол, слепые воробьи летают! Жена их стыдить, а им хоть бы хны. «Они ведь вредные, воробьи, — говорят. — Зерно едят, урожай уничтожают».

— Ну, а девочки, они тоже так?

— Не знаю... Наверно, нет, — девчонкам птичек, животных жалко. Жена так на меня и набросилась: «Все ваша утилитарность проклятая! Всю жизнь воробьи зерно клевали, а крестьяне всегда о них ласково: пташечка-воробышек, воробей-пострел; мать свое дитя называла: воробышек ты мой ласковый»... Или в Горьком как-то по осени иду по парку, смотрю — ребятишки костер жгут, дымком приятным пахнет: я подошел и отшатнулся — они, черти, в огонь живого щенка бросили! Я на них — что вы негодяи делаете?! Тащу из костра щенка, а они смотрят на меня, как на ненормального: «Собака же ничейная, — говорят, — от нее стригущий лишай бывает». Вот какой «новый человек» идет, Павел Петрович...

— Странно, что ты из-за воробья возмутился. Ведь за то же самое зерно мальчишка Павлик Морозов своих родителей на тот свет отправил. Поставили негодяю памятник в Москве — поди и сейчас стоит, и школьников водят на поклон.

— Стоит... — сказал Шилов, словно был виноват в этом. — Только не могу забыть обгорелого щенка! Раньше великие писатели наши и поэты четвероногого друга человека, собаку, воспевали: «Муму» Тургенева, «Булька», Толстого, «Каштанка» Чехова, «Песня о собаке» Есенина, а теперь вон как...

— Это влияние Запада сказывается, Боря, — усмехнулся Чугунов. — Всякие там общества защиты животных...

— Ничего тут смешного нет! — вдруг рассердился Шилов. — Там где плохо и жестоко относятся к животным, там наверняка плохо и жестоко относятся и к людям! Речь идет именно о людях. Маленький человек, школьник, начинает свою жизнь с усвоения на уроках скрытности, лицемерия, неискренности: их в школе принуждают любить писателей, которых они не любят или к которым равнодушны, принуждают лукавить, фальшивить, скрывать свои настоящие мнения об авторах, навязываемых школьными программами, и заявлять о своем горячем преклонении перед теми из них, кто внушает им зевотную скуку, — иначе получишь плохую отметку! Со школьной скамьи это начинается!

— А кончается?

— Кончается, — потерей понятия добра и зла... Вместо «нового социалистического человека» мы создали... мы создаем психически больного человека! Общество психически ненормальных людей!

— Ну, это ты брат, слишком...

— К сожалению, нет... Познакомился я на Западе с некоторыми серьезными трудами по психологии, в частности по социальной психологии. В Америке имеются исследования о неврозах у рабочих — им-

мигрантов, — европейских крестьян. А у нас ведь рабочий класс практически состоит из вчерашних крестьян. Главная же беда в том, что люди с детства растут в страхе и голоде. В страхе и голоде, — вы понимаете?! И мы являемся свидетелями страшных последствий: общенациональные фобии, неврозы, мании преследования, общенациональное чувство неполноценности...

Зверства, доносительство, подозрительность, лживость, лицемерие, воровство, бездушие, лень — все это болезни, психические болезни на почве страха и голода! А так как страх и голод остаются основами нашей внутренней политики, то... Ведь наш народ исторически только-только стал избавляться от психологических последствий столетий татарского ига и крепостного права, а мы его — раз! — и назад! Одной индустриализацией, одними новыми производственными отношениями нового человека не создать, Павел Петрович...

— А может быть Хозяин на это и рассчитывает — на эту самую психологическую недостаточность? Да еще на противоестественный отбор всяких негодяев и шкурников? Вырастить этакое поколение с разнузданным желанием «доказать миру», — кадры для истребления уже не «вредных воробьев», а «вредных обществ», «вредных стран», «вредных людей», — в том числе кадры и для твоей спецстройки.

— Но выход должен быть, Павел Петрович. Не может быть, что коммунизм, социализм надо строить на костях, на крови, на растленных детских душах! Что же это за социализм, что же это за коммунизм?!

— Ну, а где выход?

— Не знаю. Боюсь, что придется искать там, где все истребляли и ликвидировали...

— То есть?

— В демократии. Я имею в виду демократизацию режима. Но пока Хозяин жив...

— А если его убрать?

— Вы не знаете, о чем говорите!

— Боишься?

— Не то слово.

— Ну, а умрет он, что тогда? По аналогии с азиатским деспотизмом на смену должны придти представители высшей правящей бюрократии. Выдвинут из своего числа более приемлемого деспота, не столь жестокого; немного полегчает, а по сути все останется по-старому. Так?

— Так и не так. Идет другое время. Атомная энергия, электроника, новые науки, новые социальные сдвиги... Рано или поздно, но идеологию придется пересматривать, программу партии придется менять. И Артемьевы для этого не подойдут.

— Но они, дорогой мой, лучше тебя знают науку захвата власти. За нее они могут всех и все пустить — фьють! Программа партии! Да есть ли партия вообще? И скажи мне откровенно, что ты думаешь о

коммунизме — ты, секретарь райкома коммунистической партии Советского Союза?

— Для меня коммунизм, в его основе, в отсутствии частной собственности на средства производства. Ведь так вы учили меня? Следовательно, я коммунист.

— Но то, что ты только что говорил, — это реформаторство, ревизионизм, социал-предательство . . .

— Глупые слова, которыми хитрые пугают дураков, — как писал Максим Горький.

— Ну, ладно — не будем ругаться. Зачем же ты хотел меня повидать?

— Поговорить. Без разговоров по душам всякая мысль киснет. Кто-то из поэтов сказал, что «мысль произнесенная есть ложь», — вздор! В нашем положении произнесенная вслух мысль — начало ее роста, необходимое условие ее развития.

— Ну и стало тебе легче?

— Стало. — Шилов широко улыбнулся, почесал обеими руками затылок. — А теперь ваша очередь.

Чугунов кончил рассказывать далеко за полночь. Несколько раз звонил телефон.

— Да . . . Дела, — сказал, о чем-то думая, Шилов. — Черте что творится на белом свете! . .

— Что же ты скажешь о власовстве? — спросил Чугунов.

Шилов встал, прошелся, сел.

— Могу сказать одно: прошло все это, как и то время прошло. Вот так . . .

Чугунов помрачнел. Шилов понимал, что следал ему больно. Он опять встал, опять прошелся.

— Сейчас надо думать, как вас пристроить. Сегодня у меня был хороший парень — Трухин. Одно министерство отозвало его из армии, а он, дурило, приехал к родным в наш колхоз «Победа» — демобилизационные документы пришли в наш райвоенкомат. Я его, конечно, и зацапал — сделаю председателем родного колхоза.

— А министерство?

— Теперь все решает хлеб, имеется соответствующее указание ЦК . . . В колхозе прежний председатель проворовался, а нового где взять? Бухгалтера тоже посадили. Бухгалтеров и вовсе не найти. Поэтому завтра утром поезжайте попутной машиной в колхоз «Победа», где скажете, что в райкоме слыхали, что им нужен бухгалтер и что этот бухгалтер вы.

— А если спросят, кто и откуда?

— Скажите, что демобилизованный солдат отдельного строительного батальона, родом из Белоруссии, что никого близких не осталось, что заходили в райком лично ко мне. Остальное — дело мое: я Трухину сегодня обещал толкового бухгалтера, а скоро собираюсь в колхоз на выборы.

Свой разговор с Шиловым Чугунов мысленно продолжал на диване до рассвета. Последнее, что он говорил про себя своему бывшему

воспитаннику: «Отец твой, видимо, понимал, куда все идет, но жизнь свою отдал сталинщине; ты тоже понимаешь, но тоже служишь Сталину и будешь служить, пока однажды сталинские опричники пронюхают про твои настроения и ликвидируют тебя...»

8. «У Ш И»

Дни и ночи тянулся внутренний монолог, нет — диалог между Федором Паниным и Гансом Лютгенсом. «Жил же ты без нее до этого! — говорил Федор Панин. — С главным утрясается: ты в Европе, приедет Боб, начнется дорога в мир... Будут встречи, будущее придет... Слышишь?» Он даже пробовал пугать себя: «Узнают, поймают, выдадут...» Но Ганс Лютгенс отвечал: «Может быть, может быть, но она каждый вечер в гасштетте с 'Ушами'! Днем ее совсем не видно. А может быть, они днем?.. Она умеет устраиваться!» Он чистил коровник, а сам видел, как она лежит у себя в спальне и придумывает варианты встреч с «Ушами». И названия, наверно, им дает...

Он вернул ей книгу, вложив записку, прося о встрече, но она не ответила. Он подкараулил ее на лестнице — она сказалась больной. Он стал ходить по вечерам в гасштетте и совсем извелся от вида Эрики рядом с Эбертом; рыжие глаза ее смотрели на «Уши» то заискивающе и жалко, то настойчиво, и веки у нее мелко дрожали. Эберт рассказывал об Африке — он служил у Роммеля, об оккупированном Париже, об Америке. Рассказывал он Эрике, а остальные слушали. Федор напивался и уходил к себе наверх. «Ну, что же это такое! — повторял он, катаясь по кровати. — Ты что, для этого бежал? Для этого? Ради развратной бабы? Для этого ты убил Ингу и того солдата, для этого ты предал Катю, навсегда оставил Соню?.. Да?!» Но и это не помогало, а только обессиливало.

Он стал плохо спать, вдруг просыпался глубокой ночью от мысли об Эрике и уже не мог уснуть. Чаще это была даже не мысль, а одно воспоминание — об ее быстром и жалком взгляде, каким еще недавно она смотрела на одного его, о голосе с хрипотцой, исступленно повторявшем: «Ты, ты, о, ты!..», о едва заметном движении тела, когда она укладывалась в постель, — от воспоминаний Федор закусывал подушку, заклиная себя уснуть.

Скоро он уже ни о чем не мог думать, кроме как об Эрике. Иногда это были мысли только об отдельных частях ее тела: тяжелых бедрах, тонкой шее, теплых мягких ладонях, тонком запястье, рыжих глазах, губах целующих... Он пробовал защищаться, — старался думать о некрасивых частях — о стареющей коже ног и шеи, о рыхлой недоразвитой груди, хищном оскале зубов, неподвижности тела в ласках, грубых подробностях ее рассказов о мужчинах: «Ведь она дура, Федя! Дура и блядь!» — но и это не помогало.

Мысль о том, что она встречается с «Ушами» настигала его как припадок галлюцинации — он видел голую Эрику рядом с одетым Эбертом. И хотя майор Эберт жил с матерью в большом доме с садом километрах в трех и приезжал только вечерами и не каждый день, хотя и Эрика никуда не выезжала, почти все время проводя у себя, Федору казалось, что не выходит она неспроста.. Раньше Федор радовался каждому отъезду хозяина, — теперь стал просить Макса посылать в поездки его, — присутствие мужа в доме должно было мешать Эрике встречаться с «Ушами». Федор заметил, что стал внимателен и нежен к Максу, он даже жалел хозяина за то, что Эрика может обманывать его с Эбертом.

Работа валилась у Федора из рук, он опаздывал кормить скотину, стойла и хлев стояли нечищенными. Однажды он давал коровам корм, коровы мерно жевали, вдруг где-то сверху послышался стук. «Кладовая!» — догадка прожгла Федора насквозь, он полез на сеновал, вскочил на чердак, рывком поднял люк — в кладовой никого не было. Эрика распорядилась отнести из кладовой на место зеркало. Несли опять вчетвером, Эрика не вышла.

Однажды Макс уехал на целый день. Эрика после полудня пошла через огород к лесу. Федор залез на чердак и следил за ней. Успокаивало, что одета она была не в платье, а в свитер и брюки. Его теперь радовало, когда она носила брюки.

Потом хозяин послал его в Вайльхайм. Федор надеялся, что Эрика поедет с ним, — он даже спросил ее об этом при хозяине.

— Нет, мне незачем ехать, — ответила она и отвернулась.

Дня через три приехал герр Трайчке и Эрика уехала с ним в Гармиш. Федор к вечеру напился и, окончательно теряя рассудок оттого что и Эберт в этот вечер не пришел, попросил Макса разрешить ему съездить на грузовичке к «знакомой девице». Говоря это он хихикал и подмигивал. Хозяин разрешил, но просил быть осторожным. Федор на бешеной скорости примчался в Гармиш. Войдя в зал ресторана Трайчке, он увидел Эрику в кругу каких-то женщин и мужчин — у всех мужчин были обыкновенные уши. Он прошел к стойке, выпил пива и уехал. На утро Эрика пришла в коровник.

— Зачем эти фокусы, Тео?

— Я ничего не могу поделать с собой.

— Ты знал, что я замужем.

— Раньше ты говорила иначе.

Эрика молчала.

— Скажи мне правду, Эрика. Мне будет легче.

Она поглядела на него неподвижным взглядом.

— Я больше не хочу тебя.

Он собрался с силами и улыбнулся.

— Отлично. Я хотел тебе сказать то же самое, но мне было неловко.

— Вот и хорошо. Будем друзьями. Гуд бай.

Самым невыносимым было этот «гуд бай»: так говорил Эберт. Федор сжал в руках вилы, бессильно оглядывая стойла, коров, пол в жидком навозе. «О, какая же ты!.. Последняя берлинская потаску-

ха! Нацистская потаскуха!» Он ругал ее самыми гадкими словами, которые приходили на ум, и все по-русски, готовый расплакаться.

Он ушел на верх и лег. И уснул. Потом его разбудила музыка. Он совсем забыл, что была суббота и хозяин решил устроить наверху вечер танцев — после долгого перерыва открыл зал для гостей. Федор спустился вниз, зал был полон, отчаянно кружились пары. У высокого темного окна стояли Эрика и Эберт в баварских костюмах. Эберт что-то сказал и обнял легонько Эрику за талию, — Эрика громко рассмеялась. Мимо Федора пробегала Ленхен в нарядном зеленом сарафане с зеленым передником. Лицо ее было красное, глаза блестели — от музыки, от выпитого бокала вина, на подносе она несла четыре рюмки с киршвассером.

— Добрый вечер, Ленхен, — Федор схватил девушку за руку.

— Ганс, пустите, гости ждут, — засмеялась девушка, стараясь освободить руку.

— Гости не умрут, Ленхен. Давайте и мы потанцуем.

— Они ждут . . .

— А мы сделаем так.

Федор одна за другой выпил из всех рюмок на подносе, взял у Ленхен поднос и поставил у стены.

— Пошли.

Ленхен очень хотелось потанцевать и, хотя ей надо было обносить гостей пивом и киршвассером, она не устояла и закружилась с Федором: в конце концов хозин ценил Ганса и она может сказать, что это все он — что я могла с ним поделать?

Федор кружил с Ленхен что было сил, притоптывая в такт вальса. Они промчались возле самых спин Эрики и Эберта, но те были заняты разговором. Второй раз Федор повернул Ленхен так сильно, что полы ее платья задели Эрику и Эберта. Эберт обернулся и, смеясь, показал рукой на Федора и Ленхен. Эрика тут же отошла от Эберта и, когда Федор и Ленхен поравнялись с ней, схватила девушку за рукав.

— Ленхен, сию же минуту ступай вниз! И пусть танте Христел пришлет сюда кого-нибудь другого вместо тебя, раз ты забываешь свои обязанности!

— Слушаюсь, — потупилась Ленхен.

Федор смотрел на злое лицо Эрики и улыбался.

— Это не вина Ленхен, гнедиге фрау, это я . . .

Эрика, ничего не сказав, отошла к Эберту.

Федор стал приглашать танцевать всех местных красавиц, говорить им смешные глупости, они громко хохотали; взвизгивали, когда он подымал их в воздух на поворотах, потом пил с ними вино, пел со всеми, не зная слов песен, усердно раскачивался в цепи сидевших за столом гостей, — всем своим видом показывая Эрике, как ему весело и как ему наплевать на нее с ее Эбертом.

Потом Эрика и Эберт вышли из зала. Мгновенно отрезвев, Федор стал пробираться к выходу. Он нашел их в гасштетте, в хозяйской нише в окружении почетных гостей. Говорили о политике.

— Ганс, — спросил хозяин Федора, — как ты думаешь, уйдут рус-

ские из восточных провинций? Он, герр Эберт, знает русских — воевал на восточном фронте, был у них в плену.

— Нет, не уйдут, — громко ответил Федор.

— А если их заставят американцы и англичане, тогда что? — засмеялся Эберт.

— Каким образом?

— Вот таким!

Эберт рукой как бы дал кому-то подзатыльник.

— Вы не знаете, о чем говорите . . .

Эрика перебила:

— Давайте лучше выпьем за то, что мы снова можем веселиться! За то, что вы, герр Эберт, снова дома!

Гости закричали:

— Браво, гнедиге фрау! Прозит за все хорошее, что ждет нас впереди! . . Цум воль! . . Гезундхайт! . . За Германию! . .

Федор сидел с краю стола, и это подчеркивало его одиночество. Он пил, поглядывая на Эрику. Она на него не смотрела. Вокруг говорили обо всем сразу, но вскоре разговоры сошлись на Германии.

— Поверьте, друзья мои, — громко сказал Эберт, как бы занимая свое место и, выждав пока другие замолчали, — борьба на два фронта — это всегда было немецким кошмаром, причиной наших поражений, но теперь это будет основой нашей победы! Россия и Америка — это, как два гигантских магнитных полюса, между которыми Германия, как крепкий стальной ротор. Эти полюсы будут силами, которые станут вращать ротор-Германию и давать нам энергию!

Эберт обвел собравшихся взглядом своих васильковых глаз.

— Вначале — мы «западники» — Америка даст нам возможность восстать из пепла руин, из развалин. Сейчас на Восток ориентироваться нельзя, ибо Восток хочет нас съесть с потрохами, а Запад нас восстановит и будет защищать. Восточные наши провинции будут нашей «пятой колонной» и . . . иллюстрацией для немцев, как не нужно жить.

Вот когда мы восстановимся, обрастем мускулами (мы должны сделать так, чтобы Запад боялся жить без нашей силы), тогда мы сможем иметь дело и с Востоком. Надо помнить, что Восток материалистичен до мозга костей, — он уважает только силу, а в своем желании «догнать и перегнать» — он даст столько заказов нашей промышленности, что еще больше усилит нас. Мы будем процветать при равновесии сил между Западом и Востоком, будем мощно работающим ротором между противоположными магнитополюсами. Ну, а дальше — будущее принадлежит тому, кто, — как говорил великий Гете, — ловит удачный момент и крепко хватает случай за волосы! Нам надо получить все, что возможно получить от Запада, а когда Запад нам уже не сможет ничего дать, мы повернемся к Востоку, чтобы получить от него то, что Запад не сможет нам дать, — объединение Германии! Вот . . .

— А не кажется ли вам, герр майор, — Федор громко подчеркнул

«майор», — что ваша точка зрения очень похожа на то, что уже стоило Германии и немецкому народу двух катастроф?

Эберт даже не повернул головы.

— Жизнь есть борьба! Поражение нас многому научило. В плену в Америке мы лучше поняли слабые стороны американцев, из России наши парни возвращаются с лучшим пониманием слабых сторон русских...

— А свои слабые стороны вы поняли, герр Эберт? — громко спросил Федор.

— Да, Ганс, — наша слабость в людях, которые согнулись и сдались. Хорошо, что их в нашем народе мало.

— В чем же, по-вашему, слабые стороны американцев?

— В том, что они наивны, архаичны, не видят дальше своего носа.

— А русских?

— Слабость русских в их стадности, невежестве, отсталости, в вечном конфликте между государственной властью и массой...

— Не кажется ли вам, герр майор Эберт, что так рассуждать, сидя на развалинах Германии, не только безответственно, но и глупо?

— Скажу вам на это: выражаться так, как выражаетесь вы, особенно по отношению к офицеру неприлично и недостойно немецкого солдата! Скажу вам еще, что вы мешаете взрослым разговаривать.

— Ганс, что с тобой? — услышал Федор голос хозяина.

— Не беспокойтесь, герр Майер, — громко, для всех собравшихся, сказал улыбаясь Эберт. — Если надо, я умею обуздывать нахалов.

Федор того и ждал.

— Интересно, как это вы делаете, герр Эберт? — спросил он, прямо глядя в бешеные глаза Эберта.

Эрика положила руку на красный волосатый кулак Эберта и, глядя на Федора, сказала:

— Ганс, я прошу вас оставить нас, — идите к своим коровам.

Все засмеялись. Эберт положил свою руку на руку Эрики и погладил ее.

— Браво, гнедиге фрау! Браво! Некоторые сосунки, вернувшись из России, думают, что им «все позволено». Придется им время от времени надирать уши!

Опять все вокруг захохотали.

— Уши... — проговорил Федор.

Резко нагнувшись в сторону Эберта, крепко схватил того за уши, подскочил к нему и, выбрасывая вверх правое колено, дернул тяжелую голову Эберта навстречу колену. На колене что-то хрястнуло, голова Эберта в руках Федора стала тяжелее, Федор ударил коленом еще раз и оттолкнул ее — все сразу увидели разбитый в кровь рот, разбитый нос, вытаращенные от боли голубые-голубые глаза. Эберт закрыл ладонью лицо — сквозь волосатые пальцы потекла кровь — и он упал на стол лицом в тарелку.

Кричали все. Хозяин и кто-то из гостей схватили Федора. Он дрожал и во все глаза смотрел на Эрику.

— Славинер! — бешено крикнула она.

Хотела помочь Эберту, но тот лежал лицом в тарелке не двигаясь. Федора потащили. Он не сопротивлялся. Его вывели во двор. Хозяин повел его к водопроводному крану — нагнул ему голову и открыл воду. Федору было все равно.

— Что здесь случилось? — раздался голос за спиной хозяина.

Федор оттолкнул хозяина, вытер рукавом лицо — перед ним стоял Боб.

— Боб! Боже мой, Боб!

— Что случилось?

Немцы при виде незнакомца, говорившего с американским акцентом, стали расходиться.

— Боб! Ради Бога, увезите меня отсюда! Сейчас же, пожалуйста!

Боб остался ночевать. Ночью Федор рассказал ему об Эрике, об Эберте, обо всем, что случилось со времени отъезда Боба.

— Олл райт, Федор. У меня для вас хорошие новости: в Мюнхен приехала научная экспедиция — большая группа американских молодых ученых — социологов, экономистов, психологов, для работы с советскими эмигрантами. Я отношения к ней не имею, но для вас там найдется интересная работа — в том смысле, как мы с вами раньше говорили. А теперь спать.

Рано утром Федора разбудил хозяин.

— Ганс! Как ты себя чувствуешь? Ну и горячка же ты. Война сказывается. Но здорово ты его разделал, — хозяин вдруг расхохотался. — Три зуба, и губы, и нос всмятку!

— Для вас могут быть неприятности?

— Ничего, Ганс. Мою жену это расстроило — всю ночь не спала, но тоже смеялась, вспоминая, что ты сделал с физиономией герра майора. Он все не может забыть своего майорства. Лучше бы работал — земли у него вон сколько...

— Я уезжаю, герр Майер.

— Куда? Все забудется, Ганс. За делами забудется, поверь мне.

— У меня дела в Мюнхене. Этот американец приехал за мной.

— Жаль. Когда ты уезжаешь?

— Сегодня.

— Ах, как жаль. Я разбудил тебя так рано, чтобы ты разделал свинью: утром нужно отвести покупателю.

— Я это сделаю для вас.

— Ну, спасибо, а то мне самому не управиться.

Федор спустился в прачечную. На столе лежала зарезанная свинья. Он подвесил ее и стал раделывать.

Оставалось очистить кишки, которые шли на изготовление колбас. Руки и грудь Федора, фартук были в крови. В душном помещении пахло кровью и внутренностями. Кто-то открыл дверь, ворвалась струя свежего утреннего воздуха. В дверях стояла Эрика — в синем халате. Она закрыла дверь, оперлась на нее спиной.

— Ты уезжаешь?

— Да.

— Ты вернешься?

— Нет, Эрика.
— Я пришла проститься.
— Прощай.
— Я пришла проститься, — повторила она, разглядывая его руки и грудь.
Федор понял. Он оглядел пол в нечистотах и крови, посмотрел на свои руки. «Придумала очередной вариант 'Прощание'! Нет, она сумасшедшая! Какое-то свинство . . .»
— Нет, Эрика. Ничего из этого хорошего не могло выйти.
За дверью послышался голос хозяина:
— Ганс, как дела?
— Все готово, герр Маейр, — крикнул Федор.
Эрика вышла.
Провожали Федора все, кроме Эрики. Подходили и пожимали ему руку. Ленхен всплакнула. Хозяин долго тряс руку Федора.
— Не забывай нас, Ганс. Зайди в Мюнхене в университет к Курту и Петеру. Ты хорошо работал и спасибо тебе.
Федор подумал: «А муж так ничего и не знал».
Синяя штора на окне хозяйской спальни была задернута, но когда Боб включил мотор автомобиля, обнаженная рука Эрики отодвинула ее. Федор махнул рукой, Эрика отошла вглубь комнаты.

9. ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Катя открыла глаза — в комнате стояли трое: замполит начальника госпиталя, незнакомый офицер в фуражке МГБ с темным взглядом привыкших не спать по ночам глаз, сзади стояла главный врач с недовольным и озабоченным лицом.
— . . . больная спит . . . — услышала Катя ее голос.
Замполит обернулся, видимо чтобы ответить главному врачу, но офицер в фуражке засмеялся.
— Больная уже не спит, — и, внимательно глядя на Катю, подошел к ее постели.
Внутри Кати — в горле, висках — сразу застучало: «Федя! . .»
Подошел замполит — грузный мужчина в роговых очках, в форме полковника медслужбы.
— Товарищ Рыльская, вы нас извините за беспокойство, но товарищу капитану госбезопасности . . .
Офицер жестом остановил его.
— Я думаю, что мы с товарищем Рыльской поговорим сами . . . Благодарю вас.
Замполит сразу умолк. Но главврач сердито подошла к Кате со стороны окна, взяла за руку, щупая пульс и, сдерживаясь сказала:

— Больной вредно разговаривать... Тем более волноваться. Сейчас она должна принять лекарство...

— Больная лекарство примет после нашего разговора, товарищ главный врач, — отрезал капитан.

Он придвинул к Катиной кровати стул и, все так же пристально глядя ей в глаза, сказал:

— Ну-с...

— Что вам от меня нужно? — перебивая его спросила Катя, решая нападать, чтобы скрыть хотя бы испуг.

— Мне нужно задать вам несколько вопросов...

— Что вам нужно?

— Что вам известно о Пелагее Кротковой?

— О ко-о-ом?

Напряжение испуга сразу спало, так что принятое решение нападать осталось без противовеса, и Катя совсем сердито крикнула:

— Кто такая Пелагея Кроткова?!

— Пелагея Кроткова медсестра, которая дежурит при вас.

— При мне дежурят три сестры. Какую вы имеете в виду?

— Пожилую. Зовут ее здесь Пашей.

— Ну и что с ней?

— Она, товарищ Рыльская, оказалась врагом. Вела в госпитале среди персонала и больных антисоветскую пропаганду. Сегодня ночью ее арестовали органы госбезопасности. Вы, как советский человек, должны помочь следствию, — о чем она говорила...

— Никаких разговоров она со мной не вела.

— Не вела она религиозных разговоров?

— Могу вам одно сказать: она отличная медицинская сестра, прекрасно знающая свое дело, очень внимательная к больным... Работала, не считаясь со своим временем... Всем бы так работать, как эта Паша!

— Я вас, товарищ Рыльская, спрашиваю не об этом. Нам доподлинно известно, что Пелагея Кроткова завербованный агент одной иностранной державы...

— Вы городите чепуху, капитан! — сказала, все больше раздражаясь, Катя.

Капитан недобро усмехнулся и угрожающе проговорил:

— Вам что, не известно что наши органы госбезопасности чепухой не занимаются? Я советую вам, гражданка Рыльская, отвечать на мои вопросы и оставить этот тон, будь вы трижды больная! Понятно?

— Я не только больная, которую вы беспокоите по своей глупости, капитан, но я еще родная племянница генерал-полковника Серова!

Говорила это не сама Катя, а что-то в Кате прорвавшееся, новое, что образовалось в ней последние дни.

— Советую вам, капитан, считаться с требованиями главного врача, когда вы находитесь в госпитале...

Капитан встал и быстро проговорил:

— Нет-нет, конечно, если вы себя плохо чувствуете...

— Вначале это вас не очень беспокоило. Кроме того, медсестра, о

которой вы меня спрашивали, ничего предосудительного не делала и не говорила; таких сестер надо ценить, а не арестовывать по глупому доносу... Будьте здоровы.

Минут через пять пришла главный врач.

— Что здесь произошло? Он схватил свою шинель и только успевал извиняться перед нами, — за толстыми стеклами очков смеялись умные глаза. — Особенно передо мной извинялся.

— Я сказала ему, чтобы он проваливал со своими идиотскими разговорами... И еще, что Паша никакой пропагандой не занималась, что она хорошая сестра...

Главный врач тяжело присела на край Катиной постели и сразу стала обыкновенной усталой женщиной.

— Спасибо вам... А то все там, — она кивнула в сторону двери, — испугались... наговорили, Бог знает чего...

После ужина пришел начальник госпиталя — седой чистенький генерал-майор медицинской службы, с главврачом и замполитом. Генерал довольно пыхтел, разглядывая Катю. Замполит суетился.

— Товарищ Рыльская, мы очень сожалеем... Мы пришли вам сказать, что вас переведут в другую комнату... Угловую, с ванной... «Генеральскую»...

— Нет, спасибо. Мне и здесь хорошо. Лучше замолвите доброе слово за вашу лучшую медсестру.

Главврач отвернулась, генерал улыбнулся в усы, замполит засмеялся.

— Это, знаете, не по нашей линии, товарищ Рыльская... Мы ведь только медики.

— Медики, как я понимаю, должны заботиться о здоровье людей... К такой заботе относится и квалифицированный медперсонал, и спокойствие больных и того же персонала.

Главврач осталась с Катей.

— Вы — прелесть. К нам приходил какой-то полковник МГБ. Извинялся. Приказал, чтобы для вас самое лучшее... А вы от «генеральской» комнаты отказались...

— Скажите, доктор, а нельзя ли мне домой переехать? Я, право, чувствую себя лучше.

— Можно. Но при условии постельного режима — недели две еще, и потом — не прыгать, никаких резких движений, не подымать тяжелого — до шестимесячной беременности... И потом беречься. Я буду вас время от времени навещать. Если что — звоните мне.

На следующее утро Катю отвезли домой. Рыльский явно не знал, как себя держать, два раза звонил со службы. Тоня Баранова прислала немку Эмму — готовить и убирать.

С вечера начались телефонные звонки корлсхорстских дам, но Катя отвечала сухо и никого не пригласила, ссылаясь на слабость.

Старого шофера Рыльский уволил. Катя наняла Карла. Он приходил по утрам, садился в кресло в Катиной спальне и рассказывал о том, что произошло в ту ночь: о Федоре, о спутнике Федора, о брате Инги, об «оберсте Василии» и «фрау-генераль».

Рассказы Карла снова ожесточили Катю. Она не ответила на письмо Сони, словно и Соня в какой-то мере была виновата. «Взять бы и написать ей о том, как они поступили с ее братом! Небось, иначе отнеслась бы к муженьку своему», — подумала Катя, но не написала.

Два раза звонила Наталья Николаевна, но Катя дважды ответила: «Нездорова. Простите, но мне трудно говорить». — «Может быть, мне приехать, Катенька?» — «Нет, пожалуйста, не приезжайте».

Она все представляла себе, что было бы, если бы в ту ночь Василий с Натальей Николаевной привезли Федора в Берлин, позвонили бы ей, как она примчалась бы к нему, как прижала бы его к себе, измученного и затравленного, как спрятала бы его — в советском секторе или где-нибудь в западных секторах Берлина, как плакала бы над ним и утешала бы его, как нашла бы выход — обязательно нашла бы! — как переправила бы его в СССР, как уехала бы с ним в самую глушь — от всех этих эгоистов; как ждали бы вместе ребеночка ...

Рассказы Карла о Петере, о документах на пленного немца, по которым теперь где-то жил Федор, успокоили Катю: теперь его не выдадут, но прежнее конкретное беспокойство уступило место новому — Катя стала ревновать Федора и к брату убитой немки, и ко всем неизвестным немкам, окружающим теперь его. До этого она думала, что беременность приглушила в ней физическое желание Федора, но ей снова стала вспоминаться их единственная ночь под Новый год у Марченко. И сны эротические стали сниться, и всегда там был Федор. Как-то утром пришел Карл и попросил освободить его на два дня — он женился. Катя принялась расспрашивать его о невесте, о планах на будущее. Катя лежала и слушала, только глаза ее выдавали волнение, не имеющее ничего общего с рассказом. Карл всегда называл ее «фрау оберст». Не успел он теперь произнести очередное «фрау оберст», как Катя закричала по-русски:

— «Фрау оберст! Фрау оберст!» Я не хочу быть никакой «фрау оберст»! Я хочу быть фрау Федя! Фрау Федюшка! Одного его! Каждый день! Каждую ночь ... — и разрыдалась в подушку.

Испуганный Карл побежал на кухню, зовя на помощь Эмму. Катя успокоилась, дала Карлу тысячу марок на свадебный подарок.

Вечером Рыльский принес с почты письмо от Анны Сергеевны.

«Дорогая моя Катенька,

я работаю, как, кажется, никогда раньше не работала, — легче. Помни, моя радость, одно: как бы ты ни поступила — я на твоей стороне. Знаешь, к старости приходит возрастная переоценка ценностей — с высоты возраста виднее. Буду счастлива, если будешь счастлива ты, моя доченька, моя кровь и плоть моя. Буду ли я рядом с твоим счастьем или не буду — не это главное. Главное — ты. Неправда, что старухи эгоистичны ...»

Дальше мать писала о своей работе в строительном управлении по восстановлению шахт Донбасса.

На следующий день Рыльский летел в Москву в командировку, чему Катя сильно обрадовалась. А вечером Карл принес открытку из американской зоны.

«Дорогой Карл,
извини, что так долго не писал тебе. Было много всяких дел. Рад сообщить тебе, что добрались мы до места назначения более-менее благополучно. Ганс все это время работал у брата Курта, но вчера мне сообщили, что он получил какую-то интересную работу здесь в Мюнхене. Надеюсь, что он даст о себе знать. Я и Курт готовимся к экзаменам в университет. Я стал поправляться. Пиши мне в Мюнхен до востребования на главный почтамт.

Петер».

Катя даже не удивилась: так должно было быть. Не обращая внимания на Карла, она встала с постели, надела халат и деловито сказала:

— Карл, вам нужно туда съездить.

— Яволь, фрау оберст, — ответил Карл, как будто речь шла об очередной поездке в Вайсензее в «Гастроном» за покупками.

Катя дала ему четыре тысячи марок на подготовку к поездке и кошелку продуктов — «жене в подарок».

Весь день Катю не покидало деловое оживление: Карл отвезет письмо Федору, установят переписку, ну а там будет видно. Во время обеденного перерыва пришла Серафима Васильевна — главврач. Осмотрела Катю, осталась довольна. Рассказала, что в госпиталь заходила Паша, — ее освободили, но отправили в Советский Союз.

— Вам просила кланяться, — я ей сказала о вашем заступничестве. И, знаете, что она мне на это ответила? «Человек в больнице всегда добреет сердцем, — это во всех странах так». Очень верно подметила. Я за свою практику на каких только больных не насмотрелась. Даже прокуроры, даже смершевцы, страдая в госпиталях, начинали чувствовать страдания другого человека. Ну, побегу ...

Катя устала и после еды уснула. Проснулась только в сумерки — кто-то звонил у входной двери. Эмма уже ушла, Катя подумала, что, может быть, Карл, и пошла открывать.

За дверью стояла Наталья Николаевна. Несколько секунд женщины смотрели друг на друга: Катя растерянно, генеральша по-собачьи. Потом Наталья Николаевна, так ничего и не сказав, заплакала.

— Входите, — только и нашлась Катя.

Генеральша непослушными руками сняла шаль, огляделась и вдруг тяжело опустилась на пол к ногам Катиным.

— Катенька ... Катенька, прости, — захлебываясь слезами бормотала она, как в бреду, хватаясь за Катин халат. — Прости за Федю ... За Федю ...

Катя попыталась поднять грузное тело генеральши, но ей это было не под силу и она сама села на ковер.

— Что вы, Наталья Николаевна ... Что вы, право, — шептала она испуганно, обнимая седую голову генеральши.

— Я, я его, может, на смерть ... — сквозь рыдания говорила Наталья Николаевна.

— Да что вы! Жив он! Федя жив-здоров! Я весточку сегодня получила о нем.

Генеральша отстранилась от Кати, поглядела на нее и уже по-другому, в голос, расплакалась — от радости.

Катя рассказала о намеченной поездке Карла. Наталья Николаевна успокоилась и только теперь заметила, что Катя в ночной рубашке и халатике.

— Господи ты Боже мой, что же это я, старая дура! Тебе в постель ложиться... Еще простудишься!..

— Ничего, Наталья Николаевна...

— Знаю твое «ничего»! Про все разузнала: и про аварию, и про больницу — мне главная врачиха сказала...

Наталья Николаевна уложила Катю, напоила теплым молоком с медом. Потом разделась сама и легла к Кате. Заснули они, наплакавшись, в чем-то счастливые. Кате всю ночь чудилось, что она в Москве и что за спиной у нее спит мать.

10. КОЛХОЗ

Это была их первая ссора. Василий сердито ходил по тесной горнице, задевая за старые «венские» стулья.

— Я найду на него управу! Он думает, что если секретарь райкома, то может делать все, что ему захочется! Я в Москву поеду! Он еще узнает, как не считаться с фронтовиками! Я...

Стул с грохотом отскочил от ноги Василия к Соне, сидевшей у окна.

— А черт!..

— Не знаю, Вася, — сказала Соня, глядя в окно, где по безлюдной улице носился, завиваясь, мелкий снег. — Не знаю я, что лучше. Только, мне хорошо здесь, тепло...

— Заладила свое — «хорошо» да «хорошо». Я не для того вырвался из колхоза, не для того учился, не для того воевал, чтобы опять в колхоз! Понимаешь ты это или нет? Я подполковником стал не для того, чтобы опять в колхозника превращаться!

— Разве ты учился, воевал, рос — я имею ввиду внутренний рост — только для того, чтобы уехать из деревни?

— А ты как думаешь? Именно! Чтобы вырваться в свет, чтобы жить, как люди живут!

— А разве здесь живут не люди?

Василий хотел что-то сказать, но за стеной загрохотали ухваты — мать возилась у печи, видимо слушая разговоры сына с невесткой.

— А мне, Вася, в этом домике — в этом уголочке, отгороженном деревянными стенами от непонятного, страшного мира, тепло и уютно. Здесь можно двигаться и дышать, здесь можно бродить по околице, ходить в лес, — здесь можно быть самим собой. Мне хотелось бы

только крепче отгородиться этими стенами, этим лесом и жить в своем собственном добром маленьком мире, где есть самое важное, самое нужное... — она не нашла подходящего слова.

Василий, стоя посреди комнаты, спросил:

— Где есть что?

— Где есть... ты, мама, папа, где есть... дом и доброта, Вася...

— Доброта? Подожди, скоро ты узнаешь здешнюю доброту! Бабы уже кроют тебя на чем свет стоит...

— Пусть их. Я в лагере не такое слышала... Но и среди них есть хорошие люди... Им просто трудно живется...

— Все это по твоим книгам так! Уголочек, тишь и благодать! В жизни по-другому Нет! Сегодня же пишу в Москву в министерство. Они меня из армии забрали не для того, чтобы этот секретаришка из меня председателя колхоза делал!

Соня отвернулась к окну.

— Я не по книгам говорю, Вася... А — как на душе. Я хочу иметь свой дом. Я говорю о тебе, о нашем... ребеночке, который...

Василий, по инерции ссоры, сразу не понял.

— Что ты сказала?.. Ребеночке?

Он увидел, как задрожала Сонина спина в сером пуховом платке. В эту же минуту в горницу вошла мать, на ходу вытирая руки об юбку.

— Да неужели правда, Сонюшка?! Ах, какая радость-то! — она обняла Соню за плечи. — Ну спасибо тебе, родная моя. И за внучика, и за добрые слова о нас.

Василий хотел подойти, но мать цыкнула на него:

— Ты хоть и подполковник, а дурак дураком! Досталась жена-ангел, а он заладил свое «не хочу» да «не хочу»!

Василий присел на корточки возле Сони, заглядывая ей в лицо.

— Что же ты мне ничего не сказала, Соня?

Соня обняла его за голову, прижала к себе, сквозь слезы улыбнулась свекрови.

— Знаете, мама, я иной раз лагерю благодарна...

— Да опомнись, что ты говоришь-то!

— Нет, правда. Лагерь научил ценить вещи, которые люди обычно не замечают: вот эту скатерть белую, подушку в выглаженной наволочке, слово доброе, птицу на дереве, сосульку солнечную...

— Ну и слава Богу! Только ты о лагере не думай. Я ведь, старая дура, думала, что ты тянешь Василия в город, а теперь вижу, что он сам от дому отбился.

Василий так и сидел на корточках, с головой в Сониных теплых руках. Женщины говорили, будто его не было.

— Мне хорошо здесь, мама. Вася думает, что я не понимаю. А я вижу, как вы бьетесь, как вы стараетесь для нас — из последних сил. Вот все запасы скудные мяса уже израсходовали... Картошка кончается...

— Что ты, Бог с тобой, нам грех жаловаться: мы со стариком

вдвоем работаем, коровка, Василий помогал... Мы до нового урожая проживем, а вот другие...

— Вася говорит, что я не понимаю, что женщины... Они, конечно, завидуют мне, — я счастлива, у меня муж, а у них никого или одни дети... Тем не менее мне здесь защитнее... Здесь вроде скрытой теплоты... Вот кот Васька мурлычет — скрытая теплота его мурлыканья тоже греет...

Василий высвободил голову из рук жены и счастливо сказал:

— Ты сама — моя скрытая теплота. Значит, сын скоро?

— Сын или дочь, Вася, но детям не только мать с отцом нужны...

— Кто же еще?

— Бабушка, Вася, — Соне хотелось закрепить союз со свекровью. — Русская бабушка, может быть, больше растит наших детей, чем мы, их родители... Родители теперь занятые пошли...

Гликерия Семеновна просияла.

— Ну, угодила, Соня, старой! Уж угодила! Дай я за это тебя поцелую.

Мир в доме был восстановлен. Но Василий вечером написал письмо в министерство с жалобой на «партизанщину» секретаря райкома Шилова. «Государство и партия, — писал он, — затратили немало средств на мое техническое образование; промышленности, которой нужно восстанавливаться от военной разрухи и дальше расти, требуются технические специалисты, число которых убыло из-за потерь войны, нужен для этого и я; заместитель вашего министра специально затребовал меня из рядов Советской Армии, а секретарь нашего райкома Шилов из-за местнических интересов районного масштаба, явно во вред общегосударственным интересам, назначает меня председателем мелкого колхоза, потому что его председатель проворовался и арестован».

Утром Василий сам отвез письмо в район на почту.

До войны председателем колхоза был Иван Сорокин — троюродный брат Василия. Он был мобилизован и погиб в 1941 году под Харьковом. После Ивана Сорокина из района прислали нового председателя — больного партийца из рабочих, но тот не мог даже отличить картофельную ботву от помидорной, да и болел все время. В 1943 году председателем колхоза стала тетка Дарья, по прозвищу «Патриотка». Она и сейчас жила в колхозе — баба хитрая, дотошная, ругливая, только и любила что сына своего Андрюху. Андрюха же учился в Москве в Академии танковых войск.

Отец с подробностями рассказал, как все было. Летом 1943 года на Курской дуге готовились большие бои с немцами. Андрюха служил сержантом-танкистом в дивизии, стоявшей под самым Курском. Ночей не спала тетка Дарья, даже ругаться с соседками забывала. Мужчин тогда в колхозе оставалось на всю-то деревню — болезненный председатель колхоза и четыре деда. Остальные — все бабы да ребятишки. Все работали в колхозе, но на колхозных полях старались не очень: все равно ничего не получишь, больше работали на своих приусадебных участках да со своей скотинкой; кормов своих не было

—косили где только возможно — в лесу, у дорог, на пустырях, а бабы похрабрее и на колхозный луг забредали. Кое-кто свои огороды вскопал на пустовавших местах.

Власти, конечно, знали, но баб в тюрьму не посадишь, — мужья и сыновья на фронтах за родину и за власть воюют. А ко всему голод — в городах очень голодали. Вот и ездили в город торговать картошкой, мясом, овощами, молоком — война не официально свободную торговлю разрешила. А цены на базарах были такие, что бабы, поотчаяннее и посильнее, богатеть стали. Большие деньги у некоторых собрались: ведь за килограмм мяса до пятисот рублей брали, за литр молока — до ста рублей, килограмм картошки — двадцать пять рублей, килограмм черного хлеба — пятьдесят рублей.

Случилось так, что председателю соседнего колхоза повестку призываться в армию прислали — на фронт, а он возьми и внеси — по примеру Ферапонта Головатого — двести тысяч рублей на самолет. За такой патриотизм его от призыва освободили, — остался дома. Как услышала про то тетка Дарья, вдруг зарезала телушку, барана, свинью и давай в город на базар ездить торговать. За мясом пошла картошка. Соседки только диву давались: что с теткой случилось?! Спрашивали — молчит. В один из страдных дней прилетает на поле председатель и гонит всех в деревню на митинг — военком и другие власти из района приехали.

Что случилось?! Собрались. Военком начал газету читать: все так и ахнули: в газете был напечатан текст телеграммы Дарьи самому Сталину: «Вношу 125 000 рублей своих трудовых сбережений на танк. Прошу Вас, отец наш родной, передать мой танк сыну моему Андрею Петровых, чтобы бил он проклятых фашистов на материнском танке». Там же и ответ Сталина был напечатан: «Дорогая Дарья Ивановна! Спасибо Вам за подарок для нашей доблестной Красной армии. Советская власть никогда не забудет Вашего патриотического поступка. Просьба Ваша будет удовлетворена».

Уехало начальство, колхозные бабы на тетку Дарью: ты что, с ума спятила на старости лет? Такие деньги коту под хвост! Другие смеялись: «Она, девки, в коммунистки решила записаться!» А через неделю повезли тетку Дарью на Урал на танковый завод. А Андрюху с фронта вызвали туда же. И пробыли они там без малого полтора месяца — все танк передавали. А за это время на Курской дуге бои и кончились. Всех танкистов полка, в котором служил Андрюха, перебили. Вернулась домой тетка потолстевшей на государственных харчах. Дома тоже — все в полном порядке: районное начальство обязало колхоз присматривать за ее хозяйством. Так что и дома не потеряла.

Привезла фотографию — большущий танк с надписью: «От трудовой колхозницы», а перед танком тетка Дарья и Андрюха сняты. Вот когда и назначили Дарью председателем колхоза, а колхозу новое имя дали — «Победа». Кончилась война, Андрюха в орденах лейтенантом приехал. Рассказывал, что начальство его танк берегло — в опасные бои не посылало — политический танк был, пропагандный.

Поняли тогда бабы, ревмя ревели, да поздно — их мужья домой не вернулись.

Андрюха ходил по деревне козырем и бахвалился: «Сталин народ понимает, но мать Сталина тоже понимает. Ей не председателем колхоза быть, а наркомом!» Наркомом не наркомом, а баба дотошная, что и говорить. Андрюху своего заставила в армию вернуться — «На генерала учиться». Будет, мол, новая война — генералов так не убивают, как солдат и офицеров простых; в прошлую войну откупила тебя, в другую не выйдет. Андрюха уехал учиться в Академию — танк материнский и в этом помог. Но Дарью с поста председателя колхоза сняли — какой из нее председатель, когда она и писать-то не умеет. Кличка осталась — «Патриотка».

После нее председателем был назначен фронтовик Николай Щукин. Восемь месяцев держался. Потом арестовали: пил очень, приезжавшее начальство — вон сколько их приезжает! — кормил, поил, одаривал — тому гуся, тому полбарана, тому картошки мешок — все, конечно, колхозное. Осенью колхоз с горем пополам сдал госпоставки, а сам без семян остался. Колхозники на трудодни получили по полтиннику деньгами, по два килограмма зерна и картошки немного. За зиму все съели. Теперь доедали, что от своих хозяйств оставалось. Несколько мужчин уехало без разрешения в Донбасс на восстановление и на новостройки, где принимали на работу без паспорта, потом к ним переехали семьи. Молодые бежали, кто как мог.

Щукина и бухгалтера арестовали «за расхищение общественной собственности». У обоих в деревне остались жены и дети. Колхоз остался без председателя. Отец Василия Щукина не осуждал: «А что ему, горемычному, было делать? Не будешь начальству давать — плохо, будешь давать — тоже плохо».

Известие о назначении Василия председателем колхоза отца огорчило.

— Как же так, Василь, — это вроде тебя как бы разжаловали?

Но громко возмущаться не смел: побаивался жены.

. . .

В день выборов нового председателя в доме Трухиных нервничали с утра. Василий сидел хмурый, мать убирала квартиру, мыла пол, Соня пыталась ей помогать, но только мешала, пока не нашла себе дело — чистить тертым кирпичом чугуны и кастрюли. Отец лежал на печи, курил, кашлял, харкал.

На дворе мела запоздалая метель. Но почту привезли. К Трухиным ввалилась закутанная в огромный платок «Патриотка».

— Что это вы, соседушка, и за почтой не идете? — сказала она Гликерии Семеновне, разматывая платок. — Можно сказать, главная почта для вас, а вы ноль внимания.

Она тут же выложила на стол несколько сложенных экземпляров районной газеты «Наша правда» и длинный конверт из плотной бумаги с напечатанным адресом. Василий, выйдя из горницы, сразу заметил письмо. «Патриотка» красными от холода руками разворачи-

вала газету. Не обращая внимания на «Патриотку», Василий взял письмо и ушел в горницу.

Ответ министерства был короток:

«Уважаемый товарищ Трухин, в ответ на Ваше письмо сообщаем, что на наш запрос соответствующие партийные инстанции сообщили, что согласно решению ЦК ВКП(б) в настоящее время требуется всячески укреплять кадры сельскохозяйственных работников, и что решение райкома в Вашей работе в качестве председателя колхоза «Победа» необходимо рассматривать в свете развития указанного решения ЦК.

Зам. министра
целлюлозно-бумажной
промышленности
(подпись)».

«Вот сволочь!» — тоскливо подумал Василий о Шилове.

— Василь! А Василь! — позвал отец. — Поди сюда. Ты только погляди, как тебя расписали!

Василий увидел разложенную на столе газету. Соня, мать, отец, «Патриотка» смотрели на него.

— Что еще?

— А ты, дорогой сосед, сам погляди. Чай грамотный, — ответила за всех «Патриотка».

Со второй страницы газеты смотрела большая фотография очень знакомого человека в офицерской форме.

— Чай узнаешь-то?

Это была его фронтовая фотография. Откуда они ее взяли? Ну, конечно, — из демобилизационных документов в райвоенкомате...

— Расписали тебя, сын, хоть куда, — весело сказал отец и полез назад на печь.

По верху газетной страницы крупным шрифтом шла надпись: «Офицер-победитель в боях за урожай». Статья вокруг фотографии занимала без малого полстраницы.

«Гвардии подполковник Василий Степанович Трухин вернулся в родной колхоз «Победа». Районная партийная организация, по инициативе колхозных коммунистов, выдвинула его на пост председателя правления колхоза. Колхозники, земляки отважного командира, приветствуют предложение партийной организации...»

Дальше шло жизнеописание Василия, перечислялись бои, в которых участвовала его дивизия, все его награды. Кончалась статья так: «Славный воин, верный сын своего народа, воспитанник большевистской партии вернулся в родные края по зову сердца, по зову партии. От души желаем ему успехов на новом посту. Скажем спасибо вырастившим богатыря матери его Гликерии Семеновне и отцу его Степану Ивановичу Трухиным — потомственным труженикам полей».

Под статьей было напечатано письмо из дивизии:

«Партийная организация Н-ской гвардейской дивизии, где служил недавно демобилизовавшийся по своему желанию гвардии подполковник В. С. Трухин, шлет ему и его односельчанам пламенный гвардей-

ский привет и пожелание успехов на трудовом фронте. Мы все уверены, дорогой Василий Степанович, что вы так же будете сражаться на полях за высокие урожаи, за обилие продуктов питания для родины, как вы сражались на фронтах Отечественной войны за свободу и независимость своего народа и своей родины.

По поручению партийной
организации Н-ской дивизии —
полковник Гудимов».

«Патриотка», заметив что Василий кончил читать, затараторила с места в карьер:

— Сама принесла, из всей деревни только вот двоих пропечатали в газете — меня да тебя. Теперь мы, вроде, породнились!

Молчавшая до сих пор Гликерия Семеновна, не желая, видимо, такого родства, оборвала гостью:

— Ты, ужо, Ивановна, иди! Что принесла — за то спасибо, а теперь мы сами...

Обиженная «Патриотка» собралась и ушла. Василий перечитывал статью и думал: «Умен секретарь, умен... Мог бы просто приказать в порядке партийной дисциплины, а он и статью с фотографией напечатал и с дивизией — с Гудимовым списался, чтобы к собранию сегодняшнему успеть... Газету сейчас читают по всему району знакомые и незнакомые, и в дивизии будут читать, и фотография — почет и уважение».

— Вот оно как, брат ты мой! — сказал с печи отец. — Не кнутом, так пряником... Никуда не денешься...

— Уж ты бы, отец, помолчал! — прикрикнула на мужа Гликерия Семеновна.

Василий засмеялся.

— Что ж тут скажешь: отец прав — никуда не денешься.

— Ну и слава Богу! — заключила мать.

В начале четвертого по полудни колхозный парторганизатор, болезненного вида человек, Иван Муравьев вместе с деревенским партактивом в лице «Патриотки» и секретаря комсомольской организации колхоза ходили из избы в избу, уговаривая людей идти на собрание.

Трухины решили задержаться — для приличия. Пошли, когда прибежавший соседский мальчонка сообщил, что приехало районное начальство.

Правление колхоза занимало самую большую избу деревни — дом раскулаченного в 1932 году Тимофея Голубева. Внутренние стены избы сломали так, что вышла довольно вместительная комната с русской печью в углу. Обстановку конторы составляли два стола со стульями, большой шкаф для бумаг и несколько длинных скамей. Через всю стену шел плакат из красной материи с белыми буквами: «Добьемся высокого урожая!»

На дворе стемнело, — вихрило, мело, возле правления под вывешенной «летучей мышью» было пусто, только райкомовский шофер возился с лопатой возле черненького газика. Внутри, несмотря на то, что уже перевалило за пять часов, народу было мало — больше стари-

ки. У стола, покрытого красной материей, сидели Шилов с помощником и тихо разговаривали. Василий заметил разложенные на скамьях газеты. Кое-кто отрывал кусти газетной бумаги и сворачивал «козью ножку». Воздух был сиз от махорочного дыма.

Следом за Трухиным ввалилась ватага женщин — «вдовья команда» — во главе с Капой, хорошо сложенной крепкой женщиной лет сорока. Были они навеселе. За ними пришли подросшие за войну парни с девками. В комнате сразу стало тесно, душно и влажно. Никто не снимал полушубков «Вдовья команда» переругивалась. Пришел тяжело дышащий Муравьев, полез за стол и стал стучать карандашом по стакану у кувшина с водой, призывая к тишине.

В президиум выбрали Шилова, Василия, Муравьева, «Патриотку» и деда Егора — самого старого в деревне. Когда помощник Шилова начал речь, шум в комнате приутих, но вскоре снова окреп, не смотря на старания муравьевского карандаша.

Речь докладчика состояла из того же, о чем было написано на плакате, в районной и московских газетах. Никто не слушал: пожилые молчали, помоложе переговаривались вполголоса, а то и переругивались. Кто-то из девок несколько раз взвизгивал у печки. Не слушал докладчика и Шилов. он попросил «Патриотку» поменяться с ним местами за столом президиума, чтобы сесть рядом с Василием.

— Почему не провели перед собранием совещание членов партии, товарищ Трухин? — спросил он шепотом у самого уха Василия.

— Какое же совещание, когда членов партии всего четыре человека: Муравьев, я, вот она, — Василий кивнул головой в сторону «Патриотки», — да калека Рогов.

— Все равно нужно было бы провести — с привлечением комсомольского актива. Комсомольцев у вас одиннадцать человек.

— Это можно будет оформить: Муравьев составит протокол, а мы подпишем.

— Так не годится, товарищ Трухин. Вам теперь придется помочь товарищу Муравьеву наладить партработу. И комсомолу нужно помочь.

Василий промолчал.

— Ну, а как ваш новый бухгалтер?

— Я его не видел еще. С ним Муравьев говорил.

— Он на собрании?

Василий оглядел комнату: возле Сони сидел худой, с густыми темными бровями, седой незнакомец.

— Вон там кто-то сидит — на третьей скамье слева. Может быть он, но разве вы его не знаете? — спросил Василий.

— Теперь вспоминаю. Столько, знаете, народа проходит за день — всех не упомнишь. Он пришел в райком просить работу: грамотный, одинокий, с бумагой от обкома, и я решил, что вам будет кстати.

— Конечно, пригодится, — сказал Василий, разглядывая бухгалтера.

Тот что-то сказал Соне, она рассмеялась.

— А кто это рядом с ним сидит, — как будто не здешняя по виду?

— Это жена моя.

— О, а я и не знал, что вы женаты. Откуда она?

Василию показалось, что Шилов знает, откуда Соня. Страх, забытый в суматохе последнего месяца, ударил в голову, как хмель. Может быть, этот бровастый и не бухгалтер вовсе, а подосланый Шиловым сексот, чтобы разузнать про Соню, про него самого, про Федора? Нет, тогда бы не было фотографии и статьи...

Докладчик в это время говорил:

— ...Райком партии решил поддержать хадатайство парторганизации и актива вашего колхоза и в свою очередь рекомендует общему собранию колхоза «Победа» кандидатуру в председатели правления вашего земляка, боевого офицера Красной армии, Василия Степановича Трухина.

Первым захлопал Шилов, за ним Муравьев и «Патриотка», потом захлопали на скамьях.

— Кто хочет высказаться по поводу предложенной кандидатуры Василия Трухина? — спросил Муравьев.

На скамьях молчали.

— Да что там разговаривать! — раздался сиплый голос Капы. — Наше дело телячье — вы руководящие, а мы производящие!

Вокруг засмеялись. Помощник Шилова поторопился взять слово.

— Товарищи, так нельзя... Устав сельхозартели...

— Ты нам не заливай, — мы народ ученый, — перебила его Капа.

Шилов решил вмешаться.

— Одну минутку, товарищи! Давайте на собрании придерживаться порядка. Мы приехали на общее собрание колхозников вашего колхоза, чтобы подтвердить предложение избрать в председатели правления Василия Степановича Трухина. Имеются у собравшихся возражения против кандидатуры товарища Трухина или предложение других кандидатур?

Все молчали.

— Хорошо. Кто-нибудь хочет высказаться по данному вопросу — о выборе нового председателя?

— Я желаю высказаться! — крикнула Капа.

— Пожалуйста. Проходите к столу.

— Мне и здесь хорошо. Я ужо вам отсюда скажу.

— Вы не нам, а колхозникам скажите...

— Что им говорить — они и так знают.

— Так не годится... — не выдержал Муравьев

— А ты заткнись! Я не тебе, а товарища секретаря хочу спросить, почему это, когда на деревне появляется мужик или даже если он тут вырос, то почему им мужикам все такие места для работы выпадают: председатель — мужик; кладовщик — мужик, бухгалтер — мужик, а на тяжелые работы — жинка! Почему это так? Вот теперь: приехал Трухин — вон какой бычище! — его в председатели, появился товарищ бухгалтер, — она показала на Чугунова. — А мы что вам, дву-

жильные что ли?! Ух, и надоели же вы! — она оглянулась на окружающих. — Правильно я, бабы, говорю?

— Правильно! Правильно! — раздалось со всех сторон.

Шилов поднял руки.

— Спокойствие, товарищи! Я тоже скажу вам: правильно говорит товарищ женщина. Я тоже за то, чтобы кладовщиком, бухгалтером были женщины, а чтобы тяжелые работы выполняли мужчины! Но что делать, если женщины недостаточно активны, не приобретают профессии? Если они больше на своих огородах копаются...

— А кто детей кормить будет?! — закричала Капа. — С колхозных доходов, что ли? Как до лета доживем? Ведь голодная смерть стучится чуть ли не в каждую избу!..

На скамьях загудело как в потревоженном улье. Шилов понял, что собрание может свернуть на неприятную дорожку.

— Товарищи, спокойствие! Миллионы наших мужчин отдали свои жизни на полях сражений, защищая дом свой и родину свою...

— Защитили! — крикнула Капа.

— Нам известно тяжелое положение в вашем колхозе и выборы толкового председателя — одно из мероприятий для поправки дел. Кроме того, наше государство не оставит людей в беде: я обещаю вам, что вместе с новым председателем мы обдумаем, как помочь колхозу! Районные власти придут вам на помощь...

В этот момент все услышали под окнами громкую песню. Все, кроме приехавших из района, знали, что пел ее Иван Рогов, и что был он пьян.

А второй боец диктует:
«Здравствуй, милая жена,
Моя рана прямо в сердце,
И не жди домой меня».

Все повернули головы к окнам и слушали. Шилов от неожиданности тоже замолчал.

— Что тебе, голубчик, надо?
Или пить тебе подать?
— Ничего, сестра, не надо,
Я ведь начал остывать.

Кто-то из молодежи засмеялся, но большинство сидело с сумрачными лицами, словно забыв, зачем и для чего они собрались сюда.

— Товарищи! — перебивая песню, громко сказал Шилов. — Если никто из собравшихся не имеет что сказать по существу собрания, давайте тогда проголосуем, а потом можем и о разном поговорить...

— Как так — не хотим высказаться? — раздался голос от двери. — Я лично очень хочу сказать свое мнение.

В двери стоял на костылях, в старой растегнутой шинели, Рогов.

— Прошу слова, товарищ председатель!

— Проходите сюда, товарищ, — ответил Шилов. — Пропустите товарища...

Рогов, опираясь на самодельные костыли, стал пробираться к столу. Один костыль был привязан к обрубку левой руки, второй он держал правой рукой.

Муравьев, обеспокоенный появлением калеки, наклонился к Шилову.

— Товарищ Шилов, это Рогов... о котором я говорил вам...

Но было поздно: Рогов, опершись на край стола, снял шапку, отер ею мокрое небритое лицо, оглядел президиум.

— Товарищ Василий Трухин вернулся из армии живой и невредимый. Мы выбираем его в председатели. Но он должен помнить об инвалидах войны, потому что кое-кто забывает их... Когда меня ранило, лежал я в лазаретах, в госпиталях. Ребята утешали меня: «Чудак-человек, чего ты убиваешься? Нога и рука это тебе не живот, не сердце, не мозги, не легкие, только конечности. Будешь жить, домой к жинке поедешь, к детишкам...»

Рогов остановился, при общей тишине все услышали, как он скрипнул зубами.

— Так-то оно так, не помер, живой стою. Муравьев вон с войны пришел с осколком в легких, а теперь, видите, — человек. А я? Вот! Вот смотрите!

Он выдернул из рукава розовый обрубок и стал смотреть на него, будто кто-то сыграл с ним глупую шутку.

— А...

Рогов матерно выругался, подхватил под обрубок костыль и стал пробираться к выходу.

Василий увидел, что бухгалтер встал со скамьи и, поддерживая калеку, вышел с ним.

Происшествие ускорило ход собрания: все притихли, проголосовали единогласно за Василия и стали расходиться. Шилов задержал Василия.

— Приезжайте ко мне на неделе — обсудим колхозные дела. Духом не падайте: поможем. Главное берите дела в руки сразу. Помните, что весеннний день год кормит.

Василий заметил, что Соня делала ему какие-то знаки. Догадался, что советует пригласить Шилова с помощником закусить. Приглашать начальство было неловко, но Василий все же сказал:

— Может, товарищ Шилов, зайдете к нам закусить? Поговорим малость...

— Спасибо. В другой раз... Дома нас ждут. Да и крутит на дворе, а пути сорок километров, — когда еще доберемся.

У автомобиля к Шилову подошел бухгалтер.

— Знаете, товарищ секретарь райкома, что мне напомнило сегодняшнее собрание? — Предисловие к «Капиталу» Карла Маркса: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно».

— Но это было сказано совсем в другом смысле.

— А вышло вот в этом самом смысле, — бухгалтер кивнул на расходившихся в темноте колхозников.

Газик уехал. Василий взял Соню под руку, повел по середине дороги.

— Ну вот, твоя взяла: придется оставаться.

11. СНОВА МЮНХЕН

На этот раз Мюнхен глядел на Федора по-иному: при въезде в город, когда полицейские проверяли документы, выглянуло солнце, заблестел мокрый асфальт, залоснилась на газонах трава; руины домов с улиц были приглажены, почищены, в первых этажах разбитых зданий гнездились лавочки, а то и магазины с яркими веселыми вывесками. И страха у Федора не было: на этот раз он въезжал в Мюнхен с американцем и ехал поступать на службу в американское учреждение.

Боб служил в Вашингтоне в сенатской комиссии по делам беженцев. Комиссия подготовляла проект правительственного постановления о допущении в США вне квот 205 000 беженцев. В Америке в дело переезда беженцев через океан включились благотворительные и церковные организации. Толстовский фонд в Нью-Йорке во главе с дочерью писателя Александрой Львовной Толстой стал получать больше пожертвований — это позволяло ему расширить помощь русским эмигрантам в разных странах мира, в первую очередь в Западной Европе.

Беглецами из СССР заинтересовались американские академические круги. Известный Фордовский фонд был занят проектом организации помощи беженцам интеллигентам, были ассигнованы средства на русское издательство. Правительство Соединенных Штатов решило открыть радиостанцию для передач на многих языках мира, в том числе и на русском, украинском...

— Вот видите, Федор, я говорил вам...

— Ну, а эта экспедиция? — спросил Федор

— Одно из начинаний. Группа молодых научных работников, недавно окончивших разные университеты в Штатах, — историки, социологи, психологи, литераторы — готовит свои докторские диссертации на темы, связанные с Россией-СССР; они и организовали экспедицию для массового опроса эмигрантов из СССР. В связи с переменами в Штатах им удалось достать средства на эту экспедицию. Их диссертации, книги, статьи в свою очередь помогут общественному мнению ознакомиться с положением в стране, о которой у нашего народа самые неясные представления. Вот так... Я рад, что навсегда покончено с ужасами, свидетелем которых я был...

— Но мне, Боб, не хотелось бы называть свое имя... И вообще вылезать...

— Я об этом думал, Федор. Я побывал на своей прежней службе и поговорил там с ребятами о вас — все о-кей, американские власти вас в обиду не дадут. Теперь там молодежь. Во время войны в подобные учреждения набирали антифашистов, среди которых оказалось немало наших прокоммунистов. Я о вас рассказал главе этой научной экспедиции. На случай каких-либо осложнений...

— Осложнения, все-таки, могут быть?..

— Могут. Положение в Германии еще сложное. Формально советские власти все еще могут требовать вашей выдачи...

Боб поглядел сбоку на Федора.

— А все-таки вы не послушались меня.

— В чем?

— Я говорю о хозяйке — о миссис Эрике.

Федор от неожиданности замолчал. Подумав, сказал:

— Бегство, Боб.

— Бегство? О чего?

— От страха... Другой бежит в алкоголизм, третий — в наркотики...

Петер и Курт снимали у пожилой одинокой дамы большую комнату. Петер выглядел поздоровевшим — сказывались харчи фирмы «Бр. Майер», но покашливал. Он сразу же полез в чемодан и положил на стол перед Федором большую пачку рейхсмарок.

— Двадцать пять тысяч.

— Что??!

— За бриллиант — с дядюшки Функе.

— Как же вам удалось?!

— С помощью Боба.

Боб, приехав в Мюнхен, встретился с Петером, и они решили сделать Федору сюрприз. Боб надел свою офицерскую форму и они поехали в Вуппертальь. Появление Петера с американским офицером и требование бриллианта, принадлежавшего человеку, сгинувшему несколько месяцев тому назад, так поразили герра Функе, что он даже не пробовал защищаться.

Он рассказал Петеру, что его жена последний месяц по ночам плачет и все попрекает его за этот проклятый камень. Ему самому стало казаться, что неудачи в делах в последнее время как-то связаны с этим бриллиантом. Поэтому он его и продал. (Продал он его не за 25 000, а за 42 000 марок, но отказаться от заработка было свыше сил герра Функе.) В прошлое воскресенье они всей семьей были в кирхе и патер говорил о сострадании к потерпевшему и преследуемому ближнему — жена стала громко плакать. Она ничего не говорила, но он-то знал, что думала она об этом русском.

На прощанье герр Функе отвел Петера в сторону и попросил:

— Петер, напиши танте Эльзе о том, что я вернул русскому стоимость его камня.

— Я сам ей напишу! — закричал Федор и тут же стал расклады-

вать деньги на три стопки. — Это, Петер, вам — двенадцать тысяч: вам нужно учиться... А эти двенадцать тысяч мне, а эта тысяча — на всех нас: кто знает хороший ресторан, где можно вкусно пообедать?

Курт знал маленький уютный ресторанчик, хозяин которого знакомым клиентам подавал по ценам черного рынка колбасы, мясные блюда, свежую форель и хорошее мозельское вино.

Доктор Вильямс, которого Боб называл просто Эд, по-немецки не говорил: с Бобом он разговаривал по-английски, с Федором по-русски. По-русски он говорил так, словно ехал на автомобиле по прямой улице, засыпанной крупными камнями... Он тут же повел Федора знакомиться с сотрудниками.

Экспедиция занимала уютный трехэтажный дом с большим садом. Американцы — их было человек восемь, — все в очках, начищенных туфлях, добротных костюмах из толстой ворсистой материи разных расцветок, в очень чистых выглаженных рубашках с галстуками, пожимали Федору руку и говорили: «Хай!» или «Очень приятно с вами познакомиться», или «Как поживаете?» Федору они понравились — здоровые, молодые, приветливые.

На втором этаже работали русские.

— Начнем с вашей комнаты, — сказал Вильямс.

В большой комнате с окнами в сад стояли два письменных стола, — вдоль стены старинные книжные шкафы. За столом справа сидел худощавый человек с очень синими глазами на узком лице, с прямыми мягкими волосами на пробор. Он встал, подал Федору сухую напряженную руку.

— Опарин.

— Лев Александрович будет вашим соседом, — сказал Федору Вильямс.

Потом, в коридоре, добавил:

— Мистер Опарин известный писатель русской эмиграции.

— Он старый эмигрант?

— Не старый и не новый, его в тридцатых годах выкупили из Советского Союза родственники. Тогда советское правительство нуждалось в валюте для индустриализации и «продавало» своих граждан заграничным родственникам по тысяче долларов за душу.

Федор о таком никогда не слышал.

После знакомства с Опариным Федору пришлось пережить неожиданное: в следующей комнате за столом, заваленным бумагами, сидел профессор Осьмеркин, а за другим столом — девушка-подросток, в которой Федор узнал Ирочку Тоденгаузен. Профессор всплеснул руками, засуетился, упустил пенсне и, мешая русские слова с английскими, стал рассказывать Вильямсу об обстоятельствах своей встречи с Федором.

— Надеюсь, профессор, что встреча здесь на много приятнее, чем в Платтлинге! — засмеялся Вильямс.

В следующей комнате к Федору бросился Костя. Он почти не изменился, только завел черные усы.

— Федя! Вот это номер! Жив, значит!

Из-за Кости выглянуло розовое личико, потом протянулась красная ручка и тонкий голос сказал:

— А мы ведь тоже знакомые . . .

— О, Сергей Аполлонович! — Федор вспомнил и фамилию человечка: — Адлер?

— Адлер. Он самый . . . — человечек покраснел. — Вот, слава Богу, и встретились снова. Значит, все обошлось?

— Как видите. А как семья ваша?

— Все живы и здоровы. Благодарствуйте.

В следующей комнате Федора ждала другая неожиданность: навстречу поднялась барская фигура Тоденгаузена.

— Очень приятно . . .

Федор сделал вид, что не заметил протянутой руки.

За вторым столом сидел «макинтош», которого Федор видел не раз на квартире Тоденгаузена. Тоденгаузен начал что-то говорить Вильямсу по-английски, но Вильямс по-русски сказал:

— Федор Николаевич наш новый сотрудник. Я его знакомлю с нашей экспедицией, — и вспомнив, улыбаясь добавил: — Прошу любить и жаловать.

Были еще две секретарши американки и несколько русских машинисток — тихих, неразговорчивых. Федор, ошалелый от встреч, вернушись в кабинет Вильямса, сказал Бобу:

— Здесь Тоденгаузен. Помните?

— Тоденгаузен? А . . . — Боб по-английски о чем-то спросил Вильямса.

— Доктор Вильямс говорит, что мистер Тоденгаузен очень ценный работник: отлично знает языки и знает почти всех эмигрантов. Но вы не беспокойтесь, Федор: у вас будет самостоятельная работа, вы не будете зависеть от мистера Тоденгаузена.

— Олл райт, — сказал Федор.

— Ну и отлично, — засмеялся Боб. — Теперь я должен ехать, — мой поезд во Франкфурт уходит через час с четвертью.

— Вы еще приедете, Боб?

— Заеду перед отлетом в Штаты. Не беспокойтесь. Все будет хорошо. Гуд бай, Федор.

— Выходит, что только мы с вами не знакомы, Федор Николаевич? — встретил Федора Опарин.

— Выходит так, — ответил Федор, чувствуя себя, после прощания с Бобом, покинутым.

— Вы будто огорчены встречей со знакомыми? — нервно усмехнулся Опарин.

— Одной — да.

— Догадываюсь . . .

— Но другим я рад. Добрые люди . . .

— О, вы тоже о добре и добреньких! Да-да, делать добро — это наша исконная русская черта. Другой душу готов отдать ближнему, но,

если вы помешаете, когда он занят доброделанием, он, вас, милый мой, зарежет! Убьет!

— Ну, это вы уж слишком, — засмеялся Федор.

— Бойтесь доброделателей эмиграции.

— Это почему же?

— Потому что эмиграция похожа на советскую власть: обе имеют мало общего с народом.

— О... Сразу видно что вы писатель.

— Э, дорогой мой, что писатель! Лет пятьдесят тому назад Толстой говорил: «Талант — это любовь: посмотрите на влюбленных — все талантливы». Сегодня советский писатель говорит: «Литературное мастерство — это любовь к товарищу Сталину»; просто русский писатель скажет: «Литературное творчество — это любовь, законы которой каждому приходится открывать заново». Ну, а западный писатель говорит: «Литература, как секс: каждому приходится вновь изобретать то, что делали Адам и Ева, только надо изобрести свой, хотя бы один, новый способ совокупления»...

Писатель, знаете, должен быть вроде врача своего времени: он устанавливает диагноз болезни своей эпохи. Трагедия писателя в России в том, что писателю запрещено говорить о заболеваниях, о больном он обязан говорить, как о цветущем здоровяке... Помните, как Гоголь и Лермонтов у нас описывали болезни России их времени? И вообще, дорогой, писатели, поэты не могут писать о приятном, так же как не дело врача заниматься здоровыми людьми.

Опарин встал из-за стола и подошел к Федору. Федор почувствовал запах водочного перегара.

— Ведь к чему идет литература на родине (об эмигрантской я не говорю — здесь дело идет к концу!)? Великими писателями в России скоро будут не те, у кого талант, а те у кого храбрость найдется, солдатская храбрость, чтобы написать о том, что всем известно, что каждый знает. Появится более-менее правдивая книжица — автор попадает в гении, редактор — в Белинские...

— Тогда надо, выходит, читать книги проверенные временем: Толстого, Достоевского? — примирительно спросил Федор.

— Дело не в Достоевском и не в Толстом, дорогой: книги они написали великолепнейшие, но они, все-таки, — вчерашний день... Вы только посмотрите вокруг! Что творится на земле! Знаю, можно найти сходства, цитаты всякие — провидец, мол, гениальный, а по мне — это духовный онанизм... И Ленин с Марксом — тоже «вчера». А жизнь — это «сегодня» и «завтра». Я говорю это при всем моем уважении к знаменитым гениальным покойникам. При всем уважении — не подумайте... — Опарин трезво поглядел на Федора. — Теперь, говоря конкретно о «сегодня», по просьбе мистера Вильямса я звонил в мой пансион. Хозяйка сказала, что на третьем этаже (я живу на первом) имеется хорошая комната... с крепкими запорами и телефоном. А говоря про «завтра», — вы как, пьете?

— Выпиваю.

— Выпиваете! Тогда у вас и «завтра» может быть. А у меня, дорогой, «завтра» уже нет...

— Почему же нет, Лев Александрович? Наверно, вчера вам было хуже, чем сегодня?

— Очень было плохо.

— Ну, а теперь служба — интересная, специально для писателя.

— Служба для писателя — гроб. Кто из настоящих писателей служил? Писатель должен писать, а не служить. А ко всему — эмиграция, а она — трагедия, для писателя горчайшая: мой читатель остался там, а я здесь.

— А иностранный?

— Иностранный? Ни он меня не понимает, ни я его. Я писатель русский. Работа, говорите, интересная. Чем? Помогаю американцам опрашивать людей, им непонятных, замордованных, запуганных... Эмиграция — кривое зеркало своего народа. Соберут американцы свои материалы, станут делать выводы, нас с вами к выводам не подпустят и выйдут выводы кривые.

— Мы должны помочь им.

— Как? Мне о вас Иван Иванович Осьмеркин сказал, что вы человек в эмиграции новый, а я... все прошел... Вот голова болит с похмелья. Вы сходите к профессору, — он вас ждет, а я кое-куда сбегаю неподалеку...

В комнате профессора ждали и Костя и Адлер. Федора окружили, посыпались взаимные вопросы. Федор рассказал о побеге с Чугуновым, о расставании с ним.

— Он доберется! Полковник — мужик мировой! — кричал Костя.

Профессор вздохнул.

— А как же ты, Костя, выбрался? Тебя же вывезли? — спросил Федор.

— Как по нотам! Ночью — у самой уже границы — удалось выломать две доски в полу вагона и — вниз: лежали между рельсами, пока поезд не прошел! Восемь нас ушло!

— Ну, а вы, Ирочка, как? Как мама?

Девушка покраснела.

— Хорошо. Спасибо. Мама будет рада узнать, что вы живы и здоровы.

— А вообще ситуация? — спросил Федор у всех.

Профессор стал рассказывать. Положение беженцев в последнее время заметно улучшилось. В лагерях УНРРА люди немного успокоились, началась эмиграция в Бельгию на шахты, в Аргентину, в Марокко. Работники УНРРА стали защищать беженцев от произвола советских репатриационных миссий. Местные немецкие власти тоже кое в чем помогают.

— Помните, я говорил Павлу Петровичу... Жалко его...

— А по-моему, он это здорово! — перебил Костя. — Доберется домой, а там... Настоящий революционер! У нас, Федя, народ тоже организуется: наши — власовцы, солидаристы, монархисты! Главное,

что американцы начинают на нашего брата смотреть не как на предателей.

— Все?

— Все не все, а о выдачах не слышно... И то хлеб!

— Федор Николаевич, вы не слышали насчет эмиграции в Америку? — вставил слово Адлер. — Вы с американцами знакомы...

Все знали, что Федора привез американец и что называл его просто по имени.

— В Америке в Конгрессе готовится билль о допущении нескольких сот тысяч беженцев.

— Вот-вот, — закивал Адлер. — Мы здесь записались на эмиграцию в Америку. Говорят, в будущем году начнут вывозить.

— Как же вы, Сергей Аполлонович?

— Понемножку, потихоньку... Вот переехал с помощью господина Тоденгаузена в Мюнхен. Мне в Миттенвальде после случая с вами жизни не стало...

— Из украинца опять русским сделался! — захохотал Костя.

— Ничего в этом смешного нет! — обиделся человечек. — Все мы эмигранты! Даст Бог, осядем на какой-нибудь земле гостеприимной. Главное, чтоб душа чистой оставалась...

— Да он шутит, Сергей Аполлонович, — сказал профессор. — Все устроимся. Вот только бы Павла Петровича хранил Бог.

Зазвонил телефон: Косте нужно было ехать в унрровский лагерь Шлейсхайм.

— Надо бы вспрыснуть встречу, но — в другой раз. Пока!

Скоро ушел и Адлер.

— Федор Николаевич, а вы к нам заедете? — вдруг тихо спросила Ирочка.

— Вот устроюсь, Ирочка, с жильем, осмотрюсь... Татьяне Владимировне передайте мой самый сердечный поклон.

Ирочка поглядела на Федора, понимая, что Федор ее отцу не простил.

— Ну, не стану вам дольше мешать. Теперь каждый день будем видеться, — и Федор ушел.

12. ПОСЕВНАЯ

Соня видела мужа урывками в конторе колхоза, где она теперь работала секретарем, и по ночам, когда Василий возвращался домой. Вставал он чуть свет. Мать уже стучала рогачами, со скрежетом двигала тяжелыми чугунами по кирпичному поду печи, гремела ведрами, сливая колодезную воду в кадку, что стояла в сенях, толкла толкушей горячую картошку, сдабривая ее топленым салом, потом сиде-

ла и смотрела, как сын торопливо ел, а когда уходил, говорила: «Ну, с Богом». Соня вставала позже, когда дома уже никого не было.

Трудней всего Василию приходилось с людьми: бабы пользовались любым предлогом — «Ой, женским делом занемогла!» или «Живот свело, нет моих сил!», — чтобы не выйти на работу и остаться дома: все торопились вскопать свой приусадебный огородик, без которого — погибель верная! На колхоз люди не надеялись. Бабы побойчее ездили в районный город, а то и в областной, где выменивали вещи на стакан-два соли, на кусок сала, на банку жира или бутыль льняного масла — те самые вещи, которые в войну выменивали на картошку и кусок мяса у колхозников голодавшие горожане.

Беда подбиралась и к колхозу «Победа». В деревне уже померли двое: девонька Галинка лет девяти и бабка Лизавета. По избам люди доедали прошлогоднюю картошку, замешивая ее на сушоной коре и молодой травке. Мяса не было второй месяц. У кого была коровенка, тот еще вытягивал. В соседних областях люди пухли от голода; деревни там на треть стояли пустыми: голодные колхозницы, кое-как заколотив окна изб досками, бросали дома на произвол судьбы и бежали в города и на строительства.

В «Победе» дела, сравнительно, обстояли неплохо — Шилов сдержал слово: колхоз получил долгосрочный кредит в 20 000 рублей, новенький трактор СТЗ, семена и пять пудов жмыхов для скотины. Правда, жмыхи правление колхоза постановило раздать нуждавшимся семьям, — скотина до новой травы должна дотянуть, а людям предстояло тянуть до нового урожая. Дали Василию в районе немного мануфактуры — ситцев: раздал девкам и молодым женкам на кофты и платки — успели как раз к 1 мая — на деревне немного повеселело.

Самой заметной переменой в «Победе» были провода, которые тянули по столбам в колхоз монтеры Сельэлектростроя: Шилов добился в области выделения колхозу трансформатора в 50 киловольт-ампер и голых проводов для высоковольтной линии передачи, — линию тянуть пришлось более шести километров. На территории колхоза эту работу вел сам Василий силами колхозников-подростков. Проводить электричество нравилось, и они были готовы работать до темна. Были выкопаны ямы под столбы, сами столбы заготовлены и обтесаны, ввинчены крюки с изоляторами. Из материалов не хватало шнура для внутренней проводки и резиновых трубок для вводов сквозь стены.

Помощь колхозу «Победа» Шилов оказывал неспроста: на то было постановление обкома — сделать отстающий колхоз района передовым, чтобы все увидели, что хозяйственный успех решают толковые руководители. Газеты — и местная и областная — писали о Василие Трухине, который, мол, приняв отстающий колхоз, не покладая рук борется за его процветание, и из колхоза не только никто не бежал, а наоборот, в колхоз поступают новые силы. О помощи райкома газеты, конечно, не писали, как не писали и о решении обкома провести показательно-пропагандное мероприятие через подъем колхоза «Победа». Правда, об этом решении обкома редакторы газет и не знали.

Колхоз вырос на пять человек: бухгалтера Павла Петровича Лунина, секретаря Софию Трухину, пастуха, которого звали Стариком, и на одну семейную пожилую пару, эвакуированную во время войны откуда-то из-под Пскова, где теперь у них никого не осталось, а домишко сгорел.

И хотя люди по-прежнему на колхозную работу выходили неохотно, предпочитая свои огородики и свою скотину, план весенней вспашки выполнили и с посевной кое-как управлялись. Соседняя МТС обязательства свои выполняла, хотя и не все, но, по распоряжению райкома, старалась. Секрет был прост: Василий, достав разными путями четыре мешка муки, полмешка пшенной крупы и немного сала, организовал для работающих колхозников завтраки, обеды и ужины — прямо в поле: голодные люди сами напрашивались на работу. Но работали с трудом.

Больше всего помогла организованная по предложению пастуха Старика маленькая кожевенная мастерская, которую устроили в крайней пустовавшей избе. Сырых кож в деревне набралось штук сорок — телячьих, коровьих, козьих, бараньих, и еще выменяли штук тридцать в соседних деревнях — у родственников, без огласки. Колхозники обязаны были сдавать шкуры районной конторе «Заготкожа», но из конторы никто не приезжал с прошлого лета, да и платила она гроши; какие-то неизвестные люди, иногда неожиданно появлявшиеся по деревням, платили в пять-шесть раз больше. Старик обучил эвакуированную пару кожевенному делу, Василий приставил подростка лет семнадцати, достал в районе у спекулянтов негашеной извести, экстракту, хромпику, кое-какой инструмент, колхозный кузнец отточил, как бритвы, две косы — снимать шерсть и мездру с кож — и дело пошло! Не только в деревнях, но и в городах люди ходили в чиненных-перечиненных сапогах — с довоенных лет. Зимой еще спасали валенки с самодельными, из автокамер, галошами, летом ходили босиком, но весной и осенью — хоть ложись и помирай! За кожу давали и деньги, и жиры, и бензин, и носильные вещи . . .

В районную милицию и райком посыпались доносы: Василий Трухин в колхозе «Победа» организовал кожевенное производство в целях спекуляции! Нарушение было налицо: подобное кустарное производство рассматривалось, как самогоноварение! Только государство имело право скупать шкуры, изготавливать кожу, устанавливать на нее цены, продавать через государственную торговую сеть. Василий никогда не посмел бы пуститься в подобную авантюру, но Шилов сказал ему:

— Разрешаю до нового урожая. И только для собственных нужд колхозников колхоза «Победа». Понятно? Все. И о разговоре забыть.

На выделанные кожи Василий у спекулянтов в соседней области выменял шесть шинелей, пуд сала, тонну отборной картошки. Картошка и сало шли в общий котел. Шинели раздал тем, кому не в чем было на работу ходить. Трем лучшим работникам, в том числе и бригадиру Капе, из кожи пошили сапоги, — вроде премии.

Почти все, что делал Василий, было в разной степени незаконно,

— за одну кожу прокурор мог подвести под статью, по которой полагалось заключение в лагерях лет на десять, если не больше. Но прокурор был под райкомом и, пока в райкоме сидел Шилов, Василий не боялся. Да и бухгалтер попался дошлый: он все «операции» проводил по бухгалтерским книгам так ловко, что и комар носа не подточит.

Больше того, Соня заметила, что бухгалтер Павел Петрович вел книги так, что, случись какие-либо неприятности, вина пала бы не на Василия, а на него — на бухгалтера. Он уговорил Василия не мешать самочинству колхозных баб, которые стали копать огороды на пустовавшей колхозной земле. Соня поддержала бухгалтера, и Василий махнул рукой.

Пришло распоряжение принуждать колхозников сдавать скотину в колхозы, не давать им кормов, не выделять покосов; бухгалтер сам помогал бабам резать оставшихся свиней и баранов, а Василию сказал:

— Вы были в районе и ничего не знаете.

Василий накричал на бухгалтера — надо же на кого-нибудь накричать, когда все кругом идет так, что голова ходуном, а тот спокойно так:

— Вы же фронтовик, подполковник, чай смерть видели не раз...

Василий выругался. Но вечером, когда в конторе остались он да бухгалтер, сказал:

— Был бы я один! На войне другое дело — свыкаешься с мыслью о смерти. А теперь, когда остался жив, когда вот жена, дитя родится, — чем милей они, тем страха больше. Легко быть храбрым, оговаривать других, когда у тебя никого и ничего!..

Бухгалтер ошпарил Василия горячим взглядом, но промолчал. Василию стало неловко.

— Сейчас, знаешь, тоже, как на войне, словно в окопе, только рядом с тобой жена, дитя твое, мать, отец. Понимаешь какая штука? От всего этого становишься как увеличенная мишень... Там страх был косматый, рычащий, — огонь, гром, железо, а здесь — белый, неслышный, как зараза какая...

Возвращался Василий домой за полночь измученный, голодный, прокуренный, пропитанный потом, ветром. Соня ждала его или у лампы с книгой, или в постели. Василий вытаскивал из печи еду. Молча ел. Потом раздевался и тяжело ложился рядом с Соней.

— Трудно? — шепотом спрашивала она мужа, гладя прохладными пальцами его горячий лоб.

— Трудно... — отвечал Василий и, немного помолчав, говорил: — Будто несет тебя куда-то... И ничего не поделаешь. И людей жалко, и себя жалко, а начальство требует... Ей-Бо, хуже чем на войне... И все время ври!..

— Не знала я, что ты умеешь врать...

— Научишься! С такой жизнью научишься: врать, кривить душой, давать взятки, брать взятки, красть, доносить...

— От кого же, Вася? Ни мама, ни отец, ни я...

Василий помолчал, вздохнул.

— Если прямо, то нет, а косвенно — да. Вы — мое хорошее и от

страха за вас... выкручиваешься... Да что там говорить! — опять помолчал. — Раньше я не знал, что так бывает... Идешь ли по полю весеннему, едешь ли по лесу, казалось бы — закрутился, дальше некуда, а увидишь цветочек голубенький, птицу в небе, облако высокое — красота: вот бы Соне моей показать, — думаешь, — вот бы с Соней сюда...

Соня прижалась к горячему боку мужа, погладила его по небритой щеке.

— Маленький ты мой, обижают нас...

— Кажется, и не было у нас никогда дней с тобой, чтобы всю-то ночку проговорить, проласкаться... Все на отпуск надеешься... А где он, этот отпуск?..

— Ничего, родной, ничего. Вот кончится сев, станет легче...

— Там пойдет уборочная, там хлебозаготовки, потом овощи, картофелезаготовки... А, будьте вы прокляты! Хоть ночью я хочу быть не председателем колхоза, не членом партии, а мужем собственной жены! Дай поцеловать тебя, радость моя единственная...

Потом еще успел рассказать, что завтра поедет в район — Шилов обещал для текущего ремонта три ящика гвоздей — один ящик можно будет поменять на сало: людей надо подкармливать, слабеют; в городе увидит одного снабженца, который обещал достать покрышки для автомобиля. (Автомобиль давно прибыл на станцию, но привезли его без покрышек, — в пути украли.)

— Будем с тобой ездить в лес на озеро... Там никого, кроме пташек да зверей... Нацелуемся... — и смолк; уснул, как будто кто по голове ударил.

Василий спал, вздрагивая и изредка постанывая. За перегородкой храпел Степан Иванович, неслышно, как всегда, спала Гликерия Семеновна. За стеной в хлеву ровно жевала корова. В избе было душно.

Соня лежала заложив руки за голову и думала о своих сослуживцах: Павле Петровиче и пастухе Старике, который до первого выгона скотины помогал в конторе бухгалтеру. Он и жил в конторе.

Был он стар, сед, ходил в видавшем виды полушубке, только бородка была холеной, — он все ее поглаживал. Появился он в колхозе вскоре после общего собрания, пришел вечером прямо к Трухиным. Гликерия Семеновна и Степан Иванович гостю обрадовались, накормили, хотели оставить у себя ночевать на печи, но тот отказался из-за молодых и пошел ночевать в контору. Василий, как председатель колхоза, должен был сообщать в район о всех новоприбывающих в деревню, но Гликерия Семеновна даже накричала на сына и обозвала его «безбожником». Оказалось что Старик уже жил в колхозе — пас коров летом 1943 года, во время войны. Все в деревне ему обрадовались — он, как пастух, ночевал и столовался в домах по очереди.

— Божий человек, — сказала Василию мать.

— Все прошел, — сказал о Старике Степан Иванович.

— Места мне ваши по-душе, — сказал Старик. — И люди средней России мягче характером. Кошки, говорят, перед смертью любимые свои места обходят, вот и я тоже.

Потом уже, когда стал он помогать в конторе Павлу Петровичу, тот спросил его:

— Вы что же, так и не живете нигде?

— Я везде живу. Хожу, мил человек.

— Давно?

— Давно...

— Зачем?

— Напоминаю людям, что в земле повсюду мертвые лежат: под корпусами новых заводов, вдоль железнодорожных линий, в братских могилах, в лесах где расстреливали, на погостах, кто века своего не дожил.

— А это зачем?

— Знаков о них не поставлено, вот я и напоминаю. Люди увидят скрюченные косточки под землей — под собой увидят — осторожнее ступать по земле станут. Совесть проснется. Вот так-то, мил человек...

Соня лежала в темноте рядом с Василием и думала, что и бухгалтер тоже не прост. Павел Петрович вначале как бы задирал Старика, взял как-то и сказал прямо:

— Ну, а что если мы донесем на вас?

— Кто это? — спокойно спросил Старик.

— Ну вот я или Софья Николаевна...

— Софья Николаевна не донесет... А вам скажу, что за все годы донесли на меня всего два раза: раз в городе — девушка комсомолка. А был год страшный. И что же вы думаете? Не расстреляли. Следователь бил, а подвел под десятилетний срок: пожалел. Другой раз стукач третьей части в лагере донес. Уполномоченный только перевел на общие работы, а там товарищи пожалели, помогли выдержать.

Старик как-то сразу подхватил мысль Павла Петровича о спасительности материнства.

— Вы очень правы, женщина биологически сильнее мужчины. В ней сильнее непроизвольный разум, космический, у нас, мужчин, разум земной, произвольный. Наш мужской разум — единственная гениальная шишка на теле вселенной — и все в природе против нее! Вы наверно обратили внимание на особенность нашего мужского разума: ненависть к инакомыслящим, нетерпимость, стремление докопаться до начала начал, а в этом соблазн обратного соединения с космосом — в виде гибели. Тут-то и выступает женщина с ее материнством, которое, как вы верно заметили, и должно уберечь человечество от последней беды.

— Это верно, что женщина биологически сильнее, — отозвался внимательно слушавший бухгалтер. — Был я на Украине во время голода в начале коллективизации: первыми умирали мужчины, потом дети и только после них — женщины, хотя последний кусок оставляли детям.

— То же было и в Ленинграде во время блокады, — подхватил Старик. — И еще, в плане сравнения, возьмите героев Октября, героев величайшей в мире, самой кровавой революции, возьмите легендарных

командармов, железных наркомов и сравните их поведение, их страх перед Сталиным с поведением жены Сталина, Надежды Аллилуевой, которая одна посмела сказать прямо в лицо страшному мужу своему: «Что же ты делаешь?! Что ты над людьми издеваешься?!» Женщина-мать восстала за человека. Убил ли ее Сталин или она сама в порыве последнего протеста, последней надежды тронуть сердце мужа, убила себя, но в ее гибели будущая победа естественного над выдуманным, безусловного над условным.

Умрет Сталин, похоронят его в мавзолее отдельном или положат вместе с Лениным, а Аллилуева лежит под скромным памятником на Новодевичьем кладбище. Но пройдут десятилетия или века, перестанут люди ходить в мавзолей (может и мавзолея того не станет), а вот к простому памятнику великой русской женщины, Надежды Аллилуевой, будут долго еще холить поклоняться памяти ее.

Бухгалтер во все глаза смотрел на Старика.

— Ведь я тогда в Москве был, а проглядел . . . Только рядом с ее памяником нужно будет поставить памятник нашей мужской трусости, нашему страху, нашей вине перед женщиной.

Кто-то пришел в контору и разговор прервался, а когда опять остались одни, Павел Петрович спросил:

— Одного я не пойму, Старик, что это вы имеете ввиду, когда говорите «условный разум», «безусловный разум»? Это что же, вроде условных и безусловных рефлексов Павлова?

— Если хотите . . . Вот видите — рука, я беру ею карандаш со стола, она движется условными мускулами, — мускулатурой, которой я могу приказать, а могу ли я приказать мускулатуре сердца, желудка или эндокринной системе? Нет, не могу. Первая мускулатура — условная, производная, вторая — непроизвольная, безусловная. При этом вторая, заметьте, ведает важнейшими органами Теперь возьмите и начните следить за работой сердца, старайтесь воздействовать на него, то есть вмешивайтесь своим условным разумом, — что получается? Невроз сердца. Вначале функциональное расстройство, затем органическое, а потом преждевременная смерть.

Возьмите половую сферу. Люди, которые пытаются вмешиваться в безусловную работу половых органов, становятся импотентами. У человека мускулатура — условная и безусловная, и разум — условный и безусловный. Условный разум, которым мы так козыряем, и безусловный — близкий к космосу, к природе. Наверно вы встречали безумцев, или слышали о них, предсказывавших будущее; замечали предчувствие у животных — все это проявление безусловного разума. Случается, что какая-нибудь опухоль в мозге задавливает условный разум — и вдруг идиот становится провидцем! Вспомните наших юродивых!

Большевики посягают на то, на что посягать нельзя: на внутреннюю жизнь человека, на природу, часть которой — человек, посягают условным разумом на безусловную сторону жизни. Если бы они вмешивались только в экономику по Марксу, то есть в мускулатуру общественных ног, рук, бицепсов, тогда была бы нормальная партия, но

они претендуют на всего человека — вмешиваются в безусловный мир. И что из этого получается — посмотрите на наше крестьянство.

— Ну, а безусловный разум, — он-то откуда в человеке?

Старик тихонько засмеялся, посмотрел на бухгалтера через старенько пенсне свое, погладил бородку.

— Боюсь, что покажусь вам сумасшедшим, но постараюсь пофантазировать... Помните, у Экклезиаста: «Нет памяти о прежних *людях;* да и о последующих, которые будут, не останется памяти о тех, которые будут после». Люди не сохранили памяти о своем происхождении и ищут условным разумом ответ на Земле — в костях обезьян, в эволюции видов — все, мол, от клетки, которая образовалась из мертвой материи. Безусловный разум подсказывает что-то иное: божественное происхождение человека, изгнание из рая...

Нет, нет, я эволюционное развитие принимаю — на этой нашей планете: условный разум — результат этого развития... Но чтобы так — из мертвой материи, из камня... Вот сколько лет, столетий мы считали, что мельчайшая частица материи — атом, а что оказалось? Оказалось, на сегодня, атом состоит из сотен частиц, мельчайших. Но самой мелкой, самой малюсенькой так и не знаем ведь. А если такая есть и в живой материи — в тысячи, в миллионы раз меньше мельчайшего вируса? А?.. И если эта частица может перелетать со скоростью света сквозь мировое пространство? Как пыльца по осени, как миграция рыб или птиц — все это не случайно в природе... Мы почти ничего не знаем о взаимоотношениях во Вселенной, а они есть — сложные, неизбежные. Но мы исходим из того, что Земля отдельна от всего мироздания.

— Ну, а человек?

— Человек? Ученые доказали, что через пятьдесят миллионов лет наша Земля остынет. Куда же деться людям? Мне думается, — переселятся на другие подходящие планеты. А почему такого не могло быть раньше? Где-нибудь там, во Вселенной? Что если наши далекие предки, спасаясь от гибели на какой-нибудь планете, вылетели с нее на космическом корабле? Лететь-то пришлось, может быть, тысячи лет; на корабле сменились десятки, сотни поколений, так что, долетев до земли, люди позабыли многое из того, что знали. Попав в первобытный хаос Земли, опустились до зверей. А ко всему, еще и разбиться при посадке вынужденной могли! Стали зверями, все забыли и стали приспосабливаться к местным условиям — стали эволюционировать, стала расти шишка, именуемая нашим разумом, условным разумом. Но тысячелетия нашей цивилизации, прогресса — суть воспоминания забытого!

Вы понимаете? Всякий раз, когда человек, в отличие от животных, своим условным земным разумом что-то создает новое — это не что иное, как воспоминание о том, что он знал когда-то! Гении — суть переводчики безусловного на язык условного. Толстой или Эйнштейн космический голос своего безусловного разума сумели перевести на язык земного условного...

— А причем мужчина и женщина? — тихо спросил, боясь что-то вспугнуть, бухгалтер.

— А при том, что мы, мужчины, ограничены больше Землей, а женщина принадлежит больше к космосу, ее материнство относится не только к Земле, но и ко всему, что происходит во Вселенной. Поэтому она и религии верна: религиозное мировоззрение — тоже воспоминание о забытом...

И вот тут Соня не выдержала (Старик и бухгалтер совсем забыли о ней) и спросила:

— А что, если люди полетят в космос и никого там не найдут?

Старик от неожиданности замолчал, засмеялся.

— Это неизбежно в первые сотни или тысячи лет — на доступных нам планетах — полетят и убедятся, что нет там ничего, кроме камней, в лучшем случае — мхов или гадов неразумных. И такая космическая тоска проснется в них! Вернутся на Землю и скажут: «Милые вы наши люди, ничего там нет, одни мы одинешеньки на нашей малой милой Земле! Что же мы делаем, братья единственные? За что истребляем друг друга, за что не даем друг другу житья? Одни мы в этой светлой тьме, одни в этом черным-черном свете!» И вот тогда наступит братство на Земле.

Разговор этот случился под вечер. Теперь, ночью, Соня думала: «Кто они эти люди?» Что-то было в них для Сони нереальное — и в них самих, и в их разговорах среди нищих домишек в лесу, меж голодавших женщин, детей и стариков, куда судьба забросила ее, Соню Панину, теперь жену Василия Трухина, который спал рядом с ней, стонал и скрежетал во сне зубами. Последнее, что вспомнилось ей из слов Старика, было:

«Истинное творчество, в том числе и социальное и государственное, — сродни материнству. Можно ли ненавистью вырастить здоровое дитя? Урода вырастишь! Кто сохранил еврейский народ? Ненависть к изгоям? Верность религии? Вздор! Идише мама — еврейская мать — вот кто!»

13. ОЖИДАНИЕ

Уже третья неделя пошла, как Карл отправился через границу. Ее он перешел благополучно, прислал жене открытку из Мюнхена, как было договорено. И больше ни слова. Кате все казалось, что Карл и Федор решили вместе пробираться назад через границу. От такой возможности, от ожидания и беспокойства она совсем извелась.

Ради ребенка Катя много времени проводила в постели; но ребенка-то она и забывала, пока однажды вечером, когда ей казалось, что все, все, все обречено на провал — ее авантюра с розысками Федора,

и что она дура из дур и просто неврастеничка, и что рискует не только собой, но и матерью, и ни в чем не виновным мужем, — и какого рожна ей еще надо! — и что ребенок после того, что произошло, родится мертвым или уродом... Катя была готова расплакаться, как вдруг внутри, где-то под сердцам, что-то легонько толкнуло ее — едва-едва, потом — сильнее. Катя радостно испугалась и вся прислушалась к этому движению в себе, к этому позывному: «Что ты, глупая, я жив, я здесь в тебе и с тобой!» И слезы — одна за одной, — другие, освобождающие, радостные потекли по ее щекам, и от каждого движения ребеночка она горячо шептала:

— Федя... Федюшечка мой...

Утром, проснувшись, Катя оголяла живот, — он возвышался огромным розовым подвижным яйцом, — осторожно трогала его указательным пальцем, потом щупала то там, то здесь. Иногда живот отвечал легким движением и Катя говорила:

— Прости меня, глупую... Ты еще спишь, а я бужу тебя...

Она разговаривала с животом каждый день, иногда часами.

— Феденька, сиротушка мой... Уже недолго, уже скоро, радость моя ненаглядная... И я тебя увижу, моя кровушка. На кого же ты похож у меня? На папку, наверно... Ты не бойся, папка наш скоро найдется. Вот только дядя Карл вернется... И будешь ты расти у меня большим, добрым, любимым... Сыночек ты мой!.. А может быть, ты не сыночек? Может быть, ты доченька? Пусть будет доченька. Назову ее Аннушкой, как бабушку... Ты уж прости меня, доченька, прости свою глупую мать: такая уж женская доля, дочурка, мучиться в любви... и других мучить через свою муку... Ты этого не знаешь, и любви никакой еще не знаешь, а страдать приходится...

Но тут же пугалась: почему страдать?

— Ой, еще беду накличу своими глупыми бабьими разговорами!..

Карл объявился неожиданно. Похудел, осунулся. Катя схватила его за рукав куртки и потащила в спальню.

— Письмо?..

Карл виновато, снизу, поглядел на нее.

— Нет. фрау оберст..

— Нет?!..

— Я герра майора не нашел...

Петер рассказал Карлу, что видел Федора в день его приезда в Мюнхен и что он со знакомым американцем поехал в какое-то американское учреждение, куда Федор должен был поступить на работу. Что это за учреждение, как называется — Петер не знал. Карл искал Федора Таневского среди русских эмигрантов, пока его не познакомили с герром Тоденгаузеном, который долго его расспрашивал: откуда он и зачем ему герр Таневский, и как он его знает. Карл говорил, что Федор, мол, оставил ему кое-какие вещи и что он хочет вернуть их ему. На другой день Карла арестовала мюнхенская полиция. Четыре дня продержали под арестом, допрашивая, кто такой герр Таневский. На пятый день допрашивал какой-то американец, затем Карлу объя-

вили под расписку, что он обязан покинуть в двухдневный срок пределы американской зоны Германии.

Карл попросил Петера и Курта продолжать поиски Федора и, если что-либо станет известно, немедленно дать ему знать в Берлин.

Рассказав все это, Карл вытащил из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенный лист, мелко исписанный цифрами, — отчет в расходах по поездке, — оставшиеся деньги были приложены к отчету. Катя не сразу поняла, о каких деньгах говорил ей Карл.

— Оставьте себе, Карл... Как же это так?..

— Деньги всегда деньги, гнедиге фрау, — ответил шофер. — Мне очень жаль, что не удалось разыскать герра майора... Жалко, что теперь я не смогу вторично съездить туда, если Петер что-нибудь узнает. Я говорил жене, но она боится, гнедиге фрау...

— Нет, Карл, вы достаточно натерпелись из-за нас. Я вам очень благодарна... Вы настоящий друг..

Ее взгляд остановился на конверте с деньгами, который Карл положил на столик. «Он, может быть, думает, что на поиски любовника я трачу деньги мужа!» — она покраснела.

— Я трачу свои личные деньги, Карл...

У Кати были свои деньги. Она, как и другие жены начальствующих лиц СВАГ'а, с помощью коменданта Баранова и более опытных в таких делах знакомых, приобрела у голодавших немцев на продукты — жиры, кофе, сало, сахар — кое-какие драгоценности, меха, платья. Летом 1945 года Катя четыре раза ездила в Москву, где часть вещей продала.Тогда еще можно было ввозить советские деньги в Германию, и Катя привезла выручку в Берлин, потом, когда был издан приказ, запрещающий советским гражданам и военнослужащим иметь на территории Германии советские денежные знаки, тот же Баранов и особенно те, кто покидал Германию и возвращался в СССР, где немецкие марки ничего не стоили, меняли их на рубли не по официальному курсу — две марки за один рубль, — а двадцать-тридцать марок за рубль. Катя стала обладательницей почти ста тысяч марок. Баранов как-то позвонил Кате и сказал, что срочно продает несколько мешков сахара по шестьдесят рублей за мешок и уговорил Катю купить три мешка; они так и лежали в подвале дома Баранова в Панкове.

Карл ушел. Катя легла на кровать, оголила живот.

— Ты слышал? Все слышал?

Живот не двигался.

— Спишь, дурачок... Сироты мы с тобой...

В коридоре неожиданно послышались шаги мужа, хотя до обеденного перерыва еще было далеко. Он постучал.

Катя натянула одеяло до подбородка, слегка поправила волосы.

— Входи, пожалуйста...

Рыльский стал у двери.

— Что же ты стоишь? Садись...

— Я уезжаю... В западные зоны Германии — в английскую и американскую...

— В западные зоны?..

Катя с испугом глядела на мужа.

— Еду в составе комиссии по репарациям из западных зон — по решению Контрольного Совета.

— Надолго?

— Точно не знаю. Думаю, что на две-три недели. Эмма будет приходить каждый день по-прежнему, кроме того, если тебе что-нибудь понадобится, звони в управление моему заму — он распорядится...

— Спасибо...

— Я говорил с главврачом, она по-прежнему будет навещать тебя...

— Спасибо... — опять сказала Катя, раздражаясь: с главным врачом Серафимой Васильевной она дружила и говорить с ней Рыльскому было не к чему.

— Ну вот...

— Когда ты едешь?

— Часа через два. Соберу только чемодан...

— Ну тогда до свиданья, желаю удачи.

— До свиданья, Катя. Надеюсь, что у тебя все будет благополучно...

Ночью перед сном Катя снова разговаривала с животом. И живот на этот раз двигался, как никогда прежде.

— Что же нам делать, деточка моя? Где же нам теперь искать нашего папку?

Ребенок в утробе матери словно что-то знал — дернулся так, что Катя испуганно охнула, безмерно удивившись мгновенно появившейся под натянутой кожей живота маленькой ножке.

14. ЭМИГРАЦИЯ

С утра начинались интервью с эмигрантами, которых разыскивали Тоденгаузен, Костя, Опарин, Адлер и «Макинтош». Профессор с помогавшей ему Ирочкой приводил тексты интервью в порядок, корректировал их, отдавал машинисткам для перепечатки.

Интервью начинались с беседы эмигранта с психологом миссис Корсон, немногословной худой женщиной неопределенного возраста с малоподвижным лицом, с глазами сильно увеличенными толстыми стеклами очков. По беседе с опрашиваемым и по серии тестов, которые эмигрант проделывал для миссис Корсон, она определяла его характер и склонности, а главное — степень его правдивости: можно ли верить его рассказу, относиться ли к рассказу с осторожностью или не верить ему. За один день интервью платили 250 оккупационных марок, что для эмигрантов было немало.

Служба Федора тоже началась с беседы с миссис Корсон.

В кабинете миссис Корсон стоял приятный полумрак, горела настольная лампа, кресла были мягкие, удобные. Сама миссис Корсон сидела на диване. Она предложила Федору сигарету, закурила сама. Потом попросила его рассказать о своей жизни, при этом — подробнее о детстве. По-русски миссис Корсон говорила свободно.

Федор рассказывал часа три. Миссис Корсон смотрела на него круглыми увеличительными стаклами очков и время от времени делала пометки в блокноте. Федор старался вспомнить как можно больше подробностей. Воспоминания о детстве, о матери, о Соне, о школьных годах взволновали его, и только редкие вопросы мисси Корсон, вроде: «Когда и при каких обстоятельствах вы почувствовали первое половое влечение?», или «Какие сны детства больше всего запомнились вам?», или «Как на вас подействовала первая поллюция?» — ошарашивали его, он терялся, но тут же старался вспомнить, как было, веря что все это нужно для дела.

Когда Федор рассказывал о поздних годах своей жизни — об институте, о работе на заводе, о годах войны, — миссис Керсон вопросов не задавала и, как показалось Федору, не очень этим интересовалась, хотя для него эти годы и события были самыми значительными в его жизни. Спросила о побеге, но не о самом побеге, а о том, что Федор ощущал перед побегом, и что — сразу же после побега.

Настало время обеденного перерыва. Американцы пригласили Федора в свой ресторан. За столом Федор, разгоряченный воспоминаниями, по инерции продолжал рассказывать, забывая про еду. Только к концу обеда заметил, что все время говорил один он и что это было просто не тактично, — он извинился.

Вторая половина дня ушла на тесты. Вначале миссис Корсон дала Федору пачку из пятидесяти картинок — в течение 50 минут он должен был придумать названия картинкам. Это было похоже на одну из школьных игр, в которых Федор часто выходил победителем. Он и на этот рас постарался и все сделал за 15 минут. Ожидал, что миссис Корсон удивится, похвалит его, но она посмотрела на него сквозь очки, как в телескоп, откуда-то издалека и стала показывать ему грязноватые симметричные чернильные пятна разных форм на листках картона, спрашивая, что каждое пятно напоминает Федору. Потом читала Федору неоконченные фразы, а он придумывал им окончания. Последним тестом были пять картинок — к каждой из них он должен был написать небольшой рассказ.

На субботу и в воскресенье два молодых американца — мистер Скотт и мистер Доннер — пригласили Федора совершить с ними прогулку на автомобиле в Мурнау на Хиндерзее. Мистер Скотт говорил по-русски плохо, но русскую и советскую литературу и поэзию знал отлично, — оказалось, что в Гарвардском и Колумбийском университетах, где он учился, преподавали русские профессора. Он писал книгу о советских поэтах. С разрешения Федора, он записал восемь стихотворений самого Федора, что Федору было приятно: будто он их впервые напечатал. Мистер Доннер интересовался спортом. Федор, как большинство его сверстников, тоже увлекался спортом и с удоволь-

ствием рассказал о жизни знакомых спортсменов, о соревнованиях, спортивных кружках в школе, на заводе, в институте.

Погода выдалась чудесная, и поездка удалась на славу. Федор пел американцам старые русские песни, песенки военных лет, научил их петь «Катюшу», рассказывал анекдоты. На первом же привале в баварской деревушке, они перешли на «ты» — американцы стали называть Федора Федей, Федор их — Биллом и Джоном. В Мюнхен вернулись вечером в воскресенье, обедали в отеле, где жили американские сотрудники экспедиции. Билл Скотт около полуночи отвез Федора в пансион. Федор был радостно возбужден, доволен и не сразу понял, что значила записка, подсунутая под дверь его комнаты. Записка была от Опарина. «Где вы пропадаете? Здесь был Костя, принес бутылку самогона, хотели выпить».

В понедельник утром Федора вызвал мистер Вильямс.

— Теперь я хочу поручить вам заполнение вопросников. Мы хотим охватить как можно большее число эмигрантов, но путем интервью многих не опросишь — это требует много времени, а времени у нас мало, — и требует много средств, которых у нас тоже не много. Вы вместе с Львом Александровичем Опариным будете ездить по лагерям УНРРА и по частным домам, где живут интересные эмигранты, и вместе с ними будете заполнять вопросники. За ответы на один вопросник вы будете платить им сто марок, которые получите подотчет в кассе.

Подумав, Вильямс добавил:

— Мистеру Опарину, из-за его слабости к алкоголю, денег мы не можем выдавать. В вашем распоряжении будет джип, у секретаря получите удостоверение, по которому сможете ездить по лагерям беженцев. Договариваться с эмигрантами — это будет зависеть от вас, от вашего умения. Я думаю, что мистер Опарин будет вам полезен — беженцы его знают, вернее — его книги. Бланки анкет получите у профессора Осьмеркина. Гуд лак, — я хотел сказать: желаю удачи! Да, кстати, вы будете получать тысячу марок в месяц — для черного рынка это немного, но экспедиция для своих сотрудников, в том числе и для русских, закупает по твердым ценам на американском складе сигареты, табак и мясные консервы. Надеюсь, что вы довольны условиями?

Федор поблагодарил и пошел к себе наверх.

— Что, отговорили? — встретил его Опарин, имея ввиду интервью Федора. — Мне затея с анкетами очень нравится. Не столько сам вопросник, сколько автомобиль и поездки. Погуляем на славу! Костя будет ездить с Адлером, Тоденгаузен — со своим подручным.

Федор уже прочел один из романов Опарина о двух братьях, сиамских близнецах. У братьев все было общее: мать, несчастье, детство, юность, постель, помещение, медицинская сестра, в которую оба влюбились и из-за которой один задушил другого, а тем самым убил и себя. Федор уловил подтекст: братство и единение людей невозможно при эгоизме, даже любовном. Он сказал об этом Опарину. Тот подумал и ответил:

— Это верно и в отношении государств и обществ.

Федор не понял, но Опарин не стал объяснять, а только показал рукой на карту, висящую на стене.

Ирочка выдала Федору под расписку 3000 марок.

— Опарину денег не дают, — сказал Лев Александрович. — не доверяют Опарину...

Ирочка густо покраснела, профессор в утешение заметил:

— Вам же спокойнее, Лев Александрович.

— Верно, Иван Иванович, верно...

Федор заметил, что и профессор, и Ирочка избегали разговаривать с ним и уже в своей комнате спросил об этом Опарина.

— Бросьте. Плюньте. Не на профессора, конечно, а на то, что кто-то не разговаривает. Посмотрим лучше анкеты.

Вопросник начинался обращением:

«Наша экспедиция состоит из американских научных работников, изучающих жизнь и быт в СССР. Вы, люди жившие в Советском Союзе, являетесь наилучшим источником интересующих нас сведений. Наш подход в вопросам жизни в СССР чисто научный Нам хочется получить как можно больше данных о том, как живут люди в Советском Союзе, и мы будем вам благодарны, если вы постараетесь ответить на все вопросы».

Около ста вопросов были разбиты по темам: сведения о личной жизни опрашиваемого, об его образовании, интересах, об его семье, службе или работе в СССР, об его отношении к власти, об его взглядах на советское общество, об его представлениях о жизни в США и так далее. Для ответов на большинство вопросов требовалось только поставить крестик на один из предполагаемых ответов, например: «Если вы уехали из СССР после 1945 года, как вы это сделали — дезертировали (убежали) из оккупационной армии, дезертировали (убежали) из гражданской оккупационной организации?»

— Почему «дезертировали»? — спросил Федор Опарина.

— Бросьте придираться, дорогой. Русский язык вопросника оставляет желать лучшего! Хорошо еще, что нет фрейдовских вопросов вроде: «Что вы чувствовали во время первого полового акта?» или «Какое место женского тела вас больше всего возбуждает?»

— Нет, Лев Александрович! Дело серьезное, и от нас во многом завист сделать его полезным.

— Будем стараться, дорогой, будем стараться, но... но я знаю людей, которых мы будем опрашивать...

— А что означает этот вопрос: «Какие из следующих эмигрантских политических групп вы считаете наиболее удовлетворительными? (отметить одну)...» — их здесь десятка два! Неужели действительно в эмиграции столько политических организаций?

— Еще больше! — засмеялся Опарин. — Есть организации из одного-двух человек...

— Нет, серьезно?!

— К настоящим политическим можно отнести, пожалуй, только группу стариков меньшевиков в Нью-Йорке и солидаристов здесь в

Германии, — и не потому, что я разделяю их взгляды — писатель не должен принадлежать к партии. Люди не понимают, что создать политическое движение среди многочисленной эмиграции невозможно по простой причине: эмиграция сама по себе массовое движение, забирающее у человека все то, что требует политическое движение. Подлинная страсть человека из Советского Союза — не политика, а иммиграция, устройство на новой земле. Для политического движения необходима безвыходность. Оставшиеся в живых меньшевики и часть солидаристов отказались от личного устройства, но массового движения и им не создать...

— А Ленин в эмиграции?..

— Ленин не был эмигрантом: у него был постоянный контакт с Россией. Поймите, дорогой, мы сами придумали для себя положение полномочных представителей своего народа, а демократический Запад нас не признает и предпочитает иметь дело с теми, кто живет дома, с людьми там — официальными и неофициальными. В этом наша эмигрантская трагедия. Сказав А, надо говорить и Б: став эмигрантом, становитесь иммигрантом. Вот так...

Теперь у меня деловое предложение: давайте начнем исполнять наши служебные обязанности сегодня же! Рядом с нашим пансионом — в другом пансионе живет человек двадцать эмигрантов, а к ним постоянно приходят еще человек двадцать. Все — ярчайшие представители: художники, писатели, поэты, спекулянты. И все из Советского Союза. Устроим «детский крик на лужайке» и заполним с десяток анкет. Это и будет нашим началом, а то мосье Тоденгаузен и Костя уже с утра выполняют план. Отставать нам никак нельзя — «социалистическое соревнование»!

Фасад четырехэтажного пансиона выходил на Омштрассе. Десятка полтора окон были заделаны фанерой вместо стекол. Внутри здания стены были не крашены с довоенного времени, полы грязны. В пролете лестничной клетки стоял телеграфный столб. Между вторым и третьим этажами какой-то мужчина ножовкой спиливал верхушку столба. Завидев Опарина, он вытер рукавом пот с лица и сказал:

— Льву Александровичу привет!

— Вы что же это делаете?

— Да вот ребята ночью столб притащили на дрова. Пилить на дворе — могут поймать, так они стоймя поставили сюда. Каждый спиливает свою порцию.

— А у нас дело, Данило Прохорович, — можете заработать по сто марок.

Мужчина поглядел на незнакомого ему Федора.

— Это мой сослуживец.

— Не анкеты ли?

— У-гу...

— Мы слышали про них... Некоторые боятся.

— Чего же?

— Всякого... Хотя имя, говорят, писать не надо, но вопросов столько, что потом и установить нетрудно, кто отвечал...

— Кто же будет устанавливать? — спросил Федор.

— Кто интересуется нашим братом... Сто марок, конечно, деньги, да страшно...

— Напрасно беспокоитесь, Данила Прохорович, — сказал Опарин, — писать то будете сами.

— Так-то оно так. Только обжегшись на молоке и на воду дуешь. Уж очень анкета засела нам в печенки — сколько мы ее в жизни писали... Но, я еще с женой потолкую. Вы как, по комнатам ходить будете?

— Как вам угодно. Если что непонятно, можете спросить. Мы будем или в комнате у Крамского, или у себя в пансионе.

Сергей Крамский, блондин атлетического сложения лет тридцати пяти, сидел за старым измазанным красками мольбертом. На мольберте стояла свежая картина маслом — георгины в стеклянной вазе на крышке рояля, — на глянцевой черной крышке лежало несколько лепестков.

— А, Лев! Здорово!

— Здравствуй, Сергей. Знакомься: мой приятель по службе — Федор Таневский. Что, — заказ? — спросил Опарин, кивая на картину.

— Один американец просил. Две штанги сигарет.

— А вообще как?

— Так себе. На прошлой неделе была халтура: четыре альпийских ландшафта сварганил для кунстхандлера. Завтра с этим американцем буду договариваться о портрете с фотографии.

В комнате повсюду валялись подрамники, рамы, холсты; у стены внавал готовые полотна. В углу на толстых чурбаках стояла неубранная кровать. Возле двери — чугунная печка, за печкой на полу — чурки из столба на лестнице. На одной стене висела большая картина без рамы: на диване голая женщина — огромным розовым задом прямо на зрителей.

— Садитесь, — сказал Крамской. — Вот стул, там кровать. Жалко, угостить нечем...

— Мы, Сергей, с анкетами, — сказал Опарин, усаживаясь на кровать. — Думаем раздать, — сто марок за анкету, и деньги на бочку! Но Данила говорит, что боятся.

Крамской засмеялся.

— А вы дайте мне, я за всех и напишу! — но заметив, что Федор нахмурился, сказал: — Но так как сто марок — это полбутылки хорошего самогона, то давайте, я разнесу по комнатам нашим. Мне за это сто марок аванс — я свою анкету вам напишу. Идет? Сложимся по сто марок с носа и на триста марок гульнем!

— Федор Николаевич, я «за». Сергей это организует лучше нашего. И выпивку организует. Здесь в доме Матрена Ивановна внизу живет: торгует по-черному и водкой, и закуской.

Федор дал Крамскому двадцать анкет и триста марок.

— Так лучше, — сказал Опарин, когда Крамский ушел. — Сергея все знают. Все его любят (пока не надоел!) Всех и уговорит.

— Это что, его настоящая фамилия — Крамской? — полюбопытствовал Федор.

— У новой эмиграции — сплошные псевдонимы, дорогой. Недавно одна знакомая вышла замуж за советского. Я ее спрашиваю: за кого же? «За псевдонима», — говорит.

— Зачем же он такой громкий выбрал?

Опарин закурил, затянулся, отвалился на наваленные подушки.

— «Театр для себя», дорогой...

— Не понимаю...

— И понимать нечего. Рисует Сергей вот цветы, Альпы. Немцы, предвидя девальвацию марки, скупают картины пачками; пишет с фотографий портреты американцев — за сигареты и консервы. А кем был Сергей в Советском Союзе? Судя по его живописи — клубным художником, писал плакаты к 1 мая и 7 ноября.. А ведь, как мы все, мечтал с детства о славе, об искусстве. Вот и придумал, как обрести славу: рассказывает о своих былых успехах в Ленинграде, о своих картинах (он даже им сюжеты придумывает!) на всесоюзных выставках, о своем родстве с художником Крамским. Кто может проверить? Советский Союз «на замке»... Да и кто станет проверять?.. Все так. Он хоть парень хороший: добряк, компанейский, забулдыга.

Наверху живет пара — он актер, она балерина, на третьем этаже — прозаик и поэт один, еще художник-иллюстратор, — люди других профессий. Простых людей среди них не ищите — не найдете! Все особенные... в прошлом! Один преподавал в СССР солдатам или курсантам арифметику или учил стрелять из винтовки, а сейчас даже разговаривает с позиций генерала! И сам этому верит. Другой был, наверно, нормировщиком на строительстве — сейчас называет себя прорабом крупнейшего строительства. Третий был бухгалтером, а рассказывает о своей работе управляющим трестом. Но главное — все себе верят!

— Это что же, по-вашему, — тоже влияние советского режима?

— Отчасти. Но вы меня не поняли, я говорю о национальном русском комплексе неполноценности...

— Вы ведь, кажется, Фрейда не очень-то жалуете.

— Фрейд был большим творческим человеком, но я не люблю, когда все на свете объясняют Фрейдом. В старой эмиграции тоже нет простых людей: потомки губернаторов, гвардейских генералов, князей, графов, помещиков, дворян, в худшем случае — купцов первой гильдии! А то потомки незаконнорожденных предков от тайных связай императоров!

Я перед выездом из СССР просидел больше года в Соловках, во время войны сидел здесь, в нацистском лагере — то же самое! Никто никого не знает — невероятный простор для прошлого! Все были или сами директорами или главными инженерами заводов, или профессорами, или их детьми. Поди — проверь, если не веришь! Сейчас Сергей принесет выпить, и сюда обязательно придут «на огонек» — посмотрите сами. Больше всего будут рассказывать о любовных похождениях! Всегда первые любовники! Попробуйте только сказать что не верите,

— обидятся, а то в драку полезут. С годами рассказы повторялись, обрастали деталями, улучшались — как литературное произведение! — в конце концов засияли реальностью пережитого! Разве важно, что всего этого не было? Важно то, что так могло быть, а раз могло, то пусть же так и будет! Значит, жизнь прожита недаром, значит, она прожита, как грезилось в юности! Легко умирать, не страшно гибнуть ни за понюх табака!

Из них ведь, действительно, каждый прошел не раз возле смерти — в братской могиле, среди никому не известных и всеми забытых, умирать не хочется!

— Это только у нас, русских?

— В такой мере — да! У нас это исторически сложилось. Вспомните бессмертного слугу Хлестакова. Да и сам Хлестаков, конечно.

— Тогда, тогда миссис Корсон права, что проверяет тестами степень правдивости опрашиваемых эмигрантов!

— Попытка, обреченная на неудачу.

— Почему?

— Потому что тесты ее научно разработаны на американцах — в другой стране, среди иных национальных характеров, в другой истории. Для русских нужны иные тесты. Недавно Костя прислал «нового перебежчика», который рассказывал — целую неделю! — о своем побеге из советской зоны Германии, из Красной армии. Тесты его показали высокую степень правдивости, а я его знаю по Германии чуть ли не с тысяча девятьсот сорок второго года. Вот вам и тесты!

— Об этом нужно сказать Вильямсу! Это же безобразие...

— Для чего? Ни с Костей, ни, тем более, с мосье Тоденгаузеном я связываться не хочу. Увольте... Я еще одну книгу хочу написать!

Опарин встал с кровати, подошел к куче стоящих у стены полотен.

— Видите? Смесь всех стилей и жанров. На этой картине фигура немецкого солдата взята из «Троицы» Рублева. Живущий наверху иллюстратор прославился в Германии иллюстрациями к детским книгам — рисунками животных и птиц, а если вы знаете рисунки советских художников, например в книгах Бианки, вы сразу же узнаете их! Кто может проверить? И зачем? Недавно вышел роман одного нового прозаика — очень неплохой, из советской жизни, но на одной странице я узнал Шишкова, на другой Пришвина, на третьей — Юрия Германа. Кто узнает? Ведь «граница на замке!»

— Но вы-то узнали?

— Ну и что? Еще кто-нибудь узнает. Пусть человек радость себе доставит, да и читателям неискушенным приятно — новый талант!

Все, что говорил Опарин, Федору было неприятно и он стал возражать:

— Но есть же другие люди!

— По теории вероятности должны оставаться и такие...

Дверь с грохотом распахнулась, в комнату ввалился Крамской с пакетами в руках, из карманов куртки торчали бутылки.

— Все в порядке! Все сидят и пишут. Почти все двадцать процентов заработка отчисляют на заем КВЗ!

— На что? — не понял Федор.

— На заем «Как бы выпить — закусить»! — захохотал Крамской. — Потом придут, а мы пока сами начнем.

Пили свекловичный самогон, ели американскую «тушонку», сало, квашеную капусту. Крамской стал рассказывать о «блондиночке», которую встретил ночью в Богенхаузене, как нанял такси, но платить было нечем и ему пришлось отдать свою кенн-карту в залог, как Эльзочка — так звали блондинку — утром звонила мужу и тот сам приехал за ней, и как Крамской уговорил мужа выпить — муж опьянел и свалился тут же на кровать, а он, Крамской, с Эльзочкой рядом с ним...

Во время рассказа с хохотом и жестикуляцией Крамского, Опарин мрачно пил, всем видом показывая Федору, что все «театр для себя».

Стали собираться гости: пришел актер в бархатной потертой блузе с галстуком-шнурком, его жена — с сильно напудренным лицом и красивыми длинными ногами, пришел прозаик — долговязый верзила с глазами гусака и длинными грязными волосами, за ним — поэт, лысый юноша; критик — маленький старичок с львиной гривой; художник-иллюстратор — ладно сбитый мужчина с блондинистой бородкой клинушком, которую, видимо, подсветлял перекисью водорода, пришел с «подругой», как он сказал о девице с распущенными волосами. Пришла и Матрена Ивановна. Она принесла с собой тарелку студня и собственную табуретку. Четырнадцать анкет были готовы.

— Если что не так, завтра скажите, и я помогу переделать, — сказал Крамской.

Скоро кончился самогон и Матрена Ивановна принесла еще три бутылки и кастрюлю с капустой. Пили и ели, как на вечеринках в Советском Союзе. Потом начался разговор об искусстве и творчестве. Все были за «высокое искусство» — без политики, без «горшков». Пьяный Опарин говорил гадости — больше всех доставалось прозаику.

— ... Вхожу в его комнату, — говорил Опарин, — а там братья-писатели спорят. О чем? О форме? О содержании? Нет, — о том: прилипнет ли к стене грязный носок хозяина комнаты, если запустить носком в стену?

Смеялись незлобно. Поэт читал стихи, Федор узнавал сравнения и рифмы. Присутствие Федора, нового слушателя, подбадривало и все старались рассказать ему о себе.

Рядом с Федором сидел иллюстратор, но рассказывал он не об иллюстрациях, а о своих приключениях в партизанском отряде где-то в Югославии: как он во главе маленького отряда, прикрывая огнем из ручного пулемета отход, пробивался через окружение советского батальона. Крамской тут же громко рассказывал о «венгерской графине», которая хотела его спрятать в своем замке, и как он сбежал от нее, потому что пробирался в Берлин, откуда приятели сообщили, что нашлась Люся, вывезенная из Киева немцами.

— Люся была моей первой мальчишеской любовью, о которой память сохранила все чистое и радостное...

Подруга иллюстратора начала требовать, чтобы прозаик прочел что-нибудь из своих «миниатюр». Тот не заставил себя ждать.

— Когда мне исполнилось двенадцать лет, моя мать говорила теткам и соседкам: «Весь в отца! Увидите, и он погибнет из-за женщин! Мать оказалась права: однажды, переходя улицу, я засмотрелся на бедра идущей по тротуару женщины и попал под грузовик. И умер.

Все хлопали, женщины стали требовать:

— Еще, еще, еще!

— Сразу же после свадьбы они стали стараться сделать ребенка, но ребенок не получался. Он винил ее в бесплодии, она винила его, хотя червь сомнения грыз обоих. Каждый про себя решил проверить. Через год у него родился ребенок на стороне, а она родила дома девочку. Оба были счастливы — каждый перестал бояться бесплодия.

Кто-то предложил спеть. Федора удивило, что пели они только советские песенки военных лет: «Офицерский вальс», «Огонек», «Жди меня», «Землянку».

... До тебя далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
Мне дойти до тебя не легко,
А до смерти четыре шага ...

Опарин от песен проснулся, протиснулся к Федору.

— В мое время советские песни были похожи на девиц из сиротского дома, наряженных в полувоенную форму. Во время войны с песнями произошла парадоксальная метаморфоза: они словно переоделись в девичьи наряды. И в их нарядах много от народной одежды. Я пьян и хочу спать ...

— Мне тоже пора.

— Сидите, знакомьтесь ...

Федора окликнул, показывая рукой на дверь, Крамской.

В приоткрытой двери стоял человек с лестничной клетки.

— Мы хотели бы вас спросить ... Об анкетах ... Если можно, пройдемте к нам — там жена ...

В небольшой комнате было тепло, бедно, но чисто и даже уютно. Круглолицая жена сидела за столом с разложенными анкетами. В углу в ветхом кресле сидела старуха с укрытыми старым пледом ногами.

— Это, Маня, господин, который с анкетами ...

Женщина приветливо улыбнулась Федору.

— Вам не все понятно? — спросил он ее, чувствуя, что в доме она главная.

— Не то что непонятно, но лучше спросить. Вот этот вопрос: «Были ли вы или кто из членов вашей семьи когда-либо арестованы? Кто, когда? И какие предъявлялись обвинения?» Вопрос понятный, но моя семья почти вся была арестована. Меня, тогда еще девчонку, тоже два месяца в тюрьме продержали.

— Так и напишите.

— Да поверят ли?

— Этого уж я не знаю, — засмеялся Федор.

— Мама вон, она тоже сидела в тюрьме, но она говорит, что об этом надо целую книгу писать.

— Целую, целую... — подтвердила старуха.

— Когда вы сидели?

— В тридцать седьмом...

— Еще один вопрос: «Какой из нижеприведенных фактов вы считаете наиболее важным для счастливого брака между двумя лицами в Советском Союзе: чтобы они имели те же интересы? чтобы оба принадлежали к одной национальности, чтобы оба принадлежали к той же социальной группе? чтобы они имели те же политические взгляды? что-либо другое?»

— Ну и что же, по-вашему, главное?

Женщина улыбнулась.

— Не то и не другое. Главное, чтобы друг друга любили.

Федору стало совсем хорошо с этими незнакомыми людьми.

— А вы так же думаете? — спросил он мужчину и старуху.

— А как же иначе... — ответила старуха.

— Теперь последний вопрос — о том, как нам нравятся вопросы анкеты. Нужно крестиком отметить один из трех ответов: вопросы хороши; некоторые вопросы не так удачны и — большинство вопросов неудачно.

— Ну и?..

— Мама, скажи ты, — обратилась женщина к старухе.

— Да что сказать, вопросы умные, но многих не хватает, чтобы о нашей жизни рассказать, чтобы понять, что мы пережили... Такой жизни у людей еще не было на свете, молодой человек!Вы сами-то знаете ее — жизнь нашу?

— Сам оттуда.

— Ну тогда другое дело! — засмеялась женщина.

И Федор понял, что им это и хотелось услышать. Он бегло просмотрел три заполненные вопросника: хозяин в Советском Союзе был рабочим-металлистом, жена работала на швейной фабрике, мать — домохозяйка. «Нет, Лев Александрович, не все живут 'театром для себя', нет не все!» — подумалось Федору.

15. СТАРИК

Лето выдалось дождливое, и люди совсем измучились с уборкой. Одно подгоняло: сразу же стали сушить и молотить зерно и объедались свежим мягким хлебом.

Хлебозаготовки сдали. И опять колхозу осталось с гулькин нос — по 200 граммов на трудодень. Вся надежда была на картошку со сво-

их огородиков да на свинку или овцу — кто что завел себе летом, чтобы выкормить очистками да помоями к Рождеству.

В районной газете снова была статья про колхоз «Победа» с портретом Василия — называлась статья «Хлебозаготовки сданы!» Василий сильно исхудал за лето, обгорел на солнце, стал нервным, раздражительным. Люди выжили, но снова предстоял год, суливший в лучшем случае повторение прошедшего. Остатки зерна раздали колхозникам на трудодни, оставили на семена, но запасов создать не удалось — пришлось за счет колхозников давать в «Фонд восстановления» — для колхозов, бывших под оккупацией. Надежда на картофель не оправдалась: на колхозных полях вырос мелкий, никудышный.

Кожевенную мастерскую пришлось закрыть. Шилов сказал Василию, что колхозу надо начинать самостоятельную жизнь, Решение обкома было выполнено — самый отстающий колхоз района вышел вперед. В газете колхоз «Победа» ставили в пример остальным колхозам, а Василия — в пример другим председателям колхозов.

Очень помог Василию его мерседес. Сначала он не хотел ездить на нем по колхозным делам, но потом пошло и пошло — то в район, то в поле, то в соседнюю область! На лошадях никак не успеть! Но на поездки с Соней на лесное озеро времени так и не нашлось. Всего раз и съездили: купались в темной таинственной воде, лежали у самой воды на траве, гуляли по лесу, взявшись за руки.

— Сонюшка моя, родная девонька, ведь я чего хочу? Хочу думать, как хочется, говорить, как думается, делать как лучше — не для плохого же! И еще, чтобы оставили в покое!

Поразил Соню свекор: как-то собрались вечером дома, — Павел Петрович и Старик пришли, только Василия не было. Говорили, как всегда, разное, а больше критиковали, особенно Павел Петрович. Разошлись поздно. Перед тем, как ложиться спать, Степан Иванович присел возле Сони.

— Я что хочу тебе, дочка, сказать: Василь это тоже понимает, только ему не говори — о наших разговорах, а то совсем с панталыку собьется. Ему ведь, Соня, не только говорить по неправде, но и думать и работать по ней. Не разорваться же — голова-то одна. Наше дело другое, — нам на собраниях не выступать.

Соня ничего Василию и не говорила — ни о разговорах Павла Петровича, ни о рассказах Старика. Теперь она ложилась спать рано, ей стало тяжело двигаться, особенно в летний зной, — уставала легко. Потом случился у нее разговор с бухгалтером, о котором не сказать Василию она не могла.

Старик уже пас стадо, и в конторе работали бухгалтер и Соня. Пришел день, когда она спросила:

— Павел Петрович, а почему вы не женаты?

Бухгалтер отложил перо, почесал кудлатую, еще больше поседевшую голову.

— Был, Софья Михайловна, был, да . . . овдовел. Нет, не умерла, а

так получилось. Длинная, знаете, история. Как-нибудь расскажу в другой раз. А вы-то сами из каких мест и как здесь очутились?

Соня давно чувствовала симпатию к этому мятущемуся, недовольному и доброму человеку с лихорадочными глазами под густыми темными бровями. Соня и рассказала ему все, как на духу: и как брат бежал, и как Василий из лагеря спас, и как женой Василия стала.

Бухгалтер вскочил со скамейки и заметался по конторе, даже испугал Соню.

— Это же невероятно! Вы поймите, Софья Николаевна, я встретил вашего брата Федора *там* — по ту сторону границы! С полгода тому назад!

Пришла пора Соне удивляться, охать и слушать, слушать, слушать... Если бы не появление Василия, они так и до полночи проговорили бы в конторе. Запыленный, грязный Василий непонимающе оглядывал жену и бухгалтера. Дома Соня, глядя на дувшегося мужа, решилась рассказать ему о бухгалтере.

Когда Василий понял, что бухгалтер и есть тот самый «комиссар», о котором говорил ему Федор, его охватил панический страх. Василий, до этого реже и реже вспоминал Германию, Федора, свой страх, и выходило, что все забылось, прошло, что его назначение председателем колхоза оказалось очень кстати — статья в газетах, портреты, благодарность райкома в партделе, Шилов намекнул, что представил к награждению орденом, — и теперь опять Федор! Хуже того, все могло рухнуть — этот длинноволосый, как с неба свалившийся бухгалтер, знал о Федоре, и о том, что Соня сестра Федора и что он, Василий, помогал Федору в побеге!

— Теперь мы все в его руках!..

Василий всю ночь не сомкнул глаз, придумывая, как отделаться от бухгалтера. Он даже подумал написать анонимный донос в районное МВД: живет, мол, в колхозе «Победа» неизвестно откуда появившийся человек, работает там бухгалтером. Такого доноса было вполне достаточно. Когда окна стали синеть, Василий заметил, что и Соня не спала.

— Ты что не спишь?

— Потому же, почему и ты.

— Ох, и заварила же ты кашу! Дернуло же тебя за язык!

— Я рада, что рассказала и что узнала о брате... Рада и тому, что Павел Петрович рассказал о себе... Он редкий для нашего времени человек, и я рада, что познакомилась с ним.

— Он теперь что камень на шее у нас!

— Как тебе не стыдно! Он ведь и сам все о себе рассказал.

— Ему терять-то нечего, — ни кола у него, ни двора, ни жены, ни семьи!

— Это его личное дело. Сам он замечательный человек, из тех, кстати, кто никогда не предаст других!

— Что ты знаешь! Попадет в лапы МВД — заговорит о том, чего и не знал!

— Вася, — Соня приподнялась на локте, заглядывая мужу в гла-

за, — слушай меня внимательно: ты никому ничего не скажешь о Павле Петровиче; ты будешь вести себя так, как если бы нашего разговора не было, и ты ничего не знаешь. Если с Павлом Петровичем что случится по твоей вине, Вася, я никогда... никогда не смогу тебя любить... А потом, вспомни, что прислал Павла Петровича в колхоз Шилов, я подозреваю, что они друг друга давно и хорошо знают.

Последний аргумент убедил Василия больше, чем все остальные.

Он и виду не показывал бухгалтеру, что знает о нем, но от страха отделаться не мог: стал суеверным — тайно помогал семье Рогова, вдове тетке Прасковье, что маялась с шестерыми ребятишками, — как взятки судьбе давал.

И от ревности извелся: хотя Соня и была беременна, но Василий не мог не думать, что образованный бухгалтер Соне ближе и интереснее, чем он, Василий, что они каждый день вдвоем в конторе — с утра до вечера. Василий теперь чаще наезжал в контору, посадил — в помощь Соне — приехавшую на каникулы четырнадцатилетнюю Ирку Муравьеву.

Вот тогда-то и случилась беда со Стариком: во время проливного дождя промок до нитки и застудился. Возили его в районную больницу — воспаление легких вылечили, а сердце, сказали, сдало. Гликерия Семеновна, не смотря на протесты Василия, забрала Старика к себе. В жаркие дни укладывала его на свою койку, а себе стелила на полу, в холодные дни, с помощью Степана Ивановича, укладывала Старика на печку. Соня и отец приняли сторону матери и Василию пришлось сдаться.

Вечерами, когда Старику дышалось не так трудно, приходил бухгалтер. Старик рассказывал, бухгалтер или расспрашивал или возражал, Соня и Степан Иванович слушали, Гликерия Семеновна нет-нет, между работой по хозяйству, тоже присаживалась послушать.

Так было и сегодня. Старик выспался и чувствовал прилив сил. Он лежал на койке, головой к открытому окну, где высоко в небе гасли розовые облака. У ног старика пристроился бухгалтер.

— Ведь что самое характерное для природы, для естественности? — спросил Старик бухгалтера и, обернувшись в сторону Сони, сам ответил: — Постепенный, нерезкий переход: деревьев в воздух — от ствола, утончаясь постепенно до мельчайших веточек; растений в почву — от стеблей до тончайших корней-волосков; нашей планеты Земли переход в космическое пространство; лета — в зиму. Резкая перемена только климата или даже питьевой воды, не то что общественного строя, ведет к болезненным явлениям...

— Одним словом, вы за эволюцию, — усмехнулся бухгалтер.

— Как угодно называйте...

— Ну, а роды человека? Схватки, боль! Так и революция. Сразу!

— Как это сразу? А девять месяцев в утробе матери? А все предки по линии отца и материнской — рождение каждого человека началось тысячи лет назад!

— Общество тоже какое-то время беременно революцией, новым порядком.

— Верно. Разница только в том, что после родов родители растят человека до совершеннолетия, а большевики после родов — преждевременных при этом! — убили мать и отца, убежденные что революция сама может расти и воспитываться. Что из этого вышло — поглядите вокруг себя. Учиться жить надо у деревьев. Растут они без шума, цветут, покрываются листьями, растят плоды, осыпаются, потом ждут. Наш народ сейчас как бы без листвы. Но ждет. Как ветки не увечь, как не руби, не уродуй, а если корни целы — дерево живо! Два главных корня нашего народа — русская женщина и русский крестьянин. Первый корень здоров, второй топором покалечен...

— Ждать, ждать, ждать! — горячо возразил бухгалтер. — Пугачев, Петр Первый и декабристы, народовольцы, эсеры, Ленин — все, кто делал историю России, они-то не ждали!

— Это не история России, мил человек, это исторические мелочи. Я где-то читал у Розанова, что истории России нет, а есть история русского терпения. Очень верно сказано...

— Не люблю цитат...

— Что так? Раз с каким местом у другого согласен, значит, — и ты так думаешь, значит, — и твое это.

— И какое же это терпение — семнадцатый год, гражданская война...

— Именно. Большевикам удалось захватить власть, как и другим удавалось до них, благодаря терпению нашему...

— Рабским отдает...

— Христианство тоже началось с так называемых рабов, а вот уже две тысячи лет держится. Я думаю, что мы, русские, дали миру свой путь к Истине, свой национальный метод — терпение. У нас нет немецкой деловитости, англосаксонской энергичности, французского блеска, у нас — терпение. Терпение, дорогой мой, — глаза Старика лукаво блеснули, — это и есть материнство. Поэтому у нас не фатерланд, а Россия-мать, Россия-невеста., Россия — «жена моя». И Достоевского «покорись, о, гордый человек!» и толстовское «непротивление злу» — только разные формы нашего национального характера, нашего терпения.

— Ну, знаете ли!.. — загорелся бухгалтер. — Вы посмотрите, что сделало это самое терпение с народом! Что сделало оно с крестьянином — носителем терпения!

— А вы возьмите шире: русский крестьянин мукой своей оказал миру величайшую услугу, воочию доказав противоестественность, порочность большевистского метода. Без его мук голодные народы Африки, Азии, Южной Америка с головой кинулись бы в сталинизм, то есть в погибель, а так будут сравнивать, выберут более верный путь.

— Что же, по-вашему будет?

— А то и будет, что было. Ленин, при всем своем фанатизме, был умен, и нэп его был шагом к естественному порядку вещей. Мало кто знает, что перед самой своей смертью Ленин продиктовал стенографистке: «Я, по-видимому, очень виноват перед рабочим классом». Но

после его смерти Сталин назвал нэп «передышкой» и снова пошел наперекор естеству.

— Поэтому и надо использовать любые средства, вплоть до неестественной смерти, чтобы вернуться на естественные пути! — жестко сказал бухгалтер. — Если народ поднимется . . .

Старик разгладил бородку. Подумал. Потом сказал:

— Дорогой мой, сколько было на земле массовых движений! И религиозные, и национальные, и националистические, и политические. Все они возникли из недовольства масс, а начинались фанатиками и фанатично. Но когда побеждали, захватывали власть, — теряли свою первоначальную фанатичность, начинали тяготеть к правопорядку, к сохранению «достижений», к закреплению достигнутого. Правящий слой не хочет рисковать, и поэтому на место вождя-фанатика ставится человек практичный, деловой, — или группы деловых. И движение фактически перестает существовать. Трагедия Сталина в том, что деловой человек в нем слабее фанатика (может быть, ко всему, болезнь какая мешает).

— Но коммунизм не только же у нас! В других местах планеты, например в Китае, коммунизм только воюет!

Старик засмеялся.

— Вот и думайте: разница в степени одного и того же массового движения — в этом случае коммунизма — ведет к противоречиям и конфликтам внутри самого движения . . .

— Вашими бы устами мед пить, — криво усмехнулся бухгалтер.

— А вот *убей* кто Сталина, — Старик как бы издалека поглядел на бухгалтера, — это почти наверное вызовет рецидив фанатизма. Другой фанатик, пользуясь вспышкой страстей, страха, связанного с убийством и переворотом, захватит власть и станет громоздить ужасы, смерти и продлит сталинский период.

— А так, что будет?

— Если не убивать? — быстро спросил Старик.

— Да.

Старик посмотрел через дверь на Гликерию Семеновну, штопавшую чулок, на печку, где дремал Степан Иванович, на Соню, напряженно следившую за разговором.

— Видите ли, мы расплачиваемся за девятнадцатый век, когда человек поверил во всемогущество своего интеллекта, своего условного разума. Во имя общественного прогресса мы губим человека, во имя технического прогресса мы губим природу, а тем сильнее — того же человека, который часть природы . . .

— Проповедуете опрощение?

— Нет, — осторожность. Разумную, и, если хотите, научную осторожность отношения к жизни, к глубочайшим и тончайшим взаимоотношениям в жизни, которые сложились тысячелетиями на этой планете, а раньше — где-то там, — Старик показал рукой вверх.

Бухгалтер хотел что-то сказать, но Старик не дал ему.

— Осторожность нужна матери, которая бережет дитя свое! Осто-

рожность, а не безоглядное самодовольство, основанное на грубой власти.

Старик подумал, тяжело вздохнул, оглядел всех.

— Боюсь, что самодовольные, самоуверенные поклонники условного разума доведут дело до катастрофы — всемирной атомной войны, всемирного голода, всемирного отравления продуктами распада и отбросов своих «достижений», до психологического отравления человека скученностью на перенаселенной Земле. Только тогда партийные вожди и политики уступят место ученым, которым придется спасать положение, тем более что угрызение совести будет мучить их — ведь это они творят прогрессы и больше всех помогают надвигающейся катастрофе. Опомнятся, будут каяться и тогда...

— Наступит новое массовое движение?

— Если хотите. Движение «Назад к человеку!» Назад к природе. Каждая мать это чувствует сегодня, каждое дерево, каждая травинка, только сказать не могут. Беда одна: Его Величество условный разум иначе не может действовать, как по поговорке: «Гром не грянет, мужик не перекрестится».

Старик закрыл глаза — он явно устал. Не открывая глаз сказал:

— Вот давеча лежал я на печи и думал о народной мудрости нашей: не любит русский мужичок в болезни оперироваться — залезет на печь, свернется и лежит — спит, стонет и терпит, пока не перетерпит болезнь...

— И правда, — вдруг сказал с печи Степан Иванович, — а то режься, режься по всякому поводу, и вообще без ничего останешься.

— Вот именно, — засмеялся устало Старик.

Бухгалтер хотел что-то возразить, но Гликерия Семеновна не позволила.

— Хватит уж тебе, вояка! Заговорили вконец... Правда все равно свое возьмет, — это уж известно.

— Под лежачий камень, тетка Гликерия, — сказал бухгатер, — и вода не течет.

— Но камень-то не лежит, — отозвался Старик, — ой, как не лежит! И протестует, и убивает, и спорит, и терпит, — не мы одни с тобой... Вот повидать бы тебе лагеря. Лагерь — это, милый мой, испытание людей ледяным железом: многие гибнут сразу, другие заболевают хроническим насморком души, третьи — воспалением совести, но есть и такие, кто закаляется, — такие «битки» выйдут, не сыскать! Там, в лагерях, тоже ведь своего часу ждут, ух, как ждут, по десять, по двадцать лет ждут. Вот оттуда, из «глубины сибирских руд», выйдут не только критики, но и деловые, мужественно деловые люди. Вот тебе кого повидать бы...

Бухгалтер наклонился к Старику, но Гликерия Семеновна замахнулась на него полотенцем.

— Чай не ополоумел ты, паря! Заговорил старого человека, и все ему мало! Кыш по домам!

16. «ШПИОН»

Беженский лагерь «Шляйсхайм» находился в километрах пяти от Мюнхена. Федор сидел за рулем джипа. У Опарина с похмелья болела голова, и он то и дело подставлял лицо встречному ветру.

— Вильямс нами не доволен, — сказал Федор. — не могу понять, как Тоденгаузен и Костя умудряются заполнять раза в три больше анкет, чем мы...

— Вы чудак, право, — отозвался Опарин, — они раздают по десять-двадцать анкет своим знакомым — членам своих организаций, те заполняют на несуществующих беженцев или, в лучшем случае, — на людей, которых знали в Советском Союзе. Не удивлюсь, если Костя еще и проценты получает с каждой анкеты...

— Не может быть! — Федор даже притормозил. — Это ведь жульничество!

— Оставьте, дорогой. Разве вы сами не могли бы заполнить с пользой для дела анкеты на хорошо известных вам по советской жизни людей?

— Что вы говорите?! Ведь смысл анкет в другом!.. Если это правда, надо обязательно предупредить Вильямса...

— Это уже совсем не умно, дорогой: доказать вы ничего не сможете, а связываться с Тоденгаузеном да с вашим приятелем Костей я вам, ох как не советую! За каждым из них — организация, для которой очень важно, чтобы в анкетах было побольше ответов, что именно их организация — самая лучшая...

— Зачем?

— Думают, что, в результате опроса, американцы станут помогать тем организациям эмигрантов, которые в анкетах получат больше крестиков.

— Тем более это жульничество надо пресечь!

Федор выехал на прямое шоссе и прибавил газа.

— Я скажу Вильямсу!

— Смотрите...

Впереди показался лагерь — поселок из низких деревянных бараков, между которыми лепились пестрые — из кусков досок, листов ржавого железа, жести, фанеры — сарайчики, хлева, какие-то крошечные мастерские, а все вместе взятое соединяли веревки с развевающимся разноцветным бельем и одеждой. У бараков играли дети, одетые в поношенные вещи, которые УНРРА получала со всего света, бродили куры, на скамеечках сидели старики.

Федор высадил Опарина возле барака-столовой — в бараке рядом жили люди интеллигентные, — там Опарина знали и уважали. Тут же, в центре лагеря, находилась контора коменданта лагеря, унрров-

ского офицера бельгийца, больница, кино, самодеятельный театр, барак с магазинчиками, ресторанчиком, фотоателье и сапожной мастерской, открытыми предприимчивыми беженцами.

Федор поехал в конец лагеря, где в крайнем бараке жили многодетные семьи. В прошлый раз Федор опросил в нем четырнадцать человек и остался доволен: люди к вопросам отнеслись осторожно, но серьезно; отвечали степенно, подумав, и правдиво. Вначале охотников отвечать на анкету было мало — боялись, в памяти были свежи насильственные выдачи, да и почти все зарегистрировались в УНРРА на выезд в другие страны как эмигранты из Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Западной Украины, Чехословакии, Югославии, — только не из СССР! Федор долго объяснял им, что бояться нечего: он никого из них не знает, имен называть не нужно... Сегодня он хотел закончить начатый вчера опрос большой семьи бывшего колхозника Московской области.

Всего в лагере — в почти сотне бараков — жило около четырех тысяч человек. Каждый барак был разделен деревянными перегородками на комнатушки — комнатушка на семью. За бараком, к которому подъехал Федор, шли небольшие огороды — там копались мужчины и женщины. За огородами шло поле, за полем виднелся другой беженский лагерь, «Эсэс-казармы», — длинные пятиэтажные корпуса из серых блоков, в которых во времена Гитлера был расквартирован полк СС. Там опрос беженцев проводил Тоденгаузен со своим помощником.

В комнате, куда постучал Федор, оказалась только одна девочка лет двенадцати, видимо нездоровая. Она сказала, что «папка» занят в хлеву с поросенком, и показала Федору в окно, где находился хлев.

— Здравствуйте, — сказал Федор спине человека, расстилавшего по полу хлева солому.

— Здравствуйте, — ответил тот неразгибаясь.

В углу испуганно хрюкнул поросенок.

— Вот приехал... Хотелось бы закончить с вами вопросник...

Человек не ответил. Федор постоял и опять сказал:

— Может, вам сейчас некогда, тогда я с кем-нибудь другим займусь — из соседей...

Человек выпрямился. Лицо его от прилива крови казалось сердитым.

— Не знаю, что вам и сказать, — проговорил он, не глядя на Федора. — Тут вчерась какой-то ходил по баракам и предупреждал — не заполнять анкет...

— Кто ходил?.. Почему не заполнять?!

— Да так уж выходит... Будто все идет в советскую репатриационную миссию...

— Я вам вчера рассказывал, для кого и для чего эти анкеты...

— Да вот говорят и другое... — уклончиво произнес мужчина.

— Да кто говорит-то?

— Я уж не знаю, кто... Только рассудите сами, — мужчина полез в карман куртки, достал сложенную вчетверо анкету, разгладил ее. — Вот хотя бы тут: «Остались ли в Советском Союзе близкие и доро-

гие вам люди?» Ответь правду, тогда родных там и прижмут, а то и в лагеря сошлют. А то спрашивают: был ли партийцем?.. Может, кто из наших и был им, так их за это в Америку потом не пустят. Там, говорят, есть такой закон, чтобы коммунистов не пускать... Видишь, опять подвох — уже с другой стороны.

— Да никто ведь не узнает!

— Так-то оно так, но, говорят, что имя-фамилию установить не трудно.

— Вот тебе и на! — растерянно проговорил Федор. — А я так надеялся на вас, особенно на ваше мнение о колхозах. Кто-кто, а вы-то про них знаете лучше других! Ведь земляки ваши, калхозники в Советском Союзе, сказать не могут, что они думают о колхозах...

— Это верно, — нехотя ответил мужчина. — Колхоз мы вон как знаем... Наше мнение — разогнать бы их к чертовой бабушке, чтобы народ не мучили!

— Вот видите, — поторопился Федор, в надежде, что собеседник сдается.

— Только уж какие мы колхозники? Мы теперь беженцы — пыль с дороги, а они, колхозники, далеко... И что там у них теперь — кто его знает...

К хлеву подошли двое, видимо отец с сыном, — похожие лицами и фигурами. Поздоровались

— Что, Иван, с анкетами пристают? — спросил старший.

— Да нет... Беседуем...

— Смотри, как бы беседа та беды не накликала на тебя!

— Это почему же? — спросил Федор.

— Потому что анкеты ваши всем нам могут боком выйти!

— Думаю, что кто-то вас с толку сбивает...

Парень перебил Федора:

— Никто нас не сбивает, мы сами с усами!

— Тогда объясните.

— Нет уж, это вы объясните.

— Пожалуйста.

— Вот есть у вас вопрос, что сделать с главными коммунистами, с вождями, если их власти придет конец? Есть такой вопрос?

— Ну, есть... — не понимая к чему клонит парень, ответил Федор.

— А когда все ответят на этот вопрос, скажем, чтобы расстрелять вождей тех, что тогда?

— Ничего. Просто будет известно, что по этому поводу думают опрошенные.

— А для чего? — ехидно спросил старший.

— Для науки, для статистики...

— Вот-вот! Потом по статистике этой, по проценту и начнут ликвидировать нашего брата беженца! А то и земляков наших, что дома остались! Мы тоже ученые...

— Кто-то вам наговорил глупостей! Можете справиться у коменданта вашего лагеря — он унрровский офицер...

— Не надо нам ни у кого справляться! Комендант сегодня здесь, а завтра укатит к себе домой! Да и что он понимает в нашей жизни?!

Где-то за хлевом послышал голос Опарина:

— Федор Николаевич! Федор Николаевич!

Федор вышел из хлева.

— Беда, дорогой! Нам лучше уехать скорее.

— Что случилось?

— Кто-то напугал людей! Коменданта нет. В столовй толпа собралась. Грозятся сжечь автомобиль . . .

— Но почему?

— Смотрите сами, — Опарин передал Федору пачку анкет. — Это те, что я вчера раздал . . .

Большая часть анкет была раскрыта на вопросе: «Насколько опасны советские агенты в Западной Германии?» Ответы были написаны крупными буквами красным карандашом: «Спросите у вашего 'коллеги'-смершевца!», «Убирайся в Карлсхорст, советская шкура!», «Смерть смершевцу!». Федор огляделся. Трое вышли из хлева и молча смотрели на Федора и Опарина, в окнах барака виднелись испуганные женские лица, у стены барака перебегали детишки. Какой-то мальчуган закричал:

— Идут! Идут!

Из-за соседнего барака показалась толпа молодых мужчин — человек сто.

— Скорей едем, Федор Николаевич! — шепотом сказал Опарин.

Автомобиль стоял метрах в двадцати, но Федору было стыдно на виду у всех бежать, да и бегство будет неизбежно так истолковано, что он, действительно, советский шпион. Федор внутренне собрался и пошел навстречу толпе, охваченный забытым с войны чувством надвигающейся опасности. Опарин, готовый бежать к джипу, остановился.

Вид идущего навстречу Федора остановил толпу. Она сгрудилась и молча ожидала его. Ноги Федора скользили по грязи, но он изо всех сил старался идти твердо. Подходя к толпе, он выбрал в ней одно лицо, более спокойное и простодушное, остановился и, глядя тому человеку в глаза, громко сказал:

— Я не знаю, кто наговорил вам чепухи по поводу нашей работы, но вы не можете не знать, что здесь, в лагере, мы находимся по разрешению коменданта лагеря. Кроме того, никто не неволит отвечать на вопросы анкеты — кто хочет, тот и заполняет . . . Но зачем же запугивать тех, кто хочет ответить на вопросы?

Глаза человека, на которого смотрел Федор, скосились на соседа. Толпа несколько секунд молчала, потом выскочил вперед крепыш лет двадцати пяти, рывком ткнул указательным пальцем по направлению Федора и закричал:

— Ты нам бебехи не забивай! Ты лучше скажи, кому ты сдал полковника Чугунова?

Федор был готов ко всему, кроме такого оборота дела.

— Чугунова?

— Да! Чугунова! Павла Петровича! Кому ты сдал его, иуда?!

Толпа загудела. Кто-то густым басом заорал:

— Собаке-смершевцу и смерть собачья!

Федор покосился на подошедшего Опарина. Тот стоял бледный, но спокойный. Словно почувствовав взгляд Федора, Опарин шагнул вперед и поднял руку.

— Разрешите мне сказать! — неожиданно высоко выкрикнул он.

— Что тебе говорить, когда ты, кроме бутылки, ничего не видишь! — крикнул тот же бас.

— Но все-таки я прошу слова!

— Говори, — буркнул бас.

— Многие из вас, во всяком случае те, кто умеет читать, знают меня по моим книгам! Знают, что я никакой не шпион, не агент. Вот вам наши удостоверения, выданные американской научной экспедицией, — сказал вполголоса Федору: — Дайте ваше удостоверение.

Федор передал ему свою зеленую книжечку. Опарин пошел к высокому человеку, стоящему несколько в стороне от толпы, и протянул ему удостоверения.

— Вот, пожалуйста! Прочтите и скажите остальным. Если у кого из вас имеются доказательства, что мой товарищ Федор Николаевич Таневский...

— Он никакой не Таневский! Он советский майор! Майор НКГБ!

— ...в чем-то виноват, — продолжал Опарин, — пусть сейчас едет с нами к мистеру Вильямсу — начальнику экспедиции, а то прямо к американским властям, которые во всем разберутся.

Вокруг высокого сгрудились человек десять, разглядывавших удостоверения. Из толпы опять раздался тот же бас:

— Знаем мы эти документы!

Толпа согласно загудела, но в это время из-за барака на большой скорости вылетел джип с комендантом и тремя лагерными полицейскими.

— Вам придется покинуть территорию лагеря, — сказал по-немецки комендант Федору. — Я не могу гарантировать вашу безопасность.

Под улюлюкание толпы Федор и Опарин пошли к своему автомобилю. Уже у ворот кто-то из-за сарайчика запустил в них камнем. Выехав на шоссе, Федор перевел дух и сказал Опарину:

— Спасибо!

Так до Федора дошел слух о «советском агенте-шпионе Таневском». Слух этот появился вскоре после приезда Федора в Мюнхен — липкий, пугающий он пополз среди беженцев: по многочисленным эмигрантским организациям, по местам скопления живущих в полуразрушенных домах — в Богенхаузене, в Швабинге, а потом уже и по лагерям. Предыдущие полторы недели Федор и Опарин ездили по лагерям возле Штуттгарта, где о «шпионе Таневском» еще не слышали. Но Федор еще раньше не раз замечал, что люди, с которыми он был уже знаком, стали неохотно с ним разговаривать, не глядели в глаза или разговаривали заискивающе.

Жители соседнего пансиона, которые вначале охотно приглашали

его к себе, — Крамской, художник-иллюстратор с подругой, прозаик, — приглашать перестали, а Данила Прохорович и его семья вдруг куда-то переехали, никому не оставив своего нового адреса, потом так же неожиданно исчез и поэт. В экспедиции русские сотрудники об «агенте» спорили чуть ли не каждый день: професор Осьмеркин говорил, что Федор в Платлинге произвел на него прекрасное впечатление, но соглашался, что не понимает, как Павел Петрович Чугунов сам — сам! — решил возвратиться в советскую зону, а оттуда в Советский Союз! Ирочка молчала, но дома говорила матери, что не может поверить, что Федор Николаевич шпион! Татьяна Владимировна тяжело вздыхала и просила дочь быть осторожнее. Кто-то из беженцев, убежавших из советской зоны, рассказывал, что видел в репатриационом лагере в городе Ошатц Федора в форме майора НКГБ.

Слух окреп, оброс «фактами» и выходило, что Федор был заслан из Берлина по заданию самого генерала Серова; будто за Чугунова Федора наградили в Берлине орденом Красного знамени. Многие считали, что Федора надо убить, потому что американцы его выдали советским властям, а те его заслали снова.

Костя сначала отказывался верить слуху, но потом его организация поручила ему следить за Федором вместе с «Макинтошем», которого для той же цели откомандировала организация Тоденгаузена (почти каждая эмигрантская организация имела свою доморощенную контрразведку). Косте казалось странным, что Федор все свободное время по вечерам проводил у себя в пансионе в запертой на замок комнате за чтением эмигрантских газет, журналов, книг. Костя с «Макинтошем» выяснили, что Федор скупал по книжным киоскам, торгующим русскими изданиями, не только все книги, журналы и газеты, выходившие в последнее время в Мюнхене и других местах Западной Германии, но и издания старые.

Еще подозрительнее было времяпрепровождение Федора по субботам и воскресеньям: он с полудня до вечера ходил по кинотеатрам — за день смотрел по шесть фильмов! С наступлением темноты торопился домой, где запирался и читал, иногда до утра. «Макинтош» уверял, что именно в кино во время демострации фильмов, в темноте переполненых залов Федор передает другим советским агентам собранные им сведения и получает новые задания, и что по ночам у себя в комнате собирает нужные сведения по эмигрантским изданиям. Никому и в голову не приходило, что западные фильмы и русские книги, журналы, газеты были для Федора окнами, через которые он пытался разглядеть тот мир, где собирался жить. К вечеру он торопился домой из-за вернувшегося в последнее время страха: ему все время мерещилось, что кто-то за ним следит.

Мюнхенский СиАйСи был завален доносами — и анонимными, и не анонимными — о «советском агенте Таневском». Немецкая полиция установила, что тот, кто называет себя Федором Таневским до появления в Мюнхене жил в Оберсберге под фамилией Ганса Лютгенса. Сотрудники мюнхенского СиАйСи писали рапорта в главную квартиру в Гейдельсберг, но оттуда пришел ответ: «Федор Таневский нам извес-

тен. Донесения ложные». Но об этом ответе ни беженцы, ни немецкая полиция не знали.

Вернувшись в экспедицию, Федор прошел прямо в кабинет Вильямса, но секретарша сказал, что мистера Вильямса нет, а что в кабинете Федора поджидает мистер Тейлор.

— Боб! Вы всегда появляетесь, когда мне приходится плохо!

— Что случилось на этот раз? — рассмеялся Боб.

Федор рассказал о происшествии в Шляйсхайме.

— Как вам это нравится — я попал в число советских агентов?! Я выдал Чугунова! Боюсь, что это штучки Тоденгаузена.

— Может быть, и его, а может быть, и кое-кого похуже...

— Тоденгаузен здесь такое выкидывает, что я пришел предупредить Вильямса. Теперь в связи с этим дурацким слухом, мне говорить об этом неудобно, но я должен...

Федор рассказал о подозрении Опарина.

Боб раскурил трубку, подумал.

— Вильямсу сказать о злоупотреблениях нужно, но придавать широкой огласке — не следует.

— То есть скрыть?!

— Огласка плоха, потому что может сорвать нужное начинание, Федор. Вильямс со своими сотрудниками внесут коррективы. Но важен не только результат, экспедиция — это только начало. Я убежден, что лет через десять эти молодые американцы вырастут в настоящих ученых, сейчас они только начинают и не надо их судить строго, Федор. Наверное они делают глупости, наверное наивны, и вам, людям из Советского Союза кажутся смешными. Но пройдет время, и проблемами коммунистических режимов станут заниматься сотни ученых, десятки университетов... Вот почему надо охранять начало дела. И другое: что станут думать те же американцы об эмигрантах, о вас? Может получиться так, что вся эта история отстранит эмигрантов от дела. Вы сами говорили, что опыт сотен тысяч беженцев нужно сделать достоянием всех, кому придется делать выбор между демократией и коммунизмом. Огласка этих злоупотреблений может этому помешать.

— Я понимаю вас, Боб, но...

— Ничего, Федор. А вот и доктор Вильямс.

Мистер Вильямс, кивнув Федору, быстро и возбужденно заговорил с Бобом. Боб остановил его и, обернувшись к Федору, сказал:

— Федор, можно мне поговорить с мистером Вильямсом по поводу ваших подозрений?

— Конечно, Боб. Я пойду к себе.

Опарина в комнате не было. Федор принялся приводить в порядок записи заполненных анкет.

В это время Вильямс говорил:

— Боб, я ничего лично не имею против вашего протеже, но этот слух ставит под угрозу всю нашу работу — беженцы боятся, что все, что они нам скажут, попадет в советские руки. Что касается анкет, то я, правда, обратил внимание на огромную разницу в числе анкет

заполненных Тоденгаузеном и Костей — с одной стороны, и Таневским — с другой.

— Я думаю, опросы беженцев нужно производить вашим ребятам, которым дать сопровождающих из числа беженцев, как профессор Осьмеркин или этот Опарин, или Адлер...

— Адлер, Адлер... — повторил Вильямс. — Вот кто мне скажет правду!

— Но его к вам, кажется, устроил тот же Тоденгаузен.

— Ничего. Он хотя страшно запуган, но честен. Но как быть с вашим другом?

— Есть подозрение, что слух о его шпионстве — дело рук не только эмигрантов, но и советской разведки, которой очень хочется сорвать ваш опрос.

— Серьезные подозрения?

— Подозрения, — Боб пожал плечами, пыхнув трубкой. — Я постараюсь его устроить. Жалко, он энтузиаст вашего дела.

— Мне тоже жалко, но что делать, Боб.

— Понимаю.

Федор, войдя в кабинет, сразу уловил неловкость на лицах американцев.

— Мистер Таневский, — сказал Вильямс, — я хочу сказать вам, что и я, и мы все очень ценим вашу работу... И ваше мужество и честность. Но этот слух — я знаю, что это неправда... Мы не можем не считаться с отношением к вам беженцев. Вы должны нас понять...

— Я вас хорошо понимаю, доктор Вильямс.

— Я знаю, что мы теряем преданного, интеллигентного сотрудника...

— Я вас очень хорошо понимаю, доктор Вильямс...

— Мы выдадим вам выходное пособие в размере вашей зарплаты за шесть месяцев...

— Спасибо, — Федор поднялся. — Мне можно идти?

— Федор, вы знаете что обстоятельства бывают сильнее... — сказал по-немецки Боб, подходя к Федору. — Вы не беспокойтесь. Что-нибудь придумаем.

— Боб, мне надоело приносить вам одни неприятности. Мне следует привыкать жить самостоятельно. Только переведите мистеру Вильямсу, что мне не нужно выходного пособия: оно выглядит, как плата за донос.

Опарина все не было. Федор собрал свои вещи и, ни с кем не простившись, вышел на улицу. Подумал о кино, но пошел домой. Не раздеваясь лег на кровать и, как с ним не раз бывало в минуты потерь и огорчений, уснул.

Разбудил его долгий стук в дверь.

— Федор Николаевич, откройте, это я — Опарин!

Федор, пошатываясь со сна, пошел открывать.

— Вы что? — спросил Опарин, оглядывая Федора.

— Ничего. Спал.

— Хорошие нервы. А я бутылку принес. И закуску.

Выпили. Опарин стал рассказывать:

— Мосье Тоденгаузен тю-тю! Костя — тю-тю! И знаете, кто обо всем рассказал? Не поверите! Адлер! Сергей Аполлонович Адлер! Да-да! Замордованный человек взял и восстал! На своего «благодетеля» Тоденгаузена, на все, чего боялся, восстал. Все рассказал Вильямсу — и про гешефты с анкетами, и про участие в травле вас! Они ведь за вами следили! Доморощенные Шерлоки Хольмсы! Наты Пинкертоны! Ай да Сергей Аполлонович! И профессор ... тоже за вас.

— А вы?

— Что я? Я боюсь ...

— А в лагере?

— В лагере я не за вас, а за себя ... «Быть или не быть» получилось в лагере, дорогой! Быть еще Опарину писателем или не быть ему писателем!

— Это как же понимать?

— Оставь я вас на растерзание одного, сбеги я, — не быть мне уже никогда писателем, ибо писать — это не столько талант, сколько достоинство, душа ... Я еще за бутылкой схожу. А вы запритесь и никому не открывайте.

Вторую бутылку самогона пили молча. Потом Опарин сказал:

— Вам бы лучше уехать.

— Куда?

— Подальше.

— Туда? — Федор показал пальцем вверх.

— Зачем. В Африку, в Иностранный легион ... Говорят, Марокко начнет скоро принимать беженцев.

— Марокко ... Морока ... — пьяно произнес Федор.

— Могут убить. Костя что-то говорил ...

— Пусть ... Лучше уж кто-нибудь другой ..

Кто-то постучал в дверь Оба замолчали.

— Федор, это я — Боб.

Опарин посветлел лицом, торопливо открыл дверь.

— Я за вами, Федор, — сказал Боб, оглядывая бутылки и остатки еды на разостланной на столе газетной бумаге.

— Опять начинать? — спросил Федор, глядя на Боба.

— Опять.

17. РОДЫ

Последние недели Катя, по настоянию Серафимы Васильевны, много гуляла. Стояла ясная осень. После завтрака Карл отвозил Катю в Тельтовпарк или в Потсдам. Ходить ей было тяжело, тянуло и болело в спине. Живота своего на людях она вначале стыдилась — очень уж большой вырос, знакомые подшучивали: «Не иначе, как двойня!»

Как-то утром, отъехав от дома, Карл, не оборачиваясь, передал Кате письмо. Катя испугалась и долго не могла вытащить письмо из конверта.

«Дорогой Карл,

наконец-то мы с Куртом нашли то самое учреждение, но Ганса Лютгенса там уже не оказалось. Мы познакомились с одним сотрудником этого учреждения (оно закончило свою работу) — писателем, который работал с Гансом. Он рассказал нам, что у Ганса вышла большая неприятность с его земляками, грозившая ему бедой, и он вынужден был из Мюнхена уехать. Помог ему его приятель, о котором я тебе рассказывал, — он устроил Ганса где-то в провинции. Где — никто не знает. Приятель этот сейчас в Америке. Мне удалось узнать его служебный адрес, и я немедленно ему обо всем написал.

Сегодня я получил от него ответ; он пишет, что Ганс жив-здоров, но нравственно подавлен, одинок и очень беспокоит его (Ганс даже на письма ему не отвечает). Адрес Ганса он сообщить мне не может, но он собирается в Мюнхен, тогда зайдет ко мне и мы съездим с ним к Гансу.

Надеюсь, что у тебя все обошлось и ты здоров. Кланяйся подруге Ганса и своей жене.

В сентябре в университете начинаются занятия — я и Курт подготовились хорошо.

Петер».

— Остановитесь, Карл! — сказала Катя. — Значит жив! Но что это за «земляки»?

— Наверно русские эмигранты. Они ведь и на меня донесли в полицию . . .

— Поезжайте, пожалуйста, домой, Карл.

Кате захотелось домой, чтобы обдумать и решить, что теперь ей, когда Федору там плохо, делать?

К вечеру, до прихода мужа, она решила бежать после родов, как только окрепнет ребенок.

Перед сном немного поговорила с животом:

— Мы с тобой напишем письма бабушке, Наталье Николаевне, тете Соне, которые Наталья Николаевна пошлет из Советского Союза, чтобы все думали, что мы с тобой тоже там. Напишем и письмо «дяде» (так Катя называла мужа в своих разговорах с животом), вложим в него формальное, заверенное нотариусом, согласие на развод, чтобы и его обезопасить . . .

На следующий день Катя стала приводить в порядок некоторые дела: Карл забрал мешки с сахаром из подвала барановской виллы и продал по двенадцать тысяч марок за мешок; с помощью Эммы продала часть носильных вещей; часть вещей отдала жене Карла. После этого у Кати набралось 120 тысяч марок и еще бриллиантовая брошь, которую ей купил Карл в английском секторе Берлина.

Когда Серафима Васильевна сказала, что плод опустился, Катя оставила дела и стала ждать.

Схватки начались под утро. Катя сама позвонила Серафиме Васильевне, сама оделась, собрала вещи. Из госпиталя прислали автомобиль скорой помощи. Рыльский подумал, что случилось несчастье и бегал в одной пижаме, пока Катя не сказала:

— Ложись спать. Я поеду. Тебе позвонит главврач.

В госпитале, сквозь участившиеся приступы тянущей боли, Катя чувствовала как брили под животом, как делали укол, как перевезли в другую комнату, где не по-человечески выла и ругалась какая-то женщина.

Приходила Серафима Васильевна с доктором в роговых очках, рассматривали рентгеновский снимок, врач сказал:

— Посмотрите на бедра, — беспокоиться нечего...

Потом стало так больно, что Катя только шептала сквозь запекшиеся губы:

— Ты видишь, Федя? Ты видишь?..

А когда боль отступала, вытирала холодный пот с лица и в полузабытье про себя говорила: «И чего я не сделаю ради тебя, Федя? Только будь, только живи... Только жди!»

И все время казалось, что боль и страдание — это подготовка, непременное условие успеха задуманного. Когда перевезли в родильную, стало казаться, что больше вытерпеть она не может, что нет ее сил больше; и когда боль начала ее рвать на части и она думала, что умирает, в ней вдруг что-то оборвалось и стало уходить, и все вокруг стало медленным, как в «лупе времени», и наступило предельное освобождение, и доктор что-то высоко-высоко поднял — под самый потолок! — красное, и что-то шлепал, и когда навернулось забытье, раздался не то птичий писк, не то плач, и голос Серафимы Васильевны сказал:

— Сын...

Безумно хотелось спать.

Слышны были голоса сестер, и вмешивался чей-то мужской, настойчивый, неприятный — она узнала голос мужа и проснулась.

Рыльский, заметив что она открыла глаза, пошел прямо на нее с большим букетом хризантем.

— Поздравляю, Катя, — излишне громко для небольшой комнаты сказал улыбаясь Рыльский. — Спасибо тебе!

«О чем это он?»

— За сына спасибо!

«Ах, вот оно что!»

Рыльский обернулся к двери и командирским голосом кому-то крикнул:

— Давайте!

В комнату боком вошел солдат сгибаясь под тяжестью огромной корзины цветов.

— Это от сослуживцев, Катенька, — также громко говорил Рыльский — Все так рады!

А Катя глядела на него остановившимся взглядом провалившихся глаз и думала: «Вот он — настоящий! Нелюбимый!.. Самое важное

— сослуживцы, поздравления, цветы — как положено. Говорит 'сын', а думает о поздравлениях с рождением сына . . .»

В комнату вошла белая накрахмаленная Серафима Васильевна.

— Товарищ полковник, вам же сказали, что без разрешения врача входить в родильное отделение запрещено. А без халата категорически запрещено. И роженица спит . . .

— Моя жена не спит . . . — сердито сказал Рыльский.

— Для вас не спит, а для нас спит после родов; для вас — жена, а для нас — пациент! Прошу вас оставить палату.

Рыльский оглянулся на Катю, но та успела закрыть глаза, а когда открыла, увидела глаза Серафимы Васильевны, которые сквозь очки спрашивали: «Правильно я поступила?» Катя слабо улыбнулась ей — правильно.

В госпитале Катя пробыла две недели. Муж приходил каждый день: приносил цветы, спрашивал, как она себя чувствует, передавал приветы от знакомых, шел в коридор глядеть на ребенка через стекло, возвращался в комнату Кати и, посидев несколько минут, прощался и уходил.

Решение бежать с каждым кормлением ребенка словно таяло — ребенка приносили шесть раз в сутки, он ловил ротиком сосок груди и весь отдавался блаженному сосанию, пока не засыпал рядом с Катей. Теплое его тельце было такое доверчивое и родное, что Катя всякий раз думала: «Как же мне теперь рисковать им?» Ребенка уносила сестра, и Катя оставалась вместе с ощущением, что ребенок с молоком — забирал и частичку ее решения бежать.

К возвращению Кати из госпиталя Рыльский приготовил подарки: большую голубого бархата в безвкусных воланчиках на высоких никелированных колесах детскую коляску, шелковый с большими розовыми цветами халат для Кати, и кольцо с бриллиантом — подарки были упакованы в голубую бумагу и перевязаны синими шелковыми лентами. Рыльский, показывая подарки, аккуратно разворачивал и аккуратно складывал упаковку, — Кате было неловко и что подарки от мужа, и что ничто в них ей не нравилось; Рыльский тут же снова завернул их и перевязал лентами.

— Это вы получите в более торжественной обстановке, когда соберутся гости.

— Какие гости?

— Сослуживцы, Барановы, кое-кто из штаба СВАГа . . .

— Но я не хочу никаких гостей!

— Без гостей нельзя . . . никак . . .

— Но я не хочу!

Лицо Рыльского стало наливаться кровью, но он сдержанно сказал:

— Я надеюсь, ты понимаешь, чтобы восстановить . . . чтобы загладить все, что ты наделала . . . На службе и знакомые от души поздравляют меня с сыном, и вся обстановка сложилась самая подходящая для восстановления положения и . . . наших отношений.

— Твоего служебного положения и наших отношений?

— Именно — и того, и другого.

В спальне заплакал ребенок, и Катя ушла — было время кормить.

На следующий день Рыльский объявил, что приехала группа ответственных москвичей и направляется в Нюрнберг на процесс, и что они предложили ему, Рыльскому, сопровождать их.

— Мне, право, стыдно, — сказал он, — оставлять тебя одну с ребенком, но ты понимаешь, что мне здорово повезло — сопровождать двух членов ЦК, члена Верховного Суда и ответственого работника Прокуратуры СССР: такими связями нельзя пренебрегать.

Вернулся он через три дня совершенно довольный поездкой и снова заговорил о приеме гостей по случаю рождения сына. Катя очень спокойно сказала:

— А не думаешь ли ты, что нам надо объясниться?

— Я уже сказал тебе, что считаю момент весьма удобным, чтобы все восстановить.

Они перешли в гостиную, сели за стол друг против друга. Первой заговорила Катя:

— Ты делаешь вид, что ничего не случилось, что между нами произошла пустяшная размолвка — хотя в результате ее у меня родился от другого человека ребенок, — ликвидировать которую ну прямо пара пустяков.

— Именно так, — вставил Рыльский и погладил плоской ладонью по кружевной скатерти.

— А я так думать не могу; я человек, а не служащая, для меня мои чувства женщины и матери , и все что с ними происходит, куда больше значат, чем то, что обо мне думает какой-нибудь начальник, или что обо мне говорят на партбюро.

— Ложное представление, ибо все мы члены коллектива и живем не на Луне, а в коллективе, в обществе.

— Это уж ты живи коллективом и в коллективе, а мне позволь жить, как я хочу, — парировала, начиная сердиться, Катя.

— Ты — гражданка Советского Союза и ты моя законная жена...

— А ты не на партсобрании и, пожалуйста, не разговаривай хоть сейчас языком газет.

— Что ты хочешь?

— Я хочу, чтобы ты ответил мне на вопрос, который я должна была задать тебе много лет тому назад.

— Постараюсь.

— Зачем ты женился на мне?

— Затем, что считал тебя достойным человеком другого пола, чтобы вместе строить брак.

— Для чего?

— Как для чего? Для здоровой крепкой семьи.

— А что это такое?

— Ну, семья, как ячейка, клеточка нашего общества... чтобы разумно жить, плодотворнее работать, не быть одиноким...

— Сам ты клеточка! Я выходила замуж от желания любви, счастья! Я была девчонкой, а ты уже знал, что делал. Зачем ты ухаживал за мной, читал стихи, пел под гитару — ведь ты знал, что женщина —

понимаешь: женщина?! — тебе не нужна! Тебе была нужна — для коллектива, для служебного пользования — супруга! А тут еще и родственница самого Серова. Так?

— Не совсем...

— Конечно, ты надеялся, что со временем как-нибудь образуется! Слюбится!

— Я ничего в этом плохого не видел и теперь не вижу.

— Господи, как мне тебе объяснить, что кроме «хорошо», кроме службы, кроме коллектива, достижений, есть на земле чувства, а случается — и большие чувства!

— Тебе никто не запрещает чувствовать, как тебе хочется, — чуть побледнев, глухо сказал Рыльский. — Я готов забыть... Больше того, я готов согласиться с наличием в тебе чувств... более крепких, чем у меня, и в дальнейшем разрешить тебе поступать так, как тебе подсказывают эти самые чувства, но при одном непременном условии, чтобы не страдала моя репутация, мое положение, мое имя, моя семья! Тебе понятно?! — кончил Рыльский почти на крике.

Таким его Катя еще не видела. Она встала и тихо сказала:

— Понимаю... Я очень рада, что ты все это мне сказал, — и уже дойдя до двери, обернулась и добавила: — За восемь лет жизни с тобой я никогда тебе не изменяла — это я говорю для того, чтобы ты знал разницу между большим чувством и тем, что ты принимаешь за чувство.

18. НА ПЕЧИ

Настал день, когда Павел Петрович рассказал Соне и о жене, и о дочерях. Соня слушала и чуть не плакала — так жалко было ей Павла Петровича. Тот от воспоминаний побледнел, не мог усидеть на месте — ходил по конторе.

— Видите, и здесь женщина оказалась лучше: спасла детей, пока я предавал их своим... условным разумом, как говорит Старик!

Рабочий день кончился, и Соня, чтобы развлечь Павла Петровича, предложила ему навестить Старика, а заодно и пообедать у них.

— Спасибо, Софья Николаевна... Только муж ваш не очень-то ко мне...

— Ему трудно, Павел Петрович... Он, правда, добрый...

— Да... И молодец — вас не побоялся из лагеря вытащить... Это, знаете, не всякий...

Василий второй день был в областном центре, — поехал получать в облисполкоме медаль «За трудовое отличие», которой его наградили за успехи колхоза. Дома его ожидали к вечеру. По случаю награждения сына Гликерия Семеновна нажарила котлет, напекла ватрушек, вытащила припрятанный литр водки.

Старик бухгалтеру заметно обрадовался, позвал к себе на койку. Соня, в соседней комнате, переодевалась и через перегородку слышала их.

— Ну что такое страх? — говорил Старик. — Здоровый природный инстинкт! Сожмется человек — не так заметен для беды. Зверь маскируется защитной окраской, раненый — забивается в глушь и отлеживается. Так и душа человека. Страх, он тоже сила... и естественная.

Глухой голос бухгалтера что-то возразил.

— «Рефлексы» Павлова? — спросил Старик. — А про безусловный рефлекс свободы павловский слышал? Об этом рефлексе в книгах Павлова теперь вычеркнуто. Рефлекс-то этот оказался сильнее всех условных: лишенные свободы подопытные животные — в неволе — не принимали пищу, не спали, ни на что не реагировали, то есть предпочитали смерть.

Голос бухгалтера о чем-то спросил. Старик рассердился:

— Общество! Народ! Выдумка все это!

— То есть, как выдумка?!

— Да так! Я сам начинал с народников, а сегодня говорю вам: выдумка! В прежние, далекие времена народ, общество были нужны людям для борьбы за жизнь каждого отдельного человека, а ныне общество и народ превратились в беду для отдельного человека — в орудие борьбы против каждого отдельного человека, и против самих себя — против народа, против общества. Один умный человек сказал: «Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — это продолжение человеческих жертвоприношений». Очень верно!

— По-вашему выходит, что жить человек должен для себя? Анархия...

— Именно — для себя! Но по-хорошему. А по-хорошему жить, значит жить и для другого и для других...

— Для ближнего?

— Это как кому нравится — для ближнего или для близкого, или для дальнего. Жить по-хорошему — означает прежде всего терпимость по отношению к другим. Любовь к ближнему — это прекраснодушие; любить можно только любимых, а вот терпимо относиться можно ко всякому, даже к такому, который думает иначе, чем мы. Без терпимости, дорогой мой, — гибель человеку на земле.

Соня вышла помочь свекрови накрыть на стол. Гликерия Семеновна, кивнув в сторону Старика, вполголоса сказала:

— Все торопится... Высказать все хочет, — боится что не успеет.

— Почему? — не поняла Соня.

— Плох очень... В глазах тоска!.. — и добавила со вздохом: — Помирать никому не хочется.

Павел Петрович от Старика вышел хмурый, невеселый. Увидев бутылку с водкой на столе, наклонился к уху Сони.

— Софья Николаевна, голубушка, можно мне сегодня напиться? Тихонечко...

Он разом выпил полный стакан водки и скоро захмелел. Поймал

руку Гликерии Семеновны и, глядя на нее блестящими глазами, вдруг сказал:

— Мать, а мать, роди нам героя! Героя роди, мать!

— Батюшки! Да что ты такое болтаешь, Петрович? Леший в тебе заговорил! Вот она, —Гликерия Семеновна показала на невестку, — может и народит тебе героя, а я уже стара для таких вещей...

Бухгалтер грустно огляделся и грустно сказал:

— Все ждут. А чего? Смерти Хозяина ждут. Потом будут ждать смерти наследника... Но сколько же можно ждать? Степан Иванович, почему все боятся?!

Степан Иванович облизал ложку, вытер тыльной стороной руки усы, откашлялся.

— Скажу тебе, Петрович, про деда своего — ох, и дурной же был человек, царство ему небесное! Сущий деспот-то! Всю семью изводил до невозможности. Отец мой с братьями не раз думали утопить его, пьяного. Иной раз невмоготу было всем — и отцу, и дядьям, и матери моей, и другим невесткам и дочерям, и нам, малым внукам. А потом, глядь, он и помер — Бог убрал. Отец мой тоже крут был — не дай Бог под горячую руку попасть бывало! Но рядом с дедом был он много лучше: небось сам-то муки набрался в молодости — душа через боль-то жалости научилась. Потом помер и отец. Мы, дети, уже лучше пошли — старшие еще выкомаривались, а кто моложе — те мягче вышли. А вот Василь еще жалостливее получился, а дети его обязательно еще лучше будут: Бог-то видит — на правду и выводит.

А убей отец с дядьями деда? Пошел бы в семье грех. И отец мой мог стать хуже деда, а мы, внуки, того хуже. Грех — он весь род портит. И что ж ты думаешь, в народе нашем та же порча идет: убили одного царя, убили второго, может и плох был царь Николай — не знаю, — ну, и пошла писать деревня! Сталин тоже, говорят, Ленина убил, а там пришлось — и Троцкого и других! А уж простых побили — и счету нет! И пошел грех, и пошел... А люди? Люди терпят и ждут, хотя плохо им до невозможного. Но дождутся, потому что, если грех не подкармливать, — ему и крышка! Умирать ему не хочется, так он вот и подталкивает на кровь-то — крови ему требуется...

Бухгалтер перегнулся со стулом назад, заглядывая на койку Старика.

— Вы слышите? До чего удобная философия! Непротивление злу да и только: зло, мол, само отомрет...

— А ваша философия, — отозвался голос Старика, — от нетерпения. Вы хотя и кающийся большевик, да покаяние ваше нетерпеливое.

— Да мало ли заплачено уже! Десятками миллионов человеческих жизней, не считая изуродованых! — тоскливо сказал бухгалтер.

— Много. Тем более нельзя новым грехом свести на нет выстраданное.

— Но какой же это грех — бороться со злом?

— Боритесь, но не грехом, а правдой — за человека боритесь! За

униженного, за оскорбленного заступись, пример подай, на крест за него пойди!

— Так это может тянуться еще сто лет!

— А грешили сколько? Вишь захотел — раз-два и отделался!

— Это действительно, — вставил слово Степан Иванович, — скоро только слепые котята родятся.

— Напомню вам великого пророка нашего — Федора Достоевского, — сказал Старик, — он грех этот в Раскольникове показал. Идея Раскольникова убить вредную старуху-паразита и есть большевизм. Вот и убили: царя, помещиков, богатых дельцов, заводчиков, купцов — ну, как Раскольников старуху ту, ростовщицу, в твердом убеждении, что от забранного у старухи добра польза будет. Но пришлось убивать не тольку старуху, но и рабочую Лизавету! Сами знаете, сколько побили рабочих и крестьян. Соня — Россия— поняла, что грех Раскольникова и ее грех, и потому пошла за ним на каторгу. А вы предлагаете Раскольникова убить.

— А все-таки я бы Сталина убил, — сказал как бы про себя бухгалтер.

— Уж не ополоумел ли ты, Петрович! — шепотом прикрикнула на него Гликерия Семеновна. — Окно-то открыто...

— Его, может быть, и убьют на него похожие, когда гниль по всей голове пойдет, — ответил Старик. — Слабость зла в самопоедании. Зло взаимоуничтожается, потому что одно зло со знаком минус, а другое со знаком плюс... Добро-то только складывается. Как велико и могущественно зло ни бывает, а все равно придет к нулю, а добро, как бы мало и незаметно оно ни было, в конце концов сложится в большое и положительное.

— Какое же это зло со знаком плюс?

— Во имя добра действующее.

— Значит, сидеть сложа руки?

— Зачем? Я вот ходил. Гликерия Семеновна вон Василия вырастила, сердца смягчает. Соня детей народит, будет воспитывать как надо... Ты... ты тоже пойдешь однажды и станешь ходить между людьми.

— Нет, все-таки у вас какой-то биологический подход к общественной жизни!

— Слово, оно, конечно, ученое, но что есть общество? Люди. Почему же человек, люди живут по биологическим законам, а их общество должно жить по-иному? Именно так: биологический род, раз заболев, если и выздоравливает, то поколениями выравнивается.

— Но некоторые виды и гибнут...

— А опытный садовод заболевшему растению помогает.

— А хирург для восстановления здоровья нездоровое отрезает.

— Но как же отрезать, чудак человек, если болезнь по всему организму пошла!

— Что же делать?

— Поставить правильный диагноз и лечить. Лечить настойчиво,

любовно, веря в конечное излечение. Главное же — чтобы больной сам понял свою болезнь... Вот я, видишь, занемог — свернулся и сплю, стараюсь не прыгать, поменьше дергаться, — стараюсь не мешать жизни брать свое. А ты предлагаешь мне кулаками выбивать из себя болезнь.

— Но милиционер вас хватает и бросает в тюрьму, где отлеживаться вам не дают.

— Милиционер, он, конечно, старается, — засмеялся тихонько Старик, — но вот живу же. Власть, действительно, покоя не дает, тормошит, мешает, а люди тянут, терпят... Тело России вон какое! Не больно-то сдвинешь. В местах, где власть тормошит сильнее, как Москва или другие центры, там болезнь будет дольше держаться, но Россия не только Москва. Чем дальше от Москвы, тем здоровее. Я всю Россию исходил... Верь мне: отлежится она, поправится, поднимется, разотрет больные места и пойдет... пойдет!

Старик помолчал, затем, будто вспомнив что, сказал:

— Думаю, что и страх или, как говорят в лагерях «вижить» — тоже в плане национального «перележать», «переболеть», и связан он с ожиданием... После Сталина «выжить» неизбежно превратится в «жить»!..

— Это как же, — совесть проснется?

— Проснется она не у тех, кто виноват, а у молодых... у тех, кто не знает ни коллективизации, ни ежовщины...

Бухгалтер встал, потянулся, отошел к печке, оглядел всех: и старики Трухины, и Соня, наверно, согласны со Стариком; может быть они не все понимают из их разговоров, но все на стороне Старика. Наверно и жена Нина, и дочери тоже согласны с ним. Может быть, даже Артемьев и Шилов, по-своему, согласны. Почему же один он не может согласиться? Нетерпение?

Старик, как в воду глянул:

— Многие вот на войну снова надеются. Жизнь и тут против — атомную бомбу дала, а с нею страх общей гибели: соблазн нетерпения и уменьшился. Тот же закон сохранения жизни действует.

— А что, если Сталин возьмет и кинет эту бомбу? Она вам не топор Раскольникова.

— Сталин и его помощники, они ведь тоже боятся. Может быть, больше, чем мы...

— Значит, значит, значит — сидеть сложа руки, или лежать на печи?!

— Зачем? Поле вон какое! Сколько я видел безвестных тружеников на этой ниве: учительниц в школах, чьи ученики Раскольниковыми не будут; матерей, которые растят детей здоровых; бабушек, которые внуков берегут от всякой напасти... Встречал ученых, больших инженеров, о будущем серьезно думающих. И членов партии таких встречал. И женщину, помогающую через колючую проволоку заключенному, и вольных людей встречал, кто тайком кусок хлеба

дает лагернику, встретил даже уполномоченного НКВД, выпустившего арестованного. И молодежь, и стариков, думающих над жизнью и над книгой...

Что их объединяет? Партия? Организация? Программа? Нет, милый мой человек! Тоска по очищению, тоска по человечности, жизнь... Да... Вы лучше меня знаете, что в женщине жизнь сильнее сказывается, хотя и не так ясно и не так бурно. Она многого не понимает и не может, но она чует, что хорошо, а что плохо. Что к жизни, а что к смерти. И помните: женщина воспитывает человека — ребенка и мужчину, а это главное...

Бухгалтер засмеялся и, вспомнив разговор с Шиловым, громко сказал:

— Давайте примем такую резолюцию: женщина — это добрая оппозиция нашей мужской власти, и свет ее не дает нам, мужчинам, довести род человеческий до гибели!

Все рассмеялись, понимая, что Павел Петрович «отошел».

Гликерия Семеновна подошла к койке Старика и, покраснев как девушка, вдруг спросила:

— А конец света, дедушка, будет?

— Никогда его не будет, милая. Конец света придумали люди из тех, кто смерти боится... Ну и хватит на сегодня... Устал я что-то.

Когда разошлись, Соня из своей комнаты слышала, что Старик дышал тяжело и покашливал.

Случилось все ночью. Василия не было. Соня сквозь сон услышала на печи слабый стон — Старика под вечер лихорадило и он сам попросился на печку. Голос свекрови спросил:

— Что, дедушка? Что болит-то?

Она полезла по лестничке на печку. Старик что-то ей сказал.

— Сейчас, дедушка, сейчас...

Быстро слезла и стала будить мужа:

— Степан! А Степан! Да проснись же ты, ей-Богу! Сбегай-ка за бухгалтером — дедушка его кличет.

Не прошло и четверти часа, как свекор вернулся с Павлом Петровичем. Все говорили шепотом, только половицы громко скрипели. Соня встала, надела халат и вышла к остальным. Павел Петрович сидел, согнувшись, на печи, над Стариком.

— Плохо ему, дочка... Помирает видно, — шепотом сказала Гликерия Семеновна.

— В больницу бы...

— На лошади-то и до утра не доедут, — затрясет на смерть. Василия вот нет, — на машине, может, и успели бы... Сердце у него...

В то же время Старик с трудом говорил бухгалтеру:

— Бывал всюду, а умираю среди хороших людей... На русской печке... Не забывай, что говорил...

Потом долго не мог отдышаться.

— Помнишь об условном и безусловном разуме?.. Так вот... буду умирать, когда условный-то разум покинет, когда земная смерть уже приходит, думаю, человека озаряет... самое главное... чего в

жизни никто не может знать... самое главное... Я постараюсь дать знать тебе... Ты слушай... Я постараюсь... Не уходи...

Бухгалтер время от времени спускался по лесенке за холодной водой — губы Старику смочить. Соня, в халате, легла в постель. По всей деревне, как сговорились, лаяли собаки. Потом сквозь дрему услышала далекий гул мотора. Она набросила на плечи пальто и вышла на крыльцо. Василий подъехал, потушил фары, громко, неуважительно ни к ночной тишине, ни к происходившему в доме, хлопнул дверцей и, разглядев на крыльце фигуру жены, во весь голос весело сказал:

— Ты что это вздумала не спать, курносая?

— Ш-ш-ш-ш, Вася... Дедушке плохо... Мама говорит, что умирает.

Василий не поверил, подумав что Старику просто хуже, а бабы панику подняли.

— Победа, Сонюшка! — сказал он обнимая жену. — Прости-прощай, колхоз-батюшка...

— О чем ты?

— Уедем мы с тобой отсюда! Вот о чем!

— Куда уедем?! — с испугом спросила Соня.

— На стройку! — Василий привлек жену к себе. — При раздаче наград в облисполкоме повстречал я генерала — начальника этой самой спецстройки. Разговорились, я ему сказал, что связист и прочая, а он мне: «Так это же замечательно, мне как раз позарез начальник отдела связи нужен!» И тут же, «не отходя от кассы», секретаря обкома за грудки и — все в порядке!

— А Шилов?

— Что мне теперь Шилов! Ему уже и постановление обкома послано. Да его, кажется, самого партсекретарем на ту же стройку переводят.

— Не так громко, Вася!.. Пойдем в дом...

Старик дышал со свистом. Василий шепотом спросил бухгалтера, не повезти ли Старика в райбольницу, но тот только головой покачал. Гликерия Семеновна сидела рядом со Степаном Ивановичем, ссутулившись. Василий и Соня прошли на цыпочках в свою комнату и тоже сели рядом на кровать.

По деревне истошно лаяли собаки.

Один Павел Петрович почувствовал, как вдруг дернулся Старик, услышал, как перехватило дыхание, увидел, как глаза Старика с каким-то детским изумлением стали ловить его взгляд. Бухгалтер наклонился, ухом к самому рту Старика. Странно, что снаружи собаки вдруг замолкли, как одна. Ухо Павла Петровича касалось усов и бороды умиравшего, а тот делал страшные усилия — два раза потерянно схватил ртом воздух — из открытого беззубого рта вырвался слабый стон, но Чугунов услышал:

— Ма-ма...

19. ПЫЛЬ

Как прошло лето, Федор и не заметил. В будни утром он выходил из своей комнаты, которую снимал на краю деревни у неразговорчивого старика баварца, шел через поле в лес, в лесу по тропинке — до шоссе, а там с километр до склада. У колючей проволоки, огораживающей склад, стоял барак, где жили рабочие — человек пятнадцать поляков и югославов, вместе с которыми Федор целый день грузил картонные ящики с продуктами на приезжавшие из ближайших частей американской армии грузовики. Вечером тем же путем возвращался к себе домой, открывал банку с тушенкой или с рагу, ел, запивал пивом, потом ложился на неубранную постель и лежал до темна, курил, изредка брал с полу бутылку с виски, делал два-три глотка и опять лежал, — пока не засыпал.

Он никуда не ходил, ни с кем не встречался. Напарники по работе вначале приглашали его к себе, но он отказывался; потом перестали и приглашать. Не читал; книги, которые Боб привез из Мюнхена, так и лежали в углу нераспакованными. Он даже брился раз в неделю.

В субботу и воскресенье было хуже всего — не знал, что с собой делать, и, обычно, спал до полудня — до головной боли, потом ел из очередной банки и опять пил, опять лежал, опять ел, — так до вечера, пока не засыпал. Ночами иногда просыпался и, понимая что уже не уснуть, выходил из дома и шел к озеру, где садился у самой воды и часами смотрел на дрожащие звезды в темной глубине. В особенно душные ночи он раздевался и входил в воду, бесшумно плыл от берега, погрузив лицо до глаз, а когда уставал, ложился на спину и медленно плыл назад к берегу, глядя прямо перед собой в бездонное ночное небо, ничего не слыша, кроме шума воды в ушах.

Боб прислал четыре письма, но Федор не ответил.

Ни о будущем, ни о прошлом он не думал и не хотел думать. Консервы и сигареты выдавали на складе, там же в магазинчике продавали пиво и виски.

В пятницу с утра работы было много, но после обеденного перерыва никто уже за продуктами не приезжал. Дул фён, рабочие оставались в бараке, сержант сидел в конторке, Федор дремал на траве среди мелких альпийских ромашек в тени у высокой стены склада. Где-то дремотно жужжала пчела.

Потом из открытого окна послышался голос начальника склада, лейтенанта. Ему ответил голос сержанта. Лейтенант что-то сказал и

Федору показалось, что он назвал его фамилию. И не ошибся — из ворот склада показалась мальчишеская фигура лейтенанта.

— Хай! — сказал лейтенант, подходя к Федору.

— Хелло.

— Жарко... — по-немецки сказал лейтенант, разглядывая лицо Федора. — Садитесь.

И сам опустился на траву. В руке он держал коричневый пакет.

— У меня для вас письмо из Вашингтона от капитана Тейлора. Почему вы не отвечаете ему?

— Никак не соберусь... — нехотя сказал Федор.

— Он думает, что письма не доходят... Решил написать через меня, — лейтенант протянул письмо Федору.

Он подождал, не откроет ли Федор письмо, но тот открывать не собирался.

— Жарко... — сказал лейтенант. — Думаю, что никто сегодня больше не приедет. Шли бы и вы домой.

— Спасибо...

— Вы как себя чувствуете?

— Хорошо. Спасибо.

— Может быть, вы хотели бы куда-нибудь съездить на пару дней... Развлечься...

— Нет, спасибо. Я в порядке.

— Я бы на вашем месте ответил капитану.

— Я напишу...

Лейтенант ушел. Федор поглядет на пакет, разорвал его — письмо от Боба и несколько страниц на машинке.

«Дорогой Федор,

посылаю вам перевод статьи, опубликованной в одном из американских журналов по вопросам психологии. Ее авторы — два человека из группы доктора Вильямса. А перевел ее для вас профессор Иван Осьмеркин, который сейчас в Вашингтоне, куда приехал по приглашению одного из местных университетов и где будет преподавать русский язык и русскую литературу. Вчера я его видел, и он говорил, что чувствует себя виноватым перед вами, и просил передать вам привет.

У меня все о-кей. Скоро собираюсь в Германию и повидаюсь с вами. Хочется думать, что вы чувствуете себя не совсем плохо. Крепитесь, — все идет к лучшему.

Интересно, что скажете вы относительно этой статьи. Я во многом с ней не согласен.

Ваш Боб».

Федор лег на спину и стал читать статью.

«... Изучение 'психологии народа' или 'характера народа', обычно занимается теми элементами психологических черт, которые являются общими и характерными для людей, принадлежащих к данному национальному сообществу. Однако, чтобы понять, как функционируют такие сообщества, часто не менее важно остановить внимание на разновидностях, наблюдающихся внутри национальных сообществ... Частный случай указывает на некоторые проблемы, с которыми сооб-

ществу, возможно, придется столкнуться в будущем. Эта статья посвящена изучению одного 'частного случая'.

Этот молодой человек, которого мы будем называть Владимиром, — один из нескольких сот бывших советских граждан, с которыми велись беседы в Германии весной и летом 1946 года. Мы беседовали с ним о его жизни, он ответил на множество вопросов, заранее нами составленных. Кроме того, он подвергся серии психологических тестов. Это заняло свыше недели . . .»

Дальше шло длинное рассуждение о взаимоотношениях советской интеллигенции, к которой авторы статьи причисляли Владимира, и советской власти:

«. . . Владимир является особой разновидностью того, что обычно рассматривается как наиболее распространенный тип русского мужчины. Этот исконный русский национальный характер, в особенности в приложении к интеллигенции, принято считать в своей основе пассивным, отмеченным отсутствием дисциплины и склонностью к грандиозным, трудно исполняемым планам, которые никогда не осуществляются. 'Новый советский человек' — идеальный прообраз советского гражданина, изображаемого советской литературой, наделен железной волей и отмечен большой внутренней дисциплинированностью. Выводы, сделанные из бесед, которые мы вели с другими советскими людьми, указывают, что эти черты характера приобретаются путем подчинения основного склада характера, являющегося относительно пассивным и недисциплинированным, контролю, который человек налагает на себя под влиянием воспитания и среды, создавая в себе видимость 'другого характера', чуждого его истинной природе. Гуманные ценности в семье Владимира, чрезмерная материнская забота и снисходительное отношение со стороны домашних, а также относительно легкая жизнь в молодые годы — все это сделало Владимира 'мягкотелым'».

Затем шло рассуждение о женственности русских мужчин. Рассказывалось, что работа на заводе, война усилили сомнения Владимира в правдивости советской пропаганды, что он в стихах, в литературе старался вернуться к «мечте своей юности», где можно было «забыть про действительность и ее уродства».

«. . . По иронии обстоятельств он одновременно срастается и размежевывается с режимом. Пропасть между его поведением и стремлениями — с одной стороны, и его внутренними переживаниями и идеалами — с другой стороны росла. В таком состоянии он оказался после войны за границей и дезертировал из Красной армии.

Он человек несомненно очень одаренный, умный, с большими артистическими способностями. Семейная атмосфера не способствовала развитию трудоспособности и дисциплинированной работы. Мать была сильной личностью и имела большое влияние на сына. Он видит в других людях прежде всего поклонников своих талантов, зеркало своего превосходства. Один психологический тест начинался словами: 'Когда ему советовали следовать примеру других . . .', Владимир его закончил так: 'он обижался, видя в этом несправедливое к себе отноше-

ние'. В отрочестве и ранней юности, в минуты, когда ему казалось, что он творил что-то выдающееся, он испытывал восторг и уверенность, что ему суждено стать великим. Разочарования вместо положительного усилия обычно вели к попыткам добиться успеха в какой-нибудь другой области. Владимир больше напоминает пассивного мечтательного русского человека, каким его изображает русская литература XIX века, чем жестокого воинственного активиста, восхваляемого советской литературой и часто встречающегося среди молодежи теперешнего советского поколения. Характерен его психологический тест по поводу картинки, изображающей мальчика, сидящего перед скрипкой; Владимир написал:

'Это — мальчик после первого урока на скрипке. Он думал, что стоит ему взять скрипку в руки, как из-под смычка польются волшебные звуки. Вместо этого он услышал жалкое пиликанье. Урок кончился, учитель ушел. Мальчик сидит и смотрит на скрипку. Он подавлен. Впереди перспектива скучного пиликанья, гаммы и упражнения'.

Это же относится и к литературному творчеству Владимира. Он нам говорил: 'Я убедился, что я не большой поэт'.

Несоответствие между его непомерными стремлениями и его хотя и недюженными способностями с отсутствием настойчивости привели к тому, что он с легкостью поддался искушению сделать карьеру инженера, следуя политическому курсу власти» . . .

Тень, в которой лежал Федор, успела укоротиться и из-за крыши склада выглянуло горячее солнце. Федор отполз к стене.

. . . Внешне он может поддерживать отношения с другими людьми только в тех случаях, когда такие отношения соответствуют его представлению о самом себе. В более глубоком смысле он проявляет непонимание сущности отношений между взрослыми людьми. Он все еще во власти относительно первобытного длительного переживания, имевшего место в раннем периоде его жизни и связанного с неразрешенным отношением к матери».

Федор огляделся — вокруг ни души: палило солнце, жужжали пчелы, где-то высоко-высоко мурлыкал самолет. Федору показалось, что жизнь остановилась, и он — это уже не он, а какая-то букашка под лупой солнца.

. . . Это духовное состояние углублено сознанием своей вины перед матерью. Отношение между сыном и матерью, братом и сестрой — преобладающая тема рассказов, которые он придумал к картинкам психологических тестов. Образ сильной женщины имеется во всех его рассказах. С другой стороны, когда он подвергся тесту с чернильными пятнами, оказалось, что в них он видит главным образом мужчин: 'маска', 'монгол', лица которого не видно. Он старается преуменьшить действительный вред, который он причинил матери, сестре (а в ней — матери) и старается поступок свой объяснить идеологическими побуждениями.

Бегство его является в значительной мере проявлением его юно-

шеского эгоистического отношения к окружающему. Его враждебность к советскому строю не была достаточно глубокой, чтобы бороться против режима. Не добившись магических успехов в одной области, он менял места, пока не бежал из советской зоны Германии к американцам. Бегство его в основном представлялось ему приключением, прыжком в неведомый мир, в котором, именно потому, что он неведом, еще можно мечтать о волшебных успехах.

Владимир — не менее интегрированная и эластичная личность, чем большинство перебежчиков, с которыми нам довелось беседовать. Он просто внешне менее дисциплинирован и менее энергичен — он не наложил на себя чуждую его природе оболочку жестокости. Поэтому он не имеет качеств, необходимых для того, чтобы быть одним из тех компетентных и энергичных администраторов, в которых нуждается советское государство и советская экономика. Кроме того, он легко становится жертвой своих моральных конфликтов.

Допуская, что во всех описаниях 'национального характера' имеется элемент преувеличения, можно, по-видимому, все же сказать, что конфликт между активностью и пассивностью является основной проблемой развития личности великорусских мужчин. Советская официальная литература и жизнь перебежчиков, которых мы изучали, указывают, что на большинство ответственных постов в СССР назначаются люди, продвигающиеся вверх по признаку проявления чуждых их истинному характеру черт жестокости и активности, которые советские мужчины развивают в себе, как внешнюю оболочку, в противовес пассивности, которой, по-видимому, очень страдают русские мужчины. Но появляются новые привилегированные группы населения, и высший слой нового советского общества в известной степени приобретает внешние формы жизни тех классов старого общества, место которых он занял.

Если события будут развиваться в том же направлении, что и теперь, то мужчины, которые займут ответственные посты, будут похожи на Владимира, то есть не будут приспособлены к тем стремительным темпам, за которые так ратуют теперешние вожди СССР. Сущность проблемы, разумеется, заключается в том, сумеет ли руководство страны в этом случае предотвратить процесс постоянного общественного закостенения путем привлечения людей из низших слоев, где пассивность не является преобладающей чертой, какой она является в характере Владимира».

Федор положил прочитанные листы рядом на траву, закрыл глаза, чтобы лучше видеть Серова... мать... Соню... Наталью Николаевну... Катю... себя в разных местах — от детства до этой травы и этого баварского солнца. Все они стояли над ним как планеты, все смотрели на него, и он видел, как потерянно металась между ними в безвыходной безнадежности его мысль — обиженный мальчик, как он подбежал к матери, заглянул в ее усталое спокойное лицо, потом уткнулся в ее теплые колени и уже собирался расплакаться, но

он сразу открыл глаза, солнце ударило так, что он, поднимаясь с земли, пошатнулся, хотел идти, но сделав усилие, подобрал с травы разбросанные листы, даже разорванный коричневый конверт взял.

Он шел по пыльному шоссе, и только настойчивый автомобильный гудок сзади заставил его свернуть на обочину. Автомобиль проехал, сердито обдав облаком пыли.

У себя в комнате он принялся распаковывать пачки с книгами, где была бумага и конверты. А когда нашел, сел и стал писать:

«Боб,

говорят, что 'национальному характеру' американцев присущ спорт, это значит, что американцы должны знать, что мускулы твердые как камень не способны на большое физическое напряжение, что для сверхнапряжений необходимо обладать мускулатурой способной быть мягкой, расслабленной. Для этого и спортивный массаж. Не кажется ли вам, что 'мягкость', 'женственность' русского характера и дала русскому народу силу перебороть страшное татарское иго, смутные времена, крепостное право, самую кровавую революцию в мире, коллективизацию и все ужасы сталинщины, выиграть войны против Наполеона и против Гитлера.

Если уже смотреть с точки зрения Фрейда, то мы, русские мужчины, такие потому, что хотим нравиться нашим русским женщинам, которым в мужчине нравится нежность, ласковость, даже робость и застенчивость. Она, русская женщина, в любви говорит мужчине: 'Ласковый мой, нежный мой, родной мой...' и никогда не поет своему возлюбленному, как пела одна американка в фильме, который я видел в Мюнхене: 'Он пришел большой и сильный...' И интересно, что среди нас почти нет гомосексуалистов, не знаю, как в Америке, но в Европе их хоть отбавляй. На войне солдаты с 'жесткими' и 'железными' характерами сходили с ума, а 'пассивные', 'мягкотелые' становились героями. Русская женщина 'женственностью' закалила нас для огромных напряжений нашей жизни, и облагородила. Я никогда не думал, что американцы более материалисты, чем сами коммунисты. Видимо, Маркс и Фрейд в чем-то рядом. А в России продолжают верить в Бога.

Авторам статьи скажите — это им даст кучу идей! — что у нас пеленают грудных детей и что одно пятно теста мне напомнило усы Сталина. И еще, что про мальчика со скрипкой надо спрашивать у румын, у русских пусть спрашивают про мальчика с балалайкой, что ли!

'Разновидность'».

Федор достал бутылку с виски, налил в стакан и выпил до дна. Захмелев, вдруг стал видеть, что мебель, книги на полу, бутылка, стакан, его собственные руки на столе стали больше в размере, четче контурами. Даже пыль на ботинках и штанах стала видна, как в бинокль.

— Пыль... пыль! — громко сказал он и поглядел на исписанный листок.

Перечитал, скомкал и швырнул под кровать. Налил еще стакан виски и опять выпил. Взял другой лист бумаги.

«Боб,

я стал совсем 'пассивным' — стал пылью с дороги, где дуют ветры событий. Пылью, — землей, оторванной от земли, что была землей и что будет землей. Эмиграция — это пыль.

Авторам статьи — к их прилежанию и глубокомыслию — нехватает побывать в шкуре советского человека хотя бы год-два. Вы со статьей не согласны — спасибо и за это.

Ф».

Пьяными непослушными руками он сложил листок, вложил его в конверт, заклеил, старательно написал адрес и только тогда повалился на койку лицом в подушку и заплакал.

Проснулся он далеко за полночь. Поглядел на горевшую лампу. Привычно потянулся за бутылкой, но бутылки на месте не оказалось. Сел. Увидел на столе запечатанное письмо и страницы статьи. Провел ладонью по лицу. Встал. Потушил лампу и ощупью в темноте пошел к двери. Вышел в ночь и остановился — было тихо, даже листья не шевелились. Синяя бездна неба мерцала россыпями звезд и созвездий.

Федор постоял и медленно пошел к лесной тропинке, ведущей к озеру. В лесу заторопился, словно его ждал кто-то. У самой воды, торопясь, сбросил одежду и бесшумно вошел в воду. Погрузился до подбородка, слегка оттолкнулся ногами от дна и поплыл, как можно тише, чтобы не пугать тишину. Плыл долго, потом остановился, оглядел ночь, поднял руки и пошел книзу, вглубь, словно дно мерил, но, дойдя до холодного слоя воды, завалился на спину и медленно всплыл. Лежал на спине с закрытыми глазами, чуть шевеля руками, и так долго, что перестал чувствовать тело — будто растворился в воде и стал частью озера. Потом открыл глаза, смотрел вместе с озером в звездное небо, слыша шум своего дыхания, словно в озере кто-то — не он — напряженно дышал, — как кузнечный мех.

Холод ночной воды привел в себя. Федор стал стоймя, почувствовал под собой темную глубину озера. Небо слева чуть-чуть посветлело. Он едва слышно радостно засмеялся, ему вдруг стало предельно ясно, что весь этот мир, окружавший его сейчас, и есть правда жизни, и есть сама жизнь, какая была до него и будет после него.

— Что-то мы, люди, делаем не так, — сказал про себя.

Вышел Федор из воды в чем-то другим, чем был раньше. Пока одевался, край неба совсем посветлел — начинался новый день.

Пошел через лес, без дороги — шел в полумраке, как по храму; глядя на великанов — на деревья, которые стояли, как на молитве, вознося гигантские неподвижные кроны, стояли, соединяя небо и землю. Он остановился, тронул рукой шершавый живой ствол огромной сосны, прося о помощи.

В то же утро он сходил на склад и получил у лейтенанта разрешение съездить на два-три дня в город.

20. НА ГРАНИЦЕ

И все-таки всякий раз, когда она кормила, купала, целовала сына, успокаивала его плачущего, вскакивала к нему по ночам или когда он вдруг осмысленно глядел на нее синими кляксочками, — каждый раз Катина решимость бежать слабела. Но однажды позвонила Наталья Николаевна, которая все время собиралась приехать поглядеть на Федора младшего, и сказала, что приехать не сможет: генерал получил приказ срочно выехать на новое место службы — в Армении и что на сборы дали только неделю. Катя сказала, что постарается с сыном приехать попрощаться, чем умилила Наталью Николаевну до невозможности.

А на следующий день Рыльский пришел со службы рано и сказал:

— Мне надо ехать, Катя... в Москву.

Катя похолодела — подумала, что муж тоже получил приказ о возвращении в СССР. Она собралась с силами, села на кровать и спросила:

— Надолго?

— Совещание по вопросу репараций с Германии в министерстве внешней торговли — Микоян созывает. Протянется, наверно, дней пять и на дорогу два дня.

— Совещание... — проговорила Катя, опуская глаза.

— Может быть, ты хочешь кому-нибудь что-либо передать в Москву?

— Нет, спасибо. Мамы нет в Москве... Когда ты едешь?

— Сегодня вечером...

Рыльский ушел. Катя легла на постель и стала думать: если пропустить эту, может быть, последнюю возможность, на самом деле может прийти приказ Рыльскому возвращаться в Советский Союз, который закроет все дороги для побега. Поглядела на спящего ребенка.

— Сынок, ты простишь меня? Простишь мамку-дуру? Трудно мне, сыночек, но что же мне делать... Куда я тебя, несмысленыша, понесу? К папке твоему... Так ты кто будешь? Сирота... Прости, сынок, но, видно, такая уж наша с тобой судьба...

Когда вечером за Рыльским приехала машина, Катя вышла с ним проститься: он даже растерялся, а она глядела на него и думала, что никогда в жизни его больше не увидит.

— До свиданья, — и подала руку.

Рыльский поспешно нагнулся и поцеловал ее.

— И прости меня, если я была несправедлива.

— Спасибо за доброе слово.

Рыльский мельком взглянул на рот жены, проверяя, нельзя ли поцеловать, но рот был сжат, и Рыльский сказал:

— Ну я пошел... До свиданья, Катя... Береги себя и... ребенка.

Прощание с мужем и то, что она попросила у него прощения, — было первой взяткой той судьбе, от которой теперь зависила ее жизнь и жизнь ее ребенка. В тот же вечер она написала мужу письмо:

«Я действительно прошу тебя простить меня. Я уезжаю навсегда к тому, кого люблю. В решении этом меня окончательно утвердил ребенок. Да и последний наш с тобой разговор — неужели он не показал тебе, что жить так, как предложил ты, — постыдно. Оскорбительная жалость ничего склеить не может. Благодарю тебя за все хорошее, что ты для меня сделал, за внимание последних месяцев. Я знаю, что самое трудное для тебя будет думать, что твои сослуживцы, твое начальство, твои подчиненные станут говорить: 'От Рыльского сбежала жена... От Рыльского жена сбежала!' Но ты ведь знаешь, что это не так, что так надо, если хоть капельку уважаешь себя. Прости меня за последнее огорчение — придумай что-нибудь: скажи, что я уехала отдыхать или что-нибудь такое.

Я хотела дождаться тебя, но завтра в Союз летит самолет одной авиадивизии, где у меня есть знакомые, и они меня берут с собой — это быстрее и удобнее с ребенком, чем на поезде.

Согласие на развод заверю у нотариуса и пришлю тебе.

Прощай. Катя.

П. С. Я оставляю тебе 10 000 марок — это моя доля расходов по дому за последние месяцы. Не сердись, но так я буду себя лучше чувствовать. Не сердись и за то, что не беру твоих подарков — я не могу иначе».

О дивизии Катя написала не случайно — только авиачасти все еще могли посылать своих офицеров и членов их семей в СССР без пропусков через границу.

Карл купил Кате сшитую из широких матерчатых полос сумку — носить ребенка за спиной.

Через два дня он отвез Катю с сыном в Штраусберг, где находился большой аэродром той самой авиадивизии, жену командира которой Катя хорошо знала. Погостив у знакомой часа полтора, Катя поехала уже прямо на квартиру Карла.

Карл отвез автомобиль в Карлсхорт, вернулся на трамвае и ночью выехал с Катей в Нордхаузен на машине знакомого.

В Нордхаузен приехали утром. Карл устроил Катю в тот же дом, где когда-то жили Федор и Инга. Об этом он ей не сказал. Катя позвонила Наталье Николаевне и попросила встретиться вечером на улице, недалеко от дивизии.

О своем приезде в Нордхаузен попросила никому не говорить.

Наталья Николаевна пришла раньше времени и едва дождалась Катю. Как только села в автомобиль, сразу спросила:

— Ты что это задумала, девка?

— Почему вы спрашивает?

— По глазам, как у кошки, да по складочке горькой у рта, да по одежде — так в гости не ездят, теперь у нас чернобурой любят щегольнуть.

— Приехала проститься, Наталья Николаевна, и попросить насчет писем и согласия на развод, которое надо будет заверить у нотариуса. Для этого я вам и мой паспорт оставлю... Он мне больше не нужен...

— Да ты что, девка, рехнулась, прости ты, Господи! Дитя хоть пожалей, если себя не жалеешь! Ведь на гибель верную, может, идешь!

— Не уговаривайте, Наталья Николаевна. Федору там плохо. Сыну отец нужен: не отчим, а отец. Может быть, все обойдется.

Генеральша хотела что-то возразить, открыла было рот, да так и осталась с открытым ртом, как дурочка какая. Потом, как дурочка, и заплакала.

— Я во всех письмах пишу, что буду жить с Федором в Сибири. Одно письмо написала капитану Озолину, другу детства; ему я написала, что встретила, мол, парня по себе, ушла от мужа и буду строить новую жизнь в Сибири — стране будущего, ну и прочее...

Генеральша крепко вытерла платочком лицо, поправила головной платок.

— Все дельно придумала, а через границу как пойдешь?

— Так и пойду: сына на спину, чемодан в руку и пошла, — Катя попробовала улыбнуться.

Наталья Николаевна вздохнула.

— Как в книжке — романе каком, право. Наверно, пройдешь — у любви, чертовки, свои крылья — перенесут.

— У меня немецкие документы есть, — жена шофера дала; если что, буду за немку себя выдавать.

— Я к матери твоей по дороге на Кавказ заеду.

— Это для меня самое трудное, Наталья Николаевна. Скажите, что люблю, никогда не забываю... и пусть простит.

— Мать простит. Такое уж материнское дело — детей прощать... Теперь дай на ребеночка поглядеть.

Наталья Николаевна повернулась к корзинке, рукой освободила одеяльце, поглядела, перекрестила, — как дело какое сделала.

— А теперь дай поцелую, — поцеловала. — Федору скажи, чтобы меня простил за то, что не приняли тогда его... И еще скажи, чтобы жалел и любил тебя... Не встретимся ведь никогда...

Катя молчала. Генеральша вылезла из автомобиля. Отошла несколько шагов, вернулась.

— А если заплачет на границе?

— Я приму два снотворных порошка — с молоком попадет и ему — будет спать... Так немки делают.

Было около полуночи. Катя шла вдоль дороги. Идти было тяжело — неровности, мокрая земля, трава, чемодан оттягивал руку. Ребенок тоже тянул книзу спину.

Еще раньше встретились двое мужчин с чемоданами и предложили Кате идти вместе, но Катя, поблагодарив, отказалась:

— Ребенок заплачет и всех подведет.

Сколько шла — не знала, стала выбиваться из сил. Присела на ствол упавшего дерева. Болели груди, переполненные молоком. Ребенок за спиной зашевелился. «Голоден, — подумала Катя. — А что, если покормить его? Будет крепче спать...» Расстегнула пальто, кофту, блузку, вытащила ребеночка из сумки, уложила на руки, дала грудь. Ребенок поймал сосок, стал сосать.

Кругом было тихо, влажно, только всхлипывания и глотание ребенка. Катю охватила усталость, она задремала — сказались снотворные порошки.

Где-то совсем рядом хрустнула гнилая ветка. Катя открыла глаза, груди было холодно, ребенок заплакал — по ночному лесу пошел горький детский плач. И сразу же из-за ствола дерева выросла фигура с автоматом.

— Стой! Руки вверх!

Волна первого испуга — оттого что заплакал ребенок, еще не успела спасть, так что вторая волна от окрика была не так резка, а, может быть, все те же порошки сказывались. Катя спокойно, по-будничному, сказала:

— В руках у меня ребенок, так что поднять я их не могу. И встать с ребенком на руках тоже не так просто, — по-русски сказала она, уже потом подумав, что солдат немецкого и не знает.

— Кто такая?

— Женщина с ребенком.

Солдат зажег электрический фонарик, осветил Катю: она так и сидела с Федюшкой на руках, в расстегнутом пальто, рядом стоял чемодан. Ребенок от яркого света затих.

— А что ты, «женщина с ребенком», делаешь здесь в лесу ночью?

— Вот кормила дитя грудью, как тебя мать кормила, когда был ты не солдат; отдыхала, а теперь надо идти.

— Куда это тебе надо идти?

— К отцу моего ребенка.

— К отцу? А где же его отец? Кто его отец?

— Мужчина.

— Ты мне байки не рассказывай, тетка! Лучше собирайся и пойдем.

— Куда?

— На погранзаставу. Там и раскажешь, куда и зачем ходишь по лесу.

Катя изо всех сил старалась собраться с мыслями: предложить солдату деньги? Брошь? А если не возьмет? На заставу идти — гибель. Она опустилась на колени, положила перед собой на траву ребенка в одеяльце, протянула руки к фонарику — к одноглазому божеству ночного леса, и тихо сказала.

— Не губи, солдат. Я мать, а это мой сынок, месяц назад рожденный. Возьми все, что есть у нас. Пользы тебе от гибели нашей не будет...

— Ты это брось, тетка! Служба есть служба...

— Но есть еще, солдат, душа. Наверно и у тебя мать дома, и бабка

есть, скоро и у самого дети пойдут, — что им скажешь? Что себе скажешь, за что загубил мать с ребенком?

— А что начальство скажет — это ты забываешь? — сердито отозвался солдат.

— Никакое начальство не узнает. Не губи...

Ребенок, как бы присоединяясь к мольбе матери, вдруг заплакал и зашелся. Катя нагнулась над ним, подняла с земли, прижала к себе и все так же на коленях сказала:

— Не губи, солдат...

Фонарик погас, воцарилась кромешная темнота. Ребенок всхлипывал. Где-то вверху послышался шум проснувшегося дерева.

— Отец его что — фриц? — неожиданно тихо спросил в темноте голос солдата.

— Нет, не фриц, — ответил так же тихо голос Кати.

— Русский?

— Русский.

— Эмигрант?

— Эмигрант.

— И ты эмигрантка?

— И я эмигрантка.

— Из недорезанных буржуев?

— Нет, пролетарского происхождения... Как и ты.

— А что на родину не идешь?

— Сам знаешь.

— Счастлив твой Бог, тетка, что на меня попала...

«Пронесло!» — рванулось по всем Катиным мыслям, и она, опираясь свободной рукой на лежащий ствол, поднялась на ноги.

— Свет не без добрых людей, солдат...

— Разные бывают, тетка... Вот с полгода назад так же ночью моего напарника убили, а мне башку раскроили...

— Тяжелая служба, солдат...

— Не твое дело, тетка. Поменьше разговаривай и дуй отсюда, чтобы я твоей ноги не видел!

— Спасибо...

— Иди, иди... И мальца не простуди, дура!

— Спасибо матери своей скажи от меня.

— Нет у меня матери... Никого не осталось от войны.

— Тогда прости...

Солдат в темноте промолчал. Катя положила ребенка в сумку, взяла чемодан. Голос солдата совсем рядом сказал:

— А муженьку своему, или кто он там тебе, скажи, чтобы не забывал, что тебя и сына его русский солдат от смерти спас...

— Скажу, солдат, — ответила в темноту Катя.

Вверху опять зашумело дерево, ему ответили другие кроны — предутренний лес наполнился разбегавшимся во все стороны торжествующим шумом.

21. НА НОВЫЕ МЕСТА

В доме Трухина сборы подходили к концу. Василий в конторе сдавал Муравьеву последние дела. Бухгалтер уехал в район перечислить банку 8000 рублей в погашение колхозного долга.

Так думали Василий и Муравьев, а на самом деле Павел Петрович был дома — жил он у многодетной вдовы Прасковьи — и тоже собирался в дальний путь. Чемодан был упакован, Павел Петрович завязывал мешок с пришитыми лямками. Тут же в избе стояла вдова — тетка Прасковья, окруженная детворой, и горько плакала. Дети жались к ее ногам — девочки тоже тихонько плакали, мальчишки исподлобья глядели на «дяденьку Павла», который «покидал их», — как голосила мамка, — «на муку черную». Все было готово. Павел Петрович огляделся, что-то вспомнив полез в карман, достал несколько кусков пиленого сахара и раздал детям.

— А ты не плачь, дуреха, — сказал он вдове, — детям напоминай обо мне и . . . живите дружно. Я еще на свадьбы буду приезжать к ним.

Оставив вещи в избе, он задами прошел к дому Трухиных. Дома была одна Соня.

— Вы что, уже вернулись?

— Нет, Софья Михайловна, я только собираюсь, — и видя удивление на лице Сони, сказал: — Я не уезжал. Пришел просить вас сходить со мной на прощание на кладбище на могилу Старика . . . По дороге все расскажу.

Погода стояла пасмурная, ветренная. Деревенское кладбище на пригорке уныло глядело серыми крестами. У маленькой березки, посаженной бухгалтером, стоял свежий деревянный крест; на выструганной доске надпись была выжжена каленым железом:

Иван Иванович Иванов

СТАРИК

умер в 1946 году.

Надпись сделал Павел Петрович — в вещах Старика не оказалось никаких документов, по которым можно было установить его имя и фамилию.

Постояли рядом над могилой. Помолчали.

Потом Павел Петрович, не глядя на Соню, сказал:

— Правильный был Старик . . . Мудрый. Самая замечательная могила Неизвестного солдата. Придет время — и деревянный крест этот люди заменят на памятник, на котором запишут подвиг одного человека ради людей в дни, когда человек ничего не значил . . . Как он сразу перенимал ваш ход мыслей, вашу идею и только за тем, чтобы

укрепить вас в них, но — в результате — чтобы направить вас по своему пути. Я ведь так и не знаю: была ли то правда, что он сказал мне умирая, или он напоследок хотел укрепить меня в своей правоте...

— Я верю, — сказала Соня. — Перед смертью не врут...

— В чем-то главном он поставил меня на место. Может быть, мне действительно надо *походить*. В провинции теперь половина страны живет, и не огородники и молочницы, как прежде, а высококвалифицированные рабочие, инженеры, учителя, ученые... Чистки и индустриализация перекачали из столиц в провинцию лучшую часть интеллигенции. Да и своя подрастает все время... А миллионы прошедших лагеря — бывших заключенных, репрессированные, спецпереселенцы и просто сосланные! И в лагерях — миллионы, а лагеря-то в провинции. Вот откуда придет свет! Не от кремлевских звезд, а из провинциального далека!.. Я, Софья Михайловна, ведь ухожу.

— Уходите?

— Хотел вам сказать, чтобы не думали обо мне плохо...

— Что вы, Павел Петрович...

— Я расстратил восемь тысяч рублей. С колхоза их спишут, как хищение...

— Как расстратили?!

Соня хотела тут же спросить: где и как в деревне можно потратить восемь тысяч, но молчала и во все глаза смотрела на бухгалтера.

— Какая разница как, где, почему, Софья Михойловна. Денег этих нет... Перед тем, как идти к вашему мужу и Муравьеву, я хотел сказать вам...

— Вас же арестуют, Павел Петрович!

— Именно. Помните, Старик говорил о людях лагерей — я к ним иду. Может быть, там все потерявшие не боятся, может быть, герои там?

— О, Павел Петрович!.. — вдруг поняла Соня, о чем говорил ей этот странный человек.

— За растрату больше пяти лет мне не дадут, надеюсь. А после освобождения из лагеря по справке получу паспорт и... затеряюсь в просторах России! Еще и к вам приду...

— А к жене и дочерям? — тихо спросила она.

— И к ним зайду, когда взрослыми станут, когда ничем не смогу повредить, — спокойно сказал Павел Петрович. — Я, Софья Михайловна, Сталина переживу... Теперь простимся... Не вспоминайте лихом.

Соня, сдерживая слезы, поцеловала Павла Петровича в неподвижный окаменевший рот, а потом, быстро наклонившись, поцеловала его руку. Повернулась и пошла, натыкаясь на могильные холмики.

Василий бурей ввалился в дом и закричал выглянувшей из-за занавески Соне:

— Он нас всех под монастырь подведет! Он расстратил деньги! Он хочет, чтобы я заявил в раймилицию! Он какой-то юродивый...

— Тише, Вася. Сделай, как он просит...

— Ты уже знаешь?!

— Знаю.

— Куда же он столько денег дел?! Ведь он не ездил никуда!

— Колхозу их спишут, Вася. Постарайся только, чтоб его не засудили на много...

— Как это, постарайся?! Что ты говоришь!

— Скажи, что хороший работник — ведь это правда, скажи, что пьяница запойный, мол, ум за разум заходит... Что, может быть, деньги он и потерял, а не растратил...

— Ты что это, сговорилась с ним?

— Нет. Сделай так, как он просит. Он нас не подведет. Слышишь?!

— Да он уже подвел всех под нож!

— И как приедешь в район, скажи сразу Шилову...

Василий поглядел на жену, махнул рукой и вышел, хлопнув дверью.

Провожать бухгалтера высыпала вся деревня. Бабы выли, как на похоронах. Калека Рогов был трезв и молчалив, он обнялся с Павлом Петровичем, расцеловался и, не пряча от людей слез, заковылял домой. Василий включил мотор, автомобиль тронулся, разбрасывая серые лужи; босые мальчишки и девчонки побежали за автомобилем, крича звонкими голосами:

— До свиданья, дядя Павлуша! До свиданья!

Капа вздохнула и ни к кому не обращаясь, как бы про себя, сказала:

— Вот, думала, мужчина на деревне объявился, а он вроде святого. Не везет нам, бабам.

Соня плакала в доме, прижавшись лбом к оконному стеклу.

— Не плачь, дочка, не плачь, — подошла к ней Гликерия Семеновна.

— Это не я плачу, мама, это что-то во мне плачет...

— Вся деревня плачет, Сонюшка. Ведь он деньги-то роздал! Восемь-то тысяч — самым бедным. Роговым, кажись, полторы тысячи отдал...

Ребятишки давно отстали от автомобиля. Автомобиль небыстро ехал по раскисшей дороге. Василий за рулем молчал, рядом молчал Муравьев. Только Павел Петрович на заднем сидении весело смотрел вверх на небо, где наклонялись, словно разглядывая проезжающих, березы.

На следующий день деревня провожала Василия с Соней. Опять плакали бабы, но плакали по-другому, как плачут по иному радостному случаю. Матери и отцу Василий на прощанье говорил:

— Хоть вы-то не плачьте, ей-Богу! Мы ведь в восьмидесяти километрах будем, — чай не за горами! На машине в хорошую погоду всего и дороги, что два часа. Мы к вам в гости, вы к нам. А как только дело к родам подойдет, я тебя, мать, заберу надолго...

Дорогу за ночь совсем развезло. Автомобиль двинулся и все увидели, как земля густой грязью цеплялась за колеса, словно не хотела

отпускать сына своего — куда-то на завод, где собирались изготовлять какие-то штуки, которые будут убивать ее самое — землю. А по обочинам дороги стояли те же березы. Стояли и смотрели.

22. ВМЕСТЕ

Федор уехал в Мюнхен. Он нашел Опарина в пансионе. Лев Александрович осунулся лицом, но одет был аккуратно, чисто, с чуть заметной художественностью — галстук был чуточку ярок, платок и носки того же цвета, волосы хорошо подстрижены; Федору Опарин обрадовался.

— Очень, очень рад...

Разглядев лицо Федора, спросил:

— Пьете?

— Пью.

— Выпьем?

— С удовольствием.

Федору рассказывать было не о чем. Опарин рассказал, что началась массовая эмиграция — в Бельгию на шахты, в Аргентину, в Бразилию.

— А в Америку?

— Мало... Специальная ДиПи комиссия, консульство даже к имеющим аффидевиты придираются: одних подозревают в коллоборанстве с немцами, других в членстве в коммунистической партии! На днях знакомому с семьей отказали — да вы их знаете — Данила Прохорович, жили рядом в пансионе, потом вас испугались и сбежали, — отказали за то, что тот в СССР членом профсоюза был.

— Профсоюза?! Почему?

— Потому что на советских профсоюзных билетах стоят слова Ленина: «Профсоюзы — школа коммунизма» — значит, коммунист.

Федор вспомнил статью, присланную Бобом, достал ее из кармана пиджака.

— Вы посмотрите, это почище профсоюзов!

Пока Опарин читал, Федор рассматривал книги на полках. На отдельной полке стояли книги разных цветов и размеров, на которых автором значился Лев Опарин или Л. А. Опарин: семь книг были на русском языке, изданные в Праге, Париже, Риге, остальные — переводы на французский, немецкий, английский, чешский, испанский, сербский — все довоенные издания.

— Сосунки! — послышался голос Опарина. — Американские недоросли! Приехали с вопросниками, а ответы имели готовые по принципу: что последняя лекция профессора скажет, то и на нашу душу ляжет. А учились-то они во время войны, когда симпатии профессо-

ров в Америке по логике вещей были на стороне Сталина. Кое-кто из них подрастет и переменится, а кое-кто подучится и, может быть, разберется. Выпьем лучше.

Пили, заедали колбасой и соленым огурцом.

— Если им уж так нравится Фрейд, то взяли бы и занялись проблемой пола, или, как теперь принято выражаться: проблемой секса. Куда было бы интереснее, чем притягивать Фрейда к политике!

Федор, допив из стакана водку, спросил:

— С какой же это стороны?

— С какой? В плане того же сравнения Запада и Востока. Например: почему русские мужчины насилуют коллективно? Немецкий солдат, английский, французский, американский насилует тет-а-тет, а русские одну немку насилуют чуть ли не отделением.

— А почему?

— Национальный комплекс неполноценности — вот отчего! Наш парень, когда один с девицей, застенчив, стыдлив, боязлив, а вот если этих же парней собирается несколько — пиши пропало! Одна наша русская поговорка чего стоит: «На миру и смерть красна»! В конце двадцатых годов в Ленинграде прогремело Чубаровское дело — в Чубаровском переулке двадцать семь парней изнасиловали учительницу. Мы, школьники, тогда шутили по Горькому — «двадцать семь и одна».

— Ну, вы черт знает что говорите, Лев Александрович!

— А знаете ли вы, что немецкие врачи диву давались, когда из Советского Союза вывозили в Германию остарбайтеров — восемьдесят процентов девиц наших оказались невинными!

— Что же тут плохого?

— Тоже от национального комплекса неполноценности — застенчивость, стыдливость в общенациональном масштабе.

— Давайте напишем такую статью, а, Лев Александрович?

— А что? Гарантирую, что напечатают!

— А почему вы не эмигрируете? — вдруг спросил Федор.

— Куда?

— Ну, в Америку?

— Мне уже отказали.

— Кто?

— Американский косул.

— Почему?

— Без объяснения причин, И Тоденгаузену отказали! Я ведь писатель, да и то — бывший. Бывший писатель... бывший писатель... — знаете, это уже начало рассказа.

— Почему «бывший»? Вы еще напишете...

— Вы в этом уверены? А я нет, мой дорогой друг... Да, я и забыл, может быть, самое для вас интересное: месяца два тому назад из Берлина приезжал сюда немчик по имени Карл и разыскивал вас...

В дверь кто-то постучал. Опарин приложил палец к губам. За дверью слышались два голоса.

— Герр Опарин, откройте, это Петер...

За дверью стояли Петер и Курт. Увидев Федора, Петер радостно закричал:

— Теодор! Наконец-то!

Он пробежал мимо Федора к окну, перегнулся через подоконник и закричал на улицу:

— Боб! Боб! Он здесь! Здесь! — потом, обернувшись к Федору, сказал: — Мы были с утра на вашем складе, но не застали вас. Я догадался искать вас у герра Опарина.

— Что случилось, Петер?

— Сейчас все узнаете!

Петер посмотрел на Курта, который стоял и улыбался, глядя на свой пустой рукав.

— Петер, герр Опарин говорил, что в Мюнхене был мой шофер Карл, — зачем он приезжал?

— Все сейчас узнаете! — совсем радуясь ответил Петер и посмотрел мимо Федора, по направлению двери.

Курт и Опарин тоже смотрели на дверь, и смотрели так, будто там что-то происходило. Федор обернулся: в дверной раме стояла худая темная простоволосая женщина с грудным ребенком на руках, а за женщиной — Боб с трубкой во рту. Женщина качнулась и ухватилась за косяк двери — и Федор сразу узнал ее — тогда, в Берлине, на ней была беличья шуба и не было ребенка и он был с Ингой на коленях, качнулась и ухватилась за край двери точно так же...

— Ка... Ка-тя... — шепотом проговорил он и, не отрывая взгляда от ее глаз, — в этой встрече глаз и неотрывности взглядов было заключено самое важное, — медленно пошел навстречу Кате.

Она качнулась вторично и, как бы валясь вперед, одной рукой прижимая к себе ребенка, другой обхватила шею Федора, уткнувшись искаженным лицом ему в грудь.

А все стояли и молча смотрели на них. Потом заплакал ребенок, и Катя, все так же жалко улыбаясь сквозь слезы, словно прося извинить ее за плач ребенка, оторвалась от Федора и пошла к опаринской кровати и стала освобождать его от одеяльца, одежек, пеленок. Федор хотел идти за ней, но Петер и Курт стали пожимать ему руки.

— Мы обязательно зайдем в другой раз...

Опарин оказался совсем пьяным и все повторял в сторону Кати:

— Офелия, помяни меня в своих молитвах...

Боб тащил его за руку к двери, но Опарин упирался, пока не поймал Федора за пиджак.

— Федор Николаевич, дорогой мой Федор Николаевич, теперь я обязательно напишу свою книгу... О, теперь я ее напишу...

Наконец Бобу удалось оторвать его от Федора и выставить за дверь. В дверях Боб оглянулся и улыбаясь сказал:

— Я подыщу для вас подходящее помощение... Ни о чем не беспокойтесь... Вы знаете, как я рад за вас, Федор!

И осторожно закрыл дверь.

Катя сидела на кровати и кормила грудью ребенка. Отрезвевший Федор, осторожно ступая, на все еще нетрезвых ногах, подошел

к ней, увидел красное личико присосавшееся к набухшей груди, увидел поднявшиеся навстречу лучистые-лучистые глаза Кати.

— Я назвала его Федей...

Федор сел рядом, прижался лицом к теплому Катиному плечу.

— Знаешь, чего я сейчас боюсь, Катя? Разлуки с тобой...

— Этого бойся, — засмеялась она и передала Федору ребенка.

Федор положил его на колени и сидел, боясь шевельнуться. Ребенок поймал большой палец Федора и глядел круглыми веселыми глазами в его лицо. Катя пошла в ванную.

Она приоткрыла дверь ванной и сквозь шум воды Федор услышал ее голос:

— Я четыре дня прожила в Оберсберге. Фрау Эрика была очень мила со мной. Просила передать тебе что-то об ушах, — что уши не самое главное, — не знаю, что это значит...

Вышла она с мокрыми волосами, в невыглаженном домашнем халате, от нее пахло душистым мылом, свежей водой, молодостью и еще чем-то, что Федор сразу определил «родным». Из-под халата Федору были видны Катины ноги — они оказались маленькими с высоким подъемом.

— Родная ты моя, родная... — повторял он, целуя ей руки.

— Измучился, Федюшка? — спрашивала она, гладя его по лицу, словно разглаживая. — Ничего, все кончилось, теперь я с тобой, сын наш с нами... Бежать больше никуда не нужно...

Федор глядел на спящего ребенка и вдруг физически остро-остро ощутил: «А ведь он мой, мой сын! Сын!»

— Боб говорил, что он добьется нашего переезда в Америку — он сам выдаст нам аффидевит. Но если не выйдет с Америкой, поедем, Федор, куда хочешь, — в любое место... Хоть в Африку, хоть на необитаемый остров...

— Необитаемых островов, наверно, не осталось. Главное, что ты пришла. Ты и сын. Сын и ты. Но, как ты нашла, как ты дошла?

Катя легла головой ему на колени и стала рассказывать. Рассказывала, пока не сбилась в поцелуях.

ЭПИЛОГ

Соня уже и дочь уложила (сынишка гостил в деревне у бабушки), а Василия с работы все не было. Она два раза звонила на завод, но телефонистка заводского коммутатора отвечала то же самое: «Товарищ Трухин занят, когда освободится, — позвонит. Не беспокойтесь». От того, что телефонистка отвечала заучено деревянно, не как обычно, Соня обеспокоилась не на шутку. Позвонила знакомым женам сослуживцев Василия, но те тоже ничего не знали и тоже волновались.

Чтобы отвлечься от беспокойства, Соня включила радио и слушала музыку.

Василий пришел в четверь девятого.

— Что случилось? — бросилась к нему Соня, разглядывая озабоченное лицо мужа.

— Сталин приезжал.

— Не может быть!

— А с ним чуть не все Политбюро. Осматривали типы новой продукции. За главного экскурсовода был генерал Серов. Несколько бородатых ученых было. Пока Сталин не уехал, с территории завода и строительства никого не выпускали. На коммутаторе сидело несколько эмгебешников и следило, чтобы не сообщили по телефону за пределы завода. И знаешь, кого я встретил?! Озолина.

— Какого Озолина?

— Знакомый Кати, который с твоим освобождением помог. Подходит какой-то эмгебешник — он уже майор — и говорит: «А мы с вами, подполковник, знакомы». Я со страху обомлел, но тут все пошли в сборочный цех, так что и ему надо было идти — он при Серове.

— Вот видишь, ничего они и не знают, — сказала Соня, отвечая на какой-то давний разговор с мужем. — А какой из себя Сталин, Вася?

— Я просто не поверил! Такой старичок-сморчок со злющими глазами. На портреты совсем не похож... Почти ничего не говорил.

— А мы тут все перебеспокоились.

— Ничего не попишешь. Уехали, а нас всех на закрытое партсобрание; часа два долбили: доверие вождя народа... забота партии и правительства... сам вождь и учитель следит за нашей работой... выполнить план — перевыполнить...

— Ты только не беспокойся. Иди умойся и садись обедать — обед еще не остыл.

Василий вышел в коридор к водопроводной раковине. Соня присела возле радиоприемника и стала вертеть рычажок: сквозь завывания, гулы, разряды, шумы, провалы тишины — из эфира прорывались голоса на разных языках, музыка, пение. Вдруг где-то послышалась русская речь. Соня поправила рычажок — женский голос стал слышнее: «Конгресс принял новый биль о допущении в Соединенные Штаты Америки дополнительно трехсот пятнадцати тысяч беженцев из-за железного занавеса. В это число...» Треск, жужжание, шум заглушили голос диктора.

Соня стала тщательно вертеть рычажок, пока не выудила из хаоса звуков тот же голос:

— ...у нас в студии в Нью-Йорке находится сегодняшний гость «Голоса Америки», бывший гражданин Советского Союза, офицер советской армии, участник взятия Берлина — Федор Николаевич Таневский...

Соня, не веря своим ушам, закричала:

— Вася! Вася! Скорей!

Из двери выглянуло намыленное лицо Василия.

— Скорей! — шепотом крикнула ему Соня, пальцем показывая на приемник. — Федор! По «Голосу Америки»!

— Что-о-о-о!

Василий одним прыжком подскочил к приемнику и стал умело настраивать — слышимость улучшилась.

... как долго вы в Америке?

— Второй год, — ответил знакомый и незнакомый, какой-то металический в электрических разрядах, голос Федора. Василий оглянулся на дверь, быстро подошел к ней и запер на задвижку. Соня придвинулась ухом к самому репродуктору.

— ... работаете?

— Вначале, когда не знал ни слова по-английски, работал чертежником, теперь работаю конструктором.

— Как велик ваш заработок?

— Чертежником зарабатывал в неделю около ста долларов, теперь иногда больше двухсот.

— Большая у вас семья?

— Я, жена Катя и пятилетний сын Федя.

— Ваша жена из Советского Союза?

— Нет.

— Как вам понравилась Америка?

— Я еще не знаю Америки.

— Ну все-таки?

— Не могу сказать... Меня часто злят некоторые американские журналисты, которые, побывав в СССР недели две-три, не зная русского языка, бойко пишут о всех проблемах советской жизни... Я нехочу поступать так же в отношении Америки.

— Но что-нибудь вам в Америке нравится?

— Конечно. Иначе зачем бы я приехал сюда? Больше всего мне нравится здесь то, что я могу, ничего не боясь, свободно говорить все, что думаю, — кому угодно!

— А какие стороны жизни Советском Союзе особено характеризуют советскую действительность, по-вашему?

— Сразу и не скажешь, — засмеялся голос Федора. — Вот, может быть, это: власть говорит человеку: ты — мой гражданин, ты — мой солдат, ты — мой рабочий. А женщина — мать, жена, бабушка — говорит: это мой сын, мой муж, мой внук. Один мой знакомый — он был секретарем райкома партии в Москве, комиссаром дивизии в боях в Сталинграде — говорил, что конфликт этот незаметно углубляется.

— А что же мужчина?

Голос Федора снова засмеялся.

— Мужчину Сталину удалось согнуть в бараний рог. В лучшем случае мужчине стыдно, перед женщиной стыдно...

В эфире завыло, словно кто-то взбесился, что-то рычало, улюлюкало, визжало, как недорезанная свинья.

Соня и Василий напрасно прождали с четверть часа. Василий сердито выключил приемник.

— Если бы Павел Петрович слышал... — шепотом сказала Соня.

— Может, и слышит где-нибудь, — ответил Василий, оглядываясь на дверь.

— Да не бойся ты, право, — нетерпеливо сказала Соня. — Но Федор-то! Господи, Ты Боже мой, Вася, Федя наш жив! И Катя! И сын! Помнишь, я говорила, что Федор нашим полпредом будет...

— Он там больше вашим бабьим полпредом выступает, — засмеялся Василий. — Но здорово... И какие деньги получает! Я знал, что не пропадет.

— Ведь только подумать, Вася, — на той стороне Земли они, а мы здесь...

— Техника, дорогая, техника!

— Но и ракеты ваши тоже техника, — вдруг сказала Соня.

— И еще какая! — ответил Василий, не замечая, что лицо жены погрустнело. — Без этого нельзя. У американцев, поди, тоже ракет этих — пруд пруди, и все на нас нацелены... Ничего не поделаешь... Оборона, она тоже, знаешь, нужна...

— Оборона... Ничего я в этом не понимаю. Для меня главное, что Федор жив, и что он в Америке... Вот если бы было можно объясняться людям друг с другом по-человечески — это была бы самая лучшая оборона...

— Ах ты мой политик дорогой, иди я тебя поцелую, лучше.

— Раньше пойди умойся, — весь в мыле.

**
*

В вишневом огороженном садике за маленьким белым домиком под вечер за чаем сидели две седые женщины. Чай пили с вишневым вареньем, не торопясь, и разговаривали под мирный шум самовара.

— ...И в отставке, и ревматизм мучает, а ему все не сидится — поехал лекцию читать о войне, — рассказывала Наталья Николаевна о генерале. — Не заедь вы, обязательно потащил бы и меня с собой.

— Привычка, — сказала Анна Сергеевна.

— И еще какая! На фронте, бывало, командовал десятками тысяч людей, жизнью и смертью командовал, пример храбрости подавал, а вернется, бывало, в землянку или в дом какой — я ведь всю войну с ним, по всем фронтам, — сбросит с себя все это вместе с шинелью и ко мне под бок! А бывало, и плакал, что дитя твое малое! Кому пожалуешься? Только жене. Я ему и жена, и мать, и полюбовница, и друг-приятель — все! А в общем счете вышло, что матерью больше пришлось быть...

— А вы сказали генералу?

— Когда в отставку вышел, только тогда и сказала, — аж на душе полегчало, как камень сняла! Вначале подулся маленько, а потом простил. Понял, что не от него скрывала, а берегла его... Эх, бабы мы, бабы-дурехи! — вдруг заключила генеральша свой рассказ.

Анна Сергеевна рассмеялась.

— Только похоже на то, что нам нравится такоя роль, Наталья Николаевна. Я на склоне лет иногда думаю, что мой уход из родитель-

ского дома ради революции, может быть, был просто уходом ради любимого — Катиного отца. Он был революционером, и я стала революционеркой. Пошла за ним в тюрьмы, в ссылку, в самую глубину России. А теперь вот дочь моя ушла к любимому из России. Я ушла к любимому под стягом социальной революции, а дочь ради другой революции — революции человечности... Одно трудно — свыкнуться с мыслью, что никогда не увижу свою Катьку, даже не услышу о ней...

— Кто знает, милая. Верующие люди говорят: «Неисповедимы пути Господа», а я думаю, что человека пути того неисповедимее: может, и свидитесь...

— Пять лет прошло, когда вы письмо ее последнее привезли мне... Жива ли...

— Это вы хорошо придумали — Соню с семьей навестить, — сказала генеральша, чтобы переменить разговор.

— Свой внук ушел, так я за отпуск хоть с внучатыми племянниками понянчусь.

— И правда! Сыну, поди, уже пятый годок, а девочке третий. Мне бы с вами, да своего не могу оставить.

**
*

В Нью-Йорке на Вест Энд Авеню в гостиной небольшой квартиры на девятом этаже поздно вечером того же дня сидели Катя, Федор и Боб, вернувшийся из очередной поездки в Европу. В соседней комнате спал Федя.

Боб привез Федору его ордена — они лежали на столике у дивана рядом с Федором. Он время от времени перекладывал их с места на место, брал в руки, разглядывал.

— Хотя подаренное брать назад и не принято, но спасибо, Боб... Целая жизнь ведь... День воспоминаний — днем интервью, теперь ордена...

— Полезное интервью, Федор, — сказал Боб. — Ну, а с переходом на более интересную работу — как обстоит?

— Ничего не вышло, — помрачнел Федор, — клиранс не прошел... По-прежнему не доверяют нашему брату...

— А почему американцы должны нам сразу верить? — вмешалась в разговор Катя. — Помнишь, как нас не пускали в Америку, а потом пустили. Поживем здесь — поверят.

— Я думаю, что Катя права, — заметил Боб, — не все сразу, Федор, — тэйк ит изи.

— Я не жалуюсь. Просто обидно... Ко всему это полулегальное положение — живем не под своими именами, с придуманными биографиями — одного этого достаточно, чтобы быть депортированными за ложные показания под присягой!

— Образуется, Федор. В Управлении Иммиграции и Натурализации об этом знают — называют «березовской болезнью» — какой-то советский эмигрант заявил, что он не Березов, а писатель Акульшин,

ну его были вынуждены назначить к депортации, но обошлось — не депортировали. Выход найдут. А как дела с книгой?

— Пишу, пишу. Вот только Кате не все в ней нравится.

— Например?

— Мне не нравится, — вмешалась Катя, — что он свой уход за границу объясняет, как, кстати, все русские эмигранты, политическими соображениями. Какое-то советское уродство! Получается, что все, что вне политики, — обывательщина, удел мелких душ. Неужели же, если человек полюбил и бежал во имя любви своей, неужели — это недостаточная причина?

— Для предоставления политического убежища недостаточная, — засмеялся Федор.

— Как заведут свое — продолжала горячо Катя, — демократия, народ, коммунизм, антикоммунизм, Сталин и прочая и прочая, — Катя сердито повернулась к мужу. — Да знаешь ли ты, что в гибели твоей несчастной Инги больше человеческого смысла, чем во всех этих ваших эмигрантских заклинаниях?!

— Но ведь вы тоже антикоммунистка! — заступился Боб за Федора.

— Нет! Я не коммунистка, я ненавижу «анти». Я хочу «за», а не «анти»! Понимаете?

— В чем же ваше «за», Катя?

— Мое «за» в нашем сыне и в том, что каждый из нас делает свое дело . . .

— «Каждый должен возделывать свой сад», — засмеялся Федор.

— Верно! И ничего смешного тут нет.

— Это не я, это вольтеровский Кандид сказал.

— И правильно сказал.

— Новая Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую Декларацию Прав Человека, — сказал Боб. — Может быть, теперь советское правительство изменит свое отношение к выезду своих граждан из страны. По этой Декларации каждый гражданин любой страны имеет право выезжать за границу, выбирать себе место жительства и свободно возвращаться, если захочет, на родину . . .

— Мало что *они* подписывают, Боб. Советская Конституция, например . . . .

— Правда, советский представитель, Вышинский, при голосовании Декларации воздержался . . . И вообще всячески мешал. Но она принята абсолютным большинством — Советский Союз обязан выполнять . . .

— Неужели вы, Боб, так и не поняли, что Сталину и его помощникам плевать на все ваши международные постановления и декларации?! Это у вас в Америке такое послушание перед постановлениями и декларациями, что ими могут пользоваться даже явные жулики!

— О, я вижу, что вы, Катя, и за нашей прессой стали следить, — засмеялся Боб. — Вы акклиматизировались, по-моему, больше Федора . . .

— Америка, Боб, может быть единственная страна, где еще можно по-человечески жить, — при всех ее проблемах, конфликтах и недостатках. Я часто думаю: какого вам, американцам, еще рожна нужно?! Сплошные недовольства!

— Из недовольства, из критики вырастает движение, прогресс...

— Не знаю, Боб. У нас в России из недовольства, а особенно из критики вон что вышло.

— Расскажите, Боб, лучше о себе, — вмешался в разговор Федор.

— Вот вернулся из Европы, съезжу в Вашингтон, из Ди-Пи комиссии ухожу. Уеду к себе, в свой город.

— Заживете частной жизнью?

— Нет. Думаю заняться политикой.

— Политикой?! — чуть не в один голос воскликнули Федор и Катя.

— Да. Знаете... Годы войны... Послевоенные годы. Встречи с людьми из разных стран... Думал, сравнивал... И решил добиваться номинации.

— В Конгресс?!

— Не знаю. Путь долгий и не легкий.

— Но зачем вам это, Боб? — вырвалось у Кати.

— Как вам сказать... Американцы богаты и становятся ленивы... В социальном смысле. Вышли на первое место в мире, а что делать — никто толком не знает. Нужны люди, знающие внешний мир. И внутри необходимы реформы. Для нашего образа жизни все это не так просто, — Боб поглядел на Федора. — Помните наши давнишние разговоры, Федор? О героях Хемингуэя?

— Еще бы. А где теперь тот ваш босс?

— В отставке. Летом удит рыбу в Мейне, зимой загорает и тоже ловит рыбу во Флориде. Разговоры с вами, с сотнями других людей из разных стран во многом помогли мне. Думаю, что мой долг — передать свой опыт Америке. Поэтому я и решил идти в политику.

— Боб, как только я получу американское гражданство, я буду первая голосовать за вас!

— Спасибо. Вот я и начал свою предвыборную кампанию!

**
*

В лесу на лужайке, в тени могучей сосны сидела в белом платочке Гликерия Семеновна. Рядом на траве лежал мальчик с выгоревшими добела волосами и облупленным носом. Мальчик лежал на спине и смотрел в небо — дул летний ветер, деревья шумели широко, за деревьями шли облака.

— Бабушка, — вдруг спросил мальчик.

— Что, внучек?

— Что это — деревья разговаривают так?

— Разговаривают, милый. Каждый по-своему.

— А о чем они разговаривают?

— Обо всем на свете. Деревья-то везде. Все видят. Так друг другу и передают.

— А про нас?

— И про нас говорят, наверно.

— А что они про нас говорят?

— Вот этого я, внучек, не знаю. Чего не знаю, — того не знаю.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия 3

ВРАГ НАРОДА. Книга первая

1. Ночь под Рождество 1945 года 17
2. Оккупанты . 21
3. Рождество . . . 29
4. Начало командировки 33
5. В дивизии . . . 36
6. Генерал и генеральша 42
7. Катя 49
8. Комендантская служба 56
9. Телеграмма из дому 62
10. Митя Седых 66
11. С Новым годом — с новым счастьем 72
12. Инга . . 77
13. В комендатуре 81
14. Гости . 84
15. Письмо 86
16. Арест . . 90
17. Генерал Серов 96
18. Катя и Инга . . 100
19. В дорогу дальнюю . . . 104
20. Берлин—Лейпциг—Нордхаузен 107
21. Граница . 109

СТРАХ. Книга вторая

1. Пересадка в Бресте . 117
2. Бриллиантовое начало . 126
3. Московское гостеприимство 132
4. Бег с препятствиями 139
5. Нет худа без добра 146
6. Справка УНРРА . . 155
7. По обе стороны вахты 163
8. Первые проценты . 169
9. Пожалеть — полюбить 178
10. Тоденгаузен . . . 188
11. Ты помнишь цвет углей? . . 195
12. Ирочка Тоденгаузен и маршалы . 203
13. Василий делает доклад о пятилетке 208
14. Утро Ивана Серова . 214

15. Берлинские истоки . 221
16. Два американских капитана 227
17. Открытое заседание трибунала . 233
18. Разведка перестает быть профессией 245
19. В Берлине 257
20. Бред 263
21. Власовцы 270
22. Платтлинг 279
23. Попытка вернуть свое «вчера» 290
24. «Вчера» не возвращается 296
25. Бог любит троицу 308
26. Опять Берлин 313
27. Разрядка . 317
28. Зимняя сказка 325

ПО ОБЕ СТОРОНЫ. Книга третья

1. Домой . . . 333
2. Фирма «Бр. Майер» 335
3. Молодожены . 344
4. Слезы . . . 351
5. Секретарь обкома . 356
6. Невероятные варианты 365
7. Секретарь райкома 371
8. «Уши» . . 380
9. Выздоровление 386
10. Колхоз . . 391
11. Снова Мюнхен 402
12. Посевная 408
13. Ожидание 416
14. Эмиграция 419
15. Старик 429
16.«Шпион» 436
17. Роды . 444
18. На печи 449
19. Пыль . 456
20. На границе . 463
21. На новые места 468
22. Вместе 471
Эпилог 474



Роман «Паралакс» был напечатан в газете «Новое Русское Слово» — декабрь 1970 года—июль 1971 года — *Novoye Russkoye Slovo* — 243 56th Street, New York, N. Y, 10019, USA.
Автору писать по тому же адресу.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
6	8 св.	осужденных	осужденными
17	6 сн.	оборванцем-пленным.	оборванцам-пленным.
19	21 св.	таких.	таких, —
19	22 св.	старика. «А	старика. — А
27	22 св.	Вы почти	— Вы почти
118	15 св.	страшим	старшим
132	7 св.	Расспрашивал	Расспрашивая
148	19 сн.	диретиве	директиве
194	12 сн.	Нева	и Нева
209	5 св.	лейтенат,	лейтенант,
264	17 св.	в валлисе.	в виллисе
287	22 сн.	фтографией.	фотографией
298	22 св.	усторил	устроил
327	9 св.	призети	привезти
371	1 св.	гостей	гостя
374	12 сн.	унас	у нас
388	6 сн.	корлсхорстских	карлсхорстских
414	21 сн.	производная	произвольная
469	3 св.	в своей	в моей